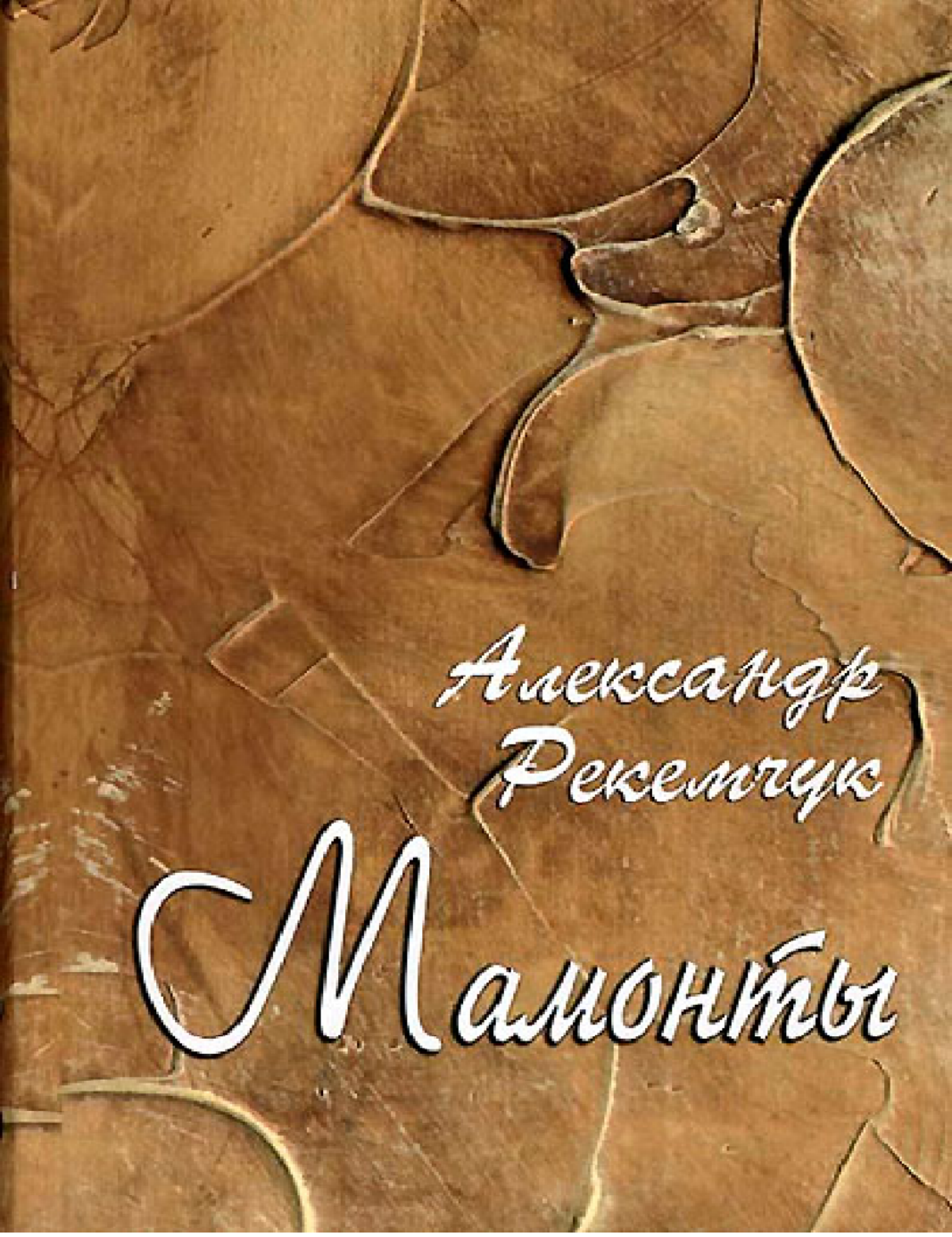

Александр
Рекемчук
Мамонты

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Это — новая книга писателя Александра Рекемчука, чьи произведения известны нескольким поколениям читателей в России и за рубежом (повести «Время летних отпусков», «Молодо-зелено», «Мальчики», романы «Скудный материк», «Нежный возраст», «Тридцать шесть и шесть»).

«Мамонты» — главная книга писателя, уникальное эпическое произведение, изображающее судьбы людей одного семейного рода, попавших в трагический круговорот событий XX века.

- Александр Рекемчук
  - Мамонты
    - Прибытие поезда
    - Дом, который построил дед
    - Красное смещение
    - Оттуда
    - Подражание классику
  - Пир в Одессе после холеры
    - Симпозиум
    - День рождения
    - На разных языках
    - Место под солнцем
    - Сотворение кумира
    - Ленты
    - Президент попойки
    - С ветерком
  - Узы родства
    - Бабушкины радости
    - Развод
    - Открытия
    - Едальня на улице Карла Либкнехта
    - Мужские разговоры
  - Легенды
    - Крещатик
    - Совершенно секретно
    - Сестра
    - Кроме своих цепей
    - Утренник
    - Задание
    - Танец маленьких лебедей
    - Девочки
    - Пассажир «Ионии»

- Париж всегда Париж
- Холодная гора
- Мираж
- Дойна

- Лики
  - Встреча Штирлица с женой
  - Прятки
  - Злоба дня
  - Портрет инфанты
  - Натюрморт со свастикой
  - Волны
  - Отказ
  - Шествие на казнь
- ~

Александр Рекемчук
МАМОНТЫ

Nous ne garantissons pas l'authenticité de ce Recueil, et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n'est qu'un Roman.

Choderlos de Laclos.

Les Liaisons Dangereuses.

Avertissement de l'editeur.

Мы не можем поручиться за подлинность этого собрания писем и даже имеем весьма веские основания полагать, что это всего-навсего Роман.

Шодерло де Лакло,

«Опасные связи».

Предуведомление издателя.

Мамонты

Прибытие поезда

За час до прибытия в Харьков я вышел из купе и приник к окну, тому, что слева по ходу поезда.

Можно было бы и остаться в купе, там удобней, сиди себе на мягком диване за стаканом чая, покуривай, пускай дым в приспущенное окошко — впрочем, к той поре я уже бросил курить, — смотри, вспоминай…

Но надо было дать возможность Луизе причепуриться перед выходом на люди.

Кроме того, память подсказывала мне, что *тот мальчик* сидел на песчаном откосе, над путями, по левую руку, если поезд следует из Москвы.

Колеи железной дороги рассекали холм, громоздя ярусами песчаные берега. По верху кустилась дернина, а дальше стояли сосны с огненными стволами, будто бы опаленными, обугленными у корней.

Под соснами паслись коровы, на шее одной из них, черно-белой, как старое кино, позвякивало ботало, колоколец, наверное эта корова была по натуре бродяжкой, гулёной.

Мальчик сидел на краю обрыва, свесив ноги в дырчатых сандалях, подперев кулачком подбородок.

У него была ярко-рыжая голова, щедро окрапленный веснушками нос, белая кожа, которую не брал загар (весь пигмент ушел на веснушки), серые глаза, иногда, при взгляде вверх, перенимавшие синеву неба.

Этим мальчиком был я. Мне было семь лет, но я еще не учился в школе, потому что мой день рождения приходился аккурат на середину учебного года, и там, в школе, сказали: пусть поступает на следующий год.

А куда деваться до следующего года? Меня, переростка, оставили в детском саду, в старшей группе, а потом весь детсад вывезли за город, в Лозовеньки, райский уголок, вторая зона, тут мы и жили.

Любимым местом прогулок почему-то был именно этот травянистый откос под сенью вековых сосен, в полосе отчуждения, над железнодорожными путями.

Может быть, именно потому, что здесь идиллический сельский пейзаж был взбодрен рабочим пульсом жизни, нервной энергией времени.

Едва ли не каждые пять минут за поворотом вздымался стремительно движущийся султан. Паровоз вырывался на прямую перегона, таща за собою громыхающий состав товарняка,

груженные лесом платформы либо, не столь часто, вереницу зеленых пассажирских вагонов с занавесками в окошках…

Вот как эта занавесочка с вензелем Министерства путей сообщения, что сейчас висит, будто слюнявчик, у подбородка.

Для своего возраста я уже неплохо разбирался в паровозах.

С первого взгляда опознавал по приземистым хищным статям, по укороченной трубе мощный ФД (то есть Феликс Дзержинский, это я тоже знал), который с невероятной скоростью, будто пушечный снаряд, волок за собою состав маслянистых нефтяных цистерн.

Я знал в лицо и вальяжный напористый ИС (то есть Иосиф Сталин, это знали все), он работал шатунами колес, словно жвалами, притом шатуны и колеса были выкрашены яркоалой краской, э передняя тележка напоминала своим гребнем водосброс плотины Днепрогэса, который я знал по плакатам, он был там столь же обязательным, как красная звезда, как серп и молот, как пшеничные колосья, — вообще этот ИС был красавцем!

Гораздо меньший интерес представляли для меня паровозы серии СУ: во-первых, их было слишком много, они проезжали чересчур часто, а во-вторых, я не знал тогда и до сих пор не знаю расшифровки этих букв.

Возможно, страсть к созерцанию несущихся паровозов была судьбинной, знаковой, была предвестьем моих скитаний по стране и миру, с юга на север и с запада на восток.

Еще в детстве я проехал на подножке эвакуационного товарного эшелона — с подножки было видней, — от Сталинграда до Барнаула, крюк через Алма-Ату. Потом в товарном же составе, с пушками на платформах, проделал обратный путь — от Бийска до Москвы, вместе с артиллерийской спецшколой.

Позже, разгонным корреспондентом газеты, ездил от Княж-Погоста до Воркуты, видел составы с узниками, которых тысячами везли в заполярные каторжные лагеря. А оттуда катились на юг эшелоны с углем, присыпанным снегом, нефтеналивные цистерны, платформы со строевым лесом. Между прочим, их волокли паровозы незнакомого мне типа: это были трофейные германские паровозы вторжения, приспособленные к русской колее.

Но это уже другой разговор — о маршрутах жизни.

Покуда же речь идет о самих паровозах.

Полагаю, что в детстве паровозы впечатляли меня не только своею мощью, не только грохотаньем, не только пронзительной силой гудка, — но, вероятно, они питали и зарождающееся в юной душе эстетическое чувство, вызывали благоговение перед

прекрасным, ибо такова была эстетика той эпохи.

Я понял это спустя много лет, в Париже, выйдя однажды из метро близ Улицы Архивов, у Бобура.

Переходя дорогу, глянул налево — и увидел собор Парижской Богоматери, подпирающий башнями небо подобно атланту.

Посмотрел направо — и отпрянул в испуге: на меня неслось чудовище, обвитое со всех сторон, как кишками, железными трубами, в шипах, в чешуе, в пупырьях, — здание Центра искусств имени Жоржа Помпиду.

Оно было похоже на слона, забредшего в посудную лавку.

И еще на паровоз, ненароком въехавший в луврский зал эпохи рококо.

Тут всё было повторением паровоза: и эти выставленные наружу котлы, и трубы, и шатуны, и колеса, и мостки с перилами вдоль главного котла. Тот же материал, та же клёпка, та же яркость раскраски: желтый, синий, пунцовый, без оттенков, без полутонов…

И когда испуг прошел, во мне вдруг взыграло то же чувство восхищения и восторга, которое я испытывал в раннем детстве, в Лозовеньках, под Харьковом, видя вырывающийся из-за поворота грохочущий, пронзительно голосящий, окутанный дымом паровоз.

Известно, что необычный облик Центра искусств на Бобуре был определен дерзким инженерным решением: вывести наружу все коммуникации — отопление, вентиляцию, энерготехнику, лифты, эскалаторы — то есть все системы жизнеобеспечения, чтобы в самих выставочных залах оставить место лишь искусству, его смыслу и форме.

И мне вдруг подумалось, что в этой книге я должен следовать тому же принципу: обнажить все приемы, все средства повествования — документ, репортаж, дневниковые записи, эссе, и то, что в кино называют игровым эпизодом, — ради единственно стоящей творческой цели: ради правды.

Ход моих размышлений был прерван звоном колокольчика. Уже настроившись на волну внезапных ассоциаций, цветовых и звуковых аллюзий, я предположил, что это звенит наяву ботало на вые чернобелой гулящей коровы, пасущейся в моих воспоминаниях… о, как в этот волнующий час всё вокруг обретало реальность!

Но оказалось, что это шествует по узкому вагонному коридорчику, даря улыбки встречным, московская поэтесса

Лариса Васильева — очень хорошая поэтесса и неотразимо красивая женщина. Так вот: у нее на шее было ожерелье, к низу которого прицеплен изящный колокольчик, мелодично позванивающий в такт ее шагам, в лад колыханью ее груди. Он как бы оповещал о ее царственном приближении.

Между прочим, именно в ту пору, когда мы вместе ехали в Харьков — май 1980 года, — Лариса Васильева, харьковчанка по рождению, писала книгу воспоминаний о своем отце, инженере Николае Александровиче Кучеренко, одном из создателей легендарного танка Т-34. Эта книга еще не была написана, стало быть — еще не была прочитана, и я, конечно, еще не мог знать, что наши темы, наши интересы, наши цели в этой поездке столь близки! Но, вероятно, само ощущение творческой близости пронзало нас живым током, и мы, встретясь взглядами, обменялись улыбками.

Я догадался, что в этот вагон скорого поезда специально насовали писателей, связанных землячеством: тех, которые родились в Харькове, тех, которым посчастливилось, подобно мне, здесь жить и учиться, тех, которые воевали под Харьковом. Либо просто имевших здесь родственников, которых, вот удача, можно было навестить за казенный счет.

И когда, щелкнув запором, откатилась дверь соседнего с моим купе, я предположил, что сейчас оттуда выйдет еще кто-нибудь из неугомонных харьковчан.

Но оттуда вышел собственной персоной Георгий Мокеевич Марков, первый секретарь Союза писателей СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета и прочая, и прочая, и прочая.

Я даже немного испугался: ведь я и не знал, что он едет в соседнем купе, а вдруг минувшей ночью, во сне, я слишком сильно храпел или чересчур громко пукал, а между нами была всего лишь тонюсенькая перегородка, ну, просто стыд и срам… Ведь, шутка ли, главный писатель страны!

Тем более, что он меня недолюбливал.

А я платил ему тем же, и он знал об этом.

Но сейчас — в пути, в благополучной близости к цели нашего общего вояжа, в предощущении праздника, который нам всем был уготован, в ослепительном сиянии майского утра, — было бы грешно раздувать неприязненно зобы.

Мы обменялись крепким рукопожатием.

— Волнуетесь? — подмигнул он мне. — Знаю, знаю — родина…

— Ну, не совсем, чтобы родина… — забормотал я, уже устав объяснять всем и каждому, что родился я не в Харькове, а того

лучше — в Одессе. — Но, вобщем, корни здесь: дед, бабушка, мама, дяди-тети. И в школе здесь учился: школа № 1 имени Ленина…

— Знаю, знаю: вместе с Сергеем Сергеевичем Смирновым. Жаль вот, не дотянул Сережа до этих дней. А то бы ехал вместе с нами…

Он всё знал про меня и про всех. Так ведь ему и положено.

— Но в нашей школе учился не только Сергей Сергеевич Смирнов, — заспешил я пополнить круг его знаний. — Тут училось много писателей, много знаменитостей: Павел Железнов, поэт, Лидия Некрасова, детская писательница, кинорежиссер Сергей Юткевич, тот, который снял «Человека с ружьем», и «Встречный», и «Отелло», и «Сюжет для небольшого рассказа»…

— Да-да, — кивал Георгий Мокеевич, — я знаком с Сергеем Иосифовичем.

— А еще — Петр Лидов, который первым написал о Зое Космодемьянской, потом он погиб на фронте. И Михаил Кульчицкий — вы помните его стихи: «…не до ордена, была бы родина…» — он тоже погиб на войне. Между прочим, в Харькове живет его сестра, Олеся Кульчицкая, мы с нею переписываемся, а в этот приезд должны встретиться…

Марков посмотрел на меня одобрительно, как бы давая понять: правильно, никогда не уклоняйтесь от встреч, от бесед с людьми, выслушивайте их, выведывайте, чем они живут — прямой писательский долг…

И тут я вспомнил еще одно золотое правило, преподанное мне знакомым человеком со Старой площади, из ЦК: если тебе выпала встреча с могущественным человеком, из самых верхов, — никогда не задавайся, не выпендривайся, не делай вида, что у тебя всё есть и тебе ничего не надо. Наоборот, обязательно обратись к нему с какой-нибудь просьбой. Проси!.. Иначе он может заподозрить тебя в том, что ты его ни в грош не ставишь…

— Георгий Мокеич, — сказал я проникновенным тоном, — вы знаете, Олеся Кульчицкая, хотя она и младшая сестра поэта, но уже в годах. У нее проблемы со здоровьем. То и дело приходится вызывать врача, а домашнего телефона нету…

Марков коротко кивнул. Мол, всё понятно, одна из самых распространенных просьб: либо помочь с жильем, либо помочь с установкой телефона…

— Попробуем, — сказал он. — Поговорю со здешним начальством. Надеюсь, уважат нас, писателей.

Я искоса взглянул на него, благодарно, почти нежно.

У него было благообразное, но совершенно бабье лицо. То есть, лицо стареющей бабы, стриженной под мальчика, чтобы

согнать года. Вислые щеки, губки бантиком, глазки в морщинистых веках.

Но нет! Я тут же укорил себя за ошибку в словесном портрете. Нет-нет, у него было вовсе не бабье, а скопческое лицо, столь характерное для советских вождей: Маленков, Суслов, Гришин. Тем более, что он — сибиряк родом, а там, известно, что за публика обитала: скопцы, хлысты, духоборы…

Впрочем, опять я согрешил: какое же скопчество, если у него — жена, дочери, притом все, как один, писатели!

Поговаривали, что Андропов, будучи шефом Лубянки, пытался привлечь внимание партийного руководства к баснословным доходам Маркова, которые противоречили даже весьма растяжимым нормам совкового аскетизма.

Всё это приобретало тем большую скандальность, что было известно: Марков, загруженный под завязку служебной деятельностью в Союзе писателей, пишет свои романы не сам, а использует для этой цели негров — писателей помоложе годами и побойчее пером, нуждающихся в заработке и надеющихся таким способом отвоевать и для себя место под солнцем.

Говорили, что на Маркова работает целое «негритянское гетто». Называли имена и фамилии писателей небесталанных, еще недавно ярко дебютировавших в печати, в частности — в популярном журнале «Юность», а потом вдруг исчезнувших с горизонта, заглохших в подполье…

Так вот, при всей неприязни к Маркову, которой никогда не скрывал, я, всё же, беру под сомнение эту легенду.

Поскольку я лично знал этих ребят, своих литературных сверстников, которых молва зачислила в «негры».

Нет и нет! Никто из них, ни за какие деньги, даже при всем старании, даже по принуждению, из-под палки, не смог бы сочинить столь бездарные тексты, как те, что выходили из-под пера самого Георгия Мокеича.

Марков был достаточно сметлив, чтобы уловить и прочувствовать мой внутренний монолог.

— Подъезжаем, — сказал он и, повернувшись, скрылся в купе.

Согласно протоколу, он первым появился в тамбуре вагона и, прежде чем взяться за поручень, только что протертый от гари и пыли влажной тряпочкой, ласково поблагодарил проводницу за чай-сахар.

У вагона толпилась стайка школяров в пионерских галстуках. В руках одной из девочек был пышный букет майских тюльпанов. За ними маячили озабоченные лица учителей, которые более всего боялись обознаться.

Они смотрели сквозь него, будто бы он прозрачный.

Я же, хоронясь за его спиной, радовался тому, что они прибыли на вокзальный перрон без горнов, без барабанов, а то, ко всему прочему, тут было бы звону.

К счастью, он быстро сообразил, что встречают не его, оглянулся, потеснился, пропустил меня вперед и, сверх того, подарил мне настолько ласковую улыбку, что я понял: теперь мне каюк…

Однако к вагону уже подгребала целая команда осанистых мужиков в добротных костюмах, при галстуках, а у некоторых — в том был особый шик и смысл — ворот рубах был стянут шнурками с бомбошками, а ниже, во всю грудь, во всё пузо, красовался вышитый пестрый орнамент.

Ихний букет, я сразу эта заметил, был куда богаче, нежели школьные тюльпаны, предназначенные мне.

Георгия Мокеевича Маркова заключили в объятия, наградили смачными поцелуями, он сразу же отмяк, почувствовал себя в привычной обстановке и, как я мог надеяться, забыл обо мне.

Взяв под белы руки, его повели к обкомовскому членовозу.

А нас на вокзальной площади ждали автобусы.

Мы договорились с посланцами школы № 1 имени Ленина о том, что я там буду в четверг.

Караван автобусов, предводительствуемый милицейской «Волгой» с мигалками и сиреной, понесся по улице Свердлова, бывшей Екатеринославской.

Я посадил Луизу к окошку, чтобы ей было удобней смотреть, а сам примостился сбоку, объяснять — что и где в этом распрекрасном городе моего детства.

Тух, однако, я вспомнил, что несколько лет назад — в семьдесят четвертом, и тоже весной, — мы уже приезжали с нею в Харьков. Мне нужно было освежить в памяти адреса домов, где я жил когда-то, лики улиц, по которым так любил слоняться. Но более всего я хотел дать душе ту полноту ностальгических чувств, без которых нельзя написать книгу о прошлом.

И тогда, в тот приезд, я торопился показать Луизе места, так или иначе связанные с событиями моего детства. О, это были громкие события, отнюдь не предназначенные для детского чтения! Я показывал жене места действия и, волнуясь, объяснял, что и как тут было, чем закончилось, и что было после того, как всё закончилось…

Но тогда я рассказывал ей обо всем так подробно и так дотошно, что было бы странным сейчас повторять это сызнова. Может быть, ей это уже не покажется интересным.

Я не хотел повторяться.

Но и не мог, пребывая в возбуждении, всегда свойственном человеку при встрече со своим прошлым, оставаться безмолвным, безгласным, немым.

Я повел свой рассказ не вслух, а мысленно, как бы для самого себя.

Смотри, смотри!.. — говорил я самому себе. — Это Благовещенский собор — какая Византия, не правда ли?.. А рядом с ним — Благбаз, то есть базар у Благовещенского собора. И в этом сокращении — весь Харьков. Смешно? Нет, никто не смеется…

А вон там — Университетская горка. Сейчас будет мост через реку Лопань. Тут, на Лопаньской стрелке, стояла гостиница «Спартак». Это была не простая гостиница, а нечто подобное мадридскому отелю «Флорида», который Эрнест Хемингуэй описал в «Пятой колонне». Помнишь? То ли общежитие профессиональных революционеров, то ли их боевой штаб… И я не только видел в детстве эту гостиницу и ее обитателей. Я жил в ней, жил среди них, жил целый год!..

А в войну гостиницу «Спартак» взорвали, видишь, до сих пор — пустое место… Кто взорвал? Гм, в Харькове не принято задавать подобные вопросы. Потому что полгорода, уходя, взорвали сами, чтоб не досталось врагу, а остальное взорвали немцы… Едем дальше.

Автобус вырулил на площадь Розы Люксембург. Справа было огромное здание, которое, в бытность мою харьковчанином, называлось Дворцом Труда, не знаю, как теперь. А напротив него высились мрачные дома с угловыми башнями, подобные средневековым крепостям. Но я знал, что это никакие не крепости, а гостиницы «Интуриста». В одной из них служила моя мама, и там я тоже бывал не раз, бегал по коридорам… Ладно хоть эти здания стоят на прежнем месте.

Но за следующим поворотом сердце мое горестно сжалось.

Нету!.. Хотя я и знал, что его давно нету, но почему-то еще надеялся, что, может быть, мне лишь показалось, что нету, а оно есть. Но его не было…

Представляешь, — говорил я самому себе, — это было прекрасное, белоснежное, лебединой красоты здание. Белый мрамор и снаружи, и внутри. Бывшее Дворянское собрание, построенное в честь победы над Наполеоном. А в советские времена, когда Харьков еще был столицей, здесь размещался Всеукраинский исполком. Когда же столица переехала в Киев, что было делать с таким распрекрасным дворцом? Его отдали детям. Шесть белоснежных колонн увенчали фигурами шести пионеров, трубящих в горны…

Я чуть ли не каждый день бывал в этом дворце. Занимался в авиамодельном кружке, а еще в литературном. А еще в белоколонном зале этого дворца целый день, с утра до вечера, крутили фильмы — «Остров сокровищ», «Новый Гулливер», «Дума про казака Голоту» — и я по сто раз смотрел каждую из этих картин… Деньги? Какие деньги? Нам тут целый день бесплатно крутили кино…

Где же он, этот Дворец пионеров? Его нет, его взорвали… Кто взорвал? Но в Харькове не принято задавать подобные вопросы.

Так. Сквер на Театральной площади. В одном конце сквера стоит бронзовый Гоголь, в другом — бронзовый Пушкин. Они отвернулись друг от друга, будто рассорившись насмерть. Сейчас им крикнут «Сходитесь!», и они повернутся, вскинут пистолеты…

За сквером — здание Госбанка, построенное академиком Бекетовым.

«Смотри, это — академик Бекетов… — шептала мне мама, показывая седобородого старичка, который каждый день, в одно и то же время, степенно шествовал с шишковатой тростью по улице Дарвина, по бывшей Садово-Куликовской, где мы жили некоторое время. — Это архитектор Бекетов, — объясняла мне мама. — Он построил весь Харьков…»

Да, я уже знал, и весь Харьков знал, что этот старичок построил и громадное банковское здание на Театральной площади, и Сельскохозяйственный институт на улице Артема, и Дом ученых на Совнаркомовской, и библиотеку на улице Короленко, и школу на улице Дарвина, в которой я учился, весь центр, весь город…

Я даже предполагал, что он каждый день, с самого утречка, берет в руки, для порядка, шишковатую трость и отправляется в обход харьковских улиц, где стоят построенные им дома. Все ли они на месте? В должном ли виде? А то, неровен час, оставишь их без присмотра, и они исчезнут, будто их никогда и не было…

Но позже я догадался, что старичок-академик, наверное, просто ходил в одно и то же время обедать в столовку Дома архитекторов, который тоже располагался на улице Дарвина. Я туда тоже иногда наведывался: мама посылала меня в эту столовку с судками, я брал обеды на дом, чтобы не сдохнуть с голоду, покуда она на работе, да и ей самой когда куховарить?

…Интересно, а что думал академик Бекетов, построивший весь Харьков, о небоскребах на площади Дзержинского, которые, вот уж точно, построил не он?

В окне гостиничного номера стояли, как на параде, небоскребы Госпрома.

Они были подобны горному хребту, над которым славно поработали кубисты, убрав диагонали, стесав острия, выпрямив всё, что есть: стены, кровли, порталы, проемы окон — всё подчинив прямой линии, всё возведя в квадрат.

Вершины горного хребта состязались между собою, не признавали чужого первенства, каждый пик норовил показать себя наособицу. За каждой башней, устремленной в небеса, тянулись башенки пониже рангом. Они отгораживались друг от дружки пустотой, но, вместе с тем, не порывали связей, сообщались между собою крытыми переходами, зависшими над бездной.

И не так уж заоблачны были эти высоты! Вся игра шла на уровне полутора десятков этажей. Но именно перепад высот создавал эффекты взлетов и падений, от которых перехватывало дыхание…

Всё это чудо было в окне, как на ладони.

Я не случайно акцентирую это выражение: как на ладони.

Потому что эффект Госпрома создавался не только цепью его зданий, но и площадью, распростершейся перед ним.

Говорят, что подобной площади нет нигде в мире! В сравнении с нею Красная площадь у стен Кремля кажется пятачком, плешкой. Да и знаменитая площадь Святого Петра в Ватикане, в Риме, не выдерживает сравнения.

Казалось бы, чего уж хвастаться самым большим пустырем в мире?

Но теперь эта площадь вовсе не выглядела пустынной и голой. Она была расчленена на фрагменты, оживлена множеством оазисов, на которых колышут свежей листвой деревья, пестрят цветами клумбы. Гранитные парапеты и фонарные мачты организуют пространство, вводят его в должные рамки, а внушительный памятник Ленину оттягивает на себя часть внимания, которое, всё равно, возвращается к Госпрому…

А ведь я помню эту площадь совершенно голой, хоть шаром покати.

Но тогда по ней катились не шары, а танки.

Грозные гусеничные крепости, на которых вращались броневые башни, а из башен торчали пушечные стволы внушительных калибров, из люков высматривали наземные цели пулеметы, а другие пулеметы, спаренные, в это время обшаривали небо: нет ли там чужих, залетных крыльев? нет, все крылья наши…

От рева мощных дизелей и грохота гусеничных траков закладывало уши. Сизый дым выедал глаза.

Но чувство ликования перекрывало все эти неудобства. Ведь

было совершенно ясно, что на свете нету силы, способной противостоять этой силе.

И нету в целом мире площади, лучше приспособленной для первомайских военных парадов.

А через несколько лет — всего лишь через два года, — для этой гигантской площади нашлось еще одно практическое применение.

Немцы согнали на эту площадь восемьдесят тысяч харьковских евреев, построили их в колонны и погнали по Сумской, по Старомосковской, по шоссе к Тракторному заводу, где уже были вырыты рвы и где стояли со «шмайсерами» наготове расстрельные команды…

Лучше повернем время вспять, вернемся к добрым старым временам, хотя еще вопрос: а бывали ли они вообще?

Вернемся к Госпрому.

Его начали строить в 1925 году, а закончили в двадцать восьмом, когда Харьков еще был столицей Украины.

В этой затее, конечно, угадывалось желание превзойти всех, утереть всем нос, показать и своим, и чужим, где раки зимуют.

Но когда дело было сделано, гордыня, тщеславность намерений, все эти соображения отступили на задний план.

А на переднем плане осталось фантастическое и прекрасное сооружение.

Гребень разновеликих небоскребов (по-украински — хмарочесов, тоже красиво), обступивших полукольцом громадную площадь.

Тогда в ходу была легенда, будто бы Госпром построили американцы, специально приглашенные в Харьков для этой цели. Что именно они возвели все эти небоскребы — точь в точь как у них в Америке.

И тогда, мол, украинские зодчие решили дать бой самоуверенным янки и, в пику им, ударными темпами поставили на левом фланге ансамбля еще одно здание — Дом проектов, — который был на целый этаж выше Госпрома (тринадцать этажей, чертова дюжина, а здесь все четырнадцать, знай наших!..) и который своими изящными легкими статями как бы спорил с громоздкостью Госпрома.

Не знаю, что тут правда, а что — восторженный домысел.

Справочники называют авторами всего сооружения архитекторов Серафимова и Кравца, иногда добавляя к этим фамилиям «и др.» Может быть, именно в этих «и др». скрывались некие американцы? А может быть, этими недомолвками пытались прикрыть имена расстрелянных, замученных в тюрьмах людей? Потому что всю великую славу Харькова — его уникальные

здания, его ядерные реакторы, неуязвимые танки, гигантские самолеты — всё это создали люди, фамилии которых были вычеркнуты из исторической памяти, и я далеко не уверен, что все они теперь возвращены.

Порою мне кажется, что само рождение американской легенды определено не фактом, а образом.

Дело в том, что ансамбль харьковского Госпрома обладает поразительным свойством: он воспроизводит не очертания какого-нибудь конкретного небоскреба (а тогда, в двадцатых, еще не были построены ни Импайр стейт билдинг, ни Крайслер, ни, тем более, близнецы Торгового центра), но воссоздает как бы весь массив Нью-Йорка целиком, всё гигантское столпотворение Манхэттена, каким он видится с Атлантики, когда подплываешь к Нью-Йорку пароходом или подлетаешь к нему самолетом, перемахнув океан…

И мне сдается, что необозримое, почти абсурдное пространство площади перед Госпромом выполняло еще и эту функцию: то есть площадь играла роль океана.

Именно так появился в этом городе собственный сверкающий парадный Манхэттен, любующийся своим отражением в атлантической глади асфальта.

И тут, очень кстати, я вспомнил об одной пустяковине, о клочке бумаги, заложенном в кармашек путевого блокнота.

Уже собираясь в Харьков, я случайно увидел в газете «Правда» от 3 мая 1980 года крохотную заметку, которая называлась «Мамонт… из метро».

> «Харьков, 2 (Корр. „Правды“ И. Лахно). На шестиметровой глубине строители станции метро „Площадь Дзержинского“ обнаружили диковинные кости. Вскоре сюда прибыли палеонтологи музея природы Харьковского университета и установили, что метростроевцы откопали останки мамонта.
>
> — Это не первый случай подобных находок в черте города, — сообщил директор музея Л. Корабельников. — Здесь же в 1925 году во время рытья котлована под дом были извлечены бивни мамонта.
>
> Самый удивительный и ценный для палеонтологов клад был скрыт под толщей земли в древней пойме реки Харьков, в районе поселка Журавлевка. Тут при прокладке туннеля нашли целое кладбище вымерших животных».

Я вырезал эту заметку из газетного листа, сунул в кармашек

блокнота, а сейчас извлек ее оттуда, внимательно перечитал.

«…строители станции метро „Площадь Дзержинского“ обнаружили…»

То есть, это было где-то здесь, рядом с гостиницей, в которой нас поселили, а точнее — под нами.

Не знаю, как насчет двадцать пятого года — тогда меня еще не было на свете, — но где-то в конце тридцатых, когда я уже был, по Харькову прошел слух, что возле зоопарка откопали мамонта. Может быть, об этом тоже сообщили газеты или передали по радио, но я узнал об этом из разговоров на школьной переменке.

После уроков отправился к зоопарку. Он был недалеко от нашей школы: пешком по улице Дарвина, пересечь Пушкинскую, чуть вверх, к городскому саду, где недавно поставили памятник Тарасу Шевченко. Сам с усам, под ним мужики с рогатинами, узники в путах, гайдамаки в шароварах, брошенки с младенцами. Да еще толпа ротозеев со всего города, явившихся созерцать это чудо, памятник, какого больше нет нигде, только в Харькове, у нас ведь всё самое лучшее на свете.

Но в эти дни толпа откочевала к зоопарку.

Здесь, за дощатой оградой, громоздились кучи рыжей глины, только что вынутой из ямы. Голые по пояс работяги орудовали лопатами, выбрасывали грунт в отвал. Бородатые старички в панамках заглядывали в ров и что-то записывали в свои тетрадки…

Из отрытого рва торчала огромная загогулина, похожая на корабельный якорь, на гигантский рыболовный крючок, на серп без молота.

Однако всё это не шло в сравнение с бивнем ископаемого мамонта, который торчал из ямы.

Глядя на эту невидаль, я краем уха вслушивался в пересуды.

Одни говорили, что бивень мамонта, конечно, больше, чем обычный слоновий клык, но сами мамонты не крупнее слонов, просто они очень косматы, потому и кажутся огромней и страшнее… Другие удивлялись такому совпадению, что мамонт сдох не где-нибудь, а прямо в зоопарке, вот ведь как угадал… Третьи же рассуждали о том, что вот, даже двадцать тысяч лет назад Харьков был центром притяжения, средой обитания мамонтов, то есть он гораздо древнее других городов, так, спрашивается, почему же украинскую столицу всё-таки перенесли в Киев?..

Еще в заметке, которую я вырезал из «Правды», говорилось о Журавлевке, где отрыли целое кладбище мамонтов.

А я и Журавлевку знал, как свои пять пальцев.

Потому что всякий раз, когда выпадало свободное от уроков время, я бегал через Журавлевку, через реку Харьков, через мост на Рашкину дачу, на Малиновскую улицу, где жили мои двоюродные братья — Юра и Коля Приходько. Ведь у меня не было родных братьев, сестер тоже, поэтому двоюродные братья были мне как родные.

(Не забыть бы и в этот приезд смотаться на Малиновскую, хотя теперь там никого из родни не осталось).

Так вот, бегая мальчишкой через Журавлевку, я даже не предполагал, что под моими ногами, под землей, схоронилось целое кладбище доисторических животных.

Лишь теперь я узнал об этом.

И это новое знание заставило меня совсем по-иному взглянуть на знакомый с детства городской пейзаж, что был сейчас в гостиничном окне.

Теперь, в зыбком мареве воздуха, колышущемся над разогретым асфальтом, он смотрелся уже не полукольцом конструктивистских бетонных небоскребов, не доморощенным Манхэттеном, любующимся собою в волнах океана, а иначе, совсем иначе.

Я вдруг увидел на этом пространстве, вдоль всего горизонта, шевелящуюся живую массу, подобную надвигающимся грозовым облакам.

Огромное стадо доисторических животных набрело, после долгих кочевий, на это раздольное плато, где лежали обломки стаявшего ледника, где просыхали лбы базальтовых валунов, текли говорливые реки, поросшие вдоль берегов непритязательной зеленью.

Мамонты жили своей обычной жизнью.

Вон там два косматых великана сошлись в бою — сшиблись черепами, бивнями, — то ли что-то не поделили, то ли просто взыграла кровь… А вон там, в сторонке, мамонт взгромоздился на мамонтиху… А еще подале счастливые родители выгуливали своих забавных мамонтят… Кто занят поиском пропитания, а кто уже дрыхнет, храпит, насытив бездонное брюхо.

Лишь один, самый крупный, самый мощный — весь в свисающих складках ноздреватой брони, в рыжих космах шерсти, горбатый от старости, лобастый от ума — наверное, вождь или пророк, — поднял к небу округлые бивни, воздел хобот — и трубит, трубит тревожно, взывая к остальной братии…

«Эй вы, мамонты! Нам нельзя задерживаться здесь, хотя это и очень симпатичное место, мне тоже нравится… Но ведь вы замечаете: льды отступают, снега текут, листья и травы жухнут от

зноя… Я давно предупреждал вас о грядущем глобальном потеплении. Но вы, как всегда, недальновидны и беспечны… Слышите? Нам, волосатым, косматым, нельзя оставаться здесь! Нужно топать дальше — туда, на Печору, на Ямал, на Таймыр… Да, это очень далеко, но что поделаешь? Или вам на всё наплевать, и вы уже настроились жить здесь и подыхать здесь? Ну, что ж, воля ваша. Я обязан предупредить…»

Он трубил и трубил, воздев между бивней морщинистый хобот: «Слушайте, мамонты!..»

Но его никто не слушал.

Дом, который построил дед

На следующий день по прибытии в Харьков ко мне подошел Исидор Григорьевич Винокуров, скромный консультант при Союзе писателей СССР, вдруг возвысившийся здесь, на выезде, до роли начальника штаба Дней литературы, — и сказал доверительным тоном:

— Если понадобится автомашина — ехать куда-нибудь, ведь это ваш город, — звоните мне, всё в момент организуем. Обком партии выделил для наших нужд несколько разгонных автомашин, молодцы!

И я, тоже молодец, поспешил воспользоваться дармовыми колесами.

Мы с Луизой хотели отыскать дом, построенный еще до революции моим дедом по материнской линии Андреем Кирилловичем Приходько.

За рулем новехонькой черной «Волги» сидел улыбчивый парень, назвался Петром.

— Рашкину дачу знаете? — спросил я его.

По задумчивой паузе догадался, что такое название шофер слышит впервые.

Я, для верности, заглянул в блокнот.

— Люсинская улица, дом пять.

— Ну, это другое дело. Найдем.

Мы покатили по респектабельной, шляхетской Сумской, свернули налево, на Старомосковскую, где дома были пониже и попроще, где еще издалека, за версту, чуялось приближение заводских окраин — тут тебе и паровозостроительный, и электромеханический, и турбогенераторный, и тракторный…

Моя мама рассказывала, что еще будучи маленькой девочкой, она думала, что когда окрестные заводы задымят всё небо, то и наступает ночь.

А ведь она родилась не в самой пролетарской семье.

В том-то и была загвоздка.

Я всю жизнь полагал, что нашим родовым гнездом была развалюха на Малиновской улице, где я провел в своем раннем детстве немало дней, а может быть и лет. Развалюха стояла за глухим забором и была типичным южным приземистым строением с верандой во всю стену, с пристройками, флигельками, сараюшками, голубятнями, обступившими пятачок двора.

Это был дом, где меня нянчила бабушка, где прошли юные годы моей мамы, ее многочисленных братьев и сестер,

наплодивших потом и своей детворы.

Как вдруг выяснилось, что развалюха на Малиновской вовсе и не была нашим родовым гнездом.

В канун моей нынешней поездки в Харьков мама вдруг *раскололась*: сказала, что дом, который построил дед, был в другом месте — на Рашкиной даче, на Люсинской улице, — впрочем, это совсем близко от Малиновской, десять минут ходьбы.

А почему мне никто и никогда не показывал этот дом? Почему никто из родни ни разу даже не заикнулся о Рашкиной даче?

Мама в ответ поджимала губы и опускала глаза. Мол, сам должен понимать. Разве тебе еще мало всего того, что уже с нами случилось?

Мне, право же, было достаточно. И расстрелянного отца. И отчима по имени Ганс. И теток, отбывших за моря вместе с Врангелем. И маминого исключения из партии за все эти грехи. И моего тоже…

Но именно в эту пору, в зачин восьмидесятых, ко многим людям — в том числе и ко мне — пришло понимание того, что хватит, что хватит бояться! Что вот так, всю жизнь трясясь от страха — то за самих себя, то за своих детей, — мы и взаправду лишимся памяти, забудем о корнях, сбережем лишь собственную шкуру, не имея даже представления — чья она?..

Мама катастрофически быстро дряхлела, переставала быть похожей на себя — сама жаловалась, что никто не узнает, — ее одолевали хвори, она, вполне очевидно, теряла память и еще, пусть меня никто не осудит за то, что я скажу: сходила с ума… Ведь можно было лишь удивляться тому, что это не случилось с нею раньше.

Перед поездкой в Харьков я вновь усадил ее в кресло напротив письменного стола, раскрыл блокнот, вооружился пером.

Я задавал вопросы.

Она отвечала, опустив глаза, поджав по обыкновению губы, как на допросе.

В том, конечно, была определенная моя жестокость.

Она понимала вполне очевидный подтекст моей настойчивости: что она скоро умрет — и тогда уже будет поздно, тогда уж будет некого расспрашивать…

Но и я сознавал, что мы в этой роли почти равны. Что мне уже за пятьдесят. И что это относится ко мне самому в той же крайней и жестокой степени: потом будет поздно, будет некого спрашивать, некому рассказывать…

Я спрашивал.

Она отвечала.

Я записывал.

Вот тогда она и назвала адрес: Люсинская улица, дом пять.

Попетляв в захолустных улочках близ Конной площади, наш автомобиль выполз на незамощенную, не сглаженную асфальтом площадь, посредине которой стоял массивный дом багрового кирпича с железной крышей. Над крыльцом вывеска — «Продмаг № 33».

Табличка на углу дома: Люсинская, 5.

Из самых глубин памяти вдруг явилась подсказка, что мы с мамой иногда ходили сюда за хлебом. Да-да, а вот здесь, на углу, была водоразборная колонка. Прохожие люди просто нажимали рычаг, склонялись к струе, пили, отирали губы. В жаркие дни мальчишки окатывали друг друга брызгами, я им очень завидовал…

Но мне никто и никогда ни разу не сказал, что этот дом на площади — наш дом.

Может быть потому, что я и в детстве был излишне болтлив, а болтун — находка для шпиона.

Итак, теперь в этом доме — продуктовый магазин.

А еще раньше, в двадцатых, когда был голод в Поволжье и первое поветрие голодомора на Украине, сердобольные американцы из АРА (*American Relied Administration*) разместили здесь столовку для голодающих.

Мне рассказал об этом — позже, уже после поездки в Харьков — один из маминых братьев, Виктор Андреевич, самый младший. Неужели и сам он захаживал сюда за миской похлебки?..

Столовка, магазин… Ну, конечно. Ведь в округе не сыскать было дома вальяжней и крепче. Прорубили в стенах, там, где окна, широкие квадраты витрин, выставили к стеклам банки с килькой в томате, украсили венчиками бумажных цветов.

Заходить в магазин мне не хотелось. Я понимал, что в память навсегда впечатаются полки с ржаным хлебом и дешевой горилкой, неряшливые пузатые продавчихи, алкаши в уголке: «Третьим будешь?..»

В мамином бюваре хранилось несколько старинных фотографий, где были запечатлены когдатошние интерьеры этих комнат: осанистый кабинет деда, с бронзовой чернильницей на письменном столе, с портретиком какой-то дамы в богатом платье и широкополой шляпе, явно не моей бабушки… Сам дед: тучный, лысый, лобастый, в пенсне на широком носу, с цепочкой на пузе, что-то читает, подперев рукою чело… Детская комната,

где у столика для игр сидят на стульчиках младшенькие дети: Витяка с разинутым ртом, Жоржик с плутовской ухмылочкой, Лида, моя мама, с куклой на коленях, примерная и послушная девочка…

Когда через четыре года после моей поездки в Харьков мама тихо умерла, разбирая ее бумаги, я нашел бумажный конвертик с надписью: «*Лида, 1913 г.*» Развернул: в бумажке был локон русых, сразу видно, что детских волос — ангельски светлых, золотистых, легких. Это, конечно, ее мама, а моя бабушка Александра Ивановна раскладывала по конвертикам локоны своих ангелочков.

Позже эти русые волосы молодой дивы немого кино будут питать вдохновение режиссеров и операторов, сводить с ума многочисленных поклонников…

Я вертел в пальцах листок пожелтевшей бумаги, в который бабушка Шура второпях — что попалось под руку, — завернула детский локон.

И вдруг бумажка заговорила:

> «СКЛАДЪ минерального топлива, дровъ, алебастра, цемента, извести и мъла Анны Никифоровны БОЧАРОВОЙ… Харьковъ, Конная площадь, домъ № 1-й…» А на обороте: «Харьковъ, 1юня 24 дня, 1913 г… СЧЕТЪ, Господину ПРИХОДЬКО… Продано и доставлено Вам: 1 бочатъ цемента, 10 пудов, 5рублей…»

То ли еще строили, то ли уже ремонтировали, подправляли дом.

Со слов мамы я знал, что всего тут было семь комнат.

И мне, в этот первый визит на Люсинскую улицу, страсть как не хотелось входить в комнаты, где, как мог я себе представить, в бывшем кабинете моего деда расположилась бухгалтерия, кидают костяшки на счетах, а в бывшей детской пьяный грузчик, средь бела дня, ублажает раскоряченную кладовщицу…

Мимо семенила старушонка лет под сто с плетеной и, кажется, пустой кошелкой в руке.

— Пробачтэ… — обратился я к ней с отменной учтивостью. — Вы не знаете, что тут было раньше, в этом доме, где теперь магазин?

— Та жыв тут колысь… чи адвокат, чи хто… А тэпэр однэ зилля, ниякои нэма ковбасы.

— Дякую.

Поклонившись родовому гнезду, я вернулся к машине.

— Нашли? — спросил молодой водитель.

— Нашел. Это — дом, который построил мой дед.

— Теперь в гостиницу?

— Да, конечно…

На обратном пути мы заскочили еще на Малиновскую улицу, я нажал кнопку у калитки, вышел кто-то из нынешних хозяев.

Я объяснил, что жил здесь когда-то, еще до войны, может быть кто-то остался из тех людей, что жили тут прежде, перечислил фамилии: Полупановы, Антименюки…

Нет, не слыхали даже.

В раннем детстве дворовые мальчишки дразнили меня: «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!»

Я не спорил. Что есть, то есть: рыжий, конопатый… Помимо прочего, завораживала складность дразнилки. Я уже тогда ощущал сакральность рифмы, понимал, что она придает стиху непререкаемость.

Но меня огорчала напраслина, возмущала очевидная вздорность последнего утверждения.

Я никак не мог убить лопатой своего дедушку, поскольку никогда его и не видел: он умер за десять лет до моего рождения, даже чуть раньше.

Будет верным сказать, что он умер *еще до революции*.

Потому что, если бы он дотянул до этого исторического события, то ни за что бы не остался жить ни на Люсинской, ни на Малиновской, ни в Харькове, ни в Полтаве, а уехал бы на хрен вообще из России и увез бы свое обширное семейство куда-нибудь во Францию, где, кстати сказать, и обосновалась позже разумная часть его семейства.

Так что я мог бы, представьте себе, родиться где-нибудь на Лазурном берегу, во житуха!

А мог бы и вообще не родиться, какой ужас.

Что же касается моего деда Андрея Кирилловича, то по поводу его рождения существуют различные версии.

По словам моей мамы, он родился в 1874 году, в ноябре. Согласно другой версии — в 1868-м.

Что касается места рождения, то тут противоречий нет: имение графа Клейнмихеля в Полтавской губернии.

Широко известен авторский эпиграф поэмы Некрасова «Железная дорога»:

> ВАНЯ (в кучерском армячке).
> Папаша, кто строил эту дорогу?
> ПАПАША (в пальто на красной подкладке).
> Граф Петр Андреич Клейнмихель, душенька!

Однако же, когда пришла пора ставить в Москве, на площади Трех Вокзалов, памятник главному строителю железной дороги Петербург-Москва, то на пьедестал водрузили статую сановника с более приличной фамилией, министра путей сообщения при царе Николае Первом Павла Петровича Мельникова. Этот нам компания, пускай стоит.

Что же касается самого Клейнмихеля, то с него и пошла огорчительная семейная распря.

Дело в том, что моего деда Андрея Кирилловича с первых же дней его рождения опекала графиня Клейнмихель.

Это ее, благодетельницы, фотография в золоченой рамке — в богатом платье, широкополой шляпе — стояла на письменном столе Андрея Кирилловича рядом с бронзовой чернильницей.

Именно она снарядила мальчика, когда он подрос, учиться в Германию, в один из старинных университетов, на юридический факультет.

Когда же он превзошел науки, помогла ему получить место в самой почтенной харьковской нотариальной конторе, у Федосеева, а позже и открыть свою.

Дед вел дела владельцев знаменитых кондитерских фабрик Жоржа Бормана и Крамского, а также богатого землевладельца Рашке — от имени этого обрусевшего немца и повелись Рашкины дачи, которые теперь, в послесоветские времена, вновь обрели это название на картах города Харькова.

Тут-то дед и построил свой дом.

Известно, что Клейнмихели опекали столь заботливо и щедро отнюдь не своих детей, а целую ораву незаконнорожденных отпрысков из Петербурга, Царского Села, Ливадии.

То есть, начисто исключается версия о том, что мой дед Андрей имел кровное родство с самими Клейнмихелями, тем более, что граф Петр Андреевич ко времени его рождения уже почил в бозе, избавясь от обременительных забот о чужом потомстве.

Я не знаю имени и девичьей фамилии матери Андрея Кирилловича, в нашем роду это сугубая тайна, известно лишь, что она была не крестьянка. Ее выдали замуж за престарелого, больного чахоткой сельского старосту Кирилла Приходько, на его фамилию и записали в церковных книгах родившегося мальчика.

Но после скорой смерти сельского старосты его вдова вновь вышла замуж. На сей раз за преуспевающего полтавского коннозаводчика Епифана Коломийцева. От их брака родились дети: Акилина Епифановна, Татьяна Епифановна, Иван Епифанович, Константин Епифанович.

Один лишь дед Андрей остался Кирилловичем.

Надо сказать, что единокровные братья и сестры вовсе не чурались приблудного первенца своей матери. Больше того, они охотно общались и дружили семьями даже в те времена, когда мой дед, выучившись в Гейдельберге, как бы кастово обособился — сделался процветающим стряпчим, обзавелся собственным домом и многолюдным семейством, — они по-прежнему встречались, надо полагать, что и бражничали вместе.

А однажды запечатлелись совместно — Приходьки и Коломийцевы — на групповом снимке, сохранившемся доселе в мамином, а теперь моем семейном альбоме: человек десять, кто с бородой, а кто с усами, кто в чопорном сюртуке с жилетом, а кто в вольготной малоросской рубахе с вышитой грудью и косым воротом (мой дед предпочел для этого случая народный стиль), кто в юбке до пят и блузке с рюшами — это я уже имею в виду женщин на старинном фотоснимке, — а кто, опять-таки, в пейзанских расшитых сорочицах, монистах рядами, прямо-таки украинский народный хор имени Веревки, вот сейчас споют, а после кинутся в пляс, вприсядку, гоп, кума, нэ журыся, туды-сюды повэрныся…

Что же касается внешности, лиц моих далеких предков, то все Приходьки и Коломийцевы были неуловимо похожи друг на дружку, еще бы, ведь там, в истоке рода, хотя и было двое отцов, но всем положила начало одна и та же таинственная женщина.

Однажды, когда вместе с мамой и Луизой и всем своим выводком я пришел в гости на улицу Кирова в Москве к троюродной сестрице Милочке Бычковой, ее бабушка Киля, тетя Киля, то есть Акилина Епифановна Коломийцева, глянув на меня — а я к той поре уже вошел в годы, взматерел, облысел, обзавелся брюшком, — глянув на меня, тетя Киля всплеснула руками и ахнула:

— Андрюша!..

Моя мама строго поправила ее, выжившую на старости лет из ума:

— Тетя Киля, это не Андрюша, это — Саша, мой сын…

Но тетя Киля, отмахнувшись от нее, как от мухи, приблизилась ко мне, рассмотрела получше и вновь пораженно вымолвила:

— Андрюша…

Она признала во мне своего единокровного старшего брата Андрея, Андрея Кирилловича Приходько, моего деда.

Эти родственные связи не прерывались и в новых поколениях

Помню, как перед самой войной мама повела своего нового мужа Ганса на смотрины к родне на Москалевку, меня взяли с

собой.

Родня жила в такой же хибаре, как та, что досталась Приходькам на Малиновской, но мы к той поре уже перебрались в приличную квартиру на улице Дарвина. А Коломийцевы ютились в хибаре на Москалевке, дядя Ваня и дядя Костя, я хорошо это запомнил, потому что и мама, и Ганс, и я одинаково называли их дядей Ваней и дядей Костей, но маме-то они, действительно, приходились дядьями, а нам — кем?..

В застольной беседе взрослых, под горилочку, которую и наш Ганс пил исправно, зашла речь о дальнейших ответвлениях рода. И дядя Ваня вспомнил племянницу Вальку, дочь дяди Кости, как она, пионеркой, в красном галстуке, кричала стихи со сцены заводского клуба, и как ей горячо рукоплескали, ну, девка, ну, егоза, вот вырастет, выучится — станет артисткой!

Мне было очень интересно слушать все эти речи, потому что к той поре я тоже был пионером, носил красный галстук, и мне тоже очень хотелось, выучившись, кем-нибудь стать…

Много позже, осенью 1953 года, мне дали командировку от Журнала «Смена» во Львов, где предстояло встретиться с набирающим известность молодым украинским поэтом Дмитром Павлычко, написать о нем очерк, а заодно перевести для журнала несколько его стихотворений.

Эта пора моей жизни была горька.

Я окончил Литературный институт, но никак не мог устроиться на работу. Подводила анкета: расстрелянный в тридцать седьмом отец, отчим с нерусской фамилией, тетки за границей, мать, исключенная из партии, у самого строгий выговор с занесением… Кому я такой был нужен? Перебивался случайными заданиями редакций, целый год мытарился в многотиражке «За газификацию». Творческие дела тоже были не ахти: стихи не шли, муза покинула меня, а охота к прозе еще не проснулась… Семейная жизнь разладилась, я был одинок. Это совсем опустошило душу, я стал крепко попивать, а ведь мне тогда было всего лишь двадцать пять лет!

Узнав о том, что я еду во Львов, мама сказала: «Да ведь там живет Валя Коломийцева, дочь дяди Кости, твоя тетка! Она теперь прима театра имени Заньковецкой, на главных ролях, заслуженная артистка, а ее муж — главный художник театра… Я сегодня же позвоню во Львов, скажу Валентине, чтоб присмотрела там за тобою!»

Уж не знаю, какие страсти наплела она в телефонном разговоре с нею.

Но Валентина Коломийцева встретила меня, как родного, поселила в своей роскошной квартире в центре Львова, кормила-

поила, а сверх того каждый вечер вела в театр смотреть спектакли со своим участием.

Там из вечера в вечер шло одно и то же представление — пьеса Яниса Райниса «Вей, ветерок!». Тетка играла главную роль, ходила по сцене в латышском национальном костюме, в головном уборе наподобие кокошника, и то ли пела, то ли декламировала нараспев, в переводе на украинский язык, песню: «Вий, витэрэць! Плый, мий човэн…»

Сидя в первом ряду, я гордо оглядывался на сидящих в зале: между прочим, это моя троюродная тетя, смотрите, какая она красавица, а как играет!..

Валентина Коломийцева, действительно, была редкой красавицей: высокая, статная, белокурая, голубые глаза, сахарные плечи, оголенные в роли, движенья павы.

Вообще, хрен знает, откуда в нашем роду повелись такие ослепительные, полные аристократизма женщины, ведь мужики-то у нас попроще, хотя тоже молодцы.

Царственность, исходившая от нее на сцене, несколько подавляла меня в домашних условиях, когда она вечерами, после спектакля, запросто беседовала со мною, сидя в кресле, накинув ногу на ногу, а я напротив. «Давайте выпьем водки!» — иногда предлагала она. Прислуга, старая полька, приносила бутылку и рюмки. «Вы читали Винниченко? — спрашивала тетка. — Это запрещенный у нас писатель, потому что он вожжался с Петлюрой, а позже эмигрировал… Я дам вам его роман, правда, местами он неприличен, и потом — это в оригинале, вы читаете на украинском?»

Между прочим, старший брат Валентины Константиновны тоже в своей время эмигрировал, ушел в Югославию — он был белогвардейцем, — и с тех пор ни слуху, ни духу.

Но, слава богу, это не повредило ее сценической карьере.

Еще я забыл пояснить, что мужа тетки в это время не было во Львове, он оформлял спектакль на выезде, в столице, в Киеве. Его тоже звали Валентином. Валентин и Валентина, как у Рощина. А детей у них не было.

Однажды к обеду пришла теткина подруга Маша.

Я давно размышлял над тем, почему у красивых женщин почти всегда в подругах ходят невзрачненькие особы? То есть, ответ, как будто, ясен: чтобы эти невзрачненькие оттеняли, делали еще ослепительней красоту той, что красива. Но вопрос имел и другой смысл: а уж им-то, невзрачненьким, зачем эта роль — быть лишь фоном для сверкающего диаманта? Им-то что за прок от такого соседства?

У подруги было заурядное, хотя и приятное личико. Стройная

легкая фигура. Дело в том, что Маша была по профессии тренером, работала в школе спортивной гимнастики, и среди ее питомцев, как я узнал позже, были очень известные гимнасты, даже один олимпийский чемпион.

За обедом тетка сказала ей: «Ты только послушай его стихи! Читайте…» Я прочел кое-что из лирики. Гостья внимательно слушала, глядя на меня с какой-то участливой жалостью. Я даже предположил, что Валентина Константиновна загодя, приглашая к обеду, успела рассказать ей о моих невзгодах.

Когда же я закончил чтение, Маша, почему-то обращаясь не ко мне самому, а к подруге, сказала: «Ему нужно заняться спортом, лучше всего — спортивной гимнастикой!»

Тетка незаметно подмигнула мне: мол, извините за то, что держу в подругах такую дуру…

А вслух сказала: «Вчера он всего за час перевел на русский язык стихи Дмитра Павлычко, нашего львовского поэта, да так складно! Прочтите, пожалуйста, ваш перевод…»

Я прочел.

Подруга Маша выслушала и сказала, обращаясь уже непосредственно ко мне: «Вам нужно заняться спортом. Лучше всего — спортивной гимнастикой!»

Тетка лишь пожала плечами.

К концу обеда мы даже чуть не поссорились с этой Машей, но не из-за моих поэтических опытов, а из-за Есенина, теперь уж и не помню, в чем была суть конфликта, но она ушла, едва кивнув…

Через несколько дней, когда я коротал время дома, лежа на тахте и почитывая роман Винниченко (тетка звала меня в театр, но мне уже надоело слушать песню про ветерок и созерцать издали ее сахарные плечи), — зазвонил телефон, прислуга, старая полька, сказала, что какая-то дама просит пана. Я взял трубку. «Здравствуйте, это Маша! Знаете, сегодня у меня дома будет небольшой литературный вечер. Вы можете приехать? Очень хорошо, тогда запоминайте адрес, это у Стрыйского парка…»

Когда я приехал на трамвае в старый дом на окраине Львова, когда вошел в уютную комнату, то увидел Машу, сидящую за накрытым столом.

Смутившись, я сказал: «Извините, кажется, я приехал слишком рано, самым первым… я всегда и всюду приезжаю первым, такое дикое невезенье!»

«А я больше никого и не жду, — успокоила меня хозяйка. — Вам вина или водки? Теперь читайте, только не Павлычку, а свое….»

Ночью, когда нам выпадали редкие минуты отдыха, она,

переводя дыхание, ощупывала мои хилые бицепсы и говорила: «Тебе нужно заняться спортом, лучше всего — спортивной гимнастикой… Вот, потрогай мой живот, мой пресс!» Она возлагала мою ладонь на свой пупок. Под шелковистой кожей было твердо: броня, железо, как закалялась сталь. И ладонь поневоле ускользала туда, где нежней и мягче. «Ой, да что же ты такой жадный?..» — вздыхала она.

Когда я наутро заявился домой, тетка ждала меня, сидя в кресле, с сигаретой в пальцах на отлете, глядя исподлобья: «Где вы были? Я ждала вас всю ночь, не сомкнула глаз. А вечером мне играть… Где вы шлялись? Ведь я предупреждала вас: Львов — это Львов! Здесь еще орудует бандеровское подполье, рыщут агенты Ватикана… Вы же знаете, что они убили писателя Ярослава Галана, тюкнули его топором по башке — и всё! А Галан тоже бывал в нашем доме… Вас тюкнут, а мне потом отвечать перед вашей мамой? Ну-ка, выкладывайте, где вы были!..»

Я стоял перед нею, понурясь, как школяр с известной картины художника Решетникова «Опять двойка».

И тогда она, еще зорче вглядевшись в мое лицо, вдруг откинулась к спинке кресла, шлепнула ладонью по подлокотнику, выдохнула потрясенно: «Ну, Машка, ну, стерва!..»

Мои переводы из Дмитра Павлычко были напечатаны в журнале «Смена».

Я так никогда и не достиг спортивных вершин.

Но небольшой литературный вечер в доме у Стрыйского парка, видимо, оказал на меня благотворное воздействие. Он пробудил во мне охоту к жизни. Заставил поверить в свои силы. Четче обозначил цель.

Увы, моя царственная тетка, заслуженная артистка, красавица с сахарными плечами, рано умерла. И когда это случилось, ее муж, тоже Валентин, театральный художник, погоревав, через некоторое время снова женился. На ком же? Вам нипочем не догадаться.

С недавних пор всех новых студентов семинара в Литературном институте я прошу написать подробную автобиографию.

Не только — где родился, где учился, — но и о дальних корнях рода, о детских увлечениях — играл на скрипке, гонял собак, — о путешествиях по родной стране и зарубежью.

Мне это необходимо для того, чтобы на первых порах ориентировать начинающих писателей в тематике их творческих опытов, позже сами научатся.

Студенты увлеченно и живо выполняют задание.

И вот, читая эти жизнеописания, я спрашиваю себя: а почему раньше, лет двадцать назад, я не давал им подобных заданий? Из-за скудости педагогического опыта? Вполне может быть.

Но если вдуматься, то не из-за этого.

Вот строки из нынешних автобиографий: *«Мой прадед был священником…»; «…по отцовской линии семья дворянская»; «Бабушка вышла замуж за богатого сельчанина»; «…в нашей семье есть немецкие и еврейские корни»; «…говорят, что мой прадед был цыганских кровей»; «моя бабушка была верующая и отказалась вступать в комсомол…»*

За все эти прегрешения предков еще недавно можно было жестоко поплатиться. Не попасть в институт. Сломать себе карьеру. Стать невыездным. Быть обойденным наградой. Попасть в «черный список».

И люди были сызмальства приучены — на всякий случай! — не знать своих корней, не иметь прошлого. Это было некой подразумеваемой нормой жизни для целых поколений. Более того, отсутствие прошлого становилось *знаком качества* для личности, признаком благонадежности.

Даже вообразить страшно, сколь много мы потеряли, культивируя этот обычай безродности. Вероятно, ущерб от него равен потерям генофонда из-за войн, репрессий, голодоморов.

Сумеем ли возместить утраченное, вспомнить, записать?

Замечу, что эта сознательная безродность попрежнему в ходу. Однако поменялись знаки. Скрывается уже не прадед-священник, не бабушка, отказавшаяся вступить в комсомол.

Студент, недавно принятый в Литературный институт (кстати, на платной основе), понурив голову, признался мне, как на духу, в тягчайшем грехе своего рода: дедушка был активным участником Октябрьской революции, членом Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б)…

В разговоре обнаружилось, что я знаю про его деда больше, нежели знает внук.

Для начала я отправил его в читальный зал, полистать энциклопедии.

В моей ранней повести «Молодо-зелено», написанной в 1961 году, есть эпизод, который я воспроизвожу здесь без душевного содроганья, не испытывая ни смущения, ни угрызений совести.

Он важен для меня, как документ, как фиксация сознания героев и как фиксация собственного сознания в определенный момент жизни.

Мне было тогда тридцать три.

«**В** дверь постучали.

— Ну вот, доигрались… — проворчал Черемных и стал совать под стол пустые бутылки. — Соседи.

— Телеграмма, — сказали за дверью.

В коридоре темно, не видно человека. Из темноты протянут согнутый книжицей белый серийный бланк, квитанция, карандаш.

Василий Кириллович торопливо развернул телеграмму, застыл.

— Распишитесь…

Он расписался, не глядя.

— Число и время… — напомнили из темноты.

Черемных положил телеграмму рядом со своей тарелкой.

Но не сел. Отошел к окну. И оттуда поплыли пряди табачного дыма. Тонкие и сизые, как седина.

Николай обеспокоено (может, случилось что? может, родственник помер?) посмотрел на глянцевую обложку телеграммы. Но обложка сразу рассеяла его беспокойство. На обложке красовался букетик цветов. Голубые незабудки, синей лентой перевязаны, лента вьется по бумаге, образуя надпись: „С днем рождения!“

Значит, всё в порядке. Поздравительная телеграмма. Кто-то вспомнил, что у него день рождения, и отбил телеграмму на красивом бланке. Очень даже приятно.

Николай заметил, что Ирина тоже смотрит на телеграмму, лежащую поодаль: пристально, будто силясь прочесть, что там внутри, под обложкой. Губы ее поджаты от любопытства.

От злости. От презрения. Ах, скажите на милость — незабудочки…

— Василий Кириллович, ради чего вы нас покинули? — спрашивает она. Уточняет язвительно: — Или ради кого?

Черемных возвращается к столу. Но это уже другой Черемных. Ничуть не похожий на того, который пять минут назад весело скалил зубы, отнимал у Ирины нож, прятал бутылки под стол.

Однако и не скажешь, чтобы он выглядел сейчас опечаленным. Нет, этого не скажешь. Просто движения его медлительны и рассеяны… Крупные кисти рук подрагивают взволнованно, сами по себе бродят по столу, не находя покоя. А в глазах — отрешенность. Как у слепца, чьи глаза не назовешь незрячими: ведь они живут и видят — только не то, что снаружи, а то, что внутри…

Черемных гасит папиросу, виновато улыбается, откупоривает „Саперави“.

— Друзья, давайте выпьем. За прошлое…

Кажется, он совершает ошибку.

Потому что Ирина решительно прикрывает ладонью свой бокал и говорит с нескрываемым вызовом:

— Мы не будем за это пить… У нас нет прошлого.

(А кто это „мы“? У кого „у нас“?).

— Прошлое есть у каждого человека, — пробует ее вразумить Черемных.

— Коля, у тебя есть прошлое? — в упор спрашивает Ирина.

Николай отвечает не сразу.

Ему трудно ответить сразу на этот вопрос. В какой-то мере он согласен с Черемныхом. Прошлое есть у каждого человека. Пятилетний карапуз говорит: „Когда я был маленьким…“

В школе, для воспитания жизненных навыков, подростка учат писать автобиографию. Он исписывает целую страницу. Где родился, про папу и маму, как он в школу поступил, как его в пионеры приняли, как он стал комсомольцем, как получил третий юношеский разряд по шахматам… Все большие и важные события.

Но прошли годы. Человек закончил школу. Служил в армии. Снова учился. Работал там-то, а после там-то и еще где-то. Был избран. Был награжден… Он садится писать автобиографию. Получается одна страница.

Воевал. Женился. Народил детей. Было столько радостей в жизни. Было столько в жизни горя. Вот уж тебе бессрочный паспорт выдали. Вот уж ты и в райсобес узнал дорогу… А всё это опять-таки укладывается в одну страницу автобиографии.

Сложная штука — прошлое. То, что сегодня тебе кажется важным, очень важным и самым важным в твоей жизни, завтра, когда оно станет прошлым, может показаться тебе не таким уж значительным.

О любви вообще не пишут в автобиографиях. Дескать, была у меня первая любовь. Полюбил я одну девушку, а она взяла и вышла замуж за приятеля… Пережил как-то. А потом вошла в жизнь другая любовь. Да так, что о первой и вспомнить смешно…

— У него нет прошлого, — торжествующе заявляет Ирина.

И хотя Николай в какой-то мере согласен с Черемныхом (ведь у каждого человека есть прошлое), он не пытается возражать.

— Мы выпьем за будущее, — говорит Ирина и сама наливает в бокалы густое, как сургуч, вино. — За будущее, да?

— Да, — кивает Николай. Ему этот тост нравится. За будущее.

Вопрос, есть ли у них будущее, не возникает».

Вот такой текст.

И мне, хотя бы теперь, необходимо разобраться в побудительных мотивах, в подтексте написанного когда-то.

Но сперва — о персонажах этой сцены. Василий Кириллович Черемных, главный инженер кирпичного завода, победительной внешности мужчина лет тридцати с гаком (в одноименном фильме эту роль сыграл первый красавец, «первая перчатка» советского экрана Иван Переверзев). Молодой архитектор еще более молодого северного города Джегора Ирина Ильина, только что окончившая институт (первая и, кажется, единственная роль в кино очень красивой ленинградской актрисы Ады Шереметьевой). И, наконец, главный герой повести Николай, Коля Бабушкин, строитель-монтажник, депутат райсовета, так сказать, *идеальный герой*, грёза соцреализма, он-то и есть «молодо-зелено» (в фильме эту роль сыграл сам еще очень молодой Олег Табаков).

Некоторые литературные критики той поры не избежали соблазна отождествить книжного героя Колю Бабушкина с автором повести, может быть, улавливая извинительную простоватость обоих.

А уж создатели кинофильма — режиссер Константин Воинов и его команда — те уж расстарались вовсю: в некоторых сценах Олег Табаков так уморительно копировал походку провинциального автора, что все, кто был в просмотровом зале «Мосфильма», подыхали со смеху, едва не катались по полу, — лишь он один, этот самый автор, сидел, уставясь на экран, не понимая даже, что за смех, что тут смешного?..

Ну, ладушки.

Попробуем разобраться в том понятии прошлого, которое столь многократно и акцентировано звучит в эпизоде.

На первый взгляд, оно таит в себе смысл совершенно интимный, касающийся лишь сторон наметившегося любовного треугольника — Черемных, Ирина, Коля Бабушкин. Девушка ревнует импозантного старшего друга к его прошлому, к былым увлечениям его сердца; Николай догадывается, что прошлое есть и у нее, хотя юный возраст героини позволяет декларировать чистоту; да и сам он, Коля Бабушкин, любил когда-то… Ведь прошлое есть у каждого человека.

Но из первых же посылок, из его раздумий выясняется, что нельзя иметь в виду лишь любовное прошлое. Сразу же появляется весь набор анкетных строгих пунктов: «служил в армии», «стал комсомольцем», «был избран», а еще — «про папу и маму»…

Тем не менее, Ирина Ильина продолжает настаивать запальчиво: «У нас нет прошлого!»

Что же заставило автора с той же настойчивостью насыщать

риторическими повторами речь своих героев?

Ведь не о любовном, в самом деле, треугольнике накатал он свою повесть?

Нет, конечно.

В том было заклинание: у нас нет прошлого!

Того кошмарного прошлого, что лишь недавно перестало быть тайной: с расстрелами безвинных людей; с каторжными лагерями, в которых гноили за колючей проволокой миллионы узников; с жестокой цензурой каждого написанного либо изреченного слова… а если еще дальше, в глубь годов, то и с повальными — именем революции! — конфискациями; с жестокими расправами над крестьянством; с разорением церквей, поруганием икон…

Вообще, заглядывать в прошлое не рекомендовалось. Предпочтение отдавалось современности.

Екатерина Алексеевна Фурцева, призывая писателей, художников, киношников изображать в своем творчестве современность, уточняла на всякий случай: «Современность — это после XX съезда партии!»

Добавлю, что и у меня лично не было причин тяготеть к прошлому.

Там было всё то же: расстрелы, лагеря, репрессии, конфискации…

А обращение к еще более далекому прошлому грозило еще большими неприятностями.

Это знали все. И держали рот на замке.

Живо помню, как за домашним столом, в семейном кругу, в обществе двоюродных братьев — Юры, Коли, Володи, — я однажды (а было это еще при товарище Сталине), раздухарившись, завел речь о загадочной роли графа Клейнмихеля и графини Клейнмихель в судьбе нашего общего деда Андрея Кирилловича…

Старший из нас, Юра Приходько, мгновенно побледнев как мел, округлив глаза, вскочил с места, ударил кулаком по столу, выпятил грудь колесом и заорал столь несвойственным ему, интеллигенту, рыком:

— Ма-алчать!..

Я умолк. Притом надолго.

В 1970-м киевское издательство «Молодь» попросило меня написать предисловие к украинскому переводу повести «Товарищ Ганс», рассказать поподробней об украинских своих корнях.

Когда книга вышла в свет, я, первым делом, повез ее на улицу Кирова, чтобы показать единокровной сестре деда Акилине Епифановне Коломийцевой, той самой тете Киле, что однажды

приняла меня за своего братца Андрюшу.

При этом я имел в виду, что Коломийцевы, в отличие от Приходьков, страсть как не любили все эти семейные тайны, вышучивали не без злости все эти байки про графьев и графинь, все эти легенды о высокородных предках Андрея Кирилловича.

С гордостью, ожидая похвал, я поднес тете Киле книгу со своим проникновенным «Словом до українських читачів», где черным по белому было написано: «*…мій прадід з Полтавщины був кріпаком*».

Тетя Киля прочла эти строки, но не прослезилась, а почему-то вдруг затряслась мелкой трясцей и загоготала, как гуска:

— Га-га-га-га-га-га…

И всякий раз после этого, завидев меня, она опять начинала гоготать, и мне оставалось лишь радоваться тому, что доставил ей столько веселья на старости лет.

Из-за всех этих досадных обстоятельств, да еще по собственной бестолковости, я упустил тот срок, когда можно было зарыться в архивные папки, послать запросы туда-сюда, поговорить со сведущими людьми.

Впрочем, если сказать по правде, меня всё это и не слишком интересовало.

В молодые годы я пребывал в глубоком убеждении, что *род начинается с меня*.

Это, вообще, свойственно молодости. Это заставляет молодых строить жизнь как бы с нуля, по вдохновению, по велению ума и сердца, не оглядываясь на опыт предков, как правило — горький опыт.

Лишь в более поздние годы приходит понимание, что личная судьба всерьез зависит от того, что *на роду написано*.

То есть, она прямо зависима от того, что зашифровано, словно в древних свитках, в спиралевидных цепочках родового генома.

И от этого никуда не деться. Ведь сказано: от судьбы не уйдешь. И лучше бы *знать*, что там записано.

Вот тогда-то я и усадил свою маму в кресло напротив письменного стола, раскрыл блокнот, вооружился пером и сказал: выкладывай…

У моего деда Андрея Кирилловича Приходько и у моей бабушки Александры Ивановны, урожденной Свечеревской, было десять сыновей и дочерей.

Четверо из них — Сергей, Алексей, Вера и Олег — умерли детьми.

Осталось шестеро.

Самым старшим был Николай, мой дядя Коля, прозвище — Пушка. Он родился в 1896 году.

Затем родились две девочки: в девяносто восьмом — Ольга (ее называли Лялей), в девятисотом — Анна (называли Асей).

В 1905 году родилась еще одна девочка — Лидия, Лида, ей-то и суждено было стать моей мамой.

И еще два мальчика: Георгий — в девятьсот восьмом, его все звали Жоржиком, а в девятьсот одиннадцатом — самый младший, Виктор, Витяка.

Вся эта орава и населила краснокирпичный дом на Люсинской улице.

Как уже сказано выше, дед был состоятельным человеком. Он вел дела фабрикантов Бормана и Крамского, землевладельца Рашке, а также своей родни, братьев и сестер Коломийцевых, унаследовавших конезавод Епифана Коломийцева в Полтаве.

В кухонном шкафу моей дочери Людмилы есть несколько тарелок гарднеровского фарфора из столового сервиза, подаренного моему деду, как гласит семейное предание, татарами в благодарность за успешную сделку с лошадьми. Этот столовый сервиз татары привезли к дому на Люсинской улице на двух подводах, в одну не вместилось.

Я ел свою детскую манную кашу из этих тарелок с белыми цветами и нежнозелеными листочками.

До моей манной каши эти тарелки пережили Первую мировую войну и Октябрьский вооруженный переворот. Еще Гражданскую войну и первый этап социалистического строительства.

Уже на моей памяти — Вторую мировую войну, эвакуацию в Сталинград и Барнаул, переезд в Москву, строительство развитого социализма и его неожиданный крах.

И, всё же, несколько тарелок из сервиза, занявшего когда-то Две подводы, целы до сих пор.

Признаться, теперь я лучше стал понимать, почему в раскопах древних городищ, исчезнувших цивилизаций, археологи чаще всего находят посуду…

Погруженный в дела дед находил время и для воспитания своего многочисленного потомства.

Прежде всего, это касалось старшего сына, первенца, Николая. Когда он вошел в соответствующий возраст, Андрей Кириллович повез его в Петербург и представил к поступлению в Пажеский корпус. Повидимому, деда тоже томили семейные предания, либо он что-то знал более точно, либо даже, будучи юристом, имел на руках и более существенные доказательства.

Но в Пажеский корпус Николая не приняли.

Вместо этого, он поступил в юнкерское артиллерийское училище, каковое и окончил, отсюда прозвище — Пушка. Офицерские погоны в Петергофе ему, в числе других счастливцев, вручал сам император Николай Второй.

Уже шла война, и прямо с парадного плаца молодых офицеров отправили на орудийные позиции.

О своей дальнейшей офицерской карьере Николай Андреевич распространяться не любил.

Ныне уже трудно выяснить отношение моего деда Андрея Кирилловича Приходько к нарождавшемуся в России революционному движению народных масс.

Но, опять-таки, семейное предание гласит, что в дни вооруженного выступления харьковского пролетариата против царизма — а именно 12 декабря 1905 года, когда рабочие завода Гельферих-Саде (впоследствии «Серп и молот») завязали бой с казаками и драгунами, и это было настоящее сражение, с пальбой из пушек, с кровопролитием, повальными арестами, — что в тот день и час мой дед оказался на Конной площади (это ведь поблизости от дома на Люсинской улице), а там кипела схватка, и его — а ты-то что суешься, господин хороший?.. — оттянули по спине казацкой нагайкой.

Дед был оскорблен до глубины души этим посягательством на свою честь.

А позже обозначились и личные счеты с царским самодержавием: сына не приняли в Пажеский корпус.

И в нашей семье еще долго лелеяли это предание о казацкой нагайке, как доказательство причастности к классовой борьбе пролетариата.

Я же допускаю, что дед забрел на Конную площадь просто с пьяных глаз.

Он сильно пил. Быть может, причиной тому была засевшая в его душе обида на правящий класс, на аристократию, которая, дав ему приличное образование, начальный капитал и участок под домовладение, всё-таки отвергла его, как бастарда, от высшего круга.

По пьянке дед позволял себе экстравагантные выходки.

Так, возвращаясь иногда в ночь-полночь со своих гулянок, он брал не просто извозчика, а, являя широту души, нанимал всю вереницу экипажей, стоявших на Сумской, на Екатеринославской в ожидании запоздалых седоков, и так, уже вовсе не по-светски, а по-купечески, подъезжал к массивному дому на Люсинской улице, — а бедная супруга, голубка, Александра Ивановна, вместе с малыми детьми, смотрела из-за занавесок на подъезжающую

процессию…

Умер Андрей Кириллович еще совсем не старым человеком, не доживя и до пятидесяти.

Когда я был мальчиком, то не раз спрашивал маму: от чего умер дед?

Она отвечала: от водянки. В другой раз: от заворота кишок.

И лишь гораздо позже, обнаружив, что и я попиваю чересчур усердно, она открыла мне причину его ранней смерти: не от заворота кишок, не от водянки, а от водки.

Конкретно: дед умер в Харькове в 1916 году, сорока восьми лет отроду.

Его похоронили на кладбище у храма Кирилла и Мефодия.

Могила деда не сохранилась. В советское время кладбище ликвидировали, надгробья сравняли с землей, дорожки закатали в асфальт, еще насадили деревьев, разбили клумбы и открыли парк.

Мы с мамой часто гуляли в этом парке, у ХПЗ, у паровозостроительного завода, среди фанерных щитов с портретами стахановцев, кумачовых полотнищ между столбами, гипсовых статуй гребцов и пловчих, — и мама говорила, показывая на клумбу с левкоями: «Здесь лежит твой дедушка».

Таким образом, мой дед Андрей Кириллович не дотянул лишь самую малость до Великой Октябрьской социалистической революции.

Он, слава богу, не дождался того дня и часа, когда большевистские комиссары явились в построенный им краснокирпичный дом на Люсинской улице и предъявили ордер на его конфискацию.

Всего лишь пару лет не дожил он до той поры, когда вся его многодетная семья была, будто вселенским взрывом, разметена по белу свету, по земному шару, от Тихого до Индийского океана — причем эти координаты употреблены здесь не ради красного словца.

Повторю: конечно же, дотяни дед до Октября, он ни за что не остался бы жить в этой хамской стране, потерявшей лицо, имя и совесть, с ее малахольными вождями, пархатыми комиссарами, обнаглевшими кухарками, — в стране, где ему, всё равно, ничего не светило, кроме тачки на рытье какого-нибудь канала либо пули в затылок… Тут бы живо нашли всех его загадочных предков, припомнили бы заграничные университеты, сосчитали бы все денежки, которые он заработал на эксплуатации трудового народа.

Тут не было иного выхода, как *делать ноги*.

Вижу, будто наяву, такую картину: к дому на Люсинской

улице подкатывает вереница экипажей, нанятых дедом на Сумской или на Екатеринославской. В багажники укладывают тюки с домашним скарбом, собранным наспех, чемоданы, баулы, портфели…

Дед, свирепо шевеля усами, задыхаясь от гнева, садится в первый экипаж, усаживает рядом с собою супругу, Александру Ивановну, отирающую слезы батистовым платочком.

В другой пролетке, под тентом, младшенькая детвора: Витяка с разинутым от любопытства ртом; хитрый Жоржик, шныряющий взглядом по сторонам; послушная девочка Лида с куклой на коленях, моя будущая мама, — впрочем, к этой поре она уже учится в гимназии.

В третьем экипаже — старшие дочери. Холодная красавица Ася запахивает на шее воротник куньей шубки, нетерпеливо оглядывается, говорит с вызовом: «И est temps de partir! Combien de temps est-ce-que nous devons passer ici?» В смысле: пора ехать, сколько можно торчать в этой дыре?.. Мудрая Ляля молчит, устраивая на коленях поудобней редикюль с красным крестом сестры милосердия.

А где же Николай, старший сын, старший брат?.. Тс-с, не хватает еще вслух задавать подобные вопросы! Где он?.. А где сейчас все приличные молодые люди? Смекаете? Ну, то-то…

— Трогай! — командует дед. — Гони через Мерефу, через Полтаву, через Черкассы — до самого Парижа… Поехали, с Богом!

Вереница экипажей трогается с места. А следом еще две подводы с гарднеровским столовым сервизом.

Вот такое ретроспективное фантастическое видение.

Но оно, увы, лишь фантом.

Уже некому и не на что нанять экипажи, некому подавать властные команды. Уже нету главы семьи, хозяина и кормильца.

Теперь каждому придется наособицу, самостоятельно искать свою дорогу в жизни, мыкать свою судьбу.

А тут такое дело: вдруг в одночасье рухнул мир…

Спустя несколько дней, в плотном распорядке Дней советской литературы в Харькове я опять обнаружил окошко, несколько свободных часов для того, чтобы съездить еще по одному заветному адресу, на ХПЗ, в поселок Тракторного завода, где мне довелось жить и учиться в новой школе — всего лишь годок, тут и грянула война…

Я опять попросил машину, и мне опять ее дали.

За рулем черной «Волги» сидел молодой улыбчивый парень.

— Э-э… Петро?

— Он самый.

— Ну, привет! Рад новой встрече. Мы с вами уже ездили однажды: на Люсинскую улицу, на Рашкину дачу. Помните?

— Как не помнить! Ведь мне в тот день пришлось еще раз смотаться на Люсинскую.

— А зачем?

— Начальство ездило смотреть ваш дом на Люсинской.

— *Мой дом*?! — Я смаргивал оторопело. — Какое еще начальство?

— Сидор Григорьевич ездил. Смотрел тот дом на Люсинской, который построил ваш дед.

Красное смещение

Прочел в энциклопедии:

> «КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ, понижение частот электромагнитного излучения… Название К.с. связано с тем, что в видимой части спектра в результате этого явления линии оказываются смещенными к его красному концу…»

Вы поняли? Я ни черта не понял. Но мне это подошло.

Среди фотографий моей мамы (а их осталось много, что может себе позволить женщина, знающая цену своей внешности, тем более снимавшаяся в кино) есть одна, еще детская, которая изумляет обыденной трагедийностью контекста.

На этой фотографии — крохотной, вероятно любительской, отпечатанной с негатива в домашних условиях, контактным способом, — она снята в гимназическом платье с белым кружевным воротничком, в черном фартуке. Русые волосы забраны в косицы на затылке. Губки, носик, бровки. И тот удивительный *фамильный* взгляд, который присущ всем Приходькам, отчасти даже мне: беззащитный, доверчивый, мягкий.

Но не слишком обольщайтесь этой мягкостью, мы иногда кусаемся.

На обороте фотографии — надпись детским почерком с завитушками: «*На память дорогой сестрици Оли отъ сестры Лиды. 23 октября 1917 года*».

Не корите младшую из сестер нерадивостью в школьной грамоте, она была прилежной ученицей, позже работала машинисткой, и никто никогда не попрекал ее безграмотностью. А допущенные в тексте ошибки — «сестрици Оли» — можно счесть украинизмом, по-украински так и пишется, но через краткое «і».

Потрясает датировка: 23 октября 1917 года.

Всего лишь два дня остается до того события, которому сперва не придадут особого значения — тем паче в отдалении от Петрограда; которое сочтут нелепостью, гримасой неспокойного времени; о котором многие подумают — ну, и хрен с ними, с большевиками, нас это не касается; но это коснется всех, всех без исключения, это перевернет судьбы миллионов людей, и их самих, и тех поколений, что придут за ними; это вообще изменит

мир до полной неузнаваемости, и он никогда больше не войдет в свои берега, не вернется к прежним очертаниям…

И до этой планетарной катастрофы остается лишь два дня.

Никто ничего не предвидит, не предчувствует.

Просто одна маленькая девочка напишет на обороте своей фотки: «На память дорогой сестрици Оли отъ сестры Лиды». И на всякий случай обозначит дату: «23 октября 1917 года».

Кстати, я до сих пор не знаю, почему фотокарточка с дарственной надписью осталась в бюваре дарительницы.

То ли старшие сестры ударились в бега сразу же, как только до них дошли вести из Петрограда, бросив всё, включая семейные реликвии (но это противоречит сказанному мною выше — что эти события еще никто не воспринимал всерьез), то ли к той поре они уже были далеко от родного дома, где-нибудь в Крыму, в Севастополе, в Одессе, — и возвращаться за реликвиями было недосуг, не по пути.

Мы пили чай из белых кружек с портретами российских самодержцев. Мне достался Александр Третий.

Хотя *перестройка* неслась в разгон — был октябрь 1988 года, — подобные кружки с царями в московских магазинах еще не продавались.

Вероятно, Андрон привез эти кружки оттуда, из Америки, из Голливуда, где он вполне успешно поставил несколько фильмов, а теперь вернулся восвояси.

Мы чаевничали на кухне его холостяцкой квартирки на Малой Грузинской.

А предыдущий разговор на ту же тему — о Скрябине — случился лет двадцать тому назад, когда мы оба были еще сравнительно молоды. Тогда мы с Андреем Михалковым-Кончаловским сидели в Дубовом зале писательского клуба, и я уже не помню, что мы тогда с ним пили.

Зато я хорошо помню, что беседа вдруг приобрела желанный творческий накал именно в ту минуту, когда я заговорил о *прометеевом аккорде*, о том фантастическом оркестровом созвучии, вбирающем в себя все тональности, которым начинается симфоническая поэма «Прометей». Этот аккорд пронизывает насквозь всю поэму, и он же звучит в финале.

Я, как умел, объяснял собеседнику, что прометеев аккорд принято считать до-мажорным, хотя он и синтетичен.

Как-то раз мне довелось побывать в Хорхорине, одной из столиц Чингиз-хана в Монголии, в старинном храме. И там буддийский монах, показывая мне древний колокол, раскачал язык, ударил им в стенку — и бронза выдала тот невероятный

всетональный аккорд, который звучит в «Прометее»…

Еще я сказал тогда режиссеру, что сам Александр Николаевич Скрябин отождествлял этот до-мажорный аккорд с пронзительным яркожелтым светом, цветом солнца, имея в виду световую партитуру поэмы, и этот свет тоже вбирал в себя весь мыслимый спектр цветов.

— Солнце… — сказал тогда Андрон Кончаловский. — На экране должно быть солнце! Минут двадцать. Только солнце, и ничего, кроме солнца… Ну, еще музыка, конечно!

Он знал музыку Скрябина не понаслышке, сам в юности играл его фортепианные пьесы. И сейчас, когда он говорил о солнце, его пальцы ходили по накрахмаленной скатерти, как бы перебирая тональности и регистры.

Лицо его было озарено: он уже видел и слышал будущий фильм…

Но потом он уехал надолго.

И сейчас моей задачей было — растормошить его память, заставить все вспомнить, заставить воспылать, как тогда!

Я излагал основной сюжет, который теперь и мне виделся несколько иначе, нежели двадцать лет назад.

Вслед за «Прометеем» Скрябин начал писать свое новое симфоническое произведение, которое называл «Мистерией». Перед этим он еще набрасывал партитуру «Предварительного действа», объясняя близким, что это, так сказать, подступ к основному замыслу, *безопасная*, как он говорил, мистерия. Но из этого следовало, что сам творец отдавал себе отчет в *опасности* всей затеи!

Поклонники Скрябина и просто его счастливые современники с благоговейным ужасом ждали нового опуса, поскольку у людей, смыслящих в музыке, душа ушла в пятки еще от предыдущего творения, от «Прометея». Там было от чего придти в восторг, в священный транс, но и было чего испугаться…

Всех ошеломили громогласные заявления композитора о том, что его «Мистерия» будет исполнена лишь один раз, однократно. Причем не где-нибудь, а в Индии, в специально построенном для этого святилище, составом большого симфонического оркестра, хора *a capella* и балетной труппы, исполняющей не столько танец, сколько магические телодвижения, а также с применением устройств светового сопровождения, которое злые языки заранее объявили светопредставлением…

Скрябин был убежден в том, что однократный творческий акт — исполнение «Мистерии» — преобразит, преобразует мир.

Что мир в одночасье изменится, обретет иное лицо, иное духовное наполнение, что всё станет иным.

И все — буквально все, что крайне важно! — обретут счастье.

Притом цель будет достигнута без войн, без революций, без применения оружия — одной лишь магией искусства (повторю: оркестр, хор, балет, грамотные светотехники), в локальном пространстве и в строго ограниченный промежуток времени — время исполнения «Мистерии»…

Александр Николаевич Скрябин не был социалистом, хотя и почитывал Карла Маркса — остались тома, испещренные его пометками.

Он отдавал предпочтение книгам мадам Блаватской, ее «Тайной Доктрине», ее Индии.

Он не скрывал своих идеалистических воззрений.

Но, тем не менее, охотно водил дружбу с главным русским марксистом Георгием Валентиновичем Плехановым, когда тот находился в эмиграции, и они жили по-соседству в Больяско, близ Генуи.

Бывало, утрами Плеханов гулял со своей супругой Розалией Марковной по кромке синего залива, а Скрябин со своей Женой Татьяной Федоровной Шлёцер шествовал навстречу. — и Георгий Валентинович сдергивал шляпу, кланялся в пояс, начинал благодарить композитора: «Спасибо вам, Александр Николаевич, огромное спасибо!» — «Помилуйте, за что?» — удивлялся Скрябин. — «Ну, как же! За это море, за это солнце, за эти сосны! Ведь всё это существует лишь в *вашем сознании*, не так ли? А мы, грешные люди, пользуемся…»

Однажды к Плеханову прибыл искровский курьер, от Ленина. Здороваясь, назвал его «товарищем». Когда же Георгий Валентинович представил ему своего гостя, господина Скрябина, — Александр Николаевич поправил хозяина: «Я тоже *товарищ*».

Итак, он писал «Мистерию».

Не только писал, но иногда, средь бела дня, приглашал в свой кабинет, что в Большом Николопесковском переулке, юную актрису Художественного театра Алису Коонен (на это время всех домочадцев выпроваживали из дома). Оставшись вдвоем, они осуществляли пробы этого синтетического действа: то есть, Александр Николаевич извлекал из рояля какие-то странные созвучия, повторявшиеся во вспышках разноцветных лампочек, а девушка, в легком хитоне и сандалиях, с кисейным шарфом в руках, пробегала по паркету и вспрыгивала, зависая в воздухе… Он обещал ей главную партию в своей «Мистерии».

Между прочим, я видел Алису Коонен в «Адриенне Лекуврёр» — еще мальчиком, в Барнауле, куда в войну был эвакуирован Камерный театр. В ту пору она была уже немолода, но, всё равно,

прекрасна: я влюбился в нее, сидя в последнем ряду галерки.

— Алиса Коонен? — недоверчиво переспросил Андрон. — А он что — интересовался женщинами? Ведь он был росточком вот досюда, — он показал чуть выше своей поясницы, — усы, как у Тартарена, бороденка… А что — женщины тоже интересовались им?..

Он смотрел сквозь очки, брезгливо сморщась, не пряча изумления по поводу того, что прекрасные женщины, тем более актрисы, могли проявлять интерес еще к кому-то, кроме него самого.

— Неужели?.. — не верил он.

— Да, — подтвердил я. — Он очень интересовался женщинами, и они были от него без ума. Но дело не в этом…

Хотя «Мистерия» существовала пока лишь в черновых набросках, которые автор никому не показывал, народ забеспокоился.

Конечно, основания для тревоги были. Ведь уже шла мировая война. И еще свежа была память о девятьсот пятом. Россия роптала. Вспыхивали бунты.

Мотивы *эсхатологии*, надвигающегося конца света, удручали интеллигентное общество.

С тем и пришли к знаменитому дирижеру Сергею Кусевицкому, который, как утверждала молва, и должен был дирижировать «Мистерией» в Индии.

«Сергей Александрович, — сказали ему, — ну, Скрябин сошел с ума, это всем известно… Но вы, вы! Ведь вас считают благоразумным человеком!»

Еще бы не считать. Контрабасист оркестра, женившийся на дочери чаеторговца Ушкова, получил за невестой приданое, которое позволило ему поехать за границу, нанять там целый симфонический оркестр — и, так сказать, на нем учиться сложному дирижерскому искусству.

Но когда он вернулся в Москву и продирижировал в Колонном зале Дворянского собрания «Прометеем» Скрябина, все сошлись на том, что гениальны оба — и автор музыки, и дирижер…

«Сергей Александрович! — увещевали теперь его. — Да неужто вы, здравый человек, верите в это? Что после „Мистерии“ *мир перевернется*?»

«А что? — в свою очередь удивлялся, разводил руками маэстро. — Ну, что тут такого? Сыграем — и пойдем ужинать…»

Это успокаивало. Вся Москва повторяла: «Сыграем — и пойдем ужинать… ха-ха».

Однако Скрябину не суждено было осуществить свой дерзкий

замысел.

У него на губе вдруг вскочил прыщик, вызвавший общее заражение крови. И когда у постели появился священник, приглашенный соборовать, Александр Николаевич еще нашел в себе силы воскликнуть: «Значит, я могу умереть? Но ведь Это — катастрофа!..»

При этом он имел в виду не только свой уход из жизни в самом расцвете лет, но и крушенье главного творческого замысла: переустройства мира посредством музыки и танца.

Он преставился на Фоминой неделе, когда по всей Москве ликующе гудели пасхальные колокола, и люди, несшие гроб на плечах по Арбату, перешептывались суеверно: родился двадцать пятого декабря, на Рождество, а умер в Воскресение Христово…

Скрябина не стало.

Но светопреставление, всё же, состоялось.

Просто мир был перевернут другим способом.

— Ну да! — уловив подтекст моих речей, завелся Андрон. — Нахамкис с маузером едет верхом на паровозе!.. Залп «Авроры»!.. Матросы лезут на ворота Зимнего, они распахиваются настежь, как ширинка. Пиротехники взрывают петарды…

Я не остался в долгу, рассказал ему анекдот, который, может статься, еще не достиг Америки, покуда он обретался там.

Матросы звонят с Почтамта: «Алло, Смольный?» — «Смольный слушает». — «У вас там есть?» — «Нету. Было, но всё выпили…» — «А где есть?» — «Говорят, есть в Зимнем. Полные подвалы». — «В Зимнем? Ну, ладно… Ура-а-а!..»

Он засмеялся, скаля белые крупные зубы на смуглом от природы лице.

Анекдот был ничем не лучше и не хуже других, с обратным знаком. Вроде того, как Керенский бежал из Зимнего, переодевшись сестрой милосердия…

Но мой собеседник тотчас насупился.

— А зачем нам весь этот маскарад? Зачем нам прикрываться Скрябиным, если речь идет о Ленине? Будем и дальше пробавляться аллегориями?..

Я разозлился в свою очередь. Он не понимал меня. И в тот раз не понял, в Дубовом зале. И теперь, двадцать лет спустя, не понимает.

— Вот какое дело… — забормотал я глухо, уже предчувствуя, что и на сей раз мы не сговоримся. — Я вовсе не имел в виду аллегории, нет-нет… Ленин? Но он мне просто не интересен. Совершенно… Меня интересует Скрябин!

Мама училась в гимназии Лосицкой на Москалевке.

Никого из ее школьных подруг я впоследствии не встречал. Видно, жизненные пути разошлись слишком далеко.

Лишь однажды она взяла меня с собой в кино на Екатеринославской, которая к тому времени стала улицей Свердлова, и там, перед сеансом, в фойе, был концерт: певица в шелках пела пролетарские романсы, а какой-то лысый хмырь ей аккомпанировал.

— Это Клава Шульженко, — с гордостью шепнула мне мама, — я училась вместе с нею в гимназии…

В детстве мама тоже пела — на клиросе, в церковном хоре, у нее было высокое сопрано.

Брала уроки пения у известного в Харькове педагога, профессора консерватории Павла Васильевича Голубева, он и позже присылал ей приглашения на концерты своего класса, которые она хранила. Но перенесенная ангина дала осложнение, что-то произошло со слухом, и она распрощалась с мечтою стать певицей.

Впрочем, всю жизнь продолжала интересоваться вокальным искусством, завидовала поющим людям, боготворила их, а иногда, в минуты светлого настроения, которыми жизнь, увы, не баловала ее, она вдруг начинала петь — то за мытьем посуды, то за домашней уборкой. И этот певческий репертуар был моим первым приобщением к музыке. Репертуар менялся в зависимости от градаций настроения: то ария Чио Чио Сан (в повести «Мальчики» я подарю эту арию детдомовскому мальчугану Жене Прохорову); то озорные песенки Франчески Гааль из кинофильма «Петер»; а то вдруг песня без слов, пленительный вокализ, в который я влюбился до слез, не зная даже, что и откуда, и лишь повзрослев, обнаружил, что это — тема «Зимней симфонии» Чайковского.

Здесь самое время сказать и о стихах.

Разбирая бумаги после ее кончины, я обнаружил множество стихотворений, написанных от руки, перепечатанных на машинке, снабженных эпиграфами из Блока, из Гумилева, в меру подражательных, похвально искренних, вполне очевидно — любительских, студенческих, может быть юнкерских. Я уж было предположил, что все эти строки — «Уж оторван цветок, застонал весь утес, и заплакали снежные долы…» — что они посвящены ей.

В этом плане меня особенно заинтересовали стихи, где были такие, например, фигуры:

Севера ж хмурого сын,
дикий остяк-зырянин,
радуясь всякому «изму»,

взор обратил к большевизму…

Датировано ноябрем семнадцатого.

А под другим стихотворением я обнаружил не менее любопытные датировку и координаты: «20 февраля 1913 г., с. Усть-Кулом».

Усть-Кулом — это районный центр будущей Коми АССР, который, надо полагать, и тогда, в тринадцатом году, был местом ссылки.

То есть, я предположил, что в этих самодеятельных виршах была как бы запрограммирована моя собственная доля: целое десятилетие молодости, ни с того, ни с сего, по дурости, добровольно, без приговора, проведенное мною в тех благодатных краях… Я усмотрел в этом перст судьбы.

Но тотчас, проведя в уме простой обсчет, обнаружил, что эти стихи никак не могли быть посвящены моей маме, поскольку в тринадцатом году ей было восемь, а в семнадцатом — двенадцать лет. Еще не возраст принимать галантные посвящения.

Оставалось предположить, что эти стихи были посвящены какой-нибудь из старших сестер, Ляле либо Асе, и что эти реликвии юности были так же впопыхах оставлены в Харькове, как и фотокарточка девочки в гимназическом платье, «…сест рици Оли отъ сестры Лиды…»

Однако в тех же маминых бумагах я нашел и целые стопки перевязанных лентой бумажных листков, исписанных чернилами, и там уж почерк поэта был совсем иным, и манера иной, и датировка куда более поздней, — и уж эти-то стихи были посвящены, несомненно, младшей из сестер, Лидочке, в самый канун ее замужества и даже после него.

Не слишком ли был беспечен мой отец?

Поэтическая тема продолжилась и гораздо позже.

Вот пожелтевшая от времени записка:

> «Пропустите 3 лица сегодня 6/IV-34 г. на выступления поэтов: Асеева, Кирсанова и Уткина. Уполном. Н.К.П. Г. Воскрес… закорючка».

Из трех лиц вторым был я: мне запомнился этот поэтический вечер, на который меня взяли, поскольку девать было некуда. Но кто был третьим? К тому времени мама уже развелась с моим отцом, но еще не вышла замуж вторично. Так кто же был третьим? Не помню.

Через всю свою поэтическую юность я пронес уважение к трем поэтам, выступление которых слушал в Харькове еще совсем

малюткой.

А в присутствии двоих из них — Кирсанова и Асеева — сам читал стихи на вечере студентов Литературного института в Дубовом зале писательского клуба, на том знаменитом вечере 1947-го, где добыл свой первый успех мой однокурсник Володя Солоухин, прочитавший «Дождь в степи».

Маяковского мама не любила.

И недоуменно пожимала плечами, застав меня — школьника, а потом студента — за упоенным чтением его поэм.

Когда я спрашивал ее — почему? почему Асеев и Кирсанов, а Маяковский — нет? — она отвечала всегда одно и то же.

Что однажды в машинописное бюро редакции газеты «Вечернее Радио», где она работала, заглянул мужлан в шубе волчьего меха, с квадратной челюстью, папиросой, закушенной в зубах, обвел взглядом склоненных над «ундервудами» барышень и спросил: «А где здесь нужник?» Она ответила ему: «Не здесь».

Но прежде, чем стать машинисткой в «Вечернем Радио», она, как принято говорить, прошла славный трудовой и даже боевой путь.

Девочка из пятого класса гимназии, с косичками на затылке, после того, как гимназии упразднили, перешла в обычную школу.

Но и там учиться дальше ей не пришлось. В семье, потерявшей кормильца, лишившейся родного крова, на ее иждивении оказались пожилая мать и двое малолетних братцев — Жоржик и Витяка. Старшие сестры Оля и Ася были уже далеко, на их возвращение, на их помощь рассчитывать теперь не приходилось. Старший брат Николай был невесть где. И работать, добывать скудный паек живущей впроголодь семье выпало ей, больше некому.

Пятнадцатилетняя девочка поступает на службу туда, куда взяли. А именно: в штаб войск Украинского военного округа.

Я верчу в руках — осторожно, боясь, что рассыплется в прах, — бумажку, удостоверяющую, что предъявитель сего, Приходько Лидия Андреевна, действительно работает машинисткой в учреждении, которое называется ЧУСОСНАБАРМУКРЗАП, что расшифровывается как Чрезвычайный уполномоченный совета по снабжению украинской запасной армии. Датировано февралем двадцатого.

Здесь она прослужила два года. Благо, это было хоть недалеко от дома, на площади Руднева.

Название конторы, куда ее перевели, было еще более впечатляющим: штаб войск Государственного Политического Управления Украинского округа, то есть ГПУ, Чека.

Здесь она тоже работала машинисткой. Но служба оказалась более подвижной.

Она рассказывала мне. Ездила по Новороссии, по Крыму на бронепоезде «Красный оборонец», который гонял по степи банды Махна и атамана Зеленого. В районе Джанкоя бронепоезд попал в засаду, выдержал жестокий бой.

Начальник бронепоезда Ленговский назначил ее своим личным секретарем…

Здесь, уловив мой смятенный взгляд, она поспешила добавить:

— Жена Ленговского ездила на бронепоезде вместе с ним.

Степь, перекопанное поле, бандитские тачанки, вырывающиеся из орешника, четверки вспененных коней, заслоны из телег на их пути, взрывы гранат, пулеметный стрекот…

Я уже сто раз читал об этом, видел это на киноэкране.

В ушах зазвучали еще никем не заданные, но достаточно ехидные вопросы: «А этих девушек — сестер из респектабельной русской семьи, вдруг захлестнутой шквалом революции, — их звали не Катей и Дашей? Они не Булавины? А этот декадентствующий поэт, который посвящает им стихи, не Алексей ли Бессонов из романа „Хождение по мукам“? А эти передряги с поездом, остановленным в пути махновской бандой — опять-таки, не оттуда ли, не из романа Алексея Толстого, не из его экранизаций?..»

Но меня не могли смутить подобные вопросы.

Хотя бы потому, что я задавал их сам.

— Мама, — говорил я, — но Джанкой — это совсем рядом с Севастополем, Одессой… Именно там, в смертной давке, грузились на корабли офицеры Врангеля, их семьи. Разве не могли быть среди них твои сестры Ляля и Ася?

— Они вполне могли быть там. Я думала об этом, — отвечала она.

— Мама, — продолжал я не без едкости, — а не пора ли появиться в твоем рассказе той зловещей фигуре, что очень колоритно выписана Алексеем Толстым в его книге: Левке Задову, начальнику махновской контрразведки в Гуляй-Поле?

Она задумывалась и отвечала спокойно:

— Нет, это позже… Левку Задова я впервые увидела уже в Одессе, когда мы переехали туда жить. Разве ты не знаешь, что он был чекистом? После батьки Махна он служил в одесском Чека. Но я думаю, что он был чекистом и тогда, когда зверствовал в Гуляй-Поле…

Много позже я прочту в бумагах расстрельного дела своего отца показания, которые дали на допросах — против него —

Левка Задов и его брат Данька. Но их тоже не пощадили.

Подлинные жизненные сюжеты завязывались еще туже, еще круче, чем коллизии знаменитого романа.

Добавлю к этому, что первую масштабную экранизацию «Хождения по мукам» осуществил в 50-е годы минувшего века режиссер Григорий Львович Рошаль.

Именно в его студии училась актерскому мастерству моя мама, а позже снималась в его фильмах.

Ничем иным, кроме магии искусства, я не могу объяснить и то, что одного из самых ярких персонажей «Хождения по мукам» — трагического актера, главаря московских анархистов — и в жизни, и в книге зовут *Мамонтом*. Мамонт Дальский.

Но куда больше этих совпадений поразил меня один авторский пассаж великого романа, когда я взялся перечитывать его уже в нынешние времена.

«…Весь круг людей, где жила Катя, видел в революции окончательную гибель России и русской культуры, разгром всей жизни, мировую пугачевщину, сбывающийся Апокалипсис. Была империя, механизм ее работал понятно и отчетливо. Мужик пахал, углекоп ломал уголь, фабрика изготовляла дешевые и хорошие товары, купцы бойко торговали, чиновники работали, как часовые колесики. Наверху кто-то от всего этого получал роскошные блага жизни. Поговаривали, что такой строй несправедлив. Но что поделаешь, так бог устроил. И вдруг всё разлетелось вдребезги, и — развороченная муравьиная куча на месте империи… И пошел обыватель, ошалело шатаясь, с белыми от ужаса глазами…»

Так видел эпоху Алексей Толстой, когда писал свой роман — то ли из недр, то ли с верхотуры строя, которому он, вернувшись из эмиграции, безропотно служил своим пером.

Предвидел ли он, что и новая империя — уже советская — рухнет столь же катастрофично, повинуясь единому для всех времен закону, согласно которому все колоссы разваливаются рано или поздно?

Кто знает, что он предвидел, о чем думал.

Анекдот той поры изображает такую картину.

Раннее, еще безлюдное московское утро. По улице Горького, бывшей и будущей Тверской, едет верхом на белом коне генерал Скобелев — едет как раз там, где стоял его конный памятник, снесенный большевиками…

Из подворотни выбегает интеллигентный, гривастый, сильно пьяный мужчина в мятой шляпе и пальто нараспашку, бывший граф, а ныне депутат Верховного Совета Алексей Николаевич Толстой.

Устремляется к всаднику и, прижав шляпу к груди, сообщает ему потрясенно:

— В-ваше п-превосходительство, что тут было-о-о!..

Новый поклонник дочери сразу понравился ее матери, Александре Ивановне.

В отличие от других кавалеров, он был прилично одет, что, вобщем, и не удивительно — ведь только что из Парижа. В нем угадывалась офицерская выправка, да он и не скрывал, что дослужился на фронте до штабс-капитана. В его речи сквозила культура, почерпнутая в заграничном университете.

И что особенно радовало Александру Ивановну — он не пил водки, предпочитая красное вино, которое, к тому же, по парижскому обычаю, разбавлял водой.

В семье, где еще помнили загулы Андрея Кирилловича и знали подлинную причину его ранней смерти, этого достоинства жениха не могли не оценить.

Правда, раньше он уже был женат — и не делал из этого секрета. Показывал фотографии бывшей жены — Анны Христофоровны, темноволосой, густобровой дамы, вероятно с примесью южных кровей. Показывал и фотографии восьмилетней дочери Тамары, которая учится в балетной школе — там, в Париже.

Что ж, в то смутное время о ком можно было сказать, что вовсе уж без *прошлого* и без греха?

И когда молодой человек, ухаживавший за красавицей и ветреницей Лидой (они познакомились в редакции газеты «Вечернее Радио»), предложил ей руку и сердце, Александра Ивановна посоветовала дочери принять предложение.

Евсей Тимофеевич Рекемчук, тридцати лет, и Лидия Андреевна Приходько, двадцати одного года, сочетались браком — расписались, как говаривали тогда, — 26 ноября 1926 года в харьковском ЗАГС'е.

Жили поначалу там же, на Малиновской.

Но вскоре Евсею Тимофеевичу было предложено место корреспондента столичных «Известий» в Одессе, и молодожены уехали на Юг.

Оттуда

Сперва он приглядывался со стороны.

Хватка памяти, сделавшаяся уже профессиональной, без особых усилий набрасывала словесный портрет незнакомца: «… *выше-среднего роста, худощавый, смуглый, с высоким лбом и карими глазами…*»

Он сразу почуял, что этот человек оттуда. Свобода жеста, раскованность движений, легкость походки, наконец — взгляд, выдающий независимость мысли, полное небрежение к тому, кто и как на него посмотрит.

Здешние так не выхаживают, не машут руками столь вольготно. Чаще озираются, не забывая быть настороже, чуя опасность со всех сторон.

Да, конечно же, *оттуда*.

Клин понимал, что при всей простоте одесских пляжных нравов, нельзя вдруг подойти и заговорить.

Надежду войти в контакт оставляла лишь собака. Черно-желтая немецкая овчарка, молодая, сильная. И тоже, видно по всему, независимого нрава.

— Люси!.. — позвал незнакомец собаку, отдыхающую на изрытом песке, и, размахнувшись, запустил подальше в море глянцевую от воды корягу.

Собака ринулась в волны, поплыла, навострив уши, поводя черным носом из стороны в сторону.

Через минуту она уже плыла обратно, зажав в челюстях добычу.

— Хороша! — сказал Клин, подойдя к хозяину и не скрывая своего восхищения.

Он не лукавил при этом. Был заядлым собачником, знал в них толк. И готов был разговаривать на эту тему сколь угодно долго, вовсе даже не сообразуясь с той целью, которая понуждала его искать знакомств на пляже.

И здесь он не ошибся в своих расчетах.

Незнакомцу явно польстило внимание, оказанное его собаке. Они разговорились.

Через несколько фраз Клин не без удовольствия понял, что и в других своих предположениях не ошибся: незнакомец был русским по рождению, но, действительно, приехал оттуда. Судя по всему, недавно.

Однако торопить события, выуживать подробности было рискованно. Тот мог заподозрить неладное. Либо просто ощутить неуют от того, что посторонний человек вторгается в его жизнь. И

замкнуться, обозначить дистанцию.

В нем угадывался этот навык — ставить на место любого нахала. Поди, из офицеров. Из того старого офицерья, что ничему не научилось, сколь его ни учили, сколь ни молотили мужицким дубьем.

К счастью, разговор о собаках нашел продолжение.

Клин сообщил, что через несколько дней в Одессе откроется выставка собак Угрозыска. Подсказал адрес выставки: Пролетарский бульвар, 7.

И снова не ошибся в своих расчетах.

Тот появился на выставке через полчаса после него самого. Они даже обменялись рукопожатием. Вместе смотрели милицейских собак — отлично вышколенных и не менее породистых, чем Люська.

Теперь уже пляжного знакомца не нужно было тянуть за язык. Он сам охотно рассказывал о себе: жил во Франции, куда в свое время, после революции и гражданской войны, эмигрировал из Бессарабии. В Совдепию прибыл вполне легально, пароходом Марсель-Новороссийск. По профессии — журналист, пишет для харьковских и московских газет.

Больше того, «Журналист» (так обозначил его Клин в своем агентурном донесении), прогуливаясь с ним после выставки, познакомил его со своею женой, которую встретил на углу Белинской и Отрадной.

Клин, опять-таки моментально, составил ее словесный портрет: «*…небольшого роста, блондинка, волосы стриженые*».

Они пригласили его в гости, на чашку чая. Клин зафиксировал адрес: Вагнеровский переулок, 4.

Именно супруга осведомилась, чем он занимается.

«*…Я ей ответил, как и всем, что покупаю лошадей для заводских целей*».

Эта тема неожиданно заинтересовала молодую женщину. Она стала расспрашивать гостя о состоянии заводских конюшен и конезаводов. Много ли лошадей покупают в армию, больше ли, чем в предыдущие годы? Заменены ли лошади в кавалерийских частях? Или ездят еще на тех, что участвовали в гражданских войнах?

Гость, конечно, не мог догадаться о том, что прелестная молодая блондинка в своей цветущей юности служила в армейском интендантстве, еще и в ГПУ, носилась по Новороссии на бронепоезде «Красный оборонец», гоняла по степи батьку Махно и атамана Зеленого…

Равным образом гостю не дано было знать, что еще с детских лет она была наслышана о лошадях, поскольку ее отец Андрей

Кириллович Приходько вел дела Епифана Коломийцева и его родни, наследников полтавского конезаводчика… впрочем, о подобных родственных связях теперь, в советские времена, предпочитали помалкивать.

Эта родительская беспечность могла озаботить и самого младшего, хотя и безмолвного участника беседы, а именно — меня, хотя я еще и не родился на свет.

Ведь в донесении осведомителя четко зафиксирована дата встречи моего отца с Клином на берегу Черного моря: 4 августа 1927 года, между 1–2 часами дня.

То есть, по самым осторожным подсчетам, мой утробный возраст составлял тогда примерно четыре месяца.

И я был вправе, наслышавшись опасной чепухи, подать тревожный сигнал, постучав *оттуда*, изнутри пяткой в живот мамы, еще не сильно обозначенный для стороннего взгляда. «Ой, мамаша! Шо вы там городите при чужом человеке? Вы шо, не бачите, что это за фрукт? Он же — стукач, стукло… Если вам себя не жалко, то хоть меня пожалейте. Мне же со всем этим жить и жить… Я вас умоляю!»

Вероятно, опасная разговорчивость мамы напрягла и моего отца.

Клин замечает в своем донесении:

«Расспрашивала обо всем исключительно она. „Журналист“ же был сдержан, говорил больше о ружьях и собаках…»

Но и его понесло, когда они опять встретились с Клином на пляже в Отраде.

> «…он начал распространяться на ту тему, что во Франции жилось далеко веселее и что холостому мужчине достаточно получать 1200 франков, чтобы жить ни в чем не нуждаясь, не отказывая себе. Говорил о том, что в Марселе можно купить лодку спортсменскую за рублей 50 на наши деньги, но она будет сделана из красного дерева и пальмы. Когда я начал восхищаться такой дешевизной, он сказал, что этого у нас никогда не будет, потому что нет места конкуренции, у нас, мол, только проведут какое-нибудь общесоюзное снижение цен на 15 %, да на том и успокоятся…»

Машинописный текст доноса я прочту десятилетия спустя.

На нем сохранилась резолюция, сделанная красным карандашом наискосок страницы:

> «В дело „Киреева“. Это сведения, данные о нем „Клином“».

«Киреев» — один из псевдонимов моего отца, Евсея Тимофеевича Рекемчука, неофита советской внешней разведки.

Кто такой «Клин» — осталось для меня неизвестным. Если смотреть на вещи отстраненно, то он вполне грамотно выполнил свою работу.

Вообще, меня ждал мир, в котором не соскучишься.

Мой отец не был уроженцем Одессы, хотя и не чувствовал себя в этих местах человеком пришлым.

Он родился 18 июня 1896 года в селе Марамоновка, Сорок ского уезда, на Днестре, в Бессарабии.

Его отец, Тимофей Рекемчук, был крестьянином, имел надел земли в три десятины, хату. Ушел на Японскую войну, служил в 32-м Кременчугском пехотном полку. Изрядно грамотный, был полковым писарем. Вернувшись, устроился конторщиком на винокуренном заводе. Он был женат на Марии Согеронской, рано умершей. Остались двое детей, мальчик и девочка. Потом появилась мачеха Иустина Ивановна, принявшая двойную фамилию Рекемчук-Бессараб.

Мой предок по отцовской линии тоже умер рано, в 1911 году. Иустина Ивановна пережила его: в служебной анкете, заполненной отцом, указано, что в 1926 году ей было пятьдесят пять лет.

В той же анкете отец сообщает: «*В Бессарабии осталась моя сестра Нина Тимофеевна Рекемчук, 36 лет, и несколько двоюродных братьев-сестер, носящих мою фамилию…*»

Конечно же, поскольку и я носил эту фамилию, меня всегда интересовало ее происхождение. При всей очевидности конструкции («чук» в украинском языке означает наследника, младшего в роду, как и в русском: сын барина — барчук), корень фамилии был необычен, причудлив. Не полагать же, что мой дед по отцовской линии Тимофей Рекемчук носил это прозвище лишь потому, что служил в Кременчугском пехотном полку!..

Тридцати лет отроду я взялся перечитывать Библию — всё подряд, от корки до корки.

Впервые прочел все Евангелия, отдав предпочтение Иоанну; потрясенно внимал Екклезиасту (эта книга, пожалуй, больше всех других повлияла на умы тогдашней литературной молодежи, и то — с подачи Хемингуэя, взявшего заглавием романа стих проповедника: «И восходит солнце…»); угнетался мрачными пророчествами Апокалипсиса… И однажды вздрогнул над строками Книги Чисел:

И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя

людей на войну, чтоб они пошли против Мадианитян, совершить мщение Господне над Мадианитянами…

И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола.

И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечом (вместе с убитыми их).

И жен Мадиамских, и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их и все имения их взяли в добычу.

И все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем…

Параллельный текст в Книге Иисуса Навина:

…И все города на равнине, и всё царство Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских: Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле (той).

Также Валаама, сына Веорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими…

Я далек от предположения о том, что жители приднестровского села Марамоновки состояли в прямом родстве с мадианитянами, которых, к тому же, почти всех перебили сыны Израилевы.

Но они брали имена для своих детей строго из текстов Ветхого Завета, и дети этих детей обладали отчествами и фамилиями того же ряда.

Может быть, найди я время хоть однажды съездить в Марамоновку, я нашел бы там, на старом погосте, кресты с нечужой мне фамилией. Однако так и не выбрался.

А опыт подсказывал, что и эти, казалось бы нетленные вехи давно минувших жизней — надгробные кресты, — что они тоже не вечны.

В конце шестидесятых, уже наново обжившись в Москве, я всё еще бредил Севером и увлеченно писал свой первый роман, который назывался «Скудный материк».

Его действие разворачивалось в низовьях Печоры, где на безлесых берегах, меж зырянских деревень и ненецких чумов, стояли русские села. Там жили — в десятом колене — потомки беглых раскольников.

Сельские красавицы по праздникам щеголяли в парчевых нарядах, кокошниках с кемскими жемчугами, в лисьих душегреях из прабабкиных заветных сундуков.

Там разговаривали на языке, непонятном приезжим — «по усть-цилемски», — а это и была исконная русская речь. А уж песни, которые я там слыхал — может, их больше никто и не слыхивал, а у меня не было с собой магнитофона.

Кстати, название села Скудный Материк я не выдумал, а лишь слегка переиначил: там, на высоком, на матером берегу Печоры стоит и ныне село Мутный Материк.

Там, в моем романе (и на самом деле тоже) геологи бурили опорную скважину на нефть, но она оказалась пустой.

Подавленные неудачей только что состоявшегося испытания, главный геолог треста Платон Андреевич Хохлов и молодая питерская геологиня Нина Ляшук забредают на сельский погост…

Вот тут-то, над этой страницей рукописи, я и закусил в досаде колпачок чернильной самописки.

Я хорошо помнил это раскольничье кладбище. Видел, будто бы воочию, покосившиеся деревянные кресты над неприметными уже холмиками. Старинная вязь букв…

Но в моем путевом блокноте не оказалось ни одной надписи с тех крестов: ведь я даже не предполагал, что они мне могут понадобиться.

Что же делать?..

Мысленно я уже прикидывал маршрут творческой командировки: поездом до Канина, там пересесть на речной пароход, двое суток вниз по Печоре… Но можно и по воздуху: из Сыктывкара на «кукурузнике» прямиком в Усть-Цильму, если, конечно, не подведет погода.

Однако тот же опыт подсказывал, что результат далекого путешествия может оказаться пшиковым: вдруг там, всё-таки, нашли нефть? Доберешься со всеми пересадками до места, а там, где был тихий кержацкий погост, — теперь, взамен крестов, торчат в небеса буровые вышки! Или уже нефтяные качалки истово кланяются земле…

И вдруг меня осенило: не надо никакой командировки! Не надо Печоры!

Скорей к автобусной остановке, еду до станции метро «Киевская», оттуда по кольцу к «Таганской», а там на троллейбусе к Рогожской заставе…

Уже на следующий день я уверенно дописывал эпизод, который был задуман.

«…Осевшие и съежившиеся могильные холмики

поросли отцветшей бурой травой. Покренившиеся ветхие кресты были каждый о восьми концах, да еще сверху снабжены косыми рейками — подобием крыши. Дескать, тоже дом. И мир дому сему.

Нина пыталась прочесть:

— Гди, гди… призри с небсе и виждь… — Она поправила очки, беспомощно оглянулась на Платона Андреевича. — Что такое „гди“?

Он улыбнулся высокомерно. Вот так-то, коллега, почтеннейший доктор наук. А вы — гравиметрия, математический анализ…

И показал ей едва заметные знаки над буквами — титлы.

— Не „гди“, „гди“, а „Господи, Господи“, — объяснил Хохлов. — Это сокращения в церковном письме. Ничем, извините, не хуже, чем ВНИГРИ…

Она погрозила ему пальцем.

Потом она уже сама, скорей догадкой, чем знанием, справлялась и с титлами, и с кириллицей.

— „Несть грех побеждающий милосердие Божие…“, „Христос на кресте пригвоздися и всяку душу от уз избави…“, „Помяни мя, Господи, егда приидеши в царствии си…“

Эти древнейшие надгробья были безымянны. Лежавшие там будто бы отрекались от своего земного бытия, самоуничиженно отвергали собственную личность — никто, мол, я, токмо раб Божий, тлен, червь.

Дальше уже поминались, но не всяк и не каждый в отдельности, а совокупно и сурово: „При сем кресте полагается род Якова Собянина“, „Здесь покоится род Матвея Лызлова“.

Кресты редели. Меж них всё чаще и чаще вставали четырехгранные, сужающиеся кверху столбики…»

Теперь бы я, наверное, переписал и это. Но оставлю как было.

Много лет спустя, я вел по той же аллее Рогожского кладбища своих студентов.

Мы шли вереницей мимо родовых склепов, мимо каменных гробниц, подернутых рыжим лишайником. Шли, читая фамилии давней купеческой знати: Морозовы, Рябушинские, Стариковы, Шутовы, Свешниковы, Солдатёнковы…

Я вел их в тот дальний угол старообрядческого кладбища, где всё было еще древнее, и аскетичней, и строже. Где много зим

тому назад я торопливо списывал в блокнот с надгробий церковную вязь: гди, гди… Господи, Господи…

В моей сумке лежала книга, роман «Скудный материк», изданный «Молодой гвардией» с гравюрами молодого художника Андрея Кирилловича Голицына, потайного князя, Рюриковича, будущего предводителя российского дворянства.

Умысел был в том, чтобы прямо здесь сличить тексты книги с надписями на крестах. Я хотел научить их вкраплению примет старины в нынешний привычный обиход, чтобы выявить и подчеркнуть связь времен — без этого как же?..

Но, пройдя еще сотню метров, я унял шаг, а потом и вовсе остановился в замешательстве.

Вне сомнений, это и было то самое место, куда я забредал когда-то. Я не ошибся ни в стороне, ни в расстоянии. Память запечатлела даже изломы стволов кладбищенских берез, разбеги черных веток. Здесь, конечно, здесь…

Но в том-то и дело, что всё здесь неузнаваемо переменилось.

Пропали древние, поросшие бархатными мхами могильные камни. Куда-то подевались кресты с косыми рейками домиком. А главное, исчезли, будто их и не было вовсе, те самые надписи, ради которых я потащился опять на Рогожское кладбище. Да не один: повлек за собою целую ораву промерзших до костей и, может быть, не очень сытно позавтракавших юнцов и юниц.

Заметив мою растерянность, они кротко отводили взгляды, постукивали подошвами одна о другую, тихо переговаривались, дыша морозным паром…

На месте исчезнувших старых могил теснились новые захоронения.

Спесиво дыбились гранитные и мраморные обелиски, отполированные до зеркального блеска. Громоздились нелепые статуи в рост каких-то молодцов с блатными челками. Имена и фамилии на постаментах, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу, почему-то ассоциировались с газетными столбцами уголовной хроники…

Время не остановишь. Поколения сменяют друг друга. Ветхие захоронения, за которыми нет пригляда близких людей и потомков, нет оплаты кладбищенских услуг, — их, в конце концов, отдают другим постояльцам. Гробы ложатся поверх гробов.

И такой порядок заведен не в одной лишь России.

Как-то в Париже друзья повели меня на русское кладбище Сент-Женевьев де Буа поклониться могиле Ивана Бунина. И там мне показали только что разрытую могилу, ставшую поводом для негодующего ропота: в ней когда-то был похоронен то ли царский

генерал, то ли статский советник, весьма известный в кругах русской эмиграции, но за его могилой давно уже никто не ухаживал, и вот ее отвели под другого покойника — ведь это русское кладбище очень тесно, а *старых русских* и *новых русских* в Париже всегда полным-полно.

Так что тенденция к обновлению проявляла себя не только на Рогожском старообрядческом кладбище.

Но в тот раз меня это сильно покоробило.

Я с особой остротой ощутил за этим неотвратимое пришествие новых времен, когда всё пойдет на торг, на продажу, не исключая хрестоматийной любви к отеческим гробам.

Мы двинулись гурьбой к кладбищенским воротам.

Лишь позже ко мне пришло понимание того, что урок оказался даже более важным, нежели я предполагал вначале.

Ведь я намеревался всего лишь приоткрыть им маленькие хитрости ремесла, приемы творческого моделирования — отсюда взять, туда приспособить, — а вдруг это обернулось приобщением к той сокровенной, к той главной тайне человеческого бытия, что оно, увы, бренно.

Что род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.

Мой будущий отец учился в церковно-приходской школе, в двухклассном училище Министерства народного просвещения в Сорокском уезде. Потом в селе Барабой, Белецкого уезда.

Поступил в Аккерманскую учительскую семинарию.

В августе 1914 года, в самом начале мировой войны, 40 учеников этой семинарии, в том числе Евсевий Рекемчук, ушли добровольцами в армию.

Он был зачислен рядовым в 48-й запасный батальон в Одессе. Затем отправлен с маршевой ротой на фронт, в Лейб-Гвардии Измайловский полк, занимавший позиции под Краковом. После первого ранения и госпиталя, направлен в 320-й Чембарский полк под Кельцы. В апреле 1915 года, после второго ранения под Коломией, в Буковине, эвакуирован опять в Одессу. Здесь лежал в госпитале, а после излечения зачислен в Одесскую школу прапорщиков.

Все эти данные я воспроизвожу по архивному тексту «Автобиографии Командира Запаса РККА», написанному им собственноручно в мае 1936 года.

Записи предельно скупы. И это объясняется не только тем, что служебный жанр требовал суровой лаконичности.

В ту пору, когда писалась автобиография, считалось не очень приличным (а то и опрометчивым) выпячивать свои подвиги в

империалистической войне.

Тут всё приобретало подтекст сомнительный. В армию пошел добровольцем, прямо со школьной скамьи? Ах, скажите на милость, какие мы патриоты!.. Был трижды ранен? Стало быть, не пожалел собственной кровушки за веру, царя и Отечество!.. Получил на грудь боевые кресты? Да еще и гордишься этим!.. Тут уж речь могла идти, по меньшей мере, об изъянах классового сознания.

Вот кабы тебе был бы даден орден Боевого Красного Знамени, как у товарища Буденного, на алой шелковой розетке!

Либо Красная Звезда! Ну, на худой конец, значок «Ворошиловский стрелок»!..

Опасения были оправданы.

Если под его автобиографией стояла дата 18 мая 1936 года, то дальнейшие вехи боевого пути моего отца были изложены им тоже собственноручно, но уже под арестом — в протоколе допроса от 7 августа 1937 года.

Они заслуживают того, чтобы воспроизвести их полностью и дословно.

> «…был направлен в Одесскую школу прапорщиков, которую окончил в 1915 году 20 ноября — в чине прапорщика. Отправлен в Казанский военный округ, гор. Казань, оттуда в 106 зап. батальон в гор. Пермь. Из Перми с маршевой ротой на фронт в 88-й пехот. Петровский полк — в команду разведчиков младшим офицером. В марте (10) 1916 года ранен в третий раз, в шею, и отправлен на излечение в Москву. После чего отправился в свой полк, где в должности начальника к-ды разведчиков пробыл до 3 декабря 1917 года; за это время был произведен в подпоручики, поручики и штабс-капитаны, в коем чине пробыл до приказа Сов. Правительства об упразднении чинов. С проведением выборного начальства был избран командиром баталиона. 3 декабря 1917 года приказом главковерха тов. Крыленко был демобилизован и отправлен в распоряжение своего воинского начальника в гор. Аккерман. До этого состоял товарищем председателя полкового революционного комитета и делегирован на армейские съезды в Псков и Двинск. После демобилизации в начале Января 1918 года прибыл в свое село — Марамоновку Сорокского уезда, где пробыл около месяца, после чего уехал в Аккерман.
>
> …Будучи в русской армии до чина штабс-капитана,

получил следующие ордена: орден Анны 4-й, 3-й и 2-й степени; орден Станислава 3-й и 2-й степени; орден Владимира 4-й степени и Георгиевский крест 4-й степени с лавровым венком по присуждении солдатской полковой Георгиевской думы…»

С этим Георгиевским крестом, годы спустя, он возвратился в Россию *оттуда*.

Этот крест был единственным наследством, доставшимся мне от отца.

Бывало, еще мальчонкой, я доставал его из чемодана с домашней рухлядью, пристегивал его к рубашке и вставал перед зеркалом навытяжку.

Что, в первую очередь, совершает в книгах и фильмах увешанный орденами герой, вернувшись с войны? Каков его следующий подвиг? Правильно: он женится.

И мой отец не стал исключением из этого золотого правила.

Он сочетался браком с Анной Чинаровой, дочерью крупного аккерманского домовладельца, а также владельца садов и виноградников Христофора Чинарова.

Его избранница не была кисейной барышней. Она тоже имела право называться фронтовичкой. Сестра милосердия, вернувшаяся с Турецкого фронта.

В январе 1918 года Румыния аннексировала Бессарабию.

Завязался тугой исторический узел, распутывать который придется и современникам, и потомкам…

В марте восемнадцатого, когда румыны вошли в Аккерман, молодожены уехали в Марамоновку, в село, где родился и провел детство Рекемчук. Может быть, они надеялись там — в затишке — переждать события, которые, подобно затяжной грозе, прокатывались над Приднестровьем. А может быть, это просто объяснялось тем, что Анна была насносях.

В Марамоновке они провели лето и осень восемнадцатого, зиму и весну девятнадцатого… Не это ли было самой светлой порой их жизни?

В июле 1919 года родилась дочь, которую назвали Тамарой.

Между тем, из Аккермана доносились вести: маленький город был буквально наводнен бежавшим из Одессы, от большевиков, военным и штатским людом: русские, греки, сербы, французы… По городским стенам расклеены объявления, предлагавшие бывшим офицерам явиться со всеми документами в распоряжение воинского начальства. Такой же приказ румынские власти опубликовали в газетах. За уклонение…

Спрятаться от бурь не удалось. Пришлось возвращаться в Аккерман.

Позже, в своих служебных объяснениях, Рекемчук довольно живо изобразит обстановку тех дней.

> «…Когда я явился к воинскому начальнику, то застал там следующую картину: в большой комнате кроме румынского майора был еще французский штабной лейтенант и какой-то русский (по виду) полковник. По документам выяснялось — является ли пришедший бессарабцем или не бессарабцем. В первом случае, т. е. бессарабцы подходили к румынскому офицеру и должны были записаться в румынскую армию, а не бессарабцам предлагался выбор: через французского офицера записаться в иностранный легион, или через русского полковника во врангелевскую армию. Я отказался записаться в румынскую армию, за то был изруган румынским майором и под конвоем (нас, отказавшихся, было человек 50–70) нас отправили в комендатуру города, где продержали до утра, а потом выпустили…»

Читателю имеет смысл удержать в памяти эти бегло очерченные фигуры русского полковника, зовущего идти под знамена генерала Врангеля, а также французского офицера, вербующего людей в Иностранный легион, в Северную Африку: нам еще встретятся в этом повествовании отнюдь не случайные персонажи, сделавшие именно такой судьбинный выбор.

Что же касается Рекемчука, то всё завершилось тем, что его оприходовали капитаном запаса румынской армии.

Молодая семья обосновалась в родовом гнезде Христофора Чинарова на улице *Strada Trajan*, то есть на Дороге Траяна (запомним и это), а позже перебралась в дом по-соседству, на улице Беликовича, подаренный Анне отцом.

В одном из документов, известных мне, утверждается, что Христофор Чинаров — человек деспотичного, крутого нрава, — якобы души не чаял в зяте и, уж во всяком случае, был «*…с Рекемчуком в идеальных отношениях*».

Время показало, что это далеко не так. Однако обитатели богатой виллы на Дороге Траяна старались не выставлять на обозрение улицы семейной дрязги. Об этом позднее.

Покуда же блестящий молодой офицер, человек разносторонне одаренный, прежде всего позаботился о своем дальнейшем образовании. Он поступил на факультет журналистики Бухарестского университета, где была возможность

заочного обучения, и окончил его в 1923 году.

Работал переводчиком в земской управе (он владел не только русским и румынским, но и вполне сносно объяснялся на французском, немецком, итальянском языках), потом всерьез занялся журналистикой: стал секретарем, а вскоре и редактором местной земской газеты *Viata Nuova* («Новая жизнь»).

Он зарекомендовал себя не только человеком грамотным, профессиональным, но и безусловно порядочным.

Бессарабские газеты той поры были грязноваты: от них разило за версту духом дешевой сенсации, местечкового скандала, и почти в любой публикации сквозило, прочитывалось сквозь строки — сколько дадено, сколько за нее заплачено.

«Новая жизнь» изумляла серьезностью и столь же очевидной опрятностью.

При желании, можно было уловить, что ее молодой редактор отдает предпочтение левизне: политическая платформа, которой он сочувствовал, была близка идеям русских социал-революционеров, даже чуть левее…

Однако газета не давала явных поводов для того, чтобы усомниться в ее лояльности властям.

Впрочем — лишь до поры, до времени.

Теперь, после вселенских бурь XX века, уже мало кто вспомнит о Татарбунарском восстании.

Какое еще восстание?.. А что такое Татарбунары? Это — когда бунтуют татары?..

Между тем, в сентябре 1924 года весь мир с напряженным вниманием и сочувствием следил за развитием событий в маленьком бессарабском городке Татарбунары, что стоит на берегу озера Сасык. Повстанцы, жители этого города, среди которых были молдаване и украинцы, русские и болгары, восстали против оккупации. Они свергли румынскую администрацию, создали отряды Красной гвардии, ревкомы, провозгласили Советскую власть… Понятно, что правители королевской Румынии усмотрели в этих событиях «руку Москвы», происки Коминтерна, козни большевиков.

На подавление восстания были брошены войска, артиллерия, корабли румынского флота. В кровопролитных боях погибли 3 тысячи человек. Еще сотни были арестованы. Суд над ними получил громкое название «Процесса 500», и оно не сходило с газетных полос всех континентов.

В защиту узников выступили Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Теодор Драйзер, Ромен Роллан, Эптон Синклер, Томас Манн…

В самой же Румынии, как бывает в подобных ситуациях, прессе заткнули рты. Но и здесь звучали протесты всемирно известного писателя Михаила Садовяну, академика-врача Константина Пархона.

Вот тут-то и подала свой голос маленькая земская газетка *Viata Nuova*, выходившая в Аккермане.

«Вяца Нова» опубликовала статью доктора Шерра, которая называлась «На Шипке всё спокойно». В заглавии был иронически обыгран газетный штамп уже отдаленной временем русско-турецкой войны. В статье доктора Шерра речь, конечно же, шла не о болгарской Шипке, а о Татарбунарах. Читателям давали понять, что там — в Татарбунарах — всё не так уж спокойно, как пытаются уверить общественность румынские власти.

Власти не замедлили отреагировать на публикацию.

Редактора газеты «Вяца Нова» Евсевия Рекемчука повесткой вызвали в суд, предъявили штрафной иск в два с половиной миллиона лей.

Однако в газете продолжали появляться сообщения о событиях в Татарбунарах, о восстании, о его подавлении, о расправах.

Полковник Максим, возглавлявший в Аккермане сигуранцу, политическую охранку, снесся с начальством в Бухаресте.

Оттуда телеграфировали приказ: газету закрыть, ее редактора предать военно-полевому суду.

Сколь это ни удивительно, но от тюремной решетки Рекемчука спасла лишь упомянутая выше регистрация его в качестве капитана запаса румынской армии: кодекс офицерской чести в Румынии соблюдался свято…

Позднее он сам напишет:

> «…Я не был арестован только благодаря занимаемому мною тогда положению, и как капитан резерва рум. армии, но с меня была взята подписка о невыезде. В виду сгустившейся атмосферы, в связи с ликвидацией Татарбунарского восстания, я воспользовался имевшимся у меня заграничным паспортом и выехал, сначала в Италию, а затем в Париж».

Подражание классику

> «…Если не мемуары, не роман, то что же я сейчас пишу? Отрывки, воспоминания, куски, мысли, сюжеты, очерки, заметки, цитаты…
>
> Но всё равно мне не под силу заполнить этими жалкими обломками своей и чужой памяти ту неизмеримую, вечную пропасть времени и пространства, на краю которой я ворочаюсь до рассвета, измученный, истерзанный тяжелыми мыслями».

Это — из Валентина Катаева, из «Травы забвенья».

Ну вот, обрадуется читатель, наконец-то автор раскололся, признался в том, кому столь бессовестно подражает, по чьему рецепту лепит свою прозу, — мог бы и раньше помянуть Катаева!

Да, действительно, в самую точку: отрывки, воспоминания, куски, мысли, сюжеты, очерки, заметки, цитаты…

И опять же, как улика, совпадение координат: Одесса, а там, глядишь, всё двинется знакомым катаевским маршрутом — Киев, Харьков, Москва.

Так оно и будет.

Но я вспомнил о Катаеве совсем по другой причине.

В начале семидесятых старшие товарищи поручили мне сговорить Валентина Петровича Катаева войти в руководство Московской писательской организации, одним из секретарей которой был я.

Мы созвонились, условились встретиться в Центральном Доме литераторов — там, наверху, за сценой зрительного зала, где в старинных кафкианских коридорах обитала эта канцелярия.

Понимая щепетильность возложенного на меня поручения, я всё же не очень робел, надеясь на то, что классик простит мне эту дерзость.

Я знал, я чувствовал, что он почему-то ко мне благоволит: обычно столь язвительный и резкий, притом со всеми без исключения, даже с очень близкими людьми, — он был подчеркнуто добр в беседах со мною, разговаривал задушевно и мягко, смотрел отечески, ведь я был ровно на тридцать лет младше него.

Неужели он просто улавливал в моих глазах всю безмерность читательского обожания?

Разлученный в младенчестве с родным городом, увезенный жить в другие города и веси, увезя из Одессы лишь смутные и разрозненные блики памяти, я заново открыл для себя этот город

по книге Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», которую прочел в детстве.

Вместе с юным героем этого романа Петей Бачеем и его уличным приятелем, сорванцом Гавриком, я обживал Ланжерон и Фонтаны, Дерибасовскую и Гимназическую, Куликово поле и Ближние Мельницы, Молдаванку и Пересыпь.

Я будто своими глазами видел броненосец «Потемкин», сдавшийся на милость, необитаемый, который тащат на буксире, как на аркане, из Констанцы в Севастополь.

Путешествовал на дилижансе, навьюченном корзинами с синими баклажанами, до пристани в Аккермане.

Я слышал своими ушами, как яростно торгуется на привозе с рыбаками мадам Стороженко: «Где бычки? Я не вижу. Может быть, вот это, что я держу в руках? Так это не бычки, а воши…»

И еще я слышал, как мечется в горячечном бреду матрос с «Потемкина» Родион Жуков: «Башенное, огонь!..»

И еще я видел белый мазок, запятую, брошенную на сине-зеленый фон кистью сидящего под зонтиком мариниста: лермонтовский парус над бедной рыбацкой шаландой…

Десятилетним мальчиком я вбирал в себя эти образы со страниц катаевской книги, они запечатлевались на всю жизнь в расширенных от восторга зрачках.

И сейчас он, который всё это написал, не без торжества считывал эти образы в моих глазах и едва сдерживал кривоватую тщеславную усмешку.

Но к делу.

Я изложил ему общую просьбу войти в секретариат, подкрепив это собственным доверительным аргументом: Валентин Петрович, хватит держать на командный постах в Союзе писателей всякую шваль, которая именно таким способом — должностной властью — компенсирует свою бездарность… Валентин Петрович, если кто-то в писательском союзе и должен занимать начальственные посты, то пусть за этим будет авторитет таланта, репутация мастера!

Выговорившись на предельном темпераменте, я вдруг осекся, переводя дух.

Впервые он смотрел на меня отчужденно — сверху вниз, ведь он был очень высок ростом, — почти враждебно, жестко, поджав тонкие губы.

Наконец губы шевельнулись:

— Послушайте, Рекемчук… Мне осталось пятнадцать минут.

Что? Я обмер, похолодел, поняв, что он имеет в виду, хотя и отдавал себе отчет в условности этой риторической фигуры: в свои семьдесят с гаком он был еще мужик хоть куда.

Сгорбясь, он наклонился к моему лицу и, уставив глаза в глаза, договорил тихо:

— И все эти пятнадцать минут я буду писать!

Развернулся и пошел к двери. Мы почему-то разговаривали стоя, не садясь в кресла. Может быть, он догадывался о содержании предстоящей беседы и заранее решил для себя, что она будет предельно краткой.

Я же остался стоять посреди кабинета — кстати, чужого — подавленный, сконфуженный, жалкий, сгорая от стыда, лишь в эту минуту полностью осознав, с какой дичью обращался к автору «Святого колодца» и «Травы забвенья», к человеку, благословленному на служение музам самим Буниным.

Будто бы я — о, кошмар! — самого Ивана Алексеевича Бунина сговаривал войти в московский секретариат.

Уже тронув дверную ручку, Катаев вдруг замешкался, потоптался на месте, вернулся.

Он возложил мне руку на плечо и сказал очень тихо, но теперь в его голосе не было и следа недавней жесткости:

— Послушайте, Рекемчук… Я учился с вашим отцом в школе прапорщиков.

И ушел.

Значит, вот почему он был доселе так добр со мною?

Мне бы броситься за ним следом, догнать, остановить, лечь поперек пути, пасть на колени — всё, что угодно, — но расспросить дотошно, в деталях, в подробностях, запомнить, а потом, не полагаясь на память, записать всё, что он скажет, зарубить на носу, высечь золотом на мраморе, и уж от этих записей двинуться мыслью и воображением по канве самого важного сюжета — книги об отце, так страшно ушедшем из жизни.

Но я стоял, как вкопанный, посредине чужого кабинета. Растерянный, оробевший, косный…

Много лет спустя, когда я рассказывал об этой встрече его сыну Павлику Катаеву и другим, кто был близок Валентину Петровичу и кто за глаза звал его Валюном, — меня обычно переспрашивали: может быть, он сказал «в юнкерском училище»? Ведь он, судя по ранним его рассказам, учился именно в Одесском юнкерском училище.

Но я точно помню, что Катаев сказал именно так, как он сказал: «Послушайте, Рекемчук… Я учился с вашим отцом в школе прапорщиков».

Между прочим, в последующие дни Валентин Петрович все-таки дал согласие сделаться одним из секретарей правления Московской писательской организации. Видно, новый разговор с

ним провели более настойчивые люди, нежели я. И он им стал, его избрали в числе других.

И когда на секретариат, на ковер вызвали мятежного барда Александра Галича, чтобы исключить его из Союза писателей, четверо секретарей проголосовали против его исключения: Агния Барто, Алексей Арбузов, Валентин Катаев и я.

Но его всё равно исключили.

И потом, уже выдавленный *за бугор*, он не раз — на публике, на сцене, с гитарой, с явным удовольствием — перечислял эти четыре фамилии.

Другие важные подробности этого громкого дела я еще, бог даст, поведаю в этой книге.

О том, что сказал Галич, улетая на чужбину, своей приятельнице, киноактрисе Марине Фигнер; и о том, как она приходила ко мне, чтобы передать эти его слова; и о том, как я был польщен и испуган; и о том, как по команде с Лубянки нас, четверых, травило гэбэшное охвостье, прикинувшееся «диссидой».

А в той фразе — «*Мне осталось пятнадцать минут*», — было, конечно, некоторое кокетство, вообще свойственное ему.

На самом же деле ему оставалось гораздо больше, хотя и тоже в обрез. Наш разговор произошел, насколько помню, в 1974 году, а умер Валентин Петрович Катаев в марте 1986 года, то есть через двенадцать лет.

Но уж что в его лихом речении было совершенной правдой, то это вторая половина фразы, услышать которую я сподобился лично: «*…и все эти пятнадцать минут я буду писать*».

Он писал исступленно: «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Кладбище в Скулянах», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер», «Юношеский роман», «Сухой Лиман»…

Почти всё это впервые появлялось на страницах «Нового мира», а я как раз в ту пору был членом редколлегии этого журнала и, таким образом, имел возможность прочитывать его новые вещи еще в верстке.

Однажды в отделе прозы мне сказали, что вот-де приходил Катаев и, между делом, поинтересовался: читал ли я его свежий опус? Речь шла о «Юношеском романе». Я ответил, что да, конечно. Ну, и как? В восторге, как всегда — обожаю его прозу… Тогда, сказали мне, позвоните старику, выразите это ему лично, ведь он интересовался — читали ль вы?..

Но я не позвонил.

И в том — моя казнь, хотя тогда я и счел себя правым, за что мне опять-таки казнь.

Что же случилось?

Случился «Вертер».

Повесть Валентина Катаева «Уже написан Вертер», опубликованная в том же «Новом мире» в 1979 году. Может быть, самое яркое из созданного им. И наверняка — самое скандальное (во всяком случае, тогда это было шоком). Заставившее многих его почитателей отшатнуться, отпрянуть в негодовании…

Я был в числе отпрянувших. Больше того: я был в числе тех, кто возражал против публикации этой повести в «Новом мире». Между прочим, тогдашний главный редактор журнала Сергей Наровчатов тоже был смущен прочитанным текстом и, как обычно, когда в редколлегии возникали споры, повез его куда-то, говорят — в ЦК КПСС, говорят, что к самому Суслову. И оттуда последовала команда: печатать!..

Сейчас уже трудно поверить в реальность подобной ситуации, когда редколлегия — против, а ЦК — за. Но так было в тот раз.

Не столь давно, уже в новом веке, в 2003-м году, вышел в свет однотомник избранной катаевской прозы, который как раз и открывался повестью «Уже написан Вертер».

В книге есть предисловие, написанное Натальей Ивановой, критикессой, которую не заподозришь в недостатке либерализма — в чем другом пожалуй, но не в этом.

Она написала — *теперь* — о том, что было *тогда*.

> «…либеральная общественность была абсолютно уверена, что Катаев — „свой“, и именно поэтому столь болезненно отреагировала на „Вертера“ — соответственно, как на измену».

И дальше, уже разъясняя состав преступления.

> «…Он не посчитался и с общественным мнением — в том числе той группы, которую сам и вырастил. Плюнул в самую душу шестидесятникам — „Вертером“, не оставляющим сомнений в его почти физиологической ненависти к большевизму. Да и от антисемитских подозрений в еврейском происхождении (от одесского акцента он до конца жизни так и не избавился) Катаев здесь отрекается совсем недвусмысленно».

Я хорошо помню то ощущение подавленного святотатственного восторга, который сопровождал чтение страниц этой повести. Холодок, пробегающий между лопаток. Учащенное страхом сердцебиение. Да, так он еще никогда не писал! Даже «Алмазный мой венец» блекнул перед этим…

«Его кличка была Наум Бесстрашный.

Лампочка слабого накала, подвешенная на столбе с перекладиной возле гаража, освещала его сверху. Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденновский шлем с суконной звездой…»

Вы вспомнили о «комиссарах в пыльных шлемах»? Я тоже вспомнил.

«…Именно в такой позе он недавно стоял у ворот Урги, где только что произошла революция, и наблюдал, как два стриженых цирика с лицами, похожими на глиняные миски, вооруженные ножницами для стрижки овец, отрезали косы всем входившим в город. Косы являлись признаком низвергнутого феодализма…»

Он скажет об этих косах, настриженных уже в изрядный стог: «Остриженные косы — это урожай реформы».

И автор подчеркнет, что самому герою, Науму Бесстрашному, очень понравится собственное высокопарное выражение — «урожай реформы» — и он представит себе, как повторит эти слова, вернувшись из Монголии в Москву, в «Стойле Пегаса», перед испуганными имажинистами.

И нам сейчас есть чего испугаться, заслышав вновь об «урожае реформ».

Нет, это не про Чубайса. Того еще не было и в помине.

Зато Катаев переадресует эти крылатые слова другому известному лицу.

«…А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так как были вполне в его духе».

Но дома, в России, в Одессе, тоже хватало забот.

Вся повесть — от начала до конца — о расстреле, о расстрелах.

«…Теперь он, нетерпеливо помахивая маузером, ожидал, когда все четверо — бывший предгубчека Макс Маркин, бывший начальник оперативного отдела по кличке Ангел Смерти, женщина-сексот Инга, скрывшая, что она жена бежавшего юнкера, и правый эсер, савинковец, комиссар временного правительства, некий Серафим Лось, — наконец разденутся и сбросят свои

одежды на цветник сизых петуний и ночной красавицы».

В конце повести расстреливали уже самого Наума Бесстрашного.

Он целовал слюнявым ртом сапоги расстрельщиков, моля о пощаде, но его уже ничто не могло спасти, потому что его взяли с поличным на границе, с письмом, которое он вез от изгнанного Троцкого к Радеку.

Последняя деталь не оставляла сомнений в том, что в лице Наума Бесстрашного автор вывел знаменитого Якова Блюмкина.

Там же, в финале, было письмо матери одного из расстрелянных — который чудом остался жив, но она не знала об этом, — и умерла, оставив на листе бумаги свое завещание: «Будьте вы все прокляты».

Я и сейчас, перечитывая, цитируя эту повесть, всё больше постигая ее смысл, терзаюсь вопросом: что же нас — меня, в частности, — заставило тогда ее отвергнуть?

И вдруг понимаю, что как раз то и заставило: она была слишком хорошо написана.

Подобных сочинений, с жидоедской подоплекой, и тогда уже было предостаточно. Некоторые выходили в свет — может быть, тоже по сусловской отмашке. Но они, как правило, были очень плохо, совсем паршиво написаны. И эта паршивость с головой выдавала их авторов.

От этих сочинений можно было просто отряхнуться брезгливо — как от пыли, как от моли, как от тли. А потом вымыть руки с мылом.

Хотел ли Валентин Катаев, чтобы его книга оказалась в одном ряду с «Тлей»? Нет, конечно.

Он был одержим другой целью: сказать всю правду — без изъятий, без утаек.

Но стихия слова непредсказуема, опасна, как вообще опасны стихии.

Он лишь добавил акцент. И вдруг все акценты сместились…

Отмахнуться от катаевского «Вертера» было невозможно. В том-то вся и беда.

Кроме того, тогда — в конце семидесятых — мы еще не были готовы к этому: плюнуть и растереть подошвой всё, чем жили.

Может быть, кто-то и был готов, но не я.

И вот, когда вышел в свет номер журнала с «Вертером», в редакции объявили, что Валентин Петрович устраивает по этому поводу банкет в Доме литераторов, на открытой веранде — было лето.

Он приглашал всех, в том числе и тех, кто был против.

Но мы, те, кто были против, решили не идти. Чтоб не лицемерить. Нет — и баста.

И надо же такому случиться: я был как раз в тот день в клубе писателей — куда-то ехал, собирался где-то выступать, — и вдруг на затейливом крыльце олсуфьевского особняка, уже на выходе, столкнулся с Катаевым.

Он обрадованно, отечески возложил мне на плечо свою смуглую стариковскую кисть:

— Значит, вы всё-таки пришли?

— Нет, я не пришел, — заметался я. — Мне просто нужно ехать в одно место… я здесь совершенно случайно.

— Но — может быть?.. — он заглянул мне в глаза.

— Нет-нет, извините, Валентин Петрович.

— Послушайте, — сказал он, — там будет хорошая выпивка, приличная еда!

Он знал мои слабости.

— Нет-нет, — сказал я. — Большое спасибо. Но не могу… До свиданья!

И сбежал.

Конечно же, он обиделся.

Потому-то я и не смел ему звонить.

Двадцать лет спустя, в обычный вторник, я направлялся в Литературный институт, где вел семинар прозы. Предполагался разговор об использовании первого и третьего лица в повествовании — он всегда актуален для молодых, — и я вдруг вспомнил, как непосредственно и свежо, как искренне затронул эту тему Валентин Петрович Катаев в своем «Юношеском романе», написанном уже на закате дней.

Там были строки: «…У него (то есть у меня) на душе было так чисто, хорошо и просто. Он (то есть я) не сомневался, что если бы она узнала его поближе, прислушалась к его словам, пригляделась к нему, то, наверное, сразу бы полюбила его (то есть опять же меня, так как роман был написан в третьем липе, хотя я имел в виду самого себя)».

Но это я сейчас цитирую текст по книге, лежащей передо мною.

Тогда же я шел налегке. И думал о том, что надо бы сейчас же взять в библиотеке книгу, чтоб не излагать классика по памяти, а быть безукоризненно точным.

Однако до начала семинара оставалось всего-ничего, и я, глянув через перила в подвал, где находится институтская библиотека, увидел там студента-первокурсника Егора, спешащего из уборной к лестнице.

Я окликнул парня:

— Послушай… Зайди, пожалуйста, в библиотеку, возьми там «Юношеский роман» Валентина Катаева. Скажи, чтоб записали на меня.

Вежливый мальчик (сразу видно, что из интеллигентной семьи) шаркнул ножкой, выхватил из кармана блокнотик, переспросил:

— Как вы сказали?

— «Юношеский роман».

— Нет, это я усек… Как фамилия автора?

— Валентин Катаев, — повторил я, вдруг ощутив на щеках прилив гневливой крови. — Ты что — не знаешь Катаева?

— Впервые слышу, — признался он.

Мимо воли, я сделал шаг к ступеньке, чтоб сойти вниз, и там, в подвале, удавить его своими собственными руками.

Однако сдержался, вспомнив, что Егор учится в Литературном институте на коммерческой основе, то есть платит за обучение, а если всех платников передушить, то институту каюк.

Кроме того, взглянув на электронные часы на стене у вахты, заметил, что уже опаздываю на минуту, а это не в моих правилах.

— Катаев, Валентин Петрович…. — напомнил я и, подавляя одышку, двинулся вверх по ступенькам.

Но всё это уже становилось нормой.

«…Последняя книга К. „Сухой Лиман“ (1986) почти не была замечена критикой», — сообщал солидный биографический словарь «Русские писатели 20 века».

«…почти забытого ныне Валентина Катаева», — не без горечи констатировала «Литературная газета».

А я всё гадал своим *задним умом*: что же, всё-таки, он имел в виду, когда спрашивал в «Новом мире» — читал ли я его «Юношеский роман»?

Да, разумеется, читал, — оправдывался я теперь перед ним и перед самим собой.

Но что именно он хотел, чтобы я прочел? Что ему было так уж необходимо? Что там было? Что?

Примерно, тогда же — при обстоятельствах исключительных, неправдоподобных, открывшихся слишком поздно, чтобы переиграть всю жизнь, но о которых я хотя бы успею рассказать, — мне попала в руки стопа очень старых фотографий, потемневших, надтреснутых, однако всё еще живых.

На одной из них был молодой офицер, вальяжно рассевшийся

в кресле: нога на ноге, сабля поперек колен, рука покоится на другой руке, грудь колесом, атлетически накаченные плечи, гордо посаженная голова, смелые глаза.

Более пристальный взгляд различит на его левой руке, под вздернутой манжетой гимнастерки, круглые часы; на золотых погонах, так ладно пригнанных к плечам, один просвет и четыре звезды, что соответствует чину штабс-капитана; темляк ордена святой Анны 4-й степени, «За храбрость», свисающий с рукояти сабли (за эту красную ленту его прозвали «клюквой») и такой же анненский орден, но уже старшей, 3-ей степени, продет в петлицу гимнастерки, посреди груди, в солнечном сплетении.

Он совсем еще молод. Короткая стрижка, тонкие усики над верхней губой.

Это — мой отец, Евсевий Тимофеевич Рекемчук.

Снимок сделан в Аккермане, о чем свидетельствует фирменная виньетка мастера, которого зовут А. Я. Майстеръ.

Датировка снимка, по моим предположениям, — начало 1918 года.

И ту же саблю с анненским темляком, с «клюквой», мы видим и на другой фотографии: она свисает с ремня, опоясавшего ладную шинель с теми же штабс-капитанскими погонами, и всё это великолепие увенчано белой барашковой папахой с кокардой во лбу.

Снова отец?

Нет: это вовсе даже не мужчина, а женщина, краса-девица с темными прядями волос, как-то очень по-махновски свисающими из-под папахи, с тонкими дужками бровей на белом лице. Светлокарие глаза, сдается, очень смелы, но это — от игры, от маскарада.

Анна Христофоровна Чинарова, Анна Чинарова, Анна. Невеста или уже молодая жена моего отца.

Шинель, папаха, сабля — это вовсе не ее, а мужнино. Шутки ради, напялила на себя всю армейскую каптерку, весь боевой арсенал, придала суровость взгляду — и так сфотографировалась на память. Извечная женская страсть к переодеваниям, к гриму. Еще б усы нарисовала угольком!..

Но скажем прямо, что к своим двадцати трем годам медицинская сестра Анна Чинарова и сама уже вдосталь хлебнула лиха, навидалась войны. Ведь и за ее плечами были фронты, в том числе — Турецкий фронт. Госпиталя, где приходилось иметь дело не только с кровью и гноем, но и с тифом, холерой…

Еще одна фотография из той же пачки, что совсем недавно была мне прислана из-за границы.

Шестеро на фоне колонн и портьер намалеванного задника —

обычный интерьер фотографических салонов.

Молодой офицер в погонах, с боевым крестом на кармане гимнастерки. Но это не мой отец. Три дамы в шелковых платьях и одна — в меховой накидке, не знаю, кто они. А в самом центре — девушка в форменной блузе с красным крестом, в белой косынке сестры милосердия, строго, по-монашески очерчивающей лицо, из-под которой глядят отрешенные глаза.

Анна Чинарова, тоже вернувшаяся с войны.

Таким образом, к моменту, когда их соединила любовь, когда они скрепили эту любовь узами законного брака (согласно документам, это произошло в Одессе), когда они сфотографировались на память, но порознь — их фотографии вдвоем я не встречал, — к этому моменту им, еще столь молодым, наверняка казалось, что все ужасы доставшегося им нового века — революции, войны, катастрофы, — что всё это уже позади.

Между тем, всё только начиналось.

И покуда я разглядывал присланные мне из-за границы фотографии, которых я, совершенно точно, никогда прежде не видел, — меня, тем не менее, не оставляло странное ощущение того, что я их уже видел, что видел и раньше.

Где? Когда? Что за чушь?

Я мог бы предположить, что в моей стариковской башке за долгую жизнь накопилось так много еще непроявленных моментальных снимков, мгновенных фиксаций памяти, что они уже сами по себе, помимо моей воли, начинают искать друг друга, сличать изображения, сами выстраивают цепочки и, что-то найдя, сами же начинают сигналить мне, колотить по мозгам: эй, дед, ты слышишь? Ты чуешь? Пляши! Нашлось…

Примерно так всё обстояло, когда я *вышел на связь*.

Когда я уловил точки совпадения между только что увиденными фотографиями — и строками книги, которая вновь оказалась в моих руках.

Или же наоборот: в моих руках опять был «Юношеский роман» Валентина Катаева, который притащил из библиотеки студент Егор, — и я, завершив семинар, уже дома, начал ворошить страницы книги, — и строки совпали с ликами на фотоснимках.

> «…Вглядываюсь. И вдруг, к своему крайнему изумлению, узнаю в пехотном подпоручике своего бывшего гимназического товарища Мишку Подольского, который еще в прошлом году бросил гимназию и

> поступил в военное училище, выпекавшее за четыре месяца пехотных прапорщиков. Теперь он уже дослужился до подпоручика, на его шашке болталась красная лента темляка ордена Анны четвертой степени, так называемая клюква, и он даже, ввиду большой убыли пехотных офицеров, уже командовал ротой».

Я спорю сам с собой.

Если он имел в виду — хотя бы образно — моего отца, то зачем назвал его столь далекими от прототипа именем и фамилией: Мишка Подольский?

Допустим… Но тогда зачем он в «Юношеском романе» назвал самого себя не Валентином Катаевым и даже не Петей Бачеем, как в «Парусе», а Александром Пчелкиным? Разве это по звучанию, по смыслу — близко? Да ничуть.

Мишка Подольский ушел на войну из гимназии, а мой отец — из семинарии. Как мог он быть его «гимназическим товарищем»? Не мог.

И почему в этом тексте фигурирует уже не *школа прапорщиков*, о которой он мне говорил, и не *юнкерское училище*, о котором писал, а некое *военное училище*, будто бы прямо из советских романов сороковых годов?..

И — наконец: в чем был его интерес к этому Мишке Подольскому, если он — всего лишь проходной персонаж, который не были ни его закадычным другом, ни фронтовым товарищем, ни даже соперником в любви?..

Вообще, этот Мишка Подольский со своей «клюквой» на шашке появляется ближе к концу романа. Зачем? Где еще? Какова его роль?

> «…Ночью бой, в котором Мишка убит, о чем я узнаю от раненого пехотинца Аккерманского полка, бредущего по шоссе в полевой госпиталь».

Я мысленно снимаю шляпу. Вот: только что появился — и уже убит.

Еще дальше отодвигается начальная версия, предположение о том, что в Мишке каким-то образом запечатлен мой отец.

Ведь мой отец не был убит на войне. Его убили позже.

Знал ли Катаев о том, что его товарищ по школе прапорщиков погиб такой страшной смертью?

Наверняка знал. Иначе бы не подступался ко мне со своим участием.

Но что там дальше — в «Юношеском романе», составленном из писем к девушке Миньоне? Она вернула ему эти письма уже на

склоне лет. И он перечитывает их, как я перечитываю его книгу.

Мой взгляд соскальзывает в конец той же самой страницы, где только что убили Мишку Подольского. И замирает вновь.

> «…Прочитав эти строки, я сначала поморщился, а потом рассмеялся, вспомнив, как однажды, вскоре после революции, в толпе гуляющих… вдруг нос к носу столкнулся с убитым Подольским, который уже без погон и с красным бантом на груди, зажатый фланирующей толпой, вел под руку сестричку милосердия в косынке, едва прикрывающей кокетливую челку над широким крестьянским лбом с двумя вертикальными морщинками и подкрашенными бровками в шнурок».

Мой отец и Анна?

Он знал и Анну?

Портрет далек. Хотя через весь его «Юношеский роман» проходит образ девушки, в которую был влюблен Саша Пчелкин. Он (то есть я)…

Нет, это не Миньона, та была для писем.

А ту, которую он любил безумно — ее звали Ганзей Траян.

Именно ей, Ганзе Траян, посвящены самые поэтичные строки книги, восходящие в своем звучании к античному эпосу.

> «…О золотом веке пел поэт-изгнанник, наступая старыми, разношенными сандалиями на сизую полынь, растущую по склонам Траянова вала. Но почему в моем воображении рядом с ним шла девочка-подросток, маленькая гордая римлянка-изгнанница? Может быть, она была его дочерью? Но тогда почему же она носила имя Траяна? Она была Ганзя Траян, о которой я не забывал ни на минуту и которая всегда скромно светилась в зените на недостижимой высоте, как еле заметная Полярная звезда — вечная и единственная.
>
> Судьба привела меня наконец к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянкой».

Что общего может быть между Ганзей и Анной?

Разве что имя. Ведь оно произошло от древнееврейского имени *Хана*, которое живет в украинском обиходе как *Ганна*, уменьшительно и ласкательно — *Ганзя*.

Фамилия? Анна жила в Аккермане на улице *Strada Trajan*, на Дороге Траяна, именно там был дом Чинаровых.

Не слишком ли смелые сдвиги?

Сам покачиваю головой.

Но зачем тогда автору было столь уж необходимо — позарез, — чтобы именно я прочел его «Юношеский роман»?

Может быть, он хотел именно на мне испытать, проверить старый фокус, который называется эффектом узнавания?

Это когда играется на сцене, на экране, либо пишется на бумаге некий условный образ героя, какого не было и нет в реальной жизни, который выдуман от начала до конца, но вот — он появляется, и все вдруг в один голос начинают уверять, что знали его лично, даже за руку держались, даже пили на брудершафт! — а хитрый автор усмехается в душе, радуясь, что так ловко сумел провести доверчивый люд.

Или же совсем наоборот: когда автор пишет конкретного человека, которого сам знавал близко, но всё же, на всякий случай, наделил его другим именем, вымышленной фамилией, — и вдруг оказывается, что все узнают в нем самих себя. Что это — про всех, про всех на свете!

Надеюсь, что и в том, и в другом случае я выдержал испытание, оправдал надежды Валентина Петровича — я узнал всех.

Однако цель его могла быть и совсем иной.

Вполне возможно, что в урочный час — уже на исходе объявленных им самим *пятнадцати минут*, — он решил напомнить мне, что в этой занудной, выматывающей душу, худо оплачиваемой писательской работе есть одна важная привилегия: что творец, сколь мал он ни будь, порой уподобляется тому Творцу, которого пишут с заглавной буквы, и в этом качестве он властен — мановением руки, росчерком пера! — воскрешать мертвых, возвращать к жизни своих героев — умерших, убитых, подобно Мишке Подольскому, подобно моему отцу, — или попросту забытых на время.

И еще я допускаю, что он — после долгих раздумий, перебрав всю колоду, всю кодлу, — решил именно мне завещать ту науку, в которой не знал равных: всю ночь напролет, до рассвета, без сна, ворочаться в постели, словно бы на краю вечной пропасти времени и пространства, сердито сминая подушки, будто бы разгребая завалы своей и чужой памяти… Но это уже из другой его книги.

Пир в Одессе после холеры

Симпозиум

Осенью 1970 года я приехал в Одессу на международный симпозиум.

Поначалу я хотел снабдить эти страницы своей книги броским заглавием «Симпозиум и пир», имея в виду, что все подобного рода мероприятия завершаются непременной коллективной пьянкой, иначе это не симпозиум, а черт знает что, недоразумение.

Но, заглянув на всякий случай в словарь иностранных слов я с крайним удивлением обнаружил, что слово «симпозиум» само по себе означает именно пьянку:

> «Симпозиум (букв. пиршество)… у древних греков и римлян — пирушка, часто сопровождавшаяся музыкой, развлечениями, беседой…»

И лишь во втором своем значении это слово подразумевало ученый разговор.

Так что я поневоле вынужден совместить в заглавии оба значения. Тем более, что в тот раз, в Одессе, мы попировали знатно, о чем еще будет речь.

Однако же надобно заметить, что в выборе места и времен для проведения этого писательского симпозиума была некоторая экстравагантность.

Дело в том, что летом семидесятого года в южных городе страны произошли вспышки холеры, вызванные вибрионом Эль-Тор.

Я запомнил название вибриона (вообще, я хорошо запоминаю имена, географические названия), а вот детали и подробности совершенно стерлись из памяти.

Обратился к жене, Луизе Павловне, которая сопровождала меня в той поездке, как и во многих других: мол, что ты можешь вспомнить об одесской холере?

— Трупы на улице не валялись, — твердо сказала она. — Помидоры и огурцы с базара велели мыть с мылом. Еще повсюду стояли бочки с какой-то жидкостью, дезинфекцией…

Это было уже много: с таким набором деталей пишут исторические романы!

И всё же я решил пополнить запас исходных данных. Тем более, что записи в моем путевом блокноте оказались в тот раз на удивление скупы.

Отправился в библиотеку Центрального дома литераторов, в читальный зал.

Там в прежние времена обычно все столы были заняты коллегами, листавшими порыжелые от ветхости страницы газетных подшивок: одни, сгорбленные невзгодами жизни, изучали тридцатые годы, другие же, с рядами орденских ленточек на груди, упоенно шелестели сороковыми.

Я давно не бывал здесь. И, заглянув в щелку приоткрытой двери, поначалу даже опешил: там никого не было, будто бы и вовсе не осталось на свете братьев-писателей, я один, последний, и никто, кроме меня, уже не сможет воскресить и запечатлеть былое.

Впрочем, через час подтянулось еще несколько седоголовых, одышливых, шаркающих ногами творцов, и они тоже, как и я, заказали подшивки не столь уж давних газет — кому «Известия», кому «Правду», — и это, как я мог понять, уже не имело никакого касательства ни к жути сталинских репрессий, ни к фронтовым будням, а просто, год за годом, отображало обычную советскую жизнь.

Люди погружались в это время, как в совершенно иной, отошедший в вечность мир, чувствуя себя отторгнутыми, чужими — то ли там, то ли здесь, — всё больше и всё тоскливей ощущая себя выходцами *с того света*.

Ну, да ладно.

Я пропахал всю подшивку «Известий» с июля по декабрь семидесятого и не нашел ни слова об одесской холере.

Крайне озадаченный — может быть, пропустил, недоглядел? — прошел весь путь снова, от начала до конца, но опять ничего не обнаружил. Холеры в Одессе как не было.

Зато промелькнуло августовское сообщение о том, что в Астрахань наведался министр здравоохранения Б. В. Петровский и, выступив там на совещании медиков, сообщил о вспышках холеры, имевших место в Астрахани и в «некоторых других городах страны». Заметка называлась «Болезнь отступает».

В другом, сентябрьском номере наметанный глаз старого газетчика выхватил заголовок «Испытание»: это был репортаж из Керчи, оснащенный всеми штампами родной журналистики.

> «По вечерам улицы заполнены принаряженными людьми: молодежь, матери с малышами на руках, старики и старушки — как усидишь дома в теплые осенние вечера. Зелень скверов подсвечена разноцветными фонарями, из парка доносятся звуки духового оркестра. Оживленно торгуют магазины, в

кинотеатрах демонстрируются последние фильмы…»

Благодать да и только. Но двинемся дальше.

> «Необычно в городе, пожалуй, лишь то, что у входа в каждое учреждение, в каждый магазин, перед зданием почты, гостиницы, даже у корабельных трапов непременно стоит бачок с дезинфицирующим раствором. У каждого бачка — специальный пост. Сандружинники — работники учреждений, старшеклассники, пионеры, строго следят за выполнением железного правила — мыть руки раствором…»

Репортаж из Керчи умилял не только газетными штампами, но и мягким юмором.

> «Керчане вполне освоились в карантинном режиме. Здешние шутники даже расскажут вам, как ловить бычков на вибриона, или опишут его как голубоглазого блондина в восточных тапочках…»

Юмор был тем более уместен и спасителен, что факты свидетельствовали — холера в Керчи разыгралась не на шутку.

> «Всё началось с того, что человека, упавшего на улице, в тяжелом состоянии доставили в керченскую больницу… Антибиотики, сердечные средства, гормональные препараты — всё было брошено против жестокой болезни. И людей вытаскивали из тисков смерти. Не удалось спасти лишь нескольких. В этой больнице погибли двое стариков, страдавших, помимо холеры, хроническим алкоголизмом… Обследуются последние 5 тысяч отдыхающих. Отправлены домой более 28 тысяч…»

Ничего не скажешь — круто.

Конечно, я мог бы и не утомлять читателя развернутыми цитатами из «Известий». Литературное ремесло, оснащенное своим арсеналом приемов и штампов, позволяло легко перенести детали газетного репортажа на другой курортный город, отстоявший недалеко от Керчи, у того же самого Черного моря, а байки о ловле бычков на холерный вибрион или грустная повесть о старых пьянчужках-холериках вполне естественно прижилась бы и на одесской почве.

Но я, обнажая прием, как бы стремлюсь заверить, что эта моя

книга не имеет никакого отношения к жанру *fiction* («фикшн», «фикция» — этот уничижительный термин применяется на Западе ко всей художественной литературе), и повсюду, где будет хотя бы малейшая возможность опереться на документ или печатный текст, я не упущу шанса сделать это, и лишь в тех случаях, когда у меня под рукой не окажется никаких доказательств, вам придется поверить мне на слово.

Так почему же, всё-таки, в «Известиях» не оказалось сообщений о холере в Одессе? Указание сверху? Цензура? Но как тогда объяснить ту странность, что для Астрахани и Керчи цензурных ограничений не было, а для Одессы — запрет? Не знаю. Может быть, в Одессе эта вспышка проявилась с меньшей силой, нежели в других городах.

Во всяком случае, к моменту приезда делегации на симпозиум, холерный карантин в Одессе уже был снят.

А сейчас, следуя уговору, вновь отдаю предпочтение печатному тексту.

И лишь в самом конце творческой дискуссии эта тема напомнила о себе весьма забавным образом, что я опять-таки не премину отметить, когда придет черед.

28 октября того же семидесятого года «Литературная газета» под заголовком «Наши гости — финские писатели» сообщила:

> «В нашей стране находилась делегация финских писателей в составе: Ласси Нумми (руководитель делегации), Эйла Пеннанен, Марья-Леена Миккола, Каари Утрио, Иикка Вуотила, Мартти Сантавуори, Якко Лайне, Олави Линнус, Йохан Баргум, Матти Суурпяя. 20 октября в ЦДЛ проходила встреча финских и советских писателей, которую открыл первый секретарь Правления Московской писательской организации С. Наровчатов. Гостей приветствовали также Л. Карелин, С. Михалков, А. Рекемчук, О. Шестинский, Арк. Васильев. Из Москвы гости выехали в Одессу…».

Вначале предполагалось, что руководителем советской делегации будет Аркадий Васильев, автор романов «Смело, товарищи, в ногу», «Есть такая партия», «В час дня, ваше превосходительство». Но в последний момент, рассорившись по какому-то поводу со всемогущим начальником — первым секретарем Союза писателей СССР Георгием Марковым (о котором уже была и еще будет речь), — Васильев отказался от поездки.

И руководство делегацией поручили мне.

При этом, я думаю, решающую роль сыграло то обстоятельство, что неделей раньше я вернулся из поездки в Финляндию.

Вместе с Лазарем Карелиным мы побывали в Хельсинки и Турку, а затем наши маршруты разделились: Карелин поехал в Тампере, а я на «Каравелле» улетел в Оулу и оттуда двинулся по финскому Северу, завершив путь в заполярном сказочном Рованиеми… Это не было досужим туристическим путешествием. В маленьких северных городах тоже жили писатели — жили тихо и трудно, как всегда живет наш брат в провинции, — и нам было о чем поговорить, иногда поплакаться за бутылкой водки в ресторанчике или на домашней гостеприимной кухне. Были и совместные литературные вечера в народных домах, клубах, школах. На обратном пути мы с Карелиным провели еще несколько дней в Хельсинки, общаясь с писателями столицы и, таким образом, еще до встречи в Москве свели достаточное знакомство с финскими коллегами.

С советской стороны в Одессу поехали Юрий Трифонов, Лев Гинзбург, Юрий Оклянский, литературоведы из Иностранной комиссии Союза писателей Александр Косоруков, Вера Морозова, Владимир Стеженский. На месте к нам должны были присоединиться украинские писатели Борис Олейник, Дмитро Павлычко, Виталий Коротич, а также одесситы Иван Гайдаенко, Григорий Вязовский, профессор Иван Дузь.

Вот тут-то и возникли некоторые шероховатости.

Наутро по приезде в Одессу ко мне в гостиничный номер явились в полном составе киевляне.

Шляхетски выставив ногу и вздернув подбородок, Борис Олейник произнес запальчивую речь на украинском языке (ведь мы находимся на территории Украины, не так ли?). Смысл ее был следующим: почему, собственно говоря, советскую делегацию возглавляете именно вы? Ведь вы являетесь, всего-навсего, одним из секретарей правления Московской писательской организации. Но симпозиум проводится не Москвой, а Союзом писателей СССР. И если ни Марков, ни Сартаков, ни кто иной из числа сорока союзных секретарей не нашел возможности возглавить делегацию, то, согласно рангу и протоколу, ее должен возглавить кто-либо из руководства республиканского союза писателей, а именно Украины…

— Я члэн прэзыдии, — тыча себя пальцем в грудь, наступал Борис Олейник. — И вин члэн прэзыдии, — палец в грудь Дмитра Павлычко, — и вин тэж… — жест в сторону Виталия Коротича.

Ошарашенный натиском, я не сразу сообразил (впоследствии мне это объяснили), что возникший накануне конфликт между

союзным и московским писательским начальством, а именно между Марковым и Васильевым, вряд ли исчерпался отказом последнего от поездки. Хитрый, мстительный, закаленный в аппаратных интригах еще на партийной службе Георгий Марков знал, что нужно любой ценой развивать достигнутый успех.

Повторяю, лишь позднее мне стали известны некоторые подоплеки стычки.

Но что я уловил в пылкой речи Бориса Олейника тотчас и без подсказок — это ее другой, не слишком утаиваемый смысл: вот так-то, друже, хоть ты и приехал из Москвы и корчишь тут перед нами москаля, да еще собираешься нами командовать, но мы-то знаем, что ты такой же хохол, как и мы, если не хуже — ведь ты тут и родился, в Одессе, мы всё про тебя знаем! Так что либо сам слезай с руководства делегацией, либо веди себя обережено, не задавайся, помни, кто ты есть…

> РЕКЕМЧУК Олександр Овсійович (н. 25.XII.1927) — російський радяньский письменнык. Член КПРС з 1948. Н. в Одесі в сім'и службовця. Закінчив Літературний інститут імени Горького в Мосвкі (1952). Перша зб. — «Холоднеча» (1956). Повісті «Все попереду» (1957), «Пора літніх відпусток» (1959), «Молоде-зелене» (1961) та оповідання (зб. «Береги», 1957), присвячені рад. людям Крайньоі Півночі.
>
> *Українська Енциклопедія, т. 12, 1963 р.*

Справедливости ради замечу, что двое других коллег из Киева были явно смущены своим участием в этой сцене, прятали глаза, переминались с ноги на ногу — ведь они были еще молоды, не столь знамениты, как позже, и не столь забыты, как все мы теперь, и, наверное, не видели особых причин кочевряжиться перед литературными ровесником и земляком, хотя бы и пожаловавшим из Москвы.

Я уже писал в этой книге о том, что с Дмитром Павлычко познакомился еще в 1953 году во Львове, куда приезжал в командировку от молодежного журнала «Смена». Он еще учился в университете имени Ивана Франко, выпустил первый стихотворный сборник «Любовь и ненависть». В его поведении тогда чувствовалась настороженность: бандеровское подполье, не шутя, грозило его убить за сотрудничество с властью и москалями. Повторю, что я тогда же перевел на русский одно из понравившихся мне стихотворений и напечатал его в журнале.

Впоследствии мы не раз встречались с ним в Москве, а однажды, совершенно случайно, столкнулись на улице Улан-Батора, далекой монгольский столицы, и бросились друг другу в объятия, едва не плача от распиравших чувств…

С Виталием Коротичем, талантливым поэтом и публицистом, уже после одесской встречи мы вдоволь поколесили по стране, бывали вместе и за границей. Позже он и сам подался в москали, выдвинувшись на волне перестройки и гласности: стал главным редактором «Огонька», одним из сопредседателей писательской ассоциации «Апрель», депутатом парламента. В памятном августе 1991 года Коротич, неожиданно для всех, уехал в Америку преподавать журналистику в Бостонском университете. Но, наезжая домой в пору летних каникул, иногда появлялся на Новом Арбате, в издательстве «Пик», с которым меня связала судьба на склоне лет, спрашивал участливо: «Ну, как вы тут, еще пикаете?..»

Меньше, чем с другими, мне довелось встречаться с Борисом Олейником, поэтом, впоследствии активным политиком. Меня поражала, а подчас даже восхищала острота его полемических выступлений — он сам называл себя «членом парткома, вскормленным с конца копья». Карьера его была стремительна: он тоже стал парламентарием, членом ЦК КПСС, а в 1991 году — советником президента СССР Михаила Горбачева. После августовских событий Олейник выпустил в издательстве «Палея» антигорбачевский памфлет «Князь Тьмы. И увидел я другого зверя, или Два года в Кремле», после чего для многих, в том числе и для меня, перестал существовать.

Но тогда, в Одессе, я был лишь слегка покороблен запальчивостью его речи.

Я ответил Борису Олейнику, что немедленно и с радостью сложу с себя обязанности руководителя делегации, если это будет должны образом согласовано с руководством Союза писателей, — но решать это, уперев кулаки в бока, как на сельском сходе, представляется мне неуместным, тем более за полчаса до начала симпозиума.

Возражений на эти резоны я не услышал.

В последующие дни отношения с киевлянами были идилличны и задушевны. Мне показалось даже, что в гостиничном номере они отработали сполна порученную им кем-то программу и были сами рады сбросить эту докуку с плеч.

Стоял ли за этим аппарат Георгия Мокеевича Маркова, или торчали уши поборников самостийности из Киева, или самым банальным образом маячил Одесский обком компартии (на это намекали одесситы) — осталось для меня и по сей день загадкой.

Впрочем, я сделал для себя некоторые выводы из утренней стычки и, открывая дискуссию в Доме ученых, приветствовал собравшихся на русском, а затем, достаточно уверенно, на украинском языке.

Вот когда пригодились мне уроки *рідно мові* в харьковской школе, где не только «Кобзаря», но и «Робинзона Крузо» нам выдавали в школьной библиотеке исключительно на украинском.

Не обошлось, однако, и без других сложностей.

Руководитель финской делегации Ласси Нумми — долговязый и долгогривый интеллигент в роговых очках — пригласил меня на конфиденциальный разговор через переводчика.

Мы знаем, сказал он, что в Советском Союзе нервно реагируют на присуждение Нобелевской премии Александру Солженицыну за его книгу «Один день Ивана Денисовича». Учтя это обстоятельство, мы, еще накануне выезда в Москву, обсудили этот вопрос в присутствии всех членов делегации. Мнения разошлись. Одни безоговорочно поддерживают решение Нобелевского комитета, другие считают его сугубо политической акцией, не имеющей отношения к литературе, третьи еще более категоричны. Короче говоря, у каждого члена финской делегации своя позиция в этом вопросе. И мы договорились о том, что тема предстоящей дискуссии — литература для масс и литература для избранных — не имеет прямого отношения ни к Солженицыну, ни к Нобелевской премии. Поэтому мы решили не затрагивать этой темы в Одессе. До тех пор, пока ее не затронет русская сторона…

Вообще, одесскому симпозиуму повезло вдвойне: он не только угодил в холерную напасть, но и в самую горячку «нобелианы» семидесятого года.

Еще накануне этого события, путешествуя по городам и весям Суоми, в столь близком соседстве со Швецией, где заседал Нобелевский комитет, я, почти физически, ощутил общее напряжение: газеты, радио, телевидение, людскую молву сотрясал колотун предстоящей, а затем и свершившейся сенсации.

Все понимали, что премия венчает не творческие заслуги писателя, а недвусмысленно поощряет его жестко обозначившееся противостояние советскому режиму и коммунистической идеологии, делает его знаковой фигурой в развернувшейся «холодной войне».

Понимал это и сам Александр Исаевич Солженицын, который в главе «Нобелиана» своей более поздней книги «Бодался теленок с дубом» признавался чистосердечно:

«А тут премия — свалилась, как снегом веселым на голову! Пришла! — и в том удача, что пришла, по сути, *рано*: я получил ее, почти не показав миру своего написанного, лишь „Ивана Денисовича“, „Корпус“, да облегченный „Круг“, всё остальное — удержав в запасе…»

И, пожалуй, никто живее и темпераментней самого Солженицына не сумел охарактеризовать обстановку, в которой выносилось решение Нобелевского комитета:

«Премию душить — это мы умеем. Собрана была важная писательская комиссия (во главе ее — Константин Симонов, многоликий Симонов — он же и гонимый благородный либерал, он же и всевходный чтимый консерватор). Комиссия должна была ехать в Стокгольм и социалистически пристыдить шведскую общественность, что служит темным силам мировой реакции (против таких аргументов никто на Западе не выстаивает). Однако, чтобы лишних командировочных не платить, наметили комиссионерам ехать в середине октября, как раз к сроку. А Шведская Академия — на две недели раньше обычного и объяви, вместо четвертого четверга да во второй! Ах, завыли *наши*, лапу закусали!..»

Это уж точно, воя было в те дни предостаточно: и угроз лишить Солженицына гражданства, и требований выгнать его из Советского Союза.

Поэтому предложение Ласси Нумми провести дискуссию в рамках обозначенной темы показалось мне резонным.

Я собрал делегацию — и москвичей, и киевлян — изложил разговор с Ласси Нумми. Всё было понято с полуслова, принято общее решение: придерживаться темы.

Но я забыл об одесситах…

Впрочем, один из них — стародавний житель и герой — появился среди нас, едва мы переступили порог гостиницы «Одесса» (она же знаменитая «Лондонская»), что находится близ памятника дюку Ришелье, над лестницей, прославленной в фильме «Броненосец Потемкин».

Это был поэт Григорий Поженян, мой однокурсник по Литературному институту. Тогда, в сорок шестом, большинство принятых по творческому конкурсу студентов были недавними фронтовиками: Юрий Бондарев, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов, Евгений Винокуров, Эдуард Асадов — впоследствии именитые писатели.

Но даже среди них, бряцавших боевыми наградами, выделялся флотский лейтенант в черных клешах и кителе, увешанном орденами и медалями, коренастый брюнет с

фатовскими усиками и бачками вполщеки, безудержно веселый, бретер и бабник.

В Одессе, на улице Пастера, есть обелиск и памятная доска в честь солдат морской пехоты, павших при обороне города: среди имен и фамилий, выбитых на доске, значится и Григорий Поженян…

А он жив-здоров, приехал из Москвы на Одесскую киностудию, где режиссер Петр Тодоровский снимает картину то ли по его сценарию, то ли с его песенными текстами.

Литературные дискуссии были явно не его стихией.

Зато он был неистощим на выдумку в части досуга. Вместе с Юрием Трифоновым, знатоком и болельщиком футбола, отправлялся на стадион «Черноморец» смотреть очередной матч (как раз в те осенние дни близилась развязка чемпионата страны); приглашал друзей-писателей в пивную «Гамбринус», воспетую Куприным; и, конечно же, вел всех нас, включая финнов, смотреть на улице Пастера обелиск со своим именем.

Гриша Поженян будет сопутствовать нам и в предстоящих пирах.

День рождения

Но за всем этим не оставалось и часа на то, ради чего, собственно, я и поехал в Одессу.

Я никогда, если не считать младенческих лет, не бывал в родном городе.

Это, конечно, выглядит странно, если учесть, что я гостил бессчетно во многих других городах, скажем, в столь близком отсюда курортном Коктебеле, где отдыхал с семьей почти каждое лето; или в северном городе Сыктывкаре, куда наведывался охотно при любой возникшей оказии; или даже на краю света в Улан-Баторе, о котором уже была и еще будет речь.

Но путь в Одессу мне был как бы заказан.

Объяснить ли это недосугом? Или безденежьем? Или потаенное, глубоко запрятанное в подсознании «табу» мешало мне осуществить такое путешествие раньше, да и, замечу, впоследствии — не знаю.

Книга, за которую я взялся нынче, и должна всё это объяснить. В том числе и мне самому.

То и дело сверяясь с путеводителем, едва взглядывая на классические колоннады и нарядные барочные портики прекрасных зданий, на поредевшие кроны платанов, — мы с Луизой шли Приморским бульваром.

Адрес я знал со слов матери: Гимназическая, 25.

Не беда, что к этой поре улица сменила название и стала именоваться улицей Иностранной коллегии (в честь революционных подпольных групп, ведших агитацию среди солдат и матросов сил интервенции в годы Гражданской войны). Не беда, что прошло уже сорок лет.

Я *узнал* эту улицу той особенной памятью души, что живет помимо ума и даже заменяет его.

Налево возвышалось здание старинной каменной кладки, которое прежде и было, вероятно, гимназией, давшей улице название. Теперь же, судя по вывеске у входа, здесь размещался сельскохозяйственный институт.

А напротив, через улицу — то, что принято называть южным двориком: невысокие строения, впритык друг к другу, с открытыми верандами, чердачными надстройками, навесами, столами, скамейками — всё это обступает *покоем* клочок утоптанной земли. Такие дома, такие дворики можно увидеть в Киеве, Харькове, Полтаве, в южных странах — Болгарии, Румынии, Югославии.

В них, кроме хозяев и хозяйской родни, всегда полно приживал, постояльцев, сменяющихся по мере движения самой жизни.

Тут я и родился 25 декабря 1927 года.

То есть, родился я, как и положено, в родильном доме, где-то на окраине Одессы, но этот неказистый домишко на Гимназической улице и был моим первым домом, родительским кровом, — и я отвешиваю ему запоздалый земной поклон.

Мой старший внук Антон с раннего детства проявлял интерес к высоким материям — философии, эзотерике, оккультизму.

Лет десяти, однажды на прогулке обратился ко мне с вопросом, наверное, мучившим его:

— Дед, я не буду спрашивать тебя, как я родился, я про это всё уже знаю… Ты лучше скажи мне: зачем я родился?

Застигнутый врасплох, я хотел было отделаться шуткой, вроде «чтоб хорошо учиться», но потом, всё же, пустился в рассуждения о человеческом назначении, наблюдая искоса вежливую скуку на лице мальчика.

Тогда, рассердившись на него и на себя, я сказал с несвойственной мне жестокостью:

— Зачем? Но природа не знает целесообразности!

— Ну, это хоть толково. Это хоть понятно, — вздохнул с облегчением внук.

Вряд ли моих родителей заворожила эта дата — двадцать пятое декабря, праздник Рождества Христова по новому стилю.

Они не усмотрели в этом повода перечить нравам безбожного времени. В лучшем случае это их умилило, а то и просто позабавило.

Двухнедельная разница между Юлианским и Григорианским календарем позволяет русским людям в охотку справить Новый год и по-новому, и по-старому.

Однако праздник Рождества православная церковь велит справлять неукоснительно по старому стилю. Так и справляют — седьмого января.

Я же всегда испытывал угрызения совести от того, что угодил со своим днем рождения под самый Новый год: и так у домочадцев хлопот полон рот — нужно закупать снедь и питье для новогоднего стола, бегать по магазинам, стоять в очередях, жарить-парить. А тут на тебе: в канун праздника еще и день рождения, вот уж некстати…

Лишь однажды на своем веку я ощутил причастность к величию этого дня.

В декабре 1972 года я оказался в Бейруте.

Вместе с таджикским поэтом Мумином Каноатом и переводчиком Владленом Чесноковым мы уже побывали в Алжире и Тунисе, где наводили контакты с арабскими писателями, а в ливанской столице нам предстояло участвовать в открытии Магазина советской книги.

Это было частью программы празднования 50-летия СССР (уточню: не очередной годовщины Октябрьской революции, а именно пятидесятилетия провозглашения Советского Союза — этой дате придавалось исключительное значение, и не только в родном отечестве, но и во всех странах мира раскручивались торжественные мероприятия).

Однако, как водится, техника подвела. К назначенному сроку оборудование магазина не было завершено, хотя занимались этим делом не русские и даже не ливанские умельцы, а итальянцы.

Пришлось дожидаться, покуда вобьют последний гвоздь и расставят на полках товар.

Но мы, конечно, не томились от безделья, от скуки.

К тому же чрезвычайным и полномочным послом СССР в Ливане был Сарвар Алимжанович Азимов, узбекский прозаик, отнюдь не гнушавшийся своей принадлежностью к писательской братии, а наоборот, с подчеркнутым уважением относившийся к коллегам по перу.

Нас возили к развалинам Баальбека, где в античных пропилеях гулкое эхо взывало к сообразности речей. А тысячетонные плиты Баальбекской платформы заставляли размышлять не столько о том, откуда они, эти плиты, взялись, сколько о том, откуда взялись мы, люди-человеки, на безгрешной до нас земле.

Мы бродили в толчее восточных базаров Бейрута, дивясь пестроте товара, разноликости торговцев, разноязычию торга, где наперебой звучала арабская, армянская, курдская, греческая, французская речь — и вдруг возникала догадка о том, что и до нашей северной разноплеменной державы, празднующей ныне свой полувековой юбилей, существовали ее древние подобия, причем они жили веками, меняя свои названия, уклады, символы веры, обычаи и законы.

Именно здесь, на выжженных солнцем нагорьях: Финикия, Вавилон, империя Александра Македонского, Эллада, Золотой Рим, Византия, Халифат, княжества Креста Господня, империя Османов…

Однажды ночью, гуляя по Хамре, мы встретили знаменитого иракского поэта Мухаммеда Махди Аль Джавахири, коротающего

в Бейруте свою политическую эмиграцию.

И на следующий вечер в ресторане «Альказар», где нам приготовили трапезу ливанские писатели, произошло незабываемое: молодой и красивый, как восточный витязь, Мумин Каноат, уступив настойчивым просьбам, поднялся за столом и начал читать на фарси свои стихи, а седовласый старец Аль Джавахири, встав против него, повел синхронный стихотворный перевод на арабском — и мы с Чесноковым, не понимая ни слова (он владел лишь французским), внимали потрясенно музыке персидского стиха, вдохновенному ритму импровизации переводчика.

Пошла последняя декада года, а в книжном магазине еще вовсю стучали молотки.

И Бейрут жил своей обычной жизнью — меж двух огней.

В ночь на 21 декабря из багажника «Опеля», припаркованного в ста шагах от посольства США, шарахнули четыре противотанковые ракеты американского же производства, снеся несколько этажей модерного здания. По сообщениям газет, в машине нашли записку: «За Вьетнам мы будем бить вас везде!»

Украдкой мы ездили смотреть полуразрушенное здание, обращенное к морю.

В лагере палестинских беженцев под Сайдой, который мы посетили, на стене ежевечерне вывешивали фотографии тех, кто накануне ушел на выполнение боевой операции и уже никогда не вернется.

Вокруг нас вились босоногие, с голодными глазами, дети.

Мумин Каноат раздавал им свои последние доллары.

Нам прикололи значки с палестинской символикой и арабской вязью.

«Этот значок я не сниму никогда!» — пылко заявил таджикский поэт.

Но сразу же за воротами лагеря, на пути к кафе, где нам предстояло обедать, машина остановилась: ливанские провожатые весьма настойчиво попросили нас снять эти значки, намекнув, что мы рискуем, не дождавшись десерта, взлететь на воздух вместе с другими ни в чем не повинными посетителями кафе.

На перекрестках ливанской столицы нам то и дело преграждали путь баррикады, сложенные из мешков с песком. За ними, выставив в бойницы дула автоматов, сидели смуглые парни в стальных шлемах: они были готовы встретить огнем и палестинских боевиков, и израильских коммандос.

Из своего окна в отеле «Атлантик» я наблюдал, как истребители «Мираж», подобные стальным наконечникам стрел,

оперенных выхлопами, неслись к горизонту, туда, где Южный Ливан, где граница Израиля, где погромыхивали бои, где пахло большой войной.

21 декабря нашу писательскую делегацию принял президент Ливанской республики Сулейман Франжье.

Прием был официальным: у дворца Баабда выстроен караул гвардейцев в синих мундирах с аксельбантами и лихо сдвинутых на бок беретах.

Нас сопровождал посол СССР Сарвар Азимов в парадном, расшитом золотом дипломатическом мундире.

Однако сам президент старался придать встрече не слишком протокольный характер: он был в светлосером фланелевом костюме, мокасинах, шерстяных по сезону носках. Седоголовый, щуплый, очень подвижный. Мы уже знали, что он по рождению горец, христианин-маронит (по конституции Ливана президентский пост всегда занимает представитель христианской общины, а вице-президентом избирается мусульманин).

Сулейман Франжье был подчеркнуто внимателен. Угощая нас кофе, расспрашивал о делах литературных: с кем из ливанских писателей мы успели познакомиться? Есть ли в Советском Союзе авангардистские течения? Мы отвечали, что есть. А Влад Чесноков, переводя, указал на меня пальцем: мол, вот он-то у нас и есть *l'Ucrivian d'avant-gard*! Президент сделал вид, что очень испуган…

Было ясно, что этот прием на высшем уровне, не запланированный ранее (нам пришлось впопыхах покупать белые рубашки), был знаком уважения того праздника, который предстоял через два дня.

24 декабря, в огромном зале бейрутского центра ЮНЕСКО, вмещавшем четыре тысячи человек, состоялось торжество в честь пятидесятилетия Советского Союза.

Сидя в первых рядах, отведенных для почетных гостей — кроме нас, сюда пожаловала из Москвы целая правительственная делегация, — мы оглядывались на бушующий рукоплесканиями зал, слушали пылкие, страстные речи, видели глаза людей, полные веры и упования. И вот опять — зал поднимается в едином порыве…

Как разительно это отличалось от торжественных церемоний на родине с их откровенной скукой, безразличием, исчерпанностью, со стоглавой гидрой президиумов, тяжеловесными докладами, казенными речами по бумажке, пустыми резолюциями, позвольте на этом, товарищи…

Шли домой пешком.

Был сочельник. К ночи ощущение праздника не тускнело, а нарастало.

Улицы сверкали огнями рождественской иллюминации. Деревья были обвиты гирляндами красных цветов. Зеленые синтетические елки, выставленные на тротуары, были близки очертаниями ливанскому кедру. А белые бороды Санта Клаусов подчеркивали природную смуглость их лиц.

В отдалении от злачной Хамры, запруженной толпами людей, невпроворот забитой автомобилями — маленькая тихая площадь, единственным украшением которой была стоящая торчком мраморная колонна в листьях коринфского ордера. Но это была настоящая античная колонна, и лучшего украшения нельзя было сыскать.

А на высокой скале Нахр-эль-Кальб, поднявшейся над заливом, в свете прожекторов сияла статуя Спасителя, простершего над многоязыким городом руки, благословляя мир, в котором нет *ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, ни вольного, ни раба…*

Я нес в себе тихое счастье, какое знал только в раннем детстве.

И засыпая в гостиничном номере, ощущал то же, что и в детстве, радостное предвкушение: а что окажется утром, в час пробуждения, под моей подушкой? Какой подарок? Ах, скорей бы утро…

Ожидания оправдались вполне.

Ни свет, ни заря постучались в дверь.

Открыл, не успев даже спросонья ополоснуть лицо, в семейных трусах до колен.

В дверях стояли Юрий Петрович Зайцев, второй секретарь посольства, и Вячеслав Николаевич Матузов, представитель Совета обществ дружбы. Оба чинные, в шляпах. Они держали в руках плетенную из прутьев корзину, похожую на колыбель, полную благоухающих свежих розовых цветов — честно говоря, я и тогда не знал, и до сих пор не знаю, как они называются.

В цветах была визитная карточка Сарвара Азимова.

— Спасибо, спасибо… — растроганно лепетал я.

— Сарвар Алимжанович ждет вас вечером в посольстве, — сообщил Зайцев. — Он хочет лично поздравить вас с днем рождения и праздником Рождества. Такое удачное совпадение.

— Спасибо, спасибо…

— И еще вот это.

— Спасибо, — я благодарно прижал подарок к груди, а затем убрал бутылку подальше с глаз.

Но дипломаты не уходили, переминаясь с ноги на ногу у двери.

— Сарвар Алимжанович поручил нам распить это вместе с вами, — пояснил Зайцев.

Я взглянул на часы: восемь утра.

— Прямо сейчас?

— Да, — кивнул второй секретарь посольства.

Дипломатическая служба сродни солдатской: приказы не обсуждаются.

— Хорошо, — сказал я. — Вот только штаны надену.

Под самый Новый год мы открыли в Бейруте магазин советской книги.

Из Москвы прислали с оказией несколько пачек только что вышедшей в «Прогрессе» книги «*Boys who did a-singing go*» (так в переводе на английский называлась моя повесть «Мальчики»). Глянцевый покет-бук был отлично оформлен. Я с удовольствием раздавал автографы.

Однако пора была и восвояси: мы тут основательно загостевались. Не опоздать бы на встречу Нового года! Ничего, успеем…

Шли к самолету по бетонке бейрутского аэропорта.

— Дадим телеграмму с борта: «Покидая ваш гостеприимный Пакистан…», — шутил Мумин Каноат, чуя близость родного дома.

Таджикский поэт и витязь шагал, небрежно набросив на плечо ремень «калаша».

Автомат был игрушечный, гонконгского производства, подарок сыну, — но настолько неотличимый от настоящего, что я до сих пор удивляюсь, что нас тогда — в самый разгар воздушного терроризма, — не пристрелили прямо у трапа.

— «Покидая ваш гостеприимный Пакистан…» — всё хохотал Мумин.

Через час полета, выглянув в иллюминатор, я увидел землю, горы и долы, сплошь — от горизонта до горизонта — устланные белой пеленою снега.

То ли это была Грузия, то ли уже Северный Кавказ.

Почему-то вспомнилось, что когда древним римлянам удалось одолеть Карфаген (а ведь мы всего лишь пару недель назад были там, в тунисском Карфагене), они, сравняв его с землей, усыпали всё пространство солью, чтоб тут уж ничего не взросло…

Так о чем бишь я?

Ах, да: про свой день рождения. Как однажды это совпало не только с Рождеством, но и с другим великим праздником.

Совпало и еще раз, девятнадцать лет спустя.

В тот раз я уже не шастал по заграницам, а тихо сидел дома, перед телевизором, смотрел и слушал прощальную речь человека с родимым пятном на темени: мол, так и так, дорогие сограждане…

После его прощальной речи показали, как в зимнем небе, в роях снежинок, опускается на купол кремлевского дворца, будто продырявленный аэростат, государственный флаг Советского Союза.

Было ли это случайностью, или же совпадение дат таило в себе смысл мистический, но это произошло тоже *25 декабря*, в мой день рождения. Невеселый выдался праздник.

После распада Советского Союза и гражданской войны в Таджикистане я потерял из виду Мумина Каноата и больше не встречал в печати его стихов.

Влад Чесноков умер.

Что же касается посла СССР в Ливане Сарвара Азимова, то до меня доходили слухи, что он живет в Ташкенте, работает таксистом.

На разных языках

Между тем, симпозиум в Одессе шел своим чередом. Его тема «Литература для масс и литература для избранных» в газетных статьях и отчетах варьировалась: «…для немногих», «…для элиты».

Я был бы рад сказать, что это не меняло сути.

По-видимому, сама формулировка исходила от наших финских коллег, а их волновали отнюдь не нюансы.

Финны приехали в Одессу со своими тревогами по поводу засилья на книжном рынке западного мира, к которому относилась и Финляндия, суррогатного массового чтива самого дурного пошиба — криминального, эротического, фантастического — буквально сметающего с прилавков не только серьезную современную литературу, но и классику.

По их мнению, это грозило человеческой культуре одичанием.

Жестко обозначила эту проблему в своем выступлении Марья-Леена Миккола.

Двадцатипятилетняя яркая блондинка, будто бы сошедшая живьем с этикетки финского плавленого сырка «Виола», ценимого у нас как закуска, еще в Москве привлекла к себе внимание писателей — и Трифонова, и Гинзбурга, и Оклянского, а тут еще добавились ценители женской красоты из Киева и Одессы. Всех интриговало ее имя, как бы составленное из русской деревенской Марьи и русской же городской Лены. Иным слышался в этом сочетании отзвук имени такой же белокурой богини Мэрилин Монро, оставившей недавно в безутешности сонмы поклонников. Третьих умиляло, как близка ее фамилия хохлацкому Мыколе. А может быть, возбуждали интерес и совсем другие качества.

Все расспрашивали, не участвовала ли она в конкурсе на титул «Мисс Финляндия», вообще выясняли — мисс она или миссис (по-фински «нейти» или «роува»), будто имели намерение жениться, на что получали суровый ответ, что миссис, что роува, что уже, слава богу, замужем.

В меньшей мере дознавались, чту она пишет. Но от консультантов Иностранной комиссии было известно, что Миккола — прозаик, у нее есть книги, сочиняет тексты для политических варьете. Наиболее осведомленные уверяли, что эта финская Мэрилин — коммунистка, другие же остерегающе добавляли: *маоистка*.

Надобно заметить, что среди финских писателей, приехавших в Одессу, было немало коммунистов либо сочувствующих им

людей левой ориентации. Молодого поэта финских кровей, выросшего в Америке, они сами, смеясь, представляли нам как «дитя Карла Маркса и Кока-Колы».

Вообще, в конце шестидесятых и начале семидесятых годов мир заметно припадал на левую ножку.

Повсюду еще ощущалось жженье молодежных бунтов в Соединенных Штатах Америки, студенческих буйств в Латинском квартале Парижа, террора «красных бригад» в Италии и Германии. Кубинские бородачи Фидель Кастро и Че Гевара пленяли воображение юношества.

Во всем этом был отзвук катастрофического толчка китайской «культурной революции», которая, в свою очередь, была отчаянной попыткой воскресить идеи русской большевистской революции…

Возможно, были и *мистические* причины этого мирового пассионарного беспокойства.

Одни жаждали революций, социализма.

Другим лишь претила буржуазность.

Путешествуя по Финляндии, я наблюдал — в самолетах, поездах, автобусах — длинноволосых юношей и коротко стриженных девушек, уткнувшихся носами в кроваво-красные томики. Это были цитатники Мао-Цзедуна.

В маленьком приполярном городке финский писатель, зазвав меня в гости, показывал достопримечательности своего уютного дома: детскую комнату с койками в два яруса, где к стене был пришлепнут большой плакат с красным знаменем и головою Ленина; затем повел в спальню, где у обширной кровати белого лака стояла такая же белая этажерка, на которой теснились книги в белых глянцевых обложках — дамские романы, *love stories*; я-то сперва, по простоте души, вообразил, что он хвастает изысканным вкусом хозяйки, выдержавшей спальню сплошь в стиле какого-то Людовика, но по его ехидной улыбке понял, что он показывает мне, какое говно читает супруга писателя…

Именно этим — прорвой бульварщины, хлынувшей взахлеб с книжных страниц и экранов — были озабочены наши коллеги.

Они основательно подготовились к дискуссии. Даже вывесили на доске диаграммы, изображающие борение сил и тенденций.

Мы же несколько иначе понимали и трактовали тему симпозиума.

Юрий Оклянский в своих более поздних книгах «Биография и творчество», «Счастливые неудачники» немало страниц попятил одесской встрече 1970 года.

При этом он опирался на стенограмму дискуссии, которую

ему удалось разыскать в архиве.

Я цитирую тексты по Оклянскому, сохраняя пунктуацию.

«Мне кажется, — говорил в Одессе Юрий Трифонов, — суть всей проблемы — элита, массы — заключена в самом факте просвещения. Уровень читателя, интеллектуальный уровень растет… То, что накопила история искусства, то сейчас накапливает — не полностью, разумеется, по уменьшенной модели — средний образованный человек. Так вот, чтобы оценить, к примеру, фильм „Земляничная поляна“… надо иметь накопления. Надо, может быть, знать Библию, Данте, Шекспира, Хемингуэя, Льва Толстого, Кафку, Чехова…»

Характерно, что элитарным, в представлении Трифонова, было лишь искусство творческого эксперимента.

«В России был Велемир Хлебников, — продолжает он. — Поэт для поэтов. Его странная поэзия была и в то время совершенно чужда читателям. Прогресса не произошло за 50 лет. Хлебников массовому читателю не нужен. Заумный язык — все эти „убещуры“ и „гзи-гзи-гзео“ — отвергнуты и погребены на кладбище литературного былья. И, однако, хлебниковская поэзия всё же пришла к массовому читателю — через Маяковского, Асеева и затем Евтушенко, Вознесенского и т. д. То есть то, что делалось сугубо для избранных — а Хлебников и не рассчитывал завоевать читателя, — не пропало даром и не исчезло. Оно присоединилось, влилось».

Столь же решительно Трифонов выводил вообще за рамки разговора тему коммерческой субкультуры.

«Действительно массовая „ширпотребовская“ продукция и пустая, развлекательная, детективная, шпионская и т. д., которая наполняет корзины магазинов, вся эта продукция не имеет отношения к нашему семинару».

Тем не менее, сам Юрий Трифонов чувствовал половинчатость, отвлеченность состоявшейся разговора. Уже возвратившись в Москву, он продолжал обдумывать ход дискуссии, тезисы своего собственного выступления, которым, судя по всему, не был удовлетворен.

Это очевидно из его письма критику Л. И. Левину от 26 октября 1970 года — оно опубликовано много позже в книге А. Шитова «Юрий Трифонов. Хроника жизни и творчества. 1925–1981».

«Дорогой Лев Ильич!

Получил Ваше письмо вчера, вернувшись из Одессы, где происходил симпозиум с участием финских

писателей на тему: „Искусство для масс, искусство для элиты“. Мне тоже пришлось произнести монолог на эту тему. Мысль у меня нашлась единственная: о том, что время вносит катастрофическую путаницу. То, что когда-то делалось для элиты, становится со временем достоянием масс, и наоборот. (Примеры: Рабле, Свифт, которые сделались достоянием детского чтения, с другой стороны, художник Пиросмани или протопоп Аввакум). Другие участники симпозиума тоже изощрялись, как могли. Словом, было порядочно болтовни, как обычно на таких мероприятиях…»

Наших финских коллег, повидимому, тоже не устраивала эта отвлеченность, это парение в горних высях. Выражаясь фигурально, разговор шел на разных языках. То есть, общение на симпозиуме и так велось через переводчиков: финнам очень трудно дается русский язык, хотя, по уверениям старика Покровского, именно финская кровь течет в жилах русского народа.

Но здесь речь об ином — о сути.

На одесском симпозиуме одни, по выражению Трифонова, «изощрялись, как могли», другие же пытались вести речь о хлебе насущном в прямом и переносном смысле этих слов.

На правах ближайших соседей, финны были отлично осведомлены о том, что книги русских писателей — да того же Юрия Трифонова, — имеют многомиллионного читателя, достигают самых удаленных уголков страны; что толстые литературные журналы, такие, как «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», издаются неслыханными тиражами; что самый острый дефицит в стране — книги, притом хорошие книги.

Знали они и о том, что эти книги очень сильно влияют на сознание масс, будоражат общество, что иногда это приводит к острым ситуациям, к противоборству писателя с идеологической машиной государства, но в итоге — не государство, а именно писатель остается властителем дум…

А вот они, финны, честные и безусловно прогрессивные писатели своей маленькой страны, лишены этой роли властителей дум, оттеснены от жизни общества и, вообще, их творчество захлестнуто мутным потоком переводной коммерческой дряни, тем самым «ширпотребом», о котором с небрежением говорил Трифонов.

Они — вежливо и ненавязчиво — пытались втолковать нам, что у них с этим делом *плохо*.

Мы же считали, что если *плохо* — то это *у нас*.

У нас нет свободы. Нет хороших джинсов на прилавке. Нет кока-колы. Нету стриптиза. Нету книжек Микки Спилейна. Нету фильмов про Джеймса Бонда…

Фантом коммерческой литературы, как неизменный атрибут «сладкой жизни» за бугром, порой вводил в искушение серьезных и талантливых людей.

В том же семидесятом писательская братия сочувственно следила за аферой, предпринятой Василием Аксеновым, Овидием Горчаковым и Григорием Поженяном.

Они решили составить конкуренцию англичанину Яну Флемингу, автору романов о супершпионе Джеймсе Бонде, знаменитом агенте 007, растиражированных еще и в кинематографической «бондиане».

Причем для этой цели они выбрали не какого-нибудь советского разведчика типа Абеля, а пошли по пути прямого соперничества, дав своему герою имя Джин Грин, прозвище Неприкасаемый, и снабдив его личным номером 014 Центрального разведывательного управления США.

Конечно же, в этой затее был отчетлив момент игры, озорной мистификации, был достаточно обнажен прием литературной пародии и даже, в некоторой степени, присутствовал вызов застойной скукотище.

Они придумали себе коллективный псевдоним — Гривадий Горпожакс, составленный из слогов их уважаемых имен и фамилий. Был он настолько неуклюж и коряв, что однажды, в кругу собутыльников, я, в порыве бескорыстного участия, предложил более звучный вариант — *Аксгоржоп*. Но его не оценили.

Три стилиста, три веселых друга, подались в «литературные негры».

Роман века приятели сочиняли в Доме творчества на берегу Черного моря, разделив объем задуманной книги на три части — поровну, каждому своя доля.

Василий Аксенов к той поре написал «Коллег», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко» и уже опубликовал в журнале «Юность» сенсационную «Затоваренную бочкотару», на которой зацвела желтым цветом и поплыла к синю морю вся хренотень доморощенного авангардизма.

Наш добрый знакомый Гриша Поженян, волонтер холерного симпозиума в Одессе, как уже сказано выше, являлся автором дюжины поэтических книг, песенных текстов, киносценариев.

Овидий Горчаков был единственным из трех писателей, объединившихся под псевдонимом Горпожакс, кто на самом деле

имел отношение к шпионской теме. О нем в писательской среде ходили почтительные легенды, будто бы он родился и вырос за границей (хотя справочник «Кто есть кто» утверждает, что он родился в Одессе), в совершенстве владел иностранными языками и потому в годы второй мировой войны не раз засылался в глубокий тыл противника с целью разведки. Юлиан Семенов называл его реальным прототипом героя своего романа «Майор Вихрь». Собственные книги Горчакова «Далеко по ту сторону фронта», «Он же — капрал Вудсток», да еще высокий польский орден Виртути Милитари, с которым он иногда появлялся на людях, не противоречили легенде.

Все трое не нуждались в заемной славе — их имена и так были на слуху.

Чего они хотели? Заработать бешенные деньги на расхожем чтиве? Но ведь они знали, что в Советском Союзе мошна писателя зависит не от жанра, а от его поста в чиновной иерархии. Я уже рассказывал, что самым богатым писателем у нас был бездарный, как пень, Георгий Марков. Кстати, на него тоже работали литературные «негры».

Нет, тут была именно *игра*.

Однажды, в веселую минуту, Аксенов поведал мне о том, как создавался «Джин Грин».

«Мы сидели в Ялте, в доме творчества, — рассказывал Василий Аксенов, — жили там вольготно, но и вкалывали на совесть. Как-то прикинули — кто сколько написал. Вышло, что У меня листов пять, я имею в виду авторские листы. У Овидия Горчакова почти десять, молодец. А у Гриши Поженяна — на нуле, ничего. Он целыми днями где-то пропадал, суетился, Но за пишущей машинкой его так и не видели… И когда терпение иссякло, мы с Овидием составили заговор: решили исключить Поженяна из нашего творческого коллектива, убрать его из соавторства за саботаж. Сидим злые, мрачные, пьем пиво и договариваемся, в каких формулировках изложить ему наше решение… Вдруг видим — бежит Гриша домой и тащит полную авоську вяленой воблы. Уму непостижимо, где достал, ведь жуткий дефицит! И тогда мы с Овидием посмотрели друг на друга и, устыдившись самих себя, отвели глаза. Мы поняли, что Гриша Поженян — человек незаменимый в нашем соавторстве…»

Аксенов хохотал, я тоже.

Боевик «Джин Грин — неприкасаемый» Гривадия Горпожакса вышел в свет в издательстве «Молодая гвардия» в 1972 году. Эта книга не приумножила славы своих подлинных авторов. И денег они на ней не заработали.

Но кое-какую нервотрепку она им причинила.

Если Центральному разведывательному управлению США было в высшей мере начхать на злоключения своего агента 014, то, говорят, КГБ проявил нешуточный интерес к деятельности Джина Грина.

Рукопись затребовали из издательства «Молодая гвардия» на Лубянку…

Опыт первопроходцев в стихии коммерческой литературы для широких народных масс позже пригодился другим олухам.

Едва на волне перестройки запахло свободой предпринимательства — первыми на этот запах ринулись книгоиздатели.

Весною 1990 года меня пригласили на книжную ярмарку в Мюнхен. Уточняю: не в Лейпциг, не во Франкфурт-на-Майне, где международные книжные ярмарки проводились искони и где мне случалось бывать раньше, а в Мюнхен.

В том угадывалась некоторая экстренность: западные издатели спешили уяснить обстановку за рухнувшим «железным занавесом», оценить возможности нового потенциального рынка.

Вместе с группой писателей «Апреля» я участвовал в создании Независимого издательства «Пик».

Мы мечтали издавать новинки поэзии и прозы, которые раньше, из-за цензурных препон, не могли пробиться к читателям; хотели выпустить в свет книги русской эмиграции и «самиздата», состоящие под запретом; намеревались дать дорогу публицистике, размышлениям о прошлом, настоящем и будущем страны.

Елена Георгиевна Боннэр передала «Пику» рукопись составленной ею посмертной книги академика Андрея Сахарова «Pro et contra». Была в работе «Исповедь на заданную тему» Бориса Ельцина. Готовились к переизданию в России книги Сергея Довлатова, Александра Зиновьева, Гайто Газданова.

Но всё это еще было покуда на столах редакторов, художников, корректоров, в компьютерах, в пленках…

Ехать в Мюнхен с пустыми руками?

На всякий случай я обежал самые бойкие книжные магазины Москвы и купил несколько книжек, как образцы того, что мы хотели бы издавать.

И еще — образчики того, что мы издавать не будем ни за какие деньги…

С трибуны симпозиума в Мюнхене я рассказал о планах «Пика», о его завидном портфеле, показал несколько весьма достойных книг, выпущенных нашими первыми независимыми издателями и пояснил: вот эти книги послужат нам примером!

А затем брезгливо, двумя пальцами, как использованную

туалетную бумагу, я поднял несколько несброшюрованных печатных листков, озаглавленных «Похождения космической проститутки» с загадочным авторством и неслыханным тиражом.

Это была, так сказать, первая ласточка вольного книгопечатания, купленная мною на толкучке в Лужниках — впрочем, ее продавали на каждом углу по всей Москве и по всей России: тут тебе и детектив, и фантастика, и эротика — всё вместе, в одном флаконе.

Я с омерзением тряс этими листками перед коллегами по международной книжной ярмарке, ожидая вполне предсказуемой реакции: *pfui, schweinerei… what a filth…* либо, на худой конец, взрыва смеха.

К удивлению, аудитория не разделила моего сарказма.

Меня лишь спросили:

— Но это покупают?

— Увы, да.

— Ну, и прекрасно… ведь это — бизнес!

И они не ошиблись. Бизнес расцвел махровым цветом.

Через полгода прилавки московских книжных магазинов были сплошь завалены этим дерьмом.

Вскоре пошли слухи о том, что такого-то писателя видели в подземном переходе — он стоял с протянутой рукой. Другой же классик развозит на своей машине, на тачке, на «блядовозке», девиц по вызову — ну, этот всегда умел устраиваться. Третий вообще кайфует: сдал свою квартиру иностранным бизнесменам, а сам живет на литфондовской даче, на свежем воздухе.

Впрочем, наиболее упрямые всё-таки предпочли добывать хлеб насущный профессиональным трудом: шли в «негры», подряжались писать детективы, триллеры, порнуху — вроде того же «Джина Грина — неприкасаемого», вроде тех же «Похождений космической проститутки». Работали под псевдонимами. Но иногда хозяева требовали: «Нет-нет, возьми женскую фамилию — сейчас хорошо идут женские детективы…» А иногда высказывали претензии к стилю: «Что-то ты, браток, не по-нашему пишешь — больно заковыристо, ты бы гнал попроще…»

В писательских кругах прокатилась волна внезапных смертей, загадочных самоубийств.

Но всё это произошло гораздо позже.

А тогда, в Одессе, на симпозиуме по теме «Литература для масс и литература для избранных» мы с финскими писателями просто не вполне понимали друг друга. Мы говорили на разных языках.

Место под солнцем

Ранние детские впечатления обычно стираются из памяти. В этом есть какая-то загадка, вероятно связанная с памятью утробной, генетической, таинственным следом предыдущих жизней.

Вот, казалось бы, на чистый лист должны с особой четкостью лечь штрихи самых первых впечатлений — зримое, слышимое, осязаемое. А от них уже заветвилась бы густая вязь обретаемого опыта.

Но нет. Опыт первых двух или трех лет жизни вдруг стирается начисто, будто мокрой тряпкой со школьной доски. И рисуй всё заново.

Уже взрослым человеком, я часто ловил себя на том, что бываю захвачен самым обычным зрелищем начальных дней зимы: ребенка-первогодка, закутанного, как вилок капусты, лишь глаза наружу. — вывозят на саночках во двор, где только что выпал снег, и на несколько мгновений оставляют в неподвижности, чтобы он привык к открывшейся необычайной картине — всё вокруг бело… И земля, и ветви деревьев, и небо, сыплющее порошу.

Изумленные младенческие глаза, наблюдающие мир совсем иным, нежели он был вчера.

Казалось бы, для меня, родившегося у Черного моря, самым первым и самым сильным впечатлением должно бы стать море. Что может более поразить взгляд и слух, даже обоняние, — чем накат волн, шум прибоя, чем запах соленой купели, раскинувшейся во весь окоём!..

Но нет: моим первым впечатлением был снег.

Ведь я родился в декабре, и первыми месяцами моей жизни были, если употреблять не латынь, а смачную украинскую мову — *грудень, сичень, лютый*. Белый снег, густо укрывший улицы южного города.

Неужели именно так, с первым морганьем глаз, ослепленных белым, мне был напророчен Север?

Или снежная фантазия так сильно отпечаталась в мозгу лишь потому, что была внезапностью, контрастом, диссонансом в привычной уже для этих широт смене явлений: солнце — жаркое или холодное, дождь — проливной или морось…

Или же это воспоминание оказалось таким сильным, ликующим, по той причине, что по снегу, накрывшему Одессу, меня катала запряженная в санки черно-желтая овчарка Люська?

Ранг этого впечатления укрупнился позднее, когда след

собаки Люськи я, уже на склоне лет, вдруг обнаружил в архивной папке Чека, в агентурном донесении, подписанном кодовым именем «Клин».

> «…я познакомился на пляже с человеком, назвавшимся журналистом, пишущим для харьковских и московских газет. Поводом для знакомства послужила его собака породы немецкая овчарка „Люси“. Я заинтересовался собакой, начал с ней играть и спросил, откуда он добыл такую собаку…»

Увы, вскоре после моего рождения и вскоре после того, как собаку Люську впрягли в детские санки, чтобы катала ребенка по первопутку, она погибла под колесами проезжавшего по Гимназической улице автомобиля.

Есть светлые воспоминания.

Не скажешь, что они запечатлелись в памяти из-за своей исключительной важности — наоборот, сущий пустяк. Но вполне может быть, что они сохранились как раз из-за того, что в жизни оказалось не столь уж много радостей, а тут как раз выпала радость — ее и нужно запечатлеть в самом ярком цвете на фоне серых дней!

Искрящееся кусочками льда, розовое, как заря, мороженое в жестяном жбане, закрученное столовой ложкой в вихрь, в водоворот, в смерч, в штопор.

Во дворе, на ступеньке крыльца, сидит мой дядя Витя, Витяка, младший брат мамы, курсант Одесской мореходки, и крутит самодельное домашнее клубничное мороженое в продолговатом жестяном сосуде. Это так в ту пору и называлось: крутить мороженое, подобно тому, как крутят любовь.

А любовь тут тоже была: рядом с Виктором — Лиза, его молодая жена, курсантка того же мореходного училища. Девушкам только что разрешили туда поступать наравне с парнями. Она поступила, но отставала в учебе, и Виктору Приходько поручили «взять ее на буксир» (так это называлось). Он взял, вытянул, а потом у них закрутилась любовь, и они поженились, и стали жить-поживать, добра наживать, и вот в один прекрасный день всем захотелось домашнего мороженого…

Впоследствии Виктор Андреевич Приходько станет капитаном первого ранга, командиром соединения подводных лодок, отвоюет всю войну на Черном море, продолжит службу на Балтике, вернется на Черное, заработает целый иконостас — через всю грудь! — боевых орденов и медалей, сам станет командиром мореходного училища в Батуми, временами будет

наезжать в Харьков, в Москву — и мы еще не раз с ним встретимся.

А его жена Лиза, морячка, на всю жизнь останется просто его женой, родит ему сына Володю и дочку Галю — моих двоюродных брата и сестру.

Из всех моих дядь и теть — а их полдюжины по одной лишь материнской линии, — лишь Виктор Андреевич Приходько сумеет прожить жизнь в ладах с Советской властью, сделает карьеру, заслужит почет.

У остальных это не получится.

…Ах, какое это было мороженое! Ах, какое это было счастье!

Не зря же я его помню.

В семейном альбоме сохранились фотографии, где я запечатлен в самом что ни на есть нежном возрасте, от годика до трех.

Вот я сижу верхом на качающейся игрушечной лошадке — белой, с рыжими подпалинами, в масть седоку. У нее еще всё на месте — и хвост, и грива, — позже я их состриг подвернувшимися ножницами, был за то отменно наказан, но не перековался.

Одна мамина знакомая забежала в гости по пути из «Торгсина», похвастаться купленным за валюту постельным бельем — тонким, дорогим, — но не углядела, как я теми же ножницами оттяпал у свернутой ткани округлые уголки, чтобы получились парашютики. После этого в «Торгсин» пришлось бежать уже моей маме, сдавать по весу столовое серебро, чтобы возместить подруге причиненный ущерб.

Нет, я не был злодеем, просто — изобретательный мальчик.

А вот стою теперь уже не у игрушечной лошадки, а подле настоящего взрослого велосипеда: колесо выше моей макушки. Чей велосипед, отцовский? Но я не помню, чтобы отец катал меня на нем.

Зато отлично помню, как некий мамин поклонник усадил меня, маленького, на раму велосипеда и повез по колдобинам — а сам он был, как могу теперь предположить, изрядно пьян, и потому свалился вместе с велосипедом и со мною в яму: ему-то, пьяному, ништяк, море по колено, а мне, бедняге, перелом лодыжки, лежал в гипсе.

Ни имени, ни лица этого человека я не помню. Но, по-видимому, именно он еще несколько раз возникает в смутных воспоминаниях моего раннего детства. А если память затвердила именно это, напрочь стерев остальное, значит именно это — важно. Но почему?

Например, я помню его в военном. Военная форма с тех пор

менялась раз десять. И я сам, едва подрос, надел форму Красной Армии, сперва с петлицами, потом с погонами (вообще, смена формы бывает нечасто — ведь это очень дорого стоит: переодеть всю армию). И сейчас я не вспомню примет, петличек, шпал или ромбов, — но был он, точно, в военном.

И подле него на улице стоял военный же, зеленый, мотоциклет с коляской. Он посадил меня в эту коляску. И я хотел уже было просунуть ноги в глубь, во чрево этой коляски. Но он припугнул меня — там рак, укусит! — и я, испугавшись, отдернул ноги… А где при этом была моя мама? Она стояла рядом и смеялась. А где при этом был мой отец? Не знаю. Он пропадал надолго и часто.

Из протокола допроса Е. Т. Рекемчука 11 июля 1937 г.

«…*Воп.* Когда Вы были привлечены к работе в органах ГПУ-НКВД?

Отв. В 1926 г., в мае м-це.

Воп. Куда Вы выезжали за пределы СССР?

Отв. В командировки по делам службы я выезжал: в Прагу через Варшаву и обратно через Берлин — Варшаву, в Константинополь, Ревель, Юрьев, Берлин, Вену и обратно через Будапешт-Софию — Белград, Адрианополь, Константинополь, Берлин через Киль, Гамбург, Данциг и обратно Кенигсберг — Ковно.

Воп. В каких странах Вы бывали нелегально?

Отв. Только в Румынии.

Воп. Сколько раз Вы переходили нелегально границу?

Отв. Точно не помню, но около 35–40 раз…»

И вот, наконец, в доме на Гимназической появляется мой отец.

Приехал откуда-то после таинственных и долгих своих отлучек.

Он не любит отдыха на диване вверх пузом. Да и пуза у него нет: высокий, сухощавый, подтянутый, энергичный. Едва переступив порог, повесив на плечики пиджак, освободив шею от галстука, в отглаженных брюках и белой рубашке, он достает из угла рапиры.

Одну из рапир берет себе, а другую вручает мне — защищайтесь, сударь!..

Дуэлянты фехтуют в одесском дворике.

Что за стойка у старшего Рекемчука! Ноги пружинят в

бойцовской позиции, левая рука воткнута в бок, локоть четко отставлен, а правая рука выдвинута, жало рапиры водит пасы перед носом противника… Никакому д'Артаньяну, никакому Сирано и не снилась подобная молодецкая стойка.

А младший Рекемчук, лет эдак двух или трех, сжимает эфес тяжеленной рапиры двумя ручонками, лишь бы не уронить. Делает вид, что защищается, а сам беззащитен, потому что понимает, что это — игра.

Потому что защищаться всё равно не умеет и никогда тому не научится.

И еще одна важная деталь.

Мое лицо на фотографии отпечаталось светло и четко, разве что веснушки не наперечет.

А лицо старшего Рекемчука, у верхней кромки снимка, оказалось затемненным, попало в тень.

И лишь благодаря этой тени, сохранилась фотография. Единственная, где я запечатлен вместе со своим отцом.

А ведь их было много. Но они пропали. Гораздо позже, в конце сороковых. Когда отца давно уже не было на свете. Когда взялись за мою мать: «*Кто* был ваш первый муж?» И когда пришел черед мне отвечать за отца: «*Кто* был ваш отец?» Мама, объясняясь со мною, упорно твердила, что снимки исчезли. Что однажды она пришла с работы домой, а на столе раскрытый бювар, из него вынуты и унесены все фотографии, на которых запечатлен в единственном лице и среди других лиц Евсей Тимофеевич Рекемчук. Исчезли только эти фотографии, все же остальные целы.

Я не беру под сомнение эту версию. Но не исключаю и того, что снимки уничтожила — порвала, сожгла — она сама. В минуту отчаяния, ужаса. Как бы уничтожая улики. Пытаясь спасти себя и меня.

Уцелела лишь единственная фотография, где я с отцом — и потому лишь, что на ней лицо его в глубокой тени, как в маске. Где лица будто бы и нет, поди-докажи, что это он. Хотя, если честно, одна лишь фигура, одна лишь стойка в фехтовальной позиции с рапирой дает возможность, не заглядывая в лицо, узнать человека.

Мой старший внук Антон, специалист и кудесник в делах компьютерных, попытался высветлить, восстановить в деталях лицо своего прадеда на снимке — но это удалось лишь отчасти.

Есть загадки, которые в своей неразгаданности таят особый, мистический смысл, потустороннюю тайну.

Эпизодические появления моего отца в Одессе врезались в

детскую память и другими деталями: скрипом патефонной иглы в бороздках модной пластинки; возбужденными голосами мужчин за стеной и хохотком женщин; запахами торгсиновских духов.

Дело в том, что когда он возвращался, в доме на Гимназической бывали званые вечера.

Не знаю, кто именно были его гости, чем он их угощал — меня не сажали за общий стол.

Как правило, это происходило уже в вечерние поздние часы, когда меня укладывали спать в маленькой соседней комнате.

Но я не сразу засыпал и всё слышал: во-первых, было довольно шумно, а во-вторых мною владело любопытство.

У нас, как и у всех достаточных советских людей, конечно, был патефон. Не граммофон — деревянный ящик с жестяным раструбом, а патефон: чемоданчик с откидной крышкой, диском, мембраной и заводной ручкой.

Вот к нему-то из своих дальних странствий Рекемчук и привозил новые пластинки. На этих пластинках — мне их давали в руки, подержать — были наклейки: белая в пятнах собака, слушающая музыку с граммофона, того самого, старинного, с раструбом. Это была этикетка фирмы Пате, то есть пластинки были привезены из-за границы — из Берлина, из Парижа, из Праги, — в доме не делалось особого секрета из того, что отец бывал и там, а не только в ближайшей заграница — Кишиневе.

Вот эти-то пластинки и собирались послушать гости. Под них же танцевали — фокстрот, танго, чарльстон.

Эти мелодии и ритмы мне приходилось слышать и позже, когда я уже подрос и сам стал посещать танцульки, приглашал, еще стесняясь и волнуясь, первых девочек.

«Маненька Манон», «Риорита», «Инесс»…

Но главным впечатлением моего детства — и, как я догадываюсь, главным сюрпризом для гостей, — были песни Александра Вертинского.

Каким-то образом к той своей младенческой поре я уже понимал, что этот певец с заунывным голосом, насморочным прононсом и особенным произношением слов, диковинным даже для Одессы, — что он живет в какой-то другой стране, и что в ту другую страну он приехал тоже из другой страны, не из той, в которой родился и живу я.

> И дело было даже не в названиях городов и стран, которые звучали в его песнях:
> В бана-аново-лимонном Сингапуре, в бури,
> Когда поет и плачет океа-ан…

Тут даже я понимал, что он лишь хвастает, будто побывал там.

Но в этих песнях жили совсем другие люди, ничуть не похожие ни на мою маму, ни на моего дядю Витю, курсанта мореходки, ни на его молодую жену Лизу, которую он «взял на буксир», ни на наших соседей по южному дворику на Гимназической улице, ни даже на моего отца, вот только что приехавшего из Парижа, Берлина и Праги.

У тех людей были свои проблемы, которые они мучительно решали, ничуть не заботясь об окружающих:

Как поет в хрусталях электричество!
Я влюблен в вашу тонкую бровь!
Вы танцуете, Ваше величество
Королева Любовь!

Единственной из песен Вертинского, которая казалась мне актуальной и вполне приемлемой для детского сознания, была Песня о какой-то девочке-безноженьке, которая просит ласкового Боженьку приклеить ей во сне ножки. Я очень, ну, прямо до слёз сочувствовал этой несчастной девочке, вероятно, моей сверстнице, однако сомневался в том, что Боженька ей поможет и приклеит. Злодейский атеизм уже пропитал насквозь всё мое существо, и единственный к той поре случай, когда я был в церкви, были мои крестины.

Еще странно, что среди пластинок, которые привозил из-за границы мой отец, были только песни Вертинского. А, например, песен другого певца, Петра Лещенко, он не привозил, хотя я знаю, что по ним сходила с ума вся Одесса. Может быть, я их просто не запомнил? Но нет, если бы я хотя бы раз услышал залихватский шлягер «У самовара я и моя Маша…», то моя память схватила бы его так же четко, как запечатлелось «Вы плачете, Иветта…» Вертинского. Значит, репертуар Петра Лещенко не в полной мере отвечал культурным запросам Рекемчука. И я впервые услышал эти шедевры — «У самовара…» и «Чубчик кучерявый» уже после того, как отец и мама развелись.

Повторю: я не знаю, кто были те люди, которые приходили к нам в гости на Гимназическую улицу, когда Рекемчук появлялся в Одессе.

Но, вероятно, это были представители не самых пролетарских масс.

Потому что — о, как хорошо я это помню! — на вешалке в прихожей, что была рядом с моей спальней, висели пышные меховые шубы приглашенных дам (значит, это было зимой, в ту

же пору, когда собака Люська катала меня на санках).

И когда в соседней комнате гремел патефон, звенели бокалы и рюмки, а по полу шаркали подошвы танцующих, — я тихонько поднимался с постели, отбрасывал одеяло, босиком прошлепывал по холодному полу, достигал вешалки в коридоре, придвигал табуретку, взбирался на нее — и, зажмурив глаза, приникал щекой к теплому меху, к длинноволосой чернобурой лисице, к царапучим завиткам каракуля, и к тому упоительно ласковому меху, который, как позже я узнаю, называется шиншиллой.

От всего этого пахло не только самим мехом, но и духами, которыми душились хозяйки этих шуб, и еще чем-то неуловимым, головокружительным, может быть самими женщинами, которые пришли к нам в гости послушать песни Александра Вертинского.

…И души вашей ни-ищей убожество
Было так тяжело-о разгадать.
Вы уходите, Ваше ничтожество.
Полукровка… Ошибка опять.

Сотворение кумира

…Но я забыл об одесситах, чего допускать вообще нельзя, тем паче — находясь в Одессе. Все немного расслабились, внимая очередным ораторам на симпозиуме. Вполуха слушали речи именитых москвичей, витийства киевлян, вежливо аплодировали гостям, финским писателем.

Как вдруг потребовали слова одесситы.

Чутье подсказало мне, что эта настойчивость проявлена неспроста. Будто бы кто-то незаметно, но решительно, из-за спин, подталкивал их: ну, давай, ну, сколько можно терпеть эти интеллигентские слюни, а ну, пошла!.. И уже не было мочи сдерживать напор. Да и как не дать слова хозяевам?

Первым в атаку ринулся Иван Дузь, о котором я знал, что он литературный критик и чего-то там профессор. Второй была некая Зирка, о которой я вообще ничего не знал, а лишь мог догадываться, что Зирка (по-украински — звезда) это, скорее всего, псевдоним и что подобные слащавые псевдонимы обычно выбирают себе поэтессы из Одессы.

Они, с пеною у рта, бросились на Солженицына.

Было легко предположить, что вообще, по жизни, Солженицын им ничего плохого не сделал. Что они, наверное, прочли «Один день Ивана Денисовича», нахохотались и нарыдались от сердца, как и все, как и я. Что за кухонным чаем в семейном кругу или даже в обществе друзей они с восторгом, пусть и полушепотом, обсуждали крамольную повесть. Хотя какая же это крамола, если напечатано в журнале, если все газеты наперебой верещат об авторе, самородке и страстотерпце, если повесть выдвигалась на соискание Ленинской премии, если ее, говорят, читал сам Хрущев, хотя он и не читал ничего по темноте и лени?..

Впрочем, время переменилось.

Наверняка Дузя и Зирку, профессора и звезду, пригласили в обком партии или еще куда покруче — отказаться от такого приглашения нельзя, — и там дали *указивку*. сделать Солженицыну козу, обложить последними словами Нобелевский комитет и выразить волю народа о лишении Солженицына гражданства, высылке его за границу, а если нет, то посадить его обратно в лагерь, где он уже сидел раньше вместе со своим героем Иваном Денисовичем Шуховым…

Была ли реальной подобная перспектива?

Поведаю читателям о событии, которое, насколько я знаю, до сих пор так и не обрело гласности.

Тогда же, в начале 70-х годов, в Малом зале Центрального дома литераторов прошло немноголюдное собрание писателей Москвы, на котором выступил начальник Пятого управления КГБ генерал Абрамов. Он, весьма доверительно, рассказал о деятельности в Советском Союзе диссидентов, процитировал некоторые документы, статьи зарубежной прессы. Говорил и о Солженицыне, о том, что семья Ростроповичей опекает его на своей подмосковной даче, о возникших там проблемах, о непростых взаимоотношениях Солженицына с главным редактором «Нового мира» Твардовским.

Генералу задали вопрос: достаточно ли мотивированной была реабилитация Солженицына по его фронтовому делу?

Абрамов подробно рассказал об обстоятельствах ареста Солженицына на фронте в 1945 году, о суде над ним, но подчеркнул, что поскольку реабилитация состоялась в соответствии с законом, никакого *обратного хода* в этом деле быть не может.

Вот тут-то и произошло нечто невероятное. Один за другим выступили писатели, чье творчество было посвящено подвигам чекистов, и о которых поговаривали, что они вхожи. Так вот, эти вхожие писатели в один голос потребовали пересмотра реабилитации Солженицына, что, по сути, могло означать либо подтверждение его виновности по давнему делу либо новое судебное преследование.

Я не настолько наивен, чтобы думать, будто эти вхожие писатели (тем более — все вдруг!) самостоятельно загорелись этой идеей.

Но мне показалось, что генерал был ошеломлен подобным поворотом разговора.

Свои ребята, как обычно, перестарались.

Я сидел на этом собрании, удрученно понурясь.

Слишком свежи были в памяти мытарства, пережитые в детстве, и позже, когда я уже повзрослел: я был сыном расстрелянного, сыном «врага народа», я был заклеймен. И дело тут не только в клейме: был момент, когда мне самому грозила та же участь… Об этом позже.

В 1957 году меня пригласили к уполномоченному КГБ по городу Ухте, что в Коми АССР, и выдали справку о том, что мой отец Рекемчук Евсей Тимофеевич реабилитирован посмертно.

Так что же — всё сначала?..

Ведь нетрудно догадаться, каким прецедентом могла стать отмена реабилитации Солженицына.

Спустя много лет, я нашел в одной из книг, посвященных деятельности КГБ, такой текст:

«В ноябре 1970 года Андропов предложил лишить нобелевского лауреата Александра Исаевича Солженицына советского гражданства и выслать его из страны».

Далее в книге сообщалось, что тогдашний министр внутренних дел Щелоков, жестко соперничавший с Андроповым, узнав об этом, обратился к генсеку Брежневу с противоположным предложением: не лишать Солженицына гражданства, а наоборот, дать ему в Москве квартиру и разрешить ездить за границу.

«…Брежнев внимательно прочитал письмо Щелокова, — говорилось в книге, — возможно, с учетом его точки зрения вопрос о высылке Солженицына был отложен».

Итак, ноябрь семидесятого.

А симпозиум в Одессе проходил в конце октября, в самый Разгар противоборства во властных верхах по этому вопросу.

Теперь ясно, что невозмутимый творческий разговор советских и финских писателей вызвал кое-где раздражение, и что взорвать эту идиллию было поручено двум одесситам — профессору и звезде.

Я помнил вежливое предостережение Ласси Нумми, сделанное им в конфиденциальной беседе на старте симпозиума: «…Мы решили не затрагивать этой темы в Одессе до тех пор, пока ее не затронет советская сторона».

Петарда взорвалась.

Теперь оставалось ждать, что в оставшиеся дни симпозиума финны будут по очереди излагать свои точки зрения (плюс перевод), переругиваться между собою (плюс перевод), и в результате мы разъедемся по домам, обозленные друг на друга и сами на себя.

Профессор Дузь, сидевший напротив меня, отирал платком пот со лба. Он сделал всё, что мог. И не сделать этого он, вероятно, никак не мог.

Я одарил его самой ласковой улыбкой, какую когда-либо посылал одессит одесситу.

Ласси Нумми запросил очередной перекур и ушел совещаться с коллегами.

Но финнам тоже не хотелось влезать в спор о Солженицыне.

Ведь сколько ни разнились наши позиции в вопросе о литературе для масс и литературе для избранных, — это был разговор именно *о литературе*. А то, что нам теперь предстояло — мы знали это заранее, — не имело касательства к теме: там литературой и не пахло, там была политика в чистом, а может быть, и не в самом чистом виде.

Сосредоточенный Ласси Нумми подошел ко мне и сказал, что

финские писатели, обменявшись мнениями, всё-таки отказались от первоначального намерения — выступать всем, — и поручили Эйле Пеннанен изложить свою, но близкую всей делегации позицию по данной теме.

Но если кто-нибудь, добавил Ласси Нумми, вперив в меня ледяной взор сквозь толстые стекла очков, — если кто-нибудь из русских или одесских писателей захочет продолжить этот разговор после Эйлы Пеннанен, то уж тогда, сказал Ласси Нумми, — да что вы, боже упаси, сказал я.

Я слушал речь Эйлы Пеннанен, благодарно кивая каждому ее слову, едва лишь смысл этих слов делался для меня доступным после перевода. А дальше я уже кивал наперед, не дожидаясь перевода, — я понял, что эта немолодая и несуетная женщина была воплощением мудрости.

Между прочим, в языках финской группы слово мудрый зачастую равнозначно слову *хитрый*.

Я подозреваю, что и в русском языке оно первоначально имело тот же смысл, шла ли речь о Василисе Премудрой или о ком-либо еще.

Слушая Эйлу Пеннанен, я невольно перебирал в памяти всё то, что для меня было связано с Солженицыным.

Важно учесть, что к той поре, когда в Одессе проходил симпозиум, тема эта еще не обладала тем масштабом, какой она обрела позже.

Солженицын и сам подчеркивал, что получил Нобелевскую премию «…почти не показав миру своего написанного, лишь „Ивана Денисовича“, „Корпус“, да облегченный „Круг“, всё остальное — удержав в запасе…»

Значит, сейчас я привношу в свои воспоминания и то, что произошло гораздо позже.

Таковы свойства памяти прожившего долгую жизнь человека.

Для этой памяти характерно свободное перетекание времени из прошлого в настоящее, а из будущего в прошлое. Имеется в виду то более глубокое прошлое, по отношению к которому другое, менее глубокое прошлое, является будущим. Настоящее здесь всего лишь опережает определенный участок прошлого, но, спустя мгновение, само становится прошлым. А будущее — это не то, что когда-нибудь произойдет, а то, что уже произошло, но произошло после того, как настоящее сделалось прошлым.

Позвонила Екатерина Шевелева, поэтесса гражданской темы.

— Саша, — сказала она, — хочешь прочесть «Архипелаг Гулаг»?

Я ответил не сразу.

Вспомнил давний случай, когда еще работал на «Мосфильме» и мне туда вот так же позвонил Виктор Тельпугов, журналист из «Комсомольской правды», вдруг заделавшийся писателем и назначенный на пост парторга МГК КПСС в Московской писательской организации.

«Саша, — сказал он, — ты хочешь почитать Даниэля и Синявского? Есть такая возможность».

В газетах только что появились сообщения об аресте двух писателей, опубликовавших за границей свои произведения, в которых вроде бы и не было никакой крамолы, но сам факт…

Случай этот был одним из первых, положивших начало эпопее с *самиздатом* и *тамиздатом*.

Мне показалось, что в предложении Тельпугова скрыт подвох.

«Нет, Витя, — ответил я ему, — не хочу. Понимаешь, на столе — гора киносценариев, и всё это нужно читать. Такая у меня теперь работа».

Он пробовал настаивать, и это укрепило меня в подозрении, что дело нечисто.

«Нет, — сказал я ему твердо. — Некогда. Ведь надо и свое писать, а на столе — завалы чужого».

Новоиспеченный парторг отлип.

Вскоре выяснилось, что опасения были не напрасны. Писателей, которых удалось соблазнить запретным чтением, выставили свидетелями обвинения на судебном процессе.

Звонок Кати Шевелевой заставил напрячься.

Тотчас вспомнилось всё, что следовало держать в памяти для подобных случаев. И заходы Вити Тельпугова. И симпозиум в Одессе, где с чьей-то подачи и так некстати вскипел спор о Солженицыне. И то, как меня таскали «на ковер» к партийному начальству из-за Галича…

Но теперь, неожиданно даже для самого себя, я согласился, сказал «да».

Вероятно, опять сработала интуиция. Но на сей раз она не оберегла, а наоборот — подтолкнула навстречу вполне предсказуемой опасности.

Шевелева назначила мне свидание в Агентстве печати «Новости», на Страстном бульваре. Сказала, что пропуск мне будет заказан.

А я даже не знал, что Катя Шевелева служит в этом агентстве.

Когда-то она училась в Литературном институте, но задолго до меня. Ее стихи гражданской темы я читал еще в войну, мальчишкой, курсантом артиллерийской спецшколы. Познакомились уже на каком-то собрании в Союзе писателей.

Я нашел ее ничуть не изменившейся. Мелкая росточком, она

была ровесницей Октября, уже поседела и облысела, остатки волос красила хной. Однако и сейчас сохраняла живость общения, повадки комсомольской активистки.

Катя принесла томик, изданный в Париже.

Я раскрыл книгу на середине. Прочел:

> «…Княж-Погостский пересыльный пункт (63R северной широты) составился из шалашей, утвержденных на болоте! Каркас из жердей охватывался рваной брезентовой палаткой, не доходящей до земли. Внутри шалаша были двойные нары из жердей же (худо очищенных от сучьев), в проходе — жердевой настил. Через настил днем хлюпала жидкая грязь, ночью она замерзала. В разных местах зоны переходы тоже шли по хлипким качким жердочкам, и люди, неуклюжие от слабости, там и сям сваливались в воду и мокредь…»

Меня уже было не оторвать от текста. Я не только живо представлял себе всё это, но всем телом, до озноба на коже, ощущал и эту мокредь, и эту грязь, и эту ледяную воду.

Потому что я бывал в тех местах, именно в ту стылую пору, и не однажды.

> «…А в пересыльном пункте Вогвоздино (в нескольких километрах от Усть-Выми), где сидело одновременно 5 тысяч человек (кто знал Вогвоздино до этой строчки? сколько таких безвестных пересылок? умножьте-ка их на пять тысяч!..)
>
> Правда, в Вогвоздине дольше года никто не сидел. (По году — бывало, если доходяга и все лагеря от него отказываются).
>
> Фантазия литератора убога перед туземной бытностью Архипелага…»

Всё верно.

Но я знал Вогвоздино и до солженицынской строки. Кстати, Деревня эта называется не Вогвоздино, а Вогваздино. Не от *гвоздя*, а от *гваздать* (у Даля: «Гваздать — марать, мазать, грязнить, пачкать, гадить…»).

Очень подходящее название. Именно у деревни Вогваздино мы утопили в трясине редакционную «эмку» на пути из Княж-Погоста в Сыктывкар, столицу северной республики Коми, когдатошний уездный Усть-Сысольск.

В ту пору Сыктывкар еще не был связан с внешним миром

железной дорогой. От него было ровно сто километров до ближайшей станции, которая и называлась Княж-Погостом.

Любая командировка от республиканской газеты «За новый Север» начиналась с вопроса: как добраться?

Можно было плыть пароходом вниз по Вычегде до города Котласа, где река пересекается с железной дорогой, построенной в войну заключенными, но это займет двое суток, — а там, в Котласе, еще жди поезда.

Можно лететь до Княж-Погоста на фанерном биплане ПО-2, но ведь они не по всякой погоде летают. Можно сотню верст отмахать на рейсовом автобусе, на попутном грузовике, на редакционной ветхой легковушке, но всё это осуществимо лишь в том случае, если раздолбанный тракт не раскис вконец от дождей.

Ну, а если редакционное задание — срочное? Если требуется материал для газеты — с колес и в номер?..

Нам не повезло. Возвращаясь с задания, мы утопили редакционную «эмку» в непролазной грязи у Вогваздина. Без трактора не вытянешь, а где взять трактор?

Пароходы уже не ходили: по реке с верховьев шла шуга — белые льдинки, вестники ледостава. Самолеты не летали: нулевая видимость, тучи ползут прямо по земле. Автобусные рейсы отменили из-за распутицы.

Всё, ребята, сматывай портянки, чеши пятки, жди зимы.

Дорога змеилась вдоль реки.

В некотором отдалении тянулся глухой забор, повитый ржавой колючей проволокой. Торчали сторожевые вышки с навесами и прожекторами. Это и был пересыльный пункт Усть-Вымского лагеря — Вогваздино.

А в стороне горбатились бревенчатые замшелые избы — деревня Вогваздино.

Я уж, наверное, раз двадцать — лихо, с ветерком, не оглядываясь — пролетал на машине мимо этих сутулых изб, мимо сторожевых вышек, мимо Вогваздина.

Теперь случай заставил оглядеться.

Мы уже поняли, что ночевать придется в деревне. Не за тюремным же забором просить ночлега! Однако в деревне проситься на ночлег с пустыми руками здесь не принято.

Достучались в дверь сельповской лавки, где купили всего, что тут было: ржаного хлеба, весового маргарина, кускового сахару и жуткой череповецкой водки с рыжей сургучной печатью, которую так и называли — «череп».

Как вдруг с реки донесся зычный пароходный гудок.

Мы выбежали на крыльцо, бросились к берегу, размахивая

руками, крича истошно, будто робинзоны с необитаемого острова.

Буксирный катер «Трудовик» шел вверх по Вычегде, убирая с фарватера красные и белые бакены — знак того, что навигация окончилась.

То ли в ответ на наши крики и махи, то ли догадываясь, чем мы загрузились в сельповской лавке, «Трудовик» причалил к берегу и взял нас на борт.

В Вогваздине остался лишь водитель затонувшей «эмки» — ждать случайного трактора.

Наш фотокорреспондент, белобрысый коми Ваня Исаков, быстро нашел общий язык с земляками в судовой рубке и вскоре приволок ведро картошки, сваренной в мундире.

Вот это был пир!..

Согревшись и захмелев, прислонясь к подрагивающей от волн и шуги переборке, я наборматывал стихи, которые сложились сами собой то ли минувшей ночью, то ли в одну из предыдущих ночевок на железнодорожной станции.

Откуда это имя — Княж-Погост?
И для чего, мастак на злые шутки,
Сюда забрался родовитый гость
И околел с тоски на третьи сутки?

Ему-то пухом мать-земля сыра,
А ты закутайся, стяни потуже пояс…
Печальный случай — приезжать вчера
И только завтра попадать на поезд.

Здесь воздух безысходностью пропах.
Здесь девять месяцев ни зги, а два — ни тени.
И проволока ржавая в шипах —
Единственное здешнее растенье.

Здесь жить нельзя. Здесь можно только ждать.
И день проклясть, и ночь. Свои мученья
Проклясть. И в заключенье — отбывать…
Тем, кто не отбывает заключенье.

Я никогда доселе не публиковал этих стихов. Сперва это исключалось понятно почему: лагерные вышки Вогвазднна маячили слишком близко.

А позже — просто стеснялся своих ранних поэтических опытов, перейдя на прозу.

И еще я никогда доселе не рассказывал о том, почему ранним летом 1947 года, после первого курса Литературного института, выбрал для своей творческой практики именно этот северный край — Коми АССР.

Да, конечно, был и романтический порыв, зовущий на Север: челюскинцы, папанинцы, дрейфующие арктические станции, перелеты через Северный полюс в Америку…

Но было и другое.

В приполярной Инте, что в той же республике Коми, жили мои двоюродные братья — Юра и Коля, сыновья моего дяди Николая Андреевича Приходько.

В ближайших главах этой книги я расскажу о том, как он сам оказался в местах столь отдаленных — сначала на Амуре, затем на Белом море, а после в Инте.

К концу войны с ним, вроде бы, всё уладилось: теперь он сам носил добротную бекешу со знаками различия НКВД, был начальником управления связи комбината «Интауголь», то есть интинского лагеря.

Однако несчастье постигло всю его семью, оставленную в Харькове: умерла в оккупации с голоду Ляля, жена Николая Андреевича; оставшись беспризорным, побирался, чистил сапоги немцам ради куска хлеба младший сын Колюня; а старший, Юра Приходько, призванный в Красную Армию, попал в окружение под Вязьмой; он коротал свой плен в Норвегии, а потом, дождавшись вызволения, был вместе с другими пленягами загнан в ссылку на Дальний Восток…

Николаю Андреевичу удалось разыскать в Харькове младшенького Колю, добиться перемены места ссылки для Юры — забрать их обоих в Инту, под свое крыло.

Из писем, которые присылал моей маме Николай Андреевич, я знал, что теперь Колюня учится в средней школе, наверстывает упущенное, а Юра работает геологом на шахте, учится заочно в институте, но остается при этом *невыездным*.

Значит, свидеться в Москве нам не светило…

Самое время напомнить, что родных братьев у меня не было, поэтому двоюродные были для меня как родные.

На вопрос — нельзя ли мне поехать на летнюю практику именно в Инту, в Коми АССР? — Николай Андреевич, опять же в письме моей маме, отвечал, что лучше бы сперва наведаться в столицу республики, в Сыктывкар, где издается газета «За новый Север», а уж там испросить командировку в шахтерскую Инту.

Я так и сделал, как он советовал.

Действительно, в редакции сыктывкарской газеты было туго с

журналистскими кадрами, и практиканта из Литературного института встретили с распростертыми объятиями. Всё лето гоняли по командировкам: на таёжные лесосеки, на сплавные запани, на сенокос, на уборку зерновых. Печатали и очерки, и фельетоны, и даже стихи…

«Когда же в Инту?» — напоминал я.

Отвечали: «Скоро».

В Инту меня послали в сентябре, когда в институте уже начались занятия.

Я встретился с братьями, с дядей — ведь мы не виделись так долго, всю войну! Вот уж была радость. Вот уж были пиры…

Меня и впредь не раз посылали туда, в полярные широты. Я побывал на нефтепромыслах Ухты, на шахтах Инты и Воркуты, подышал ветрами Печоры, увидел тундру, оленей, вечную мерзлоту.

Вошел во вкус летучей журналистской профессии. У меня появились деньги. Был свой постоянный номер в гостинице, окнами на старинную каланчу. Избавясь от маменькиной опеки, упивался — во всех смыслах этого слова — радостями самостоятельной жизни. Удручался лишь тем, что вот — скоро уеду, так и не дождавшись северной зимы, не увидав полярного сияния…

Мне деликатно предложили остаться в Сыктывкаре на год, взять академический отпуск либо перейти на заочное отделение института. Я не долго колебался: перешел в заочники.

Тешил себя тем, что вот — еще целый год смогу наблюдать окружающую жизнь, черпать столь необходимое поэту вдохновение.

Я не мог знать тогда, что это уже было не сторонним наблюдением жизни, а это уже была *моя собственная жизнь* — вот таким неожиданным и замысловатым руслом она потекла…

Я был членом партии — еще с артиллерийской школы. Потребовалось сняться с учета в Москве, стать на партийный учет в Сыктывкаре.

Через год в этом незнакомом городе я был уже женат. Ее звали Луиза, ей было восемнадцать лет, она была красавицей, училась в местной театральной студии.

В ожидании прибавления семейства попросил квартиру — мне ее дали.

Теперь возвращение к студенческой стипендии сделалось проблематичным.

Всё чаще в задушевных беседах с друзьями и случайными собутыльниками мне задавали один и тот же вопрос: «Зачем ты сюда приехал?» Я отвечал беспечно: «Просто так!» На что

следовало глухое поучение: «Сюда *просто так* не приезжают…»

О двоюродных братьях в Инте я не болтал — чтоб не было хуже ни им, ни мне.

Было ли в том предначертанье судьбы? Или подсознательное ощущение вины лишь за то, что родился на свет? Или то был инстинкт покорной жертвенности, который вообще характерен для «совков»? Готовность разделить удел поколений?

Не знаю. Я до сих пор мучаюсь этой загадкой.

Пожалуй, всё вместе — плюс стечение обстоятельств.

Страницу за страницей, я читал «Архипелаг Гулаг» — уже с самого начала и подряд, — всё больше поражаясь тому, как эта книга, будто бы нарочно, соотнесена с событиями моей собственной жизни. Как она соответствует тому, что я знал и без нее, но избегал признаваться в этом знании даже самому себе.

Но, вместе с тем, по мере чтения росло и недоумение.

В одной из начальных глав «Архипелага» говорилось о массовых репрессиях 30-х годов:

> «…В таких захлестывающих потоках всегда терялись скромные неизменные ручейки, которые не заявляли о себе громко, но лились и лились:
>
> — то шуцбундовцы, проигравшие классовые бои в Вене и приехавшие спасаться в отечество мирового пролетариата;
>
> — то эсперантисты (эту вредную публику Сталин выжигал в те же годы, что и Гитлер);
>
> — то недобитые осколки Вольного Философского общества, нелегальные философские кружки…»

И еще раз Солженицын возвращается к этой теме:

> «…Взяли на этап моего соседа — старого шуцбундовца (всем этим шуцбундовцам, задыхавшимся в консервативной Австрии, здесь, на родине мирового пролетариата, в 1937 году *вжарили* по десятке, и на островах Архипелага они нашли свой конец)».

Эти строки смутили меня.

В них была уже знакомая дурная запальчивость: «…кто знал Вогвоздино до этой строчки?»

Ну, я знал.

Нет, я задумался не об эсперантистах, не о вольных философах — они, к счастью, не имели ко мне никакого

касательства.

Но вот шуцбундовцы…

В этой книге я подробно расскажу о том, как моя мама — после развода с отцом в 1933 году, — познакомилась в Харькове с Гансом Нидерле, двадцатитрехлетним уроженцем Вены. Это был веселый, обаятельный, спортивный парень, происходивший из состоятельной семьи, но, очертя голову, ринувшийся в революцию — таких в ту пору было предостаточно.

Он был одним из бойцов Шуцбунда, сражавшегося в Вене с фашистами и их приспешниками. Они потерпели поражение и были вынуждены, как едко сказано у Солженицына, «спасаться в отечестве мирового пролетариата».

Он вкалывал простым рабочим на Харьковском паровозостроительном заводе (где на самом деле выпускали танки), потом его перевели в конструкторское бюро. Когда же он обзавелся семьей — то есть, женился на моей матери, получив в приданое меня, — нас поселили в гостинице «Спартак» на Лопанской стрелке, которая представляла собой нечто среднее между общежитием и революционным штабом.

Позже молодой семье дали приличную квартиру в доме на Улице Дарвина, тоже сплошь заселенном коминтерновской братией: немцы, австрийцы, французы, кого тут только не было…

В 1937 году этот массивный серый дом заметно обезлюдел: в нем почти не осталось мужчин, если не считать дворника дяди Коли Бардакова и оравы таких же, как я, сорванцов.

Одних — и очень многих — замели, как шпионов, как врагов народа, расстреляли, рассовали по тюрьмам и лагерям.

Других же, в том числе моего названного отчима… вот о них-то, о других, разговор был еще глуше и опасливей.

Они уехали в Испанию.

Ганс Нидерле окончил танковое училище в Казани и, доплыв пароходом до Аликанте, повел в бой танкистов под Гвадалахарой. Он воевал честно и мужественно, был представлен к орденам Боевого Красного Знамени и Красной звезды, которых, впрочем, так и не получил.

Обо всем этом рассказано в повести «Товарищ Ганс», которая впоследствии стала первой частью моего романа «Нежный возраст».

Острота ситуации обозначилась после того, как Ганс Нидерле вернулся из Испании.

Мое усыновление не было оформлено юридически. Из этого следовало, что по достижении *двенадцати лет* я, как «сын врага народа» должен был разделить судьбу своего отца — Евсея Тимофеевича Рекемчука.

Ничего хорошего это не сулило ни моей матери, ни самому Гансу, ведь на возвратившихся только что «испанцев» тоже накатилась волна жестоких репрессий.

Выход был найден. Мы переехали из центра города на заводскую окраину. Там меня и словчились записать в новую школу под фамилией отчима. Я как бы перестал существовать, а вместо меня появился другой славный мальчик. Мать тоже поменяла паспорт. Всё было шито-крыто. Вот теперь-то мы и заживем беззаботно и счастливо!

Через год началась война.

Нет, я не буду описывать здесь бомбежки, мытарства эвакуаций — Сталинград, Барнаул.

Не стану жаловаться и на то, каково мне было всю войну носить немецкую фамилию и объяснять ровесникам, что мой немец, Ганс — он хороший, он за нас…

И я не стану лить запоздалые слезы по поводу того, что в сорок пятом, когда Ганс Нидерле получил очередной приказ — ехать домой, в Австрию, в Вену, работать в комиссии по репарациям, — я отказался ехать туда с ним, а мать осталась со мною…

Но там, в Австрии, его, товарища Ганса, вскорости прибрала к рукам другая баба, тоже русская. Последовал развод.

Вот тогда-то я и спросил: мама, а где мой отец? Ведь мне теперь придется менять все документы, включая партийный билет, на фамилию отца, а я даже не знаю, что с ним?

Мама сказала: кажется, он был арестован, кажется, его уже нет… мы не говорили тебе.

Кристально честный коммунист, я подал заявление в Коми обком партии, где теперь состоял на учете, с просьбой выяснить судьбу отца.

Выясняли два месяца.

После чего меня исключили из партии и выгнали с работы.

Я перебивался тайным заработком: с домашнего телефона собирал информацию в районах — сколько кубометров леса напилили сверх плана, каковы надои на колхозной ферме, какой концерт прошел в сельском клубе, — ребята из редакции помещали эту дребедень в газете, безымянно или за своими подписями, а мне потом отдавали гонорар, сущие гроши.

Но даже они пугались, если я по старой памяти забредал к ним домой. «Кто-нибудь видел, как ты сюда входил?..»

А уж ко мне, тем более, никто ни ногой.

То-то я обрадовался, когда в один прекрасный день к нам заявились сразу два дорогих гостя, да еще каких!

Известный на весь Сыктывкар и на всю республику поэт

Серафим Попов, работавший в газете «Вэрлэдзысь», что по-коми значит «Лесоруб», а с ним заведующий отделом культуры той же редакции Георгий Луцкий.

Я переводил на русский язык стихи Серафима Попова, пользуясь подстрочниками, которые делала для меня Луиза — она ведь сама коми. Эти стихи охотно печатали и в Сыктывкаре, и в Москве, и в Ленинграде, имя поэта набирало вес, а мне перепадало за перевод.

На радостях, я послал жену к соседям, стрельнуть деньжат бутылки на две, одной ведь тут было не обойтись.

Мы пили водку, читали стихи, пели песни. Было очень весело и празднично, особенно после томительных недель затворничества.

Время от времени Серафим Попов поднимался из-за стола и дотошно изучал расположение комнат, интересовался, не дымит ли печь, не воняет ли из выгребной ямы — дом ведь был деревянный, без особых удобств.

Мы с Луизой охотно и подробно рассказывали.

Другой же гость, шмыгая простуженным носом, отмалчивался весь вечер и чаще других заглядывал в рюмку.

Много лет спустя, вновь оказавшись у меня в гостях — уже в другом городе, — Жора Луцкий, приняв лишку и расчувствовавшись, признался, что тогда, в Сыктывкаре, они приходили с Серафимом Поповым смотреть мою жилплощадь.

Потому что меня должны были со дня на день арестовать. Это был уже решенный вопрос.

А квартиру обещали отдать Серафиму Попову, который бездомничал, скитался по углам с самой войны, а ведь он — фронтовик. Так что надо было взглянуть заранее на жилье и дать согласие, не брать же кота в мешке…

Но меня не арестовали.

Проверка установила, что я, действительно, ничего не знал о судьбе отца.

Меня оставили в партии, впаяв для острастки строгий выговор с предупреждением. Выдали новые документы — уже на Рекемчука. Восстановили на работе в редакции и даже выдали зарплату за истекшие месяцы.

Меня не посадили.

Меня просто сломали — раз и навсегда.

Вот так, понимающе кивая, горестно покачивая головой, я добрался до тех страниц в «Архипелаге», которые вновь заставили меня напрячься.

«…Может быть, 37-й год и нужен был для того, чтобы показать, как малого стоит всё их мировоззрение, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя ее твердыни, топча ее святыни, — Россию, где им самим такая расправа никогда не угрожала. Жертвы большевиков с 1918 по 1936 никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда пришла гроза на них. Если подробно рассматривать всю историю посадок и процессов 1936–38 годов, то отвращение испытываешь не только к Сталину с подручными, но — к унизительно-гадким подсудимым, омерзение к душевной низости их после прежней гордости и непримиримости».

Я продолжал покачивать головой, но уже не из сочувствия, а от того недоумения, что всё больше завладевало мною.

Отчего у него, у человека, хлебнувшего лиха наравне с миллионами других страдальцев — а, может быть, и меньше других, — откуда у него такое мстительное ожесточение, попросту неприличное для писателя? Почему он — один, единственный — взял себе право судить всех остальных, обличать и правых, и виноватых, ликовать над чужой бедой?..

Помимо всего прочего, его аргументация показалась мне знакомой, хотя я впервые читал эту книгу.

И я не мог читать ее раньше, потому что раньше она еще не была написана.

— Эх, пожалели мы на вас плентюгов! Зря…

Человек, с которым я познакомился лишь пару часов назад, сидел напротив меня за накрытым столом и смотрел мне в лицо побелевшими, перекосившимися от ненависти глазами.

Правда, перекос его глаз несколько облегчал ситуацию, потому что оставлял возможность думать, что этот ненавидящий взгляд адресован не тебе лично, а кому-то сбоку.

— Не надо было жалеть нагаек — ни в девятьсот пятом, ни в семнадцатом!..

Еще ситуацию облегчало то, что к этому часу мы уже усидели бутылку-другую, и я мог предположить, что мой новый знакомец, человек трудной судьбы, слишком рьяно заводится от водки, как это часто случается с людьми, побывавшими в неволе.

И, всё-таки, речь о девятьсот пятом и семнадцатом показалась мне чересчур отвлеченной.

Ведь мой собеседник был всего лишь тремя-четырьмя годами старше меня, он не мог орудовать нагайкой в те отдаленные

времена, и потому его хлесткая фраза «пожалели мы на вас плентюгов, зря…» была лишь риторикой.

Похоже, что он сам ощутил этот хронологический сбой и перевел свою речь в настоящее время:

— Всех вас, коммуняк, надо вешать на фонарях! Кончать надо с Софьей Власьевной!..

— А кто такая… Софья Власьевна? — растерянно переспросил я.

Хозяин дома, третий человек, сидевший за этим столом и несколько смущенный столь жестким оборотом беседы, объяснил:

— Софья Власьевна — это Советская власть. Лагерный жаргон.

— А-а.

Наверное, мне следовало встать и уйти, сославшись на поздний час.

Как уже встала и ушла, хлопнув дверью, моя жена.

Но я не встал и не ушел. Почему? Что в этом было — терпимость к чужому мнению и слову? Вряд ли: я никогда не отличался покладистостью, не поддакивал тому, что мне противно и поперек. Или же — после пережитых невзгод, мытарств, обид — во мне самом что-то надломилось, и сейчас этот надлом проявлял себя в непротивлении, в молчании, когда обнажалась вся пропасть отчуждения?..

Нет-нет. Просто я понимал, что у этих двоих людей, с которыми нынче я свел ни к чему не обязывающее знакомство, — что у них были достаточные причины ожесточиться: еще недавно они оба сидели в одном лагере.

Хозяин дома, человек более сдержанный в речах и чувствах, прошел войну, был командиром Красной Армии, преподавал в Бронетанковой академии, потом сел. За что и как получил срок — я не спрашивал.

Я привык не расспрашивать без надобности людей об их прошлом, живя в Ухте — в городе, где каждый второй либо сидел в лагере, либо отбыл ссылку, либо продолжал ее отбывать, как этот мой новый знакомец, что витийствовал насчет плентюгов и поминал Софью Власьевну.

Он был родом из казачьей станицы. Его арестовали перед войной то ли за то, что читал запретное (говорит, что за «Десять дней, которые потрясли мир», за Джона Рида), то ли высказывался слишком круто, как нынче.

Отсидел шесть лет в лагере, получил пожизненную ссылку. Теперь жил в Вой-Воже, поселке нефтяников близ Ухты, работал нормировщиком. А на досуге сочинял романы — собственно, это увлечение и подсказало ему мысль искать встречи со мною.

Я еще вернусь к моим новым северным знакомствам,

Покуда же объясню, как сам оказался вновь в этих благодатных местах.

В 1952 году я окончил Литературный институт, защитил диплом рассказами и очерками, опубликованными в «Огоньке», в «Смене».

Некоторое время вместе с Владимиром Тендряковым, Владимиром Солоухиным, недавними однокурсниками, работал внештатным корреспондентом журнала «Огонек». Поездки по стране обогащали впечатлениями, подбрасывали в запас сюжеты будущих книг.

Адреса моих огоньковских командировок — Кузбасс, Украина и, конечно же, «земля, с которою вместе мерз», республика Коми.

Но это породненная земля напоминала о себе не только темами очерков.

Кадровики всех редакций, куда я обращался в поисках штатной работы, едва не падали в обморок от моей анкеты: репрессированный отец, исключенная из партии мать, объявившиеся во Франции ее родные сестры Анна и Ольга, мой бывший отчим с подозрительной фамилией и, наконец, я сам со «строгачем» по партийной линии…

«Возвращайся туда, где тебе его дали, — советовали знающие люди. — Иначе он будет на тебе висеть по гроб жизни…»

Махнув рукой на столичную прописку, я опять уехал на Север.

С 1954 года вновь работал в редакции газеты «Красное знамя» (тот же переименованный «За новый Север»), корреспондентом в Ухте. Луиза здесь же была корреспондентом республиканского Радио.

Повторю: в городе, где я теперь жил, каждый второй его обитатель или сам хлебнул лагерной баланды, или не имел права покидать место ссылки, или не должен был появляться в Москве, Ленинграде и других приличных городах.

Позже большинство этих людей реабилитировали. Им выплатили компенсацию за причиненный материальный и моральный ущерб, хотя, конечно, никакими рублями невозможно было возместить покалеченные судьбы. Их восстановили во всех гражданских правах. Им предоставили квартиры в тех местах, где они прежде жили.

Но вот какая неожиданность: очень многие из них не захотели уезжать восвояси.

Они остались жить и работать на Севере, в тех краях, которым отдали годы, а подчас и многие годы жизни, отдали свой

труд, свой талант. Где они зачастую находили любовь и семейное счастье, где родились их дети.

Добавлю: и очень многие из них нашли последнее пристанище в этой суровой земле.

В своих северных повестях и романах я несколько раз возвращался к образу человека, который существовал вполне реально: это был первооткрыватель Ярегского месторождения тяжелой нефти, доктор геолого-минералогических наук Андрей Яковлевич Кремс, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий…

Но до всего этого он был «простым советским заключенным».

В повести «Всё впереди» он у меня Храмцов, в романе «Скудный материк» — Платон Андреевич Хохлов.

В семидесятые годы журнал «Огонек» опубликовал сугубо научную статью о драматической (теперь скажу: трагической!) истории освоения северной нефти. Статья не имела никакого отношения к литературе, но в ней была ссылка на мой роман, помещена фотография Кремса — он, без околичностей, был назван прототипом Хохлова в «Скудном материке».

Главы из этого романа читали по зарубежным «голосам».

Лондонская «Морнинг Стар» напечатала статью Питера Темпеста, которая была озаглавлена «Удар для тех, кто оправдывает злодеяния Сталина».

На «Мосфильме» режиссер и оператор Владимир Монахов сделал попытку экранизировать «Скудный материк» с Сергеем Бондарчуком в главной роли — о, как бы он это сыграл! — но им обоим объяснили, что есть и другие темы…

Вообще, этот роман не облегчил мне жизни.

Но возвращусь в Ухту.

Центр города был застроен по проектам молодых архитекторов Николая Жижимонтова и Павла Мурзина (их называли Жижик и Мурзик). По их проекту было возведено здание Дворца культуры нефтяников, изображение которого есть в Большой Советской энциклопедии, а ныне в нем — церковь…

Но Жижик и Мурзик тоже приехали на Север не в поисках романтики.

В конструкторском бюро Ухтинского кирпичного завода работал инженер Георгий Демидов, солагерник Шаламова по Колыме. Впоследствии он стал известным писателем-диссидентом, но там же, в Ухте, и умер.

В лагере близ ухтинского Сангородка служил солдатом охраны питерский парень, которого звали Сергей Довлатов. Он написал об этом одну из самых известных своих повестей — «Зона»…

Из литературного объединения при городской газете, которое — на правах выпускника Литинститута, — сколотил я, вышли писатели Николай Володарский. Ирина Махонина, Борис Купчинкин, Василий Журавлев-Печорский, Марианна Вехова, Владислав Круковский, Анатолий Козулин, Виктор Кушманов… За плечами некоторых из них было всё то же — лагерь, ссылка.

Иногда на эти литературные сборища приезжал и мой знакомый с Вой-Вожа, тот, что на досуге сочинял романы.

Останавливался у меня — один, либо с женою, пышнотелой румяной клушей.

Да и я, выезжая по заданиям редакции на нефтяные промыслы, гостил в его домишке за жердевым забором, на краю поселка.

Там было светло и чисто, на стене горницы висел портрет Шолохова, который подсказывал несведущим людям, что хозяин дома тоже причастен к литературным занятиям и, сверх того, является земляком автора «Тихого Дона».

Тут-то, не за пустым, конечно, столом и разгорались снова наши словесные баталии.

Зачин у них всегда был один и тот же: что зря пожалели плентюгов в девятьсот пятом и девятьсот семнадцатом, и что всех коммуняк надо вешать на фонарях.

Это теперь, когда подобные мысли и речи обрели ранг *национальной идеи*, они сделались банальностью, общим местом, занудным газетным штампом.

Тогда же в них еще был соблазн новизны.

И я, со всею страстью молодых лет, спорил с хозяином.

— Пойми же ты, чудило, — наседал я, — что это вопрос не только политического свойства. Это, прежде всего, вопрос экономический, фундаментальный. Вот ты — нормировщик, вкалываешь на производстве, должен же ты учитывать такие краеугольные вещи! Что если Советская власть — или, как ты ее называешь, Софья Власьевна, — если она прикажет долго жить, то, прежде всего, встанет вопрос о собственности на средства производства! Кому будет принадлежать эта земля, этот лес, где мы с тобою сейчас водку пьем? Кому будет принадлежать вот это самое, на чем мы сидим, — я показал пальцем в пол, — войвожская нефть, вуктыльский газ? Кто купит Ухтинский нефтеперерабатывающий завод? Кто купит Ярегские нефтешахты?..

— Кто захочет, тот и купит, — досадливо отмахивался он.

— А деньги где возьмет? Ведь это же не три с полтиной?..

— Наворует. За три с полтиной и купит.

Поразительно не то, что мы в те далекие и дремучие времена охватывали мыслью весь масштаб созревших проблем, проникали в их сокровенную суть, в сердцевину, — нет-нет, поразительно вовсе не это.

Теперь, вспоминая наши войвожские дискуссии, я дивлюсь другому.

Что он уже тогда был несокрушимо прав: наворуют и купят, за три с полтиной.

Проигрывая спор, уже не надеясь на себя, я в отчаяньи простирал руки к висящему на стене портрету его земляка.

— Но ведь Шолохов совсем иначе понимает суть этой исторической трагедии! Вспомни, как метался Григорий Мелехов — то к белым, то к красным… И, в конце концов, выбор был сделан самим Шолоховым: за красных! Я уж не говорю о «Поднятой целине»…

На что он, даже не оборачиваясь к портрету, лишь усмехался:

— А он не казак, иногородний… И еще вопрос — кто что написал!

После этого довода я скисал окончательно: нечем крыть.

А тот человек, который впервые свел и познакомил нас, тот третий человек, горемычный красный командир, — он больше не участвовал в наших встречах и спорах. Он оказался лишним, третьим лишним.

Кстати, у меня нет причин скрывать его имя и фамилию. Его звали Борис Рымарев.

Это его фамилией, понравившейся мне, я наделил героя повести «Товарищ Ганс» и романа «Нежный возраст»: Санька Рымарев.

Так вот, однажды я встретился с Рымаревым на ухтинском железнодорожном вокзальчике.

Мы оба ехали в служебные командировки, но в разные стороны: я ждал поезда на север, до Печоры, а ему надо было на юг, в Княж-Погост.

Поездов пока не было, стояла тишина, и он отвел меня в сторонку, подальше от чужих ушей и глаз.

— У меня тяжесть на душе, — сказал он. — Ведь это я познакомил вас… но, понимаете, он очень просил об этом, а я не мог отказать — ведь мы с ним вместе сидели, на одних нарах спали… Так вот, тем более я должен вас предупредить: этот человек — стукач. Он стучал, еще сидя в лагере, и за то ему были там всякие поблажки. Он многих посадил, то есть с его стука многим дали повторные сроки… Будьте осторожны. Еще раз извините меня.

А тут и подошел чей-то поезд, то ли его, то ли мой. Сейчас я уже не помню таких подробностей.

Так с чего это я заговорил тут о писателях из маленького северного городка, о себе в частности?

Вероятно, на эти воспоминания навела меня, опять же, книга, которую я читал в чужом кабинете Агентства печати «Новости».

Там были строки, заставившие меня вновь подивиться раздраженной гордыне ее автора, почему-то присвоившего лишь себе это право — писать о людях и судить их жизнь.

«…А поток 37-го года подхватил и понес на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколькие с пером! — и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя!»

Возвращая книгу Екатерине Шевелевой, я поблагодарил ее за предоставленную мне возможность ознакомиться с новинкой «тамиздата».

— Но ты должен отписаться! — сказала поэтесса, твердо глядя мне в глаза. — Многие прочли, и все будут отписываться: впечатления, возражения. Очень видные люди… — Она перечислила фамилии, и я понял, что мои отпечатки пальцев на обложке книги лишь пополнили весьма солидный свод дактилоскопии.

— А где эту статью напечатают?

— Не беспокойся. Мы сами всё устроим. Я имею в виду Агентство печати «Новости».

Я и не беспокоился.

Написал статью, в которой было всё только что рассказанное. О деревне Вогваздино. О воркутинских каторжных лагерях. О расстрелянном отце. О шуцбундовцах. О романе «Скудный материк» и о статье Питера Темпеста в лондонской «Морнинг Стар». О том, как я плакал, читая «Один день Ивана Денисовича», и о том, чего решительно не принял в «Архипелаге Гулаг».

Это была большая статья, спокойная, искренняя, на мой взгляд — доказательная.

Но она так и не была опубликована.

Когда я спросил напрямик Катю Шевелеву — где же? — она ответила, что, может быть, ее напечатали в какой-нибудь зарубежной газете, ведь Агентство печати «Новости» поставляет тексты не только для отечественной, но и для заграничной прессы. Однако по ускользающем взгляду ровесницы Октября я понял, что врет.

По-видимому, в Агентстве печати «Новости» или еще где-нибудь сочли неуместными мои личные свидетельства о лагерях республики Коми, скорби о расстрелянном отце, а уж ссылки на собственный роман «Скудный материк» вообще нескромными, в чем, возможно, были правы.

А если начистоту, то моя статья о крамолах Солженицына сама по себе была крамолой.

Не для того меня приглашали в Агентство печати «Новости», сажали в чей-то кабинет, совали в руки изданную в Париже книгу…

Я не стал спорить, рассудив, что начальству виднее.

Но мне не дали отсидеться в кустах.

Позвонили с Центрального телевидения, сказали, что в вечерней программе «Время» мне отведены полторы минуты — да, прямой эфир, да, согласовано, да, в галстуке.

Я приехал в Останкино в самом скверном расположении духа.

В гримерную повела Марина, ассистент режиссера, с которой у нас был когда-то мимолетный роман.

Она, конечно же, имела представление — зачем я здесь. В ее взгляде, кроме светлых воспоминаний молодости, я прочел сострадание: она понимала, чем для меня обернутся эти полторы минуты в ближайшем и отдаленном будущем.

Усадили перед зеркалом.

Гримерша сноровисто прошлась по лицу ваткой с телесным тоном, поверх осыпала пудрой.

Марина подошла к ней и что-то шепнула.

Теперь ватка с тоном пошла гулять по моей макушке, дергая волосы, а следом заклубился вихрь пудры.

— Что вы мне мозги пудрите? — возмутился я.

— Лысина бликует, — объяснила Марина.

Странно. Я и не подозревал, что у меня есть лысина. Ведь спереди не видно.

Много лет спустя меня занесло в Нью-Йорк.

Перво-наперво повели смотреть статую Свободы.

Я любовался ею с набережной Морского порта, а затем мы перешли под тент уличного ресторанчика, откуда был отлично виден остров Либерти с постаментом и статуей, вздымающей факел над устьем Гудзона.

Столь же хорошо смотрелось отсюда вавилонское столпотворение южного Манхэттена, блещущее на солнце зеркалами фасадов. Эти зеркала вбирали в себя зыбь речных и океанских волн, бег облаков в синем небе, пеструю круговерть соседних зеркал.

Я видел в отдаленьи шпили небоскребов Импайр-стейт-билдинг, Крайслер, и радовался им, как старым знакомцам, хотя впервые был в Нью-Йорке. Но не мог не восхититься и двумя Долговязыми новичками в этой рослой компании — гранеными башнями Международного торгового центра, очень близкими отсюда, рукой подать.

Нам с Джеком принесли по кружке светлого пива, а дамы заказали чай со льдом, что было мне в новинку.

Всех представлю в свой черед.

Джек Кассерли — дипломат, журналист, а ныне профессиональный писатель, из тех, что сочиняют автобиографии знаменитых людей. На титулах подобных книг стоят, как правило, две фамилии — самой знаменитости, которой недосуг заниматься сочинительством, и автора литературной записи. В Америке этот симбиоз весьма распространен и не считается зазорным, в то время как у нас соавтор прячется в мелком шрифте на задворках книги да еще в графе платежной ведомости.

Джек Кассерли только что написал книгу Уильяма Р. Херста-младшего, хозяина всемирно известной газетной и журнальной империи.

В понедельник мне предстояла встреча с самим Херстом, а на следующий день — участие в презентации его книги «Херсты: отец и сын» в пресс-клубе на Пятой авеню.

Собственно, в Америку я был приглашен именно на эту презентацию, как издатель книги Бориса Ельцина «Исповедь на заданную тему». Мне предстояло, вернувшись домой, передать Ельцину книгу Херста с его дарственной надписью. И еще речь шла об издании книги «Херсты: отец и сын» в России — одну из ее глав напечатала «Независимая газета» в переводе Андрея Рекемчука, моего сына.

Ради всего этого и было устроено мое путешествие за океан. Спасибо всем, Херсту — восемь.

Здесь важно уточнить, что я прилетел в Нью-Йорк 20 сентября 1991 года, ровно через месяц после августовских событий, которые одни называли революцией, а другие наоборот.

Я был в числе первых появившихся здесь русских, которым даже малая причастность к событиям, потрясшим мир, придавала романтический ореол. А уж то, что я еще год назад издал книгу Ельцина, делало меня героем.

Однако во взгляде Джека Кассерли сквозила и некоторая снисходительность пополам с презрением: ну, наконец-то вы, говнюки, образумились, поняли, что к чему; а то, видите ли, загнивающий капитализм, догнать и перегнать Америку, мы вас закопаем… ну, что, закопали? И догонять будет тяжело, еще

попыхтите, придурки…

У меня возникло предположение, что Джек Кассерли загодя навел справки о моем, как и Ельцина, темном коммунистическом прошлом.

Еще в гостинице он одолжил у меня на денек привезенную с собой из Москвы туристическую карту Нью-Йорка (какой-то вшивой японской авиакомпании), чтобы, как я догадался, проверить в компетентных службах — нет ли на этой карте условных обозначений тех объектов, которые я намерен взорвать.

Джек Кассерли был на самом деле Джоном, хотя все его называли Джек. Ирландец корнями, уже в годах, рослый, плотный, рыжий, красномордый, тупой и еще тупее тупого — славный такой парень.

Его жену звали Джой, и она всецело оправдывала это имя: хохотушка, резва не по годам, любопытна, а тут еще такая невидаль — гость из России, по-английски ни бум-бум.

Джек и Джой тоже не знали по-русски ни слова.

Накануне моего приезда был звонок в Москву: спросили, кто из моих знакомых в Нью-Йорке мог бы на первых порах, до начала официальных встреч, сойти за переводчика?

Я назвал Лену Довлатову. Незадолго до этого «Пик» выпустил первое в России издание повестей Сергея Довлатова «Зона», «Компромисс», «Заповедник». Автора к той поре уже не было в живых. В Москву приехала Лена, мы познакомились. И теперь она была в числе встречавших меня в аэропорту Джона Кеннеди.

Не слишком уповая на свой английский — она была и осталась в Америке неисправимой русачкой, — Лена Довлатова позвала себе в подмогу дочь Катю, студентку, журналистку.

Вот и все мы пятеро под тентом ресторанчика в Морском порту.

Разговор шел пустяковый, легкий, на уровне хорошей погоды, планов на завтра и кто чему отдает предпочтение в обеденном меню: треске или тунцу?

Но вдруг по завострившемуся взгляду Джека Кассерли я понял, что сейчас он задаст припасенный каверзный вопрос.

Он задал его.

Лена и Катя перевели.

— Джек спрашивает: нет ли у господина Рекемчука желания поехать на денек в штат Вермонт, в Кавендиш, близ которого живет в изгнании великий русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын?

В долю секунды память прокрутила всю двухнедельную программу пребывания в Штатах, которую я получил еще в Москве: Нью-Йорк, Вашингтон, Аннаполис, опять Вашингтон,

опять Нью-Йорк… никакого Кавендиша в программе не было.

Значит — сюрприз, поскольку об импровизации не могло быть и речи: Джек Кассерли знал свое место.

Я догадывался, что он не прочел из Солженицына ни строки. Но это было и необязательным: просто они оба одинаково люто ненавидели коммунистов и Советский Союз.

И в ту же секунду я понял, что не ошибся: мое темное коммунистическое прошлое было изучено досконально.

— Солженицын приглашает меня в Кавендиш? — спросил я напрямик.

Лена перевела.

Джек Кассерли замотал головой. Объяснил, что имеет в виду.

— Джек имеет в виду, что вы поедете в Вермонт, в Кавендиш, чтобы издали посмотреть на дом, где живет Солженицын…

Соображая, что ответить, я представил себе себя, стоящего у калитки в Кавендише: с посохом, в лаптях. Как мужики в Ясной Поляне. Как ходоки у Ленина.

Еле удержался, чтоб не прыснуть.

— No, — перевела Катя, хотя я еще ничего не успел сказать.

— Нет, — перевела мне Лена это не мною сказанное «ноу».

— Нет, — подтвердил я.

А тут принесли жареную треску, она обалденно пахла.

Жуя рыбу и прихлебывая холодное пиво, я про себя подивился тому, как уверенно — практически за меня — решили Лена и Катя вопрос о моей поездке в Каноссу… то бишь в Кавендиш.

Я понял, что в этом не было никакой заботы обо мне, о моем реноме и достоинстве, а было нечто совсем иное: та пропасть отчуждения, которая разверзлась на Западе между Солженицыным и обществом.

Еще недавно Генрих Бёлль восторгался: «Он разоблачил не только ту систему, которая сделала его изгнанником, но и ту, куда он был изгнан».

Он поссорился с Бёллем.

Он успел и здесь перессориться со всеми.

Ему следовало возвращаться восвояси, покуда там еще принимали его всерьез. Покуда там еще отдавали под его «узлы» и «ветви» годовые комплекты литературных журналов. Покуда там еще был интерес к ранее запретным книгам. Покуда там еще никто даже в стыдном сне не мог себе представить его триумфальный проезд по разоренной стране, повторяющий наизнанку «сталинские маршруты» — все эти агитпоезда, автопробеги, рекордные перелеты…

Покуда *там* еще были готовы сочувственно внимать его

поучениям — как нам обустроить Россию и как нам приструнить евреев.

Здесь же никто не хотел обустраивать Америку по его рецептам.

От него лишь отвернулись в досаде.

…Так почему же я опоздал с этим «нет»? Почему его сказали за меня?

Да потому, что я был связан — по рукам и по ногам и кляп во рту — наговоренным прежде.

Мне оставалось помалкивать, пить пиво и глазеть по сторонам, что я и делал.

Покончив с обедом, мы двинулись портовой улицей дальше.

И тут меня опять ждала встреча со статуей Свободы.

Она стояла на тротуаре — живая, воздев к небу факел.

Она была вся зеленая, словно бронза в столетней патине — как та, что на острове; зеленые одежды ниспадали складками к сандалиям; лицо густо намазано зеленым гримом, лишь белки глаз остались в натуральном виде; зеленые волосы, вероятно парик, а на нем зеленый рогатый венец.

Вообще, если взглядом снять краску, можно было угадать, что женщина эта молода и красива, высока ростом, статна. Перед нею на асфальте была зеленая чаша, куда следовало положить зеленую пятидолларовую бумажку, если ты желаешь сняться на память с живой статуей Свободы.

Нет, конечно, это не была нищенка, а скорей всего актриса, просто у нее такая роль, такой бизнес, может быть ее наняла вполне респектабельная фирма, обслуживающая туристов, этих Дурней, которые выгребут из карманов последнее, лишь бы сфотографироваться с живой статуей Свободы.

Джек Кассерли, вот молодец, выложил пять гринов, я стал рядом с красавицей, она подняла зеленую руку с зеленым факелом и белозубо улыбнулась — щёлк… и теперь эта фотография, на фоне небоскребов Манхэттена, лежит у меня в ящике письменного стола, я иногда достаю ее и любуюсь.

Потом мы побывали на Уолл-стрите, что тоже обязательно для таких, как я, открывателей Америки.

А затем через парк Баттерн направились к башням-близнецам Международного торгового центра.

Джек Кассерли по-хозяйски пропустил всех нас сквозь стеклянную дверь одной из башен, и мы очутились в сияющем пространстве зала, который сам по себе был огромным густозаселенным городом — со своими площадями, улицами, закоулками; со своими фонтанами, пальмовыми оазисами, цветниками, ресторанами, барами, кафешками, магазинами,

сувенирными лавками; со своим головокружительно высоким небосводом, на котором клубились свои собственные кучевые облака, сияло свое собственное солнце, лучились созвездия; туда взлетали прозрачные стеклянные лифты, полные ярко разодетой и оживленной публики, словно бы возносящейся в заоблачные выси, в иные миры, где жизнь еще краше, чем на земле…

У меня возникло обморочное ощущение того, что я здесь уже был когда-то, то ли в прошлой жизни, то ли в нынешней, но забытой, то ли в детских счастливых снах.

Хотя мне было в точности известно, что я в Америке впервые.

Но даже эту позлащенную статую летящего Меркурия я — готов побожиться — уже видел в схожей обстановке.

Что за блажь? Какова причина и природа этого навязчивого видения, этого *дежа вю*?

И вдруг я понял, что никакого дежа вю нет.

Просто совсем недавно я побывал на пиру — то ли свадьба, то ли юбилей — в Центре международной торговли в Москве, на Красной Пресне, который выстроен там совсем недавно, тоже близ парка, тоже на берегу реки — какое совпадение! — и который часто называют хаммеровским центром, намекая на то, что он возведен тщанием Арманда Хаммера, американского дельца, сильно дружившего с большевиками.

В ресторанах этого Центра закатывали пиры те, кому уже наскучили «Метрополь» и «Арагви», «Националь» и «Прага», кому хотелось хотя бы на один вечер почувствовать себя в другом мире, в другой стране.

Там тоже были свои площади, улицы, закоулки; там тоже были фонтаны и пальмы; там тоже был неимоверно высокий зарешеченный стеклянный небосвод, на котором клубились кучевые облака, сияли солнца и созвездия; там тоже прозрачные лифты возносились к этажам, будто бы в иные миры.

В перерывах трапезы — когда сметали и заново накрывали столы, — мы гуляли по улицам этого сияющего города, смотрели на муляжные березки, склонившиеся к искусственным озерцам, на золотых петухов, горланящих с башен, а некоторым даже удавалось покататься на стеклянных лифтах, побродить по террасам этажей, заглянуть в гостиничные номера, что, говорят, стоят тысячу баксов в сутки.

И там, у этого Центра, тоже была статуя Меркурия, торопящегося по своим делам в сандалиях с крылышками.

Так за каким же лешим меня понесло в Нью-Йорк, если я всё это мог увидеть и уже видел в Москве, на Красной Пресне?..

Как вдруг меня пронзила совершенно неожиданная мысль.

Господи, да что же я натворил!..

Зачем я сказал «нет»? Зачем нахамил славному парню Джеку Кассерли в ответ на его деликатное предложение съездить сверх программы в город Кавендиш, расположенный в штате Вермонт?

Ведь это — американский Север! А я, хоть и южанин по рождению, всегда и непременно выбирал из двух полюсов северный.

Еще студентом первого курса, когда мне предложили ехать на практику в любую сторону света — на запад, на восток, на юг, на север — я выбрал именно Север.

Если я приезжал в Финляндию, то мой путь лежал на самый север, в Лапландию, в Заполярье. Если мне доводилось ехать в Корею, то эта была Северная Корея. А если в кои-то веки мне выпадала возможность побывать в Африке, то это оказывалась Северная Африка.

И сейчас, здесь, в Америке, мне только что было предложено поехать на север, но я, лопух, отказался, и вместо этого поеду на юг, в чиновный тягомотный Вашингтон.

Но разве это я сказал «нет»? Вовсе не я. Ведь это Лена и Катя Довлатовы, упредив мой ответ, сказали «ноу», а уж я только повторил за ними. Все тут знают, что я по-английски ни бум-бум, мог просто не понять, не расслышать, не вникнуть… Так что это еще вопрос — кто сказал «нет» и сказано ли оно было вообще!

А ведь скажи я «да», передо мною открылись бы совершенно иные горизонты. Я мог бы сверх программы, на халяву, съездить в Вермонт, в Кавендиш, побывать на американском Севере.

Я увидел бы Аппалачи. Зеленые горы, поросшие соснами и елями, уже притрушенные снегом. Я увидел бы Великие Озера, названия которых еще со школьных лет угнездились в памяти: Эри, Онтарио, Верхнее, Гурон, Мичиган. Увидел бы своими глазами то, о чем мечтал еще с детского возраста: прекрасную реку, одно лишь имя которой вгоняет в сладостную дрожь — Ниагару, соединяющую, как сердца влюбленных, ледниковые озера Эри и Онтарио. Увидел бы Ниагарский водопад, срывающийся в бездну, как в пучину страсти — в пене и радугах, в громе и плеске…

О, как я мечтал всё это увидеть!

И за всё это счастье, за всё про всё, надобно лишь постоять минут десять у чужого забора.

Я краем глаз покосился на Джека Кессерли.

И он, мне показалось, угадал, какие смятенные чувства клокочут сейчас в моей душе и какие запоздалые мысли мечутся в моей голове.

Он угадал, насупился, рожа его еще больше налилась, а железные челюсти обозначились еще четче.

Я понял, что поезд в Кавендиш ушел.

Жена заглянула в комнату, сказала: — Включи телевизор, там твой выступает!

Я отложил бумаги, перебрался в кресло, щелкнул пультом.

На экране был Солженицын: в защитном строгом френче. Седеющая борода. Морщины, шрам на лбу — всё углубилось, стало резче.

Да, стареем мы с тобою, Исаич.

Всего лишь однажды я видел его не на картинке, а живьем — и то было страх как давно.

В декабре 1971 года хоронили Александра Трифоновича Твардовского. Гроб стоял на сцене Большого зала ЦДЛ. У гроба — тоже на сцене — в черном, в слезах, сидели родные. В кулисах толклись классики и вельможи, дожидались своей вахты стоять в почетном карауле.

Те, что просто пришли проститься, сидели в рядах зрительного зала. Кому не досталось места, сгрудились в проходах. Народу было много: поэт умирал в обиде и опале, его имя было знаковым в подспудном сопротивлении режиму.

Ждали, что в зал просочатся люди из диссидентских кругов, что будут выкрики, выходки, не предусмотренные ритуалом.

И это было учтено. По всему залу, в шахматном порядке, были рассажены молодые люди в неброских костюмах, с напряженными лицами. Они держали ситуацию под контролем. Но всё равно не обошлось без выкриков, без истерик. Когда кто-то с места начинал выступать, его тихо брали под микитки и волокли к ближайшей двери.

Вольный народец, тянувшийся вдоль милицейских турникетов от площади Восстания к подъезду писательского дома, осматривали наметанным глазом, придирчиво, бдительно.

Однако не углядели.

Невесть откуда взявшийся бородач в рыжем кожушке степенно прошагал через весь зал, поднялся по ступенькам на сцену — один, на виду у всех, — подошел к гробу и перекрестил лоб покойника. Так же невозмутимо удалился.

Это был Солженицын.

Скажу, не лукавя, что он мне тогда понравился.

Теперь же я сразу догадался, почему он вновь, после долгого перерыва, засветился нынче на экране телевизора.

Отмечалось столетие Нобелевской премии, и по всем каналам гнали передачи о русских лауреатах: Бунин, Пастернак, Шолохов, очередь дошла до Солженицына.

Он неотрывно смотрит в камеру, будто бы следит за тем,

чтобы она не увильнула. Он собран и решителен, речь звучит уверенно, свидетельствуя, что мысли явились не случайно и не вдруг, а были плодом долгих раздумий, были выстраданы.

— …Собственно говоря, Октябрьская революция — или, как ее иногда называют, — Октябрьский переворот, — произошла не в октябре, а раньше, в феврале семнадцатого года. Срыв в деградацию российского общества датирован началом века, а потом всё покатилось под откос, в пропасть: через революцию девятьсот пятого, через первую мировую войну — к февралю, ставшему крайней точкой падения…

Ну да, правильно, золотые слова: я уже сто раз читал про это в газете «Завтра», в журнале «Наш современник», но ведь сейчас этот исторический тезис развивает мыслитель совсем другого плана.

Моя рука, мимо воли, судорожно шарила по лаковой глади письменного стола, и я даже не сразу осознал, что она там ищет. Но вдруг понял, что ищет она портативный диктофон, чтобы нажать без промедления кнопку и успеть записать на ленту эти вещие слова.

Диктофона под рукой не оказалось, а перерывать в спешке вороха бумаг было рискованно, потому что поиск мог отвлечь внимание от речи, звучащей в телеке, и это было бы невосполнимой утратой.

— …Почему-то теперь годовщина Октябрьской революции именуется Днем примирения и согласия. — В тоне Александра Исаевича ироническая едкость сочеталась с твердостью закаленной стали. — Это кого же и с кем примирение? Кого и с кем согласие? Обобранных людей — с теми, кто их обобрал?!

Я от удивления, от восхищения разинул рот — да так и остался сидеть в кресле с отвалившейся челюстью.

Вона как он заговорил!..

Может быть, я сплю и мне всё это снится? Ущипнул себя пониже спины — нет, не сплю, нет, не снится. Да мне такое и не могло бы присниться в самом фантастическом сне: я не умею так смело мыслить и так жестко формулировать свои мысли.

Я пристальней вгляделся в экран: прямой эфир? архивные кадры? Но ведь он никогда раньше не говорил ничего подобного.

За окном солженицынского кабинета просматривались рослые мохнатые ели, ветки которых прогибались под тяжестью налипшего снега.

Вермонт?.. Его поместье в Кавендише?

Нет, вроде. Совершенно русские елки, и снег на них нашенский, русский. И высокий забор, которым огорожено поместье, тоже безусловно узнаваем: таким высоченным

неприступным забором был огорожен пересыльный лагпункт в Вогваздине, описанный им в «Архипелаге», — в том самом Вогваздине, где мы, незадачливые сыктывкарские газетчики, утопили в трясине редакционную «эмку»…

Нет, это не Вермонт, не Кавендиш. Не Вогваздино.

Это — подмосковное сельцо Троице-Лыково, где живет теперь великий писатель, лауреат Нобелевской премии.

Я лихорадочно, хотя и безмолвно, повторял в памяти только что услышанные слова, опасаясь упустить хотя бы одно. Эти слова возвращали меня к жизни, пробуждали не то, чтобы от сна, но из анабиоза, из небытия. Я почувствовал, как кровь быстрее забегала в жилах, как легкие задышали объемней, как скукожившаяся склеротическая сеть мозговых сосудов вдруг ожила и прояснилась.

А мои губы, шевелясь, повторяли святые слова:

«*…Это кого же и с кем примирение? Кого и с кем согласие? Обобранных людей — с теми, кто их обобрал?!*»

Ну, всё. Один раз в жизни я ослушался Исаича — и казнился тем весь свой век. Теперь же для меня каждое его слово — закон.

Я ощутил в себе стихийный порыв: вскочить с места, повыдергивать один за другим все ящики письменного стола, разбросать по полу вороха накопившихся ненужных бумаг и — во что бы то ни стало! — найти там свой партийный билет, сунутый когда-то и куда-то, не глядя, лишь бы с глаз долой, из сердца вон… Это за сколько же лет мне теперь придется платить членские взносы? Где денег взять?

Но мне было лень вставать с насиженного места.

И я — лишь мысленно — подступил к столу, потянул на себя тот средний ящик, где валялось вперемешку всё, что было важного в моей жизни: свидетельство о рождении, свидетельство о браке; поздравления с пятидесятилетием, с шестидесятилетием, с семидесятилетием; синий диплом Литинститута и коричневый профессорский аттестат; Георгиевский крест отца; тяжелые советские ордена, легкие нынешние; курортные ксивы Пицунды и Коктебеля; сберкнижки с ахнувшими вкладами; фотография, где я с живою статуей Свободы; акции испарившейся пирамиды «Гермес»; визитные карточки покойников; ключи от проданной автомашины… да где же этот чертов партбилет?

И тут я вспомнил, что в письменном столе нет и не может быть моего партийного билета, потому что я его, как положено, сдал в партбюро, когда началась всеобщая сдача.

Значит, правильно сделал, что не встал с кресла. К вечеру накопилась усталость в теле, в голове. В ушах стоит какой-то шум, а глаза сами собой закрываются.

Что за странный шум?..

Ах, вот оно что: это гром рукоплесканий сотрясает зал с беломраморными колоннами, высоким сводчатым потолком и ослепительными люстрами.

Колонный зал Дома Союзов, бывшее Дворянское собрание в Москве. Я бывал в нем сто раз. Слушал «Прометея» Скрябина, слушал живьем Ахматову и Пастернака, сиживал на писательских съездах, хоронил вождей, опять сидел на съездах…

Но нет, это был не Колонный зал, а совсем другой, незнакомый, лишь похожий.

Ах, вот оно что: да ведь это Актовый зал Смольного! Правда, я в нем никогда доселе не бывал, но знаю его отлично, потому что сто раз, если не тысячу, видел в кино. А теперь вот вижу наяву.

Значит я не в Москве, а в Питере? Ну, конечно, было бы даже странным по нынешним временам, если б всё обошлось без Питера…

Между мраморных белых колонн реют красные знамена, колышутся транспаранты, хоругви. На них написано: «Мир хижинам, война дворцам!», «Вся власть Советам!», «Корнилова — мочить в сортире!», «Анархия — мать порядка!», «Да здравствует Софья Власьевна — светлое будущее всего человечества!»

Зал набит битком, не продохнешь.

Пьянея от радости, я оглядывал ряды — ближние, дальние. Кого тут только не было!

Солдаты, матросы, комиссары в пыльных шлемах, донецкие шахтеры, кубанские казаки, рабочий и колхозница, свинарка и пастух, танкисты, трактористы, истребители, фронтовые подруги, неуловимые мстители, три товарища, семеро смелых, искатели счастья, девушка с веслом, девушка с характером, пограничник с собакой, рабфаковка, великий гражданин, кавалер золотой звезды, член правительства…

Все лица знакомые, родные, свои в доску, еще бы, ведь вся жизнь прожита рядом, рука в руке, плечо к плечу!

Наконец-то мы опять собрались тут все вместе.

Люди обнимаются, целуются, настроение у всех приподнятое, а у некоторых даже торчком.

Но когда на трибуне появился вождь, тут началось нечто невообразимое.

Рукоплещут, орут, стреляют холостыми патронами в потолок.

Вождь пережидал овацию, скромно потупясь, протирая носовым платком очки.

Я пригляделся — и ахнул.

Да ведь это *он*. Он самый!

Давеча, когда я пригребся в Смольный — прямо из окопов, с фронта, где мы давили корниловщину, — в драной шинелке, в папахе, с ружьем, — устроился на полу, в коридоре, малость вздремнул, а потом захотелось попить чайку, и я отправился с котелком поискать кипяточку. Хожу по длиннющим коридорам, заглядываю в двери, нет как нет, всё не то, люди заняты, озабочены, дела идут, контора пишет, кругом революция, — а я тут, как курва, с котелком, верчусь на перепутьи.

Вдруг вижу — идет по коридору, бочком-бочком, какой-то человек в защитном френче, стало быть — наш брат, окопник, борода, усы, волосы всклокочены, я даже сперва подумал, что это Алексей Венедиктов с «Эха Москвы», — но нет, человек был посолидней и постарше.

Я к нему обращаюсь:

— Уважаемый! Не подскажете ли, где тут можно разжиться кипяточком? Душа горит, чаю просит…

А он останавливается, рассматривает меня внимательно, с головы до ног — шинелку, папаху, ружьишко, — и глаза у него при этом такие добрые-добрые, а потом говорит:

— Почему же, голубчик, не подсказать? Подскажу… Пойдете прямо, потом налево, потом направо, а потом опять налево. Усекли?

— Спасибо, уважаемый, — говорю. — Усек, дорогой товарищ.

И потопал, куда велено.

А он, оказывается, вон кто!

Наш Исаич! Сам собой, сам из себя, сам с усам.

Стоит на трибуне, пережидает овацию. Сунул ладошку за борт своего защитного френча и долго так стоял, пока не вспомнил, что это не его характерный жест, а вовсе даже наоборот, что это жест Александра Федоровича Керенского, который совершил октябрьский переворот в феврале, занял пост главы Временного правительства, и был ему, Исаичу, глубоко противен. Поэтому он извлек ладонь из-за френча и, теперь уже обеими кистями рук, зацепил подмышки в тех местах, где у жилетки рукава, игриво эдак, будто бы собирался плясать «семь-сорок».

Чуть склонив набок голову, он улыбался смущенно — было заметно, что он отвык от подобного гама, от такого невиданного скопления людей. Что он немного задичал в последние месяцы, скрываясь от ищеек Временного правительства в Разливе, живя там в шалаше вместе с товарищем Зиновьевым.

И, как бы подтверждая это, Зиновьев вышел из-за стола президиума, приблизился к трибуне, стал за плечом вождя.

Тут я заорал от восторга и стал отбивать ладони с такой

силой, что на них вскочили пузыри, потому что я был лично знаком с Александром Александровичем Зиновьевым, он теперь работает у нас в Литературном институте, а еще раньше, когда он жил в эмиграции, в Мюнхене, я издал в Москве его «Зияющие высоты», — и теперь я мог надеяться, что революция не забудет моих заслуг, что мне зачтется этот подвиг.

Впрочем, мои революционные заслуги были куда обширней.

Я знавал многих из тех, что сидели сейчас за столом президиума (то есть, сейчас они не сидели, а стояли, дружно аплодируя вождю на трибуне).

Я, например, был давно знаком с Эдуардом Лимоновым, которого революция наконец-то освободила из застенка, из лефортовской тюряги. Он приходил к нам в Литературный институт на защиту диплома студентом Алешей Цветковым, который в миру являлся соратником Лимонова по Национал-большевистской партии и был его заместителем в редакции партийной газеты «Лимонка». Через это я даже попал в именной указатель справочника по экстремизму, потому что в справочнике было указано, что Алексей Цветков занимается в творческом семинаре профессора А. Е. Рекемчука. И теперь я мог надеяться на то, что революция воздаст мне по заслугам.

А вот — Михаил Шатров, невысокий плотный крепыш с сединою на висках. Я знавал его еще в ту далекую пору, когда он донашивал студенческую тужурку Горного института, когда он написал свои первые пьесы — «Именем революции», «Шестое июля», «Брестский мир», — и принес их мне на «Мосфильм» на предмет экранизации. Я корешился с ним и позже, когда за эти пьесы его начала преследовать охранка, а одна зловредная баба из московского горкома партии, Алла Петровна Шапошникова, допекала его столь жестоко, грозя исключением из партии, что я даже посоветовал Мише на время слинять из Москвы, уйти в подполье, что он и сделал. А однажды, оценив мой опыт конспирации, он позвонил мне спозаранок и предупредил, что ночевал у меня, поскольку на самом деле он ночевал у любовницы, так что если жена вздумает проверять, — ладно, сказал я. И вот теперь он вышел, наконец, из своего подполья, улыбается народу и делает руками отмашки, которые, наверно, не всем понятны, а вот я знаю, что эти жесты означают: «Дальше… дальше-дальше!»

Вообще, почти все фигуры и лица за столом президиума были мне хорошо знакомы. Вот Вася Аксенов, а вот Евтух, вот Гладила, а вот Войнович. Много лет они прокуковали в изгнании, а теперь возвратились на родину: приехали в Смольный прямо с вокзала, куда их доставили из-за бугра в опломбированном вагоне.

Надо ль удивляться тому, что мы всем сердцем откликнулись на зов революции! Ведь мы всегда были революционерами. Мы гордо называли себя *левыми*. А наших недругов, презирая, через губу, — *правыми*. Кто там шагает правой? Левой, левой, левой!

Нам претила буржуазность, мы знали, что если искусство буржуазно, то оно — не искусство. Кличка «либерал» считалась среди нас зазорной. Даже в повседневности, в быту, мы держались левой стороны: ходили налево, ездили на леваках…

Что с нами стало? Кто и когда посмел нас зачислить в правые? И почему мы смолчали? Значит, мы — *правые*, а Зюганов — *левый*?.. Может быть, это возрастное? Или просто: пойдешь налево — придешь направо…

Но вот, мудрый вождь указал нам единственно верный путь: прямо, потом налево, потом направо, потом опять налево, там и кипяточек.

И вождь будто бы подслушал мои мысли. Ему надоело маячить на трибуне, как попка, не имея возможности молвить словцо.

Он огладил бороду, хитровато сощурился, а затем резко выкинул вперед ладонь с оттопыренным вверх большим пальцем.

Зал смолк и замер.

И тогда он сказал, не то чтобы картавя, но слегка грассируя, как Вертинский:

— Товагищи! Габочая и кгестьянская геволюция, о необходимости котогой всё вгемя говогили большевики, совегшилась! Да здгавствует всемигная социалистическая геволюция!

Что тут началось — ни в сказке сказать, ни пером описать.

Стоявший рядом со мною, по левую руку, революционный матрос Гриша Поженян, в клешах, в тельняшке, перепоясанный пулеметными лентами, подкинул вверх, к люстрам, свою бескозырку и заорал дурным голосом:

— Ура-а-а!.. Исаичу — ура!

Следуя его примеру, я тоже стал кидать в потолок свою солдатскую папаху, крича что было сил:

— Даёшь, Исаич! Даё-о-ошь!.. Ну, ты даёшь!

По правую руку от меня стоял интеллигент, очкарик, с «калашом» на ремне, перекинутом через шею, я сразу понял, что это Ростропович. Он тоже, не жалеючи, отбивал ладони, а иногда брал в руки смычок и пилил им, чтоб было громче, струны виолончели. А рядом с ним стояла красивая брюнетка в кожанке, с комиссарским маузером у бедра, и пела: «Вставай-ай, проклятьем заклейменный, весь ми-ир голодных и рабо-ов!..»

Вождь еще не покинул трибуну, а на просцениум уже

выскочил какой-то малый, раскорячился в позе агитатора, горлана, главаря, заорал, чеканя рукою ударные доли, подвывая на гласных:

…У-бери-те
Исаича
с денег!
Он для сердца. И для стихов.

А у самой дальней кулисы Эрнст Неизвестный и Зураб Церетели, с которыми я тоже был когда-то знаком, изредка поглядывая на трибуну, в четыре руки лепили статую: лоб Маркса, борода Энгельса, узкие глазки Ленина, усы Сталина — здесь всё очень удачно совместилось, *всё в одном*.

Но я погрешил бы против исторической правды, если б умолчал о том, что здесь же, в этом зале, среди охваченных восторгом и беспредельно преданных делу революции людей, ошивались и отдельные мрачные личности: скептики, нытики, маловеры, ревизионисты всех мастей и просто недобитая контра.

Краем уха я слышал, как они переругивались между собой, улавливал их змеиное шипенье и мотал эти разговоры на ус, запоминая — кто и что сказал — слово в слово.

— …То есть, вы хотите иметь Софью Власьевну с человеческим лицом?

— По мне, так пусть морда овечья — лишь бы еда человечья…

— Я хочу найти свое собственное место в этой борьбе!

— Найдешь, найдешь. Твое место — у параши.

— Да пошел ты к Евгени Марковне!

— Саш, а, Саш…

Я с трудом разлепил глаза.

Луиза стояла возле кресла и трясла мое плечо.

Между прочим, имя ей было дано в честь французской революционерки Луизы Мишель, сражавшейся на баррикадах Коммуны.

— Что же ты опять заснул перед телевизором? Стонешь во сне, смеешься, хрюкаешь…

— Неужели?

— Раздевайся и ложись в постель, как человек. А я к тебе под бочок.

Ленты

Мама снималась на Одесской кинофабрике.

Она не была звездой, не была профессиональной актрисой, хотя и училась (в Одессе, уже после моего рождения) в студии знаменитого в ту пору кинорежиссера Григория Львовича Рошаля.

Играла негромкие роли второго плана — впрочем, это было немое кино. Но в титрах ее имя появлялось рядом с такими звучными именами, как Петр Чардынин, Юлия Солнцева, Лаврентий Масоха, Нина Алисова.

В каталоге художественных фильмов 20-х-30-х годов я обнаружил десяток лент с ее участием: «Буря», «Двое», «Земля зовет», «Темное царство», «Человек из местечка», «Две женщины», «Право отцов», «Кармелюк», «Всё спокойно»…

Любопытны аннотации: «О жестоких нравах провинциального мещанства старой России…», «Противопоставление морального облика двух женщин — буржуазной мещанки и коммунистки», «О старорежимных методах воспитания детей…», «Дочь раввина убегает к молодому кузнецу». И совсем уж как предвестье карикатур Бильжо: «*…сознание классового долга одержало в Петровиче верх. Маяк был потушен. Транспорт погиб. Фильм не сохранился*».

Большинство аннотаций завершается этой фразой: «Фильм не сохранился». Или так: «Сохранились 1-я и 4-я части».

Зато в семейном альбоме хранятся фотографии, сделанные во время съемок, а в маленьком конвертике — отстриженные ножницами кадры кинопленки.

На них мама в ролях. Большой частью в платьях начала XX века с длинной юбкой и треном, рукава с буфами, глухо застегнутый лиф, широкий пояс, кружевные воротнички, высокая прическа.

А вот — платье с пелеринкой, крупные коралловые бусы, шляпка, локоны а 1а Марлен Дитрих. Тут она, по-видимому, изображает иностранку.

У мамы было породистое, узкое, «лошадиное», по ее выражению, лицо (за то и снимали в ролях аристократок, барынь), жемчужно-серые влекущие глаза, четко очерченные губы, гладкие волосы природной блондинки.

Вот странно: считается, что я похож на мать, и она сама так считала, и старые киношники, помнившие ее дебюты, узнавали во мне ее черты: «В маму».

Но мама была красавицей, а во мне порода подкачала, опростилась — лицо размыто, нос картошкой, волосы в рыжину,

веснушки.

Она обладала хорошей фигурой для той эпохи, когда двухметровый рост и отсутствие бедер не входили в число непременных достоинств женщины. Впрочем, и тогда считали, что икры ее тяжеловаты. Потому и были так кстати длинные платья.

При своей белокурой масти и жемчужных глазах она не играла обольстительниц, прелестниц, напротив, ее героинями были дамы с душевным надломом, брошенные жены, жертвы коварных измен и социальных неурядиц. На большинстве фотографий и целлулоидных кадров, упрятанных в конвертики, брови ее горестно сведены к переносице, шея трагически изогнута, руки опущены либо заломлены у подбородка, в пальцах батистовый платочек.

Между тем, в повседневной жизни роли этого плана не были ее стихией.

Она была хохотуньей, щеголихой, ветреницей. Ее романы были пылки и кратки.

Моего отца тоже не миновало увлечение новым искусством, будоражившим начало века.

Он был в дружбе в Григорием Львовичем Рошалем и с его женой Верой Павловной Строевой, молодой сценаристкой, пробующей свои силы в режиссуре. Именно по ее наущению отец на какой-то срок отвлекся от своего основного занятия (я имею в виду журналистику) и попробовал себя в жанре кинодраматургии.

Сценарий назывался «Сигуранция», но об этом я узнаю гораздо позже.

Таким образом, всё было предопределено: в этой повальной страсти, в этой увлеченности главнейшим из искусств, я никак не мог остаться в стороне.

Меня повезли на киностудию.

В павильоне была страшная кутерьма: шли приготовления к съемкам фильма «Право отцов» — первой ленты Веры Павловны Строевой, как режиссера.

Я помню все подробности этого таинства, именуемого кинопробами.

Меня усадили голым задом на стол, ярко освещенный сверху и сбоку. Слева от меня была громоздкая съемочная камера, у которой хлопотал какой-то лохматый тип.

Вера Павловна доверительно сообщила мне, что сейчас от Меня уйдет моя мама, насовсем, выйдет вон в ту дверь — и с концами. И я останусь сиротою, вот так, в два года, с голой задницей. Поэтому, объяснила она, когда дадут команду

«Мотор!», я Должен буду проводить глазами свою маму, как только она двинется к двери. А потом горько заплакать… Понял? Понял. Мотор!

Мама пошла к двери — и это была не просто актриса, а моя собственная мама. Я, как и было мне велено, поворачивал шею, следя за нею. Я был насуплен, с надутыми губами, смотрел исподлобья, всё, как меня научили. Но, когда дверь за ней затворилась, я не заплакал — я просто сидел и хлопал глазами.

Вера Павловна Строева, крякнув в досаде, подошла ко мне и еще раз вкрадчиво объяснила, что моя мама уходит, навсегда, никто тебя больше не согреет, не накормит, не споет колыбельную на сон грядущий, понял? Ну, пошли еще раз, мотор!..

Я всё понял. Но я опять не смог заплакать. У меня просто не было слез. Позднее я узнал, что для настоящих актеров это тоже не простая задача — заплакать на заказ, что у них тоже, случается, нипочем не льются слезы и, бывает, что им даже приходится закапывать в глаза глицерин, чтобы что-то оттуда скатилось на щеку…

И ведь не скажешь, что я был такой уж невозмутимый и безразличный ребенок. Я был жутким рёвой, и не только в два года, но и гораздо старше. Когда мама иногда задерживалась на службе (или где там она еще задерживалась до поздней ночи?), я закатывал такие концерты, что весь дом был в переполохе, и ей потом приходилось оправдываться перед соседями. Я ревел, как белуга, орал благим матом, на весь мир. И причина этого горя всегда была одна и та же. И вот ведь как интересно, именно та, которую мне объясняли на съемке: что мать бросила меня на произвол судьбы, ушла и не вернётся. И я был безутешен, я обливался слезами, я мог плакать три часа подряд, и слёз хватало, откуда что бралось.

А тут…

Кинооператор уже заметно нервничал, изведя зазря уйму пленки.

Тогда Вера Павловна Строева, моя мама и еще какой-то мужик — вполне возможно, что это был сам Григорий Львовчи Рошаль, я сейчас, за давностью лет, не помню, — о чем-то посовещались, пошушукались, вероятно они искали новое творческое решение эпизода.

Команда: «Мотор! Дубль третий».

Камера опять застрекотала. Мама, виновато опустив голову, пошла к двери. Я провожал ее уход укоризненным взглядом.

И в этот момент кто-то сзади — исподтишка, вероломно, подло — отвесил мне затрещину по голой заднице. Нет, не

понарошку, не для видимости, а на полном серьезе, очень больно и жгуче.

Они рассчитывали на то, что вот тут-то я заплачу. Зальюсь слезами.

Но, похоже, что именно в эти минуты, проведенные в павильоне Одесской кинофабрики, я впервые — и на всю оставшуюся жизнь, — постиг условность искусства. Понял, что кино — это такая, вобщем, подлая штуковина, что тут всё ненастоящее — и смех, и слёзы, и любовь, и ненависть. И всё это приходится сносить терпеливо. Что тут, если даже тебя отхлещут по щекам больнее, чем предусмотрено сценарием, и если даже тебе влепят сразмаху по голой заднице, — то нужно проявить стойкость, ведь в том-то и смысл служения высокому искусству.

Я не проронил ни слезинки.

Тем дело и кончилось. Все сошлись на том, что у меня нет актерского дарования. Вот такой славный мальчуган, а талантом бог не наградил. Ничего, перебьется.

Но этой пробой не исчерпались попытки снять меня в кино.

Вот я рассматриваю покоробленную и зарыжелую фотографию из семейного альбома: темное морщинистое лицо, обезумевшие от горя глаза, разинутый в крике рот… что за наваждение?.. немолодая женщина в бедняцкой сермяге и клетчатом платке, завязанном узлом у подбородка… кто это?

Я мог бы и отложить эту невесть откуда взявшуюся фотографию. Мало ль что ни попадется в старом альбоме, собранном за жизнь. За несколько прожитых жизней…

Но рука медлит.

А память, очень глубокая, может быть первоначальная, опять возвращает меня в прошлое, которого я не должен бы помнить и которого, вполне возможно, даже не было в отпущенном мне свитке времен, но я его, безусловно, помню и знаю даже в деталях.

Тряска, пугающие провалы в глубокие рытвины, вынос тела вверх и вбок на повороте вихляющего колеса.

Сильный, бьющий в ноздри и вовсе не противный мне запах свежих конских катяхов, падающих на землю, как переспелые яблоки…

Что за странность?

Я опять раскрываю каталог художественных фильмов немого периода и нахожу в нем краткую справку:

> «„Всё спокойно“. Украинфильм, Одесса. 1930 г… О борьбе бессарабских крестьян за освобождение из-под

гнета румынских оккупантов в годы гражданской войны. Румынские власти грабят мирное население Бессарабии, отбирают у крестьян скот, увозят имущество. Крестьянина Платона Лунгу насильно мобилизуют в румынскую армию. Лунга пишет своей жене письмо, сообщая о невыносимых условиях солдатской жизни. Офицер перехватывает письмо…»

Я вижу всхолмленную равнину, покрытую зарыжелой осенней травой.

Рядами, как патроны в пулеметной ленте, стоят вдоль дороги пирамидальные тополя.

Буковые рощи похожи на коровьи стада, сбившиеся плотно, рога в рога, испуганные отдаленным громом.

Истерзанный проселок в рытвинах и лужах, в глубоких взрезах колеи.

Я сижу на телеге в пуке соломы, подобрав ноги. Мама придерживает мое плечо, чтобы я не свалился в грязь, когда колесо сверзится в очередную яму.

На маме бедняцкая сермяга, деревенский клетчатый платок, узлом завязанный у подбородка. Грим: темное лицо, ввалившиеся от горя глаза…

Годами позже ей всё это достанется и без грима.

Мама взяла меня с собою на съемки фильма «Всё спокойно», где она играет роль бессарабской крестьянки, мужа которой забили жандармы.

Я изображаю в этом фильме ее маленького сына, мужицкое дитя: сижу на тряской телеге, в пуке соломы, она придерживает меня, чтоб не упал.

Так, теперь всё ясно. Всё спокойно.

Нет, еще не всё. Опять всё тот же вопрос: а где же мой отец?

Сценарий фильма «Всё спокойно» написал, как указано в каталоге, некий В. Березинский.

А статья доктора Шерра, которую напечатал в аккерманской газете «Вяца Нова» мой отец — статья, в которой рассказывалось о Татарбунарском восстании, — статья, из-за которой Сигуранца, румынская контрразведка, начала охоту за Рекемчуком, — эта статья, как мы помним, называлась «На Шипке всё спокойно»…

Очередной псевдоним отца?

Но нет. В. Березинский — не вымышленное лицо. Вот передо мною лежит большая коричневая фотография сравнительно молодого человека с вьющейся шевелюрой, мягкой улыбкой. Небрежная надпись: «*Милым Рекемчуку. В. Березинский. 1931/iюль 24. Одесса*».

Стало быть, отец просто поведал ему эту историю? Подарил сюжет, который — в реальности — чуть было не привел его в застенок?

Но теперь я знаю, что «Всё спокойно» — это лишь один из сюжетов его жизни, пробившийся на экран.

Судьба другого оказалась более суровой — он вообще не увидел света. Он был написан совместно с Верой Павловной Строевой и, по ее словам, назывался «Сигуранция». Я переспрашивал: «Может быть, „Сигуранца“?» Она настаивала: «Нет, „Сигуранция“».

Но он, всё равно, пропал бесследно.

В один из дней Вера Павловна Строева позвала меня смотреть отснятый материал фильма «Мы, русский народ».

Близилась полувековая годовщина Октябрьской революции, и мастеров самой первой плеяды советского кинематографа, вполне естественно, влекло к эпопее: ведь этот жанр давал возможность соизмерить личный жизненный опыт с масштабом исторических событий.

Строева сделала точный выбор. Она взялась воплотить на экране роман Всеволода Вишневского «Мы, русский народ», написанный еще в 1937 году, предназначенный именно для кино, но по разным причинам это не было осуществлено при жизни автора знаменитой «Оптимистической трагедии».

На «Мосфильме» тогда был один-единственный зал, приспособленный для проекции фильмов широкого формата. И мы с Верой Павловной сидели вдвоем в темноте, в огромном зале, сиротски затерянные меж пустыми рядами кресел.

Это ощущение потерянности усиливалось от того, что было на экране.

Осклизлые траншеи Первой Мировой войны. Колючая проволока заграждений. Земля, взметаемая взрывами снарядов. Русские убивают немцев. Немцы убивают русских. Наконец, свершается революция. Царский фельдфебель-держиморда Варварин смешно марширует с красным бантом на шинели. Большевик Яков Орел агитирует окопную братву, его поддерживает одесский биндюжник Боер… Пленные роют яму, еще не подозревая, что она станет их братской могилой. Русские расстреливают русских. Крестьяне откапывают уцелевших. Спасшиеся от смерти берут винтовки, разворачивают красный флаг и — шагом марш… Мы, русский народ.

Глядя на экран, я дивился размаху батальных сцен; искусству управления многотысячной массовкой, которое, кроме шуток, сродни полководческому искусству; ошеломительным эффектам

пиротехники; достоверности реквизита и костюмов, — и со всем этим управилась маленькая, очень маленького роста, но сильно раздавшаяся поперек себя женщина, пребывавшая в тех преклонных годах, когда говорить о возрасте дамы уже не грех.

Правда, студийные острословы с увлечением рассказывали о том, как на съемках батального эпизода Вера Павловна, указывая на станковый пулемет «максим», подавала команды: «А сейчас возьмите эту штуку и перенесите ее вон туда!..» Но для того и существуют остряки, чтобы сочинять смешные истории.

Потом, в кабинете, куда нам с Верой Павловной принесли по чашке чаю, я, не лукавя, выразил свое восхищение только что увиденным.

Она обвела взглядом мой сановный кабинет, потом подняла на меня свои фиалковые глаза, неожиданно молодые на обрюзгшем лице, и сказала:

— В Одессе ваш отец иногда ставил вас на парапет морского пирса и, незаметно убрав руки, отходил в сторону. Парапет был очень узкий, а вы едва умели ходить… Мы обмирали от страха. Но Евсей Тимофеевич смеялся и говорил: «Пусть привыкает. Мало ли какие испытания пошлет ему жизнь!»

Я знал со слов матери, что отец водил шашни с молодой красавицей Верой Строевой («Кажется, они вместе писали сценарий», — уточняла ради приличия мама). Полагаю, что она в это время тоже не томилась скукой, поскольку, по ее же словам, меня, крохотного, вверяли заботам Григория Львовича Рошаля, мужа Веры Павловны.

Когда позднее я не очень лестно отозвался о его фильме «Год, Как жизнь», где молодого Карла Маркса играл Игорь Кваша, а молодого Энгельса Андрей Миронов (в мосфильмовских коридорах подыхали со смеху от этой пары вождей мирового пролетариата), разобиженный Григорий Львович ворчал по моему адресу: «Ради красного словца не пожалеет и отца!» — но это была обида няньки.

Растроганный доверительным тоном Веры Павловны, ее очевидным уважением к памяти человека, каковы бы ни были на самом деле их отношения — может быть, они и впрямь лишь писали киносценарий, — я начал рассказывать ей о том, как никто из близких людей не решился ходатайствовать о пересмотре его дела, как мне пришлось взяться за это самому, и как, в конце концов, состоялось решение о посмертной реабилитации Евсея Тимофеевича Рекемчука, но в извещении, которое я получил, почему-то говорилось не о журналисте, не о свободном художнике, а о сотруднике НКВД.

Сочувственно выслушав мой рассказ, Вера Павловна

наклонилась ко мне и сказала заговорщицким шепотом:

— Зорге был щенок в сравнении с вашим отцом!

Я не верил своим ушам.

Надобно заметить, что имя Рихарда Зорге — немецкого журналиста, работавшего в Японии на нашу разведку, предупредившего Сталина о дате нападения фашистской Германии на Советский Союз, арестованного и казненного японцами, — только что появилось в обиходе, благодаря наконец-то показанному у нас французскому фильму «Кто вы, доктор Зорге?». Рихарду Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, поставили памятник, назвали его именем улицу в Москве.

Тогда, в середине шестидесятых, это еще имело вкус новизны, было сенсацией.

Но фраза, только что произнесенная Строевой, конечно же, произвела на меня куда большее впечатление.

Я смотрел на нее, озадаченно моргая.

А она опять улыбнулась и кивнула: да-да.

Близость «важнейшего из искусств», как определил кинематограф Владимир Ильич Ленин, к другому, тоже очень важному, хотя и не относящемуся напрямую к искусствам государственному делу — к разведке и контрразведке, — потрясала меня и позже.

В архивном деле отца я обнаружил машинописную справку следующего содержания:

> Правление ВУФКУ командирует Директора Одесской кинофабрики тов. ОРЕЛОВИЧА Соломона Лазаревича во главе экспедиции, в составе тт. ДОВЖЕНКО и ДЕМУЦКОГО для организации изучения новейших достижений в кинопроизводстве, особенно в звуковом кино и для выполнения целого ряда иных заданий, согласно соответствующего постановления Правления.
>
> *Президент Правления*
>
> *ВУФКУ*
>
> *(Воробьев)*

Документ датирован октябрем 1930 года. Аббревиатура ВУФКУ расшифровывается как Всеукраинское фотокиноуправление. Фамилии президента и директора в позднейших справочниках отсутствуют. Два других имени

широко известны: Александр Петрович Довженко, великий кинорежиссер, создатель фильмов «Звенигора», «Арсенал», «Земля», «Аэроград», «Щорс», «Мичурин»; Даниил Порфирьевич Демуцкий, кинооператор, работавший вместе с Довженко.

Этот документ интересен, в частности, еще и тем, что в нем идет речь о первых шагах нашего звукового кино.

Личный интерес он мог бы для меня представлять лишь тем, что моя мама, говоря об Александре Довженко, всегда употребляла свойское имя *Сашко*, в котором был оттенок восхищения блистательным творческим взлетом товарища по киностудии.

Но при чем здесь Рекемчук? Его имени нет ни в самой справке, ни в другом документе, сообщающем о том, что экспедиция отправилась в рейс вокруг Европы на пароходе «Абхазия».

Почему же эти документы оказались в папке, касающейся моего отца?

И что означает неброская фраза в тексте: «…и для выполнения целого ряда иных заданий…»

Честно говоря, я мог бы и вовсе не брать в голову эту завалящую старинную бумажку.

Но совсем недавно я прочел в одной из московских газет интервью директора музея Одесской киностудии (теперь уже находящейся в другой суверенной державе), которое меня глубоко впечатлило. Вот цитата из него:

> «…До сих пор еще держится в тайне, что наш знаменитый киноклассик Александр Довженко, начинавший тоже в Одессе, был агентом ЧК… В молодости его мобилизовали к Симону Петлюре, в самый элитный отряд „Гайдамацкий ковш“, и там он стал правой рукой атамана. Довженко участвовал в разгроме рабочего восстания в Киеве, потом он воспроизведет его в фильме „Арсенал“, но уже с другими классовыми акцентами. В 19-м году он попал в плен к красным и был бы расстрелян, если бы не согласился стать красным шпионом в полпредстве УССР в Варшаве. Большевикам казалось, что Петлюра, несомненно, свяжется с другом Довженко, но этого так и не случилось».

Уже в преклонном возрасте мама вновь стала сниматься в кино.

Как и в свои молодые годы, в безмолвных ролях второго

плана, в так называемой *групповке*.

Ее фамилия, домашний адрес, фотографии были в актерской картотеке «Мосфильма», и всякий раз, когда для съемок требовалась актриса в возрасте, с породистым узким лицом на роль барыни, к тому же умеющая носить кринолин, обмахиваться веером и достойно держать в руке кружевной зонтик от солнца, — звонили ей: Лидия Андреевна, приезжайте завтра туда-то к такому-то часу. — А что это за фильм? — спрашивала она. — «Анна Каренина». — Простите, а кто режиссер? — Александр Григорьевич Зархи. — Гм…

Но вечером она заваливалась на тахту с толстовским томиком и дотошно изучала обстановку предполагаемого эпизода, его психологический климат.

В эпизоде офицерских скачек на красносельском ипподроме («гипподроме», как предпочитал выражаться Лев Николаевич), затерянная среди прочей чистой публики, она, естественно, болела за Вронского и, заводя подружек, зная, что всё равно натурную сцену будут потом переозвучивать в павильоне, кричала в голос: «Вронский, шайбу, шай-бу!..»

У актеров групповки — своя жизнь в искусстве. Своя конкуренция, свои интриги, свои романы, свои обычаи. Непременно, если не в кадре, то хотя бы в перекуре между дублями, надобно запечатлеться рядом с главными героями фильма, как бы в живом общении с ними (студийному фотографу за это дают на лапу). Не знаю, есть ли у Татьяны Самойловой, сыгравшей заглавную роль в этом спорном фильме, и у Василия Ланового, сыгравшего красавца-кавалергарда, — есть ли у них роскошный черно-белый снимок, где Анна Каренина и Алексей Вронский советуются на балу с моей мамой, как им быть с этой свалившейся на них любовью, — но у меня такой снимок есть.

По утрам, просматривая в газете программы телеканалов, я нахожу названия фильмов, в которых она сыграла маленькие, боковые, мгновенные роли, и уже заранее знаю, что нынче вечером мы с нею опять встретимся. И проникаюсь благодарностью к дурацкому ящику, который стоит напротив моего кресла.

Вот она степенно, как подобает былой красавице, сходит по трапу белоснежного лайнера «Михаил Светлов», только что побывав в морском круизе вместе с героями «Бриллиантовой руки» — положительным героем Горбунковым и отрицательным героем, стилягой и фарцовщиком Козодоевым, одинаково жалкими в своем совковом плебействе. Она шествует в приличествующем курортному сезону широкополой шляпе, поглядывая поверх голов: встречает ли ее, прибывшую из

заграничного вояжа, единственный непутевый сын…

Я здесь, мама.

А вот она восседает за судейским столом в назидательном детективном фильме. Она, конечно, не судья, а всего лишь народный заседатель, поддакивающий судье. И на ней не судейская мантия — тогда этот обычай еще не был воскрешен, — но даже простое темное платье из домашнего гардероба производит впечатление мантии, когда мама вживается в роль. Ее волосы тронуты сединой, взгляд строг…

Я съеживаюсь в кресле под этим взглядом. Блудливая улыбка корежит губы.

Нет-нет, мама, не волнуйся, это судят не меня, вот те крест!

Я тут просто так сижу, смотрю кино… Знаешь, тут тако-ое было! О нет, тебе не понять: ведь всё это случилось уже после тебя… Да, это случилось при нас, но мы тоже ничего не поняли. Хотели, как лучше. А нас просто употребили… Одни глотки драли, а другие втихаря хвать-похвать… Мы не виноваты. Или виноваты?

Нет, не разбогател: таким, как я, не досталось. Нет, не на слуху: не успел подсуетиться вовремя… Счастлив ли? Но ведь ты помнишь, у Пушкина: «На свете счастья нет…»

Президент попойки

Когда я начал писать эти воспоминания о поездке в Одессу, на симпозиум, и, ради озорства, назвал их так, как я их назвал — «Пир в Одессе после холеры», — мне казалась вполне достаточной эта аллюзия: просвещенный читатель, конечно же, уловит связь с заглавием пушкинской маленькой трагедии «Пир во время чумы» и усмехнется сочувственно.

Однако всем нам свойственно в разные годы жизни, от детских до преклонных лет, вновь и вновь возвращаться к Пушкину и всякий раз открывать для себя нечто новое.

Я обнаружил, что игривая подмена слова чума словом холера и, даже более того, отождествление этих слов и понятий произошло куда раньше. И руку к сему приложил не кто иной, как сам Александр Сергеевич Пушкин.

Вот что он написал из Болдина своей невесте Наталье Николаевне Гончаровой 26 ноября 1830 года, рассказывая о том, как был захвачен врасплох страшным поветрием:

> «…Если бы я не был в дурном расположении, едучи в деревню, я вернулся бы в Москву со второй станции, где я уже узнал, что холера опустошает Нижний. Но тогда я и не думал поворачивать назад, и главным образом я тогда готов был радоваться чуме».

Впрочем, письмо это написано по-французски, и в разных изданиях последнее слово — *la peste* — переводится то как «чума», то как «зараза».

Поэтому будет верней обратиться к текстам, заведомо написанным по-русски.

В пушкинских рукописях, не публиковавшихся им при жизни, были обнаружены записки, позже условно озаглавленные «Холера».

Там он опять обращается к событиям осени 1830 года и сам, прибегая к поэтической терминологии, выясняет соотношение между холерой и чумой.

> «…Перед моим отъездом Вяземский показал мне письмо, только что им полученное: ему писали о холере, уже перелетевшей из Астраханской губернии в Саратовскую. По всему видно было, что она не минует и Нижегородской (о Москве мы еще не беспокоились). Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию

моему между азиатцами. Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности, а в моем воображении холера относилась к чуме, как элегия к дифирамбу».

Вполне возможно, что Пушкиным владел некий замысел, что ему виделся сквозной сюжет, который позволял нанизать события жизни на стержень опасности, шедшей за ним буквально по пятам — куда бы он ни направлялся и где бы ни оседал.

Судьба хранила его от этой напасти. Другой рок был уготован ему, и он это чувствовал, знал, и потому был отчаянно бесстрашен.

Но он был невольным свидетелем того, как погибель настигает других людей, порою дорогих его сердцу.

Зачин этой рукописи соответствовал канону повествовательной традиции и, буквально с первых строк, погружал читателя в мир уже знакомой ему пушкинской прозы, пленяющей доверительностью интонаций, прозрачностью языка и, сверх того, сулил ту безоговорочность жизненной правды, которая вообще сделалась главным мерилом для русской литературы.

> «В конце 1826 года я часто виделся с одним дерптским студентом (ныне он гусарский офицер и променял свои немецкие книги, свое пиво, свои молодецкие поединки на гнедую лошадь и на польские грязи). Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всем затверженное понятие, в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял. Однажды, играя со мною в шахматы и дав конем мат моему королю и королеве, он мне сказал при этом: Cholera morbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас».

Дерптский студент — Алексей Николаевич Вульф, младший друг поэта, с которым в Тригорском они жили в баньке на берегу Сороти, спросонья бежали к реке купаться, сажали пули в цель из пистолетов Лепаж, пили вино, волочились за девицами (Вульф бывал удачливей), но и не чурались серьезных бесед.

«Студент объяснил мне, — записывал позднее Пушкин, — что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей, но и животных и самые растения, что она желтой полосою стелется вверх по течению рек, что, по мнению некоторых, она

зарождается от гнилых плодов и прочее — всё, чему после мы успели наслыхаться.

Таким образом, в дальнем уезде Псковской губернии молодой студент и ваш покорный слуга, вероятно одни во всей России, беседовали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслию всей Европы».

Тогда, в молодые годы, проведенные в ссылках, на Юге — в Кишиневе, Каменке. Одессе, Михайловском, — он сталкивался иногда с грозными проявлениями этой напасти, которая еще не имела черт повального мора. Коварная болезнь как бы вела разведку, убивая выборочно.

«О холере я имел довольно темное понятие, — признается он, — хотя в 1822 году старая молдавская княгиня, набеленная и нарумяненная, умерла при мне в этой болезни…»

Но он оставался беспечным. Тем более, что люди, которые его окружали, всячески старались укрепить его — а заодно и себя, — в несущественности угрозы.

Владимир Петрович Горчаков, закадычный друг поэта кишиневской поры, записал в своем дневнике: «Один чиновник Областного правления был приглашен на обед, где находился и Пушкин; за обедом чиновник заглушал своим говором всех, и все его слушали, хотя почти слушать было нечего, и наконец Договорился до того, что начал доказывать необходимость употребления вина, как лучшего средства от многих болезней. — „Особенно от горячки“, — заметил Пушкин. — „Да, так и от горячки, — возразил чиновник с важностью, — вот-с извольте-ка слушать: у меня был приятель, некто Иван Карпович, отличный, можно сказать, человек, лет десять секретарем служил; так вот, он-с просто нашим винцом от чумы себя вылечил; как хватил две осьмухи, так как рукой сняло…“»

Пушкин усомнился, надерзил рассказчику, а когда тот обозвал поэта «молокососом», то ответом ему было: «а вы — виносос…»

Однако в других случаях Пушкин бывал доверчивей, особенно в тех, когда источником полезных знаний был не чиновный мужлан, а прекрасная дама.

«…одна молодая женщина из Константинополя, — признавался он в письме своей юной невесте, — говорила мне когда-то, что от чумы умирает только простонародье — всё это прекрасно, но всё же порядочные люди тоже должны принимать меры предосторожности, так как именно это спасает их, а не их изящество и хороший тон. Итак, вы в деревне, в безопасности от холеры, не правда ли?»

Молодую женщину из Константинополя звали Калипсо. Она

была дочерью гадалки Полихронии. Она чудесно пела. Пушкин не остался к ней равнодушным. Эта страсть подогревалась тайной, известной всему Кишиневу: пятнадцати лет отроду нимфа Калипсо была возлюбленной самого лорда Байрона, эпигоном которого в ту пору весь Кишинев и числил господина Пушкина.

В стихотворении «Гречанке» он и сам еще отдавал первенство Байрону, хотя и ощущал себя соперником, во всяком случае — в любви.

Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов.
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей,
И этой ножкою нескромной;
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей…

Уверения Калипсо о том, что «от чумы умирает только простонародье», оправдались самым печальным образом. Через несколько лет нимфа умерла, но не от простонародной чумы, и не от плебейской холеры, и не от бивачной лихорадки, как лорд Байрон, а от благородной чахотки.

В 1822 году, вместе с канцелярией генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии графа Воронцова, где ссыльный поэт служил в невысокой должности коллежского секретаря, Пушкин переезжает из Кишинева в Одессу. Для него эта перемена мест означает нечто большее, чем переезд из одного провинциального города в другой:

«…я оставил мою Молдавию и явился в Европу…»

Юрий Михайлович Лотман в биографической книге о Пушкине подчеркивает этот аспект:

«…Пушкин был захвачен удовольствиями жизни в большом городе с ресторанами, театром, итальянской оперой, блестящим и разнообразным обществом, столь резко контрастировавшим с провинциальностью кишиневской жизни. Светскими знакомствами и театром Одесса напоминала Петербург, непринужденным обществом военных либералов — Киев, Кишинев и

Каменку, а морем, французской и итальянской речью на улицах, бесцензурным пропуском французских газет и беспошлинным провозом вин — Европу».

Правда, Лотман делает важную оговорку насчет того, что подобный взгляд на одесскую жизнь Пушкина характерен «для поверхностного наблюдателя», что именно в это время поэт одержим идеей покинуть Россию («свалить за бугор», как выразились бы потомки), что его друзья и подруги ищут денег, дабы помочь ему осуществить этот побег, что он заинтересованно и пристально следит за освободительным движением в Греции, за созывом революционных Кортесов в Испании — о, как бы он хотел участвовать во всем этом!..

Лотман приводит черновую редакцию строки из «Путешествий Онегина»: «И что Кортесы иль пожары…»

Но Пушкин не уехал из России. Он остался в Одессе. И черновая строка в перебеленном виде обрела совсем иной смысл.

Бывало пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркер выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.

Глядишь — и площадь запестрела.
Всё оживилось: здесь и там
Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.
Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны

Или подобной новизны?

Крамольные Кортесы заменены более понятной и более близкой, хотя, слава богу, всё еще далекой чумою.

А «подобная новизна» будет обсуждаться здесь и век спустя.

Трудно преодолеть ощущение того, что главы романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», посвященные тусовке почтенных стариков города Черноморска у бывшего кафе «Флорида», навеяны строфами из «Путешествий Онегина».

Впрочем, авторы бестселлера и не прячут этой переклички.

Изображая сборище ставших уже классическими «пикейных жилетов», старцев в канотье и панамах, напротив крытой веранды нарпитовской столовой № 68, Ильф и Петров приводят подсказывающую датировку:

> «…всё, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет сто тому назад, Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о „порто-франко“ до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый угол у кафе „Флорида“.
>
> — Читали про конференцию по разоружению? — обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. — Выступление графа Бернсторфа?
>
> — Бернсторф — это голова! — отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто уверился в том на основе долголетнего знакомства с графом…»

…И что чума? и где пожары? И нет ли голода, войны или подобной новизны?

Знаменитый эпизод учений по отражению химической атаки в Черноморске начинается в «Золотом теленке» надрывным воем сирены, затем раздается «оглушающий лопающийся пушечный выстрел» («Бывало пушка зоревая лишь только грянет с корабля…»). Случайность?..

Но далее черед *ретроспекций* меняет направление и, уже *интроспективно*, влечет мою память к реалиям холерного карантина в Одессе 1970 года.

Люди в противогазах («резиновые хари») укладывают Остапа Бендера на носилки («Товарищ! Вы отравлены!») и тащат его в газоубежище («К Остапу подбежала комсомолка с красным крестом на переднике. Она вытащила из брезентовой сумки банты и вату и, хмуря брови, чтобы не рассмеяться, обмотала

руку великого комбинатора поверх рукава…»). В домовом клубе, превращенном в учебное газоубежище, Остап впервые встретит девушку спортивного вида Зосю Синицкую, сюда же авторы затолкают почти весь сонм персонажей романа, включая табунок «пикейных жилетов».

Эту сцену продолжит Михаил Жванецкий газетным интервью более поздних лет:

> «Холера в Одессе имела большой успех… Партия придумала: надо поднять настроение. Откуда они это знали? Столько смеха в Зеленом театре не было никогда. Лица в Одессе стали хорошие, в городе вдруг появились продукты и такси. Перебоев с водой не было. На улицах была абсолютная чистота, несвойственная Одессе. Милиция следила за тем, чтобы мы мыли руки. Не жизнь, а красота! Город был оцеплен войсками.
>
> Мы с Карцевым и Ильченко прошли через обсервацию. 300 человек вывезли на 5 дней на пароходе в море и брали анализы. После этих анализов мужчины переходили с медсестрами на „ты“, потому что иначе обращаться уже было нельзя. Из Одессы мы приехали в Москву и заняли второе место на конкурсе артистов эстрады. Через полтора месяца вернулись в Одессу, а там жизнь уже вернулась в нормальное русло: грязь, трамваи забиты, в магазинах пусто…»

Но мы возвратимся к событиям той поры, когда Одесса была вольным городом — во всяком случае для Пушкина.

Его словесные портреты той поры — кишиневской, одесской, — поражают своим несходством с классическими памятниками, портретами кисти Тропинина, Кипренского, Айвазовского. Последний, выполненный, кстати, вместе с Репиным и изображающий поэта на берегу моря, просто переносит опекушинское изваяние с Тверской в Москве — та же крылатка, та же шляпа в руке, те же бакенбарды и кудри, — на прибрежные скалы, омытые пеною шторма: «Прощай, свободная стихия!..»

Квасных патриотов и стерильных пушкинистов раздражают бесхитростные свидетельства современников.

> «Пушкин был еще совсем молод. Был он не то, что черный, а так, смуглый, загоревший. Был добрый, хороших правил, а только шалун… Бывало, Пушкин часто гулял в городском саду. Но всякий раз он

переодевался в разные костюмы. Вот уж смотришь — Пушкин серб или молдаван, а одежду ему давали знакомые дамы. Молдаваны тогда рясы носили. В другой раз смотришь — уже Пушкин турок, уже Пушкин жид, так и разговаривает, как жид. А когда же гуляет в обыкновенном виде, то уж непременно одна пола на плече, а другая тянется по земле…»

Это — из воспоминаний П. В. Дыдицкой, племянницы архимандрита Иринея, ректора кишиневской семинарии.

Как яростно бомбили Андрея Донатовича Синявского лишь за то, что он привел это свидетельство в своих «Прогулках с Пушкиным», которые писал узником мордовского лагеря — и страничками, под видом писем, отсылал жене Марии Васильевне Розановой.

А вот уже Одесса:

«…Далее, к театру, на другом углу того же квартала, помещалось казино, о котором упоминает он в Онегине, при описании Одессы, и в котором сиживал он иногда в своем кишиневском архалуке и феске. Наряд этот Пушкин оставил в Одессе. Здесь на улице показывался он в черном сюртуке и в фуражке или в черной шляпе, но с тою же железной палицей. Сюртук его постоянно был застегнут, и из-за галстука не было видно ворот ничков рубашки. Волосы и здесь у него были подстрижены под гребешок или даже обриты…»

Таким предстает поэт в воспоминаниях К. П. Зеленецкого.

Плейбой. Скинхед.

В ноябре 1823 года он пишет из Одессы в Кишинев письмо Ф. Ф. Вигелю.

«…У нас холодно, грязно — обедаем славно — я пью, как Лот содомский, и жалею, что не имею с собой ни одной дочки. Недавно выдался нам молодой денек — я был президентом попойки — все перепились и потом поехали по……».

В. Вересаев в книге «Жизнь Пушкина» заполняет горизонталь словами «по борделям», но это не соответствует отточию.

Впрочем, это и не важно.

Письмо сохранилось лишь в черновом наброске. Отправлен ли был чистовик адресату?

Филиппа Филипповича Вигеля Пушкин знал еще по

Петербургу, оба хаживали в «Арзамас». Позже Вигель служил в той же канцелярии графа Воронцова, где и Пушкин, попеременно в Одессе и Кишиневе. Впоследствии дослужился до постов вице-губернатора Бессарабии, градоначальника Керчи. Современники характеризовали его человеком злым, завистливым, вздорным. Он был гомосексуалистом и не скрывал своих наклонностей. Однако водилось за ним и другое. Вигель был и слыл доносчиком, в частности по его доносу начались невзгоды у Чаадаева.

Зачем же, спросите вы, Пушкин пишет Вигелю столь откровенное, столь уязвимое послание?

Спросите что полегче.

Повторю, письмо осталось в черновике. Вполне возможно, что Пушкин и не переписывал его. Но он сохранил черновой набросок — значит, этот черновик представлял для него самого какой-то особый интерес. Какой?

Перечитаем снова взъерошенный, сумбурный, раздерганный черточками текст.

И оставим для дальнейших размышлений четкую вводную Фразу:

«*…я был президентом попойки…*»

Зачем? Авось, пригодится.

Последуем же за неугомонным поэтом — что там дальше в его путешествиях, в его жизни?

В рукописи, условно называемой «Холера» — о ней уже была речь, — события стремительно перемещаются во времени.

Из 1826-го, когда в Михайловском Пушкин выслушивал мрачные пророчества дерптского студента Вульфа («Cholera morbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас»), — они, события, стремятся в Москву восемьсот тридцатого, в пору его возмужалости и жениховства, — промежуток ровно в четыре года.

Но Пушкин настаивает на пяти: «Спустя пять лет я был в Москве…», «…о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслию всей Европы».

Вполне вероятно, что записи о холере несли в себе замысел повести, где сюжет, как всегда у Пушкина, чрезвычайно динамичен: от судьбоносного предсказания к действию, от случайной завязки к роковому событию.

Есть основание думать, что действие повести должно было разыграться в холерной Москве 1830 года, на ее околицах, через которые катилось страшное поветрие, на дальних трактах, в деревне, где заперт карантинными заставами мятущийся, страдающий, влюбленный герой, а его любимая — там, в Москве,

жива ли, нет ли?..

Сюжет такого рода не терпит промежуточных задержек и отвлечений, тем паче если они сами по себе действенны и ярки.

Может быть, именно поэтому в «Холере» Пушкин не посчитал нужным возвращаться памятью к эпизодам своих странствий по Кавказу, своего участия в военных походах, где он не на расстоянии, а в упор, лицом к лицу сталкивался со смертельной опасностью.

Тем более, что эти эпизоды нашли свое место в «Путешествии в Арзрум».

В «Холере» есть лишь беглая ссылка на пребывание «между азиатцами».

Мы же не связаны динамикой сюжета и можем себе позволить повторение пройденного, тем более, что эти картины полны изобразительной и эмоциональной мощи.

Из «Путешествия в Арзрум»:

> «…Переехав через гору и спустясь в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперек дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. „Что нового в Эривани?“ — спросил я его. „В Эривани чума, — отвечал он, — а что слыхать в Ахалцыке?“ — „В Ахалцыке чума“, — отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались».

Настроение этой встречи, сдержанный трагизм диалога будет повторяться почти дословно — лишь с переменой географических координат и сменой речевого колорита, приближенного к русской стихии, — в набросках «Холеры», в письмах Пушкина из болдинского затворничества.

На страницах «Путешествия в Арзрум» нам дано узреть воочию пластику тех картин, которые могли бы возникнуть в задуманной повести.

> «…Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решил оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкой оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли

слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство однако ж превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать на ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город».

С путешествием в Арзрум, где поэту довелось столкнуться не только с чумою, но и с войной — участвовать в стычках, в перестрелках, стоять под ядрами неприятельских пушек в черном сюртуке и с блестящим цилиндром на голове, за что солдаты звали его «драгунским батюшкой», принимая за полкового священника, — связано еще одно свидетельство, оставленное М-В. Юзефовичем, который, как и брат Пушкина Лев, был адъютантом молодого генерала Раевского, командира славного Нижегородского драгунского полка.

Свидетельство это, казалось бы, не имеет касательства ни к чуме, ни к холере, но для нас оно очень важно.

«…Пушкин имел хорошее общее образование. Кроме основательного знакомства с иностранной литературой, он знал хорошо нашу историю и вообще для своего серьезного образования воспользовался ссылкой. Там, между прочим, он выучился по-английски. С ним было несколько книг, и в том числе Шекспир. Однажды он, в нашей палатке, переводил брату и мне некоторые его сцены. Я когда-то учился английскому языку, но, не доучившись как следует, забыл его впоследствии. Однако ж всё-таки мне остались знакомы его звуки. В чтении же Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для этого, на другой день, я зазвал к себе его родственника Захара Чернышева, знавшего английский язык, как свой родной, и, предупредив его, в чем было дело, позвал к себе

Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышев при первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, расхохотался: „Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?“ Расхохотался в свою очередь и Пушкин, объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту, как латинскую. Но дело в том, что Чернышев нашел перевод его правильным и понимание языка безукоризненным».

Лишь теперь мы возвратимся в златоглавую Москву.

На сей раз я повел студентов в Донской монастырь.

Мы уже побывали до этого на Рогожском старообрядческом кладбище, в Спасо-Андрониковом и Новодевичьем монастырях; смотрели русский ампир в переулках Арбата и советский конструктивизм на Мясницкой; прошли по адресам бунинского «Чистого понедельника», по типовым кварталам Новых Черемушек.

Это было важным дополнением к семинарским занятиям в аудитории Литературного института. Я учил их прочитывать лица домов, лица эпох, как прочитывают лица людей. Приучал их «вышагивать» пространства будущих книг.

Паломничество в Донской монастырь имело конкретную цель: я хотел показать студентам подлинные мраморные горельефы храма Христа Спасителя.

Вот так: храм взорвали в одночасье, не пощадив драгоценных росписей Сурикова, Васнецова, Верещагина, Маковского, Семирадского; гранит и мрамор облицовки использовали на строительстве станций метрополитена; позолоту и бронзу растащили; колокола переплавили…

Но кто-то совестливый и догадливый свез уцелевшие изваяния на Шаболовку и укрыл, подальше от греха, за монастырскими стенами.

Там они и стоят доселе. Мрамор иссечен дождями, изъеден смогом, весь в оспинах, посерел в цвет пепла.

Но камень сберег высоту смысла, мощь запечатленного движения, одухотворенность образов.

Мельхиседек встречает Авраама, победившего нечестивых царей; пленники — кто в цепях, кто с посохом, кто с бурдюком воды. Аравийские верблюды несут тяжелые тюки — добычу победителей…

Молодой Давид в античном шлеме после поединка с Голиафом: отсеченная голова великана воздета на копье. Народ

ликует, красивая девушка слагает гимны воинам, бряцая на струнах лиры…

Князь Дмитрий Донской, снаряжаясь в поход на супостатов, принимает благословение Сергия Радонежского в канун Куликовской битвы…

Мои юные коллеги смотрели, перешептываясь, впечатляясь.

Обратно шли молча, лишь взглядывая попутно на кладбищенские надгробья: Херасков, Сумароков, Дмитриев, Чаадаев, Одоевский.

Но у одного из памятников, что под самой стеною большого собора Донской богоматери, они замешкались, считывая надпись на стеле с белой урной: «Подъ симъ камнемъ погребено тело Колежского Асесора Василия Львовича Пушкина, скончавшегося въ 1830 году августа 20 дня. Жития его было 63 года и 3 месяцовъ».

Я подтвердил: да, это он, дядя Александра Сергеевича, тоже поэт, автор «Опасного соседа», жуир, щеголь, повеса, ну, весь в племянничка.

Отнюдь не из желания вогнать их в скорбь, а наоборот, в намерении прояснить их постные мины, которые всегда ложатся на лица юных, когда они посещают святые обители и погосты, я счел уместным рассказать им о том, как умирал дядя великого поэта.

— У его постели собралось множество людей — друзья, родные, почитатели, ведь он был очень известной фигурой в Москве, — рассказывал я. — Он лежал в забытьи, при последнем издыхании. Но, когда в комнату вошел племянник, Василий Львович вдруг открыл глаза и с усилием выговорил: «Как скучны статьи Катенина!..»

Сообразив, что ржать в голос у могильного надгробья неприлично, студенты изошли тихим стоном восторга.

— Да-да, — оживился и я, огладив ладонью мрамор урны. — Заслышав это, Александр Сергеевич раскинул руки и стал теснить всех к двери, а следом вышел сам. Чуткость слуха подсказала ему, что эта фраза должна быть последней: «Как скучны статьи Катенина!..» И больше ни слова.

После похорон Пушкин с Погодиным долго бродили меж надгробий Донского монастыря, набрели на могилу Сумарокова, забытого, как и его трагедии.

Кто-то заметил, что на отпевании Василия Львовича не было его друга, поэта Ивана Дмитриева. Побежал слух о том, что Дмитриев не решился войти в помещение, где шла заупокойная служба, подозревая причиною смерти холеру.

Тревога заметалась по Москве.

То есть, никто еще и не помышлял о приближении мора, а он был тут как тут, и первая его жертва уже была предана земле.

Знал ли молодой Пушкин об этих слухах и что думал по поводу них?

Современник приводит его высказывание тех дней: «..даже медики не скоро поймут холеру. Тут всё лекарство один *courage, courage* и больше ничего».

Кураж — и больше ничего.

Ему предстояло ехать в Болдино.

К этой поездке побуждали обстоятельства близкой женитьбы.

Мать невесты Наталья Ивановна Гончарова никак не могла взять в толк, что Пушкин женится не на ней, а на ее дочери (именно в таких выражениях он был вынужден объясняться с нею!). Грубость, оскорбления, сплетни — всё это он сносил, скрежеща зубами. Натали шла замуж бесприданницей, и будущая теща была неумолима в требованиях: денег, денег, денег…

24 августа он пишет на Полотняный Завод деду невесты Афанасию Николаевичу Гончарову:

> «…Смерть дяди моего, Василья Львовича Пушкина, и хлопоты по сему печальному случаю расстроили мои обстоятельства. Не успел я выйти из долга, как опять принужден был задолжать. На днях отправляюсь я в нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной».

Ровно через неделю Пушкин отправляется в Болдино.

Вот теперь сюжет «Холеры» двинется тем напряженным темпом, который присущ его повестям.

> «…На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! Она бежала как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!
>
> Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой.
>
> Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждают карантины. Народ ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению. Мятежи вспыхивают то здесь, то там.
>
> …Вдруг 2 октября получаю известие, что холера в Москве. Страх меня пронял — в Москве… но об этом

> когда-нибудь после. Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава!»

Всё. Пути перекрыты. Он заперт в Болдине. Как в ловушке. Как на острове.

Именно этот образ возникает в постскриптуме письма к Дельвигу, написанного 4 ноября: «…Я живу в деревне как в острове, окруженный карантинами».

Мы знаем название этого острова — Болдино.

Но в воображении поэта появляется и другое, мистически ассоциированное название. Он пишет Погодину в те же дни: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в „Ведомостях“ — но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени…»

Сначала о названии острова. В Священном писании и нынешнем обиходе он фигурирует как Патмос — речь идет о маленьком скалистом острове в Эгейском море, у берегов Малой Азии, где, по преданию, было записано Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис.

Евангелист сам обозначает место, где он услышал пророчество:

> Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос… Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний. То, что видишь, напиши в книгу…

Какое же из произведений, написанных в Болдине, Пушкин назвал Апокалипсической песнью?

Пожалуй, нас ожидает некоторое разочарование. Речь идет о стихотворении «Герой», посвященном императору Наполеону Бонапарту. В форме диалога Поэта и его Друга прослеживается череда свершений и подвигов Наполеона: «Когда ж твой ум он поражает своею чудною звездой?» Вот герой подхватывает падающее знамя, а вот хватает диктаторский жезл; вот он взирает с Альп на покоренную Италию, а вот — на пустынную Москву; вот он у египетских пирамид, а вот уж и на острове Святой Елены, в плену и заточении…

Но нет, по мысли Поэта его главный подвиг был иным:

Не та картина предо мною!
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болезней… он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь ходит меж одрами,
И хладно руку жмет чуме,
И в погибающем уме
Рождает бодрость…

Итак, Наполеон в чумном госпитале в Яффе.

Комментарий к этому пушкинскому тексту подчеркивает, что обозначенная в рукописи дата 29 сентября «не имеет отношения к времени написания стихотворения», а фиксирует «день приезда Николая I в холерную Москву».

Вопрос о том, почему Пушкин в письме Погодину настаивал на анонимности публикации, не входит в круг нашего интереса.

Для нас важней другое: *какою* он представлял себе холерную Москву из своего болдинского заточения? Вновь опустевшей («пустынной») после совсем еще недавнего исхода ее обитателей в 1812 году — после Бородина, перед вступлением в нее войск Бонапарта, перед апокалипсическим пожаром?..

И вновь неизбежный ряд ассоциаций: Болдино, как «остров», как место заточения поэта — и остров Святой Елены, как место заточения ссыльного Наполеона — и остров Патмос, где Иоанн Богослов внемлет грозным пророчествам Первого и Последнего.

Еще несколько дней назад Пушкин отправил письмо Плетневу, полное тревог о невесте, о возлюбленной: «…Не знаю, где моя: надеюсь, что уехала из чумной Москвы, но куда? в Калугу? в Тверь? в Карлово к Булгарину? ничего не знаю…»

Последнее — о Булгарине — шутка, но горькая.

Вскоре он узнает, что Наталья Николаевна, как многие, никуда и не уезжала из холерной Москвы: жила себе при маменьке на углу Большой Никитской и Скарятинского переулка, близ нынешнего Дома литераторов.

Сквозь все заставы дойдет до него ее «проколотое» письмо: то есть, письмо в конверте, продырявленном на почте, чтобы из него вышел заразный воздух.

Холера по всей России. От нее не убежишь, не спрячешься. Люди живут в холере, приспосабливаясь к ней. Это — жизнь в обстановке конца света, жизнь в Апокалипсисе.

Как в кавказском походе с ним был Шекспир, так в

болдинском заточении у него под рукой оказывается «Чумной город», Драматическая поэма Джона Уилсона, которая давно занимала его воображение.

6 ноября 1830 года в Болдине он завершает перевод сцен из этой драматической поэмы и дает маленькой трагедии название «Пир во время чумы».

Я попросил своего младшего внука Павлика съездить в Иностранку, взглянуть, нет ли там книги Джона Уилсона «Город чумы», с которой Пушкин перевел маленькую трагедию.

Раннее детство Павлик провел с родителями в Канаде, потому его школьный, а позже институтский английский (он учился на юрфаке) лег на благодатную почву младенческого живого общения.

Внук примчался из библиотеки с вестью, что книга есть, притом та самая. Я не поверил, что на свете бывает такое везенье. И вот уж мы оба рысим к Яузским воротам, в Библиотеку иностранной литературы.

Да, книга была той самой. Эдинбургское издание 1816 года: *The sity of the plague and other poems by John Wilson*. Переплет, конечно, заменен современным пошлым бумвинилом, но страницы книги сохранились в первозданной целости и даже не сильно пожелтели за полтора с лишним века.

Читательский интерес к раритету очевиден: на полях карандашные пометки — «Пушкин отсюда», «досюда».

Прежде всего, меня интересовало то, как обозначен в тексте драматической поэмы Уилсона тот персонаж, который в «Пире во время чумы» именуется Председателем.

Итак, у Пушкина:

(Улица. Накрытый стол.

Несколько пирующих мужчин и женщин).

Молодой человек.

Почтенный председатель! Я напомню
О человеке, очень нам знакомом,
О том, чьи шутки, повести смешные.
Ответы острые и замечанья,

Столь едкие в их важности забавной
Застольную беседу оживляли
И разгоняли мрак, который ныне
Зараза, гостья наша, насылает
На самые блестящие умы.
Тому два дня наш общий хохот славил
Его рассказы; невозможно быть,
Чтоб мы в своем веселом пированье
Забыли Джаксона. Его здесь кресла
Стоят пустые, будто ожидая
Весельчака — но он успел уже
В холодные подземные жилища…
Хотя красноречивейший язык
Не умолкал еще во прахе гроба,
Но много нас еще живых, и нам
Причины нет печалиться. Итак,
Я предлагаю выпить в его память
С веселым звоном рюмок, с восклицаньем
Как будто б был он жив.

Председатель.

Он выбыл первый
Из круга нашего.
Пускай в молчанье
Мы выпьем в честь его.

Молодой человек.

Да будет так.

(Все пьют молча.)

Павел, хмурясь от чувства высокой ответственности, легшей на его плечи, синхронно читает строки английского первоисточника. Затем говорит:

— Послушай, дед… Пушкин всё переводит слово в слово. То

есть, это даже поразительно, как точно он переводит Уилсона!

Я киваю. Мне не хочется объяснять мальчику, что есть взрослые дяди, которые задались целью набить цену Александру Сергеевичу Пушкину, уверяя, что текст Джона Уилсона был лишь толчком для вдохновения великого русского поэта, а дальше он обо всем поведал «своими словами»… Бойтесь пушкинистов.

Но тут меня осеняет совершенно неожиданная мысль.

— Погоди, погоди!., «…я напомню о человеке, очень нам знакомом…», «Он выбыл первый из круга нашего…» Да ведь это — про Василия Львовича, про дядю!

Внук вежливо молчит.

Однако я готов доказывать и спорить.

Вот Пушкин пишет из Болдина в Петербург, Плетневу; «… Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию. Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова?..»

И опять про скучные статьи Катенина.

Так вот каков был еще один мотив, подтолкнувший Пушкина к «Пиру во время чумы». Джаксон — это дядя Василий, ушедший первым.

А кто же у нас Вальсингам?

— Как, говоришь, у него обращаются к председателю застолья?

— Вообще, он фигурирует здесь как Master of Revels, то есть Хозяин Пира. Иногда это переводится как Церемонимейстер.

Меня охватывает уныние. Этого еще не хватало: церемонимейстер… Тьфу.

— Но Молодой человек за столом обращается к нему со словами: I rise to give, most noble President…

— Как?

— …most noble President…

Я откидываюсь к спинке стула и вздыхаю облегченно. Есть

— Что? — спрашивает внук.

— *…я был президентом попойки…*

— Ты?

— Нет, не я, Пушкин, в Одессе. Он писал Вигелю: «…я был президентом попойки, все перепились и потом поехали по…» Ну, дальше не обязательно. Но, знаешь, я тоже им был однажды — президентом попойки. И тоже в Одессе… Я тебе еще рас скажу об этом.

— Ладно.

Мимо стола, за которым мы штудируем Уилсона, проходит в левый коридор, к уборной, молодой длинноволосы! негр в

золотых очках. Студент, наверное. В хорошем костюме от Версаче. Дай поносить, как говорят в моей родной Одессе.

— Давай про негра, — говорю я Павлику. — Или негра Пушкин выдумал?

— Нет, не Пушкин. Вот он, видишь: Negro, читается «нигро»… И ремарку из Уилсона Пушкин перевел дословно: «Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею».

— Отлично. Теперь — Луиза…

Павлик едва заметно улыбается: он предполагает, что мой интерес к «Пиру во время чумы» не в последнюю очередь подогрет именем одной из героинь. Именем его бабушки. Да тут вообще все свои.

Луиза в обмороке. Председатель просит Мэри плеснуть ей воды в лицо. И вот, очнувшись, она заговорила.

Луиза (приходя в чувство).

Ужасный демон
Приснился мне: весь черный, белоглазый…
Он звал меня в свою тележку. В ней
Лежали мертвые — и лепетали
Ужасную, неведомую речь…
Скажите мне: во сне ли это было?
Проехала ль телега?

Молодой человек.

Ну, Луиза,
Развеселись — хоть улица вся наша
Безмолвное убежище от смерти,
Приют пиров ничем невозмутимых,
Но знаешь? эта черная телега
Имеет право всюду разъезжать —
Мы пропустить ее должны!..

Случилось так, что наше посещение Иностранки произошло через два дня после кошмара на Манхэттене. Во вторник, в конце дня, я пришел домой с литинститутского семинара и, как обычно, включил телек.

И первое, что увидел — вальяжный «Боинг», вонзающийся в небоскреб Международного торгового центра. Решил, что показывают очередной фильм катастроф, из тех, что в изобилии настрогал Голливуд.

По старой киношной привычке сразу же стал прикидывать масштабы спецсъемок: ну, конечно, огромный макет Нью-Йорка, выполненный с параноидальной тщательностью; ну, конечно, модель «Боинга», будто конфетка, такая гладкая, что хочется лизнуть; впрочем, может быть, применили и какие-то новые компьютерные спецэффекты, каких не было и в помине в мои мосфильмовские времена.

Но через минуту еще один «Боинг» косо, как нож в масло, вошел в стену другой башни. Вспухло облако огня и дыма…

Дают повтор?

Крики ужаса, раздавшиеся за кадром, были так неподдельны и отчаянны, что я вдруг понял: нет, это не кино… но что же?

— Луиза, — позвал я жену.

Она подошла, взглянула… нет, она не упала в обморок, и мне не пришлось ей прыскать воду в лицо. Просто окаменела.

Из окон небоскреба на уровне восьмидесятых этажей выпрыгивали люди. Другие же размахивали белыми тряпками, еще на что-то надеясь.

По улицам Манхэттена, пронзительно голося, мчались кареты скорой помощи.

Первый небоскреб провалился внутрь самого себя, вздымая тучи пыли. Второй перегорал в верхней части.

— Обедать будешь? — спросила жена.

— Да-да, конечно… — заторопился я. — Весь день — на чашке чаю.

Я рубал щи на кухне, краем уха прислушиваясь к возбужденным и растерянным голосам в телевизоре.

Вдруг вспомнились странные разговоры, которые шли два часа назад в институтской аудитории.

О том, что автор обсуждаемого рассказа уловил главное в нашей сегодняшней жизни: что который год мы живем в аду — в войне, в кровавых бандитских разборках, в нищете, в унижении, в неразберихе, в неприкаянности души — так, будто бы ничего особенного и не происходит, будто бы так и надо жить людям, если они вдруг очутились в аду, — а где он, рай? вы его где-нибудь видели? что, в Америке? ну, разве что в Америке… — мы живем в *кромешном аду*, как в быту, работаем, учимся, влюбляемся, женимся, рожаем детей, старимся, умираем, — и всё это идет заведенным порядком, будто бы так и надо.

Я выслушал студентов и сказал: да-да, вы правы, рассказ

именно про это — очень хороший рассказ! — что же касается его мотивов, то давайте вспомним Пушкина, его «Пир во время чумы»: вы помните, как там по городу едет телега, полная трупов, ею правит негр, а чуть поодаль, прямо на улице, за столом пирует честная компания, вздымает чаши, приласкивает женщин, распевает песни во всю глотку…

Так я им всё это обсказал.

Затем мы простились до следующего вторника. И разъехались по домам. И включили свои ящики в тот самый момент, когда «Боинги» начали крушить небоскребы.

Негр возвращался из туалета, вероятно ходил покурить. Любопытно, он из Америки? Или прямо из Африки? Какой красавец, а уж костюм, очки…

Мы опять уткнулись в раскрытые томики Уилсона и Пушкина.

Когда Павлику исполнилось три года, его отец, мой сын Андрей поделился своими заботами:

— Понимаешь, батя, ребенок растет, ему обязательно нужен идол, нужна личность и ее культ. Для вас это был Сталин. Нам выдали Ленина. Мы про них знали не меньше вашего, но делали вид, что приемлем, потому что тоже понимали — идол нужен… А что же теперь? Чье имя я назову сыну? Вся эта нынешняя срань — язык не повернется… И я решил: пусть это будет Пушкин. Как ты считаешь?

Я счел это правильным.

Через год соответствующего воспитания мальчик взял брусок пластилина и вылепил Пушкина: всё точно, бакенбарды, кудри…

Пушкин у него лежал на смертном одре. Его убили, пояснил ваятель.

Мы были смущены.

Но потом пришло на ум: ведь и самое распространенное изображение Христа — распятие.

— Дед, — сказал Павлик, задумчиво листая страницы «Города чумы», — Значит, ты считаешь, что это про дядю? Я имею в виду Василия Львовича.

— Да, конечно, — подтвердил я. — Вероятно, в тот раз Пушкин прочел эту книгу именно так. Будто она про дядю. И про Натали — ведь она была в Москве, в холере. И про себя самого — ведь он всё предчувствовал. Вспомни: «… я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадою и большой неохотой». Помнишь? Но не только… Он написал это про всех: и про моего отца, и про твоего, упокой, Господи, их страждущие души… Про всех про нас, несчастных.

Однако пора было вернуться к раритету.

— Что там дальше?

— Хор.

— Какой хор? У Пушкина нету никакого хора.

— А тут есть. Но я не врубаюсь: то ли это староанглийский, то ли вообще какая-то бодяга… Послушай:

Chorus.

Then, learning on this snow-whits breast
I sing the preises of the Pest!
If me thou would-st this night destroy,
Come, smite me in the arms of Joy.

Естественно, я тоже не врубаюсь. Но я улавливаю ритм — я знаю его наизусть, этот гимн, который у Пушкина поет Вальсингам, Председатель, президент попойки — гимн в честь чумы:

Итак, — хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может… полное Чумы.

Я цепенею от ужаса и восторга.

Тысячи страниц посвящены этим бессмертным стихам.

Но, кажется, никто не сказал о них лучше, чем Андрей Донатович Синявский в своих «Прогулках с Пушкиным» (да-да, я знаю, что их автором является Абрам Терц, «Абрашка Терц, карманник всем известный», было бы странно забыть об этом в главе, посвященной Одессе):

> «Пир во время чумы! — так вот пушкинская формулировка жизни, приготовленной в лучшем виде и увенчанной ее предсмертным цветением — поэзией. Ни одно произведение Пушкина не источает столько искусства, как эта крохотная мистерия, посвященная другому предмету, но, кажется, сотканная из флюида чистой художественности. Именно здесь, восседая на

самом краю зачумленной ямы, поэт преисполнен высших потенций в полете фантазии, бросающейся от безумия к озарению. Ибо образ жизни в „Пире“ экстатичен, вакханалия — вдохновенна. В преддверии уничтожения все силы инстинкта существования произвели этот подъем, ознаменованный творческой акцией, близкой молитвенному излитию».

Дневник свой я веду нерадиво, от случая к случаю. Записи конспективны, куцы, лишены деталей и эмоциональной окраски. Но порой именно в этих записях отыщется то, что кстати. Датировано 1990-м годом.

«5-го июня состоялась встреча с приехавшими в Москву Андреем Донатовичем Синявским и его женой, редактором „Синтаксиса“ Марией Васильевной Розановой. Были Юнна Мориц. Галина Белая, Иосиф Герасимов, Валентин Оскоцкий и др. За обедом Синявский и Розанова отчаянно ругали Солженицына, ругали „Апрель“ за проведение „Солженицынских чтений“. Договорились об издании четырех альманахов „Синтаксис“, а также „Прогулок с Пушкиным“ и „В тени Гоголя“».

Этим планам не суждено было осуществиться. В памяти тоже не осталось ни деталей, ни фраз того темпераментного разговора на веранде Центрального дома литераторов.

Но я помню глаза Синявского: влажные, светлоголубые (один глаз скошен, как у Натали), устремленные бог весть в какие выси, в какие дали… Что видел там его просветленный взгляд?

Взгляд Марии Васильевны был жестче и скептичней.

С ветерком

Наша говорильня приближалась к концу.

В субботу Ласси Нумми пригласил меня на тет-а-тет. Разговор шел через переводчика и, может быть, в натуре его речь была несколько иной, но я воспроизвожу ее так, как она звучала в переводе.

— Мы знаем, — сказал Ласси Нумми, — что завтра в Одессе состоится воскресник. Жители выйдут на улицы с лопатами и мётлами, чтобы убрать все следы холерной эпидемии и карантина. Мы, финские писатели, хотим присоединиться к ним, поработать вместе с одесситами, чтобы вернуть былой блеск прекрасному городу. Пусть нам выделят участок уборки и выдадут мётлы!

Было трудно не оценить этот благородный порыв и то уважение, с которым зарубежные гости отнеслись к советским обычаям: субботник, воскресник…

Но у меня в руках был расписанный по дням и по часам распорядок работы симпозиума, который надлежало выполнять неукоснительно.

— Завтра мы едем в Овидиопольский район, в колхоз имени Дзержинского, — напомнил я коллеге. — Это есть в вашем расписании?

— Да, конечно. Но нам бы хотелось… — продолжал занудствовать Ласси Нумми.

В моей голове мелькнуло предположение, что финны просто устали от щедрого радушия хозяев: ведь мы уже пировали и в ресторане гостиницы, и на борту теплохода «Тарас Шевченко», где в нашу честь дало ужин начальство Черноморского пароходства, и было нетрудно догадаться, что в украинском колхозе нас тоже попотчуют знатно.

— Дорогой Ласси, — сказал я, доверительно взявшись за пуговицу его пиджака, — вы, наши ближайшие соседи и друзья, хорошо осведомлены о том, что в Советском Союзе иногда ощущается дефицит самых необходимых вещей: то за холодильниками очередь, то за телевизорами, то просто за туалетной бумагой… На сей раз в дефиците мётлы. Всё разобрано.

Нам не досталось. Ну, нет метёлок!.. Придется ехать в колхоз.

Ласси Нумми рассмеялся и махнул рукой.

Наутро мы мчались автобусом к Овидиополю.

Из окошка видна была всхолмленная равнина, покрытая зарыжелой осенней травой. Тянулись к окоёму поля, с которых

давно уже был снят урожай, и теперь оставалось лишь угадывать, что вот тут, где кустится колючая стерня, колыхалась на ветру пшеничная нива; а здесь, где раскоряченными пугалами торчат обломанные стебли, была кукурузная плантация; а еще дальше — баштан, впрочем, он и сейчас не пуст, лежат в пыльной пороше тыквы, розовые и желтые, такие огромные, что их, может быть, не смогли не то, что увезти, но даже поднять, и они остались здесь, на бахче, памятниками могучему плодородию земли.

То и дело попадались навстречу буковые рощи, похожие на коровьи стада, уже объевшие всю траву окрест, да больше и не нужно — сыта скотина, сбилась плотно, рога в рога, помыкивает, дожидаясь дойки.

Пирамидальные тополя, рядами стоявшие вдоль дороги, на скорости смотрелись многоствольной флейтой Пана, *мускалом*, на котором в Бессарабии играют протяжные дойны.

Наш автобус несся, не вздрагивая, по бетонке.

Туда. В Овидиополь. В колхоз.

Но память возвращала меня в прошлое, которого я не должен был помнить, но я его, безусловно, помнил и знал даже в деталях.

Тогда еще не было этого широкого асфальтового шоссе, а был проселок, истерзанный, в колдобинах и лужах, в глубоких взрезах колеи…

Не было никакого автобуса, а была обыкновенная телега, на которой я сидел в пуке соломы, подобрав ноги, и мама придерживала мое плечо, чтобы я не свалился в грязь, когда колесо сверзится в яму…

Мама в бедняцкой сермяге бессарабской крестьянки, мужичка…

И я — мужицкое дитя…

Где это было? Когда?

Ничего, разберемся.

А пока — едем дальше. Всё спокойно.

Нам показали всё, что в таких случаях показывают гостям, тем более, когда половина из них — иностранцы, господа хорошие из капстраны Финляндии, да еще писатели. Вот походят, посмотрят, понюхают, поспрашивают, а потом еще и понапишут, а ты за это отвечай…

Честно говоря, я уж и не помню, что именно нам показывали в колхозе имени Дзержинского, потому что за весь свой долгий журналистский и писательский век столько насмотрелся этих процветающих хозяйств, что вся жизнь как бы выстроилась в одну непрерывную поточную линию мычащих коровников, кудахтающих птицеферм — что там еще? ах, да, топочущих

копытами и помахивающих хвостами конюшен, — а ты идешь в наброшенном на плечи белом халате, будто доктор Айболит, будто академик Лысенко, и вежливо слушаешь пояснения хозяев, и киваешь, и для порядка выспрашиваешь цифры и факты, а сам косишься украдкой на коллегу-иностранца, как ему всё это — интересно ли, не вонько ли, не измазал ли в навозной жиже свои заграничные штиблеты, вроде бы нет, сухой, — и топаешь дальше, поглядывая на стрелки часов, потому что всё расписано досконально: двадцать минут — коровы, пятнадцать — свиньи, а ровно в полдень — фу ты, ну ты, лапти гнуты, — пресс-конференция в правлении колхоза.

И, всё же, одна подробность этой прогулки по угодьям и службам колхоза имени Дзержинского застряла в памяти.

Мы зашли в колхозный детский сад: в комнате игр с пестро размалеванными стенами, что твой Диснейленд, кружком сидела детвора и, хлопая ладошками, пела всем известную песенку композитора Шаинского про то, как с голубого ручейка начинается река, ну, а дружба начинается с улыбки, — впрочем, тогда, в семидесятом, эта песня еще не была написана.

В коридоре, у входа с крыльца, где обычно толкутся умиленные родители, дожидаясь своих Вовочек и Танечек, на стене висел лист ватмана с надписью «Что мы сегодня кушали», а ниже приклеены бумажные карманчики: «Завтрак», «Обед», «Полдник», — и в эти карманчики были засунуты листки с названиями сегодняшних яств, чтобы папы и мамы не подумали, что их чад тут морят голодом…

Именно эти карманчики почему-то завладели вниманием финских писательниц — добрейшей и мудрой Эйлы Пеннанен и молодой красавицы Марьи-Леены Микколы, сошедшей к людям с этикетки плавленого сырка «Виола».

Может быть, у них в Финляндии, в детских садах до сих пор не додумались — во, тюхи! — до бумажных карманчиков с листками и надписями «пшенная каша», «борщ украинский», «компот из свежих яблок»…

Чуть позже природа этого интереса прояснилась сама собой, и я не забуду об этом поведать, поскольку это важно.

В урочный час в зале правления колхоза началась пресс-конференция.

Само собой разумеется, что вопросы задавали не мы, советские писатели и радяньские письменники — нам и так всё было ясно, — а зарубежные гости, финны.

— Скажите, пожалуйста, — спросил Ласси Нумми, — какой вы по счету председатель в этом колхозе?

Всеволод Викторович Кудрявцев, плотный мужчина в

пиджаке с рядами боевых орденских ленточек на груди (через несколько лет к ним добавится золотая звезда Героя Социалистического Труда), сморщив лоб, стал что-то перебирать в уме, потом сказал:

— Ей богу, не знаю, сколько их до меня было. А я, как с фронта пришел в сорок пятом, так и сижу тут в председателях. Вот, считайте, уже двадцать пятый год…

Ропоток недоумения пробежал меж гостей, когда им перевели этот ответ. Потому что, вполне очевидно, они ждали совсем другого: мол, я здесь тринадцатый председатель, после того, как сняли дюжину; или даже двадцать третий после того, как посадили в тюрьму двадцать второго; или вообще со счета сбились, ведь что ни год — то новый председатель…

Ладно, какие еще есть вопросы?

— Сколько людей сбежало из вашего колхоза за минувший год?

И опять председатель колхоза имени Дзержинского тугодумно наморщил лоб, когда ему перевели этот каверзный вопрос, переспросил еще раз, чтоб не ошибиться, но, в конце концов, понял, о чем его спрашивают.

— А-а… Ну, что ж, бывает, конечно, что из нашего колхоза уезжают люди — в другие края, в другие хозяйства, кто по семейным обстоятельствам, а кто просто ищет молочные Реки в кисельных берегах. Ведь жизнь не стоит на месте! Но случается это редко, и цифра эта не характерна. Есть другая цифра: у нас в очереди на вступление в колхоз — двести семей…

— Сколько? — переспросил Ласси Нумми, полагая, что ослышался.

— Двести семей, — подтвердил председатель. — Но мы не можем принять всех желающих. Берем только специалистов, притом тех специальностей, в которых нуждается колхоз.

Надо воздать должное Всеволоду Викторовичу Кудрявцеву: он оставался совершенно спокоен, сочувственно выслушивал нелепые вопросы, невозмутимо отвечал на них.

И даже в глазах его нельзя было прочесть встречного вопроса: послушайте, ребята, вы часом не мухоморов объелись? Говорят, что их ели иногда в полуночных странах — те же викинги, — для подъема души…

Впрочем, он, кажется, не впервые отвечал на подобные вопросы и отлично знал, откуда они берутся.

И мы, советские писатели и радяньские письменники, тоже прекрасно знали, откуда ноги растут.

И потому уводили глаза от финских коллег, придавали своим лицам отсутствующее выражение.

А я тем более всё это знал и понимал.

Он стоял перед людьми: уже немолодой, одолевший огонь и воду, все смертные муки, прошедший фронт, искалеченный, с пустым рукавом, — стоял и плакал, отирая слезы кулаком уцелевшей руки, стоял и смотрел, как голосуют за него эти бедные люди, разуверившиеся во всем, но поверившие ему…

В кинофильме «Председатель» эту роль играл Михаил Ульянов, героя звали Егор Трубников, а прототипом образа был реальный человек — председатель белорусского колхоза «Рассвет» Кирилл Орловский.

О нем можно было снять не один, а дюжину фильмов: подпольщик и партизан Гражданской войны; чекист, строитель канала Москва-Волга; участник войны в Испании, подрывник, со слов которого Хемингуэй описал подвиги Роберта Джордана в романе «По ком звонит колокол»; командир партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны; потом — председатель колхоза…

Он вытащил почти из небытия не то, чтоб отстающий, но разорившийся вконец, разбежавшийся колхоз, в котором уже сменился десяток незадачливых председателей. Ценою неимоверных усилий и воли, опершись на поддержку поверивших в него людей, бесстрашно воюя с чиновниками, он сумел-таки поднять хозяйство…

На этих строках всякий нормальный читатель обычно захлопывает книгу.

На подобных кадрах в кинотеатре, как правило, начинается стук откидных сидений — зрители бегут к выходу.

Но когда на экране шел «Председатель», когда герой хватал своей единственной рукой пастуший бич и, хлеща им о землю, поднимал на ноги обессилевших коров и гнал их вон из хлева, на проклюнувшуюся по весне молодую траву; когда он, не зная, как заставить людей выйти на работу в поле, ощеривал рот — и тучи воронья испуганно срывались с деревьев, заглушая карканьем непечатный текст монолога…

Пусть верит или не верит сегодняшний пресыщенный читатель и зритель, но даже в рабочих просмотровых залах «Мосфильма», где никого ничем не удивишь и не проймешь, люди не отрывали взглядов от экрана, не смели проронить словцо, едва сдерживали учащенные дыхание и, всё-таки, вдруг срывались в слёзы.

Это был прорыв в другой уровень правды, в другой уровень искусства. Больше того — в другой уровень жизни, который, впрочем, так и не наступил.

Фильм «Председатель», искореженный, искромсанный цензурными поправками, всё же пробился на экраны кинотеатров. Его смотрели миллионы зрителей. Михаил Ульянов даже получил за эту роль Ленинскую премию.

Но ленту не разрешили продавать заграницу. И там ее смотрели полулегально, из-под полы, как нечто крамольное и неприличное…

Вопросы, заданные финскими коллегами на пресс-конференции в правлении колхоза имени Дзержинского, позволяли Догадываться, что наши друзья видели и «Председателя», и Другие фильмы на ту же тему, что они читали книги русских Писателей-деревенщиков — Федора Абрамова, Владимира Тендрякова, — и потряслись ими не меньше нашего.

Значит ли, что эти книги и эти фильмы были неправдой? Что правда была иной, противоположной — как в не менее знаменитом кинофильме «Кубанские казаки», где урожай выше крыши, нагружай, выгружай и всё прочее в рифму, где колхозники гарцуют на кровных рысаках, где играют и поют и любят друг друга под хорошую музыку?..

Ответ неоднозначен.

Еще молодым журналистом я навидался северных колхозов, опустелых, заросших бурьяном, где на крылечках трухлявых изб сидели старухи, которых тут оставили умирать и которые, завидев в руках репортера блокнот и карандаш, твердили глухо, не поднимая глаз: «Раньше плоко жили, теперь корошо живем…»

Они, эти комяцкие старухи, не знали звуков «х» и «ф» и были связаны древним родством крови с финнами.

Но я бывал и в таких колхозах, тоже северных земель, где сытенький председатель, барабаня пальцами по письменному столу и хитро щурясь, предлагал: «Хотите — скажу, у кого из наших колхозников по сколько денег в сберкассе? Не поверите!»

И никто из нас, писателей и журналистов, не решился напомнить ему о тайне вкладов. Нет, мы лишь вздыхали обнадеженно: дай-то бог…

И сейчас, увидев своими глазами вереницы новых кирпичных домов на улицах колхозного села, мы только порадовались тому, что здесь живут в достатке.

Потому и задан был еще один вопрос, уже не финнами, а кем-то из наших:

— Всеволод Викторович, а если начистоту… В ваш колхоз гостей возят потому, что он, извините, *показушный*? Есть что показать? Как и у соседа вашего, Макара Посмитного, в колхозе имени Буденного?..

Председатель кивнул — мол, и это понимаем, — ответил

прямо:

— Если хотите начистоту, то пожалуйста. У Макара Анисимовича — что ни день, то делегация. Работать не дают. Да и бюджет колхозный трещит… А нас еще не так сильно объели.

Слова эти можно было считать знаком того, что пресс-конференция окончена и дорогих гостей приглашают отобедать.

Столы накрыли здесь же, в зале заседаний, потребовалась лишь небольшая перемена декораций: на свежие полотняные скатерти выставили угощенье.

Я учитываю редакторский и читательский сарказм по части подробных описаний всякой снеди на пиршественных столах — уф, прямо слюнки текут!.. — увлеченного смакования напитков — ну, вздрогнули и понеслись!.. — но, право же, в данном случае эта словесная дегустация не является дешевым приемом расхожего чтива.

Я преследую здесь иную цель, и вовсе не случайно в недавнем эпизоде в детском саду зафиксировал внимание на стенде «Что мы сегодня кушали», на карманчиках с листками «пшенная каша», «борщ украинский», «компот из свежих яблок», — и на том, как заинтересовались этими листками финские писательницы Эйла Пеннанен и Марья-Леена Миккола.

Нет, это вовсе не дань беллетристике, а попытка сказать нечто важное.

Итак, на стол были выставлены огородная зелень, всевозможные соленья — ведь была самая пора засолки, — еще какие-то закуски и заедки. Но коронным блюдом, которое было подано тотчас, в самом начале трапезы, оказалась жареная курица.

Я уж было написал, что «каждому дали по жареной курице», но вспомнил, что всё было отдельно: куриные ножки, грудки, спинки, крылышки, и всё это было восхитительно зажарено, было мягко, пахуче, хрустящее, как только и умеют в украинских едальнях, где дичь, минуя холодильник, идет прямо с насеста на сковороду. Больше того, были поданы плавающие в жиру потроха — печоночки, сердечки, пупочки, — они были разложены в отдельные мисочки по всем правилам самурайского обряда харакири.

Но если я ошибся, сказав поначалу, что каждому дали по целой курице, то другой ошибки я не допущу и буду безукоризненно точен.

Перед каждым гостем поставили по бутылке водки, горилки самого лучшего сорта, с этикеткой и печатью, кристально чистой, как младенческая невинная слеза.

И опять уточнение: перед каждым по бутылке выставили на стол, но потом, когда трапеза была окончена, и гостей — с поцелуями и объятиями, — выпроваживали за порог, то каждому, украдкой, еще и сунули в карман по бутылке, чтоб не скучно было катиться в автобусе до самой Одессы.

И если насчет курятины было изначально ясно, что ее доставили к пиршеству прямо с колхозной птицефермы, то насчет горилки — а она была отменно вкусна! — тоже могли возникнуть предположения, что она не привозная, не из Одессы, не из Киева, а откуда-нибудь поближе, своего укромного заводика, но это, повторяю, всего лишь предположение.

Уже по возвращении в Москву — так совпало, что сразу по приезде с симпозиума, — я листал популярный в ту пору сатирический журнал «Крокодил» и набрел на рубрику «Нарочно не придумаешь», где приводились всяческие нелепости из окружающего нас быта — безграмотные вывески, двусмысленные объявления, забавные опечатки, — и там, среди прочего, красовался товарный ярлык: «Волосодержатель для волос». Мое внимание привлек не сам тавтологический держатель, а знакомый адрес его производителя: «Колхоз им. Дзержинского, Овидиопольский р-н Одесской области».

Я вырезал ножницами и спрятал в письменный стол этот ярлык на добрую память о своих земляках.

Я и по сей день не знаю, что такое волосодержатель для волос, к какому месту его надобно цеплять.

Но я смею утверждать, что именно там — в колхозе Вячеслава Кудрявцева, и в колхозе Макара Посмитного, и в колхозе Кирилла Орловского, — мы имели шанс выжить, и жить по-человечески, и не стыдиться смотреть в глаза друг другу.

Впрочем, вернемся к застолью.

Жареная курица была столь обалденно вкусна, и хлеб домашней выпечки был так душист, а горилка со слезой шла так легко, будто сама по себе, что мы — все, кто был за этим благословенным столом, — очень быстро набили животы по самую завязку и столь же быстро запьянели.

Все по очереди и без очереди вставали и произносили тосты — за добрых хозяев, за дорогих гостей, за страну Суоми, за страну Советов, за Одессу-маму, за прекрасных дам, за подрастающее поколение, за тех ребятишек из детсада, которых мы только что видели, за всё хорошее, и за то, чтоб дома нэ журылысь.

К сожалению, я не запомнил всех этих душевных слов и всех этих прекрасных мгновений.

Лишь два эпизода запечатлелись в моей памяти.

Поднялся с рюмкой в руке Мартти Сантавуори, старейшина

финской литературы, и сказал:

— Я трижды воевал против Советского Союза. Я участвовал в трех войнах — в восемнадцатом, в тридцать девятом и в сорок первом. Я знаю, что еще одной войны Финляндия не выдержит… Пусть будет мир!

Его словам сочувственно похлопали и охотно выпили за мир, потому что в ту пору нам казалось, что единственным несчастьем для всех нас может быть только война.

Речь Мартти Сантавуори запала в память еще и потому, что ее оттеняла забавная деталь.

Над тем местом, где сидел за столом старый писатель, возвышалась фанерная тумба, драпированная кумачом, на которой стоял бюст Феликса Эдмундовича Дзержинского, что было вполне естественным и даже обязательным для колхоза, носящего его имя.

Не знаю, из чего был отлит этот бюст — может быть, из бронзы либо из чугуна, а, может быть, из гипса, выкрашенного под металл, — но этот железный Феликс стоял на своей подставке не слишком устойчиво и покачивался при малейшем толчке.

Так вот, когда Мартти Сантавуори поднялся с рюмкой, чтобы произнести речь, он нечаянно задел плечом постамент, и железный Феликс едва не свалился, едва не клюнул его в темечко, — хорошо, что председатель колхоза, знавший, вероятно, эту слабину в интерьере, успел перехватить бюст на лету.

И еще пару раз за время своей краткой речи Сантавуори, который сильно волновался, задевал тумбу то плечом, то локтем, и Дзержинский, покачнувшись, вдруг пикировал на него, как коршун, — всем было очень смешно, едва сдерживались, чтоб не обидеть старика, я имею в виду Мартти Сантавуори.

Лишь одного из гостей не разбирал смех, и на лице его не было того благостного выражения, которое возникало обычно У всех советских людей, когда они улавливали пацифистскую тематику, — это был уже знакомый нам Гриша Поженян, одессит и москвич, военный моряк и военный поэт, имя которого еще при жизни было высечено золотом на мраморе на улице Пастера, — он, покуда молча, но пристально и угрюмо смотрел на старейшину финских писателей…

И еще один тост крепко засел в моей памяти.

Точней, это даже не было тостом, а так, всего лишь фразой, сказанной отнюдь не для того, чтобы привлечь внимание присутствующих, — просто вырвалось из души под настроение.

Эту фразу произнесла Марья-Леена Миккола, красавица с

этикетки плавленого сырка «Виола», светлокудрая финская Пассионария.

Она пила и ела вместе со всеми, слушала вполуха спичи и речи. Потом отлучилась на несколько минут, вероятно, чтобы остыть, вдохнуть глоток свежего воздуха. А потом, вернувшись, даже не садясь, произнесла — внятно и жестко — одну единственную фразу, при этом брови ее были сурово сдвинуты.

Все посмотрели на переводчика, но он почему-то замялся и сделал вид, что грызет жареное крылышко.

— Переведите, пожалуйста, — попросил я.

— Ради этой жратвы не стоило делать революцию!

— Что?

— Она сказала: «Ради этой жратвы не стоило делать революцию!»

— И всё?

— И всё.

— *Kiitos*, — поблагодарил я по-фински коллегу и отсалютовал ей полной рюмкой.

Обижаться, конечно, не имело смысла.

Никакого замешательства эта речь не вызвала. Просто потому, что все писатели — и финские, и русские — уже имели представление о левацких заскоках Микколы и отнеслись к ним как к браваде, как к капризу взбалмошной красавицы. Ну, может, чуток перебрала — так ведь и все хороши. Ничего, отойдет, отмякнет…

Вряд ли она мечтала о том, чтобы в нашей стране или, допустим, в ее благополучной и тихой стране разыгралось действо так называемой «культурной революции» по китайскому, по маоистскому образцу. Весь мир уже был наслышан о бесчинствах хунвэйбинов, о тотальных погромах «красных охранников», ошалевших от безнаказанности, науськиваемых властью.

Орды этих молодцов громили университеты, музеи, библиотеки, театры. Всемирно известную писательницу сослали в деревню «на перевоспитание». Талантливому пианисту раздробили суставы пальцев…

Могло ли это поветрие выплеснуться за Великую китайскую стену?

Такая опасность была.

Парижане долго не могли прийти в себя после студенческих неистовств в Латинском квартале — развороченных мостовых, разбитых витрин, поджогов, баррикад, пальбы.

У террористов из «Красных бригад» были свои идеологи — почтенные профессора Сорбонны, Геттингена, Гарварда.

Мой московский знакомый — впрочем, я назову его — Алексей Петрович Нагорный, сценарист, один из авторов телевизионных сериалов «Рожденные революцией» и «Государственная граница», весьма колоритная личность, человек несметно богатый по советским меркам, — вдруг начал лихорадочно распродавать домашний скарб, мебель, антиквариат, иконы, картины. «Что ты, что ты! — говорил он мне, — скоро и у нас начнется..» Впрочем, я допускаю, что он боялся не столько доморощенных хунвэйбинов, сколько сыщиков уголовного розыска, которые вышли на след его валютных афер.

Вряд ли угроза «культурной революции» была реальной для Советского Союза.

Ведь всё то, что творилось в Китае, не было стихией: эксцессы совершались по мановению руки Великого Кормчего, по его команде «Огонь по штабам!»

А в нашей стране шел обратный процесс: вальяжное советское руководство, министерские чиновники, директора нефтяных концернов и хлопковых оазисов уже откровенно тяготились большевистским аскетизмом, традициями нестяжательства, накапливали капитал…

Значит, белокурая гостья из страны Суоми имела основания бросить колкую фразу: «Ради этой жратвы не стоило делать революцию!..»

Аккурат в момент этих раздумий, ко мне вдруг подгребся на полусогнутых литературовед в штатском из Иностранной комиссии и шепотком сообщил, что вон там, в коридоре, у сортира, наш лихой краснофлотец Гриша Поженян только что подрался со старым белофинном Мартти Сантавуори…

За окнами вечерело.

Я скомандовал: «По коням!»

Облобызавшись с председателем колхоза и официантками, мы загрузились в автобус и понеслись к Одессе.

Минут через пять весь автобус спал: сказались перегрузки.

А я, задремывая в мягком кресле, всё не мог уйти от навязчивой, от тревожной темы, только что задетой невзначай.

Под смеженными от усталости и хмеля веками мельтешили, словно дерганные кадры старого кино, видения детства.

Как меня, еще кроху, привезли в Киев, и первое, что я там увидел на главной улице, на Крещатике, были тела людей, валявшиеся под стенами зданий. «Они спят?» — спросил я. — «Нет», — ответила мать. — «Они пьяные?» — «Нет, они умерли». — «От чего?» — «От голода…»

Это было в тридцать первом.

Все свои детские годы — уже в Харькове — я простоял в очередях за хлебом. Его давали по карточкам. А когда карточки отменили, то по спискам. А когда отменили списки, то бородатый дворник дядя Коля Бардаков привозил хлеб на тележке для всего дома и раздавал жильцам по буханке на семью.

Я учился жизни (помимо того, что учился в школе) именно в этих очередях. Мне писали номера мелом на спине, чернильным карандашом на ладошке, только что не на лбу. Все новости большой политики и все премудрости быта я постигал в очередях за хлебом.

Даже обморочное прикосновение женского тела я впервые познал в очереди, когда десятерых запускали в дверь, и я был притиснут к чьим-то пышным чреслам.

И первые годы войны я провел в бесконечных, как вечность, очередях за хлебом. Однажды зимой, в Бекетовке, под Сталинградом, из нависших туч вдруг вывалился двухмоторный «мессершмитт» с крестами на крыльях, — все бросились врассыпную, но через несколько минут снова выстроились в хвост, и никто не забыл, кто за кем.

Даже в артиллерийской спецшколе, куда я поступил пятнадцати лет, главным ощущением памяти осталось сосущее чувство постоянного недоедания, голода…

А потом наступили уже мирные времена: опять карточки, опять очереди, опять пустые магазины, где на прилавках нет ничего, кроме весов и гирь, да еще на стенке у двери — плакат: «Моральный кодекс строителя коммунизма». Тем и сыты.

Мы озверели от неизбывной голодухи. От этих пустых полок.

Иногда попадая за кордон, мы, как шальные, рыскали по магазинам — в той же Финляндии, в Хельсинки, в универмаге «Стокман», — и, к удивлению аборигенов, жадно скупали всякую заваль, дрянь, шмотье, дребедень.

Мы, будто в храм, молитвенно замирая сердцем, входили в лавки пресловутой «Березки», где любые товары — от русского птичьего молока до японского лысого черта — продавали за валютные чеки. Их обладателями были немногие, избранные, элита. А еще их можно было купить у проворных фарцовщиков прямо под окнами «Березок», а потом эти фарцовщики скупили всю страну и стали ее хозяевами…

Именно тогда появился анекдот про чукчу, который в магазине «Березка» перелез через прилавок и попросил политического убежища. Заметим: *политического*.

Я, всё-таки, обиделся на светлокудрую Марью-Леену Микколу за то, что она так небрежно отнеслась к хлебосольному

обычаю людей из колхоза имени Дзержинского. За то, что брякнула свысока: «Ради этой жратвы не стоило делать революцию!»

Я очень на нее обиделся.

Кроме того, я никак не мог заснуть, подобно всем остальным. Едва погрузившись в дрёму, я тотчас всем телом вздрагивал, будто шибанутый током. Мне казалось — всякий раз, когда я продирал глаза и выглядывал в окошко автобуса, — мне почему-то казалось, что мы едем *не туда*, куда надо, *не в ту сторону*… Может быть, это казалось мне во сне, но было ощущение, что наяву.

И это тревожило меня.

А все остальные дрыхли.

И тогда я, слезши с сиденья, подошел к водителю автобуса и сказал:

— Остановитесь, пожалуйста. Я здесь сойду.

Он, наверное, удивился, но спорить не стал: подогнал машину к обочине, затормозил, открыл дверь. Наверное, он подумал, что мне нужно отлить. А может быть, я и сам так подумал.

Но, уже на ступеньке, я обернулся и сказал:

— Пошли вы все на хуй!

Потом, смекнув, что финны этого могут не понять, ведь они не знают русского языка и, вообще, тугодумны от природы, — я вспомнил, что язык коми относится к финно-угорской группе и, хотя я не владел коми языком, но *это* знал, и повторил, адресуясь к ним:

— … на куй!

Впрочем, они спали.

А я, спрыгнув с подножки, переполз кювет и зашагал темной степью.

Мои башмаки запутывались в змеистой сухой ботве баштана, как в гадючнике, но я выпутывался и шел дальше. Пару раз натыкался на огромные тыквы, неразличимые в темноте, поскольку они были в камуфляже, — и чуть не падал на них. Шарахался, как от чертей, от сухих стеблей кукурузы, раскоряченных, машущих руками… Но, превозмогая страх и напасти, я шел по степи, куда мне было надо.

Я хотел вернуться туда, в Овидиополь, в колхоз. Туда, где в детском саду висели карманчики с пшенной кашей и компотом из свежих яблок; где к крыльцу правления, как к бензоколонке, тянулась очередь — человек двести, все на собственных «Волгах», — желающие вступить в колхоз; где смазливые добрые официантки с русыми косами вкруг головы, с волосодержателями

для волос, на вышитых рушниках подавали тарелки с жареными курями… Я хотел вернуться туда и никогда боле не покидать этот рай.

И еще я хотел, вновь добравшись до Овидиополя, махнуть через Днестр — в Аккерман, в Сороки, в Марамоновку, в край, где родился мой отец, а я там не бывал.

Я оглянулся украдкой, не сбавляя шага.

Автобус, круглый, как тыква, стоял у обочины, дожидаясь меня.

Стоп, приехали. Все на выход, с вещами.

Из конца в конец Нового Арбата, бок о бок, лицом к пешеходной полосе, стояли ларьки с заморским товаром. Было тут всё: и обувь, и тряпки, и парфюм, и зонты, и солнечные очки в броской упаковке, с яркими лейблами.

Но особенно бросался в глаза диковинный, невозможный для прежних времен товар.

За стеклами ларьков торчали, как ракеты на космическом старте, резиновые фаллосы и вибраторы самых различных калибров и рангов, расцветок и оттенков, рельефов и конфигураций, на любой вкус.

Издали их можно было принять за новогодние свечи, выставленные загодя на продажу. Некоторые домовитые хозяйки устремлялись к витринам, предвидя благостный уют сочельника, но на последнем шаге спотыкались, сплевывали, бросались прочь, багровея щеками…

Ни в Европе, ни в Азии, ни в Америке, ни даже в Африке я не видывал, чтобы таким инвентарем торговали прямо на улице, в самом центре города, на правительственной трассе. Там обычно этот интимный товар продавали в укромных закоулках, в секс-шопах, на худой конец в прикольных лавках, смеха ради.

Но в Москве с чрезмерным усердием и слишком буквально восприняли новую историческую задачу: стать витриной свободного мира.

В былые времена, притом в самые крутые, еще при Сталине, переходила из уст в уста лихая народная частушка:

Сверху молот, снизу серп —
Это наш советский герб.
Хочешь — жни, а хочешь — куй,
Всё равно получишь…

Вот мы его и получили. Да еще не в натуре, а муляж. Он

сделался конфузным символом державы, потерявшей силу и достоинство.

О стекла новоарбатских ларьков плющили носы мальчишки с ранцами на спине, возвращаясь из окрестных школ. Еще бы, здесь ведь выставлены — будто учебные пособия — не только пестики, но и тычинки: надувные резиновые красавицы, в полный рост, со всеми удобствами. Белые, желтые, шоколадные, совсем как живые, безукоризненные в деталях — даже реснички на веках, даже ноготки на пальцах.

Для малоимущих продавались фрагменты.

Но мальчишек интересуют не только продувные бабы.

За стеклами, а подчас и снаружи выставлены пистолеты и револьверы в щегольских кобурах, надеваемых под мышку, или на бедро, или на щиколотку. Причем это не игрушки, а настоящие кольты, вальтеры, беретты, пулевые или газовые, к ним боезапас — патроны, баллончики. Еще паспорта, разрешения, справки с надежными штемпелями. Только гони зеленые, а можно и рубли. Еще тут имеются помповые ружья, ножи, кастеты, кистени, нунчаки… о, тут есть на что посмотреть, глаза разбегаются!

Напротив ларьков, вдоль стен высоток, расположились книжные развалы, и тут такой же точно ассортимент: на пестрых переплетах и обложках — окровавленные ножи, кольты с глушителями, кастеты, нунчаки, черные маски с разрезами для глаз; перепончатокрылые упыри, косматые гориллы, мохноногие пауки, акульи пасти; блондинки с приоскаленными улыбками, обнаженные пудовые груди, свирепые задницы…

Как не позавидовать чужой писательской, чужой издательской удаче!

Чуть позже все эти ларьки уберут, но не потому, что срам, а потому что понадобятся площадки для платных автомобильных стоянок, для парковки у ночных клубов и игорных домов — «Мираж», «Корона», «Метелица», «Черри», «Арбат», — их тут на полверсте больше, чем в Монте Карло и Лас Вегасе вместе взятых. А тут, понимаешь, подъезжает бандюк на «лэндровере», с ним эскорт блядей, решили сыграть в рулетку, а машину-то и негде поставить… Ларьки уберут, сделают как удобней бандюкам.

А покуда возле универмага «Весна», у входов и выходов, шеренгами, как солдаты, пропускающие штрафника сквозь строй, стоят женщины, держа на весу трикотажные кофточки, ночные сорочки в кружевах, бюстгальтеры, вязаные шапочки, пакеты с колготками, наборы носовых платков.

Меня поразит старуха в очках, которую по виду можно принять и за учительницу на пенсии, и за служащую упраздненной конторы, и за вдову номенклатурного

чиновника, — она держит в растопыренных пальцах целый магазин: какие-то пудреницы, пуговицы, пряжки, прибамбасы, — и негромко повторяет одну и ту же фразу: «Да купите же у меня хоть что-нибудь! Иначе я умру…» Но ее никто не слышит, шумно тут, на Новом Арбате.

К шеренге пристроилась девочка лет десяти с плетеным лукошком. Откинула с донышка клетчатое одеяльце, из-под него тотчас высунулась плутоватая мордашка с бусинками глаз. Хомячок поднялся, подобрал к груди лапки, стал с любопытством оглядываться.

Тут я, конечно, не смог остаться безразличным и решил, приличия ради, хотя бы прицениться к товару.

— Сколько стоит твой зверь?

— Я его не продаю, — отвечает девочка.

— Тогда зачем ты тут стоишь?

— Чтобы все смотрели, какой он красивый.

— А-а…

Я чувствую, как комок вдруг подкатывает к горлу, старательно откашливаюсь. Девочка добавляет:

— И чтоб все спрашивали, как его зовут.

— А как его зовут?

— Юрчик.

Киваю девочке, Юрчику. Бреду дальше. Ну нет, еще не всё потеряно на этом свете!

Возвратившись из Одессы в Москву, мы не сразу расстались с финскими коллегами.

Череда протокольных встреч завершилась чинным коктейлем в посольстве Финляндии. Потом были междусобойчики в домашней обстановке: московские писатели пригласили финнов на чашку чаю.

Я жил тогда на Потылихе, у «Мосфильма», в квартире, что была заработана служением в кинематографе.

У меня гостевали самые молодые — Якко Лайне и Иика Вуотила, тот, который дитя Карла Маркса и Кока-Колы. Русского языка они тоже не знали, финского переводчика не было, и мы обходились английским, благо моя дочь Людмила училась в Институте иностранных языков.

Чашкой чаю, конечно, не обошлось, разговор был досужим, светским — вечные проблемы и мировые скорби остались в Одессе, — но запомнились две фразы, касавшиеся недавней страды.

— Поездка в колхоз дала нам больше, чем весь симпозиум, — Сказал дитя Карла Маркса.

— И чем вся советская литература, — не без едкости добавил его товарищ.

Я хохотнул.

Назавтра, поздним вечером, мы провожали финнов домой с Ленинградского вокзала.

Их опять где-то успели подогреть на прощанье.

И белокурая красавица Марья-Леена Миккола, расчувствовавшись, решила вознаградить меня за все причиненные волнения поцелуем, добавив к нему мое имя в ласкательной, по ее мнению, форме:

— Альоша…

Узы родства

Бабушкины радости

Годовалого еще, меня повезли в Харьков, показать бабушке. Есть фотография, где я — весь в кудрях, в веснушках, щекастый, очень довольный собой — сижу у нее на коленях и ем французскую булку, всю целиком, аппетит у меня и тогда был завидный.

Впрочем, нет, я ошибся: с булкой — это я сижу на коленях у своего дяди, Николая Андреевича. А на коленях бабушки я сижу без булки, зато рядышком с нами стоит мой двоюродный братец Юра, старший из внуков.

Бабушка во мне души не чаяла. Ведь Александром меня назвали в ее честь, и ей, конечно, это польстило.

Она пренебрегла запретами воинствующего атеизма и понесла меня крестить в церковь Кирилла и Мефодия, что на Старомосковской.

Этот крестильный крестик червонного золота доселе со мной.

К тому времени в лачуге на Малиновской населения прибыло: Николай Андреевич Приходько, старший сын, старший брат вновь объявился в Харькове, устроился здесь на службу, женился на хорошей девушке, консерваторке Ляле Татариновой, у них появился первенец, названный Юрием, а позже и второй сын Коля.

Подросли братья моей мамы — Жоржик и Витяка.

Правда, у Жоржика возникли проблемы со здоровьем: перенесенная ангина дала осложнение, стрептококки выели костный мозг руки — теперь бедняга не мог ни учиться толком, ни работать.

Зато Витяка рос здоровым парнем. Вероятно, именно в тот наш первый приезд из Одессы в Харьков он и поведал сестре Лиде, что хочет стать моряком — по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там! — и она поддержала его задор, его мечту, посоветовала ехать в Одессу, поступать в мореходку, а жить пока можно у нас, на Гимназической, — он так и сделал.

Это уж потом появилась Лиза, которую он взял на буксир.

То уж после на Гимназической крутили мороженое, розовое, как заря…

Были и нежданные радости.

На излете дней бабушки Шуры вдруг обнаружилось, что у нее есть еще один внук, которого зовут Алексеем.

Весть об этом пришла из далекой Африки, из Туниса, где после долгих скитаний и мытарств нашли приют ее старшие дочери — Ольга и Анна, то есть Ляля и Ася.

Алеша был сыном Аси от ее первого брака с молодым офицером, мичманом Николаем Гавловским, то ли погибшим в бою, то ли умершим в плаваньи. Жестокий ветр изгнанья прибил их в Бизерту, тунисский порт, где встали на якорь корабли Русской эскадры.

Через некоторое время ослепительная красавица Ася вновь вышла замуж — за месье Буляра, французского колониального чиновника в Тунисе. Теперь она стала *madam Bulard*, но ее сын Алеша сохранил за собою фамилию отца — Гавловский.

Ляле, повидимому, суждено было остаться вековухой. Она посвятила свою жизнь сестре и племяннику. Но это не помешало ей работать сестрой милосердия в одном из тунисских госпиталей.

У меня еще будет повод рассказать подробней о дальнейшей судьбе экзотической, африканской ветви нашего рода.

Покуда же ограничусь теми вестями, которые успели порадовать мою бабушку Александру Ивановну, застали ее в живых.

Из Туниса в Харьков, на Малиновскую, добрались в запечатанном конверте две большие фотографии в муаровых прозрачных прокладках, в плотных паспарту табачного цвета, снабженных фирменным знаком мастера: «*Verriy. 10 rue de Holland. Tunis*».

На первой фотографии, в овале, была запечатлена старшая дочь Ольга: в белоснежной косынке с крыльями, ниспадающими на плечи, с крестиком во лбу, в белом платье и, сверх того, госпитальном белом переднике, тоже с крестом.

На обороте фотографии — надпись, сначала по-французски:

«Hôpital Bedeyet. Tunisie. Afrique». А затем — русским бегом пера, еще послушного всем канонам отмененного правописания:

Моей дорогой мамочкѢ
от ея самой некрасивой,
но милосердной и доброй
дочери Ольги.

4 апреля 1927 года

Я вглядываюсь в лицо на фотографии, пытаясь разгадать загадку: ну, почему, почему же, казалось бы, совершенно одинаковые черты, строго типовые для женщин рода, — в одном случае вызывают благоговейное изумление, восхищение красотой, — а в другом дают их обладательнице повод

самоотреченно, без кокетства, признать: «…от самой некрасивой, но милосердной и доброй…»?

Ответом на этот вопрос — впрочем, столь же невразумительным, — окажется вторая фотография.

На сей раз не в овале, а в круге, как женские портреты мастеров галантной школы.

Анна, Ася. Нет, не в косынке, не в госпитальном переднике с крестом. И не в куньей девичьей шубке, в какой она — в моих фантазиях, — покидала навек родимый кров, еще и ворча по-французски…

Нет, теперь она не в кунице, а в манто из шиншиллы (это мне, не скрывая зависти, объясняла мама), причем воротник шубы не собран зябко у горла, а наоборот, распахнут настежь (ведь тут, слава богу, не Россия, но Африка, жара!), обнажая точеную белую шею и нитку — всего лишь нитку! — жемчуга на ней.

Короткая, по моде двадцатых, стрижка, оброненный на лоб светлый локон, пологие дуги бровей, глаза с поволокой печали, тонкий — не как у Ляли, не как у меня, — а тонкий породистый нос.

Вот уж эта ослепительная женщина никогда бы не написала на обороте своей фотографии: «…от самой некрасивой, но милосердной и доброй дочери…»

А что бы она написала? То есть, что именно она написала на фото, посланном матери в далекую и несчастную Россию?

Она ничего не написала.

В том-то и дело, что надпись на обороте Асиного портрета сделана, опять-таки, рукою Ляли, ее старшей сестры:

> Мама, Ася сейчас занята
> и попросила тетю Лялю написать за нее
> на память и послать бабушкѢ эту фотографию.
> Просила крѢпко всѢх поцеловать.
>
> *Тетя Ляля*
>
> *et Alexis Gavlovsky.*

Я подозреваю, что вторая подпись — на французском, другими чернилами, за маленького Алешу, — сделана на самом деле не им самим, а может быть его матерью, Асей. Которая была вовсе не столь уж занята, как об этом сообщено, а просто не захотела — ни за что! ни строки! ни буквы! — писать в ту страну,

которую покинула без сожалений, стиснув от ненависти зубы.

Она и позже не послала в Россию ни одного письма. За нее всегда писала Ляля.

Сделаем допущение, что причиной тому было щекотливое положение русской супруги важного французского чиновника (он был назначен вскоре губернатором Мадагаскара), что именно это не позволило ей вступить в прямую переписку с кем-либо в большевистской России.

И, всё же, я уверен, что две фотографии, присланные из далекой Африки, скрасили последние дни моей бабушки Александры Ивановны.

Она умерла в 1929 году, пятидесяти лет отроду.

В дальнейшем письма из Туниса, с Мадагаскара, а потом из Франции, из Ниццы, приходили уже на имя моей мамы.

Ляля обстоятельно рассказывала младшей сестре о житье-бытье семьи в дальних краях, о школьных успехах Алеши, особенно в рисовании. Присылала фотографии, на которых были изображены черножопые туземцы у пальмовых хижин, ритуальные пляски жрецов под барабан, всякие слоны и обезьяны. И на этом живописном фоне — две белые женщины и русоголовый мальчик, жизнерадостно смеющиеся в объектив…

Эти письма мама исправно получала и в тридцать четвертом, и в тридцать седьмом.

Мы с братом Юркой, радуясь привалившему счастью, отклеивали с конвертов марки Туниса и Мадагаскара над струйкой пара из носика электрочайника.

А где-то этим родственным посланиям велся строгий учет, велся счет, который и был впоследствии предъявлен.

Впрочем, я допускаю, что череду грядущих бед нам наколдовали не африканские жрецы.

Развод

В 1932 году мы переехали из Одессы в Киев. Это было связано с работой отца. Теперь он был уже не журналистом, а директором интуристовской гостиницы «Континенталь».

Но и эта должность была всего лишь *крышей*. Просто сфера его секретной деятельности переместилась из Румынии в Польшу и Германию.

Теперь он исчезал надолго, на многие месяцы. Практически он там и жил, за границей, а дома появлялся лишь наездами.

Мама скучала, хандрила.

Ее экранная карьера прервалась. Дело было не только в том, что на Одесской киностудии она была приметной и ценимой актрисой, заваленной ролями, а киевские киношники встретили ее прохладно: тут и своих *звёзд* хватало. Нет, дело было куда серьезней. То был переломный момент в кинематографе. Немой экран заговорил, запел! И судьбы многих экранных красавиц и красавцев, куда более знаменитых, нежели моя мама, споткнулись именно на звуковой дорожке… Началось *другое кино*.

В ту пору я был еще слишком мал, чтобы засечь в памяти какие-то живые приметы семейного разлада.

Запомнилось лишь то, что касалось меня самого — и об этом я расскажу вскоре.

Но то, что происходило между матерью и отцом, оставалось там, за закрытой дверью.

Всё кончилось разводом.

Он был тем более демонстративным и резким, что в один и тот же день отец оформил в ЗАГС'е расторжение брака с моей мамой и вступил в брак с другой женщиной.

Много лет спустя, когда уже и я был немолод, а мама и вовсе стара, — в застольном разговоре я напустился на нее:

— Почему вы развелись? Ну, почему?.. Вот я прожил жизнь, а до сих пор не знаю толком: из-за чего?..

В моем вопросе был не то, чтобы укор, но неприкрытый вызов. Почти обвинение, предъявленное с полувековым опозданием, когда уже истек срок давности.

Пребывая в запале, я упустил из виду то важное обстоятельство, что говорю не с кем-нибудь, не просто с седоголовой посторонней женщиной, случайно оказавшейся моей собеседницей.

Нет, я говорил с человеком того же вспыльчивого, взрывного нрава, что был и у меня. Со своей копией, с *alter ego*. Со своей

матерью, с самим собой.

Она умела, как и я, смотреть прямо в глаза, холодно и безжалостно, и забивать слова, как гвозди:

— Из-за тебя.

В ярости, в мстительном пылу мама увезла из Киева почти всё, что было в доме: и мебель, и картины, и посуду. Хотела даже захватить с собою весь парад энциклопедии Брокгауза и Ефрона, добытый отцом у антикваров, но это уже никуда не лезло, и она, со злости, выдернула из строя два тома, оба на букву «А», зашвырнула их в фанерный ящик.

Квартира в Пассаже, где мы жили, осталась пустой, одни стены.

Но куда же всё это было деть в Харькове?

Там — в лачуге на Малиновской — и без нас хватало и жильцов, и вещей, повернуться негде.

Пришлось весь скарб сдать на хранение, на станционный склад Харькова-товарного.

В том был сокрыт глубинный смысл: не навсегда, а лишь до поры. Пускай постоит, отлежится на складе, а там, авось, жизнь наладится. Еще обзаведемся наново хоромами, разбогатеем, воспрянем. То есть, жизнь опять откладывалась до лучших времен.

А покуда из нее, из жизни, как бы изымалось всё время, проведенное в Одессе и в Киеве. То самое время, в котором уже был я.

Открытия

Мы вернулись на Малиновскую, восвояси.

Я опять окунулся в уютную и родную среду, что была мне знакома с младенчества — с той поры, когда меня привозили в Харьков показывать бабушке, крестить в церкви, знакомить с дядьями, братьями, домом, округой…

И хотя я не застал на свете своего деда Андрея, а бабушки Шуры теперь, увы, тоже не было, — я как бы очутился в пространстве, где еще был отсвет и отзвук их жизни, их времени, столь сильно отличавшихся от новизны.

Мне отвели постоянный ночлег на кожаном диване, над которым во всю торцевую стену, до самого потолка, громоздились книжные полки. На них — том к тому, будто плечо к плечу, — стояли книги в черных и коричневых с позолотой переплетах. Они стояли так основательно, так грузно, что, казалось, всё на свете может рухнуть, — а книги, уж точно, устоят.

Столь счастливое расположение полок, которые буквально нависали над моим изголовьем, было очень удобно.

Проснувшись раньше всех в доме, проморгавшись, я дотягивался до кожаных корешков и вытаскивал из тесного ряда какой-нибудь увесистый том, наугад, что подвернется под руку.

Иногда это был Брэм, «Жизнь животных», иногда уж не помню чей труд «Жизнь растений», а иногда подавно ничьи «Вселенная и человечество».

Час за часом, я листал эти книги, поставив их поперек живота, раздувая ноздри от пыли, бьющей со страниц, благоговея перед мудростью тех, кто всё это познал и описал.

Вот там-то я и увидел впервые косматых мамонтов с бивнями в кольцо, толпящихся на скалистом плато, под звездами, прикрывающих своими тушами крохотных мамонтят и будто бы советующихся между собою — то ли им топать дальше, то ли остаться тут, а где может быть лучше?..

Мне на всю жизнь впечаталась в память эта картинка с мамонтами. Я и сейчас ее вижу.

Дотянувшись до другой полки, я вытаскивал том «Отечественной войны» и погружался в другую захватывающую воображение эпоху: бородинские пушки, палящие картечью в безукоризненный строй наполеоновских гвардейцев; фельдмаршал Кутузов с подзорной трубой, как раз рассчитанной на его единственный глаз; Бонапарт в громоздкой шляпе, наблюдающий, сложа руки, за тем, как горит Москва, как летят тлеющие головешки над его треугольной шляпой…

Тогда, конечно же, я не мог предположить, что весь этот книжный строй «Отечественной войны» сгорит в огне другой войны, тоже Отечественной, о которой еще не было книг, как не было и ее самой.

Нет-нет, дом не сгорел, а сгорела дедовская библиотека. Она сгорела не в фигуральном огне войны, а в самом натуральном — сгорела в печи, потому что в городе были немцы, была зима, было нечего есть и нечем обогреться, не было дров. Ляля и Никуська замерзали. И книги летели в печь…

Но этого никто не мог предвидеть. Пока еще была лишь одна «Отечественная война». Она стояла на книжной полке над моим изголовьем.

Потом моя мама и Пушка, мой дядя, уходили на работу.

Старший брат Юра, прилежный мальчик, уходил в школу.

Ляля, жена Пушки, которая в ту пору нигде не работала, а лишь хозяйничала по дому, — умывала нас с Никуськой над мойдодыровским умывальником, куда воду заливали из ведра, а уж потом она текла из крана.

Потом нас кормили манной кашей с тарелок гарднеровского фарфора, других в доме не было.

После всего этого, покончив с докукой, мы с Никуськой, не сговариваясь, отправлялись на злодейство.

Но сперва об этих прозвищах.

Как повелось в семье Приходьков, у всех — кроме имен и отчеств — еще были удобные и понятные прозвища. Николай Андреевич был Пушкой; его старший сын Юра был Куркой, Курицей; младший Николай — Никуськой, Куськой; а я был Тюркой, Тюриком — именно так, по общему мнению, я в беззубом детстве произносил свое имя Шурик. Ну, Тюрка так Тюрка, мне было всё равно.

Теперь пора было браться за дело.

Из большой комнаты с кожаным диваном мы с Никуськой проникали в маленькую комнату, где стоял еще дедов письменный стол (за ним-то он и был сфотографирован в пенсне, с цепочкой на пузе), который теперь считался владением Юры, Курки.

В ящиках этого письменного стола лежали его школьные тетрадки, атласы, альбомы с карандашными и акварельными рисунками — наш Юрка замечательно рисовал! — еще альбомы с марками, кое-какие принадлежавшие лично ему книги, ну, и прочая бумажная мелочь — дневники, табеля со школьными отметками, похвальные грамоты…

Мы с Никуськой извлекали всё это хозяйство из ящиков и разбрасывали по комнате, стараясь подкидывать повыше, чтоб листки бумаги как можно дольше парили и трепыхались в воздухе, чтобы они приземлялись как можно дальше от своего законного места, залетали под шкаф, под кровати, чтобы их было как можно труднее и безнадежнее найти.

Зачем мы это делали?

Чтоб досадить Курке. Мы заранее знали, как будет он, придя из школы, ахать, возмущаться, ругать нас, собирать всё по листочкам и опять укладывать на свое место, в ящики письменного стола, едва не плача от обиды…

Мы не любили Курку? Наоборот, мы обожали его! Зачем же?

Над этим вопросом я и теперь продолжаю ломать голову. Зачем?

Думаю, что в наших с Никуськой злодействах, в наших варварских действиях находил свой выход стихийный порыв, проявлялась врожденная, пока еще не осознанная и не востребованная революционная энергия того времени, в котором мы появились на свет и жили, которой было насыщено всё вокруг, которая маячила и звучала с утра до вечера — весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем… Зачем? Затем!

Это был протест против вопиющего классового неравенства: ведь Юрка уже ходил в школу, в третий класс, а мы с Никуськой еще и не помышляли о школе. Курка отлично рисовал, а у нас получались лишь каляки-маляки. У него были альбомы с красивыми марками, которые он увлеченно собирал, а у нас с Никуськой вообще ничего не было! Ну, как с этим примириться, как не восстать?..

Я думаю, что и Юрка в глубине души понимал справедливость нашего стихийного бунта.

Вернувшись из школы, кинув портфель, и снова, как обычно, удостоверившись в размахе случившегося погрома — возмущаясь, ругаясь, едва не плача, — он вытаскивал нас за шкирки из-под большого обеденного стола, где мы с Никуськой прятались, высказывал нам прямо в лицо всё, что он о нас думает, — а потом, сжалясь, уводил нас во двор играть в войну… Ведь ему, после школы, тоже хотелось поиграть, а с кем еще воевать, кроме нас с Никуськой? Больше никакой молодежи во дворе не было.

О, как мы самозабвенно воевали! Мы кидали друг в друга сухие сосновые шишки, которые были собраны в корзины для растопки самовара. Причем мы с Никуськой кидались просто так, куда попало, а Курка из-за щита веранды следил за нами через маленькое зеркальце, сам оставаясь невидимым и недосягаемым — вот такие военные хитрости! — а потом, высунувшись на

Мгновенье, запуливал нам по шишке прямо в лоб.

Потом, к сожаленью, ему надо было идти в музыкальную школу, он хватал второпях нотную папку на шнурках, с портретом Бетховена, и убегал на занятия.

Такое же точно выпуклое изображение взлохмаченного и насупленного композитора Бетховена было на старинном пианино, оставшемся еще от дедовских времен, которое стояло в той же самой комнате, где был обеденный стол, где кожаный диван, этажерка с книгами, где висели на стене большие деревянные часы с маятником за стеклом и гулким боем.

За этим пианино Юрка разучивал этюды Черни, а потом, когда ему надоедало, учил меня играть «Собачью польку» — ти-ри-рам, пам, пам, ти-ри-рам, пам, пам, — а иногда объяснял мне нотные знаки.

Ближе к вечеру за пианино садилась Ляля, жена Пушки, мама Курки и Никуськи. Но это была совсем другая музыка.

Как я уже упоминал, Ляля, Лидия Павловна Татаринова, была консерваторкой. Она выросла в интеллигентной и когда-то небедной семье, проживавшей в другом конце Харькова, на Рымарской улице, у городского парка. Потом, познакомившись с молодым бравым офицером Николаем Приходько, она влюбилась в него без памяти, как заведено у девушек из приличных семейств, — и оказалась, при двух детях, в халупе на Малиновской.

Покончив со стиркой, уборкой и готовкой, со всей этой кухней, она мыла руки, старательно и долго причесывала перед зеркалом свои густые темнокудрые волосы, а потом садилась на вертящуюся табуретку, к пианино с бетховенским профилем.

Чаще всего она играла Шопена.

Она играла его си-бемоль-минорную сонату, точней — ту ее часть, которая слывет похоронным маршем. Его часто играли по радио, когда умирал кто-нибудь из советских вождей или когда кого-нибудь из них убивали — как убили, например, Кирова.

Но я не думаю, что Ляля соотносила эту музыку с советскими вождями — да чтоб они все передохли, чтоб их всех поубивало, — а играла каждый вечер шопеновский похоронный марш по себе самой: по своей неудавшейся жизни, загубленному таланту, по своей опрометчивой любви, — и, как оказалось вскоре, была права в своих предчувствиях…

Пока же она просто музицировала. Врубала в клавиши тонкие пальцы, извлекая из пианино надрывные аккорды, сменявшиеся вдруг тихой и раздумчивой мелодией безропотной покорности судьбе.

В прямой связи с затронутой темой, я должен поведать об

одном важном открытии, сделанном мною именно тогда, в раннем детстве, когда я жил на Малиновской.

Однажды утром я проснулся, как всегда раньше всех, и этот миг пробуждения совпал, секунда в секунду, с боем старинных часов на стене.

Мятущийся, обремененный гирями маятник, доцокал до какой-то положенной отметки, и тогда из часов вырвался всполошенный скрип, храп, а следом ударил басовитый колокол: бам… бам… бам… всего шесть раз.

Я сопоставил этот колокольный звон с тем, что мой дедушка, купивший эти часы и повесивший их на стену, — мой дедушка, которого я никогда не видел, а лишь знал о нем, что он похоронен в клумбе с левкоями, — что он уже умер; и бабушка Шура, в честь которой мне дали имя, так ласково няньчившая меня на коленях, — что она тоже умерла; и тут я вдруг понял, что все люди обязательно умирают, когда маятник часов откачает их время; что умрут все, а, стало быть, я тоже когда-нибудь умру…

Это открытие так поразило меня, что я заревел в голос.

Мама, спавшая в соседней комнате, проснулась от моего отчаянного рева, вбежала, кинулась к дивану и стала меня испуганно расспрашивать: что случилось, а?..

Но я не сказал ей о своем открытии. Наврал, что приснился медведь, такой страшный. Я не хотел ее огорчать. Может быть, она еще не знала, что все умрут?

Это мое открытие вскоре получило важное продолжение.

Юрка обзавелся телескопом. То ли купил его в магазине (на какие шиши?), то ли его премировали за хорошую учебу, то ли он сам его смастерил — ведь наш Курка был необыкновенно умен и очень изобретателен.

Он установил свой телескоп в сараюшке, во дворе, проделал в дощатой крыше дырку, которую можно было задвигать, когда шел дождь, а когда дождя не было, то задвижка отодвигалась в сторону — и телескоп смотрел прямо в небо.

И однажды, когда вечернее небо было особенно чистым и звездным, Курка позвал нас с Никуськой в сараюшку.

Первым к телескопу был допущен я.

Я приник к глазку нижней трубки телескопа и увидел Луну — так близко, что, казалось, ее можно было достать и пощупать рукой.

Лунный диск был испещрен лопнувшими пузырями кратеров, яркими, залитыми солнцем долинами, кое-где оттененными пятнами сумрака.

— Ты видишь собаку? — спросил Юра.

— Где? Ах, да, вот она, вижу…

Я отлично видел на Луне собаку. Она стояла в сторожевой стойке, чуть наклонясь вперед, облаивая кого-то. Но лай не долетал досюда, ведь это было очень далеко, хотя через телескоп казалось, что это совсем близко.

Я не только увидел собаку, но и сразу узнал ее. Это была наша Люська, овчарка, которая катала меня на санках, когда я был еще совсем маленьким и когда в Одессе выпадал снег. Я сразу опознал ее по стойке, по черно-желтой масти. Она сторожила меня, когда рядом не было родителей, играла со мною. К несчастью, она вскоре погибла: выбежала со двора на улицу — и под колеса…

Но теперь я хоть знал, что сталось с нею потом, после смерти. Она оказалась на Луне.

В те несколько затяжных мгновений, когда я смотрел в телескоп, мое недавнее горестное открытие — что все умрут, и я тоже, — дополнилось не менее важным, но радостным открытием. Знанием того, куда все деваются после того, как умирают.

Все они оказываются потом на Луне.

Значит, именно там теперь и мой дед Андрей, и моя бабушка Шура.

Правда, в поле зрения Юркиного телескопа их не было видно. Но ведь можно предположить, что они укрылись не на этой, а на другой стороне лунного диска, который сегодня не показывали.

Они были на той стороне, а Люська стерегла их покой на этой.

Едальня на улице Карла Либкнехта

Мама работала в гостинице «Интурист» заведующей этажами — так называлась ее должность.

Она часто брала меня с собою на работу, и я вполне обжился в этом мрачном темносером здании с башней, похожем на рыцарский замок. Фасад рыцарского замка был обращен к площади Розы Люксембург.

Иногда мама купала меня в ванной какого-нибудь пустующего номера, ворча по поводу того, что на полу рядом с ванной был не коврик, на который следует ступать босыми ногами, а деревянная решетка: ну как, возмущалась она, на этой грубой занозистой решетке будут себя чувствовать крохотные ножки какой-нибудь заграничной мисс или мадемуазель — они же провалятся в зияющие щели…

Вобщем, она критиковала порядки в «Интуристе», и это, я думаю, ей зачлось.

Были и другие неприятности.

Мамин старший брат Николай Андреевич Приходько тоже служил в «Интуристе», притом в солидной должности. Его импозантная внешность, врожденный светский лоск, как нельзя лучше подходили к обязанности ублажать иностранцев в разоренной, одичавшей стране.

Я даже думаю, что это именно он устроил мою маму на должность заведующей этажами — по блату, из родственных чувств.

Но с ним самим случилась беда.

Сосед по дому, по нашей общей лачуге на Малиновской улице — Михаил Иванович Антименюк — продал ему для казенных надобностей подержанную пишущую машинку «Ундервуд». Тогда эти машинки были жутким дефицитом, ведь своих еще не делали, покупали за границей, — к тому же с латинским шрифтом, как раз для «Интуриста».

Машинка оказалась краденой.

Не знаю, поймали ли того, кто украл, но и Антименюка, который продал, и Николая Андреевича, который купил, — обоих потащили в суд. Обоим дали сроки, нашему Пушке — три года.

Конечно, ему могли бы при этом напомнить и социальное происхождение — из господ, его бывшее офицерство — знаем мы вас, золотопогонников. Но, вероятней всего, эти отягчающие обстоятельства в суде не фигурировали, что обеспечило сравнительно легкую кару. Ведь десяток лет назад или пяток лет спустя — не миновать бы ему, раз уж попался, за всё про всё, и

вышки… В сущности, если иметь в виду такую перспективу, эта ворованная пишущая машинка спасла ему жизнь.

Он отбывал срок на Дальнем Востоке. Строил Байкало-Амурскую магистраль, которую позже, через десятилетия, объявят ударной комсомольской стройкой, прославят в стихах, воспоют в песнях. А на самом-то деле эту дорогу начали строить в глухой тайге и на вечной мерзлоте еще в тридцатых, согнав в лагеря десяти тысяч таких же бедолаг, как наш Пушка.

Сохранилась его фотография той поры.

Усы, которые он, подобно своему отцу Андрею Кирилловичу, носил всегда, теперь дополнились бороденкой — свидетельством не только бытовых неудобств, проблем с бритьем, — но и знаком житейской умудренности, покорности судьбе. Ранние залысины, тоскливые глаза…

На обороте фотокарточки есть надпись от руки: «Магдагачи, декабрь 1936 г.»

Я нашел на карте эту станцию Магдагачи — аккурат между Сковородиным и Тыгдой, на Транссибирской магистрали.

Обратил внимание на то, что Пушка на этом фотоснимке изображен отнюдь не в зэковской робе, а в военной гимнастерке, хотя и без знаков различия.

То есть, к декабрю тридцать шестого он либо уже отбыл срок, либо ему скостили его за ударный труд и примерное поведение, освободили досрочно. Больше того, предложили остаться, теперь уже по вольному найму, на стройке века. Еще бы: зачем же разбрасываться такими кадрами — мужчина в самом соку, с военной выправкой, зычным командирским голосом, располагающей наружностью, интеллигентных манер… Ну, а то, что отсидел срок — ничего, будет сговорчивей, послушней.

Через пару лет, когда Николай Андреевич вновь появился в Харькове, его было не узнать: добротная бекеша комсостава войск НКВД с эмблемой на рукаве, щит и меч; непустые петлицы, шапка со звездой, щегольские бурки; а сама поступь, движения, взгляд — трепещи, недобитый классовый враг!..

К тому времени с Байкало-Амурской магистрали его, с повышением, перевели на Беломорско-Балтийский канал, в Карелию. Всё ближе к дому.

Правда, родня молчаливо недоумевала: почему бы Пушке, в таких-то чинах, в такой бекеше, — не забрать бы жену Лялю и сыновей к себе в Карелию? Хоть там и глушь несусветная, тайга, морозы, но всё же веселее жить дружной семьей, тем более после долгой разлуки… Догадывались, что не иначе, как появилась там другая женщина, согревшая его сиротство. Догадывались, однако держали рот на замке.

Главное — остался человек жив и цел после такой передряги.

А вот Антименюк, который продал ему ворованную машинку и тем подвел под статью, тому уж господь воздал по заслугам: вернулся с отсидки без ноги и теперь ковылял по двору на деревяшке — рупь-пять, рупь-пять, — провожаемый злорадными взглядами…

К этой поре стал наезжать в родной город и младший из братьев — Виктор Приходько. Он преуспел немало после окончания мореходного училища: флотский капитан-лейтенант, командир на «щуке», подводной лодке, уже ходил на ней в боевые походы к турецким и иным берегам.

Витяка, а теперь Виктор Андреевич (но его попрежнему, любя, называли в семье Витякой), привозил с собою в Харьков пышную и безмерно добрую жену Лизу, сына Вовку, позже — дочку Галку… Они гостили в Харькове летом, когда был отпуск, поскольку постоянно жили на Черном море, и эти знойные курортные места успевали им осточертеть, хотелось пожить на суше, на материке, в прохладе.

К большому семейному сбору охотно прибивался и Жоржик, средний из братьев.

Вот именно он оказался в жизни неудачником. В столь еще молодые годы сделался инвалидом — высохшая рука. Был не годен ни к военной, ни к какой другой справной службе, пропустил образование. Стал из-за всех этих напастей крепко попивать. Вдобавок неудачно женился… Словом, жизнь не задалась. Его все жалели и никогда не забывали позвать в общесемейное застолье, а он никогда от него и не отказывался.

Однако все эти важные события и перемещения произошли чуть позже, в конце тридцатых годов.

А покуда на дворе еще тридцать четвертый.

Из гостиницы «Интурист» маму уволили. Уж не знаю, в какой мере на то повлияла посадка ее брата Николая, а в какой мере просто решили проучить ее за дерзкий язык.

Но в трудовую книжку записали: «… в виду незнания иностранных языков».

И впрямь, как же так — работать в гостинице «Интурист», а по-ихнему ни бум-бум?

У меня тоже с этим делом в жизни не заладилось: объехал почти весь белый свет, а ничему, кроме «гуд бай», не научился.

Впрочем, новая работа мамы, которую она нашла, была опять не столь уж далека от иностранных дел.

Ее взяли на должность заведующей залом в закрытой столовке «Инснаба».

С площади Розы Люксембург она перебралась на улицу Карла Либкнехта — именно так в те героические времена именовалась Сумская, самая главная и самая сверкающая улица Харькова, его Бродвей, его Елисейские поля.

Так была решена основная стоявшая перед нами задача: не помереть с голоду.

Поскольку и дураку ясно, что если уж ты заведуешь залом в приличной столовке, в фирменной едальне на улице Карла Либкнехта — то уж тебе самой, голубушке, обеспечена бесплатная кормежка хоть раз, а то и два на дню. Где-нибудь за служебным столом, в уголке, тебе и щец нальют в тарелку понаваристей, и мясца положат на второе не самый тощий кусочек.

А если, к тому же, ты приведешь с собою на работу шестилетнего застенчивого сына (а куда его девать? в школу пока не ходит — мал, в детский сад не берут — велик), то и для него, для лапочки, найдется на кухне теплый оладушек и стакан компота с черносливом.

Как уже сказано, эта столовка на улице Карла Либкнехта считалась закрытой, то есть не каждому встречному-поперечному туда разрешен был вход — садитесь, располагайтесь, салфет вашей милости…

Нет, туда пускали лишь тех, кто был прикреплен, имел на руках особый квиток.

Эти квитки им были совершенно необходимы, поскольку, в подавляющем своем большинстве, они не умели разговаривать по-русски. По-украински тоже не умели. А общались между собою на странном языке, который считался немецким, но и немцы, заслышав его, не сразу бы скумекали, о чем идет речь. Поскольку это был *венский диалект*.

На нем лопотала целая орава горластых и дюжих молодцов, являвшихся сюда трижды в день: завтракать, обедать и ужинать. Приятного аппетита, господа-товарищи…

Это были австрийские шуцбундовцы, о которых тогда писали все газеты, судачила молва.

В феврале 1934 года они подняли вооруженное восстание в Вене, Линце и других городах Австрии. Они не хотели, чтобы в их стране произошло то, что уже случилось в соседней Германии, где к власти пришли фашисты. Они не хотели, чтобы их маленькую страну поглотила фашистская Третья Империя. Они решили дать окорот собственным нацистам, не менее наглым, чем те, со свастикой, в Германии.

Против шуцбундовцев бросили броневики и танки. По ним били из пушек прямо на городских улицах. Пролилась кровь,

было много убитых и раненых, тюремные камеры не вмещали арестантов.

Уцелевшие через Альпы ушли в Чехословакию.

Их принял Советский Союз.

Большинство шуцбундовцев определили на жительство в Харьков, где было много промышленных предприятий и где для охочих рук всегда была работа. Кроме того, даже перестав быть столицей Украины, Харьков как бы остался центром пролетарского интернационального братства.

Их поселили в харьковских гостиницах — в тесноте да не в обиде. Разобрали по заводам — кому тракторный, кому паровозостроительный, кому «Свет шахтера».

Поставили на довольствие в столовке «Инснаба», что на улице Карла Либкнехта.

Тогда, шести лет отроду, я, конечно, не представлял себе размаха событий в их историческом масштабе.

Но даже в том возрасте я иногда заглядывал во взрослые газеты, если там были интересные картинки. Особенно мне нравились карикатуры на Гитлера — косоглазого, носатого, с черными соплями усиков, с челкой наискосок лба, как у босяков с Холодной горы.

То есть, в своих возрастных рамках, я уже понимал расклад сторон и главные характеристики героев.

Но той конкретной средой, в которой они предстали моему неискушенному взгляду, была именно столовая «Инснаба», где работала моя мама.

Ведь я тоже проводил здесь дни напролет — всему был свидетелем, всё видел и всё слышал.

Мое детское любопытство, конечно, возбуждало это шумное общество молодых людей в пестрых пуловерах, штанах с напусками, которые назывались «никкербокер», в нарочито грубых башмаках.

Впрочем, иногда они являлись сюда и при полном параде: в пиджаках, рубашках с запонками, при галстуках. А некоторые, особенно прыткие, уже обзавелись на новой родине одеждой советского фасона: армейские галифе, хромовые сапоги. Эти ходили, задрав носы, презирая буржуйские замашки остальных.

Я часами, сидя в уголке, наблюдал за этим странным людом: за тем, как они едят, как громко хохочут, как вдруг, после кружки пива, начинают распевать за столом тирольские песни с причудливыми горловыми руладами — ол-ля-ри-ио, ол-ля-ри-ио… — им позволяли, ведь у них такой народный обычай.

Моя мама, как и положено заведующей залом, время от

времени подходила к посетителям, которых она уже знала в лицо. И они ее знали, всегда радовались ее появлению, ее заботливым расспросам — довольны ли обедом, сыты ли, нравится ли им украинская кухня, не сильно ли скучают по венским кнедликам?..

Особенно часто, замечал я, она подходила к столу, за которым, в числе других, сидел совсем еще молодой, спортивного вида парень.

У него были светлые волосы, почти русые, как и у моей мамы. Но брови его были широки и темны, срастались на переносице — и в этом было необычайное сочетание доброты и суровости, был контраст, сразу привлекавший внимание. В равной мере глаза у него были добрые, светлокарие, чуть навыкате, а губы тонки и замкнуты.

Но когда на его лице появлялась улыбка — открытая, озаряющая всё лицо, — суровость пропадала, и было сразу видно, что он хороший парень, а не сладкий красавчик. Что не гад, не сволочь.

Я уже знал, как его зовут. Его звали Ганс. А вот фамилия у него была слишком заковыристая, не упомнишь враз.

Он приходил в столовку раньше всех, а уходил позже всех. Садился всегда лицом к той двери, за которой была служебная каморка моей мамы — и всё ждал, ждал, когда же она появится.

Но ложку мимо рта не проносил, не тыкал вилкой в скатерть. Ел исправно, что дают. Вместе с тем, было видно, что он ждет — ждет, супя брови, поджимая тонкие губы.

Но вдруг эти брови взлетали, губы расползались в улыбке — и я, даже не оборачиваясь, знал, что в это мгновение моя мама появлялась в дверях и шла через весь зал…

Чудной такой парень.

К октябрьскому празднику дружный коллектив столовой «Инснаба» готовил концерт художественной самодеятельности.

Такой был тогда обычай: хоть в детском саду, хоть в школе, хоть на заводе, хоть в красноармейском полку — к майским дням и к Октябрю обязательно должен быть смотр народных талантов.

Кто умел петь, тот разучивал новую песню. Кто был горазд плясать гопак или лезгинку — репетировал лихие коленца. А тот, кто ничего не умел, вместе с другими неумеками выстраивал живую пирамиду из собственных тел — с лентами, звездой, серпом и молотом, вот тебе и герб.

Моя мама готовилась прочесть стихотворение.

Ведь у нее, всё же, был некоторый артистический опыт. Еще когда мы жили в Одессе, она снималась в «Кармелюке», в «Праве отцов», в «Темном царстве». И пусть это были немые фильмы, без

звука, но тем важнее была выразительность движений, мимика, страсть души. И пусть из-за жизненных неурядиц ей пришлось оставить экранную карьеру, пойти работать заведующей залом в едальню «Инснаба», — но кто может знать наперед, как еще повернется судьба?..

Зал был набит битком.

Гости сидели за теми же столами, с которых только что убрали тарелки.

Ради случая, все принарядились, как могли. И все, затаив дыхание, смотрели туда, где вдоль стенки было освобождено пространство, которое, при желании, можно было принять за сцену.

Мама появилась из той же двери, за которой была ее служебная каморка.

Она была в черном платье, оттенявшем светлое облако завитых волос и жемчужное сиянье глаз.

И этот строгий наряд, как я теперь понимаю, должен был отделить ее, чтицу — чтоб никто не подумал, — от героини, горестную исповедь которой она намеревалась поведать.

— Михаил Голодный, «Верка Вольная», — сама объявила она.

Я обвел взглядом столы, которые были в круге моего внимания: а здесь ли тот парень, тот Ганс, ради которого — об этом я Уже догадывался, — она решила, хотя бы на один вечер, вернуться к артистическим увлечениям своей юности?

Да, он был здесь. Сидел, вытянув тонкую шею, вылупив от любопытства свои и без того лупоглазые гляделки.

Верка Вольная —
коммунальная жёнка, —
Так звал меня
командир полка.
Я в ответ
хохотала звонко,
Упираясь руками в бока…

Я отцу
меха раздувала.
Пил отец,
буянила мать.
Белый фартучек я надевала,
с гимназистом ходила гулять…

На той маленькой фотокарточке, где она снялась девочкой с косичками, гимназисткой, фартук был не белый, а черный.

И это тоже подчеркивало всю разницу, всю пропасть между моей мамой и той девицей, которую звали Верой, Веркой, у которой мать буянила. Ведь наша бабушка Шура такого себе никогда не позволяла. Да и кузницы, в которой раздувают меха, у нас не было.

…Год Семнадцатый
грянул железом
По сердцам,
по головам.
Мне Октябрь волос подрезал,
Папироску поднес к губам.

Куртка желтая
бараньей кожи,
Парабеллум
за кушаком,
В подворотню бросался прохожий,
увидав меня за углом…

Я еще раз взглянул на того парня, которого зовут Ганс, и только сейчас обнаружил — ну и ну! — что он явился на вечер художественной самодеятельности, посвященный Октябрю, с бантиком на шее. То есть, он был не просто при галстуке, а с бабочкой, в каких карикатуристы изображают в газетах недорезанных буржуев — ну и ну! — ладно хоть бабочка у него была красной, можно принять за революционный бант.

Я знал на память эти строки, которые сейчас с выражением декламировала моя мама.

Дома, на подоконнике, валялась тонкая расхристанная книжка поэта Михаила Голодного, в которой она и нашла это стихотворение. Вероятно, оно ей очень понравилось, иначе стала бы она твердить его наизусть?..

Готовясь к сегодняшнему вечеру, мама не просто повторяла его раз за разом, обращаясь в пустоту либо к зеркалу. Ей был нужен, конечно, живой и отзывчивый слушатель.

И этим слушателем был я: она усаживала меня на тахту, смотрела мне прямо в глаза, следя за тем, чтобы я не заскучал, не заснул невзначай.

Так что теперь и я уже знал наизусть это довольно длинное стихотворение.

И сейчас, заранее торжествуя, я ждал тех строк, где говорилось про одного молодца, который был «член компартии из

Уругвая» и который плакал: «Верко! Люби меня…»

Шел как баба
он к автомобилю,
По рукам было видно —
не наш.
Через год мы его пристрелили
За предательство и шпионаж…

Ну, как? Я вновь посмотрел на парня по имени Ганс, что сидел с дурацким бантиком на шее. Ну, что — теперь понял? Тут тебе не игрушки, а самая настоящая революция, не как у некоторых, за Альпами. У нас, учти, порядки строгие: чуть что… смекаешь?

Но он попрежнему улыбался, смотрел влюбленно и блаженно на чтицу, не замечая даже, что его боевые товарищи по застолью уже засекли это и, усмехаясь, подталкивали локтями друг дружку…

Впрочем, когда моя мама закончила чтение, они, как по команде, ударили в ладоши. Они устроили ей такую овацию, что я даже заподозрил, что они ничего не поняли. Что они даже не уразумели того, что Верка Вольная, героиня стихотворения, в конце концов застрелилась, покончила жизнь самоубийством. И здесь, конечно, надо бы плакать горючими слезами, а не веселиться…

Но они, повидимому, еще не очень хорошо понимали русский язык, не скумекали, что про что, до них это просто не дошло.

И они лишь отбивали в восторге ладони, кричали «браво!», иногда снисходительно поглядывая на своего товарища с красной бабочкой на шее, который тоже не скрывал своих чувств, рукоплескал горячо, и щеки его запунцовели, как у мальчишки, сравнявшись цветом с дурацким бантиком.

Мужские разговоры

Зигфрид Кюн пригласил меня в Яичный зал смотреть кинопробы.

Что за Яичный зал?.. Объясняю.

В ту пору, о коей сейчас зашла речь, по властной отмашке Никиты Хрущева развернулась борьба с излишествами и украшательством в архитектуре. Всю Москву, всю страну застраивали типовыми кварталами блочных и панельных пятиэтажек, которые в народе метко прозвали — *хрущобы*. А за любые попытки придать строениям свое лицо — за все эти башенки, колонны, карнизы, фризы и прочие эркеры, составлявшие роскошь сталинского ампира, — теперь жестоко наказывали, вот разве что не ставили к стенке…

Строгие взыскания впаяли и руководству «Мосфильма» за новые корпуса киностудии, вставшие лицом к Мосфильмовской улице. Украшенные изящной колоннадой, будто бы в пику плебейскому конструктивизму главного корпуса, они и сейчас загляденье. Но тогда…

Перепуганное руководство зареклось наводить красоту даже во внутренних помещениях. И когда случилась нужда ремонтировать один из старых просмотровых залов, кто-то предложил облицевать его стены копеечными пластмассовыми лотками, в которых продают в магазинах куриные яйца — рупь за дюжину — мол, это создаст отличную акустику, да и взглянуть приятно.

Залепили стены лотками, наружу донцами, покрасили зеленой сортирной краской. Ну, не Версаль, конечно, не Грановитая палата, зато никто не придерется.

Зал тотчас же обрел название — Яичный.

Мы с Зигфридом уселись в дальнем ряду. Он в нетерпеньи оглянулся на оконце киномеханика, но там что-то замешкались…

Я еще только входил тогда в свою новую роль — главного редактора огромной и всемирно известной киностудии, русского Голливуда.

Годом раньше переехал в столицу из отчаянной глухомани — с Крайнего Севера, из Ухты, из Коми АССР. Сперва меня пригласили на должность заместителя главного редактора журнала «Молодая гвардия». Дали квартирку в панельной хрущобе, в Новых Черемушках. Но отношения с верхами ЦК ВЛКСМ, с бандой Сергея Павлова, не заладились. И тут вдруг подоспело новое, еще более лестное предложение, уже от партийных верхов: возглавить сценарно-редакционную коллегию

«Мосфильма». Я согласился. Комсомол вздохнул с облегчением…

Конечно же, и на киностудии я ловил иногда на себе косые взгляды. Вот ведь — прямо из лесу, из тайги, с Северного полюса!.. С уха на ухо делились догадкой, что не иначе, как у парня *есть рука* на Старой площади. У меня хватило соображения не оспаривать этой догадки.

Киношное же старичье — Строева, Рошаль, Лопатинский, Солнцева — тотчас вспомнило моих родителей: ну, как же, как же, Евсей Тимофеевич Рекемчук, весьма интеллигентный человек, Лида Приходько, что за прелесть; сначала Одесса, потом Киев, а потом их всех перестреляли; вот, сынок остался — тоже, поди, нахлебался лиха; зато теперь…

К этому времени на «Мосфильме» уже были сняты две кинокартины по моим повестям, по моим сценариям: «Время летних отпусков» и «Молодо-зелено», их поставил Константин Воинов, прославившийся позже экстравагантной «Женитьбой Бальзаминова». Другой режиссер, Леонид Марягин снимал для телевидения короткометражки по моим рассказам: «Арбузный рейс», «Ожидания», опять же про Север…

Так что я не был уж совсем новичком на студии.

Но еще обретаясь на Севере, впервые сделал попытку уйти от этой темы. Решился — по секрету всему свету — поведать о том, что вынес из далекого детства. О чем ранее опасливо и, может быть, благоразумно помалкивал.

Именно в Ухте я написал киносценарий «Они не пройдут» — не по повести, не по рассказу, не по мотивам, а лишь по наитию — сразу киносценарий.

Он был опубликован в февральском номере журнала «Искусство кино» за 1963 год. Кстати, именно там заголовок оснастили восклицательным знаком — «Они не пройдут!», давая понять, что это лишь перевод знаменитого лозунга революционной Испании: «*No pasaran!*»

Мне позвонили из мосфильмовского объединения «Юность»: с вами хочет встретиться молодой немецкий режиссер Зигфрид Кюн… вы не видели его брехтовский спектакль «Карьера Артуро У и»?

Не видел. Но уже был наслышан: вся Москва гудела.

Мы встретились — тогда еще не на «Мосфильме», а в «Молодой гвардии».

Русоголовый, очень нашенского вида парень был семью годами младше меня. Он родился в тридцать пятом, в Бреслау, в Германии — да-да, в фашистской Германии. Но учился уже в новой Германии, в ГДР. Занимался в Высшей школе кино и телевидения в Бабельсберге, близ Берлина. А затем поехал в

Москву, в Институт кинематографии, к Сергею Аполлинарьевичу Герасимову…

«Карьеру Артуро Уи» он поставил именно во ВГИКе, силами студентов герасимовского курса, без опеки педагогов.

Эта пьеса (ее полное название — «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть») еще не ставилась, не публиковалась в Советском Союзе. Что-то смущало. Бертольд Брехт написал ее в 1941 году, находясь в эмиграции, спасаясь от фашизма — в Скандинавии, в США. Будто бы про Америку, будто бы про чикагских гангстеров, крышующих на рынке торговлю капустой («капуста» — доллары?..). Но было ясно, что это про Германию, про Гитлера, про его шайку.

Вскоре представился случай увидеть этот спектакль, его показали на сцене Театра киноактера.

И когда я потрясенно наблюдал, как мечутся по сцене, в масках, персонажи Брехта, мне вдруг пришла на ум еще одна, не предусмотренная автором аналогия: уж слишком схожи были эти шныри с теми шустрыми ребятами, которых я навидался в окружении румяного комсомольского вождя Сергея Павлова… Но я поспешил отогнать от себя эти крамольные мысли.

Заглавную роль во вгиковском спектакле играл Николай Губенко. Его лицо, повторю, было прикрыто рисованной карикатурной маской: скошенные глаза, мясистый нос, черные сопли усиков, босяцкая челка наискосок лба. Ну, Гитлер — Гитлер и есть.

Гвиолу, то бишь Геббельса, играл Сергей Никоненко. Остальные роли достались таким же безвестным покуда актерам и режиссерам нашего кино.

В прологе спектакля и в некоторых его кульминациях в зале вдруг вырубался свет, вспыхивал экран — и на его полотне начинали мельтешить кадры гитлеровской кинохроники: лес косо вскинутых рук — вперед и вверх, хайль Гитлер!; марширующие колонны штурмовиков со свастиками на рукавах; костры из книг, в которые вновь и вновь швыряют трепещущие страницами тома; ошалелые от восторга глаза малолетних барабанщиков; танки, утюжащие асфальт, «мессершмиты», взмывающие в небо…

Всё это сопровождалось бравурной музыкой нацистских маршей, от которой содрогались звуковые колонки, и вдруг ухо улавливало, что «Песня Хорста Весселя» почему-то слишком похожа на советский шлягер «Всё выше, и выше, и выше!..», сочиненный композитором Юлием Хайтом… Кто у кого сдул?

И опять на сцену выбегал тонконогий человечек в маске, с челкой наискосок лба, за ним — вся остальная хевра…

Мы вновь встретились с Зигфридом Кюном уже у меня дома,

в Новых Черемушках.

Он рассказал, как видится ему будущий фильм. Поделился своими прикидками в выборе актеров. Он не хочет, чтобы немцев, то бишь австрийцев, играли русские актеры, коверкая язык, как в лентах про войну: «Матка, млеко, яйка… шнель, шнель!» Хорошо бы пригласить на эти роли ведущих актеров с киностудии «Дефа». Кажется, вы едете на-днях в командировку, в Берлин? Попросите там, чтобы разрешили участие в нашем фильме Юргена Фрорипа — он мог бы сыграть главную роль, Ганса Мюллера. А его товарища по борьбе, шуцбундовца Карла Рауша, предавшего революционное дело, может сыграть Эрвин Гешоннек — лучший актер современной Германии. Его жену Эльзу — Хельга Херинг… Они будут заняты на съемках с июня по январь.

Я обещал изложить эти просьбы в Берлине.

Уже к концу беседы (кажется, мы выпили по рюмке за успех будущего фильма) Зигфрид Кюн, задумчиво глядя в окно, сказал:

— Вы знаете, я не предполагал, что эта тема окажется настолько актуальной. Что это так быстро вернется, что фашизм отвоюет свои позиции…

Спохватившись, что сболтнул лишнее, он поспешил уточнить:

— Конечно, я имею в виду *свою* страну.

Я смотрел на него оторопело: он что — подслушал мои мысли?

Впрочем, нет: он просто внимательно прочел мой киносценарий. Там всё это есть — и в тексте, и в подтексте.

Но я тоже имел в виду *свою* страну.

Из проекционной будки ударил в полотно луч света.

Щелкнула хлопушка: «Они не пройдут», пробы актеров, дубль первый…

Стайка мальчишек в кургузых пальтишках, в кепках с торчащими, по моде тридцатых годов, козырьками, сгрудилась на пятачке двора.

— Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар, аты-баты, что купили? аты-баты, самовар…

Это была считалка. Наверное, они собирались играть в прятки. Да так и было в моем сценарии, с этого всё и начиналось: прятки…

Едва справляясь с волнением, я стал заглядывать под развесистые козырьки ребячьих кепок: кто же из них будет изображать меня? Вон тот, курносый?.. Однако я тотчас себя же и одернул: почему — меня? Ведь он должен играть не меня, а моего героя, мальчика, которого в сценарии зовут Санька Рымарев… Откуда я взял эту фамилию? А-а, вспоминаю: у Ляли

Татариновой, Пушкиной жены, в Харькове была родня, которая жила на Рымарской улице, близ городского парка, я бывал там со своей мамой… А потом в северном городе Ухте я познакомился с человеком, офицером бронетанковых войск, который прошел всю войну и — угодил в лагерь, его звали Борис Рымарев. Это состыковалось: Рымарская улица — Рымарев… И еще: *рымарь* по-украински означает *рифмач*, поэт… в детстве и юности я, как и многие мои сверстники, сочинял стихи.

И вот на экране Санька Рымарев, прячущийся за дверью угольного подвала, высовывается удивленно: почему же его никто не ищет, не застукивает?.. Почему во дворе ни беготни, ни крика, а столь непривычная тишина?

Он видит: в кругу мальчишек стоит незнакомый человек в зеленой шляпе с перышком за шнурком, шея его повязана пестрым шарфом, а из-под этого шарфа выглядывает бабочка, буржуйский галстук… Незнакомец о чем-то расспрашивает дворовых мальчишек, а они никак не возьмут в толк, что он там лопочет?

Санька Рымарев крайне удивлен. Ведь он впервые видел этого человека, этого франта с дурацкой бабочкой на шее, с перышком за шнурком шляпы.

В отличие от меня: я-то уже не раз видел этого товарища в обеденном зале едальни «Инснаба», на улице Карла Либкнехта. Я даже знал, как его зовут — не в фильме, а в жизни — его звали Ганс.

Я знал. Но обязан был помалкивать. Потому что съемки фильма были еще впереди.

А покуда мы с режиссером Зигфридом Кюном смотрели в Яичном зале актерские пробы к будущему фильму.

Камера двинулась.

Санька Рымарев направляется к своим дружкам. Он слышит, как незнакомец всё пытается им втолковать что-то, с трудом выговаривая русские слова:

— Дом дры… квартира цвацет пят… Пошалюста.

— Что? Какая квартира? Вам кого надо? — Ребята лишь плечами пожимали. Вот с кем побеседовать — одно удовольствие.

Но тут вперед протиснулся четырехглазый толстый Марик Уманский, он в школе учил немецкий, круглый отличник.

— Шпрехен зи дойч?

— Яволь, — обрадовался незнакомец.

— Вас волен зи?

— Их зухе ди Шуравлоффка-штрассе, хауз нумер драй, воонунг фюнф унд цванциг, — он с надеждой смотрел на Марика.

— Журавлевка, дом три, квартира двадцать пять, — уверенно

перевел тот. — Так ведь это… к Саньке Рымареву!

Все мальчишки двора, как по команде, обернулись, посмотрели на Саньку, не пряча любопытства.

Санька понял, что ошибки нет. И что не стоит продолжать дармовое представление. Повернулся, сунул руки в карманы и, не говоря ни слова, двинулся к своему подъезду.

Незнакомец следом.

А по двору неслись ликующие крики:

— К Саньке иностранец пришел!

— Мистер Твистер.

— Харла-барла…

Я уже знал, что Зигфрид Кюн намерен снимать этот фильм не в Харькове.

Что он, опять-таки следуя сценарию, представит на экране некий условный город, в котором лишь самый дотошный зритель угадает Москву — ее Кривоколенные, ее Подколокольные переулки. Но, право же, экспедиция в Харьков либо какой-нибудь другой город обошлась бы слишком дорого, одних актеров — целая орава… И я, причастный теперь к руководству киностудии, обязан был считать бюджетные денежки.

Да я в ту пору и не был слишком строг к подлинности места действия.

И если «Время летних отпусков» Воинов снимал в окрестностях Ухты — то есть, в тех самых местах, которые описаны в моей повести, то уж для съемок фильма «Молодо-зелено» он выбрал роскошные пейзажи под Звенигородом: елки те же, а комарья меньше, и столица рядом. А ледоход на северной реке снимали где-то на Оби, на Енисее — там это смотрится грандиознее…

По той же причине, сознавая условность искусства, я и обозначил в своем новом киносценарии некий условный адрес дома, где проживали мои герои — Санька Рымарев и его мама, которую у меня звали Галей. Почему — Галя? Не знаю. Наверное, из протяжной хохлацкой песни: «О-ой, ты, Галю, Галя молодая…»

Но, возвратясь на миг к подлинности событий, я должен подтвердить, что вскоре после вечера художественной самодеятельности в столовке «Инснаба» мы с мамой, действительно, покинули свое пристанище на Малиновской улице и переехали — нет, не на Журавлевку, а в тихий переулок у Рыбной площади, где мама сняла комнату. Очень маленькую, скорей каморку, нежели комнату — на большее у нас не было денег. Да и много ли надо двоим?..

Но именно в эту каморку заявился однажды гость — не в

фильме, а наяву — тот самый парень с бабочкой на шее, который громче всех хлопал в ладоши, когда моя мама читала наизусть стихотворение о Верке Вольной, — я знал уже, что его зовут Гансом.

Хлопушка: «Они не пройдут», пробы актеров, дубль два…

Теперь они сидели за столом в этой крохотной комнатке и, прямо скажем, не без аппетита хлебали из тарелок украинский борщ со сметаной, которым их потчевала мама Галя.

Она опять отлучилась на кухню. И они остались вдвоем — двое мужчин, Санька и Ганс.

Но сколько же можно угрюмо молчать, сидя друг против друга? Надо бы затеять какой-нибудь приличный разговор. А о чем еще вести разговор мужчинам, если не о войне?

— Вот, когда вы там воевали… — нарушил молчание Санька. — Было страшно?

— Один раз… был страшно, — признался гость. — Когда мы, шуцбундовцы, уходиль в Чехословакай… На лыжи, через границ… был ночь, и это… фью-у-у-у…

Он засвистал, подобрав губу. Рукой закружил в воздухе.

— Буран? — подсказал Санька.

— Зихер. Бу-ран… Мы нитшего не видеть, а сзади нас стрелять жандармы… Абер… но они тоже нитшего не видеть. Пуф, пуф — не попаль…

Он засмеялся.

Но мальчик не стал ему подхихикивать. Спросил строго:

— Зачем же вы удирали? Вот вы удрали — и там теперь Гитлер, фашисты…

— Нет, в Австрии не Гитлер, а Дольфус. Но он тоже фашист…

Очень странно, но здесь, в этой комнатушке, за обеденным столом, гость объяснялся по-русски куда уверенней, нежели там, во дворе. Во всяком случае, они вполне понимали друг друга.

А тут мама Галя принесла с кухни жаркое и, щедро выкладывая его на тарелки, поведала сыну.

— Представляешь? У него высшее техническое образование. Там, в Вене, он работал инженером. А здесь — стал к станку, будто простой фабзайчонок…

— О, рихтиг! — понимающе закивал гость. — Но сдэсь, в Советски Союз — кто ест власт? Работши класс, диктатур пролетариат, да?.. — Он ткнул себя пальцем в грудь. — Их виль… я тоже хотеть быть — работши класс. Пролетариат!

Санька едва куском не подавился: ишь, пролетарий выискался! С эдакой буржуйской бабочкой…

Маму Галю тоже разбирал смех.

Не сдержал хохотка и Зигфрид Кюн, сидевший со мною рядом. Выжидающе покосился сбоку: нравятся ли автору актеры? Не всё еще, конечно, гладко, ведь это — кинопробы…

Да, я знал по личному опыту, что такое кинопробы. На всю жизнь запомнил, как в павильоне Одесской киностудии мне, ребятенку, влепили исподтишка по голой заднице — для реализма, чтобы я заплакал. Ладно, дело прошлое.

Мне нравились актеры, которых пригласил для участия в фильме режиссер.

В первую очередь это касалось маститого Юргена Фрорипа, который, как и было договорено в Берлине, приехал сниматься в Москву.

Я мог лишь дивиться тому, что он даже внешне обладал непостижимым сходством с тем подлинным и еще живущим на свете человеком, который послужил прототипом Ганса Мюллера. На самом деле его звали Ганс Нидерле, в русском обиходе — Ганс Иоганнович Нидерле.

Те же густые темные брови при светлой шевелюре; те же тонкие, но не злые губы, умеющие расплываться в широкой улыбке; та же лепка лица; тот же рост, та же молодцеватая стать спортсмена… Правда, он был несколько старше того Ганса, которого я увидел впервые в столовке «Инснаба», а потом, в своем киносценарии, привел во двор условного дома на условной Журавлевке… Ведь тому, который был на самом деле, едва перевалило за двадцать, и выглядел он еще совсем мальчишкой, смущенным, влюбленным. А этому, на экране, было явно за тридцать… Но и здесь режиссер был обязан учесть, что действие фильма охватывает десяток лет — там и одна война, и другая, и третья, — а человек, попавший в такие передряги, остается самим собой, лишь черты его лица становятся жестче и умудренней, лишь виски его пробивает ранняя седина…

Сгодилось, как того и хотел режиссер, весьма приблизительное знание актером русского языка, хотя он и приехал из ГДР, где владение этим языком считалось признаком добропорядочности. Вот уж кому не надо было обладать особыми профессиональными навыками, чтобы забавно и самым натуральным образом коверкать русские слова. Юрген Фрорип на самом деле выговаривал их с трудом, с мучительной натугой. И не в укор будь сказано, что он их совсем не знал, а лишь заучивал наизусть по бумажке, где русские слова были записаны латинскими буквами, и порою они у него напрочь вылетали из памяти, и тогда оставалось лишь прибегать к языку жестов.

Это весьма наглядно проявилось в момент моей первой

встречи с немецким актером в студийном коридоре.

Мы с Леной Циниой, редактором будущего фильма (да, это именно она звонила мне в «Молодую гвардию»), спеша на съемочную площадку, столкнулись нос к носу с выходящим из гримерки Юргеном Фрорипом. Он был в гриме, в пальтеце с шарфом, в шляпе с перышком, с той самой дурацкой бабочкой на шее. Он шел прямо на нас…

Лена Цицина, зардевшись, как обычно, при встрече с красивым мужчиной, тем более — иностранцем, и уже зная, что он по-русски ни бум-бум, только по бумажке, всё-таки не растерялась, а приветственно, хотя и шутливо вскинула над плечом сжатый кулак: мол, салют, товарищ, рот фронт!..

На что Юрген Фрорип, тоже, конечно, в шутку, но, вместе с тем, давая понять, что кое-что знает про фильм, в котором будет сниматься, — остановился, выпятил грудь колесом, щелкнул каблуками и вскинул вытянутую наискосок руку — вперед и вверх! мол, хайль Гитлер, дорогие товарищи!..

Вот в такой балаганной обстановке и произошло наше знакомство.

Но впоследствии все убедились в том, что приглашение знаменитого Юргена Фрорипа на роль Ганса Мюллера было попаданием в точку.

Очень понравился мне и мальчик, тот, что пробовался на роль Саньки Рымарева.

Мальчика звали Женей Герасимовым. Нет, он не состоял в родстве с вгиковским Герасимовым, у которого учился Зигфрид Кюн, просто однофамильцы.

К моменту съемок ему уже исполнилось двенадцать лет. То есть, он был почти вдвое старше того героя, которого ему предстояло сыграть, если утвердят пробы. Но, опять-таки, следовало учесть, что события в фильме «Они не пройдут» были растянуты на добрый десяток лет, если, конечно, этот десяток, эти годы можно считать добрыми. Ведь дети очень быстро растут, и если на каждый годок брать нового исполнителя, то актеров, уж точно, не напасешься.

Кроме того, сейчас, глядя на экран в Яичном зале, я вдруг подумал, что это даже лучше, что на роль Саньки Рымарева взяли не шестилетнего мальчугана, а постарше, двенадцатилетнего, уже подростка — не так жалко будет смотреть, как этот несмышленыш барахтается в пучине жизни…

На всякий случай, Женю Герасимова обрядили в куцее пальтишко с рукавами едва ли не по локоть, а на голову ему нахлобучили кепку с огромным козырьком, аэродромом. В этом наряде, скрадывающем возраст, он вполне мог сойти сначала за

детсадовского малютку, а потом, попозже, за школяра начальных классов.

Был ли он похож на меня?

Нет, ничуть.

Тонколицый трепетный мальчик с печальными глазами. В его породистом лице не было и намека на мой нос картошкой, на мою россыпь веснушек, на мои уши торчком. Скорей в нем было неожиданное сходство с моими двоюродными братьями — Юрой и Колей Приходько, — это у них были такие же тонкие лица, как у нашей общей бабушки, а я-то весь в деда.

Но, положа руку на сердце, нужно сказать, что этот юный актер вовсе и не был обязан обладать фамильным сходством с автором сценария или его двоюродными братьями.

Он должен был, прежде всего, походить на своего героя.

Он должен был соответствовать тому Саньке Рымареву, каким его представлял себе режиссер Зигфрид Кюн.

Забегая вперед скажу, что этот мальчик, Женя Герасимов, когда он вырос и стал Евгением Герасимовым, сделался очень известным актером нашего кино, сыгравшим главные роли в фильмах «Подросток», «Рожденные бурей», «Вам и не снилось», «Точка, точка, запятая…», «Романовы — венценосная семья», «Петровка, 38», «Огарева, 6». Он стал заслуженным артистом России, лауреатом, попробовал свои силы в режиссуре, а позже ударился в политику, стал депутатом Мосгордумы…

Но Санька Рымарев в фильме «Они не пройдут» был его первой ролью.

Вообще, Зигфрид Кюн оказался удачлив в выборе актеров.

Очень важную роль Алексея Якимова, директора тракторного завода — завода, который на самом деле выпускал танки, — человека, арестованного в 1937 году, а позже павшего на фронте рядовым солдатом, — сыграл Сергей Столяров.

Былинный молодец Садко в «Садко», Руслан в «Руслане и Людмиле», Алеша Попович в «Илье Муромце», Иванушка в «Василисе Прекрасной» — таким захотел видеть его в своей картине немецкий режиссер.

Но, вероятней всего, этот выбор был определен образом Мартынова в классической ленте Григория Александрова «Цирк». Весь в белом — таким запомнился миллионам зрителей Сергей Столяров в этом фильме. Белый свитер, подчеркивающий мужественный стан; белый комбинезон — предтеча одеяния космонавтов — в смертельном номере полета под куполом цирка; и особенно эффектный контраст, когда он прижимает к груди черного ребенка белой женщины, бедняжки Марион Диксон, негритенка, которого сыграл маленький Джим Паттерсон, он еще

появится в нашем повествовании…

Софью, жену Якимова, сыграла Инна Макарова, заводная Любка Шевцова из герасимовской «Молодой гвардии». Эпизодическую роль старика-вещуна, сообщившего героям фильма о том, что началась война — одну-единственную фразу — произнес легендарный Петр Алейников, и это была последняя роль в его жизни.

Маму Галю сыграла Людмила Шпара, актриса вахтанговского театра.

Выделю еще среди исполнителей Эрвина Кнаусмюллера, которому в фильме «Они не пройдут» доверили роль одного из вождей Австрийской компартии. Насколько я знаю, он и в реальной жизни принадлежал к той же плеяде антифашистов-коминтерновцев, что и Ганс Мюллер, что и его прототип Ганс Нидерле. Он тоже связал свою судьбу с Советским Союзом, сыграл в кино множество ролей импозантных немецких генералов и фельдмаршалов, жил в Москве на Фрунзенской набережной, Рядом со мною, мы иногда встречались.

И еще один важный штрих.

В эпизоде первомайской демонстрации, где-то на Садовом кольце (я думаю, что снимали настоящую демонстрацию), Зигфрид Кюн изловчился вклинить в кадр того типа в маске с усиками, с босяцкой челкой — Артуро Уи, Адольфа Гитлера, — которого сыграл во вгиковском спектакле Николай Губенко. Он и здесь был клоуном, потешающим толпу: то подопрет бока, расставив локти, то затрясет кулаками в воздухе, то выкинет руку вперед и вверх…

Этот площадной бурлеск показался мне вполне уместным в фильме: он как бы перебрасывал мостик из брехтовской пьесы в наши дни.

Когда в июле 1964 года я впервые вошел в кабинет главного редактора «Мосфильма», на письменном столе лежала записка именитого предшественника: «*Саша, сценарный портфель пуст. Желаю успеха. Лев Шейнин*».

Стоит ли говорить, что буквально с первого же часа меня взяла в оборот и больше не отпустила круговерть неотложных дел, которые, признаюсь — в том-то и стихия, и соблазн кинематографа! — были захватывающе интересны.

Позвонил из Отдела культуры ЦК КПСС Георгий Иванович Куницын, человек взрывного нрава, эдакий номенклатурный протопоп Аввакум: «Ты читал сценарий „Страсти по Андрею?“ Он опубликован в журнале „Искусство кино“… Хорошо, что понравился. А почему он до сих пор не запущен в производство?

Готовьте представление в Госкино!..»

Пришел Сергей Федорович Бондарчук, только что завершивший титанический труд — экранизацию «Войны и мира». Устроившись в кресле, заговорил о том, что устал безмерно. Что хотел бы теперь взяться за фильм не слишком громоздкий, не батальный, а за фильм камерный, умиротворенный, может быть о любви… Нет, не Тургенев. Нет, не Гончаров. «А если Бунин?» — осторожно подсказал я. — «Бунин?..» — глаза его просияли, повлажнели. Назавтра я принес ему томик «Темных аллей», изданный за рубежом — тогда у нас это слыло еще эмигрантской крамолой. Но Бондарчуку уже не дали сойти с орбиты эпического кино: «Ватерлоо», затем «Красные колокола», «Они сражались за Родину». Встреча с давним знакомцем, поэтом Евгением Евтушенко. Завершен фильм «Я — Куба», снятый по его сценарию режиссером Михаилом Калатозовым и гениальным оператором Сергеем Урусевским. «Есть новые планы?» — «Есть. Мне предлагают сняться в роли Сирано де Бержерака, да-да, в качестве актера! Но возникли препятствия…»

Режиссер Георгий Натансон положил на стол киносценарий «Еще раз про любовь», по пьесе Радзинского. Не вдаваясь в подробности, произнес лишь две магические фразы: «В главной роли — Татьяна Доронина…» И: «Смета — сто сорок тысяч рублей». Я мысленно подсчитывал, сколько же денег, сэкономленных на этой ленте, заведомо обреченной на зрительский успех, можно перекинуть на сверхзатратного «Андрея Рублева»…

И еще один визит.

Пришел известный киноактер, в которого я — с детских лет, как, впрочем, и все! — был влюблен. Копна русых волос, неотразимая улыбка, богатырский разворот плечей. Весь в белом.

Сели к журнальному столику, и он, бдительно оглядев потолок и стены, наклонясь ко мне, сообщил:

— На студии — засилье жидовья. Большинство режиссеров, половина операторов, а уж директора картин — так сплошь!..

Перечислил имена и фамилии, удостоверяющие сей факт.

В конце разговора добавил, что все надежды на избавление от этого лиха связывает исключительно со мной.

Проводив его до двери, я сказал:

— *Я вас понял*.

Понял ли он, *что* понял я?

А тут раздался телефонный звонок: Михаил Ильич Ромм пригласил зайти в монтажную, посмотреть склейку новой части «Обыкновенного фашизма».

Я часто бывал в этой монтажной, поскольку, кроме обязанности визировать все заглавные и промежуточные титры картины, надо было знать и авторский текст, который свободно, без бумажки, наговаривал для записи режиссер, наблюдая на экране мелькание документальных кадров.

Иногда мне казалось, что в ленте Ромма был использован тот же самый архивный материал кинохроник Третьего Рейха, который я уже видел у Зигфрида Кюна — те же планы помпезных факельных шествий, те же броские ракурсы знамен со свастикой, которые столь вдохновенно и увлеченно снимала любимица фюрера Лени Рифеншталь.

Но сейчас на полотне были не знамена, не шествия, а была колючая проволока Освенцима, к которой льнули изможденные лица узников в полосатых робах с шестиконечной звездой Давида на груди. Совсем молодые и очень старые, они смотрели в объектив кинокамеры, будто бы зная, что их прощальные взгляды останутся запечатленными навек.

Щелкнул рычажок пульта, зажегся свет.

Михаил Ильич жадно затянулся папиросой, курил он нещадно.

Потом спросил:

— Вы читали «Майн Кампф»?

— Нет, — покачал я в ответ головой.

— А я читал! — торжествующе, даже с некоторой гордостью сообщил режиссер.

— Где взяли?.. — кротко осведомился я.

— Я сказал в ЦК, что мне это необходимо для работы, по теме фильма. И мне дали. У них есть. В Спецхране есть и на немецком, и в русском переводе. Я читал на русском.

— Ну и как?

Ромм, уставив очки в пустой экран, где только что были скорбные глаза узников Освенцима, а теперь там уже ничего не было, пустое полотно, прогудел:

— У-у…

Но тотчас встрепенулся, будто сбрасывая тяжесть с плеч, мрачно хохотнул, сказал жестко:

— Обыкновенный фашизм.

Тот эпизод в моем киносценарии, где парень с буржуйской бабочкой на шее, которого зовут Ганс Мюллер, приходит в гости на Журавлевку отведать украинского борща, заканчивался так.

Санька Рымарев, хмуро утерев рот салфеткой, буркнул «спасибо», выбрался из-за стола, направился к двери.

Мама Галя вышла следом.

— Куда ты?

— Гулять.

Наверное, Санька, ждал, что она не разрешит. Что она скажет: «Хватит. Уже нагулялся сегодня», — и отберет кепку.

Но вместо этого, она лишь отвела взгляд в сторону, спросила:

— Может быть, ты хочешь пойти в кино?

Потянулась рукой к карману своего пальто, достала оттуда смятую рублевку.

— Не надо…

Отворив дверь, мальчик с прыжка повис на перилах лестницы и покатился стремительно, минуя этажи.

Уже снизу увидел: она стоит на площадке, согнувшись над пролетом, смотрит ему вослед.

— Ты недолго!

Но Санька ничего не ответил.

Он знал, что за него ответит гулкое лестничное эхо. Оно само переиначит брошенную ею фразу и вернет обратно: «…долго».

Так было в моем киносценарии.

Еще там следовал долгий проход по городу — в дожде, в непрогляди ранних сумерек — насупленного мальчика, вдруг ощутившего себя лишним. Третьим лишним.

А в жизни всё было иначе.

Через месяц или через два после появления гостя с бабочкой в нашей комнатенке у Рыбной площади, мама сказала:

— Я выхожу замуж. Да, за него, за Ганса… Там есть сложности, ведь у него пока еще нет советского гражданства. Но это решено.

Решено — так решено.

— Вчера я позвонила твоему отцу. Мы договорились, что ты поедешь к нему в Киев.

— Насовсем?

— Нет. Я думаю — на месяц, два. А там посмотрим.

Собраться дело нехитрое.

Мы отправились на вокзал.

Мама посадила меня в жесткое купе, где уже сидело трое посторонних мужиков. Она попросила их присмотреть за мною в пути, дала им рубль, чтобы они не забыли о ее просьбе.

Поцеловала меня, погладила по головке, еще помахала рукою с перрона, — и поезд двинулся.

Мужики раскупорили бутылку водки, облупили себе по яйцу, нарезали хлеба.

Один из них, чтобы развлечь меня, спросил:

— На Кавказе бывал?

— Бывал.

— Шашлык едал? — подмигнул он.

Я смутился и ничего не ответил.

Дело в том, что я на самом деле, несмотря на свой юный возраст, успел побывать и в Крыму, и на Кавказе. В одну из затяжных командировок отца, чтоб нам не киснуть, мама купила билеты на пароход, и мы из Одессы поплыли по Черному морю.

Я повидал Севастополь, Ялту, Медведь-гору, дворец в Ливадии, Ласточкино гнездо на высокой скале. Дохлого ската, похожего на блин с хвостом, который болтался в волнах у причала. Бамбуковую удочку, которая росла прямо из земли, еще в листьях. Потом мы приплыли в Батум — а это был уже настоящий Кавказ, — мама повела меня в Ботанический сад, и там меня сфотографировали сидящим, как турок, поджав под себя ноги, на каменном грибке, — у меня до сих пор хранится эта фотография.

И конечно же, там, на Кавказе, мне довелось попробовать настоящий грузинский шашлык: на железном шампуре, с луком, с перцем, прямо с огня, дымящийся, очень вкусный.

Так что я мог ответить утвердительно и на второй заданный вопрос.

Но мне показалось, что он был задан в какой-то неприличной форме, с подковыркой, — и я не стал на него отвечать.

Я даже пожалел о том, что мама дала деньги этим дуракам за то, чтобы они за мною присматривали — целый рубль! — а они тут водку пьют и говорят глупости.

Я уселся поудобней на краю своей, уже застеленной нижней полки, и стал смотреть в окошко на то, как взмывают и опадают, от столба к столбу, телеграфные провода. Небо уже меркло.

А мои соседи по купе распечатали еще одну бутылку, облупили еще по одному яйцу, и опять взялись меня развлекать.

— На Кавказе бывал?

— Бывал.

— Шашлык едал?

— Спокойной ночи, — сказал я, забираясь под одеяло.

Легенды

Крещатик

Проснулся, услышав, как колеса поезда гулко грохочут над бездной.

Мост, догадался я. Мост над Днепром. Мы подъезжаем.

Почему-то первой заботой было — успею ли побриться? Провел ладонью по щеке, она уколола отросшей за ночь щетиной, седоватой даже наощупь. Ну, ладно, побреюсь в гостинице…

Выглянул в окошко.

Открывшийся глазам пейзаж был знакомым до боли: плавный раскат реки, россыпь куполов Киево-Печерской лавры, круча Владимирской горки с угадываемой статуей и крестом.

Но были и другие приметы, отпугивающие новизной: металлическая радуга, похожая на школьный транспортир; победный монумент среди парковой зелени; а им ведь, поди, тоже немало лет.

Я не был в Киеве полвека.

И мост, которым мы неспешно пересекали Днепр, был мостом из прошлого в настоящее.

Или наоборот: из настоящего в прошлое, это как посмотреть.

Сойдя на перрон, скользнул взглядом по обшивке вагона с четкой надписью — МОЛДОВА, — наш фирменный поезд следовал дальше. И я подумал, что вот, надо бы ехать до самого конца, точней — до самого начала, в те места, откуда родом мой отец, и лишь оттуда двинуться по восходящей.

Но слава богу, что хоть сюда, в Киев, я выбрался в кои веки. А уж туда, в Бессарабию, может статься, я так никогда и не выберусь.

Встречавший меня на вокзале молодой человек из литературно-музыкального театра «Academia», Илья Винник, с хода атаковал вопросами: Юнна Мориц тоже приехала? А Николай Шмелев? А Приставкин?

Я вынужден был огорчить его: увы, никто из них не смог приехать, хотя собирались многие. Ведь это Киев! Ведь это такая счастливая возможность! А Юнна Мориц вообще отсюда родом… Но в последний момент у всех возникли обстоятельства, помешавшие приехать… Скажите, в свою очередь спросил я его, а Городницкий приехал? Да, отвечал он, Городницкий уже здесь… Отлично, подумал я, всё-таки выступать вдвоем лучше, чем одному. Не так страшно. К тому же Александр Городницкий — бард, он поет под гитару свои славные песни, и это куда интересней публике, нежели слушать мои россказни о том, что они уже и так знают, видели по телевизору…

Нас ждет такси, сказал Илья, когда мы выбрались из толчеи на привокзальную площадь.

Добравшись до гостиницы «Москва» (тогда она еще так называлась, а вскоре, в пику москалям, ее переименовали в «Украину»), я закинул чемодан в номер на одиннадцатом этаже и, не мешкая, отправился на Крещатик.

На площади, что в самом центре, увидел палатки пикетчиков, над которыми развевались желто-голубые флаги.

Вспомнилось, что такие же полотнища витали над колонной, которая двигалась через Крымский мост вслед за писательским «Апрелем», несшим транспарант «Фашизм не пройдет!» А сзади топали монархисты с хоругвями. Это была знаменитая миллионная демонстрация в Москве, уже не оставлявшая сомнений в том, что страсти разыгрались не на шутку…

Я с трудом оторвал взгляд от палаток и мятежных флагов на площади, сделав при этом выговор самому себе.

Я сказал самому себе, что если мне не удастся хотя бы на несколько дней, которыми я располагал в Киеве, выключить из сознания всю эту круговерть идущих и назревающих событий — всю эту *перестройку*, всю эту *гласность* — то я не смогу сосредоточиться на том главном, ради чего сюда приехал: на прошлом, на образах и деталях давно минувших лет, которые не менее важны для истории и для людей, угодивших в эту историю.

Всё, сказал я самому себе, полная отключка!

Сейчас на дворе не девяностый, а тридцать второй.

Мы только что приехали из Одессы в Киев — еще все вместе, до развода, папа, мама и я, такое счастливое семейство.

Служебная машина отца привезла нас с вокзала на Крещатик — вот сюда, к Пассажу, где нам предстоит жить.

Но прежде, чем мы войдем в затененное каменное ущелье, я увижу — прямо на улице, прямо на свету, под ярким солнцем, средь бела дня — людей, валяющихся на тротуаре в скрюченных позах, в лохмотьях, которые пошевеливал ветер.

«Они пьяные?» — пораженно спрошу я маму. «Нет, они мертвые», — глухо ответит она. «А от чего они умерли?» — спрошу я боязливым шепотом. «От голода», — скажет она.

Отец промолчит.

На Крещатике лежали мертвецы, как десять лет спустя будут лежать на Невском, в блокадном Питере.

А мимо них, стараясь не смотреть, сновали прохожие. Некоторые забегали в Пассаж, делать покупки. Другие спешили на Бессарабку, на рынок, который шумел поблизости. Интуристовские «Линкольны» цвета кофе с молоком выгружали

седоков у гостиницы «Континенталь», туристы бежали к подъезду, помахивая фотоаппаратами и сумочками, брезгливо огибая кучи лохмотьев на тротуаре.

Отцу дали квартиру на пятом этаже.

Подъезд выходил во двор, в близлежащий переулок. Туда же был обращен балкон одной из комнат. Соседи рассказали, что недавно с этого балкона жилец, живший тут до нас, бросился вниз, перед тем крикнув дворнику: «Подмети меня!..»

Впечатленный этим не меньше, чем мертвецами на Крещатике, я боялся выходить на балкон.

Предпочитал смотреть на мир из окон другой комнаты, выходивших прямо в торговые ряды Пассажа.

Напротив наших окон тоже были окна — *визави*, как говорила мама, — там тоже жили люди, и они тоже очень любили смотреть в окна, наблюдая быт соседей напротив. Наверное, это было для всех таким же привычным развлечением, как в наши дни телевизионные сериалы: одни и те же персонажи, типовая интрига, предсказуемые события, неожиданные развязки — вдруг кто-то кинется с балкона…

Квартира понемногу приобретала обжитой вид. Появилась осанистая мебель, книжные полки заполнялись фолиантами, стены украшались живописными полотнами в старинных рамах, в углу столовой нашла себе место большая китайская ваза с павлинами.

Я впервые очутился среди подобной роскоши, если иметь в виду недавний скудный быт на Гимназической улице в Одессе или в лачуге на Малиновской в Харькове, а ведь больше я нигде пока не жил.

Но, вместе с тем, я не думаю, что мой отец к той поре столь уж сильно разбогател.

Об этом можно судить хотя бы по тому, что часть нашей квартиры снимал пожилой американец мистер Браун, который приехал в Советский Союз делать свой бизнес, он жил здесь с дочерью Стеллой, хорошенькой барышней, научившей меня говорить «гуд бай».

Здесь нужно обязательно учитывать, что все профессии и все должности моего отца были *крышей* для той главной работы, которой он занимался. И можно предположить, что та показная роскошь, в которой мы теперь жили — все эти живописные полотна, фолианты, вазы с павлинами, да и сама квартира в Пассаже, — что они тоже были *крышей*, своего рода декорацией для его таинственной деятельности во имя пролетарской революции.

В ту пору, как уже было сказано, отец работал директором гостиницы «Континенталь».

И было совершенно естественно — и для тех времен, о которых идет речь, и для нынешних, и, как я полагаю, для будущих, — что семья в своем полном составе ежедневно обедала в гостиничном ресторане.

Уж не знаю, как улаживался вопрос с оплатой счета: то ли отец выкладывал наличные, то ли ему записывали в тетрадку, до получки, то ли кормили бесплатно — просто из уважения к директорской должности.

Не помню и того, чем кормили.

Может быть, память намеренно стерла эти обеденные меню, уловив их кощунственность рядом с телами умерших на Крещатике.

Помню другое.

В вестибюле гостиницы бил фонтан: пенные струи взлетали над горловиной, рассыпаясь хрустальными брызгами.

А на пузырящейся воде, в круглой чаше фонтана, лежали плашмя зеленые листья кувшинок и плавали в воде сами цветки, нежнобелые лилии с сочными стеблями, упоенные обилием влаги.

В большом, как вокзал, ресторанном зале головокружительно высокий потолок сверкал серебром. Он был как бы зеркалом, в котором отражались рожки люстр, белые скатерти столов, разноцветье блюд и бокалов, головы людей — в том числе моя рыжеволосая голова.

Я потянулся к отцу, сидевшему рядом со мной, и спросил: где взяли такую красивую серебряную краску? И почему ее нету в моем ящичке с акварелью, которой я вдохновенно пятнал страницы альбома?

Отец, воздев глаза к потолку, отвечал, что это, наверное, не краска, а обертки с шоколадных конфет, фифцерки, наклеенные на потолок. Вот если с конфеты снять фифцерку и раскатать ее ноготком на гладком столе, так, чтобы исчезли все морщинки, так, чтобы листок засиял, зазвенел, — а потом этот листочек приклеить к потолку, а рядом еще и еще, — но для этого нужно съесть очень много конфет, не сразу, конечно, и не выбросить ни одной обертки, — то вот тогда и будет такая потрясающая красота, такая невиданная роскошь, как в «Континентале», — объяснял мне отец.

При этом он улыбался — может быть, столь зло шутил.

Но я еще очень долго — при нем и уже без него — копил в коробочке разглаженные ногтем серебряные обертки от конфет — увы, не столь уж часто они мне доставались! — и всё мечтал, что

когда-нибудь у меня будет собственный дом, а в нем огромный зал с высоченным потолком и, может быть, даже с фонтаном, а в нем, на глади воды, будут плавать зеленые плоские листья кувшинок и белые цветы с сочными стеблями, — а потолок зала я оклею сияющим серебром…

Но потом, в бессчетных переездах, эти серебряные бумажки затерялись и мечта не сбылась.

Что до отцовских шуток, то я полагаю, что он таким образом тешил свой острый парадоксальный ум, свое взрослое тщеславие.

И еще, я думаю, он приучал меня с самого раннего возраста улавливать двойственность мира, в котором нам выпало жить.

Однажды дома он читал газету, а я вертелся рядом, пытаясь привлечь его внимание и, сопоставив буквы на листе разворота, спросил его:

— В «Правде» пишут правду, а в «Известиях» врут?

На что он отвечал:

— Бывает, что и в «Известиях» пишут правду. А бывает, что и в «Правде» врут…

Будучи человеком, причастным к журналистике, он не решался открыть мне, что врут всегда и везде.

В другой раз я пристал к нему с похожим вопросом:

— В цирке — клоуны, а в церкви — покойники?

— Бывают и в церкви клоуны. А бывают и в цирке покойники… — отвечал он.

И я обмирал душой, улавливая сложность окружающего мира.

Однажды мы все втроем — отец, мама и я, ведь тогда мы еще были вместе, — погожим летним днем купались в Днепре.

Наверное, обратно следовало идти тем же пологим, наискосок крутизны, песчаным спуском, которым спускались к воде.

Но отец, измерив взглядом обрыв, как бы просчитав все риски и все выгоды, тоном, не допускающим возражений, приказал: поднимаемся здесь, напрямик, за мной!.. И полез первым.

Ему-то, конечно, хорошо было: высокому, длинноногому, поджарому. Но и то он двигался вверх короткими стежками, зигзагами, иногда цепляясь за ползучие ветви кустарника, — еще метр, еще полметра…

Мама покорно, молча, может быть кляня его сквозь зубы, карабкалась следом.

А мне было всех трудней. Потому что я был тогда совсем еще мал росточком — всего лишь четырех лет отроду, — и, соответственно, эта днепровская круча была для меня куда протяженней, чем для взрослых. И мне, к тому же, была совершенно непонятна цель этого мучительного и жертвенного

восхождения.

Сандалии подворачивались, коленки уже были в ссадинах, я цеплялся за гривки кустящейся травы, а трава эта резала пальцы, я пыхтел, изнемогал, надрывался, — молящим взглядом измерял оставшееся до верха расстояние: еще не конец? нет, еще очень далеко до конца… — и, не сдержав отчаяния, разревелся в голос.

Отец мгновенно оказался рядом.

Взял меня за ручонку и потащил вверх, короткими шажками из стороны в сторону — сюда, теперь сюда…

При этом он приговаривал вполголоса:

— Чем хуже, тем лучше.

И опять, уже под кромкой обрыва:

— Чем хуже, тем лучше!

Потом эту фразу припишут Троцкому, будто именно он ее выдумал.

А моего отца, помимо прочего, обвинят в троцкизме.

Гораздо позже это восхождение, запавшее мне в память, дополнится рассказом Веры Павловны Строевой в мосфильмовском кабинете: про то, как в Одессе он ставил меня, годовалого, едва умевшего ходить, на парапет морского пирса, незаметно убирал руки — и я делал шажок по каменному лезвию, еще шажок, — все обмирали от страха, а он приговаривал: пускай учится… мало ли что ему выпадет в жизни!..

Таковы были его уроки.

Вряд ли он хотел, чтобы и я стал шпионом. Ведь он уже знал, сколь горек тот хлеб.

И вот теперь, когда уже и для меня близок конец этого, так сказать, *парапета*, — и когда уже близок край той днепровской кручи, одолеваемой с самого низу, — когда по прожитым годам я оказался вдвое старше своего отца, — когда уже не я ему гожусь в сыновья, а он мне, — поневоле в голове роятся вопросы того же риторического плана, которыми я донимал его в детстве.

«Послушай, отец… Ведь ты, в отличие от меня, человек умный. Что же тебя толкнуло тогда на этот безумный шаг — вернуться в Россию? Уехать из беспечного Парижа в ополоумевшую большевистскую страну! Зачем ты приехал сюда? На что надеялся? Что искал? Что искали здесь подобные тебе люди,

Ведь ты был не один такой… Тюремную решетку? Пулю в затылок?»

И, отирая стариковские слёзы, слышу ответ.

«Видишь ли, мальчик… Можно и в Париже схлопотать пулю затылок. А можно и в России прожить жизнь беспечно, припеваючи… Правда, нам с тобою это не слишком удалось».

Совершенно секретно

Я поднимался от Крещатика к Владимирской по узким улочкам, спотыкаясь о булыжины старой мостовой, то и дело озираясь, узнавая и не узнавая лики зданий.

Вдруг вспомнил, что именно здесь, где-то здесь, должна быть Костёльная и дом, в котором жил отец в свои последние годы.

Я тоже там жил некоторое время, когда мама, вновь выходя замуж, отослала меня к отцу.

Где же она, Костёльная? Как она теперь называется? То ли Челюскинцев, то ли Папанинцев, то ли Чкалова… Где тот дом?

Шел в раздумьях.

Не скрою, что я долго колебался, прежде чем написать письмо в Комитет госбезопасности.

Я слишком хорошо знал (не понаслышке, а по собственному опыту), чем заканчиваются эти наивные запросы.

Еще совсем молодым пареньком, написал подобное же письмо в обком партии: «Прошу выяснить, где мой отец…» Выясняли месяца два. Всё выяснили. Враг народа. Шпион иностранных разведок. Расстрелян.

Сказали — уже мне: партийный билет на стол, журналистское удостоверение на стол, свободны… пока свободны…

Есть что вспомнить.

Но тогда я был молод.

А теперь возраст диктовал: поторопись, старче!.. Уже поздно откладывать на завтра. Есть ли у тебя в запасе это завтра? Да и есть ли оно вообще?..

События последних месяцев взбудоражили страну. Горластые миллионные демонстрации у самого порога Красной площади в Москве. Палатки пикетчиков, хоругви бандеровцев на главной площади Киева. Танковые гусеницы в Вильнюсе, саперные лопатки в Тбилиси, автоматные очереди в Алма-Ате…

Крутые времена. Чуть что — всё вспыхнет синим пламенем.

И в том мятежном пламени могут сгореть невзначай секретные архивы государственных служб. Останется куча пепла. Вот тогда, уж точно, ничего и никогда не узнаешь.

Я написал.

Председателю
Комитета государственной безопасности СССР
ВЛ. КРЮЧКОВУ

Многоуважаемый Владимир Александрович!

Прошу Вашего указания о предоставлении мне возможности ознакомиться со следственным и судебным делами, делом по реабилитации, а также личным делом и послужным списком моего отца РЕКЕМЧУКА Евсея Тимофеевича, арестованного 4 июля 1937 г., осужденного Постановлением НКВД СССР от 8 октября 1937 г. и реабилитированного (посмертно) Военной Коллегией Верховного Суда СССР 11 июня 1957 г. (копия документа о реабилитации прилагается).

Мой отец работал в системе НКВД и, по рассказам людей, знавших его, был разведчиком. Я допускаю, что некоторые данные его личности и биографии являются «легендой».

В связи с этим прошу сообщить мне уточненные анкетные данные отца: дату и место его рождения; сведения о его родителях; данные об образовании; о его службе в русской армии и пребывании на фронте в период первой мировой войны; о его жизни и работе в эмиграции во Франции; о его первом браке с Чинаровой и рождении дочери — известной на Западе балерины Тамары Тумановой; об обстоятельствах его возвращения в Советский Союз и роде занятий в последний период жизни.

Здесь для меня слишком много загадок, противоречий, несовпадений в хронологии.

Ведь мне было сообщено лишь о том, что отец был «штабс-капитаном царской армии» и «агентом иностранных разведок».

Хотел бы знать — в пределах возможного — о том, что связано с его подлинной деятельностью советского разведчика.

Со слов моей матери Лидии Андреевны ПРИХОДЬКО (умерла в 1984 г.), которая к моменту ареста Е. Т. РЕКЕМЧУКА была с ним в разводе, я знаю, что она дала показания по его делу — хотел бы ознакомиться с ними.

У меня нет ни одной фотографии отца (по словам матери, они были изъяты у нее уже в послевоенное время). Прошу Вас дать мне возможность получить хотя бы копии фотографий, которые имеются в личном деле, в делах, связанных с его арестом.

Я внутренне готов к тем психологическим травмам, с

которыми связано ознакомление с этими документами. Но сыновний долг повелевает знать правду, сделать всё возможное, чтобы снять покров безвестности и «легенды» с личности отца.

Насколько мне известно, материалы о моем отце РЕКЕМЧУКЕ Евсее Тимофеевиче находятся в Киевском архиве КГБ.

Я готов выехать туда для ознакомления с документами.

С глубоким уважением — А. РЕКЕМЧУК, член Союза писателей СССР, профессор Литературного института им. Горького.

г. Москва

29 ноября 1989 г.

Вскоре пришел ответ на бланке Комитета государственной безопасности Украины.

Уважаемый Александр Евсеевич!

Ваше письмо внимательно рассмотрено. Мы готовы ознакомить с интересующими Вас архивными материалами в удобное для Вас время. О приезде в г. Киев просим заблаговременно уведомить нас письмом на имя начальника подразделения КГБ УССР Пшенникова Александра Михайловича (252003, г. Киев, ул. Владимирская, 33). По прибытии в г. Киев обратитесь в Приемную Комитета госбезопасности УССР.

Начальник подразделения

А. М. Пшенников

А тут, до чего кстати, звонок из Киева: литературно-музыкальный театр «Academia» хочет организовать встречу московских писателей с общественностью украинской столицы. Очень интересуется народ: что за такой «Апрель»? Показывали недавно по телеку, как крушила его банда чернорубашечников в

зале Центрального дома литераторов… Вот и у нас, в Киеве, есть похожие хлопцы, только рубашки у них другого цвета… Я сказал: приеду.

Хотя и не очень внятно представлял, какая роль отведена мне на сцене театра «Academia». Впрочем, своей сцены у театра не было, арендовали зал Института инженеров гражданской авиации.

Хорошо Саше Городницкому: выйдет к рампе, кивнет гитаристу, тот ударит по струнам, и Саша запоет: «… Православный глянь-ка с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывет!» — и уже весь зал подпевает барду.

А я что буду делать?

Серозеленая картонная папка лежала передо мною на столе.

Я развязал тесемки, откинул крышку.

Дело № 693
по обвинению РЕКЕМЧУКА Евсея Тимофеевича
Начато 1 июля 1937 г.

Внезапно, помимо воли, всё мое тело напряглось, как перед прыжком, как перед рывком в побег — не разбирая дороги, не видя цели, петляя, сторожко оглядываясь, хоронясь. Главное — успеть убежать подальше, а еще, главнее главного, не выронить спрятанное второпях за пазухой — вот эту картонную папку…

Полно, одернул я самого себя. Успокойся. Никто за тобою не гонится. Никто и ничего у тебя не отнимет.

Ведь сами же пригласили, прислали письмо, вежливо побеседовали. Сами отвели в чей-то пустой кабинет на первом этаже, сказали, куда обратиться, если возникнут вопросы.

Но то ли от самих стен казенного здания на Владимирской улице исходила особая энергетика (чего только ни повидали, чего ни слыхали эти стены!..), то ли во мне самом пробудился дремавший в генах азарт отчаянного риска, данный далеко не каждому человеку, но уж кому дано — тот и выбирает в жизни эту авантюрную стезю.

Я вдруг почувствовал себя *в роли*.

В одной из тех ролей, которых вдоволь насмотрелся на киноэкранах еще в раннем детстве — разинутый от восхищения рот, округленные от страха глаза, — да и позже, после войны, все эти забойные боевики про советских шпионов. Павел Кадочников в «Подвиге разведчика», где он играет майора Алексея Федотова, а Федотов выдает себя за немецкого офицера Генриха Эккерта, а

прообразом Федотова был настоящий советский разведчик Николай Кузнецов, а сценарий этого фильма написал Михаил Маклярский, сам не только писатель, но и матерый ас разведки — и я был знаком с ним лично, он всегда подчеркнуто благоволил ко мне — вероятно, знал моего отца, либо знал о нем то, что мне вот сейчас предстоит узнать…

А в середине 60-х на советских экранах появился фильм «Кто вы, доктор Зорге?» — о немецком журналисте, работавшем в Японии на нашу разведку. Имя было новым, фильм воспринимался как сенсация. И однажды, когда мы с Верой Павловной Строевой чаевничали в моем мосфильмовском кабинете, она вдруг сказала заговорщицким шепотом: «Зорге был щенок по сравнению с вашим отцом!..» Я не верил собственным ушам — ведь я еще не знал ничего, — и смотрел на нее, озадаченно моргая. А она подняла на меня свои фиалковые глаза, столь неожиданно молодые на обрюзгшем лице — глаза навек влюбленной женщины, — и подтвердила кивком: да-да…

Впрочем, я повторяюсь. Я уже рассказывал об этом. Но это от волнения.

Ведь тогда еще передо мною не было серозеленой картонной папки, тесемки которой я только что развязал…

Ну, а потом были «Семнадцать мгновений весны», был Штирлиц.

Вообще-то я сдержанно отнесся к этой ленте.

Уж слишком ладно, как родные, сидели в этом фильме гестаповские мундиры, эсэсовские фуражки на актерах с хорошими русскими лицами — на Тихонове, Броневом, Табакове, Куравлеве, — не сразу и разберешь, кто свой, а кто чужой, кто на самом деле фашист, а кто лишь переоделся.

Я старался подавить в себе эту отчужденность, стыдную для человека, который сам ведь причастен к высокому искусству. А что-то всё равно настораживало…

Но и я, в конце концов, был покорен этим сериалом.

И сейчас всё это вдруг взыграло во мне.

Я тоже почувствовал себя в схожей ситуации.

Что вот мне случайно — то есть с превеликим трудом, смертельным риском, — досталась совершенно секретная архивная папка, серозеленая, как сукно вермахтовской шинели. И у меня в запасе есть всего лишь несколько минут, каких-то семнадцать мгновений на то, чтобы всё переворошить, прочесть торопливым взглядом, запечатлеть в памяти, как на пленке шпионской микроскопической фотокамеры — щелк, щелк, — или, выражаясь уже языком компьютерного века, моментально отсканировать эти архивные листы, один за другим — чик,

чик, — всё сложить обратно, как было, запереть в бронированном сейфе — на ключ, на код, — тенью выскользнуть за дверь, унося ноги, унося тайну…

Конечно, в реальности эта процедура была бы не столь картинной.

И, всё же, я сознавал, что сперва нужно всё перелопатить в темпе — страницу за страницей, от начала до конца, — прикинуть полный объем информации, вычленить главное, не упустить деталей, а уж потом — блокнот и ручка…

Всему этому отнюдь не помогало волнение, сжимавшее горло.

Нач. ИНО ГПУ
тов. ТРИЛИССЕРУ

По рекомендации тов. Аусема, к нам явился приехавший из Франции РЕКЕМЧУК Евсевий Тимофеевич, использовавшийся тов. Аусемом в Париже. Кроме того Рекемчук сотрудничал в «Парижском вестнике» под псевдонимом «Иванов». Так как Рекемчук является румынским подданным и имеет обширные связи в политических кругах Румынии, мы намереваемся использовать его по закордонной работе в Румынии.

При этом просим срочно проверить и сообщить нам данные, как о личности РЕКЕМЧУКА, так и о его деятельности в Париже…

Будучи в Румынии, РЕКЕМЧУК сумеет периодически выезжать в Константинополь, Прагу и Вену…

Как интересно! Нужно будет вернуться к этому документу. А пока…

По коридору приближались шаги. Нет, они не проследовали мимо, а задержались как раз у двери кабинета — в щели под дверью отчетливо обозначились две тени. Они были нерешительны, топтались на месте, будто бы раздумывая… ноги раздумывали? но так это выглядело…

Сейчас ключ полезет в ячейку. Я, замерев, следил за тенями.

Рука, как бы сама собой, потянулась к карману. Но, потоптавшись еще несколько секунд, ноги вдруг двинулись в ту сторону, откуда пришли. Световая полоска под дверью очистилась.

Я облегченно вздохнул. Щелк, щелк… Перевернул страницу.

С анкетного листа, из квадратика, похожего на окошко тюремной двери, куда суют миску с баландой, на меня смотрел отец.

Я узнал это лицо, хотя не видел его с детских лет — с той самой поры, когда приезжал к нему на побывку в Киев. И даже на фотографиях не видел позже, ведь они пропали, сгинули, все до одной, как сгинул он сам.

Однажды подросший сын Андрей спросил меня:

— Папа, а как он выглядел — твой отец, мой дед? Вот я ношу его фамилию, но даже не знаю, каким он был… прадеда на фотке видел, а деда нет.

Я напрягся, пытаясь вспомнить, но лишь беспомощно развел руками.

— Ну, хоть примерно… на кого, скажем, из киноактеров он был похож?

— На Алена Делона, — сказал я.

Мальчик расхохотался.

Я взглянул на него удивленно, даже обиженно. Что тут смешного?

Он поспешил объяснить:

— Есть такой анекдот: «Папа, тебе никто не говорил, что ты похож на Алена Делона?» — «Нет». — «Меня это не удивляет…»

Я подхихикнул вежливо.

Теперь я всматривался в лицо, появившееся в квадратике анкетного листа, как в окошке тюремной камеры.

Он был острижен наголо. Исчезли темные пряди волос, смягчавшие абрис головы, исчезли интеллигентные залысины, уши стояли торчком, острые, как у меня — хоть в чем-то я на него похож, — и карие глаза, обычно хранившие в глубине усмешку, тут были остры, колючи. Они отнюдь не просили пощады, но и не сулили ее никому… Решительно сжатые губы.

Он был в белой рубашке, в каких выводят на эшафот. Почти на всех фотографиях, какие остались — я увижу их позже, — и на той, где он фехтует со мною на рапирах в одесском дворике, — он всегда в белоснежной рубашке. Может быть, как боевой офицер, он не терпел пиджаков…

Так что же — он и взаправду на этой фотографии сидит за решеткой, в камере смертников?

Нет, это — еще тридцатый год. Он готовится к очередной ходке за кордон. Очередной псевдоним: на сей раз — Сергей Владимирович Раковицкий… а были еще Киреев, Миртов, Анри Дюран, Гайяр, Васильев, Стась…

Не скажу, чтобы мне очень нравилась эта фотография с наголо остриженной головой. Изменивший ради конспирации

внешность, изменивший имя и фамилию, не говоря уже о профессии, — он был мне скорее чужд, нежели близок, я хотел бы видеть его иным… Но что поделаешь, если других фотографий нету, если не осталось вообще никаких?

Что я предъявлю сыну, вдруг заинтересовавшемуся дедом?

Моя рука воровато ощупывала ящик письменного стола. А что, если он не заперт? Там могут быть ножницы, их держат обычно в ближнем ящике, чтобы всегда были под рукой… Итак, я достаю ножницы — и аккуратненько: чик-чик. Уголок анкетного листа вместе с заветной фотографией оказывается в моем кармане… а если спросят, скажу, что так и было.

Кстати, в своем письме на имя председателя Комитета госбезопасности я просил: нельзя ли получить хотя бы копии фотографий, имеющихся в его личном деле? И это как бы подразумевало, что не откажусь и от подлинника…

Обернув кисть носовым платком (так полагалось в фильмах про шпионов), прикоснулся к ручке левого ящика.

Резкий звонок телефона заставил вздрогнуть. Еще звонок, еще…

Снять трубку? Но ведь этим я тотчас обнаружу себя. Нельзя, ни в коем случае… Ну, а если звонят именно мне? Если у них ко Мне есть вопросы? Тогда, не ответив на звонок, я как бы обозначу свое исчезновение. Будто бы я *сделал ноги* вместе с секретной папкой…

— Алло. Слушаю.

В трубке несколько секунд длилось молчание. Затем басовитый голос произнес с оттенком назидания:

— Пожалуйста, не снимайте больше трубку.

Мне показалось, что это был голос генерала, который час назад беседовал со мною на втором этаже.

Так это он же только что подходил к двери?.. Вряд ли. Слишком много чести для меня. Мало ли у него холуев.

А вот отвечать на телефонные звонки, находясь в чужом кабинете, действительно, не гоже. Ведь это, всё-таки, не Собес. Тут идет оперативная работа… Всё, старик! Хватит корчить из себя Джеймса Бонда!

Я перевернул страницу.

> «…Наиболее удобным местом будущего пребывания „Киреева“ мыслится Варшава, где он мог бы осесть в качестве комиссионера, участника одного из кинопредприятий или совладельца антикварной торговли. Переброска „Киреева“ в Варшаву может быть

произведена следующим путем: из Одессы он в составе команды одного из пароходов направляется в Константинополь, где сходит на берег и использует имеющийся у него старый паспорт румынского подданного с выездной турецкой визой — получает у австрийского консула визу на въезд в Вену. В Вене он получает другой какой-либо паспорт, дающий ему возможность использовать знание французского в качестве родного языка, предположительно швейцарский или французский, и по этому паспорту получает визу на въезд в Польшу…»

Они называют это *легендой.*

Да я и сам в недавнем послании товарищу Крючкову употребил этот специфический термин: «…Я допускаю, что некоторые данные его личности и биографии являются „легендой“». И еще раз: «…сыновний долг повелевает знать правду, сделать всё возможное, чтобы снять покров безвестности и „легенды“ с личности отца».

Слыхал, даже читал (стыдно признаться, сколько времени было отдано подобному чтиву!), что этим делом — сочинением «легенд» разведчикам, идущим на дело, засылаемым в чужой стан, — что этим делом занимаются специальные люди, тому обученные, умеющие слить воедино реальность и вымысел в одном сюжете.

Для этого, конечно, нужен профессионализм, надобен талант, ни в чем не уступающий таланту беллетриста, может быть даже превосходящий его, ибо здесь за неудачу, за халтуру, за провал кто-то расплачивается жизнью!

А что бы я сам стал делать с подобным сюжетом, с таким материалом, попади он мне в руки чуть раньше?

Я бы наверняка закрутил сюжет еще туже, так, что перед ним лопнули бы все потуги безвестного автора «легенд».

Итак, он прибывает в Вену?

Я поведу его по набережным прекрасного голубого Дуная, где он будет любоваться готикой церквей, роскошью королевских дворцов, уютом старых закоулков. (Извините меня: я никогда не был в Вене, хотя и мог там побывать — меня звали туда, не в гости, а насовсем, — но я сам того не захотел, впрочем, это уже другой сюжет, ему еще не настал черед; мне придется прокладывать путь по старому путеводителю, и еще по голливудским топорным декорациям к «Большому вальсу» — фильму об Иоганне Штраусе, в моих ушах звучат его «Сказки

Венского леса», а больше ничего в запасе нет). В роскошном парке Пратера он решает перекусить — ведь уже время обеда! — и присаживается к столику, за которым дожевывает шницель светловолосый молодой человек с темными бровями, сросшимися у переносицы, с красной бабочкой на шее. Вам что? — спрашивает официант. — Мне тоже шницель, кружку светлого пива… — Айн момент! — Завязывается соседский застольный разговор. Молодой человек признается, что он студент Высшей технической школы, почти уже инженер. Зовут Ганс, Ганс Нидерле… Очень приятно. Вы не родственник Любора Нидерле, известного ученого-слависта?.. А-а, того, с усами, из энциклопедии! Нет, даже не однофамилец, ха-ха, ведь он из Праги, а я — коренной венец… Позвольте и мне представиться. Анри Дюран, коммерсант из Парижа, антикварная торговля… Я очень рад, месье. Уж вы-то наверняка объездили весь свет. Скажите, пожалуйста, вам не приходилось бывать в России, иначе говоря — в Советском Союзе?.. Увы, нет. А почему вас это интересует? Вам близки большевистские идеи?.. Нет, просто заела буржуазная среда, хотя я и сам выходец из нее. И еще, говорят, там, в России, очень красивые женщины. Это правда?.. Понятия не имею, хотя тоже наслышан об этом… кельнер, счет! Мне было очень приятно с вами познакомиться, герр Нидерле… Всего наилучшего, месье Дюран!

А чем шпионские «легенды» — дотошная запись того, чего не было, — чем они достоверней моих фантазий?

> «…Во время пребывания в Вене „Киреев“ пытается завязать отношения с австрийскими фирмами, торгующими с Польшей, для получения работы в Польше в качестве комиссионера. В случае, если это не удастся, он въезжает в Польшу в качестве человека, желающего вложить некоторую сумму денег в одно из польских предприятий и уже в Варшаве подыскивает такое предприятие с установкой на возможность по делам предприятия выезжать в провинцию. Когда это дело будет намечено, его можно снабдить деньгами в сумме 2–3 тысячи долларов — предельный размер капиталовложения…»

Да, не густо!

С такими деньгами даже в нынешней перестроечной Москве не откроешь приличного кооператива — скажем, для варки

джинсов в собственном соку.

А я, с таким же, примерно, капиталом пустился в еще более авантюрную затею: открыл независимое издательство. Вот-вот выпущу в свет первую книгу — и не какой-нибудь детективчик Флеминга или Чейза, а сочинение самого главного бунтаря наступившей революционной эпохи Бориса Николаевича Ельцина — «Исповедь на заданную тему»… Надо бы позвонить в Москву, поинтересоваться, как там поживает мое издательство? Еще не прихлопнули?.. Вот и я замыслил написать свою исповедь. Для того и приехал в Киев. Для того и сижу в кабинете украинского КГБ на Владимирской улице, ворошу бумаги в серозеленой папке.

> «…„Киреев“ хорошо ориентируется в заграничной обстановке, обладает инициативой и смелостью, знает французский, румынский и украинский языки. Учится польскому языку.
>
> *4 января 1931 г.».*

На каком же языке он объяснялся в венском ресторанчике с Гансом Нидерле — моим будущим отчимом?

А сколько подобных легенд порождает сама жизнь! Случайно или намерено. Ведь и обычная жизнь настолько сложна, подчас необъяснима, что простых толкований бывает недостаточно. И тогда в ход идут спасительные легенды — они умиротворяют разум.

Да еще, надо полагать, изрядное количество легенд возникает просто так, на пустом месте, из-за случайного сдвига обстоятельств, из-за того, что так легли карты, что именно так упали кости, — но, твердит молва, что и в этих случайностях тоже явлен сакральный смысл…

Моя мысль заострилась на этой теме, когда на страницах расстрельного дела я увидел свое собственное имя, а там и другое, тоже, как будто, имеющее непосредственное отношение ко мне.

В протоколе допроса, датированного 4-м июля 1937 года, — а он лежал сейчас передо мною, — отец, отвечая на вопрос следователя о составе семьи, назвал лишь двоих.

> «…1. Лидия Михайловна Бурштейн — 31 л., дом. хоз. — жена.
>
> 2. Александр Евсеевич Рекемчук-Приходько — 9 л.,

живет в Харькове — сын».

А в служебной автобиографии, написанной им собственноручно годом раньше, в мае 1936 года, которую я только что отлистал, — там значились и другие родные ему люди.

> «…В Париже осталась моя первая жена Анна Христофоровна Чинарова и дочь Тамара, 16 лет, но о них никаких сведений с 1927 года — нет…»

Меня отнюдь не мучил вопрос: почему теперь, в тридцать седьмом, он умолчал о своей первой семье, оставшейся в Париже?

Ведь он отлично понимал, что произошло с ним, что происходит вокруг. Он понимал, что следователь неспроста задает ему все эти вопросы, казалось бы, не имеющие прямого отношения к его работе разведчика-нелегала. Он отдавал себе отчет в том, что упоминание о Париже не облегчит его судьбы.

Но сейчас меня заинтересовало другое: почему, столь четко обозначив меня громоздкой двойной фамилией, отца и матери, он нигде — ни в одном из только что прочтенных мною документов, — не называет фамилии дочери? Только имя — Тамара… А где — Туманова?

Откуда, вообще, взялась эта фамилия, если он — Рекемчук, а его первая жена, мать Тамары, в девичестве была Чинаровой? Что это — сценический псевдоним?

Вот и я в своем официальном запросе в Комитет госбезопасности, где каждое слово выведено с пониманием — куда пишу, — я, без тени сомнения, прошу снабдить меня сведениями «…о его первом браке с Чинаровой и рождении дочери — известной на Западе балерины Тамары Тумановой».

Что за Туманова? Что за туман?

Откуда же, в самом деле, всё это пошло-поехало?

Как родилась *легенда*?

Но, право же, сейчас не самое лучшее время ломать голову над подобными вопросами. Еще успеется.

Я взглядываю на часы: половина второго — в самый раз бы пообедать. Но и это перетерпится, не сдохну.

А в семь вечера мне еще предстоит выступление в Институте инженеров гражданской авиации. И завтра тоже.

Когда же я успею перелопатить всю эту кипу бумаг, пробитую дыроколом, как пулей — насквозь, — еще одна вдогон, контрольный выстрел, — скрепленную железной задвижкой, как

тюремным засовом?..

Спокойно, старик. Читаем дальше. Тут работы не на один день.

Вот здесь листы в папке, судя по всему, недавно были разрознены и сшиты наново, перемечены поверх старых чернил красным карандашом.

Что изъяли? Зачем? Не в честь ли моего приезда?

Впрочем, изымали и раньше.

«…Изъять для представления в НКВД УССР следующее:

1. Удостовер. № 2607 на право ношения оружия — 1

2. Семь штук патрон к револьверу „Кольт“, калибр 45 — 7

3. Патронов к „Браунингу“ № 2 — 7

4. Патронов к „Браунингу“ № 1 — 6

5. Воинский билет № 144 Р — 1…»

Я схватываю глазами, памятью все эти буквы и цифры, будто бы зрачком фотоаппарата.

Щелк, щелк…

Но сейчас щелчки воображаемой фотокамеры зловеще напоминают клацанье револьверной обоймы. И разве всё запомнишь? Щелк, щелк…

Оконные стекла вдруг ощутимо задребезжали. Мимо пронеслись тени черных «Волг» — одна, другая. Они резко затормозили у подъезда. Еще на скорости, открываясь, лязгнули, а теперь захлопнулись дверцы. Затопотали подошвы — сначала на крыльце, потом в коридоре. За мной?..

Но торопливые шаги удалялись в другую сторону, к лестнице. Нет, не за мной. Да кому я на хрен сдался? Господи, да кому мы с тобою, отец, нужны в своем застарелом горе? Ведь оно уже давно отошло в область далеких воспоминаний, а точней — в область беспамятства.

А у этих ребят, что топочут на лестнице, работы всегда невпроворот.

«…рассмотрев изъятие согласно протокола обыска от 4 VII-37 г. у арестованного РЕКЕМЧУКА Евсевия Тимофеевича

1. Два алфавита с адресами.

2. Разных блокнотов в штук.

3. Разная личная переписка на 17 листах.

4. Удостоверение „Интуриста“ № 3 за 1932 г.

Принимая во внимание, что перечисленные документы и переписка не являются уликовыми данными и не подлежат приобщению к спецделу, а посему

ПОСТАНОВИЛ

Вышеперечисленные документы и переписку уничтожить.

…уничтожены путем сожжения, в чем и составлен настоящий акт.

РАКИЦКИЙ».

Вот уж это — зря.

Как бы мне пригодились теперь эти отцовские блокноты, эти письма, эти адреса!

Но ничего не вернешь из огня, кроме пепла.

Засек взглядом дату сожжения: 11 октября 1937 года.

День расстрела.

Теперь эти бумаги им были без надобности.

Неужели такая же участь — сгореть в огне — уготована и всему остальному?

Чтоб никто больше не лез не в свои дела, не задавал лишних вопросов, не рылся в старье. Да гори оно синим пламенем!

Ну, нет.

Вот теперь, не полагаясь более на цепкость памяти, я перевернул с бока на бок серозеленую архивную папку, вернул ее в исходное положение — опять к началу, — достал из кармана ручку и, набычась упрямо, раскрыл блокнот.

Сестра

Опять держу в руках большой чернобелый снимок с изображением дивы в балетной пачке, лифе с лебяжьими перьями, укрывающими грудь, в перьевом же белом уборе, так сильно контрастирующем с иссиня-черными волосами, черными бровями, темными глазами в опушке длинных ресниц. Извив шеи, который принято называть лебединым, жест руки, повторяющий мах крыла…

Одетта в «Лебедином озере».

Наискосок фотоснимка — надпись пером, черными чернилами: «*Александру Евсеевичу с моим приветом и лучеми пожеланиями. Тамара Туманова*».

Этот снимок привез мне из Голливуда известный американский композитор.

Он появился на киностудии «Мосфильм» в 1965 году, когда интерес к нашему кино во всем мире возрос необычайно: все добивались чести работать совместно с русскими, пусть они и называют себя советскими.

— Дмитрий Зиновьевич Тёмкин, — представился он, знакомясь со мною.

Я понял, что переводчица может отдыхать.

Через полчаса я знал достаточно для того, чтобы проникаться почтением к гостю из Америки. Было даже совестно, что ничего не знал о нем раньше…

В свое оправдание скажу лишь, что даже в двухтомном «Кинословаре» той поры Тёмкина не было.

Он родился в России на излете XIX века, окончил консерваторию и университет в Петербурге. Причин и обстоятельств, заставивших его покинуть родные берега, я не выяснял. Но тут, вероятно, ситуация была типовая.

С 1925 года Тёмкин жил в США. Он сочинил музыку к голливудским фильмам «Алиса в стране чудес», «Чемпион», «Ровно в полдень», «Высокий и могучий», «Старик и море». Музыка трех последних фильмов была удостоена Оскаров. Позднее имя композитора Тёмкина появилось в титрах кинокартин, которые с успехом шли у нас: «Золото Маккены», «Падение Римской империи». Вероятно, многим будет приятно узнать, что Дмитрию Зиновьевичу принадлежит и душевная мелодия песни «Зеленые поля» (*Green fields*), которую пели братья Форд, а им подпевал весь мир шестидесятых.

В Голливуде Тёмкин был известен не только как композитор, но и как удачливый продюсер. Именно его продюсерской

инициативе мы обязаны появлением на экранах — в том числе советских, в самый канун второй мировой войны, — фильма «Большой вальс»: о жизни, творчестве и любовных приключениях композитора Иоганна Штрауса… Ах, что это была за картина, ах, как там пела «Сказки Венского леса» несравненная Милица Корьюс!..

Это обстоятельство приобретало особое значение в свете того, что Дмитрий Зиновьевич Тёмкин прибыл в Советский Союз, на «Мосфильм», с целью осуществить свою давнюю мечту: создать фильм о Петре Ильиче Чайковском.

Участие в этом проекте самого Тёмкина предполагалось весьма многогранным: автор музыкального оформления, дирижер, продюсер.

Это предложение уже получило поддержку в Госкино. Естественно, что и на «Мосфильме» к нему отнеслись благосклонно.

И теперь нам с Дмитрием Зиновьевичем предстояло провести в совместных трудах немало часов и дней.

Но прежде, чем начнутся дела, я сделаю попытку набросать его портрет. Ведь это очень трудная задача — живописать старика. Морщины, пигментные пятна на лице, потухшие глаза, редкая растительность на темени — всё это обычно нивелирует, де. лает очень похожими друг на друга стариковские лица, скрадывая именно то, чем они различались в молодые годы.

Между тем, в год нашего знакомства Дмитрий Зиновьевич Тёмкин был не так уж и стар: всего лишь 65 лет. Но это нынче для меня *всего лишь*, а тогда он показался мне очень старым. Маленький рост да еще стариковская сутулость, лицо в сетке морщин и накрапе родимых пятен, какие-то кустики седых волос над ушами…

Из его одежды мне запомнилось пальто на яркокрасной шелковой подкладке. Шинели на подобных подкладках носили царские генералы. А тут, право же, не знаю, зачем он выбрал себе пальто с таким революционным подбоем? В знак лояльности большевикам?..

Я обязан сделать еще одну оговорку, касающуюся его возраста.

Вероятно, он вовсе не был таким стариком, каким показался мне. Или же он не ощущал своего возраста (это бывает), поскольку прибыл в Москву не один, а в обществе миловидной блондинки, которая тоже присутствовала в кабинете гендиректора «Мосфильма», когда он, Владимир Николаевич Сурин, представлял мне гостей.

Ее звали Нина Апрелева. Она постоянно жила не в Америке, а

во Франции, и Тёмкин прихватил ее с собою в поездку из Парижа. Она должна была выполнять обязанности его секретаря. Вполне возможно, что ее функции были и несколько шире, поскольку выяснилось, что Дмитрий Зиновьевич приехал в Россию без жены, так как его супруга давно и тяжело больна, неподвижна, лежит в клинике под капельницей и ее кормят через трубку.

Что же касается Ниночки Апрелевой, то она, повторю, была эффектной блондинкой, чем-то похожей на недавно усопшую Мерилин Монро: ресницы стрелами, с такою же тонкой талией, округлыми бедрами, стройными щиколотками… она была, право же, очень ничего.

Перехватив мои мимолетные взгляды на секретаршу Дмитрия Зиновьевича, ко мне направился присутствовавший в кабинете молодой человек в черном костюме, то ли из Комитета по кино, то ли из какого-нибудь другого комитета — и, улыбаясь, между делом, объяснил мне вполголоса, что этой белокурой Мерилин Монро — сто лет в обед; что вот так в парижских салонах красоты наловчились, сволочи, наводить марафет и поддерживать экстерьер; что она увязалась за Тёмкиным в Москву, имея деликатные поручения эмигрантского Общества памяти императора Николая Второго…

Нетрудно догадаться, что после этих доверительных объяснений я больше ни разу не взглянул на спутницу Дмитрия Зиновьевича, будто ее тут и не было.

(Реалии высокого искусства иногда причудливо пересекаются с реалиями сыска. Сколь ни насмешничай над повадками молодых искусствоведов в штатском, надо признать, что порою их остережения имеют под собою почву.

Так, много лет спустя после описываемой встречи на «Мосфильме», я вдруг прочел в одной книге, посвященной операциям советских спецслужб конца двадцатых годов, следующие строки:

> «…Высший монархический совет направил в Харбин особую группу под командованием капитана 1-го ранга К. Шуберта, в которую входили капитан 2-го ранга Б. Апрелев, полковники Ю. Апрелев, Н. Федоров и ряд других офицеров….»

Понятно, что мое внимание здесь привлекла отнюдь не фамилия Шуберта).

Вообще, присутствие Нины Апрелевой, судя по всему, вызывало некоторую озабоченность у принимающей стороны. На всякий случай, ее разлучили с патроном, поместив в разные гостиницы: ему подороже, ей — попроще.

Когда же Тёмкин отправился ее проведать, ему в гостинице Дали отлуп: нельзя, нету, посторонних пускать не велено, вот сейчас вызовем милицию. Дмитрий Зиновьевич возмутился, вынул из кармана паспорт и заявил, что он — гражданин Соединенных Штатов Америки, что он не позволит!.. На это какие-то хмельные типы, околачивавшиеся подле регистратуры, доходчиво втолковали ему, что у нас судят не по паспорту, а по морде, а по морде сразу видно, кто он такой…

Тёмкин оскорбился и ушел.

В следующий раз он приехал в Москву уже без Нины Апрелевой.

Именно тогда, в тот следующий раз, мы, засучив рукава, взялись за дело.

Сурин рекомендовал Дмитрию Зиновьевичу посмотреть мосфильмовские новинки: «Войну и мир» Сергея Бондарчука, «Председателя» Алексея Салтыкова, «Дневные звезды» Игоря Таланкина, а также материал еще снимающихся фильмов.

Для этой цели был забронирован просмотровый зал, где американский гость мог, без помех, вкусить наслаждение от этих новых картин и поразмыслить о вариантах с режиссером и сценаристом.

Мне же, отправляясь на очередной просмотр, Тёмкин сунул в руки потрепанную книжицу, на обложке которой я мельком прочел: Нина Берберова, «Чайковский».

Тем летом я жил на берегу Пироговского водохранилища, где мы всей семьей, уже который год подряд, снимали дачу в деревне Подрезово — в благодатном месте Подмосковья, тогда еще тихом и не сильно загаженном.

На плесах водоема, повинуясь древним инстинктам, рыба упорно держалась старого русла речки Клязьмы, затопленного водохранилищем. Мне показали эти места, и я был удачлив в ловле на донку леща и густерки.

Мама, жена и дети собирали грибы в окрестных лесах.

По утрам за мною приезжала студийная «Волга», увозила в Москву, а вечером привозила обратно.

Здесь я и прочел книгу Нины Берберовой. Поначалу отнесся к ней настороженно: ведь это был «тамиздат» — парижское издание еще тридцатых годов. Но вскоре совковый мандраж улетучился. Меня покорил доверительный тон изложения, очевидное богатство материалов, источников, живых свидетельств, тот восхитительный такт, с которым писательница касалась запретной темы.

В ту пору, когда писалась книга, за рубежом, а именно во

Франции, где жила Нина Берберова, отнюдь не наблюдался разгул вседозволенности в изображении сексуальных причуд. И уж во всяком случае, не было нынешней, преднамеренно подогреваемой моды на эту тему.

Особенно строгих правил на сей счет — я имею в виду печатный аспект проблемы, — придерживались люди русской эмиграции.

В предисловии к более позднему изданию книги Нина Берберова приводит детали своего разговора с Прасковьей Владимировной Чайковской, урожденной Коншиной, когда-то известной московской красавицей.

> «…Сперва она не поверила, что я та самая, которая пишет биографию Петруши… Я, идя к ней, приготовилась к твердому ответу, если она будет требовать убрать некоторые намеки на его ранние отношения с Апухтиным (12-ти и 13-ти лет) и в дальнейшем интимных тем не касаться. Но вышло совсем по-другому: она попросила в будущем издании убрать тот факт, что, когда по ночам Петр Ильич работал — за письменным столом и роялем — Алёша (слуга) приносил ему перед сном рюмочку коньяку. Ее просьба сводилась к следующему: вы написали, что это случалось каждую ночь, напишите, что это случалось раз в неделю. А то подумают, что он был алкоголиком…»

Именно это предисловие заканчивается лаконичным, но категорическим утверждением:

> «В 1966 г. совместными усилиями Совкино и Голливуда по моей книге был сделан фильм».

Речь идет, конечно же, о мосфильмовской ленте, хотя в советский прокат она вышла гораздо позже, в 70-м году. И в титрах фильма, во всяком случае — в русской версии, нет упоминания о книге Нины Берберовой.

Но я забегаю вперед.

Ведь сейчас еще нету не только фильма, но даже сценария.

Есть только ужаснейший *скелетон*, привезенный Дмитрием Зиновьевичем (меня продирал морозец по коже от этого словца!) да еще потрепанная книжица «тамиздата», которую я как раз закончил читать.

Уловив в моем взгляде теплое отношение к прочитанному, Тёмкин, понизив голос, сказал:

— Мы можем пригласить для работы над фильмом, в

качестве консультанта, крупнейшего в Штатах специалиста по проблемам гомосексуализма. За счет американской стороны…

Едва сдерживаясь — ведь разговор шел в служебном кабинете, — я ответил ему:

— Дмитрий Зиновьевич, давайте договоримся: если вы еще раз заведете разговор об этом, я закрою проект. Никакого фильма не будет!

— Хорошо-хорошо, — замахал он руками, давая отбой.

И здесь я хочу заранее отмести любые возможные домыслы на сей счет, касающиеся самого Дмитрия Зиновьевича Тёмкина.

Я уверен, что все разговоры *про это*, которые он затевал иногда, возникали лишь потому, что они соответствовали подлинным обстоятельствам биографии нашего героя.

Я могу подтвердить свою точку зрения многими неоспоримыми доводами.

Во-первых, сугубо негативным отношением Дмитрия Зиновьевича к поэту Апухтину, который в ранней своей поре, обучаясь в младших классах училища Правоведения, очень дурно влиял на Петрушу (годы учебы в этом заведении вообще не вошли в фильм). Во-вторых, о безупречной ориентации композитора Тёмкина свидетельствовал приезд вместе с ним в Москву обворожительной парижанки Нины Апрелевой. В-третьих, общаясь с дамами, Тёмкин иногда задавал им вопросы, которые не оставляли сомнений в направленности его интересов, — примеры еще последуют…

А теперь продолжу изложение нашей беседы.

Выслушав мои протесты и остережения, Дмитрий Зиновьевич сам перешел в атаку:

— Послушайте, я посмотрел все фильмы, которые вы мне рекомендовали. «Война и мир» — это исключено! Разве там Пьер Безухов? Разве там Элен? Это — продавщица из парфюмерной лавки, а не Элен…

— Дальше, — сухо перебил я.

— Меня заинтересовал Таланкин, постановщик «Дневных звезд», и некоторые актеры из этого фильма. Я видел материал «Анны Карениной», там Бетси играет Майя Плисецкая — я восхищен ею! Но больше всего…

Тёмкин, выдержав торжественную паузу, поднял указательный палец:

— Но больше всего мне понравился фильм «Председатель»!

— Да, конечно, — обрадовался я тому, что у этой ленты появился еще один поклонник. — Но, видите ли, там изображен колхоз, сначала отстающий, а потом передовой. Это, пожалуй, далековато от нашей темы — музыкальной классики…

— Можем ли мы заказать сценарий Юрию Нагибину? — поставил вопрос ребром продюсер с американской стороны.

Я уже излагал историю создания фильма «Чайковский» в своей недавней повести «Кавалеры меняют дам», посвященной замечательному русскому писателю Юрию Нагибину, дружбой с которым меня одарила судьба.

Здесь повторю лишь то, что сопутствует *легенде* о Тамаре Тумановой.

И еще поведаю о неожиданном — подобном чуду! — продолжении, которое обрела эта легенда.

Дмитрий Зиновьевич Тёмкин часто рассказывал мне о своих именитых знакомцах в Америке.

— Я живу в Беверли Хиллс, — говорил он. — Вы знаете, что такое Беверли Хиллс?

— Слыхал. Это в окрестностях Голливуда, в Калифорнии.

— Да, это самое лучшее место в Голливуде! Там живут многие русские, очень известные люди. Моя соседка — Тамара Туманова, балерина. Она снималась у Джина Келли в фильме «Приглашение к танцу», там она играет и танцует вместе с ним… Вы видели этот фильм?

— Нет. Но у меня есть кадр из «Приглашения к танцу» с Тамарой Тумановой, я вырезал его из польского журнала…

— Значит, вы знаете о ней?

— Кое-что знаю. Дмитрий Зиновьевич, когда вы летите в Штаты?

— Через два дня. Но потом я опять вернусь в Москву.

— О'кэй, — сказал я.

Дома торопливо перебрал фотографии в старом бюваре мамы.

Где-то здесь, где-то здесь, обязательно должно найтись!.. Я очень хорошо помнил эти фотографии, помнил с младенческих лет.

И нашел.

Это были великолепные снимки, на которых мелким шрифтом было вытеснено имя мастера и адрес его ателье: *Eichart, 48, Bd de Clichy, Paris*.

На снимках была девочка, темноволосая и темноглазая. На одном из них — с белым бантом на макушке, в обнимку с собакой, пойнтером в блестящих лохмах, высунувшим от жажды и волнения язык. Здесь ей лет пять. На другом она, примерно, двенадцатилетняя, в балетном тренировочном трико. Еще

снимок: с обнаженными плечиками, ниже которых печать размазана, чтобы скрыть приметы взросления.

Была и фотография ее матери — Анны Христофоровны Чинаровой, дамы тоже темноволосой, густобровой, вероятно с примесью южных кровей, армянских или грузинских.

Я помнил, что была еще одна фотография: на ней, в бутафорском самолетике с пропеллером, какие держат в фотосалонах специально для тех, кто пожелает сняться в забавном ракурсе, — в этом самолетике сидели друг за дружкой всё та же девочка с бантом, всё та же дама с примесью южных кровей, и еще мужчина лет тридцати, темный шатен с залысинами у высокого лба, с сухощавым лицом, умными глазами.

Счастливое семейство: мой отец Евсей Тимофеевич Рекемчук, его первая жена — Анна Чинарова, их дочь Тамара.

Последняя фотография исчезла при странных обстоятельствах, о которых я уже рассказывал: была выкрадена либо уничтожена.

А другие остались в бюваре.

Почему-то они оказались не у моего отца, а у моей мамы. Наверное, она забрала их с собой, покидая Киев, стараясь досадить уже бывшему мужу, давая ему понять, что у него нет прав на прошлое — ни на дочь, ни на сына, — что у него есть только сомнительное будущее…

С того дня, когда мама впервые показала мне фотографии девочки с бантом, девочки в балетном трико и девочки с плечиками, я знал, что она — моя единокровная сестра, что она живет в Париже, что она балерина, что ее зовут Тамара Туманова.

За пределами раннего детства ничто не вызывало вопросов.

Тамара Туманова училась в балетной школе Ольги Преображенской. Одиннадцатилетней девочкой была приглашена самой Анной Павловой в ее труппу (впоследствии она сыграет Анну Павлову в американском фильме, посвященном судьбе великой русской балерины). Блистала на подмостках Гранд Опера, Ковент Гарден, Ла Скала. Работала с Джорджем Баланчиным, Сержем Лифарем. Была знакома с Глазуновым, Прокофьевым, Стравинским. Водила дружбу с Пикассо, Шагалом, Хемингуэем. Вышла замуж за известного кинопродюсера Кейси Робинсона, танцевала, играла в фильмах…

Не страшновато ли распахивать братские объятия звезде такой величины?

Но, в конце концов, мой интерес мог объясняться просто-напросто тем, что в семейном альбоме *совершенно случайно* оказались фотографии девочки, которая стала впоследствии

известной балериной.

После долгих размышлений я отобрал два снимка: тот, где она с бантом и собакой, и тот, где она в тренировочном балетном трико.

Третий, с обнаженными плечиками, решил оставить себе на память.

А первые два вложил в конверт и назавтра отдал его Дмитрию Зиновьевичу Тёмкину с просьбой передать при случае соседке в Беверли Хиллс.

Вскоре, возвратись из Штатов, он снова был на «Мосфильме».

Уже по сияющей его улыбке я понял, что он привез хорошие вести.

Но он приехал не только с добрыми вестями.

Торжествуя, Тёмкин вручил мне большой желтый конверт, на котором типографским шрифтом было тиснуто: *TOUMANOVA. 605, No. Canden Str. Beverly Hills, California*. И надпись от руки: *Monsieur A. E. Рекемчук*.

В пакете были два огромных фотоснимка, сверху и снизу прикрытые картоном, чтоб не помялись в пути.

О первом я уже написал — Одетта в «Лебедином озере».

На втором фотоснимке (ведь я послал ей два, и она ответила двумя) балерина была уже не в гриме и не в сценическом одеянии, а просто в платье и романтической белой шали, накинутой на голову, ниспадающей округлыми складками на плечи. Взгляд темных глаз опущен долу…

Что означала эта меланхолическая фотография? *Она* такая в жизни? Или это — *роль*? Но какая роль?..

Я очень радовался привезенным из Голливуда фотографиям, этому бесценному подарку. Как я был благодарен за него! Прямо скажу: он перевернул мне душу…

И в этом состоянии, с перевернутой душой, я допустил ошибку.

Я написал письмо в Беверли Хиллс. Оно было немногословным. Я благодарил Тамару Туманову за драгоценный дар, заверял, что ее фотография всегда будет передо мною — да так оно и есть до сих пор.

Но я добавил к этому, что у меня когда-то была еще одна очень забавная фотография, где маленькая девочка с бантом сидела в бутафорском самолетике; а за нею в этом игрушечном самолетике сидела дама, которая была женой моего отца; а третьим в этом самолетике был человек, которого звали Евсей Тимофеевич Рекемчук — так вот, его-то фамилию, его отчество, его крест и выпало нести мне в отпущенный мне Богом век.

Этот человек умер в 1937 году, написал я. Нет-нет, я не написал о том, что его расстреляли в тюремном подвале, а написал, что он умер. Потому что он всё равно ведь умер. И не его, и не моя вина в том, что на всех умерших в России в тот окаянный год лежит, как знак мученичества, эта пугающая дата…

Я был неосторожен. Я напугал людей.

— **В**ы знаете… — говорил мне Дмитрий Зиновьевич Тёмкин, в очередной раз приехав в Москву из Калифорнии, где он передал из рук в руки мое письмо. — Вы знаете… — говорил он тихо, чтобы никто посторонний не услышал его слов. — Вы знаете… — Он покачивал горестно головой. — После этого письма мои соседи три дня не выходили из дому…

Удрученный своей оплошностью, я больше никогда и не пытался — даже в более благостные времена, — возобновить переписку с Тамарой Тумановой, чтобы, хоть таким способом, хоть с таким опозданием, разобраться с фотографиями, вдруг оказавшимися в бюваре моей мамы.

В Соединенные Штаты меня почему-то не посылали.

Но летом 1990 года туда отправилась моя дочь Людмила Рекемчук.

Она окончила в Москве Институт иностранных языков, защитила диссертацию по английской лексике и теперь преподавала в нем. Ее послали на стажировку в Вашингтон, в Джорджтаунский университет.

Провожая дочку в дальнее путешествие, я попросил ее, если выпадет свободный час, покопаться в материалах Библиотеки конгресса США, взять на карандаш всё, что там есть о Тамаре Тумановой.

Более всего, конечно, меня интересовали подробности ее детства, сведения о родителях, годы учения в балетной школе и так далее.

Теперь это было лишь блажью, невинным хобби.

Людмила привезла из Америки целый ворох записей, ксерокопированных страниц: «Биографический словарь танца», «Женщины Америки», «Кто есть кто»…

И чем жаднее вчитывался я в эти строки, тем большее недоумение завладевало мною.

> «…Тамара Туманова (1919–). Русская-французская балерина. Родилась вблизи Шанхая после того, как родители покинули Россию. Училась у Ольги Преображенской…»

«…Русская балерина… родилась в 1919 г., в соответствии с легендой — в вагоне поезда где-то в Восточной Европе. Выросла в Париже, где с 5 лет училась в балетной студии Ольги Преображенской…»

«…родилась в 1917 году в Тюмени…», «…родилась в Сибири в 1918 году…», «…родилась в Харбине…», «…происходит из старинного грузинского княжеского рода…», «…урожденная Хасидович…», «…Тамара Владимировна Туманова…»

Всё никак не стыковалось, было кричаще противоречиво: Шанхай — и Восточная Европа; грузинский княжеский род — и фамилия Хасидович; невесть откуда взявшееся отчество — Владимировна…

Умиляла строка из справочника: «…в соответствии с легендой…» И здесь — *легенды*!

С тем, что я знал, совпадали лишь имя, сценическая фамилия, год рождения, детство в Париже, учеба в балетной школе Ольги Преображенской.

Поражало то, что авторы статей, судя по всему, даже не пытались уточнить: в Тюмени или в Харбине? В вагоне поезда или на вокзале? Кто были ее отец и мать? А ваши кто родители? Чем они занимались до семнадцатого года?..

Ведь им-то, авторам справочников, за уточнениями было недалеко ходить: могли бы обратиться к ней самой, к Тамаре Тумановой! Она была в пределах досягаемости — всё в том же Беверли Хиллс, уже не танцевала, но иногда еще снималась в кино.

А разве она сама не замечала этих противоречий, этой путаницы в статьях, посвященных ей?

Разве женщине может быть безразлично — родилась ли она в семнадцатом или в девятнадцатом году?

Наверняка замечала. Но отмалчивалась.

Иногда меня самого подмывало: а не обратиться ли вновь к ней с этими вопросами?

Но смущение попрежнему владело мною. Еще звучали в ушах растерянные слова Дмитрия Зиновьевича Тёмкина: «Вы знаете… после вашего письма мои соседи три дня не выходили из дому…»

А что мне — больше всех надо?

Вот уж, право, тогда мне всё это было совершенно без надобности. Тогда я еще и не помышлял об этой книге, отдавая себе отчет в том, что в ней всё — *нельзя*.

А теперь — *можно*?

Не знаю. Но теперь поджимали сроки. Я должен был или

написать эту книгу, или смириться с тем, что я ее не напишу.

Прежние недоумения, нестыковки, противоречия, конечно же, сами собой рассосаться не могли.

Однако теперь я уже не мог обратиться к самой Тамаре Тумановой. Ее уже не было. Она умерла в 1996 году, об этом писали российские газеты.

Так, может быть, именно за этим порогом что-то прояснилось в тех загадках, в тех *легендах*, которые сопровождали ее земной путь? Так бывает, что проясняется *после*.

Но и после возникали лишь новые легенды: светский люд судачил о том, что, несмотря на замужество, несмотря на пылкие романы, на соперничество с Гретой Гарбо за любовь Сергея Лифаря, она умерла девственницей.

Между тем, летом 2004 года я уже писал очередную главу своей новой — вот этой — книги. Я отдавал себе отчет в том, что ее *парижские* главы должны объяснить психологический сдвиг, заставивший моего отца, как и многих других достойных людей, искать выхода из тупика своей личной и окружающей жизни — там, на востоке, в России, которая теперь называлась торжественно и длинно: Союз Советских Социалистических Республик.

Тем более, что эта страна была его родиной, за которую он не однажды пролил кровь.

Но у меня под рукой не было практически *ничего*, на что я мог бы опереться.

Ничего, кроме нескольких строк его автобиографии, специфика которой заключалась в том, что она была служебной, а служба эта была строгой, не прощающей помарок.

Но ведь он жил тогда в Париже не один. С ним была его семья: жена Анна, дочь Тамара.

Тамара. Всемирно известная балерина и киноактриса.

Должно же что-то *остаться*, хотя ее самой, увы, уже нет на свете!

Я опять обратился к Людмиле: «Знаешь что, дочка, пошуруйка ты снова в своем компьютере, пошукай в Интернете. Ты ведь знаешь, что я в этом хозяйстве ничего не секу, не знаю, куда тыкать… Посмотри еще разок, что там есть о Тамаре Тумановой? Авось, что-нибудь наскребется. Очень надо».

Спустя день-другой, Мила принесла мне фотографию надгробного камня на кладбище в Голливуде.

На зеленой лужайке, под сенью раскидистых пальм, беломраморный ангелочек с крылышками склонялся над

могильной плитой, на которой высечены восьмиконечный православный крест и фамилия: *TOUMANOVA*. Слева: *Princess EUGENIA DIMITRIEVNA*. 1899–1989. Справа: *TAMARA. 1919–1996*.

Тамару похоронили в могиле матери.

Принцесса — это можно еще понять, имеется в виду титул грузинской княжны. Но почему Евгения Дмитриевна? Ведь ту густобровую темноволосую даму с примесью южных кровей, на которой был женат мой отец, звали вовсе не Евгенией Дмитриевной, а Анной Христофоровной. Анна Христофоровна Чинарова! Мать Тамары.

А покуда я хлопал глазами над фоткой, где под сенью раскидистых пальм белый ангел склонялся над могильной плитой, — дочь принесла мне еще несколько страниц, горячих, только что вынутых из принтера.

На одной из них была афиша, возвещающая о том, что в спектаклях Русского балета, прибывшего на гастроли в Австралию в 1938 году, выступят прославленные танцовщицы и танцоры, а именно: Тамара Туманова, Серж Лифарь, Ирина Баронова, Игорь Юшкевич, Людмила Львова, Тамара Григорьева, Тамара Чинарова… батюшки, сколько Тамар в одном трудовом коллективе… Что?! Нет, я не ошибся: *Tamara Toumanova, Tamara Tchinarova*… Это — разные Тамары?

Две большие разницы, как говорят в моей родной Одессе. А теперь передо мною веером лежали фотоснимки. Тамара Туманова в балете Стравинского «Жар-птица». Тамара Чинарова в роли грузинской царицы Тамары в балете «Тамара» на музыку Балакирева. Портрет Тамары Тумановой на фоне статуи Венеры Милосской — как хороша! (я имею в виду Тамару Туманову). Портретный снимок Тамары Чинаровой в цыганских монистах (Эсмеральда?).

Но у них же совершенно одинаковые лица, у обеих Тамар!

Одна масть: обе черненькие, обе прыгают… Один и тот же год рождения: 1919-й.

На оказавшихся в сайте Интернета фотографиях с дарственными надписями — судя по всему, подаренных одной и той же Ксении, — почерк почти одинаков. Впрочем, нет: Тамара Туманова пишет *Ksenia*, а Тамара Чинарова пишет *Xsenitchka*…

Одни и те же балетные партии.

Тамара Чинарова танцует почти весь репертуар Тамары Карсавиной, еще одной легендарной русской балерины, еще одной Тамары.

Интернет стоит на ушах, час за часом снабжая меня эксклюзивной информацией. Тамара Чинарова живет в Лондоне, только что на сайте американского журнала Danse Chronicle

опубликованы главы ее воспоминаний «*My Dancing Years*», «*Мои годы в танце*»…

Еще через день Людмила, молча, кладет мне на стол стран и цу переведенного с английского текста.

> «…На пике большевистской революции братья убивали братьев, жестокость идеалов разделяла семьи. Люди должны были переоценить собственные верования. То же самое было и с моими родителями. Они оба принимали участие в войне. Мой отец Евсевий Рекемчук (…Evsevij Rekemchouk…) был кавалерийским офицером в батальоне, прозванном „батальон смерти“, который был близок к царю. Моя мать, Анна Чинарова, была медсестрой Красного Креста, работала в госпиталях близко от линии фронта, которые были переполнены ранеными и заболевшими холерой. Они встретились, когда мой отец был ранен…»

Обслуга сайта сообщила, что Тамара Чинарова не пользуется Интернетом, у нее нет компьютера (во-во!), но наш запрос отправлен ей по почте.

Еще через несколько дней в моей квартире на Фрунзенской набережной раздался звонок.

Глуховатый, как у меня, но достаточно бодрый голос говорил по-русски:

— Александр Евсеевич? Здравствуйте. Это Тамара, Тамара Евсеевна, из Лондона. Судя по номеру телефона, вы живете в Москве рядом с Хореографическим училищем? Я бывала там…

С этого момента, с этой строки я пишу другую книгу — вовсе не ту, что была замыслена вначале.

И, откровенно говоря, меня берет оторопь, когда думаю, что мог бы — кабы не этот звонок, — написать нечто иное, и выпустить книгу в свет, и уйти в назначенный срок, не предполагая даже, что ухожу в заблуждении, не познав истины… Впрочем, кто ее познал?

Слышу укор: надо было *раньше* залезть в Интернет!

Но *раньше* не было Интернета.

Мне говорят: надо было раньше, невзирая на возраст, научиться работать с компьютером!

Но *раньше* не было и компьютеров.

А что было *раньше*? Ведь жизнь всё равно была. И дело-то, вобщем, не в оргтехнике.

Самое невероятное в этой вполне житейской истории заключается в том, что она произошла не *раньше* и не *позже*, а именно в тот момент, когда два человека, мало зная друг о друге, либо не зная ничего — не имея контактов, находясь в отдалении, в неведении, — вдруг, почти одновременно решили рассказать людям о своей жизни.

Я сел писать эту книгу, после долгих раздумий, весною 2004 года.

Моя сестра Тамара, не подозревая об этих раздумьях, не зная даже о моем существовании, опубликовала в американском журнале повествование «Моя жизнь в танце» той же весной того же две тысячи четвертого.

Могло ли это быть простым совпадением, случайностью? Могло, конечно. Чего только не бывает на свете!

Однако серьезные ученые, работающие сегодня на авангардных направлениях науки, утверждают, что компьютерная техника и всемирная сеть, Интернет — это лишь кустарная модель загадочной и недоступной пока человеческому разуму системы.

О ее существовании догадывались еще люди античности. Не стану корчить из себя ученого — всё равно, никто не поверит, — а процитирую высказывания на сей счет известного математика, профессора МГУ Леонида Васильевича Лескова, опубликованные недавно одной из газет под заглавием «Интеллектуальная причина универсума» и снабженные весьма примечательным подзаголовком: «Интернет — возможно, лишь жалкое подобие хранилища Информации Вселенной».

Он говорит:

> «Полтергейст, ясновидение, экстрасенсорика, парапсихология, телепатия…
>
> Я считаю, что все они имеют одну физическую природу. Их объяснение надо искать в учении о квантовом вакууме — мэоне. Это короткое слово, придуманное еще древнегреческими философами, точнее всего можно перевести как „отсутствие бытия, Ничто, потенциально насыщенное всем“. Наши далекие предки полагали, что окружающий нас вакуум — не просто пустота, а бесконечно насыщенная субстанция.
>
> …Можно предположить, что мэон — это космический банк информации, построенный по голографическому принципу, гигантский „склад“ смыслов, находящийся вне времени и пространства. Там

нет прошлого или будущего, секунды или вечности. Там всё едино. Если продолжить цепочку образов, это — гигантская информационная паутина Вселенной, куда более изощренная и сложная, чем земной интернет. Верующие люди сказали бы: человек, созданный по образу и подобию Бога, пытается и здесь подражать Творцу, сам не сознавая, что всё уже создано до него, только лучше и совершеннее…»

Его опять бомбят вопросами, касающимися возможностей Интернета — получения информации, обмена ею, переписки. Он отвечает:

«Точно та же возможность скрыта в мэоне. Только интернетом мы пользуемся сознательно, а некоторые даже умело и профессионально, здесь же — лишь интуитивно, робкими, неуверенными движениями, методом „тыка“. Именно так можно объяснить поэтические озарения и научные открытия, явившиеся во сне или, словно удар молнии, ниспосланные „свыше“. Яркая, внезапная вспышка нового знания, поступившего как бы ниоткуда — это то, что мы называем интуицией. А прорицание, ясновидение, телепатия, знаменитые „вещие сны“ — что это, как не поток информации, открывшийся из иного, „космического“ мира?

Некоторым от природы дана способность „видеть“, чувствовать то, что записано на матрицу „памяти Вселенной“, другим и — таких большинство — эта возможность представляется лишь в экстремальной ситуации… Разумеется, это гипотеза, однако без гипотез нет науки».

Я млею от подобных формул: «…отсутствие бытия, Ничто, потенциально насыщенное всем». Еще: «…Там нет прошлого или будущего, секунды или вечности. Там всё едино». Ведь этим-то я и занимаюсь.

Мне скажут: дед, не выламывайся, не гони пургу! И я соглашусь покорно, как всю жизнь соглашался с окриками, ставящими меня на место. Ишь, раздухарился…

Но, на всякий случай, позволю себе еще несколько замечаний, касающихся уже не чьей либо, а моей законной

профессии.

Во всех эпизодах этой книги я ищу момент своего *личного присутствия*, как некой гарантии *правды*, что диктуется самой природой исповедального жанра.

Теперь же — в тех случаях, когда я не могу лично присутствовать при случившемся событии, находясь в отдалении, либо в неведении, либо, вообще, не родившись еще на свет, — мое вынужденное отсутствие будет возмещено стократ присутствием моей сестры.

Кроме своих цепей

Теперь он был чернорабочим.

Штабс-капитан Русской армии, кавалер семи боевых орденов; обладатель университетского диплома; редактор независимой газеты, вгонявшей в панику Бухарест; человек, изъясняющийся на четырех европейских языках…

И вот он ходит чумазый, в замасленной робе, выполняя ту работу, о которой восвоясях говорят: круглое катаем, плоское тягаем.

Правда, кто-то мог бы напомнить ему, что сам он не бог весть какого барского рода.

И еще ему могли бы подсказать, что тысячи эмигрантов из России оказались тут в столь же незавидном положении. Светлейший князь Владимир Дмитриевич Голицын устроился работать шофером такси, катает по Парижу на «роллс-ройсе» заокеанских толстосумов. Таким же извозом промышляет и бывший офицер Гайто Газданов, а ведь он еще и писатель. Бедствует на чужбине поэт Владислав Ходасевич, его жена Нина Берберова нанизывает для продажи бусы на нитку, словно четки злосчастных дней…

Но кого и когда могли примирить с жизнью такие сравнения, подобные резоны?

Бытие определяет сознание. А сознание напоминает, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей… Как сказал Карл Маркс.

В служебной автобиографии Рекемчука, написанной им в 1930 году, есть строки, предопределившие судьбу.

> «…В Париже с декабря 1924 г. по конец марта 1925 г. работал в качестве чернорабочего на вагоностроительном заводе в Сен-Дени.
>
> Находившаяся в то время в Париже молодежь группировалась вокруг советского Консульства и Полпредства, получая моральную поддержку — и организовав несколько обществ. Я был очень близок к этим кружкам, вернее, молодежь любила у меня собираться, делиться новостями о Бессарабии и проч. Я знал, что многие из моих приятелей бывают в сов. консульстве и что там их хорошо принимают. К концу марта я и сам решил отправиться в консульство, думая переговорить с секретарем консульства о материалах,

относящихся к Татарбунарам, и, если можно, переслать их для напечатания в газетах СССР…»

Напомню, что он эмигрировал, спасаясь от румынской Сигуранцы, от ареста, от суда за публикацию статей о Татарбунарском восстании в газете «Новая жизнь», которую редактировал в Аккермане.

Привлеку внимание читателя и к оброненной походя фразе: «…молодежь любила у меня собираться, делиться новостями о Бессарабии и проч.»

Насколько же многолюдны были эти собрания, если учесть, что в каморке зачуханной гостинички на окраине Парижа, где он жил, был всего лишь один стул? Еще одна кровать, еще один стол. Зато очень много клопов. И стервозная хозяйка, бдительно следившая за каждым сюда входящим…

Некто съехидничает: о, как щедра деталировка у автора! Выдумал? Представил себе во всех подробностях? Нет. Ни слова выдумки.

Именно таким предстало убогое жилище новоиспеченного парижанина взорам его жены Анны и дочери Тамары, когда они приехали сюда из тихого Аккермана, из богатого дома Христофора Чинарова на Дороге Траяна.

«…В течение многих дней поезд шел вдоль реки Дунай, пересекал массивные заснеженные горы, прибывал на большие станции, где были вывески сначала на венгерском, затем на немецком и, наконец, на французском. Мама сказала, что мы уже во Франции и скоро будем в Париже. К тому же у нас кончалась еда, а хлеб, который у нас был с собой, зачерствел настолько, что его было трудно глотать…»

Это — из ее опубликованных воспоминаний. Мое внимание привлекла еще такая подробность: в багаже был чемодан, полный фарфоровой посуды — Анна Чинарова везла с собою к новому месту жительства тарелки, чашки, вазочки, которые были подарены молодоженам ко дню свадьбы. И память хотелось сохранить, и в хозяйстве сгодится…

Я вспомнил сочиненный ради озорства эпизод из первой части этой книги, где мой дед Андрей Кириллович вместе со всем своим выводком покидает Харьков на веренице извозчичьих экипажей — гони, гони, через Полтаву, через Черкассы, до самого

Парижа! — а следом за этой кавалькадой движутся еще две подводы с дареным гарднеровским сервизом… Вспомнил и подивился тому, сколь близок оказался нафантазированный бурлеск другой, невыдуманной, житейской истории.

Холодным ноябрьским утром отец встречал их на Восточном вокзале. Они увидели его через вагонное окошко на перроне. Он выглядел сильно похудевшим, вспоминает Тамара, был одет в синий плащ с черным беретом, как все французы.

Подхватив чемоданы, повел их к поезду метрополитена, довез до станции *Port de Clignancourt*, что на северной окраине Парижа.

Хозяйка гостинички караулила их появление в конторке первого этажа. Сказала: «Большая девочка!» (Тамаре было шесть лет). И это не звучало приветствием или комплиментом, а было уличением во лжи. Ведь русский постоялец уверял, что к нему приедет жена с маленькой девочкой. Теперь она разгадала эту уловку: чтобы платить поменьше.

Поднялись на четвертый этаж. Тут им и открылись хоромы, в которых предстояло жить. Клетушка с единственной кроватью, одним стулом и столиком со спиртовой плиткой для приготовления пищи. Таз для мытья ног. «А как же лицо?» — спросила Тамара. Отец показал ей закуток в конце коридора, там был кран с холодной водой, раковина. И еще — дырка в полу, две подставки для ног.

Покуда Анна Чинарова размышляла, где же ей расставить привезенные фарфоровые вазочки, дверь распахнулась и в комнату ворвалась всё та же разгневанная хозяйка.

Она кричала, что за жилье уже несколько недель не плачено (все заработанные деньги отец отослал семье на переезд), что девочка слишком большая, для нее в комнате нет отдельной кровати, а если они вздумают улечься в постель втроем, то она тотчас вызовет полицию…

Проблема ночлега оказалась самой щепетильной, хотя и не единственной.

Она смягчалась лишь тем, что Рекемчук работал ночами. Он мыл вагоны на вокзале Сен-Лазар, орудуя веревочной шваброй и перетаскивая за собою ведро с грязной водой.

Это пролетарское занятие было даже похлеще того, о чем он позднее писал в своей автобиографии: будто бы вкалывал чернорабочим на вагоностроительном заводе.

Вполне возможно, что эти этапы его трудовой деятельности просто следовали один за другим: сначала завод, а уж после — отстойник вагонов с загаженными, заплеванными полами. Или наоборот.

Но нельзя исключать и того, что он просто стыдился писать в

чекистской анкете, что вот-де пришлось и орудовать шваброй в буржуйских свинарниках…

Откочегарив смену, спал на скамейке в зале ожидания Сен-Лазара. Но поутру вокзал заполнялся ордами пассажиров, появлялись полицейские, приходилось убираться домой.

К этой поре жена и дочь уже покидали постель. Наскоро умывшись, готовили завтрак на спиртовой горелке. Тут появлялся и глава семьи…

Перекусив, заваливался в ту же, еще неостывшую постель — досыпать.

Но не тут-то было.

Комната в отеле у Клиньянкурских ворот была сущим клоповником. Клопы пили кровь постояльцев и ночью, и днем. Но, странным образом, они разбегались вмиг и прятались по своим Щелям, как только возмущенные жильцы приводили в комнату хозяйку гостиницы, требуя принять меры. «Где клопы? — спрашивала она. — Я не вижу ни одного… Это — наглая ложь!»

Однажды, вспоминает Тамара, отец отловил парочку кровопийц, поместил их на донышко спиртовой бутылки, из которой заправляли горелку, и отнес хозяйке — поставил прямо на стол в ее конторке.

Но и эта улика не произвела впечатления.

Анна была более практична. Она, не взывая больше к буржуйской совести, решила действовать самостоятельно. Вытащила матрац из кроватной рамы (проклятущие клопы прятались и в щелках дерева, и в складках ткани), залила все уголки, все дырки тем же вонючим спиртом, подожгла спичкой… Это верное средство избавления от клопов ей подсказали знающие люди.

Мгновенно и матрац, лежащий на полу, и кровать, и сам пол вспыхнули синим пламенем. Огонь взбежал к занавескам на окнах…

Клубы дыма повалили изо всех щелей, вырвались за дверь, на лестницу.

На запах гари примчалась из своей конторки хозяйка.

Огонь удалось потушить.

Так и осталось неизвестным, как отнеслись клопы — подлинные виновники происшествия — к верному домашнему средству, примененному Анной.

Но стены комнаты сделались черными от огня и дыма, насквозь сырыми от выплеснутой на них воды.

Хозяйка, в крайней ярости, собственноручно вышвырнула на улицу, прямо в окно, обгоревшее зимнее пальто главы семейства и еще кое-какие отрепья.

Фарфор уцелел.

Постояльцам было велено убираться подобру-поздорову.

Всё это, в подробностях, было описано на первых же страницах воспоминаний Тамары Чинаровой, опубликованных в американском журнале «Дане Кроникл».

Мы прочли это в беглом переводе с английского.

— Тамара очень хорошо пишет, — сказала Луиза. — У вас это — наследственное?

Я был польщен.

Деваться было некуда.

Сидели всем семейством на лавочке бульвара Клиши. Анна вдруг вспомнила, что у нее есть адрес давней, еще школьной подруги: та жила на рю Мулен де ля Пуант, тоже на окраине, на южной, близ площади Италии.

Постучались к ней.

Подруга, к счастью, оказалась женщиной сердобольной, поняла беду, пустила к себе незадачливых земляков, чтобы они хоть какой-то срок могли перекантоваться.

Теперь Тамара с мамой спала на полу. Отец попрежнему ночевал на вокзалах. Его заработка хватало лишь на то, чтобы семье не умереть с голоду. Анна устроилась работать на швейную фабрику, где охотно использовали труд эмигрантов, но платили сущие гроши…

Всё это было тем более тягостно, что в Аккермане, дома, под родительским крылышком, привыкли жить безбедно. Не то, чтобы глава рода баловал своих чад, но у него — теперь об этом необходимо сказать, — были свои виды на супруга дочери, на Евсевия Рекемчука.

Война отняла у Христофора Чинарова его надежду: старший сын Павел, Пава, погиб на фронте. Младший же сын, Евграф, тоже успел пострелять, посидеть в окопах, но, покуда воевал, невеста вышла замуж за другого. То ли с обиды, то ли из предрасположения, Евграф стал сильно пить. Эта склонность усугублялась тем, что главным богатством дома Чинаровых были виноградники, винодельни. То есть, за выпивкой не надо было далеко ходить, она всегда была под рукой.

Глава рода понял, что доверять Евграфу такое хозяйство нельзя: пропьет, и сам сопьется.

Оставались дочери, Анна и Лидия. Старшая, слава богу, отличалась практичностью, имела хозяйскую хватку. А тут еще вышла замуж за человека непьющего, что было редкостью среди вчерашних вояк, весьма и весьма энергичного, грамотного… Да

вот беда: вся энергия и вся грамотность зятя были обращены отнюдь не на хозяйство, не на умножение семейного капитала, а на занятия пустые и вздорные, к тому же очень опасные: газета, статейки, политика, фронда с властями предержащими.

И, всё же, Христофор Чинаров надеялся, что зять одумается, остепенится, поймет надежность и пользу настоящего дела, примет из его рук процветающее хозяйство, станет опорой семьи, продолжателем родового промысла.

Но не тут-то было.

В азарте политических игр зятек стал заметно припадать на *левую ножку*, проявлять симпатии к большевикам, а те ведь были недалече — всего лишь за пограничной рекой. Хуже того: муж дочери повздорил с цензурой, с всесильной и всеведущей Сигуранцей, чуть не угодил за решетку, едва не оказался на скамье подсудимых. И, в итоге, драпанул за кордон, сделался эмигрантом. Зацепился в Париже, а мало ль там таких молодцов?..

Увы, этот удар оказался не последним для Христофора Чинарова.

Анна, покуковав некий срок ни вдовой, ни мужней женой, собрала чемоданы, прихватила дареный к свадьбе фарфор, отправилась вслед за муженьком туда же, на Елисейские поля. Увезла с собою крохотную Тамару, любимицу деда, имевшую за черноту волос домашнее ласковое прозвище — Жук.

Старик Чинаров был так взбешен этим поступком, так разгневан, что больше не хотел и слышать о непутевом зяте, о непослушной дочери, о чернявой внучке.

И в том, скажем прямо, было спасение его сердцу.

Потому что он загоревал бы еще круче, кабы узнал, что сталось там, в далеком Париже, с родными ему людьми.

Что там, под сенью Эйфелевой башни, они сделались бездомными, безработными, голодными, нищими, отверженными… Что они сделались там едва ль не клошарами, не лаццароне, а этими, как их, которым нечего терять, кроме своих цепей… а, да, пролетариями всех стран!

От них добра не жди.

Однако визит Евсевия Рекемчука в советское консульство оказался не бесплодным.

Ему предложили работу в редакции только что открывшейся газеты, которая называлась «Парижский вестник». Газета выходила на русском языке, взывала к массам отчаявшихся эмигрантов и, по мнению французской полиции, издавалась на деньги, которые поступали на счета Полпредства СССР в Париже

прямо из Москвы.

В «Парижском вестнике» Рекемчуку поручили заведовать отделом балканской политики. Уж он-то знал, что там творится, на Балканах: Татарбунары и тому подобное…

Ему посоветовали подписывать свои статьи псевдонимом, и он выбрал не слишком броский: *Иванов*.

Не знаю, подсказало ли ему чутье, что эта журналистская работенка, о которой он так светло мечтал, пробираясь в Париж из Аккермана, а потом орудуя шваброй в вагонном отстойнике Сен-Лазара, — что она может иметь свою специфику.

Утренник

Девочка росла. Пора и в школу.

Уж не знаю, какой блажью было продиктовано решение родителей определить Тамару в монастырскую школу в Версале. Но, надо думать, им показалось, что в эти шальные времена, тем более в чужой стране, ребенку следует дать воспитание построже.

И девочка тотчас почувствовала себя несчастной.

Она плохо владела французским, а русский язык в Версале тогда еще не был в ходу. Кроме того, монастырская школа — что естественно — была католической. Тамару же крестили в православии.

В воспоминаниях «Мои годы в танце», напечатанных (и написанных) на английском, Тамара обозначила это словом orthodox, как принято в западном лексическом обиходе.

И я вспомнил, что в зарубежных визовых анкетах отца, которые мне довелось видеть, он вписывал в графу о вероисповедании точно такой же ответ: *Orthodox*.

«… *Мы молились с утра до вечера, а в перерывах лущили горох, — пишет Тамара. — Радость приносили только воскресенья, когда приезжали родители и вели меня в парк большого замка в Версале. Отец рассказывал мне о Людовиках, о величии власти, о великолепии королевского двора. Мама привозила булочки и пирожки, фрукты и сладости*…»

В рукописном, более пространном тексте этих воспоминаний, Добавляется, что кроме живописания пышности версальского Двора, шалостей маркизы Помпадур, мадам дю Барри, королевы Марии-Антуанетты, — отец рассказывал и о бриошах, которые беднякам советовали есть вместо хлеба, о Бастилии, о революции, о якобинцах, о жутком изобретении профессора анатомии Гильотена. Мать девочки сердилась на него за это, нервничала.

Настоятельница монастырской школы просила родителей не баловать ребенка сладостями. Вновь и вновь заводила речь о том, что девочке следует перейти в истинную веру, то есть в католичество, иначе она всю жизнь будет ощущать себя грешницей.

Мать отвечала на это непреклонным «нет».

То есть, она излагала свои доводы более пространно, но, поскольку Анна тоже плохо владела французским, дочери впоследствии пришлось приложить немало усилий, чтобы передать на английском своеобразие этих речей.

Нам же понадобится изобразить то же самое по-русски.

Итак, Анна отвечала матери-настоятельнице: «Я — ортодокс,

вся семья — ортодокс, Тамара — тоже ортодокс, никаких изменений, Тамара не католичка, тут вообще слишком много церкви, Тамара останется как есть или уйдет совсем вон…»

Странное событие ускорило развязку.

Однажды учениц привели в монастырскую часовню. И там они увидели монашенку, лежащую ничком на полу, с руками, раскинутыми крестом. Она была накрыта черным покрывалом, на котором тоже был белый крест. Младшим девочкам дали корзинки с цветочными лепестками, и в то время, как старшие пели псалмы, младшенькие ходили вокруг распростертого тела и бросали на него лепестки… На ночь было велено молиться за спасение ее души. Живой, отлетевшей?.:

Потрясенная девочка проплакала всю ночь.

Но это имело результат неожиданный.

В очередную воскресную встречу Тамара объявила отцу и матери, что приняла решение *стать монахиней.*

Вероятно, мечта о пострижении не совпадала с планами родителей в отношении единственного чада.

Девочку забрали из монастыря, отдали в обычную светскую школу, что располагалась невдали от дома.

Теперь по воскресеньям отец старался приобщить Тамару к тем развлечениям, которые естественны для ее возраста и которых она была лишена в Версале.

Однажды он повел ее в цирк Медрано.

По арене, вздымая вихри опилок, носились лошади. На них скакали джигиты в бараньих папахах и казакинах с гозырями, в мягких сапогах со шпорами. Они выделывали чудеса: мчались в галопе, стоя в седлах в полный рост; зависали в стременах и мели арену башлыками; жонглировали обнаженными клинками, палили в купол из маузеров и карабинов…

Девочка была в восторге.

Вероятно, именно там, в цирке Медрано, в ее детской головке угнездилось представление о том, что ее папа был на войне кавалеристом, что он служил в «эскадроне смерти» и, вообще, что он родился в горах Кавказа и — как же она не догадалась раньше? — потому назвал свою дочь именем грузинской царицы Тамары…

Опять *легенда.*

В другой раз он повел ее на Елисейские поля смотреть Русский балет.

Она запомнила бесконечный ряд ступенек, по которым они поднимались, из чего можно предположить, что места были на галерке.

В утреннике шел одноактный балет «Сильфиды».

> «Я перенеслась в мир мечты, — *вспоминала впоследствии Тамара.* — Декорации изображали деревья в лунном свете. Романтическая музыка Шопена. Сильфиды скользили по сцене, появляясь и исчезая… Их движения были легки. Это было идеальным сочетанием музыки и движений, красоты линий.
>
> Внутренний восторг переполнял меня. Хотелось плакать от потрясения, которое я испытала.
>
> Даже в перерыве я всё не могла спуститься с небес на землю.
>
> И любимый шоколад „эскимо“, которым угостил меня отец, был съеден мгновенно…»

А после антракта началось представление, которое не только предопределило судьбу маленькой девочки по прозвищу Жук, но и — об этом тоже следует сказать непременно! — во многом повлияло и на судьбу ее отца.

Это был одноактный балет «Петрушка», поставленный Михаилом Фокиным на музыку Игоря Стравинского.

Рассказывая о посещении театра, Тамара — уже во взрослом осмыслении былого, — упоминает о том, что отец имел намерение написать рецензию на этот спектакль для своей газеты, которая старалась постоянно держать в поле зрения всё русское в Париже. И формулирует его вкусы: он не был приверженцем нового для той поры искусства — кубизма в живописи, который его озадачивал, диссонанса и атональности в музыке, которых он не понимал и не хотел понимать. Нет, он предпочитал классические звучания, традиционные формы изображения.

Эти ее наблюдения очень важны, поскольку в дальнейшем изложении событий у меня появится возможность видеть отца среди старинных холстов — в ту пору, когда, уже на излете своих дней, он работал в Киевском музее западного и восточного искусства. И более того: когда мне выпала редкая возможность застать его самого за мольбертом, с палитрой и кистями в руках…

Но покуда отец и дочь сидят рядышком на скамье театра в Елисейских полях.

Возникла музыка, похожая на треньканье балалайки, на посвист деревянного рожка, на перебор ладов гармошки. В этой музыке сразу проявилась та острота звучаний, которая доселе царапала его слух, заставляла досадливо морщиться, недоуменно вскидывать брови… Но сейчас его будто подменили: он

завороженно слушал эту пряную и дурашливую какофонию оркестра, улавливал в ней столь близкие сердцу и уже позабытые мотивы: «… Бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах…»; и еще — «Я на горку шла, тяжело несла… тяжело несла, в решете овса…»; и еще один мотив, полюбившийся не только Чайковскому: «Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, люли-люли, стояла…»

А когда открылся занавес, сцена наполнилась сиянием заснеженной бескрайней степи, озаренной одновременно и Солнцем, и Луной, да еще стоцветной радугой впридачу. Причем лучи красного солнца топырились во все стороны, будто кудри сказочного Ярилы. А скибка луны хитровато щурилась. А радуга стояла на обеих ногах так основательно, будто всегда была непременной частью любого пейзажа.

Это был как бы встречный крик другой души — души художника, истомленной разлукой с родной землей настолько, что теперь он спешил населить сцену всем, что знал, всем, что помнил, не отделяя зиму от лета, а ночь ото дня.

На горизонте, словно бы пустынный мираж, вырисовывались ломаные очертания деревянных церквей, кержацкого скита, захолустных монастырских стен, осененных восьмиконечьями крестов…

А на самом переднем плане были полосатые верстовые столбы с фонарями, был ярмарочный балаган с задернутой цветастой занавеской. А вот и она раздернулась в стороны — и пошла, всем на потеху, кукольная комедия. Петрушка в дурацком колпаке, Арап в разбойной чалме, Кукла в пышных юбках.

Выгородки райка, справа и слева, были набиты досужей публикой: тут тебе и купчина, швыряющий деньги толпе; и цыгане с цыганками, проворно тырящие эти деньги из чужих карманов; и остолопы полицейские, разинувшие рты на представление, вместо того, чтобы ловить воришек; и косолапый медведь, обученный танцевать…

Балет шел в декорациях Александра Бенуа, в которых так причудливо сочетались и достоверный ландшафт, и сказочный лубок, и то беспредельное буйство красок, которое составляло природу нового искусства.

А ведь он — я говорю сейчас о своем отце, — ведь он чурался этих новаций!

Но тут он был очарован до той крайней степени, когда перехватывает дыхание. Он был потрясен, как не следовало бы, наверно, потрясаться тридцатилетнему человеку, познавшему житейскую мудрость, хлебнувшему военного лиха, — но он, всё равно, замер в потрясении…

Вот тут-то, в то утро (ведь это, напомню, был утренник), пусть на эмоциональном уровне, но тем более, ведь от этого уже не избавишься, — пришло осознание того, что *ему не жить без России*!

И это не ускользнуло от ревнивого внимания дочери.

Хотя в то же утро и в тот же час к ней самой явилось озарение.

Она зорко следила за всеми персонажами на сцене: за отважным без меры и без меры несчастным Петрушкой; за косолапым медведем, который плясал для всех и вместе со всеми — ведь в России только и знают, что плясать с радости или с горя; за вездесущим черным Арапом; за цыганами, за полицейскими, за юркими сбитенщиками.

Но более всех, не отрывая глаз, она следила за Куклой.

Она была легка и бела, как хлопья снега, падавшие на землю с чистого неба. Она была непостоянна, влюбчива, опрометчива — предпочла Петрушке Арапа…

У Куклы в спектакле не было имени, она безлично звалась Балериной.

Но из театральной программки, которую купил отец, следовало, что у балерины, которая танцевала партию Куклы, имя всё-таки было.

Ее звали Тамара Карсавина.

Она тоже была Тамарой!

И хотя финал спектакля был печален — бедного Петрушку повязали цепями, забили до полусмерти ни за что, ни про что, — даже это не могло поколебать судьбинного решения девочки. Она больше не хотела стать монахиней.

Теперь она хотела лишь одного: стать балериной.

Задание

Вернусь к прерванной цитате из служебной автобиографии отца, где он повествует о своем посещении консульства СССР в Париже.

> «…В Консульстве меня очень тепло встретил секретарь консульства и сказал, что мне следовало бы переговорить с консулом. С консулом, покойным Отто Христиановичем Аусемом, я очень долго беседовал, в результате чего он мне сказал, что он очень заинтересован мною, переговорит обо мне кое-с кем и чтобы я зашел в Консульство через три дня. В назначенный день я опять беседовал с консулом, написал свою авто-биографию, а также „что бы я хотел делать“. Через дней 5–6 я был вызван письмом в Консульство, где в присутствии консула беседовал уже о задании для меня с товарищем, имени которого я не помню, кажется ЕЛАБУРСКИЙ (с ним я год тому назад встретился в Москве). Я взял на себя выполнение приговора верховного суда СССР над неким Бородиным, бежавшим из СССР с похищенными документами и проживающим вблизи Праги Чешской…»

Вот так.

Предвижу оторопь, которая охватит читателя. Мною владеет то же чувство.

А ведь он шел туда, на рю де Гренель, где располагалось консульство, с намерениями совсем иного плана: «…думал поговорить с секретарем консульства о материалах, относящихся к Татарбунарам, и, если можно, переслать их для напечатания в газетах в СССР».

Благородная творческая цель.

И вряд ли в упомянутой записке «что бы я хотел делать» он написал, что готов *мочить*, кого укажут.

Ему же прямо с порога суют револьвер в руки: поезжай и убей!

Вполне обычное задание для той поры, для той разгоряченной эпохи.

И он, боевой офицер, не отказался от этого поручения.

А ведь он был достаточно умен, чтобы понять, что «приговор

верховного суда СССР» весьма сомнителен, что это сущая лажа, как выразились бы мы теперь. Но это, наверное, отчасти оправдывало убийство. Оправдывало хотя бы в его собственных глазах.

Признаем, что всё это должно шокировать даже стороннего человека, следящего за этой историей. А уж что говорить о тех, кто связан с героем узами родства!..

И лишь для того, чтобы снять ситуацию шока, скажу, забегая вперед, что он *не выполнил* данного ему задания.

То ли по сложившимся на месте обстоятельствам, то ли… но это уже из области предположений.

И это, конечно, был его первый необратимый шаг навстречу той пуле, что предназначалась уже ему самому.

После ареста в июле 1937 года, этот вопрос будет задан ему с прямотой, не сулящей иного исхода.

> «*Воп.* В период, когда Вы работали в „Парижском вестнике“, Вы получали какие-нибудь поручения от работников полпредства?
>
> *Отв.* Да, получал один только раз.
>
> *Воп.* Какое это было поручение?
>
> *Отв.* В марте м-це 1925 г. я был вызван в консульство в Париже, где мне было предложено выехать в Прагу и ликвидировать там проживающего бежавшего из СССР некоего Бородина, который, как мне объяснили, был приговорен Советским Судом к расстрелу. Предложение это я принял, выехав в Прагу, где прожил около м-ца, нашел Бородина, но выполнить задание мне не удалось, т. к. он почти никуда из дому не выходил. Других поручений я не имел».

Кем же был «некий Бородин», ликвидация которого сделалась одной из неотложных задач Советской власти?

Его подлинное имя раскрыто в другом документе архивного дела: Виктор Михайлович Чернов.

Лидер российской партии социалистов-революционеров, сам побывавший в царских тюрьмах и ссылках. Он сам проповедовал террор, якшался с Гершуни и Азефом, Гапоном и Савинковым.

Но в январе 1918 года он был избран председателем Учредительного собрания — и вот с этим председательским колокольчиком вошел в историю.

Именно к нему были обращены слова матроса Железнякова: «Караул устал!»

Эта фраза, кочуя из книги в книгу, из одного фильма в

другой, обошла страницы и экраны. Ей восторженно рукоплескали залы. И я не стану отделять себя от шумных зрителей детского киносеанса, отбивавших ладони, заходившихся восторгом, когда хмурый матрос в тельняшке, перепоясанный пулеметными лентами, говорил интеллигентному задохлику с бородкой: «Караул устал!»

В книге самого Виктора Михайловича Чернова «Перед бурей», изданной в Нью-Йорке в 1954 году, этот эпизод изложен подробно.

«…Я заявляю о переходе к следующему пункту порядка дня: о земле. В это время кто-то сбоку трогает меня за рукав: „Так что надо кончать — есть такое распоряжение народного комиссара…“ Я оглядываюсь: „Какого народного комиссара?“ — „Распоряжение. Словом, тут оставаться больше нельзя. Караул устал. И сейчас будет потушено электричество…“

Чернов не без увлечения описывает эпизоды смертельной охоты за ним.

Еще на подходе к залу Таврического дворца он слышит: „Вот того хорошо бы в бок штыком“, „А этому пули не избежать“, „По том вон пуля плачет“…

А вот и другая, так сказать, точка съемки, другая точка зрения.

Управляющий делами ленинского Совнаркома Бонч-Бруевич находится в зале, среди солдат и матросов.

„…Я заметил, что двое из них, окруженные своими товарищами, брали Чернова на мушку, прицеливаясь из винтовки“, — писал он позже. Бонч-Бруевич посоветовал им не убивать председателя Учредительного собрания, добавив, что Ленин этого не разрешает. „Ну что же? Раз папаша говорит, что нельзя, так нельзя“, — заявил мне за всех один из матросов».

И опять — сам Чернов.

Выразителен эпизод утра следующего дня (заседание шло всю ночь), туманного и сумрачного.

«…Перед выходом ко мне протискивается какой-то бледный, уже немолодой человек. Прерывистым голосом он умоляет меня не вздумать пользоваться моим автомобилем. Там меня поджидает целая куча убийц. Он, сообщающий это, сам большевик, член партии. Но его совесть не мирится с этим…

Город уже полон вестью, что с Учредительным собранием кончено, а Чернов и Церетели убиты».

Здесь я спешу уточнить, что речь идет не о скульпторе Зурабе Церетели, а о его однофамильце, лидере меньшевиков.

Особым уважением к автору книги «Перед бурей» я проникся, найдя в ней еще одно свидетельство — высказывание адмирала

Колчака на допросе в Иркутске в феврале 1920 года, перед тем, как его расстреляли, а затем утопили в проруби.

«…Много зла причинили России большевики, но есть и за ними одна заслуга: это — разгон Учредительного собрания, которое под председательством Виктора Чернова открыло свое заседание пением Интернационала».

Оставаясь интернационалистом до мозга костей, я беру сторону председателя Учредилки, а не белого адмирала.

В эмиграции, в Праге, Виктор Михайлович Чернов не помышлял о затворничестве.

Будучи человеком изощренным в тактике террора, он, конечно же, пользовался всеми известными ему способами предосторожности. Но, как политик, был предельно активен.

Именно в тот период, о котором я веду речь, он несколько раз отправлял письма в Москву, самому Сталину, в которых настаивал на «исправлении ошибок революции». В ноябре 1926 года он встречался в Праге с личным посланником большевистского генсека и обсуждал с ним возможности своего возвращения в СССР. Но, вместе с тем, опыт конспирации подсказывал ему, что все эти переговоры могут вестись лишь с целью заманить его в Советский Союз, а там, без проволочек, привести в исполнение вынесенный заранее приговор Верховного Суда…

Чутье его не обманывало.

Другой русский человек, пытающийся заслужить право на возвращение в СССР, прибыл в Прагу с заданием ликвидировать неугомонного эсэровского вождя.

> «…Выехав на место, я нашел означенного человека, — отчитывался он, — но, как мне казалось тогда, сделать ничего нельзя было, т. к. он (на что мне указывал и Аусем) почти не выходил из дому и всегда находился в окружении жены, тещи и дочери. Просидев там почти месяц, я вернулся в Париж и сообщил т. Аусему и другому тов. о своей неудаче…»

Эти строки в деле отчеркнуты синими чернилами и снабжены двумя вопросительными знаками.

Точку поставят позже.

Между тем, охота продолжалась с маниакальным упорством. Историк Дмитрий Волкогонов, изучавший архивные материалы

Иностранного отдела ГПУ, писал: «…за Черновым следили сразу несколько агентов: „Лорд“, „Лоуренс“, „Лука“, „Сухой“. В сводке „Лорда“ от 30 ноября 1936 года подробно рассказывается, например, как с помощью дворника Г. Фурманюка установлено постоянное наблюдение за квартирой В. М. Чернова по улице короля Александра, 17, в Праге. Подробно описываются соседи, окружение, подходы к дому, пути быстрого ухода из квартиры. Видимо, готовилась „акция“, но Чернов, почувствовав неладное, выехал из города».

Нетрудно угадать судьбу незадачливых агентов, так и не сумевших выполнить данное им боевое задание.

В том же памятном девяностом году, когда я возвратился в Москву из Киева, где изучал бумаги в серозеленой папке, ко мне в издательство «Пик» пришел человек, назвавшийся племянником Виктора Михайловича Чернова.

Он принес рукопись его книги, никогда не издававшейся в России. Сейчас уже не помню, как она называлась: были ли это «Записки социалиста-революционера» или более поздняя — «Перед бурей»? Издать ее тогда не удалось: мы были на мели, без средств, работали под цепким приглядом спецслужб. Впоследствии эта книга увидела свет в другом издательстве.

А в моей памяти были еще свежи только что прочитанные в Киеве строки признания: «…*И сейчас я не могу сказать, были ли очень огорчены или нет моей неудачей мои товарищи*».

Я поразился тому, какие неожиданные встречи — будто бы нарочно, в назидание — устраивает судьба.

Но так и не решился рассказать об этом племяннику.

Елабурский, Елабурский…

Всё нейдет из ума тот самый *товарищ Елабурский*, который в Париже совращал моего отца — поезжай и убей! — а потом, уже в двадцать девятом, повстречался ему в Москве — здрасьте, давно не видались…

Что за фамилия — Елабурский? Настоящая, или партийная кличка, или чекистский псевдоним? Не знаю. Но корень ее не вызывает сомнений: Елабуга, захолустный городок на Каме, где в августе 1941 года повесилась Марина Цветаева.

Я узнал подробности ее смерти в ту пору, когда о ней самой, о ее судьбе, о ее поэзии вообще мало кто знал. Знавшие были наперечет. Но мы, питомцы Владимира Александровича Луговского в литературном объединении «Комсомольской правды», часами — хотя и вполголоса, хотя и оглядываясь, — читали ее стихи: «..*Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь*…»

Луговской же принес из дому затрепанный томик с ее пьесой «Конец Казановы», изданный, кажется, в Праге, и мы читали его по кругу и тоже запоминали наизусть.

Всё это было в конце войны — в сорок четвертом, либо сразу же по ее окончании, в сорок пятом.

Тогда миллионные жертвы притупили в нас само ощущение смерти.

Но о том, что Марина Цветаева *погибла в сорок первом* — об этом не знал никто.

Тем более не ведали о ее самоубийстве.

«Да что вы! Марина Цветаева умерла у меня на руках…» — уверял нас Александр Соколовский, невысокого росточка, щуплый паренек, коротавший эвакуацию в Елабуге.

Позже мы вместе учились в Литературном институте, он — курсом старше. Застряла в памяти его стихотворная строка: «… над Елабугой огни дрожат». И там был тот же разговор: «У меня на руках…». Но Саше мало кто верил, он слыл фантазером и болтуном.

Гораздо позже, уже после его смерти, я нашел в книге Ирмы Кудровой «Гибель Марины Цветаевой» подтверждение его близости к семье (он был другом ее сына Георгия, Мура, погибшего вскоре на фронте, в первом же бою). Саша Соколовский застал Цветаеву бедствующей в Елабуге, нанявшейся посудомойкой в литфондовскую столовку, а там и полезшей в петлю…

Конечно, не в этих житейских тяготах была ее трагедия.

И не здесь бы, мельком, писать о ней.

Но слишком много зловещих *параллелей* нарисовалось в судьбах окружавших ее людей.

Мужем Марины Цветаевой был Сергей Эфрон, сын народоволки Елизаветы Дурново и народовольца Якова Эфрона. Почти все — и родители, и их дети — побывали за решеткой царских тюрем.

Кроме младшего, Сергея.

С началом мировой войны он покидает университет, где учился на факультете филологии, отправляется на фронт. Заканчивает Петергофскую школу прапорщиков, подобную той, где учились Валентин Петрович Катаев и мой отец. Но после революции он подался не к красным, а к белым. Участвовал в Ледовом походе. Вместе с Врангелем покинул Крым, хлебнул лиха в лагерях Галлиполи. Потом обосновался в Праге.

Именно туда, в Прагу, отправилась к мужу Марина Цветаева.

В ее воспоминаниях есть такие, на зависть крепкие и выразительные строки:

«28 апреля 1922 г. накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.

— Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?

— Что правда — здесь.

7 ноября 1928 г. поздним вечером, выйдя из Café Voltaire, я на вопрос:

— Что же скажете о России после чтения Маяковского?

Не задумываясь, ответила:

— Что сила — там».

За то, что приветствовала Маяковского, Цветаеву изгнали со страниц «Евразии», «Последних новостей». Ее, автора «Лебединого стана», воспевавшего белое движение, вообще перестали печатать в эмигрантской прессе Парижа.

Еще разительней выглядит эволюция бывшего белого офицера Сергея Эфрона. Перебравшись в 1925 в Париж, он примыкает к «евразийцам», становится одним из ведущих редакторов газеты «Вёрсты», вступает в Союз возвращения на родину.

В письме Анне Тесковой в Прагу Марина Цветаева пишет:

«С. Я. совсем ушел в Сов. Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет…»

Как точно это сформулировано!

Но и она не знает (или знает?), что отныне деятельность мужа вышла далеко за пределы общественных страстей и журналистской работы.

Теперь он активно сотрудничает с закордонной советской разведкой, с Чека.

И не он один. В ряду добровольных рыцарей щита и меча оказываются такие известные люди русской эмиграции, как князь Святополк-Мирский, музыковед Петр Сувчинский, бывший деникинский офицер, сын священника Николай Клепинин, окончивший Сорбонну журналист Кирилл Хенкин, его жена, актриса Елизавета Хенкина, дочь знаменитого русского промышленника Вера Гучкова, еще многие…

У меня нет подтверждений того, что мой отец имел отношение к группе Сергея Эфрона. Знаю лишь, что он тоже входил в круг Союза возвращенцев, работал в той же эмигрантской прессе.

И, буквально с порога, выполнял боевые поручения Москвы.

Подобно тому, как это делали Сергей Эфрон и его команда.

В рукописных воспоминаниях моей обретенной сестры Тамары Чинаровой, которые она прислала мне из Лондона (сверх того, что было опубликовано в «Дане Кроникл»), есть впечатляющие строки:

> «…Отец стал очень таинственным. Он уходил по ночам на тайные собрания. Он мог отсутствовать неделями, а возвращался с полными карманами денег. Он не говорил матери, чем он занимался и на кого работал. Поэтому она отказывалась принимать от него деньги. Мама ужасно боялась анархистов. Два генерала были похищены в Париже. Конечно, отец не имел ничего общего с этим делом, но она отвергала его идеи и его деньги…»

И еще:

> «Мать называла его большевиком».

Я тоже не думаю, что Рекемчук имел отношение к ставшему легендой и притчей во языцех похищению в Париже белогвардейских генералов Кутепова и Миллера, один из которых был умерщвлен по дороге, а другой доставлен на Лубянку в целости и сохранности.

К охоте на генералов не имел отношения и Сергей Эфрон. Но он активно участвовал в другой жестокой акции Лубянки в Париже: к ликвидации чекиста-перебежчика Игнатия Рейсса, человека, который незадолго до смерти отослал в Москву, в ЦК ВКП(б), пакет, куда были вложены орден Красного Знамени, удостоверение члена Польской компартии и письмо. В нем говорилось: «…Наши дороги расходятся! Тот, кто сегодня молчит, становится сообщником Сталина и предает дело рабочего класса и социализма!..»

Рейсса убили 4 сентября 1937 года.

А через несколько дней Сергей Эфрон исчез из Парижа. Предполагали, что он отправился в Испанию, воевать на стороне республиканцев. Но уже 10 октября Эфрон отбыл в Советский Союз.

А 29-го октября в дом, где жила Марина Цветаева, явились четверо французских полицейских. Они произвели обыск, изъяли ее личные бумаги, переписку с мужем. Самой Цветаевой предложили явиться в Префектуру полиции и там дать кое-какие

письменные объяснения…

Положение Марины Ивановны усугублялось тем, что ранее в Советский Союз отбыла ее взрослая дочь Ариадна, работавшая в журнале с красноречивым названием «Наш Союз» и тоже связанная с деятельностью советской разведки за рубежом.

Таким образом, бСльшая часть семьи уже оказалась на родине, там, куда звали всех благоразумных русских людей «возвращенцы».

Марина Цветаева, вместе с сыном Муром, отбыла вслед за ними на борту теплохода «Мария Ульянова», который вышел из Гавра 12 июня 1939 года.

Любопытно, что похищенного генерала Миллера тайно вывезли к родным берегам на том же самом теплоходе «Мария Ульянова», но двумя годами раньше.

Далее следуют лишь факты, подкрепленные скупой датировкой.

Сергей Эфрон был арестован в Москве 10 октября 1939 года вместе с группой других бывших эмигрантов, которых объявили «французскими шпионами». Эфрон был приговорен к смертной казни, когда уже началась война с Германией, и расстрелян 16 ноября 1941 года, когда дивизии Гитлера подошли к Москве.

Ариадну Эфрон арестовали на даче в Болшеве через несколько дней после возвращения на родину ее матери. В июле 1940 года ее приговорили, тоже как «французскую шпионку», к восьми годам лагерей. Когда она отбыла этот срок, ей добавили еще и выслали в Сибирь.

Анастасия Цветаева, младшая сестра Марины Ивановны, провела в заключении 22 года.

Сама Марина Цветаева, как мы знаем, повесилась в Елабуге 31 августа 1941 года.

Говорят, что незадолго до этого ей была предложена непыльная работенка: переводчицы с немецкого в местном НКВД. Всё же лучше, чем мыть тарелки в литфондовской столовке. Но ей, наверное, уже и так хватало.

Елабурский, Елабурский…

В детстве, помню, мне очень хотелось заиметь игрушечный револьвер, пугач.

У моих дворовых приятелей каких только не было! И наганы, и браунинги. И черной жести, и белой. Одни стреляли оглушительными и вонючими пробками, в других же под курок была заправлена гремучая лента: сколько раз нажмешь — столько она и пукнет.

Но мама, как я ее ни умолял, не покупала мне пугача.

Объясняла, что денег нет. Или, молча, хмурилась, когда я слишком донимал ее этой просьбой.

Между тем, она не жалела рубля на какую-нибудь никчемную детскую книжку, покупала мне глупые игрушки, иногда раскошеливалась на дюжину оловянных солдатиков.

Но так и не поддалась на мои уговоры купить револьвер. Нет и нет. И что ее зациклило на этом?..

Когда подрос, уже и сам не настаивал. Да и время подошло такое — не до игрушек, война.

В артиллерийской спецшколе, когда заступал в караул, разводящим, мне выдавали настоящую саблю, в ножнах. Такую же, как на давней фотографии держал поперек колен мой отец, только что произведенный в офицеры.

А револьвер я так никогда в руках и не держал. И к старости лет уже не сильно сожалел об этом…

Лишь однажды ход моих мыслей приобрел иное направление.

В выходной день я сидел у телевизора и смотрел передачу, которая, при всем дурновкусии ее ведущего, бывала весьма остра.

Еще в этой передаче была такая необычная жанровая находка. Ведущий, сознавая, что данная ему природой внешность — вытаращенные глаза, раскормленные щеки, — не внушает особого доверия, применил очень интересный прием: он сам не появляется в кадре (разве что в отдалении, на фоне домашнего камина или аквариума с рыбками), а лишь направляет разговор, задает вопросы, сам же на них отвечает, — а в это время на экране светится чье-нибудь хорошо знакомое зрителю лицо, как правило — интеллигентное и даже симпатичное.

То есть, происходит как бы отождествление голоса ведущего с лицом его собеседника. И это восстанавливает доверие.

Иногда, в паузах, из ящика вырываются хоровые стенанья «Реквиема» Верди, пассажи надрывного хачатуряновского вальса, грудной голос Людмилы Зыкиной, — и это, надо признать, весьма заводит всякого непредвзятого человека. Под такую музыку любые слова тронут сердце.

Так вот, однажды в эту передачу был приглашен Владимир Абрамович Этуш, обожаемый миллионами зрителей киноактер: чего стоит хотя бы его Саахов в гайдаевской «Кавказской пленнице»!..

Судьба одарила меня давним знакомством с Этушем. Одной из первых его ролей в кино был Мамедов в мосфильмовской экранизации моей повести «Время летних отпусков». Блестящими были и его пробы комической роли иерея Жохова в фильме «Молодо-зелено», но по ряду причин утвердили на роль другого артиста. Встречались мы и позже.

Я всегда безмерно уважал Владимира Абрамовича, ценя не только его искрометный талант, но и безупречность биографии: участник Великой Отечественной войны, воспитатель творческой молодежи — ректор Щукинского театрального училища.

И вот на телеэкране Этуш.

А за кадром — въедливый голос ведущего, допекающий собеседника вопросами об одном известном *олигархе* с еврейской фамилией, который заделался вдруг удельным князьком в дальних тундрах, а еще — то ли купил, то ли продал заграничную футбольную команду…

— Как же так, Владимир Абрамович?.. — допрашивал с подковыркой ведущий. — Что вы можете сказать по этому поводу?

Этуш скосил на него — отсутствующего в кадре, невидимого, — свои испепеляющие черные глаза, поиграл желваками и сказал совершенно спокойно:

— Пусть мне дадут револьвер!

Ведущий осекся, смылился с экрана (хотя его там и не было) и опять включил на полный голос Людмилу Зыкину.

А я, потрясенный, сидел в кресле напротив телевизора, будто бы услыхав откровение свыше.

Во мне даже не шевельнулось чувство протеста: мол, да что вы, Владимир Абрамович, ну, как можно — такие слова!..

Наоборот, во мне вдруг всё взыграло воодушевлением, как будто я обрел искомый *момент истины*, господи, как просто! как убийственно верно!

«Пусть мне дадут револьвер».

И теперь, когда меня крючит отчаяние — что же мы наделали!.. — когда я беседую о русском либерализме с другим олигархом, будто бы сошедшим с плакатов двадцатых годов художника Моора, уже не влезающим в штаны, будто бы он свои миллиарды проел в Обжорном ряду; когда я вижу на Москве-реке плавучий бордель, переделанный из самоходной баржи, с гордым именем на борту — «Барин»; когда один подонок, при всем честном, при всем нищем народе, предлагает другому пари на миллион долларов; когда я слышу о богаче, нанявшем самых известных в стране артистов, чтобы смешить гостей на дне рождения своего бультерьера; когда я вижу, как юная леди в бриллиантах куражится среди таких же шлюх, и вдруг я извиняю ее тем, что она всего лишь дочь своего отца и своей матери…

В эти минуты я, тоже сын своего отца, вдруг чувствую, как праведная решимость заполняет мое сердце, а уста беззвучно повторяют однажды услышанные слова, крик души русского интеллигента: «*Пусть мне дадут револьвер!*»

Танец маленьких лебедей

Дородная секретарша, всем своим видом как бы заверявшая посетителей в том, что нет, она не балерина, а лишь олицетворение солидной фирмы, — провела Анну Чинарову и ее дочь Тамару в класс, усадила на стулья в уголке. Пусть всё видят своими глазами, прежде чем расстегивать кошелек.

В ту пору в Париже были три школы, возглавленные знаменитыми русскими балеринами.

Да и питомцы этих школ в большинстве своем носили русские имена и фамилии, подчас весьма знатные. Они представляли собою первое поколение русской эмиграции, появившееся на свет уже вдали от России, в изгнании, в бегах.

Одну из этих студий вела Матильда Кшесинская, легенда Мариинского театра. По слухам, которые мало кто ставил под сомнение, она была любовницей последнего русского императора Николая Второго. Хозяйка знаменитого особняка на Кронверкском проспекте в Петрограде, она судилась с самим Лениным, когда большевики приспособили этот особняк под свой революционный штаб… Уже в эмиграции балерина вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича Романова, удержав таким образом планку на державной высоте. Своих учеников и учениц Матильда Кшесинская набирала, в основном, из аристократических семейств, что, соответственно, и стоило больших денег.

Любовь Егорова тоже танцевала прежде в Мариинке, а эмигрировав в Париж, основала студию, в которой охотно стажировались танцовщики Гранд Опера: считалось, что Егорова не только умело совершенствует мастерство уже состоявшихся артистов, но и выявляет, как бы открывает наново их творческую индивидуальность.

Мужем Егоровой был князь Николай Трубецкой, бывший сенатор, военный историк.

Учение в ее студии тоже стоило немалых денег.

Более доступной и демократичной считалась балетная школа Ольги Преображенской.

Между тем, Ольга Осиповна тоже в свое время была дивой Мариинки, а в эмиграции, прежде чем обосноваться в Париже, танцевала и преподавала в Милане, Лондоне, Буэнос-Айресе. У нее тоже был поклонник царских кровей, обожавший ее всю жизнь.

Демократизм Преображенской выражался еще и в том, что ее скромное жилище, как рассказывали, стало приютом для

бездомных птиц со сломанными крыльями и лапками, которых она выхаживала. Они свободно летали по комнатам, усаживались на головы и плечи посетителей, громким и радостным щебетом встречали свою благодетельницу и хозяйку…

И вот в студийный класс входит Ольга Осиповна Преображенская.

Характерно первое впечатление, произведенное этим появлением на Тамару.

> «… вошла маленькая женщина, ростом с меня, хотя мне было девять лет».

Действительно, знаменитая балерина была настолько миниатюрна, что это дало основание авторам энциклопедии «Русский балет», недавно вышедшей в Москве, утверждать, что «…Неблагоприятную внешность и слабое здоровье П. компенсировала упорным трудом».

На редком снимке, хранящемся у Тамары Чинаровой, Ольга Преображенская запечатлена рядом с известным русским балетным антрепренером Борованским: они стоят на вокзальной платформе, у вагона поезда, и головка балерины едва достает плеча своего попутчика… Но как же одухотворена и прелестна эта головка!

Ученицы-француженки, для которых фамилия наставницы — *m-le Preobrajenskaja* — была чересчур громоздкой, приспособились называть ее, между собой, именем коротким и звучным: *Preo*.

Это прозвище очень понравилось русским девочкам, и они с ликованием подхватили его: Прео, Прео!.. — за глаза, конечно.

Тот первый урок, который Тамара наблюдала в качестве зрительницы, произвел на нее неизгладимое впечатление.

Вытянутые в струнку ноги ровесниц, порхающие детские руки, вскинутые подбородки, увлеченные глаза…

Она живо представляла *себя* в каждой из них.

Это ощущение крепло тем более, что наставница звала своих учениц по имени — произносила их имена то поощрительным тоном, хваля, то резко, выкриком, делая строгие замечания.

И Тамара с детским изумлением замечала, что ее имя, обращенное вовсе не к ней, звучало чаще других.

— Тамара, хорошо!.. Тамара, убери хвост… Тамара, очень плохо, никуда не годится.

Этим именем она называла и темноволосую, смуглолицую, черноглазую девочку, движения которой были изящны, отточены

и, вместе с тем, полны какого-то недетского внутреннего драматизма; и прелестную светловолосую юницу, как бы олицетворяющую воздушность танца; и еще одну маленькую балерину… Все они были Тамарами.

— Тамара Туманова, фуэте!.. — приказала Ольга Осиповна, может быть не без умысла, желая поразить гостей, присутствующих в ее классе, тем, сколь далеко продвинуто умение ее учениц, сколь несомненен их природный талант.

Черноволосая смуглая Тамара — именно она была Тумановой, — двинулась по кругу, торопя вращение тела взмахами сильной ноги.

«Раз, два, три, четыре… шестнадцать, семнадцать, восемнадцать…» — считала в уме Тамара.

И взгляд преподавательницы не скрывал любования.

Закончив урок, маленькие балерины выстроились в цепочку, затылок в затылок, чтобы поблагодарить свою наставницу: некоторые целовали ее в щеку, другие пожимали руку, третьи приседали в книксене.

Теперь настал черед для Тамары Чинаровой.

Подоспевшая секретарша объяснила, что это — новенькая.

Прео пытливо заглянула ей в глаза. Потом подняла юбку девочки, взглянула на ее колени, сказала:

— Придется выпрямлять.

Повернула, оценила линию.

— Спина прямая, это хорошо.

Спросила:

— Почему ты хочешь учиться?

— Потому что я хочу танцевать. Больше всего в жизни!

Наставница улыбнулась, кивнула. Обратилась к матери девочки:

— Ваша дочь — француженка?

— Нет… — смутилась Анна.

— Почему же она отвечает мне по-французски? Вы не развиваете ее русский? Напрасно. Это очень красивый язык, она не должна пренебрегать им…

И еще одно обстоятельство давнего разговора на всю жизнь отпечаталось в памяти Тамары.

— Для нее очень важно заниматься музыкой, — продолжила свои наставления Ольга Осиповна. — Она играет на каком-нибудь инструменте?

— Да, — сказала мама.

(«… Да, соврала мама» — уточнено в тексте воспоминаний).

— Прекрасно. На каком же?

— На скрипке.

(Девочка обомлела: она никогда в жизни даже не прикасалась к этому инструменту. «Одна ложь вела к другой», — прокомментирует она этот разговор впоследствии).

— На скрипке играть очень трудно, — сочувственно отозвалась Прео. — Я бы порекомендовала фортепьяно!

— Хорошо, — согласилась Анна. — Я немедленно сменю учителя.

(«Я была потрясена маминым хладнокровием», — признается Тамара в своих мемуарах).

Прощаясь, Ольга Осиповна погладила девочку по головке.

Где же взять это пианино? Купить? Но на какие деньги? Каждая копейка в доме была попрежнему на счету. А куда его поставить? Они жили на чердаке захудалого отеля. Куда пригласить учителя — на чердак? А где взять деньги, чтобы платить еще и ему? Где взять деньги, чтобы оплачивать уроки в балетной студии? На какие шиши покупать одежду, балетные туфли?.. Все эти неумолимые вопросы были понятны даже ребенку. Однако мать девочки, Анна Христофоровна Чинарова, была непреклонна в своих намерениях.

Где взять деньги? Нужно просто больше работать! Тогда они и появятся… Она была энергична, трудолюбива, не ведала колебаний, не боялась ошибок. Она знала наизусть то правило, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А она всё сделает, как надо! Даже одна. Итак, одна…

Вот теперь нам с Тамарой самое время, пусть и запоздало, сверить часы.

А заодно и календари, оглядываясь на которые мы ведем свои повествования о детстве.

Нет, речь идет не о разнице часовых поясов, ведь к этому мы уже привыкли. И не о причудах юлианского и григорианского летосчисления: это мы тоже учли, сопоставляя судьбинные вехи наших биографий, столь долго длившихся в неведении друг о друге.

В самом деле, Тамара, говоря о своей первой встрече с Ольгой Преображенской в ее парижской студии, сравнивая свой детский рост с ростом взрослой балерины, обозначает свой возраст: девять лет.

Но девять лет ей сравнялось лишь в *двадцать восьмом году*, когда наш общий отец уже пару лет жил вдалеке от Парижа, в Советском Союзе, когда он уже был женат вторым браком (и, стало быть, первый брак был расторгнут!), когда на свет уже появился я (напомню, что я родился в декабре *двадцать седьмого*).

И еще.

Судя по всему, к моменту поступления в балетную студию Тамара уже была избавлена от своей фамилии — урожденная Рекемчук, — которая запечатлена на ее детской фотографии. Теперь она носила фамилию своей матери — Чинарова, — даже не пытаясь взять в толк, отчего и почему произошла эта перемена.

Соответственно, ее сверстницы и подруги по балетной школе не знали и не могли знать ее прежней фамилии. Или знали?

В следующих главах этой книги будут прослежены причины нестыковок времени и места.

Покуда же всё объясняется тем, что в нашем детском сознании — и ее, и моем, — часы как бы останавливались, замирали в ожидании, когда из поля зрения исчезал наш отец, Евсевий Тимофеевич Рекемчук. Когда он опять — не на дни, не на недели, а на долгие месяцы покидал Париж, уезжал в свои таинственные и опасные путешествия. И объявлялся в другой стране, в других городах этой страны — Харькове, Одессе, Киеве, Москве…

Когда он вдруг появлялся в доме на Гимназической улице, где подрастал я, доставал из угла бойцовскую рапиру, а другую вручал мне — защищайтесь, сударь! А вечерами заводил для гостей патефонную пластинку с гнусавым голосом Вертинского: «Я ма-аленькая балерина, всегда нема, всегда нема…»

И тогда маятник часов в нашей квартирке как бы оживал, возобновляя отсчет того счастливого для меня времени, когда отец был дома.

Но на это же время другой маятник, маятник часов в другом доме, на чердаке захудалого парижского отеля, где жила девочка по имени Тамара, — там маятник часов, выражаясь образно, останавливал свои метания, замирал. И девочка терпеливо ждала, когда же ее отец вновь приедет в Париж и поведет ее в цирк Медрано, и купит ей там «эскимо». И, соответственно, маятник парижских часов возобновит свой ход…

Эти его отлучки, вполне очевидно, не совпадали. Когда он был там, где жили его первая жена и дочь, это означало *для меня* просто его отсутствие. А когда он возвращался ко мне и к моей матери, это означало его отсутствие *для нее*.

Детское время, вообще, отлично от взрослого времени.

А детское сознание эгоистично и непримиримо: оно никак не соглашается с тем, что папа и мама уже не муж и жена, что где-то у твоего папы может появиться другая женщина, и она, эта женщина, может стать мамой какого-то другого малого существа, до которого тебе нет и дела.

Впрочем, в рукописных воспоминаниях Тамары есть

несколько строк, объясняющих, как она понимала эти разлуки отца с матерью.

> «… К тому времени мой идеалистический отец решил возвратиться в Советский Союз, помогать строить там новое общество, но моя мама, стойкая антибольшевичка, отказалась ехать с ним».

В той же балетной школе Ольги Преображенской учились две русские девочки по фамилии Сидоренко: одну из них тоже звали Тамарой, другую Галиной. С первой, старшей, еще одной своей тезкой, отношения у Тамары Чинаровой не сложились — она была, по ее словам, очень красивой, но эгоистичной и злой. Младшая же была воплощением доброты и нежности, она стала на многие годы подругой Тамары.

Анна Христофоровна сблизилась с родителями этих девочек. Узнала о том, что они живут в просторной квартире и не прочь сдать ей одну из комнат. У Сидоренок дома было пианино, туда приходил учитель, обучавший сестриц музыке. Были и другие учителя, дававшие частные уроки: французского языка, математики, истории. Таким образом решались почти все возникшие проблемы.

Теперь девочки ездили в балетную студию вместе. Тут было тоже свое удобство, поскольку дом, где они жили, был на той же ветке метрополитена, что и студия — на площади Мадлен.

В том, что они ездили втроем, было и еще одно важное преимущество: это в какой-то мере избавляло их от домогательств пакостников, которые имели привычку приставать в вагонах метро к одиноким девочкам. А в особенности, замечает Тамара, от того мерзкого типа, который всякий раз норовил обнажить перед ними свои причиндалы. Бывают же на свете подобные дураки.

Таким образом, всё в жизни складывалось более или менее сносно.

Единственной заботой были деньги. Их постоянно не хватало. Накапливались долги за то, за се.

И однажды Анне Христофоровне пришлось, скрепя сердце, самой отправиться на площадь Мадлен, чтобы выговорить кредит: она никак не могла расплатиться в срок за уроки. Но она непременно заработает!

Прео выслушала ее сочувственно, спросила:

— А какого рода ваша работа?

Анна, засмущавшись, поведала, что занимается плетением

обуви: это такие очень мягкие и удобные туфли, которые плетут из кожаных ремешков, обязательно вручную, никакая фабрика не способна изготовить подобную обувь…

— Тогда зачем вам кредит? — удивилась Ольга Осиповна. — Забудьте о деньгах. Лучше сплетите мне пару туфель!

Тут же, на полу студии, расстелили лист бумаги, и Анна очертила карандашом линию ее ноги: ступня была крохотной, детской, тридцать третьего размера.

Добрые знакомые Анны, эмигранты из Сербии, быстро изготовили по этому рисунку деревянную колодку, специально для балерины.

И через несколько дней мастерица повезла обнову заказчице.

Прео повертела туфли в руках, помяла их пальцами — как же они неправдоподобно гибки, мягки! — поспешила примерить, сев на пуфик. Они были как раз по ноге.

Балерина встала и, привычным движением тела, поднялась на носки.

Затем сделала серию ИchappИ, когда ноги немного разведены, а затем пятки возвращаются на пол в перекрестной пятой позиции…

Тамара, которая присутствовала на этой необычной примерке, как загипнотизированная следила за движениями своей знаменитой учительницы.

С тех пор Ольга Преображенская на занятиях предпочитала всем иным видам балетной обуви плетеные туфли *от мадам Чинаровой*.

Их накопилось довольно много, они были самых разных расцветок, и Прео собственноручно, с явным удовольствием, обертывала их бумагой, укладывая в коробки.

Девочки

Агния Барто посвятила мне стихи:

Любила я Рекемчука —
он книжки мне дарил.
Любила я Рекемчука,
пока он не курил…

Это четверостишье, нацарапанное на клочке бумаги, Агния Львовна перебросила мне через стол на заседании секретариата Московской писательской организации. Мы были в числе секретарей, сидели с нею друг против дружки. По обыкновению, я смолил сигарету за сигаретой, и едкий дым, конечно, доставлял ей беспокойство…

Тотчас же загасив окурок, я обратил к ней покаянный взгляд.

Она кивнула.

Теперь уже никто не упрекнет меня в кавалерской неучтивости за то, что я выдам возраст дамы, если скажу, что обожал стихи Агнии Барто с детских лет: «Мы с Тамарой ходим парой», «А что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал…», «Если ты — наоборот, то ходи спиной вперед…» На том и вырос.

В тягомотине заседаний мы часто обменивались ироническими взглядами, шепотливыми репликами, а то и записками, которые я храню благоговейно.

Однажды, вскоре после того, как в журнале «Юность» была опубликована моя повесть «Мальчики», имевшая шумный успех (стотысячные тиражи, издания за границей, одноименный фильм, радиоспектакль, поставленный Олегом Табаковым, в котором роль Лемешева сыграл сам Лемешев), Агния Львовна кинула мне — через тот же заседательский стол, крытый синим сукном, — такую записку: «*Напишите „Девочек“. Успех я Вам гарантирую. Агния Барто*».

Пряча бумажку в карман, я лишь подивился тому, как она угадала ход моих собственных мыслей.

На читательских конференциях по этой повести, которые, как правило, случались в юношеских, в школьных аудиториях, мне то и дело задавали вопросы: «Пишете ли Вы „Девочек“»? «А когда будут „Девочки“»?

(Впоследствии, через три десятилетия, моих «Мальчиков» переиздали в серии «Любимые книги девочек»).

Я отвечал, что вот-де только что переехал жить на

Фрунзенскую набережную, а там, рядом с моим домом, находится знаменитое Хореографическое училище. И я всякий раз вижу, как к его подъезду шествуют тоненькие девочки с гладко зачесанными головками, с прямыми, как струна, спинами, с длинными голенастыми ногами, ступни которых вышагивают подчеркнуто врозь.

Конечно, была своя логика в том, чтобы вслед за повестью, посвященной мальчишкам из Хорового училища, написать повесть о юных балеринах.

И, наверное, такой соблазн давно жил во мне.

В более ранней книге, о которой здесь уже шла речь — в повести «Товарищ Ганс», написанной на основе киносценария «Они не пройдут» и ставшей впоследствии первой частью романа «Нежный возраст», — был такой эпизод.

Герой повести Санька Рымарев рассказывает своей подружке, соседской девочке Тане Якимовой, о том, что после седьмого класса обязательно поступит в артиллерийскую спецшколу. Вот только что, на исходе тридцатых годов, появились такие школы — и в Москве, и в Харькове, повсюду.

«…А знаешь, — сказала Танька, — в Москве есть такая школа, где маленьких девочек учат на балерин. Они там живут, в школе, и всё время танцуют. Танцуют, танцуют… і — А уроки? — усомнился я.

— Чудак. Они на уроках и танцуют!

Вот так заведение.

— Тоже после седьмого? — спросил я.

— Нет. Хоть с первого, хоть со второго, хоть с третьего… Хоть сейчас!

Танькины глаза ликовали. Хоть сейчас! Вот сейчас она немедленно поедет в Москву, в ту школу, где танцуют на уроках.

Она вскочила, оттолкнулась пятками от пола и, встав на носки, мелко-мелко засеменила вдоль комнаты — ноги прямые и тонкие, как спички, руки вразброс, растопыренные пальцы…»

Однако в первом случае — с «Мальчиками» — у меня был прямой повод для книги.

Еще начинающим журналистом я напечатал в «Московском комсомольце» очерк, который был озаглавлен «Студент-композитор Родион Щедрин». В нем рассказывалось о воспитаннике хорового училища, очень одаренном мальчике: он пел тончайшим сопрано, мечтал стать оперным певцом, но в переходном возрасте голос его сломался, пропал. И мальчик тоже вполне мог пропасть, но, к счастью, музыка *жила в нем*, он услышал ее *в себе*, и он стал… вы сами знаете, кем он стал.

Он стал известным композитором. И, кстати, женился на

великой балерине.

«Саша, ты прославил меня на весь мир!» — сказал мне однажды Родион Щедрин (в шутку, конечно), когда мы с ним встретились в магазине «Березка», где для людей, обладавших валютными чеками, уже был полный коммунизм, а для остальных он еще лишь строился.

А что я знал о балете? Да ничего.

Я не был балетоманом. Хотя и бывал на спектаклях в Большом театре: смотрел «Золушку», «Ромео и Джульетту». Но признаюсь честно, что был гораздо более увлечен музыкой Прокофьева, нежели самим зрелищем. Ах, эти вальсы в «Золушке»!..

Музыка никогда не была для меня сопровождением танца. Наоборот, я воспринимал танец лишь как зримое выражение музыки.

Лишь однажды я прикоснулся к его живой и трепетной плоти.

Учась на первом курсе Литературного института, я часто бывал в гостях у своего однокашника, молодого поэта Гарольда Регистана. Он жил в громадном темносером здании, что на углу Арбата и Староконюшенного переулка. Там часто собиралась *золотая молодежь* той поры: голодранцы в дедушкиных пиджачках, в застиранных добела фронтовых гимнастерках. Но имена этих голодранцев впоследствии зазвучали: поэт Евгений Винокуров, композитор Андрей Эшпай…

Сам Гарик сочинял тогда поэму о своей любви к юной балерине Виолетте Прохоровой, которая, находясь в войну в эвакуации в городе Куйбышеве, вдруг выскочила замуж за британского дипломата и вместе с ним уехала в Лондон, там танцевала на сцене Ковент Гарден… Помню, что автор поэмы особенно нажимал на то, что она предпочла куцый остров бескрайним родным просторам.

Гарькина младшая сестра Светлана тоже обучалась в балетном училище Большого театра. И, возвращаясь домой после танцевального класса, бездыханно падала на диван, хныча, что ноги вот-вот сейчас отвалятся, так устали, что их надо немедленно и хорошенько растереть.

Мы с Гарькой стягивали с нее рейтузы. И он, с ражем уличного чистильщика, начинал массировать ее икры и бедра. Она лишь постанывала, отвалясь к подушкам.

А иногда эта дивная работа доставалась мне.

Роясь как-то в своих дневниках, нашел давнюю запись: «*Балерина встает на пуанты, будто девочка, целующаяся с долговязым парнем*».

Но тем мое касательство к балету было исчерпано.

Переехав на Фрунзенскую набережную, я продолжал, что ни день, ходить вдоль ограды Хореографического училища — то на работу, то с работы. Еще этот бетонный куб был как раз на пути к ближайшему магазину, где я обычно покупал водку и закусь.

Там, в милом скверике, под каштанами, установили бронзовую скульптуру, изображавшую долговязых девочек в балетном трико.

Но я постепенно утратил интерес и к ним. Плелся мимо, не глядя, не подымая глаз.

И даже не сразу заметил, что однажды бронзовые девочки исчезли с пьедестала: то ли их спилили бомжи и сдали во вторцветмет, то ли сами хозяева убрали скульптурную группу в глубь двора, от греха подальше.

А тут объявившаяся вдруг единокровная сестра Тамара прислала из Лондона целый пакет фотографий: вот она с Галиной Улановой, а вот с Тамарой Тумановой, а здесь с Людмилой Семенякой; вот тут у нее в гостях русский балетмейстер Юрий Григорович, а тут она сама в гостях, в Москве, в Академии хореографии, стоит рядом с художественным руководителем академии Борисом Акимовым — длинноволосым молодцем, известным танцовщиком Большого театра.

В пакете было письмо, адресованное лично ему, Борису Борисовичу. В телефонном разговоре Тамара просила передать это письмо Акимову.

Я позвонил в академию, мол, так и так. Мне сказали, что Бориса Борисовича нет на месте, попробуйте позвонить в Большой театр, дали номер.

Звякнул туда, а там объяснили, что Бориса Борисовича сейчас вообще нет в Москве, он в Японии, а оттуда еще завернет в Китай. Когда вернется? Сами ждем — не дождемся…

Я понял, что нужно запастись терпением.

И еще уловил, что имя и фамилия *Тамара Чинарова* производила на вежливых собеседников не больше впечатления, нежели моя собственная — писатель Рекемчук, ее брат, представьте себе… То есть, похоже, что они и то, и другое впервые слышали.

Почесав затылок, я взялся вновь и вновь ворошить присланные из Лондона фотокарточки.

Вот самая любопытная: глазастая девчушка в кудрях, в платьице с вышивкой. Сверху надпись чернилами: «*Tamara Rekemtcuk, aged 3, in Bessarabia, 1922*». Стало быть, тут она, трехлетняя, еще живет под отцовской фамилией, сестренка,

родная кровь.

А вот тут уже в «тю-тю», балетной тунике, в позе, в танце, вероятно в «Жизели» — здесь она уже *Tamara Tchinarova*, уже под материнской родовой фамилией.

А здесь газетный шрифт гласит: *Tamara Finch*, ее фамилия в замужестве.

О, боже, что же я тычусь наобум во все адреса с позывными, которых никто не знает! Ведь она уже давно — Финч. И в Советский Союз, в Россию, приезжала под этой фамилией. И статьи о балете публикует за подписью Тамары Финч. И книга ее воспоминаний в «Dance Chronicle» обозначена той же фамилией…

Лишь бездонная, необъятная память Интернета хранила в глубинах ее прежние позывные. И в нужный момент выдала их на-гора. И лишь благодаря этому, мы внезапно нашли друг друга.

Напомню, что еще в 1938 году труппа Русского балета, в ту пору известная как труппа полковника де Базиля, приехала на гастроли в Австралию. Это диво завлекло в театральные залы не только русские семьи, изнывающие в тоске по родине, но и вообще всю почтенную публику континента, населенного людьми эмиграции и потомками этой эмиграции уже не в первом колене. Состав труппы был блистателен. Афиши пестрели именами, уже снискавшими известность и в Европе, и в Америке: Сергей Лифарь, Тамара Туманова, Ирина Баронова, Игорь Юшкевич, Тамара Чинарова, Людмила Львова…

Разразившаяся год спустя Мировая война заставила часть балетной труппы задержаться на зеленом континенте гораздо дольше, нежели это предполагалось вначале.

Австралия, как часть Британской империи, тоже участвовала в войне. Но, всё же, она была счастливо далека и от полей, и от морей сражений.

Именно там, в Сиднее, Тамара Чинарова обрела сценическую славу. Она танцевала весь репертуар своей именитой тезки, русской балерины Тамары Карсавиной. Была замечена не только зрителями, но и прессой.

В русскую девушку влюбился молодой актер драматического театра Питер Финч. Видный, с богатыми внешними данными (фактурный, как говорят на театре), бесспорно талантливый парень.

Русская девушка ответила ему взаимностью. Они поженились в 1943 году. И с этого момента она стала Тамарой Финч.

Он был тремя годами старше Тамары. Родился в Лондоне, до одиннадцати лет жил в Париже, затем — Индия, Австралия. Его детство было нелегким. Мальчика воспитывал дед, когда же он умер, пришлось самому добывать свой хлеб. Менял города и

профессии: был ковбоем, официантом, пробовал себя в журналистике. Во время войны служил зенитчиком на Тихом океане. Побывал в Африке, в Америке…

Театральный дебют в Сиднее был почти случайным: сыграл в водевиле крошечную роль недотепы-коверного. Но потом ему поручили и более серьезные роли.

Сам по себе талант, бесспорно, ценен. И обладатель таланта почти всегда знает ему цену. Но еще очень нужно, чтобы этот талант оценил кто-нибудь со стороны — и чтобы это был опытный, зоркий, доброжелательный человек. То есть, таланту совершенно необходимы везенье, удача. Сколько ярких дарований угасло лишь потому, что не случилось этой удачи!..

Питеру Финчу повезло.

Приехавший на гастроли в Австралию знаменитый британский актер Лоренс Оливье (к тому же — супруг всемирно известной кинозвезды Вивьен Ли) увидел на сцене Питера Финна. Оценив его наружность, его творческие задатки, пригласил молодого актера в труппу своего театра. Это была неслыханная удача.

Семья перебралась через океан, обосновалась в Лондоне.

Здесь талант Питера Финча тоже был оценен. Ему рукоплескали театральные зрители. Он начал сниматься в кино.

Но, как правило, за всякой удачей таится и сонм неудач, подчас — роковых.

Питер Финч начал сильно пить. Это первое.

Второе. На него *положила глаз* Вивьен Ли, супруга благодетеля.

(В одном из писем ко мне Тамара употребила еще более сильное выражение: «… она *вцепилась* в него»).

Но она была совершенно обворожительна. К тому же, после «Унесенных ветром», после «Леди Гамильтон», после «Моста Ватерлоо», где она, между прочим, сыграла балерину Мойру, над нею засиял нимб едва ли не первой звезды мирового кино.

Считать ли это неудачей, тем более — роковой?

Кто знает… Во всяком случае, это обернулось несчастьем для всех без исключения сторон своеобразного любовного четырехугольника.

Рассказывают, что на Цейлоне, в Коломбо, где Вивьен Ли снималась в фильме «Слоновьи тропы» вместе с Питером Финчем, она то и дело, в кадре, обращалась к партнеру — Ларри, Ларри! — то есть звала его уменьшительным именем Лоренса Оливье… Дубль за дублем летел в корзину. Эту странность в поведении актрисы объясняли сильной жарой.

Питер Финч, бросив семью, уехал в Америку, в Голливуд. Ему

и там сопутствовали успехи в кино, о которых еще пойдет речь. Но там же обострились его алкоголические проблемы, которые приблизили конец. В числе немногих, он получил Оскара посмертно — может быть, еще и потому, что одного его экранного героя звали Оскаром (заглавная роль в кинофильме «Процесс над Оскаром Уайльдом»),

Союз Лоренса Оливье и Вивьен Ли распался.

Тамара Финч с дочерью Анитой осталась жить в Англии. Ее дальнейшая карьера балерины тут, на острове, не задалась. Пришлось зарабатывать на жизнь театральной журналистикой, статьями о балете, переводами — в основном, с русского.

В переписке и беседах со мною Тамара подчеркивала, что в невзгодах, в ее надломившейся жизни, главной и единственной опорой оказалась мать — Анна Христофоровна Чинарова. Не зря же внучку назвали Анитой, то есть маленькой Анной, в честь бабушки.

Расставшись с мужем, Рекемчуком, Анна проявила твердость характера, упорство, деловую хватку. Она стала вполне преуспевающей *бизнесвумен*. И заработанный ею капитал — на этом тоже настаивала Тамара, — позволил семье выстоять.

Теперь-то я понимаю, что все ассоциации книги, которую я пишу, не случайны.

Что их исток — не в игре праздного воображения, не в причудах словесной вязи, а в мистике самой жизни, в загадочных переплетениях судеб.

Имя Питера Финча, которое мне назвала Тамара, я воспринял сначала, как нечто стороннее, услышанное впервые.

Она уловила это.

— Разве вы не видели «Красную палатку»? Ведь это — *ваш* фильм, советский…

— То есть, как это — не видел? — напрягся я. — Да я не только его видел, но, можно сказать, делал: именно я заказывал киносценарий для «Мосфильма». Там сценаристом с итальянской стороны был Эннио Де Кончини, а с нашей — Юрий Нагибин. Это, вообще, моя с Калатозовым затея!..

— Но ведь главную роль в «Красной палатке» — роль генерала Нобиле, — как раз и сыграл Питер Финч! — напомнила Тамара.

— Разве? А я почему-то забыл. Клавдию Кардинале помню, а его — нет…

— Ну, это понятно, — съязвила сестра.

Пришлось тащиться на Горбушку, покупать кассету.

Как обычно, лента была смотана до конца, до финальных

кадров (кто-то смотрел на досуге и поленился перемотать). Я уж хотел нажать кнопку — гнать к началу. Но тут на экране вдруг высветились ледяные торосы: высокие, белые, прозрачные, как город мечты. Они тянулись во весь горизонт, от рамки до рамки, как бы символизируя вечность — вечные льды Арктики.

Они напоминали античный Акрополь, парящий над кручей; буддийский храм Потала в Лхасе, ниспадающий с гор; Зимний дворец над Невой; небоскребы Манхэттена, толпящиеся над устьем Гудзона…

Однако припекало солнце. Небеса над Гольфстримом уже изнывали от избытка тепла, обещая гибельные перемены климата.

Стена берегового льда рушилась прямо на глазах. Она обваливалась с грохотом и плеском, роняя глыбы в зеленую зыбь океана. Льдины погружались, тонули, но тотчас выныривали обратно, теряя вес.

Прекрасный город льдов погибал, как гибнет в конце-концов всё прекрасное и возвышенное.

Конечно же, это был символ, *образ*. К тому же финальный образ. Ему сопутствовала печальная музыка. Он вбирал в себя трагический смысл всего произведения в целом.

Лишь теперь, спустя десятилетия, прочитывался потаенный замысел Михаила Калатозова: он снял фильм о *крушении мечты*.

И этого раньше не разгадали. Думали, что просто — о неудачной экспедиции к Северному полюсу.

Я, всё же, перемотал пленку обратно, к началу.

Вот дирижабль «Италия» летит над Ледовитым океаном.

На его борту — итальянцы, шведы, американцы, немцы. (И в числе создателей фильма — итальянцы, русские, англичане, шведы, — тут весь тебе интернационал…). Генерал Умберто Нобиле, которого сыграл Питер Финч; великий полярник Руаль Амундсен, которого сыграл Шон О'Коннери; медсестра Валерия, которую сыграла Клаудия Кардинале; другие члены экипажа, сыгранные Эдуардом Марцевичем, Юрием Визбором, Донатасом Банионисом… Молодые, умные, энергичные, очень смелые люди.

Так ли уж им был необходим Северный полюс?

Нет, конечно, Они были одержимы другой целью: выбраться из дерьма окружающей жизни, где слишком воняло деньгой. Притом, у одних этой деньги было гораздо больше, чем надо, а у других ее не было вовсе. Их отвращал капитализм — такой, каким он был, — им претила буржуазность. Им грезилось нечто иное: то, что уже было в революционной России… но хорошо бы чуть-чуть иное. Однако стартом этой мечты всё равно оставалась Россия.

Похоже, что мечта — в ее земных координатах — у них ассоциировалась с Севером, с самым крайним севером, с его высочайшей и чистейшей полярной точкой — с Северным полюсом. Он как бы символизировал для них вершину всех надежд.

Они стремились туда. Они летели к нему.

О, как я понимал этот порыв!

Придет время — и я, совсем еще мальчишка, но одержимый, как они, — даже не осенясь крестом, помчусь в эти северные дали, держа в голове, в сердце лишь одну заветную цель: забраться повыше, подальше в этой сетке географических широт, а там — будь что будет!..

Но это случится позже.

А пока что — лето 1928 года. *Первое лето* моей жизни.

Дирижабль «Италия» летит над Ледовитым океаном, к Северному полюсу.

Я вглядываюсь в лица отважных путешественников: генерал Умберто Нобиле, полярник Руаль Амундсен, медсестра Валерия, геофизик Мальмгрен… А это кто — высокий, худощавый, с военной выправкой в каждом жесте, с полоской офицерских усиков над губой, с глазами, устремленными в иллюминатор?.. Да ведь это — мой отец, штабс-капитан Рекемчук. Его-то что понесло в эти ледовые просторы? Да просто — он с ними…

Я лихорадочно соображаю: а знает ли он, что генерал Умберто Нобиле — нам в некоторой степени *родня*, поскольку его играет Питер Финч, а Питер Финч — муж его дочери Тамары и отец его внучки Аниты?.. Нет, он не знает об этом, и уже никогда об этом не узнает. Его конец близок — в этой ледовой пустыне…

Дирижабль «Италия» летит над океаном.

Сейчас полюс будет под ними!

Но вдруг моторы дают сбой. Обшивка изъязвляется дырами. Дирижабль клюет носом, устремляется вниз. Люди сбрасывают балласт: кидают всё, что есть, всё, что можно, и всё, что нельзя. Но тщетно: воздушный корабль ударяется об лед.

Эллипс идеальных пропорций превращается в груду хлама.

И все, кто летел на этом дирижабле: итальянцы, шведы, американцы, немцы, — и все, кто делал эту картину: русские, итальянцы, англичане, шведы, весь этот интернационал, — понимают, что мечта не сбылась, и всё, во что верили чистым сердцем, оказалось таким же дерьмом, как и прежнее дерьмо.

Люди, оставшиеся в живых, призраки погибших людей — все они, год за годом, собираются в строгой комнате и вершат суд

над собою: что они сделали не так, как было надо? чего преступно не учли, не предусмотрели? кто ошибся, кто струсил, а кто сподличал?..

Глаза смотрят в глаза. И некоторые отводят взгляды.

Вот про что фильм «Красная палатка».

Суровый суд над собою.

То есть, они занимаются тем же, чем занимаюсь я в этой книге, взывая к теням.

И с тем же, наверное, успехом.

Вновь и вновь я вглядываюсь в синие глаза Питера Финча, сыгравшего роль генерала Нобиле. Они полны страдания, боли.

Отличный актер. Нет, не сладкий красавчик. Но сразу видно, что мужественный и несчастный человек.

Теперь я могу понять, почему его полюбила моя сестра. И почему в него влюбилась Вивьен Ли. И почему он, в конце концов, спился.

Всего этого я не понимал прежде.

Как и не знал, что все мы — и Питер Финч, и Тамара, и Лоренс Оливье, и Вивьен Ли, и я, — что все мы, в некоторой степени, *родня*.

Тогда, в шестидесятых, журнал «Советский экран» опубликовал интервью с Питером Финчем, взятое на съемочной площадке «Мосфильма».

Ему был задан вопрос:

> — Вы впервые работаете с советскими кинематографистами. Не испытываете ли вы трудностей от незнания языка, незнакомых приемов съемок?

Он ответил:

> — Техническая сторона не меняется — во всем мире кино снимают одинаково. Группа Калатозова слаженная, люди очень скромные и хорошо делают свое дело. В СССР вокруг кино нет такого рекламного ажиотажа, как на Западе. На съемках нет ни агентов, ни представителей рекламы, ни друзей режиссера, короче говоря, нет ничего, что мешало бы работать. В Англии и Америке люди интересуются главным образом нашими последними семейными скандалами, а не творчеством. Здесь же нет ничего подобного. Что касается Михаила Калатозова, то это человек острого, проницательного ума, редкой восприимчивости и художественной чуткости. Он точен и прост, на лету схватывает мысли и

понимает актера с полуслова. Язык? Калатозов знает английский, и вся картина снимается на английском. Кроме того, язык кино международный. Я же упорно изучаю русский, уже начал читать советские газеты. Много слов знал раньше: моя первая жена — балерина Тамара Чинарова — русская…

На старой журнальной вырезке, которую Тамара прислала мне из Лондона, были обрывки скотча, липкой ленты, которой и у нас — в наших избах, на наших кухнях — приклеивают к стене раритеты.

Еще Тамара сообщила мне, что, по ее данным, Питер Финч подружился в Москве с русским актером Иннокентием Смоктуновским, и они иногда крепко выпивали…

В ее рассказе был отчетлив подтекст: а вы, Александр, не участвовали в этих пьянках?

Я уныло ответил, что в данном случае, к моему глубокому сожалению, был забыт наш святой обычай, — *соображать на троих*.

Не знаю, поняла ли она, о чем речь.

День за днем я названивал в Академию хореографии, в Большой театр: справлялся, не приехал ли еще Борис Борисович Акимов?

Мне отвечали, что нет, еще не вернулся, сами ждем.

Когда же?

Как только — так сразу…

Я вновь запасался терпением.

При этом, конечно, я учитывал, что Китай — это очень далеко. А Япония еще дальше.

Я, к примеру, никогда не бывал ни в Японии, ни в Китае.

Моим пределом на востоке была Корея, еще — Монголия…

И тут вдруг меня осенило. Я вспомнил, что было — да, конечно, было! — еще одно прикосновение к прекрасному миру балета.

В семидесятые годы мне выпало счастье участвовать в Днях советской культуры в Монголии.

Мы летели туда на турбовинтовом ИЛ’е, набитом под завязку мастерами искусств: тут был симфонический оркестр под управлением Евгения Светланова; молодые звезды балета Татьяна Голикова и Александр Годунов; трио бандуристок с Украины; ансамбль «Воронежские девчата» с голосистой Людмилой Рюминой; какой-то фокусник, иллюзионист со смазливыми

ассистентками; литовский киноартист Донатас Банионис (тот самый, из «Красной палатки») и счастливая дебютантка экрана Валентина Теличкина; изобразительное искусство представлял народный художник СССР Таир Салахов, а советскую литературу — народный поэт Калмыкии Давид Кугультинов и я.

В полночь по Москве самолет пересек границу Европы и Азии.

В иллюминаторе было темно — что спереди, что сзади.

А сон всё равно не шёл.

— Ты знаешь, — сказал я сидевшему в соседнем кресле Давиду Кугультинову, — почему-то в полетах я испытываю странные чувства: когда лечу на восток — время тянется нестерпимо долго, душу гнетет тревога, томят дурные предчувствия… Когда же лечу обратно, с востока на запад, совсем иное настроение: душа поёт, время летит, лишь успевай переводить стрелки, меняя часовые пояса, возникает ощущение возвращенной молодости…

Я покосился на соседа: не заснул ли от моих велеречий?

Но нет, узкие щелки его глаз не были смежены. Он слушал.

— Может быть, это память о войне? — продолжал я. — Череда эвакуаций: сначала из Харькова в Сталинград, под бомбами, потом, в сорок втором, из Сталинграда — тоже под бомбами, — за Урал, в Сибирь, в Барнаул… и за всем этим была тягость неудач, поражений… Из-за этого?

— Конечно, — отозвался Давид. — Ведь я тоже отступал. Я провоевал всю войну, Саша… Но ты говори, говори.

Он поощрительно коснулся моей руки.

— А когда, несколько лет спустя, я ехал воинским эшелоном с Алтая в Москву, с пушками на платформах, с ветерком, — тогда на душе было совсем иное чувство: ликования, праздника. Ведь уже на горизонте маячила Победа! Как ты думаешь — поэтому?

— Не знаю, — пожал плечами Кугультинов. — После войны я в лагере сидел, в Норильске… Но, думаю, что тут всё дело в солнце. В движении самого солнца. И в движении людей: в одном случае — по солнцу, а в другом — против солнца.

— Интересно, — оживился я, выглянув в иллюминатор, но там еще было беспросветно.

— Понимаешь, Саша, когда древние воины шли с востока на запад, они следовали за солнцем, шли за ним. Шли маршрутом, как бы заведенным для них самим мирозданием. Само солнце предводительствовало им!.. И оттого у них на душе было светло и ярко.

Я представил себе эти орды древних предков моего товарища по перу, прекрасного и мудрого поэта, — катящиеся по голой

степи, заполонившие всю степь, от горизонта до горизонта, колыханьем пик и секир, боевых хоругвей, конских грив… И над ними сияло солнце, и они двигались вослед ему.

— Ну да, — кивнул я. — Но, послушай, а как было тогда, когда они возвращались? То есть, когда они шли против солнца… Тогда как?

Давид Кугультинов повернул ко мне свое широкое, как светило, изрытое оспинами лицо, улыбнулся хитро и сказал:

— А они никогда не возвращались.

Нам, всё-таки, удалось вздремнуть часок.

И когда мы открыли глаза, во всех окошках уже сиял свет нового дня. Самолет катился по бетонке Улан-Батора.

Вечером в театре оперы и балета был дан грандиозный концерт.

Вот зазвучала хачатуряновская страстная музыка, и на сцене появилась блистательная пара: Татьяна Голикова и Александр Годунов. В природной лепке тел подобные античным божествам, красивые, сильные, совершенно невесомые в прыжках. А ведь и он, и она были рослы, изумляли мышечной статью. Но когда она взлетала в воздух, а он подхватывал ее на лету — как пушинку, — можно было лишь догадываться, что поддержка требовала немалой мощи.

Они покинули сцену в буре рукоплесканий.

— А теперь — *наши!* — не скрывая гордости, сказала мне сидевшая рядом женщина с венцом русых волос вокруг чела.

Это была Анастасия Ивановна Филатова, жена монгольского вождя, генсека правящей партии Юмжагийна Цеденбала.

Нашими она назвала монгольскую девушку и монгольского парня, которые выбежали на просцениум в костюмах из «Жизели».

Мне уж поведали, что Анастасия Ивановна, как советник вождя по культуре, лично опекала балетную школу в Улан-Баторе.

Но, уловив знакомый рисунок танца, я догадался, что эти *наши*, поди, тоже учились в хореографическом училище на Фрунзе, по-соседству со мною.

На следующий день вся орда прилетевших из Москвы мастеров искусств разделилась на группы, расселась по автобусам и отправилась в регионы, в глубинку, в аймаки. Кому — горы, а кому — пустыня…

Давид Кугультинов выбрал горы: он ведь и у себя дома, в Калмыкии, навидался пустынь.

Мне же досталась степь.

Асфальтовое шоссе кончилось сразу же за околицей Улан-

Батора.

Дальше была степь — ровная, как бильярдный стол, от горизонта до горизонта.

Автобус пилил прямо по осенней степи, без дороги, по ребристому следу шин впереди идущей машины.

Вокруг было безлюдно и глухо.

Лишь сурки-тарбаганы, вылезшие на шум из своих нор, встав на задние лапы, а передние прижав к животам, провожали наш караван бусинками любопытных глаз.

Часа через два пути, начальники (*дарги*, как их тут называют), вероятно заранее договорившись о привале, скомандовали стоп. Чтобы все, кому надо, могли отлить. Мужчинам направо, женщинам налево.

Для мужиков тут нет проблем. Мы просто, выждав чуток, помочились в степную пыль, под колеса. Отряхнулись, закурили.

А вот женщины — певицы, балерины, фокусницы, бандуристки, — те побежали в сторону, голой степью, в надежде найти укромный овражек.

Но овражков тут не было.

А они всё бежали, оглядываясь, становясь всё меньше и меньше, но оставаясь при этом в поле зрения. И был, конечно, риск, что так они убегут за окоём, достигнут Великой китайской стены, и лишь под нею осмелятся присесть.

Мы терпеливо ждали: бесконечность пространств настраивала на философский лад.

Когда же все, наконец, вернулись и собрались подле автобусов, я подошел к Татьяне Голиковой и Александру Годунову (в пути знакомства сводятся легко и быстро), сказал — ему:

— Саша, вам обязательно нужно сниматься в кино!

К той поре я уже не служил на «Мосфильме», хотя изредка там и снимали фильмы по моим сценариям, но задор открывателя звезд всё еще жил во мне.

Не пряча любования, рассматривал я изблизи этого молодца в черном пальто и черной шляпе, из-под которой сзади ниспадали косицы русых волос. У него был по-мальчишески задорный нос, светлые глаза. Я уж знал, что родом он из еще более несусветной глуши, нежели монгольская степь — с самого что ни на есть Сахалина, далекого даже отсюда.

— Балет, конечно, балетом, но вы прямо созданы для кино, — повторил я.

— И кого же он будет играть? — заревновала партнера к его будущей экранной славе Татьяна.

— Злодеев, — сказал я, сводя разговор к шутке.

Александр улыбнулся тщеславно. Похоже, что он и сам подумывал о кино.

Лишь к вечеру мы добрались до Ундер-Хана, столицы степного Хэнтэйского аймака.

Выступать здесь пришлось в клубе, очень похожем на наши захолустные сельские очаги культуры. Куцый пятачок сцены меж двумя плюшевыми занавесками. Скрипучие половицы с торчащими шляпками гвоздей. От тусклых софитов до задней стены — рукой подать.

Впрочем, тут было достаточно места, чтобы бряцать на бандурах, усевшись всем трио в ряд. И чтобы петь воронежские частушки, даже с пританцовкой, с выходкой.

Благодарные слушатели, местные чабаны и доярки в праздничных шелковых халатах, щедро вознаграждали аплодисментами наших артистов за их близкое народу искусство, за долгий и тряский путь, за неудобства крохотной сцены.

Но когда на эту сцену — как зыбкий мираж пустыни, — выплыла, семеня на пуантах, в прозрачной кисее туники, беломраморная Фригия, Татьяна Голикова, — а следом за нею, из-за пыльных занавесок, на ту же сцену вырвался — как степной вихрь, как смерч, — обнаженный до пояса Спартак, Александр Годунов, гладиатор, весь составленный из бугристых мышц и связок, — и когда, на волне страстной музыки, он подхватил на руки и вознес до небес свою возлюбленную, — я испугался, нет, не того, что они звезданутся о нависший низкий потолок, — нет, я испугался, что вот сейчас от этой силы, от этой страсти, — утлые стены аймачного клуба рассыплются в прах, что потолок обрушится, разверзнется, открыв ночные звезды, — что по степи прокатится землетрясение от того восторга, с каким чабаны и доярки рукоплескали никогда еще в жизни не виданному чуду…

Для ночевки нам отвели несколько комнат в такой же утлой двухэтажной гостиничке.

И там же устроили знатный банкет, рассадив гостей за составленными покоем столами.

Меню было скромным: мясо и мясо, жареное, пареное, мясо с мясом. Ведь с овощами тут было туго, не растут, да и выращивать некому — все заняты мясом. Еще хлебные лепешки, этого навалом.

Зато столы были уставлены рядами бутылок с монгольской водкой, знаменитой архи, чистой, как слеза, и крепкой, как дружба народов.

Вообще-то в эту пору в Монголии была развернута борьба с пьянством, грозящим исчезновением древнему народу, как, впрочем, и всем другим народам, более или менее древним.

Рассказывали, что эту борьбу отважно возглавила супруга монгольского вождя, генсека народно-революционной партии Юмжагийна Цеденбала, — уже знакомая нам русская красавица Анастасия Ивановна Филатова. Она, согласно легендам, являлась прямо на заседания Политбюро и разгоняла всю эту шарагу, прекращала коллективную пьянку. А собственного мужа брала за холку и увозила в Маршальскую падь, в резиденцию главы государства, в его юрту.

Но сейчас эта русская красавица, гроза степей, была далеко.

И долг гостеприимства обязывал хозяев выставить угощенье наславу, всё, чем богаты.

Сопровождавший нас в поездке советский дипломат из Улан-Батора, в предвкушении пира, поблескивал очками, причмокивал, объяснял нам шепотком, что сам Владимир Ильич Ленин учил: «*Архи — нужно, архи — важно*!..»

Ну, уж если сам Владимир Ильич… Мы послушно разливали архи по рюмкам. А тут еще двери распахнулись настежь, и в банкетный зал вплыли, как лебеди, наши «Воронежские девчата», в полном составе, даже не снявшие после концерта цветастых сарафанов, парчовых душегрей, сверкающих самоцветами кокошников.

Впереди всех выступала рыжая певунья Людмила Рюмина, в своих белых ручках она держала жестяной поднос, расписанный цветами, а на нем был бокал, полный вскрай той же самой водки-архи.

Они пели хором:

Кому чару пить?
Кому здраву быть?
Наромдалу-Баромдалу
Эту чару пить…

С песней, с поясным поклоном они поднесли бокал сидевшему во главе стола дарге Хэнтэйского аймака, имя и фамилию которого я привожу по памяти.

Он же, расцветши, как розан, от столь высокой чести и от столь ненаглядной красоты воронежских девчат, взял с подноса бокал и торжественно поднес к устам.

Пей до дна,
Пей до дна,
Пей до дна!.. —

хором, нараспев, требовали красавицы.

Как им откажешь?

Мы понеслись следом.

Честно скажу, что я не считал рюмок — сколько кто выпил, и сколько я выпил сам, врать не буду. Но мне показалось, что выпито было еще совсем чуть-чуть.

Как вдруг сидевший со мною рядом Саша Годунов с грохотом свалился со стула на пол.

Он лежал на полу, не шевелясь, не вздрагивая, не разлепляя век, на первый взгляд — бездыханный. Лишь со второго взгляда можно было заметить, что грудь его мерно вздымается и опадает, услышать мощный храп, который исторгался из его горла. Он спал, как убитый.

Он лежал навзничь в столь же картинной, живописной позе — сраженный гладиатор, — в какой час назад танцевал на сцене.

Мы пытались его приподнять, растолкать, но тщетно. Он лишь помыкивал в глубоком сне.

Рюмка архи сразила его наповал.

Он лежал как кит, выбросившийся в смертной тоске на берег океана: хоть оттащи его обратно в волны, он выбросится опять…

Таня Голикова стояла над его телом, опустив голову, поднеся ладони к щекам.

Не знаю, может быть ей уже случалось в каких-нибудь других гастрольных поездках оказываться в столь же горестной ситуации, когда партнер падает замертво на пол, оставляя ее без поддержки… С кем же ей завтра танцевать?

Убедившись в том, что будить Александра — пустая затея, мы, вчетвером или даже вшестером, включая дипломата, переводчика и главу аймака, ухватили его за руки, за ноги, с трудом оторвали от пола и, кряхтя, понесли к лестнице на второй этаж.

Он был невероятно, неправдоподобно тяжел. Гора железных мышц. Лишь теперь, неся его на руках, я уловил взаимосвязь: понял, сколь весом должен быть в балете партнер, чтобы легко, как пушинку, возносить балерину в заоблачную высь…

Сами бывалые пьяницы, мы несли его с такими же сосредоточенными постными лицами, с какими большевистские вожди, члены Политбюро, носят своих соратников к нише в Кремлевской стене.

А позади нашей скорбной процессии, приложив к губам платочек, шла безутешная Таня Голикова.

Но наутро Саша Годунов вышел к завтраку, улыбаясь, как ни в чем не бывало. Он опять был свеж и молод, несокрушим, полон сил.

Вслед за Ундэр-Ханом мы побывали в Каракоруме, древней столице Чингис-хана. Именно там, в буддийской кумирне, я услышал звон колокола, вобравший в себя всетональный аккорд скрябинского «Прометея».

Затем мы отправились в молодой город Чойбалсан, и там нас повели на мясокомбинат, выстроенный в честь советско-монгольской дружбы, показали, как быков и коров забивают разрядом электричества, — и некоторые дамы, те, что постарше, попадали в обморок.

Потом мы опять ехали степью. Но здесь была проложена широкая бетонная автострада. Переводчик Сандага (тоже, стало быть, Александр — как Годунов, как я) привлек мое внимание к тому, сколь далеко в сторону от дороги отнесены телеграфные столбы, и я сначала не понял, что он имеет в виду, а он не стал объяснять. И лишь тогда я догадался, что мы едем по взлетной полосе, достаточной для разбега тяжелых бомбардировщиков.

На заставе, у самой границы с Китаем, я читал советским погранцам своих «Мальчиков», и они смеялись совершенно как дети, потому что они и были детьми — так юны, совсем мальчишки…

И везде, где мы побывали, Саша Годунов и Таня Голикова танцевали дуэт Спартака и Фригии, срывая благодарные аплодисменты.

И повсюду нам устраивали пышные застолья, и воронежские девчата несли на жестяном подносе бокал архи смущенному дарге.

А потом, уже привычно, мы уносили, как с поля боя, своего товарища отсыпаться.

А назавтра он опять танцевал.

Позже, в семьдесят девятом году, во время гастролей в Америке, Александр Годунов *остался* там, о чем было немало шума.

Он танцевал, снимался в кино, в Голливуде. Я видел его в «Крепком орешке» — так в нашем прокате назывался фильм «*Die hard*», «Умри тяжко».

Там он изображал террориста Карла, врывающегося в небоскреб и, с порога, заваливающего из пистолета с глушителем пару зазевавшихся охранников. Всё тот же: с косицами русых волос, ниспадающих к плечам; с беспощадными глазами профессионального убивца; с громоздкой мускулатурой торса; с ногами, бегающими вразвалку, вовсе не так, как выбегал он на сцену в балете. Впрочем — ведь тут он в роли…

Сквозной музыкальной темой террористов в фильме почему-то звучит ода «К радости» из Девятой симфонии Бетховена.

Может быть, потому, что банда, в основном, состоит из немцев.

Бандиты расстреливают заложников, взрывают крышу небоскреба.

Однако храбрый полицейский Джон одерживает в схватке верх над Карлом — тот запутывается в железных цепях и, пронзенный пулями, повисает на них…

Я тянусь к кнопке, чтобы выключить видик: на кой мне хрен вся эта бодяга без Годунова? Как вдруг он, чудом ожив, воспрянув из мертвых, как бывало и прежде, выбегает из горящего небоскреба, паля из автомата, от пуза, во всё живое…

Он великолепен и страшен в этой злодейской роли.

Вот как сбылись мои пророчества.

Его полюбила известная киноактриса Жаклин Биссет. Но вскоре ушла, не стерпев пьяных загулов.

И там же, в Америке, он умер совсем молодым — этот парень, которого я носил на руках.

Терпелки перетёрлись.

Готовые страницы книги требовали продолжения, а строки сами собой срывались с места, и я уже был не в силах тормозить их бег, взнуздывать повествование.

Между тем, Борис Акимов попрежнему разъезжал по своим Китаям и Япониям, а я тем временем предавался ностальгическим воспоминаниям о монгольских степях.

Искушение превозмогло.

В один прекрасный день я отправился в Академию хореографии, благо — живу рядом. Познакомился с ее ректором, известной балериной Мариной Леоновой, статной красавицей, ученицей Софьи Николаевны Головкиной, вслед за которой она и возглавила эту академию.

Кстати, на фотографиях, только что присланных из Лондона, моя сестра была запечатлена и с Головкиной: здесь, в классах академии, и в Большом театре, и за столом жюри международного конкурса.

Марина Константиновна внимательно разглядывала снимки, изучала лицо Тамары, изредка взглядывала на меня, будто бы сличая черты.

— Мы непохожи, — сказал я. — У нас разные матери.

— Похожи, — возразила балерина, проведя пальцами по своим щекам, от носа к подбородку, где и у меня, и у Тамары свисали одинаковые бульдожьи складки.

Так ведь это от старости.

Потом она повела меня в класс — долгим коридором, четырежды огибающим учебный корпус.

Любопытствуя, я выглянул в одно из окон и вдруг увидел то, что казалось мне исчезнувшим бесследно.

Во внутреннем дворике, среди зажелтевших деревьев, стояли на камнях постамента те самые бронзовые девочки, балерины, которыми я любовался прежде, когда был моложе, когда, что ни день, ходил мимо них на работу — тогда они стояли в скверике, открытом улице.

Теперь же их убрали от греха подальше, спрятали от бесстыжих глаз, от вороватых дельцов, разъезжающих по Фрунзе на своих «лендроверах», от алкашей, собирающих пустые бутылки вдоль оград.

Их укрыли во внутреннем дворике, как укрывается в своей ракушке нежнотелая улитка, брезгуя наружной грязью.

Привет, девочки, вот, оказывается, где вы!..

Попутно Марина Константиновна объясняла мне подоплеки балетного искусства.

— Вы говорили о стишке Улановой? Мол, нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете… Да, это очень красивая музыка. Но она слишком прихотлива, она живет сама для себя. А балерине — даже такой, как Уланова — трудно попадать в такт…

Мы вошли в просторный класс: окна во всю стену, поручни учебных станков, рояль с откинутой декой, скамейки у зеркал.

Меня познакомили с преподавательницей Натальей Игоревной Ревич.

Зазвучала музыка.

И-и раз, и-и два…

Я раскрыл блокнот на чистой странице.

Но она так и осталась незамаранной.

Вихрь смятенных чувств, взволнованных дум охватил меня с первых же мгновений пребывания в этом зале.

Я понял вдруг, почему меня так влекло сюда в последние недели. И вовсе не за тем я явился сюда, чтобы уловить на лету несколько профессиональных терминов — *глиссе, бурре*, — чтоб записать в блокнот команды — *держи спину! убери хвост!* — нет, вовсе не за этим.

Я хотел уйти сюда, удалиться как в схиму, как в раскольничий скит, — в эту обитель первозданно чистого искусства, живущего ныне в торгашеском бесстыжем мире на правах ереси.

Нет, я не обманывал себя: я понимал, что и сюда — сквозь щели, сквозь дверные скважины — задувал всепроникающий дух того, что творилось снаружи.

И наверняка той же Марине Константиновне Леоновой,

ректору балетной академии, приходилось являть чудеса изворотливости, чтоб сохранить этот храм в целости, в святости, чтобы *сберечь* его — в прямом и переносном смысле слова, — среди распроданной на корню недвижимости столичных улиц.

Я понимал, как трудно живется и ей самой, и тем, кто ведет эти классы, и тем, кто в них учится.

И-и раз, и-и два…

Находясь в этих стенах, было страшно даже подумать о диком шабаше, творящемся окрест: о переполненных залах дискотек, где, ослепляя сетчатку глаз, разрывая ушные перепонки, давя на психику, на ум, на дурь, на гормональные узлы, на сплетения нервов, на сознание, на подсознание, на бессознанку, — рычали электронные синтезаторы, неистовствовали гитары с изорванными струнами, колотушки крушили барабаны, — и какие-то патлатые вихлястые бесполые существа с потной волоснёй немытых шкур, — носились по подмосткам, тыча в свои слюнявые рты залупы микрофонов.

И такая же, если не хуже, но совсем еще молодая нечисть бесновалась в свальном грехе у подмостков.

Нам именно этого не хватало *тогда*? Впрочем, этого и тогда уже было навалом, а нам хотелось *еще чего-то*?

В широком окне класса был виден отсюда мой дом, что у самой набережной, его дворы, даже одно из окон моей квартиры, кухонное — подобное щелке норы, куда я забился, как зверь, и сидел там, не высовываясь, чтобы не видеть мира, в котором страшно и стыдно жить.

Из моего окна хоть не не было видно Нового Арбата, откуда вытряхнули всё, что не звенит, что не шуршит, — и теперь он сиял непрерывной, на версту, зазывной рекламой игорных домов и борделей.

Из моего окна хоть не было видно книжных магазинов Лубянки, заваленных сплошь — сверху донизу, под завязку — фашистской литературой. Они были хранимы от посягательств на свободу слова всею мощью соседнего казенного здания.

И, всё равно, отгородиться, спастись от этого кошмара было невозможно, покуда у меня был телевизор, из которого днем и ночью хлестали нечистоты. И было некуда позвонить, позвать: ребята, приезжайте скорее, прорвало канализацию, все этажи, весь дом залило говном!..

Но они, всё равно, не приедут, уже поздно.

Во всем окружающем зловонном мире, казалось мне, был лишь один островок спасения, одно лишь убежище света и чистоты — я глядел на него из окна, и вот мне выпало даже ступить на его твердь.

Я сидел на скамье под зеркалом, краем уха прислушиваясь к музыке (Глазунов? Делиб?), заворожено следя за чистыми легкими движениями юных балерин, с трудом удерживая слёзы умиления…

— Что с тобой?

Меня заставил вздрогнуть оклик Натальи Игоревны, обращенный, как выяснилось, вовсе не ко мне, а к девочке, стоявшей у станка поодаль.

— Оля, что с тобой?..

Лишь сейчас я заметил, что глаза маленькой балерины тоже полны слёз, и они, эти слёзы, скользят по ее щекам, но она не смеет отереть их, поскольку даже одно украдчивое движение сломает строй округленных рук.

— У тебя что-то болит?

— Нет.

Она произнесла это «нет», почти не шевельнув губами, не разомкнув сцепленных челюстей. И можно было догадаться, что она плачет вовсе не от боли, пронзившей вдруг суставы, терзающей мышцы, — а от отчаяния, от сознания того, что обречена на эту муку — на всю жизнь. Вот так стоять у станка, повторяя заученные с малолетства упражнения. И даже впоследствии, сделавшись балериной, выйдя на большую сцену, срывая громовые аплодисменты, принимая букеты цветов от поклонников и поклонниц, — она, всё равно, будет каждое утро становиться к станку в репетиционном зале.

— Ты себя плохо чувствуешь?

— Нет.

— Тогда — работай!

Я вспомнил, что в моем литинститутском семинаре — а сейчас я опять набрал первый курс, — было немало студенток, занимавшихся в детстве классическим танцем.

Одна из них описала в своей повести разговор преподавательницы с вызванной для объяснений мамашей.

«— …У вашей дочери плохая растяжка. И если вы хотите, чтобы она стала балериной…» — «Да что вы! — всплеснула руками сердобольная мама. — С чего вы взяли, что я хочу, чтобы моя дочь стала профессиональной балериной?! Нет, я слишком люблю ее…»

Когда урок подошел к концу, и Марина Константиновна, попрощавшись со мною, вернулась к своим многотрудным ректорским делам, Наталья Игоревна спросила:

— Хотите зайти в старший класс?

— Да, конечно!

Из-за соседней двери тоже доносились аккорды и арпеджио

рояля, разделенные подчеркнутыми паузами.

Мы вошли. Я поздоровался, не пряча робости.

Рослые, уже вполне сформировавшиеся девушки в черных трениках, поверх которых, по погоде, были натянуты сатиновые шаровары, ответили радушным «здрасьте», скользнули взглядами по явившемуся в класс гостю, каких, должно быть, перевидали немало.

Одна спросила:

— Штаны снимать?

Наталья Игоревна, подавив смешок, выразительно глянув на меня (ну, народец!), сказала:

— Да.

Объяснила:

— Второй курс, пятнадцать-шестнадцать лет. Вон те, справа, японки. Очень работящие!

Мне показалось, что я уже встречал в округе этих тоненьких узкоглазых девушек, гуляющих стайками вдоль набережной, тянущихся взглядами то к белому цветенью, то к буйной зелени, то к золотому, как сейчас, увяданью Нескучного сада по ту сторону реки.

И еще я подумал, что случившийся только что переход из класса в класс, из одной двери — в соседнюю дверь, из возраста в возраст, — что это перемещение в пространстве и во времени на удивление точно соответствует прихотливому течению моей книги, где нет единого поступательного хронологического русла, а всё идет то впрямь, то вкось, то вспять; где герои, достигнув старости, отнюдь не умирают, а вновь впадают в детство; где нету четкого разграничения персонажей — вот ты, а вот я, и не трожь меня! — потому что все мы, плоть от плоти, душа от души, наследуем и повторяем друг друга, лишь для порядка, для ясности, обозначая *степени родст*ва.

— Зинаида Анатольевна, — обратилась Наталья Игоревна к концертмейстеру, — продолжим…

И та, кивнув, тронула клавиши.

Нам принесли по чашке кофе, вазочку с печеньем, и это было приятным дополнением к беседе.

Но это было уже в другой раз, когда Акимов наконец-то вернулся в Москву.

— Знаете, — рассказывал он, — в моей жизни тоже не обошлось без приключений. Начать хотя бы с того, что я родился в Вене… да-да, именно там, в первом же послевоенном году, в сорок шестом. Мой отец, он тоже танцовщик, два года гастролировал там с Краснознаменным ансамблем песни и

пляски, вместе с мамой. Там я и появился на свет… А много лет спустя, когда Большой театр приехал туда на гастроли, и я уже был солистом его балета, мэрия преподнесла мне букет цветов, очень торжественно, как уроженцу Вены…

Борис Борисович рассмеялся от души и не без удовольствия.

Я же поспешил записать этот любопытный факт в свой блокнот.

Странно — или, наоборот, в том не было ничего странного, — но, сидя за столом напротив художественного руководителя балетной академии, я вдруг ощутил себя помолодевшим лет эдак на полета.

Будто бы опять переместился в сорок шестой — в тот год, когда в Вене родился Акимов, — а я, первокурсник Литературного института, делал свои первые шаги в журналистике, имея на руках удостоверение внештатного корреспондента газеты «Московский комсомолец».

Еще не забылся навык: раскрытый блокнот, легкий карандаш, не слишком мучительные для собеседника вопросы, далекие от исповедальности ответы.

Это было совсем иным делом, нежели писательский надрывный труд.

Прежде всего потому, что там — в окаянной прозе, к которой ты будто бы приговорен. — всё лично выстрадано, выношено в сердце годами и десятилетиями, окроплено слезами, а уж после.

Здесь же не было нужды самого себя приносить в жертву.

Я был здесь всего лишь гостем. Гостем в балетной академии. Гостем в собственной молодости.

Вдруг вспомнилась фраза из этюда еще одной моей студентки-первокурсницы, объяснявшей, почему предпочла занятия литературой своим недавним опытам в газетном ремесле: «*Журналисты пишут о чужих людях, а писатели — о родных*». Сколько в этом восхитительной наивности, но, вместе с тем, как точно сказано!

Мои же нынешние ощущения как бы сопрягали одно с другим.

Да, я чувствовал себя журналистом, даже репортером, пытающимся с чужих слов нарисовать портрет человека, которого никогда в жизни не видел, и лишь совсем недавно — вот только что! — узнал о его существовании.

Но этот неведомый человек был мне родным, был частью меня самого, или же я был его частью, или мы вместе были частями, осколками, дребезгами одного целого, теперь уже исчезнувшего. И обрести друг друга — значило воскресить, вернуть того, кто исчез. Хотя бы так, хотя бы отчасти.

Я уже выполнил данное мне поручение: передал Акимову из рук в руки пакет, присланный мне из Лондона, большую фотографию, где он, долгогривый, как дьячок, или же, чтоб современней, как хипарь, стоял рядом с Тамарой Финч, Тамарой Чинаровой, моей сестрой.

И ему, повидимому, передались те же ощущения, что владели мной.

Он покачал головой, улыбнулся:

— Еще молодые: и она, и я… Ведь мы знакомы уже более тридцати лет! В шестьдесят восьмом я впервые был на гастролях в Лондоне, а она была нашей переводчицей. С тех пор и дружим. Я бывал у нее дома, в Литтл Болтонсе. Но она никогда не говорила мне о том, что у нее есть брат…

— Да она и не знала об этом. И я не знал. Понимаете…

Я опять завел речь про то, как с детских лет считал своей сестрой Тамару Туманову, и как передал в Беверли Хиллс с композитором Дмитрием Тёмкиным ее детские фотографии, а она, ответно, передала свой взрослый портрет в лебединых перьях Одетты-Одиллии, уже в расцвете своей сценической и экранной славы, с дарственной надписью, но почему-то ни словом не обмолвилась о том, что эта девочка на снимках — вовсе не она…

Рассказывая, я пристально наблюдал за выражением лица своего собеседника.

Ведь теперь-то я уже знал, что Тамара Туманова — это очень громкое имя в искусстве, в балете, а Тамара Чинарова, Тамара Финч — это не самое громкое имя.

Именно так объясняла диспозицию моя сестра в одной из первых наших бесед. Может быть, она не исключала и того, что я намеренно клеился в братья к более знаменитой балерине.

Однако лицо Бориса Акимова, покуда я вел свой рассказ, оставалось до странности безучастным.

— Знаете, — сказал он потом, наклонясь ко мне и почему-то понизив голос, — я никогда ничего не знал, не имел понятия ни о какой Тамаре Тумановой. Ведь в Советском Союзе не больно-то распространялись о звездах русской эмиграции, их попросту замалчивали, будто их и не было…

Я торопливо записывал эту речь в свой репортерский блокнот, переплетенный в синюю кожу.

— Знаете, от кого я впервые услышал имя Тумановой? — он поднял палец, взывая к моему вниманию, чтобы я тоже услышал то, что когда-то услышал он. — От Тамары Финч! Это она рассказала мне о своих подругах по балетной студии в Париже: о Тамаре Тумановой, об Ирине Бароновой, о Татьяне Рябушинской. Все эти имена я впервые слышал от нее. И она ведь об этом не

только рассказывала своим друзьям — она публиковала статьи в журналах, выступала с докладами…

(Когда я перескажу Тамаре по телефону этот разговор с Акимовым, она откликнется не без горечи: «Ну, и кому теперь всё это нужно?»).

А он продолжал:

— Потом, правда, все лишь об этом и судачили: ах, Анна Павлова, ах, Тамара Карсавина, ах, Нижинский, ах-ах! Как обычно у нас: будто бы до этого ничего своего и не было… Разные ловкачи стали лепить один за другим спектакли с лейблами: хореография Дягилева, Баланчина, реконструкция постановки Фокина. И везли их показывать всему свету!.. А кто открыл, что это сплошная липа? Тамара Финч. Ведь она, может быть, последний человек, который своими глазами видел балеты Фокина, Дягилева. Она не только видела, но и сама танцевала в них — еще девочкой…

(«Ну, и кому теперь всё это нужно?»).

Не скрою, что мне было очень лестно слышать всё это в стенах Академии хореографии.

Хотя я и был здесь всего лишь репортером.

Кофе было выпито, печенье я срубал до крошки, очень вкусно.

— Теперь в класс? — предложил Борис Борисович.

— Да, конечно.

И опять, теперь уже с Акимовым, я шел по этим коридорам.

У дверей, на ковровых дорожках, отдыхали девочки из младших классов. Они отдыхали так, как их учили: растянувшись в шпагате, оперев голову на кулачки, а локти об пол.

Мы на ходу переступали через эти распростертые детские ноги.

Навстречу топала кроха, держа подле уха мобильник. Вся в слезах и соплях, она излагала кому-то, маме или бабушке, самую вечную и самую печальную тему жизни в искусстве: про то, как ее *не поняли*, про то, как ее обидели ни за что, ни про что, а просто из зависти к таланту…

Акимов замедлил шаг у стенда, на котором, под стеклом, красовались фотографии самых прославленных выпускников балетного училища: их роли разных лет, сцены из знаменитых спектаклей.

— Вот я… здесь — в «Поручике Киже», а здесь — в «Спартаке», вместе с Сашей Годуновым. Вы, кажется, были знакомы с ним? Да, вы говорили… А мы с ним танцевали в «Спартаке»: он — Спартак, я — Красс… В семьдесят девятом мы

вместе были в Нью-Йорке. Там он и исчез. Честно говоря, он собирался сделать это еще раньше, в Лос-Анжелесе, но его отговорила Майя Михайловна Плисецкая: он был ее партнером в балете Щедрина «Кармен». Представляете, она могла остаться без партнера!..

Я старался запомнить его рассказ, не упустить ни детали, ведь было бы нелепо и трудно на ходу записывать каждое слово в блокнот.

— Да, пил он страшно. Валялся на тротуарах даже там, в Нью-Йорке, а фоторепортеры слетались, как вороньё, снимали это на пленку. Ребята из балета торопились засунуть его в автобус… Но как же он был талантлив! Жаль парня.

Мы опять были в классе Натальи Игоревны Ревич, в ее младшем классе.

Шла обычная репетиция. И-и раз, и-и два…

Я уже узнавал этих девочек, сопрягал знакомые лица с запомнившимися именами: вон та, круглоголовая, с упрямым лбом, двужильная, работящая — ее зовут Дашей; а ту, что рядом с нею, сразу отличишь: волосы в мелкий завиток, кожа лица и рук шафранового оттенка, мулатка, фамилия экзотическая, но имя русское, теперь почти забытое — Липа…

Я вдруг вспомнил уморительный эпизод из воспоминаний моей сестры о подруге, о Тамаре Тумановой, — и наклонился к уху Акимова, чтобы вкратце его пересказать.

Дело было еще в тридцатых, когда парижский «беби-балет» гастролировал в Америке.

Во втором акте «Фантастической симфонии» Берлиоза, переложенной для танца Леонидом Мясиным, юный партнер Тамары Чинаровой, новичок в спектакле, перепутал двух Тамар — ведь они были похожи, как близняшки, — подхватил на руки и понес за кулисы, вместо нее, Тамару Туманову. А тут зазвучала музыка па де-де, и Мясин вдруг обнаружил, что партнерши нет на сцене, на лице его отобразился ужас… Юная Тамара Чинарова, спасая положение, протянула к нему руки в любовном жесте и поплыла назад, к кулисам, чтобы там поменяться ролью с подругой. А там мамаша Туманова колотила по мордасе оплошавшего парня, крича: «Отпусти мою дочь!»

Борис Акимов беззвучно трясся от смеха.

И тут меня осенило.

Вот сейчас возьму и спрошу преподавательницу: «А в вашем классе есть хотя бы одна Тамара?» Она подумает, ответит: «Нет. Ни одной. Всё больше Насти, Даши, Оли…»

Ну да, это я знаю, ведь и у меня в литинститутском семинаре — сплошные Насти, Оли… Как жаль, что вышло из моды столь

популярное некогда имя — Тамара, берущее начало от библейской Фамари, от грузинской царицы Тамары, означающее пальму.

Но уместны ли здесь эти репортерские штучки, эти маленькие провокации?

— Наталья Игоревна, а в вашем классе есть хотя бы одна Тамара?

Она обвела взглядом своих учениц, стоявших вдоль стен, ответила:

— Есть.

Подошла к девочке, стоявшей у самой двери — к девочке лет одиннадцати, с густыми черными бровями, отчеркнувшими белый лоб, с карими глазами, глядящими сейчас на меня исподлобья, настороженно: чего тебе от меня надо, дед?..

Наталья Игоревна коснулась ее плеча.

— Вот — Тамара.

Была ли она похожа на ту Тамару, которую я со своих детских лет знал по фотографиям в семейном альбоме — примерно того же возраста, в тренировочном балетном трико, на ту, что была моей сестрой? Не она ли это?

А может быть, это — другая Тамара, та, которая, пожалев меня, пощадив мои надежды, не раскрыла ошибки?..

Я спросил на всякий случай:

— Как твоя фамилия?

Она назвалась глухо. Это была известная горская фамилия. Настолько известная, что указывала даже место рождения.

— Ты из Северной Осетии?

— Да.

Я запнулся, не решаясь выговорить название города, только что потрясшее весь мир.

— Ты *оттуда*?

— Да…

Кивнув, я пошел к своему месту на скамье, сел рядом с Акимовым. Он молчал, не спеша возвращаться к прерванной беседе.

Наталья Игоревна продолжила урок.

Я смотрел на маленьких балерин, опять повернувшихся к поручням станка, легко вознесших ноги на брус, поднявших руки в округлом жесте.

Внезапно я ощутил виток головокружения, того, что означает скачок артериального давления либо предвестье магнитной бури.

Или же это был возврат чудовищного видения, которое возникло на экранах телевизоров несколько дней назад.

Это было ясным утром, когда повсюду заливались звонки: и

здесь, в окнах Хореографической академии, и в зеленом дворике Литинститута на Тверском бульваре, и в сотне школ окрест, и в тысячах школ по всей России, и в горном Беслане, откуда была родом эта густобровая осетинская девочка.

Косматые злодеи в пятнистых комбинезонах, с автоматами, сгоняли всех в школьный спортивный зал с такими же окнами во всю стену, как здесь: и первоклашек в бантах, с букетами цветов в ручонках; и старшеклассников, неловко обминающих взрослые костюмы; и заневестившихся девушек; и их родителей в растроганных слезах; и их учителей, раз в год гордящихся своей профессией…

Их всех расшвыривали по углам, их били прямо на глазах остальных, их уводили в подвал, их заставляли мочиться под себя и пить мочу в безумной жажде.

Потом разорвалась бомба, заложенная в сетку баскетбольного щита.

И будто бы заждавшись этого взрыва, со всех сторон полетели в окна пули, гранаты, снаряды, пронзающие насквозь всё живое, сжигающие дотла даже смрадный воздух людской кишени.

На них, рыча, зверея, двигались танки, бронетранспортеры и камеры зажатых между броней телерепортеров.

И весь мир увидел — миг в миг — детей, чудом вырвавшихся их горящего, иссеченного пулями, раздолбанного тротилом школьного здания.

Они бежали по асфальту улиц, по траве городских скверов — нагие, будто ангелы, прикрывая локотками детские груди, изумленно оглядываясь по сторонам, словно бы стараясь понять, на каком они свете — на *том*, или на *этом*; они искали глазами своих матерей, а матери, не найдя тех, кого искали, падали замертво, ниц, не согнув колен, на палую листву; а над городом, в сентябрьском небе, плыли, колыхаясь в струях тепла и прохлады, возносясь всё выше, будто воздушные шары, детские чистые души…

Я пытался нашарить в кармане таблетку папазола.

Пассажир «Ионии»

Пароход «Иония» прибыл в Новороссийск из Марселя 1 мая 1926 года — угодил, как на заказ, в самый пролетарский праздник. Хоть встречай с оркестром.

Но пограничный контроль не знает праздников, работает без выходных. При досмотре багажа и личных вещей реэмигранта по фамилии Рекемчук были взяты на заметку: Георгиевский крест 4-й степени; стопка писем; журналистское удостоверение на французском языке; газета — тоже на французском, значит не «Парижский вестник», тот выходил на русском; адрес зубного врача…

Вот и всё богатство.

Изъятий не было. Георгиевский крест вернули владельцу под его расписку.

Позднее этот серебряный крест с лавровым венком, на оранжево-черной ленте, достался мне — единственной памятной реликвией об отце.

У него на руках было рекомендательное письмо советского консула в Париже Отто Христиановича Аусема на имя народного комиссара просвещения Украины товарища Приходько, с которым он свел знакомство еще там, на рю де Гренель.

На всякий случай замечу, что этот нарком — считай, министр — не был родней ни моему деду, ни моей матери, а был просто однофамильцем, может быть даже из другого прихода, ведь эта весьма распространенная украинская фамилия обозначала лишь принадлежность к церковному приходу.

Напутствуя бывшего русского офицера, советуя ему «проехаться в СССР», Отто Христианович Аусем подчеркивал, что «*там для вас работы — непочатый край*».

Но, повидимому, в этот момент в самом Наркомате просвещения и в его системе не оказалось подходящей либо вакантной должности. И нарком Приходько направил вновь прибывшего реэмигранта из Франции в другой наркомат, а именно — к народному комиссару внутренних дел Украины товарищу Балицкому.

Ведь тогда Харьков был столицей Украины, и все высокие службы республики базировались здесь.

«*Тов. Балицкий направил меня к т. Добродицкому, а последний познакомил с тт. Карелиным и Бармисским…*» — объяснял впоследствии, в ходе допроса, мой отец.

Все эти приятные знакомства состоялись уже в стенах одной

конторы, вобравшей в себя и легендарное революционное Чека, и более позднее ГПУ, и сыск, и разведку, и контрразведку.

Покуда высокое начальство решало, как лучше употребить таланты вновь прибывшего коллеги, посоветовали заняться уже знакомой ему журналистской деятельностью, тем более, что она и была ему всего более по душе.

Так Евсей Тимофеевич Рекемчук очутился в самой кипени местной прессы: он сотрудничал в газетах «Харьковский пролетарий», «Вечернее Радио», «ВісТі» («Вести»).

Вероятно, наведываясь в машинописное бюро «Вечернего Радио» с листками только что сочиненного — с пылу, с жару, — забойного текста, он не задавал тут неуместных и грубых вопросов, вроде того, что был задан одним пролетарским поэтом: «А где здесь нужник?» Он был вежлив, внимателен, как и подобает недавнему парижанину. И эта изысканность манер наверняка произвела хорошее впечатление на девушек, работавших в машбюро. Особенно на одну из них — белокурую, тонколицую, с жемчужно-серыми глазами, которая теперь всякий раз встречала его появление улыбкой.

Ее звали Лидией. Ей было чуть-чуть за двадцать. Она еще не была моей мамой, а была прелестной барышней.

Теперь всякий раз, когда Тамара звонила мне из Лондона или я сам звонил ей в Лондон, наш разговор, вслед за «здрасьте», начинался одной и той же актуальной темой.

— Ну, как он мог *на вас* жениться? — спрашивала она. — Ведь он так любил мою маму, так любил меня!..

— Не знаю, — виноватился я. — Но документы сохранились, они у меня под рукой, там всё в порядке: они расписались 23 ноября 1926 года в городском ЗАГС'е…

— Ну да, ведь у вас это просто: расписались — и все дела. А ведь он в это время приезжал в Париж, к нам! Он ничего не говорил о своей новой семье, *о вас*… Ведь он был женат. Ну, как он мог *на вас* жениться?

— Не знаю, — всё более удручался я. — Меня тогда еще и не было на свете…

И вдруг осенило: я нашел неожиданный, но совершенно убийственный довод.

— А он *после нас* еще раз женился!

— Ну, это проще… — проворчала Тамара.

Однако через несколько недель она позвонила опять. И глухим, но отчасти торжественным тоном сообщила:

— Александр, я целыми днями роюсь в бумагах. Они лежат на полу, я хожу среди них, как по снегу, и они достают мне до

колен…

— Кошмар, — искренне посочувствовал я.

— Я нашла мамино заявление о разводе. Оно адресовано румынским властям, ведь мы тогда были подданными Румынии. Там нет даты, но я думаю, что это двадцать шестой год… Александр, я совершенно обалдела! Ведь мама никогда не говорила мне, что она хочет развестись с ним. Никогда, ни слова! Для меня это — такая неожиданность…

— Ну, конечно, — согласился я. — Моя мама тоже никогда ничего мне не говорила. Просто однажды она собрала вещи — и мы уехали из Киева в Харьков…

— Кошмар, — сказала Тамара.

Через несколько дней в Москву, экспресс-почтой, пришел пакет, в котором лежали ветхие, пожелтевшие от времени, но абсолютно внятные бумаги.

Особенно хорошо сохранились почтовые марки, изображавшие румынского короля Кароля в парадном мундире, при орденах, с лентой через плечо, с надменным моноклем в глазнице. Помню, что меня еще в отрочестве, до войны, очень забавляло то, что короля зовут Кароль, как в детской считалке: царь-царевич, король-королевич… Ведь я тогда, как и многие мои сверстники, упоенно собирал почтовые марки, и эти, румынские, с королем Каролем, весьма ценились в нашем кругу. А теперь, когда бесценное сокровище на старых конвертах, присланных из Лондона, оказалось в моих руках, я лишь взгрустнул об убежавшем времени, о том, что уже не играю в эти игры, о том, что уже не мальчик, а старик…

Все присланные Тамарой документы были на румынском языке. Она им не владела, я тем более. И пришлось просить о переводе коллегу по Литературному институту, поэта и прозаика Кирилла Ковальджи, который знал румынский, как родной. Он вырос в Аккермане и посвятил ему свой роман «Лиманские истории». Между прочим, он жил и рос на той самой улице Траяна, где стоял дом Христофора Чинарова, деда Тамары. Да-да, он, Кирилл Ковальджи, хорошо помнил этот дом. И все жители города Аккермана, который назывался тогда по-румынски Четатя Албэ, а теперь называется по-русски Белгород Днестровский, — все они знали этот богатый дом.

Через пару дней Кирилл Ковальджи перегнал мне по факсу готовый перевод.

И я стал вчитываться в эти полустертые — не от старости, а от севшего принтера, — но как будто ожившие заново строки.

Господин Премьер,

Нижеподписавшаяся Анна Христофоровна Рекемчук, урожденная Чинарова, проживающая в Четатя Албэ, улица Траян № 33, учиняю бракоразводный процесс против моего супруга Евсевия Тимофеевича Рекемчука, проживавшего в Четатя Албэ, местонахождение которого в настоящее время не известно, для расторжения брака в пользу истицы.

Мотивы настоящего бракоразводного дела таковы. Мой супруг, Евсевий Рекемчук, проживавший в Четатя Албэ в нашем семейном доме с 1924 года, покинул город, бросил меня и нашего общего ребенка; решаюсь на этот шаг и в результате тяжелых оскорблений.

Наш брак был заключен в Одессе (Россия) 16 июля 1918 года, в результате которого у нас родилась дочь Тамара 18 июля 1919 года в Четатя Албэ.

Нижеподписавшаяся, как и ответчик, не обладаем никаким недвижимым или движимым имуществом. Ответчик никак не заботится о своей семье.

Прошу Вас объявить развод в мою пользу и оставить за мной право одной воспитывать дочь Тамару.

С уважением

Подпись.

Действительно, как это ни странно, на бумаге подобного рода дата не была обозначена. Судя по тексту, Анна могла возбудить дело о разводе еще тогда, в двадцать четвертом, когда он «покинул город, бросил меня и нашего общего ребенка…», — то есть, когда он был вынужден податься в бега, когда уже был выдан ордер на его арест, когда его собирались судить за статью в газете «Вяца нова» о Татарбурнарском восстании. Он бежал, спасаясь от Сигуранцы, от тюрьмы, сначала в Италию, затем во Францию… И она, конечно, обо всем этом знала.

Но годом позже Анна сама отправилась следом за ним в Париж, разругавшись с родителями, прихватив с собою дочь.

Однако и там семейного лада больше не было: «…*решаюсь на этот шаг и в результате тяжелых оскорблений*».

А вскоре беспутный муж покинул и Францию, уплыл на пароходе «Иония» искать счастья в России.

Они оставались румынскими подданными, эмигрантами. Значит, расторгнуть брак могли только румынские власти. И там

с этим делом надо было обращаться вон как высоко — к самому Господину Премьеру, — не то, что в государстве рабочих и крестьян: в ближайший ЗАГС, за углом…

Вероятно, Тамара права: двадцать шестой год.

В анкетах той поры Рекемчук называл свой адрес в Харькове: Конная площадь.

Но это могла быть и Малиновская улица, бочком выходившая к площади.

Вспоминаю теперь, что мама рассказывала, как новый сотрудник газеты «Вечернее Радио» справлялся у нее — не знает ли, где можно снять недорого комнату, а то в гостинице цены кусаются? А в доме на Малиновской, где жила она сама с матерью и братьями, попрежнему было туго с деньгами, жили скудно, на одной лишь зарплате редакционной машинистки, а что это за зарплата?..

Новый жилец произвел хорошее впечатление на Александру Ивановну, маму моей мамы.

Он был прилично одет, в отличие от пишущей шантрапы, увивавшейся вокруг красавицы Лиды, — так ведь это и понятно: только что из Парижа. У него были безукоризненные манеры, в которых, правда, слишком явно угадывались повадки бывшего офицера, а это, прямо скажем, было по нынешним временам небезопасно.

И, как я уже отмечал ранее, Александру Ивановну совершенно умиляло то, что квартирант на дух не выносил водки, пил лишь красное вино — и то, разбавляя его водой, как это принято в Париже.

В доме еще витали тревоги тех лет, когда загулявший глава семейства торжественно возвращался домой во главе вереницы извозчичьих экипажей…

Зоркий глаз Александры Ивановны подметил и другое, не менее важное обстоятельство.

То, что элегантный и серьезный постоялец не остался равнодушным к цветущей прелести дочери, с которой вместе работал, а вечерами чаевничал под семейным абажуром.

Как нежно он взглядывал на нее! Как проникновенны были его речи, обращенные к ней! И за всем этим, помимо обычной влюбленности зрелого тридцатилетнего мужчины в пленяющую юной свежестью двадцатилетнюю девушку, — за всем этим угадывалась еще и отеческая доброта. А еще, быть может, учтенный, закаливший душу опыт прежних увлечений, любовных неудач, ведь он не скрывал, что был женат, что в Париже осталась дочь, фотографии которой всегда был рад показать и любовался

сам…

Правда — и это тоже замечала Александра Ивановна, и тем несколько удручалась, — дочь Лида, хотя и была польщена вниманием сослуживца и постояльца, но отнюдь не разделяла его пылкости, оставалась холодна в своих чувствах, а порою даже вздорна.

Так ведь это дело наживное. Стерпится-слюбится, в этом была уверена Александра Ивановна, может быть полагаясь и на свой замужний опыт.

Во всяком случае, она выделяла Евсевия Тимофеевича Рекемчука из несметного круга ухажеров и поклонников, претендентов на руку и на сердце дочери.

Как и у Тамары, у меня были свои находки.

Разбирая после кончины матери старые письма — ее самой и к ней, — я обнаружил несколько страничек, графленных в клеточку, исписанных карандашом.

Господи, как живучи и нетленны эти бесхитростные тетрадные листки, исчерканные ломким грифелем, — в отличие, скажем, от почтенных книжных страниц с россыпью четких шрифтов, виньеток и буквиц, столь явно рассчитанных на вечную жизнь, на неубывающее внимание читающей публики и вовсе не готовых к тому, что по прошествии очень недолгого времени в них никто и не захочет вникнуть!..

Но это, может быть, и справедливо.

Я и раньше видел это письмо, даже пробегал его глазами, но, не найдя в нем ничего существенного, совал обратно в пачку, перевязанную тесьмой.

Причина проста: тогда я еще не писал этой книги и даже не задумывался о ней.

Теперь же старое письмо приковало к себе мой взгляд и мою душу.

Оно тоже не было снабжено датой — ну, какой может быть год, какой месяц, какой день, когда речь идет о любви! — зато обозначено, что после пяти утра…

Вероятно, его следует датировать промежутком времени между 1 мая 1926 года, когда мой отец прибыл в Россию на пароходе «Иония», и 23 ноября того же года, когда мои отец и мать стали мужем и женой.

Он с нею еще на «вы»: «…Но Вы ушли», «…не думал Вас обидеть». В любовном письме он называет ее по имени-отчеству: «Лидия Андреевна…», но иногда прибегает и к уменьшительному: «Лидишок».

Он не чурается исповеди: есть строки о былом. Впрочем,

пусть заговорит само письмо, я привожу его без изъятий.

Мне трудно было говорить, но, думаю, еще труднее будет написать… Думал я по этому поводу очень много — да и было ведь времени достаточно: как всегда — не спал с 5 часов. Думал-ждал, что Вы заглянете и одним взглядом рассеете всё. Но Вы ушли — умышленно избегая меня.

Не люблю писать замысловатыми фразами — но должен сказать, что особенно сегодня — сердце обливается кровью, ибо вижу, что если не сумею убедить Вас в том, что и не думал Вас обидеть, — то не смогу в дальнейшем быть на Ваших глазах и чувствовать, что причиняю Вам неприятность.

Сейчас, как и тогда, при том злополучном разговоре — думаю прежде всего о Вашем спокойствии и благополучии. Вы это знаете, но думаю, что повторить можно — особенно осознав, как Вас люблю и, поверьте, что лишиться Вас для меня было бы сейчас большим ударом, чем лишиться даже Маки, которую я, знаете, очень люблю; чем сесть в тюрьму, — одним словом с болью и кровью вырвать собственное сердце.

Я Вам уже рассказывал, что после очень уж большого промежутка времени — это было еще в дни моей юности, я тогда любил и был обманут — это первое большое чувство, которое… и которое так глупо и безрассудно комкается.

Лидия Андреевна — природа отличила человека от низших животных, дав ему великую возможность любить, уважать и быть благодарным. Вы знаете, что во мне эти чувства по отношению к Вам так скрепились, так укоренились, я видел очень часто по отношению к себе столько хорошего, незабываемого, что в заключение быть перед Вами виновным, всегда чувствовать, что причинил Вам неприятность — было бы для меня таким горем, которое не только коверкает, но навсегда ломает человеческую жизнь.

Клянусь Вам, Лидишок, что по отношению к Вам чувствую только хорошее, и если даже сказанное мною может быть истолковано как дурное — поверьте, что от души-то моей идет к Вам только светлое, хорошее.

Умоляю Вас, продумайте хорошо всё мною здесь сказанное ~ умея любить, умейте прощать.

Я же был бы несказанно счастлив, если бы наша более чем дружба, ничем не омрачилась и моя мечта — увидеть Вас своей супругой, стала реальной. Говорю — то, что чувствую.

Пусть же записка останется для Вас векселем того неоплатного долга и благодарности, который я чувствую за собой по отношению к Вам.

Ваш Е. Рекемчук.

Стилевые небрежности письма вполне объяснимы любовной лихорадкой и тем ранним часом, когда набрасывался текст, — еще раз повторю: пять утра.

Но я не мог не проникнуться изумлением, читая эти эмоциональные периоды, раздерганные на запятых, на черточках тире, — я уловил в них что-то очень знакомое, а что — не возьму в толк…

Однако были в письме и отдельные частности, которые требовали осмысления.

Прежде всего — неосторожная, в запале брошенная фраза: «… *лишиться Вас для меня было бы сейчас большим ударом, чем лишиться даже Маки, которую я, знаете, очень люблю; чем сесть в тюрьму*…».

Сперва насчет тюрьмы. Что это — оговорка? Предчувствие? Глас судьбы?

Или письмо было написано несколько позднее, когда он уже нюхнул тюремной баланды, и та, которой адресовано письмо, знала, о чем речь?.. Вряд ли. Тогда бы он был поосторожней в выражениях.

А кто такая *Мака*?

Полагаю, что то давнее прочтение письма и отпугнуло меня присутствием в тексте кодовых обозначений, расшифровать которые тогда я не имел надежды. А теперь?

Очередной звонок в Лондон и был такой попыткой.

— Тамара, какое прозвище было у вас в детстве?

— Жук.

— Это я знаю. Но в отцовском письме я встретил упоминание о какой-то Маке. Что за Мака?

Даже не видя ее лица, я ощутил на расстоянии, что она расцветает румянцем, как на фотографии той трехлетней тугощекой и кудрявой девочки из Бессарабии.

— Это я! Мака, Макишка. Я так произносила в детстве свое имя: Тамарка — Мака… Ему нравилось.

Понятно. А я в столь же беззубом возрасте произносил свое

имя Шурик как Тюрик. И ему это тоже нравилось. И я до самой школы жил Тюриком.

Еще подмывало спросить сестру, а что имелось в виду, когда он в своем письме обронил, не вдаваясь в подробности: «…это было еще в дни юности, я тогда любил и был обманут…» Кто обманул его? Кто исхитрился? Кто посмел?

Но я почему-то не рискнул задать этот вопрос своей лондонской собеседнице, учащенное дыхание которой слышалось в трубке.

Что она могла знать об этом?..

Впрочем, довольно лирики. Ведь не для того же он плыл через семь морей, из Франции в Россию, чтобы здесь волочиться за белокурыми барышнями, сочинять любовные послания, выворачиваться наизнанку в исповедях.

Не для того.

И вообще, он не был бабником, я утверждаю это.

Бабники везучие, а ему не везло.

Спустя месяц по прибытии в Харьков, он получил заграничный паспорт, куда была вписана фамилия: Киреев. С этим паспортом он должен был через Варшаву добраться до Праги (опять — Прага!), а оттуда проникнуть в Румынию.

Для него разработали соответственную легенду, которую он затвердил назубок.

Но кроме советского загранпаспорта, у него был на руках и настоящий румынский паспорт с его подлинной фамилией Рекемчук. Вот с ним-то он и должен был осесть в Румынии, занявшись для вида каким-нибудь непыльным делом, и в качестве разведчика снабжать Центр политической и экономической информацией.

Он был похвально осторожен. И прежде, чем соваться в Румынию, попробовал разобраться в тамошней обстановке еще в Праге. Для этого пришлось чуть-чуть засветиться в кругу бессарабского землячества, обосновавшегося в столице Чехословакии.

Заранее припасенные адреса. Звонки по телефонной книжке. Условленные и случайные встречи. Прямые и окольные разговоры.

Результаты обескураживали.

Давние знакомцы смотрели на него выпученными глазами, не пряча изумления и испуга, как на выходца с того света.

Несколько позже он так изложит эту ситуацию, отчитываясь перед начальством:

«*…В Праге встретился с несколькими студентами*

бессарабцами, недавно прибывшими из Аккермана. Мои знакомые были поражены, увидев меня в Праге, т. к. по имеющимся в Аккермане точным данным, все знают, что после работы в „Парижском Вестнике“, я выехал в СССР. Кроме этого мне было сказано, что знавшие меня румыны ругают меня за работу против Румынии и поездку в СССР…»

К этому следовало добавить, что там, в Аккермане, наверняка еще помнили крамольную статью о Татарбунарском восстании, которую он опубликовал в местной газете. Что был еще свеж ордер на его арест, выписанный полицией по команде из Бухареста. Что возбужденный против него судебный иск не исчерпал срока давности. Что вездесущая Сигуранца тщательно изучила обстоятельства его побега из страны. Что его дальнейшая жизнь в Париже была тоже взята на заметку, и в ней Сигуранцу интересовало не то, как он мыл шваброй вагоны в депо, а то, как он печатал свои статейки в большевистской газете-

То есть, теперь его появление в Аккермане либо в каком-нибудь другом румынском городе означало бы ни что иное, как явку *с повинной.*

Вообще, хитрый план, разработанный в Харькове либо даже в Москве, имел серьезный изъян: он не учитывал *личности* человека, которого отправляли за кордон с секретным заданием. Сама личность была чересчур узнаваемой для тихой шпионской работы. Тем паче — в захолустье, где все знают друг друга, где знают всё друг о друге.

Он понял, что идти *туда* нельзя.

Но нельзя было вернуться и туда, откуда его послали, не выполнив задания, с пустыми руками. Ведь в его послужном списке уже был такой грех, случившийся, кстати, здесь же, в Праге, когда он не выполнил данного ему поручения…

> «… При таком положении, — *объяснял он в своем отчете,* — я считал, что моя поездка в Бессарабию бесцельна, — я не смог бы не только работать, но с места попал бы за решетку. Решив не ехать в Бессарабию, но всё же желая хоть что-то сделать в этом направлении, я склонил к работе для нас студента-бессарабца, моего приятеля по газете, Маркуса Шмеркеса, который, будучи „чистым“, мог ехать в Бессарабию. Условившись со Шмеркесом о технической стороне работы и снабдив его 50 долларами из имевшихся у меня денег, я его отправил в Аккерман…»

Вот тут он допустил просчет, который мог обойтись ему дороже, нежели возвращение с пустыми руками.

Он не имел права на вербовку случайного человека, даже если и доверял ему лично.

Вербовка бедного студента, готового пуститься в любую авантюру при виде полусотенной зеленой бумажки, имела еще и тот изъян, что там, на месте, в Аккермане, кто-нибудь мог предложить ему еще полета тех же зеленых, и он опять не устоял бы перед соблазном…

Да так оно, похоже, и случилось, когда бедный Шмеркес достиг Аккермана и прямехонько угодил в Сигуранцу. Еле выпутался. Но какой ценой?

Допущенная ошибка оказалась не единственной.

Уже засветившись среди своих земляков в Праге, он предположил, что обратный путь через Варшаву — где тоже требовались визы, где пришлось бы предъявлять шпионский паспорт на чужую фамилию, где вообще с особой строгостью относились к людям, следующим из России и в Россию, — что там могут возникнуть недоразумения роковые.

Не забудем, что он был еще новичком в хладнокровной шпионской профессии.

Его осенила блестящая идея: вернуться восвояси через Париж, где его прекрасно знали в советском консульстве, где все проблемы с получением виз отпадали. А там — безопасное и приятное повторение уже знакомого вояжа, путешествие на пароходе Марсель-Новороссийск, скажем, на той же «Ионии».

Этот план таил в себе еще и то очевидное преимущество, что оставлял возможность — помимо советского консульства, — заглянуть в Клиши, свидеться там с обожаемой дочерью Макой, которая теперь учится в балетной школе, поговорить о ее успехах с Анной…

Он поехал в Париж.

Париж всегда Париж

В тот день, 26 ноября 1985 года, в Москве разразился небывалый снегопад.

Я еле добрался до Шереметьева, а там узнал, что все прилеты и вылеты отменены. Но мне повезло: у меня оказался билет на транзитный рейс Токио-Москва-Париж. В самолете было полным-полно японцев, одни летели по делам, другие развлекаться. «Аэрофлот» решил держать марку. Какая-то ревучая машина сдула с крыльев пласты снега, мы разбежались и взлетели…

А через три с половиной часа приземлились в Руасси.

Уже сгущались сумерки. В лобовом стекле автомобиля, в свете фонарей Больших Бульваров я увидел зеленые листья деревьев, кудрявые шпалеры кустов, клочки газона — это поражало взгляд после белой замети московских улиц.

И я перестал тужить по поводу того, что угодил с этой поездкой в самый несезон.

Крылатая фраза «Париж — всегда Париж» имеет, вероятно, и тот смысл, что он хорош в любое время года.

Утром отправился на бульвар Ланн, в новое здание советского посольства.

Со мной беседовал секретарь посольства Александр Николаевич Аристов. Добро пожаловать, с чем приехали?

Чтоб не разводить турусы на колесах, я показал ему то, с чем приехал. Фотоснимок, запечатлевший павильон Советского Союза на Всемирной выставке в Париже 1937 года, с мухинской статуей «Рабочий и колхозница» на головной башне, а напротив — как в поединке — глыба павильона нацистской Германии, Третьего Рейха, с орлом и свастикой на верхотуре.

Не такой уж редкостью был этот снимок, но секретарь посольства видел его впервые и, кажется, был поражен.

— Это где же? А-а, Трокадеро, ну да, вон там, за мостом, Эйфелева башня… Неужели они вот так и стояли? Просто не верится… какое-то пророчество… — бормотал он. — Вы посидите, пожалуйста, здесь, а я сбегаю — покажу начальству… Надо же!

Начальство тоже заинтересовалось привезенной фотографией.

Причина моего появления в Париже была сочтена уважительной.

И, в порядке исключения (везенье продолжалось!), мне предложили перебраться из гостиницы «Режин де Пасси», где я остановился, в апартаменты посольского двора на бульваре Ланн.

Мы договорились с Аристовым, что вечером погуляем вместе по городу.

Но позже он позвонил и сказал:

— Совсем забыл, ведь сегодня футбол, играют «Спартак» и «Нант», кубок УЕФА, одна восьмая финала. Вы не болельщик?.. Они играют в Тбилиси. Но у нас тут параболическая антенна, она берет Москву в дециметровом диапазоне, а там прямая трансляция… Погуляем завтра, ладно? Ну, счастливо!

Я поудобней устроился в кресле, включил телевизор.

От обоев и портьер моего жилища, от мебели гостиной, от казенных кастрюль на кухонной полке веяло чем-то очень свойским. А тут еще советский телевизор «Радуга», бестолковая беготня футболистов по полю стадиона, гортанные возгласы спортивного комментатора Котэ Махарадзе… Я почувствовал себя, как дома.

И вдруг, словно током, пронзила мысль, что я мог бы посмотреть эту игру и в Москве, по тому же телеку. Что для этого незачем было лететь в пургу за три тысячи километров, минуя границы и часовые пояса. Что я, черт возьми, уже в Париже, где каждый день на счету, каждый час драгоценен. А я сижу, как последний болван, в этом кресле, уставясь в экран!

Вскочил, надел куртку, нахлобучил шапку — и за ворота.

Я уже бывал в Париже, так что мог обойтись без поводыря.

Коротенькой, как жизнь артиста, улицей Жерара Филипа вышел к Булонскому лесу.

Даже в вечерней волглой мгле кроны вековых дубов полыхали разноцветьем. Аллеи и лужайки шелестели палой листвой. Пряди тумана вились в траве.

Лес был полон движения. По тропинкам сновали жизнерадостные любители трусцы. Щеголи-наездники в сапожках, серых панталонах, черных жокейках, с хлыстиками, неслись по аллеям — но не на лошадях, а на велосипедах.

У обочины шоссе стояли проститутки в узорчатых колготках и распахнутых коротких шубках — красивые, продрогшие, злые, — машины проносились мимо, не сбрасывая скорости.

От метро «Порт Дофин» я взял вправо, к площади Виктора Гюго с ее бесчисленными углами и вышел к Триумфальной арке, как всегда освещенной сильными прожекторами.

А дальше — всеми своими проезжими руслами и пешеходными рукавами, всплесками неона и криптона, круговертью рекламы, набегающими желтыми волнами подфарников и убегающими красными волнами тормозных огней — текли Елисейские поля.

Насытясь светом и шумом, я свернул к садам Тюильри, к набережным, пошел в обратную сторону.

Несмотря на зимнюю пору, фонтаны Трокадеро выбрасывали столбы и косые струи воды, окропляя всё вокруг ледяными брызгами.

Возле них было пустынно. Не то, что в иные сезоны, когда здесь тесно от туристов, от целующихся парочек, от детворы.

Вдоль набережных тянулись ряды платанов. Их нагие стволы в шелухе воображаемой коры — как торсы античных статуй — вызывали чувство озноба. Но это ощущение смягчалось зеленью листьев, крупных, в ладонь, висящих на ветвях как ни в чем не бывало, будто эти листья задались целью вот так и выдюжить всю зиму напролет, до появления весенней юной смены.

Сейчас, подойдя к этим платанам, я невольно ощутил себя человеком, которому поручено именно здесь, на набережной Сены, в виду сияющей огнями Эйфелевой башни, начать всё с самого начала, с самого первого камня, с фундамента, *с нуля*, как говорят строители — ну, если не возвести заново павильон Советского Союза с «Рабочим и колхозницей» на головном пилоне, то хотя бы воскресить обстоятельства его сооружения, дни и часы творенья…

Разве не за этим я приехал в Париж тогда, глубокой осенью восемьдесят пятого?

А с чего я, вообще, вдруг завелся этим?

Впервые я увидел это чудо, когда был еще маленьким мальчиком.

В марте 1937 года на странице «Комсомольской правды» был помещен фотоснимок, изображавший статую «Рабочий и колхозница» на заводском дворе, в окружении башенных кранов.

Летящий по ветру стальной шарф, волосы парня и волосы девушки, тоже относимые ветром вспять. Железные мышцы обнаженной мужской груди и округлые женские груди, прикрытые лифом нержавеющего сарафана, вскинутые руки с серпом и молотом.

Потом эту статую повезли в Париж и водрузили там на башню павильона СССР на Всемирной выставке.

Она замелькала бессчетно на глянцевых обложках журналов, на почтовых открытках, на календарях. Засияла на полотне экранов — «Светлый путь», «Свинарка и пастух»…

Впервые я увидел ее не на картине, не на экране, а воочию — в натуре — в сорок четвертом году, когда еще шла война, и я приехал в Москву курсантом артиллерийской спецшколы, в погонах и буденовке, такое вот пикантное сочетание.

Первые увольнения в город: Кремль, Большой театр, Третьяковка, Крымский мост, скульптурная группа «Рабочий и колхозница»…

Все тогда ходили в военном, и статуя тоже облачилась в камуфляж: ее укрыли маскировочной сетью в зеленых и бурых лоскутах, будто листья. А рядом стояли зенитки. Ее, в числе других святынь, берегли от удара с воздуха…

После Литературного института работал журналистом «Огонька», «Смены», «Московского комсомольца». Ездил, куда укажут, писал, что велено.

Однажды послали в Дом Союзов, где шла Всесоюзная конференция сторонников мира, с заданием — взять интервью у знатной трактористки Прасковьи Ангелиной. На самом пороге Колонного зала, впопыхах, чуть не сшиб с ног пожилую женщину в строгом синем костюме. Пригляделся — ахнул: скульптор Вера Мухина, та самая, что изваяла «Рабочего и колхозницу». Мне бы воспользоваться случаем: «Здравствуйте, Вера Игнатьевна! Пожалуйста — несколько слов для газеты…» — и раскрыть блокнот. А я, растерянный, лишь шаркнул ножкой, извинился и побежал дальше — искать Пашу Ангелину…

Потом, через много лет, писательская работа, киношные увлечения привели меня на «Мосфильм». И здесь практически всё начиналось с этой статуи — она была *эмблемой киностудии*.

Как-то раз мастера комбинированных съемок зазвали в директорский зал, пообещав сюрприз: они, по своей инициативе, решили обновить студийную эмблему.

Свет погас, и на экране появилась Спасская башня с зубчатой кромкой кремлевской стены.

Мощно развернулись на постаменте знакомые фигуры рабочего в комбинезоне и колхозницы с отлетающим по ветру шарфом. Высветились прозрачные буквы — МОСФИЛЬМ… Что же тут нового?

Ах, вот оно что: новые фоны! Победный фейерверк салюта. Пролетающий по орбите космический спутник. Играющие сполохи полярного сияния… Всё очень актуально и пестро, до ряби в глазах.

Не скрою, что в этот момент я вздохнул с облегчением.

Фоны. Всего лишь фоны. Слава богу!

Поблагодарив мастеров комбинированных съемок за их труды и вдохновение, я сказал: пусть всё останется как было.

Как есть до сих пор.

Но именно тогда пронзила мысль: а что, если б статуи и вовсе не было?

Я испытал то холодящее душу ощущение, которое хотя бы раз

в жизни посещает человека: понимание того, что он мог бы и вовсе не родиться на свет, что мир обошелся бы и без него — и был бы, всё равно, прекрасен.

Но само это ощущение уже является актом творчества.

Помню, что именно тогда меня и осенило: а ведь можно сделать фильм и о самой этой статуе!

Про то, как четверо ваятелей — Андреев, Шадр, Манизер, Мухина — выполняя поручение правительства, втайне друг от друга, лепили из глины модель «Рабочего и колхозницы», каждый на свой лад; как Вера Мухина, которой меньше всех хотелось браться за эту работу, победила в конкурсе; как ей пришлось лазать с молотком по стальным конструкциям в заводском цеху; про то, как однажды, среди ночи, на завод приехал Сталин и двадцать минут, молча, рассматривал изваяние в лучах прожекторов; как расчлененную статую везли в Париж на железнодорожных платформах через всю Европу, и где-то в Польше сказали, что она не пройдет в туннель, и блоки из нержавеющей стали пришлось опять резать автогеном…

Я зарылся в архивы. Дни напролет проводил в заводских цехах. Искал и находил людей, сотворивших своими руками это чудо. Тревожил память тех, кто рад был забыть прошлое. Извел тонну бумаги, бочку чернил…

А ведь когда-то, вспомнил я, парижане умоляли не увозить статую обратно в Москву, оставить ее навсегда в Париже, в Трокадеро, на берегу Сены, напротив Эйфелевой башни.

Но тогда от этих просьб отмахнулись: самим надо.

Погрузили на платформы и ту-ту.

Остались платаны. Те самые, что были? Или уже другие?

Возвращался домой по затихшим, спящим улочкам Пасси.

В свете фонарей моя собственная тень то забегала вперед, то пряталась за спину, то возникала справа, то уходила влево.

Я понял, что меня преследуют.

Меня преследовали тени былого.

Ведь этот город, куда всякий раз я приезжал новичком, ротозеем, то и дело оглядывающимся и потрясенным, — он, этот город, издавна был для меня отмечен *степенью родства*.

Здесь жил мой отец. Отсюда он уезжал в свои таинственные вояжи, сюда же возвращался. Под крышами Парижа (под какими? тогда я еще не знал ни одного адреса) был очаг его беглой семьи. Где-то здесь (а где?) была редакция газеты, в которой он работал. Где-то поблизости (но где именно?) была школа, в которой училась его дочь, а моя сестра — Тамара… Что сталось с нею?

Вопрос о *степени родства* возникал и раньше.

Когда меня исключали из партии — в Сыктывкаре, в пятидесятом, за расстрелянного отца, — тогда же, попутно, был поставлен ребром вопрос о моих тетках, о сестрах матери, Анне и Ольге: почему не указывал в анкетах своих близких родственников? Скрывал от партии белогвардейские корни?.. Даже тогда, даже в Сыктывкаре, нашлись здравомыслящие люди, которые пытались вразумить коллег: ну, зачем же ему было писать о тетках, которых он никогда в жизни не видел? зачем ему еще и их грузить себе на горб? и, вообще, вопрос: являются ли тетки близкими родственниками?

За это уже на здравомыслящих накидывались в ярости: родные тетки — и не являются?! К тому же, если б с этими тетками всё было в порядке, а то — покинули родину с белой армией, с Врангелем!..

Короче говоря, теток мне тоже *записали*.

Я был напуган так, что и в менее свирепые времена, после Сталина, даже не помышлял сноситься с ними.

Тем более, что моя мама попрежнему состояла в переписке со своей самой старшей и самой мудрой сестрой, с Ольгой. Получала письма, фотографии из Ниццы, из Лиможа, где они теперь жили, иногда из Парижа, куда наведывались по доброму обычаю провинциалов.

Но очередное письмо *оттуда* уже не застало маму в живых.

И, кроме меня, отвечать на него было некому.

Я написал в Лимож. Про то, как она умирала, о ее последней улыбке, подаренной мне. О том, сколь жестоко обошлась с нею жизнь. И о том, как даже в самые ликие времена ей хватало отваги не порывать последних связей с родными людьми…

Ответ пришел на удивление быстро. Он был адресован уже мне лично.

Старшая из маминых сестер скорбела о ее кончине; намекала, что и ей скоро предстоит отправляться туда же, ведь как-никак восемьдесят с гаком; сообщала, что теперь живет в пансионе для престарелых; что совсем недавно умер сын Аси — Алеша Гавловский, художник, участник Сопротивления, потерявший руку в бою, и что жаль, что я так и не встретился с ним, ведь он — мой двоюродный брат; пеняла мне на то, что в письме называл ее по имени-отчеству, Ольгой Андреевной, вместо того, чтобы запросто называть тетей Лялей; что просит прислать мою новую книгу; а она, в свою очередь, припасла для меня кипу интереснейших семейных фотографий; и, под конец, давала понять, что после ухода моей мамы и после ее недалекого ухода, — что мне, именно мне, больше некому, предстоит остаться летописцем рода…

Я поспешил ответить.

Но, вероятно, опоздал. Писем из Лиможа больше не было.

Лишь сейчас вспомнил, что на одной из присланных маме парижских фотографий Ляля и Ася, две старушки, были запечатлены под сенью парка Монсо (на обороте фотоснимка было указано — Parc Monceau).

А где это — парк Монсо? Ах, да. Ведь это, кажется, на Рю Дарю, близ православного собора Александра Невского, куда я тоже хотел зайти на поклон, помолиться украдкой, поставить свечку…

Мои поездки в Париж как бы подразумевали, что помимо основной цели творческой командировки (статуи с серпом и молотом), я, на досуге, еще и пройдусь когдатошними маршрутами родных мне людей.

Разве трудно угадать эти маршруты? Кто, оказавшись тут, не придет к собору Парижской Богоматери? Не взберется на холмы Монмартра, к белоснежным стенам Сакре Кёр? Не найдет площадь Бастилии? Не выйдет к Трокадеро и не ахнет, узрев на другом берегу Сены ажурную стальную башню Эйфеля, воткнувшуюся в облака?..

Кстати, когда в марте проклятущего *тридцать седьмого* все газеты опубликовали снимки «Рабочего и колхозницы» на сборочной площадке Опытного завода с нависшими стрелами подъемных кранов — то есть, когда я впервые увидел это чудо в «Комсомольской правде», — тогда же и отец наверняка видел эти впечатляющие фотографии. Не мог не видеть. Ведь тогда он еще не предполагал ареста… Или уже угадывал свою судьбу?

Даже в мае 1937-го, когда торжественно открылась Всемирная выставка в Париже, и весь мир потрясся, увидев на берегу Сены лобовое противостояние двух павильонов — того, что с серпом и молотом, и того, что со свастикой, — даже тогда он был еще на свободе. И, может быть, мечтал, что вот сейчас ему прикажут ехать в Париж, и он поедет, и увидит всё своими глазами. И наверняка выкроит час для того, чтоб хотя бы украдкой, хотя бы издали еще раз посмотреть на свою дочь, на Тамару…

Опять мое время двоится, троится на разновидности *прошлого*, которое залегает пластами: одно прошлое под другим, еще более давним прошлым, как на срезе археологического раскопа.

Сверху дернина, еще кустящаяся бойкой травкой, дальше темный слой насыщенного перегноя, осыпь песка, невесть откуда наплывший глинозем, береговой галечник, мел…

Или, если угодно, прошлое прочитывается, как на торце

только что срубленного дерева: по годовым кольцам, молодым и свежим снаружи, постепенно темнеющим по мере приближения к сердцевине.

В своих мемуарах, опубликованных и рукописных, Тамара Финч со всей дотошностью воспроизводит обстановку балетной студии Ольги Преображенской.

Почтение к наставнице, любование ее грацией, очарованием, щедростью, благожелательностью, не заслоняет контрастов: иногда Ольга Осиповна выходила из себя, кричала на учениц, хватала стулья за спинки и с силой швыряла их об пол, однажды в сердцах разбила зеркало…

«Я каменела от этих вспышек ярости, — пишет Тамара, — и была счастлива тем, что они обращены не на меня».

Сведущие люди объясняли перепады настроения балерины ее сложными отношениями с компаньоном, тоже русским, владельцем «Уэкер-сутдии», где продавались концертные рояли.

Балетная школа занимала этаж над кафе «Wacker».

Там же нашли пристанище и другие артистические студии. Звуки рояля, скрипки, пения пронзали насквозь потолки и стены, множась эхом.

В кафе всегда было людно. Время от времени на доске объявлений вывешивали бумаженцию, к которой тотчас сбегался народ: назначалось прослушивание оперных голосов; иногда требовались актеры для театральной антрепризы в местах отдаленных; набирали танцоров на один-два спектакля, причем без оплаты проезда и гарантии заработка…

Особо ждали объявлений от Иды Рубинштейн, известной русской балерины, той самой, что изображена на полотне кисти Серова: библейская красавица, сидящая в томной позе… Ее проекты всегда были экстравагантны, неожиданны: то вдруг она вдохновлялась музыкой Равеля — его «Болеро», «Вальсом»; то отваживалась возродить «Клеопатру», «Саломею», где, естественно, сама была и Саломеей, и Клеопатрой; приглашала самых модных художников — того же Серова, Бакста.

Ида была богата, щедро платила всем, даже танцорам кордебалета. И они были рады подкормиться, приобрести одежду поприличней, даже брали дополнительные уроки, чтобы вернуть своему танцу блеск.

Но часто люди просиживали в кафе «Уэкер» дни напролет, с утра до вечера, за единственной грошовой чашечкой кофе.

Зарисовки искусства и быта артистической богемы той поры в воспоминаниях Тамары Финч подкупают достоверностью.

«…Мы, ученики Ольги Преображенской, участвовали в

благотворительных балах в пользу белой эмиграции, русских беженцев, — повествует она. — Эти зимние балы становились значительным событием года. Они широко рекламировались и потому привлекали состоятельных людей, делавших щедрые взносы…

Русская знать являлась в парадных мундирах с высшими знаками различия, орденами.

Конечно, всех впечатляло, когда ливрейный мажордом громовым голосом возвещал: „Граф и графиня такие-то!.. Его императорское высочество, Великий Князь!..“ После такого объявления, чета величественно снисходила по лестнице: он — в белом мундире с эполетами, в орденах, она же — в длинном светлом платье и белых перчатках выше локтя, с голубой лентой через плечо, к которой приколот державный орел, с диадемой на высокой прическе…

Мы выглядывали, спрятавшись за бархатным занавесом, стараясь получше рассмотреть лица дам и их кавалеров.

Мне показалось, что в одной из графинь я узнала кассиршу дешевого русского ресторана на площади Клиши…»

Далее Тамара подробно описывает само действо: непременный полонез из «Евгения Онегина» Чайковского, которым открывались балы еще в царских дворцах; вальсы, которые вели дети, а именно ученицы Ольги Преображенской, одетые в бледнозеленые туники с вырезами наподобие лепестков, чтобы были видны ноги.

К шапочкам юных балерин были пришиты цветы, они различались не только окраской, но и рангом: Тамара Туманова была *розой*, Ирина Баронова *маргариткой*, Нина Юшкевич *ландышем*, Енакиева — *васильком*. А вот Тамара Чинарова была всего лишь *травой*…

«На моей шапочке совсем не было цветов, — рассказывает она, — а только искусственная трава, которая более походила на сено».

Чья-то сердобольная мама выразила сочувствие: «Бедная жалкая засохшая травка! Бедный ребенок…»

Тамара очень расстроилась, даже всплакнула.

Но Прео, отведя ученицу в сторону, взбодрила ее поучением: «Ты должна работать, работать и работать! И когда ты добьешься таких же успехов, каких добились другие, ты тоже станешь *цветком*!»

Две упомянутые выше девочки вызывали у Тамары не зависть, а восхищение.

«…Хотя они были моими сверстницами, но далеко продвинулись в классе. Они были уже сильными, уверенными

танцовщицами. Я даже не могла для себя решить, которой из них отдать предпочтение. Движения темноволосой, с печальными глазами, Тумановой были полны магической внутренней силы. А Баронова, с ее косичками и вздернутым носиком, уже обладала столь чистой техникой, столь безупречным стилем, что каждый ее шаг казался простым и будто бы лишенным усилий…»

Не менее легендарной личностью, чем сама Тамара Туманова, была ее мать, которую звали, как теперь нам известно, Евгенией Дмитриевной.

Но все доставшиеся нам *легенды* о ней носят несколько буффонадный характер.

И воспоминания Тамары Финч «Мои годы в танце» не являются здесь исключением.

Она с очевидным удовольствием пересказывает эти легенды, подлинность которых засвидетельствована лично.

«… Если Тамара Туманова была среди нас самым многообещающим гением танца, настоящей звездой, то ее мама была некоронованной Королевой Мам», — утверждает она.

Королева Мам, переняв монархические повадки, даже в повседневности употребляла местоимение «Мы», когда речь заходила о ее дочери.

«Мы танцевали…», «Мы сказали…», «Сегодня Мы сделали шестьдесят четыре фуэте…»

Пуанты дочери она всегда носила подмышкой, охотно объясняя всем желающим слушать, почему необходима эта предосторожность. Однажды, когда Тамара танцевала в *Paris Opera*, ее туфли остались без присмотра в артистической уборной, и, перед ее выходом на сцену, обнаружилось, что кто-то вбил гвозди в их носки, чтобы она навсегда искалечила пальцы. Это сделали, конечно, движимые ревностью танцоры *Opera*… Были и другие истории, заставлявшие цепенеть души слушателей: про то, как у самых ног юной балерины вдруг распахивались крышки люков; про то, как взрывались лампочки софитов, забрасывая сцену осколками стекла; был даже сюжет с привидением…

«Но Мы преодолели всё это!» и «Мы ошеломили Париж».

Королева Мам охотно делилась с подопечными мамашами чисто практическими наставлениями: как стричь ногти на пальцах ног, особенно их уголки, дабы не причинить вреда; сколь вредоносны для маленьких балерин макароны и сколь полезна для них дешевая конина; насколько лучше после утомительных занятий пососать апельсин, нежели выпить глоток воды…

И то сказать: советы были верными.

Лишь однажды Ольге Осиповне Преображенской пришлось вмешаться и решительно пресечь доброхотные советы Королевы

Мам.

Это был тот случай, когда Евгения Дмитриевна, заметив, что признаки девичьего взросления обнаруживаются не только у ее дочери, посоветовала перетягивать груди всех этих дур полотенцами, желательно влажными, пусть так и ходят…

Прео категорически отвергла эту идею, заверив, что здесь можно обойтись обыкновенными бюстгальтерами.

Анекдоты о Королеве Мам становились достоянием всего Парижа, а подчас преодолевали его границы.

Одна из этих легенд прозвучала сравнительно недавно на российском телеэкране из уст известного историка искусства, художника-модельера Александра Васильева, знающего наизусть весь фольклор русской эмиграции.

Как-то на концерте в балетной студии Ольги Преображенской мама Тамары Тумановой уселась рядом с незнакомой дамой и, не сдержав чувств, подтолкнула ее в бок: «Тамарка-то лучше всех!» Дама кивнула, согласилась: «Неплохая девочка». Мамаша взглянула на нее строго: «Да вы хоть что-нибудь смыслите в балете? Вы сами-то танцуете?» Дама ответила: «Немножко».

Это была Анна Павлова.

В 1941 году на экраны мира, полыхающего огнем войны, вышел американский фильм «Мужчины в ее жизни» (*The men in her life*), который позднее появился и в советском прокате под названием «Балерина». Его сюжетной канвой, как утверждают, была сценическая и личная судьба Анны Павловой.

Главную роль в этой ленте сыграла Тамара Туманова.

Существует *легенда*, согласно которой Анна Павлова подарила Тамаре Тумановой драгоценную брошь, как бы утверждая ее своей наследницей в искусстве.

Впоследствии, освящая традицию, Тамара Туманова подарила эту брошь молодой балерине Нине Ананиашвили.

Скажу еще раз: тогда — в декабре восемьдесят пятого, в Париже, — мне и впрямь исключительно везло.

Материал сам шел в руки, я едва успевал делать записи в блокноте. Люди, о которых я думал, что их давно нет на свете, оказывались живы и здоровы, охотно соглашались на встречи, выговаривались сполна. Догадки подтверждались, сомнения развеивались, как дым…

Парижский корреспондент «Литературной газеты» Александр Сабов, охотно помогавший мне в моих поисках, однажды, когда мы с ним обедали в посольской столовке на бульваре Ланн, приметив мое возбуждение, спросил участливо:

— Что с вами?

Я объяснил:

— *Пруха.*

— Пруха… — повторил Сабов.

Он же свел меня со своими друзьями, журналистами, представлявшими в Париже различные издания, работавшими в международных организациях, а может быть и еще где.

Как-то собрались в доме, где жили Вячеслав Костиков и его жена Марина — оба журналисты, выпускники МГУ. Слава тогда был сотрудником советского представительства в ЮНЕСКО, на досуге пописывал романы, издавал их в Москве — свой брат, сочинитель.

Забегая вперед (а я всё время забегаю вперед и отбегаю назад, потому что лишь в этих пространственных ракурсах и лишь в этих временных ассоциациях вижу смысл своего повествования), — так вот, забегая вперед, скажу, что и здесь мне повезло: парижские знакомства продолжились в Москве, где я стал свидетелем внезапного рывка судьбы Вячеслава Костикова.

В 1992 году, будучи приглашен на презентацию его новой книги «Диссонанс Сирина», я обратил внимание на то, как шестерит пишущая братия перед новоиспеченным пресс-секретарем Президента России. К той поре я был тоже не абы кем, а издателем первой книги Бориса Ельцина «Исповедь на заданную тему». Год спустя, в самый канун октябрьского мятежа 1993 года, я наведался в кремлевский кабинет Славы Костикова, и он доверительно сообщил мне, что *грядут события*. Потом уже, после этих событий, где-то на Енисее, Борис Николаевич Ельцин, то ли в хмелю, то ли трезвый, но во гневе, — приказал сбросить своего пресс-секретаря с парохода современности, и холуи, выполняя приказ, кинули его в реку с третьей палубы. Он выплыл — выплыл уже послом России в Ватикане, где написал забойную книгу «Роман с президентом», за которую вновь был подвергнут опалам…

Но тогда, в Париже, не только я, даже сам Вячеслав Костиков еще не мог предположить всех этих взлетов и падений.

Кроме нас с Сабовым, в уютной квартире Костиковых на улице Вожирар были собственный корреспондент «Известий» в Париже Юрий Коваленко с женой, коллега хозяина по ЮНЕСКО Александр Покровский, тоже с женой, и еще стажер журнала «Искусство кино» по имени Николай, а фамилию его я забыл.

Мы пили московскую водку и молодое «божоле».

Александр Покровский, недавно побывавший в Японии, снимал нас только что купленной там видеокамерой, и цветное изображение со звуком тотчас появлялось на экране телевизора.

Даже в Париже это воспринималось, как чудо.

Помню, что мы тогда сошлись на том, что *японцы сошли с ума*.

Потом меня спросили, какими новыми анекдотами забавляется Москва.

Мне было легко удовлетворить это любопытство, поскольку трижды в неделю я плавал в бассейне «Чайка», на Остоженке, а там из воды торчали говорящие головы в резиновых шапочках, которые пересказывали друг дружке — голова голове, — только что появившиеся анекдоты, — и на гладкой воде эти байки были слышны на всех дорожках.

В основном они касались главных тем общественного интереса: горбачевских идей *ускорения и перестройки*.

— …в Черном море столкнулись два парохода: один перестраивался, а другой ускорялся… оба пошли ко дну.

— …В Киеве, на Бессарабке, бабуся заманивает покупателей: «А вот кому огурчики с Чернобыля! Огурчики с Чернобыля!» Бабку спрашивают: «Неужели покупают?» — «А як же! Хто для тещи, хто для зятя…»

(Впрочем, тут я загнул, опять забежал вперед: Чернобыль случится через полгода).

Еще про то, как немец Матиас Руст посадил самолет прямо на Красной площади.

(А когда он его посадил?)

Смеялись благодушно. Ведь тогда еще никто не мог осмыслить масштаба идущих событий — там, дома, в России.

Или смутные предчувствия уже томили души?

Кто-то поднял стакан, сказал задумчиво:

— Давайте выпьем за Париж! Ведь нам всем очень повезло, что мы живем и работаем в этом прекрасном городе…

И хотя лично мне выпало жить и работать в Париже всего лишь две недели, я охотно поддержал этот тост.

Слава Костиков и Марина повели меня показывать квартиру.

За окном одной из комнат — там, внизу, — в сумеречном свете уходящего дня, я увидел довольно странный двор: он был заставлен сплошь каменными надолбами, изъеденными дождями и временем, поросшими густыми зелеными мхами. На камнях просматривались надписи — то ли буквы старой латиницы, то ли латинские же цифры — издали не разберешь.

— Что это? — удивился я.

— Кладбище Вожирар, — объяснил Слава. — Здесь давно уже не хоронят. Но и не спешат стереть с лица земли. Всё-таки, древность…

Я вспомнил зеленый скверик в Харькове, близ Конной

площади, где в клумбе с левкоями похоронен мой дед.

И еще — опять стукнуло по мозгам: что я так и не знаю, где могила моего отца.

Лучше бы ему умереть в Париже.

У нас в руках были стаканы с вином и, словно бы догадавшись, какие мысли бродят в головах в виду погоста, мы выпили, не чокаясь.

— Послушайте, а вам действительно это интересно — «Рабочий и колхозница»? — спросил Костиков. — Или — государственный заказ?

— Есть и государственный заказ. Пишу сценарий для «Мосфильма», это будет эмблемная лента… — объяснил я. — Делаю и книгу. Кстати, она так и называется — «Государственный заказ». Понимаете, мне очень интересна эта тема… Да, она полна противоречий. На-днях я встречался с Даниэлем Эннкеном, старым рабочим, монтажником подводных работ, живым свидетелем успеха павильона СССР на Парижской выставке. Я расспрашивал его о впечатлениях от мухинской статуи, и вдруг он задал встречный вопрос: «А почему вас, интеллектуалов, всегда интересует только то, что *снаружи*? Вот нас, французских рабочих, гораздо больше привлекало то, что *внутри* павильона: бесплатное медицинское обслуживание в СССР… бесплатное образование… отсутствие безработицы…» Он даже показывал мне какую-то старую больничную квитанцию — во что обошлась операция грыжи… Он спросил: «Неужели в вашей стране настолько привыкли к своим правам, что перестали считать их благом?»

Слава Костиков кивнул:

— Да-да, они здесь часто говорят об этом.

— С другой стороны, — продолжил я, — случаются и неожиданности. Третьего дня мы с Сабовым были в гостях у профессора Луи Женевуа. Ему восемьдесят пять лет, он тоже бывал на выставке. Но когда я заговорил о лобовом противостоянии двух павильонов — Советского Союза и фашистской Германии, — он не согласился со мной: сказал, что это было не столько проявлением враждебности, сколько, наоборот, шагом навстречу друг другу… что и проявилось, по его мнению, спустя два года в подписании пакта между Сталиным и Гитлером… Каково?

— Да. И об этом слышишь часто, — подтвердил хозяин дома. — Но, вообще, я полагаю, что теперь у вас могут быть сложности и с фильмом, и с книгой. Тема — явно не ко времени! В воздухе витает нечто совсем иное…

Я промолчал, хотя подобные мысли тревожили и меня.

— Как бы то ни было, вам завтра предстоит посещение Архивов? Знаю, что у вас проблемы с языком, с переводом, а Сабов будет занят… — Костиков возложил руку на плечо жены. — Если хотите, Марина поможет вам. Она владеет французским. Сейчас не работает, скучает. Наверное, ей тоже будет интересно…

— Спасибо, — обрадовался я.

Даже теперь, когда многое объяснилось и, вроде бы, стало на место, я продолжаю пытать себя: но как могло случиться, что я столько лет вел свой поиск, идя по ложному следу?

Ведь я не выдумал, да и не мог выдумать этого имени: Тамара Туманова.

Мне самому никак не могла принадлежать эта версия, согласно которой темноволосую девочку с печальными глазами, изображенную на снимках в семейном бюваре — на одном с бантом и собакой, а на другом в балетном трико с глубоким вырезом, — что ее зовут Тамарой Тумановой.

Больше того, с самого начала, с незапамятных пор я знал обе фамилии: девочка — Тамара Туманова, а вот та густобровая дама с очевидной примесью южных кровей, ее мать — Анна Чинарова, даже отчество знал наизусть: Христофоровна…

Откуда же взялась эта версия, будто девочка — Туманова?

Вообще-то, с моей мамой случалось, что она путала имена, отчества, фамилии. Случалось даже в бодрых ее летах.

В нашем роду очень долго, со смехом, обсуждался казус, когда в застольном разговоре упомянули какую-то барышню, а моя мама отозвалась вопросом: «Это та, у которой дедушка был негр?..» Но никаким негром там и не пахло, даже близко не лежало. Так откуда же взялся вопрос?

Однако *выдумать* Туманову она тоже не могла.

И ни в каких Парижах на своем горестном веку она, увы, так и не побывала.

Значит, *услышать* могла только от мужа, от Рекемчука.

Допускаю, что он, возвращаясь из своих тайных поездок, не раз и не два в разговорах с нею или в беседах с гостями упоминал, называл это имя, набиравшее в ту пору *легендарную* известность.

Может быть, ему доставляло удовольствие произносить это имя — Тамара, — столь счастливо совпадавшее с именем дочери?

И еще он мог знать — как не знать? хотя бы из последних встреч с нею, щебетуньей, уже обучавшейся в балетной школе, — что вот есть у нее одноклассница и подруга, имя которой у всех на устах.

А какое же это имя? Тамара, тоже Тамара. Тамара Туманова.

Читатель наверняка заметил, что я, уделив столь много места легендам и басням о матери Тамары Тумановой, совсем обошел вниманием ее отца.

Но, право же, это невнимание проявлено не только мною.

Отца Тамары звали Владимир Хасидович. Он был русским офицером, попавшим в парижскую эмиграцию путем окольным — через Сибирь, через Китай. На этом страдном пути бегства и произошло событие: то ли в Тюмени, то ли в Харбине, то ли в Шанхае; то ли в вагоне поезда, то ли прямо на вокзале, — родилась девочка по имени Тамара, ставшая впоследствии знаменитой балериной.

В Париже Владимир работал, как и многие русские эмигранты, шофером такси. Иногда бесплатно подвозил домой девчушек из студии Прео.

Вероятно, Королева Мам сочла не очень подходящей для балета, для сцены фамилию мужа и предпочла снабдить дочь — слегка переиначив — своей девичьей фамилией Туманишвили, тянущейся к легендарным Багратидам.

Когда же юная Тамара вместе с матерью отправилась завоевывать Америку, отец остался в Париже, и там его след затерялся.

Казалось бы, сюжет с нею, с Тамарой Тумановой, длившийся столь долго и оказавшийся в итоге тупиковым, должен был завершиться уморительной сценой в студии Ольги Преображенской, где Королева Мам спрашивает Анну Павлову: «А вы что-нибудь смыслите в балете?»

Но нет, повременим расставаться.

Останемся столь же верны своему восхищению красивой и талантливой девочкой, как навсегда сохранила свое преклонение и детскую влюбленность ее ровесница и подруга по балетной школе Тамара Чинарова, доподлинная моя сестра.

Собираясь в отъезд с туманных берегов Альбиона к другим, более теплым берегам, а именно в Испанию, в Марбелью, разбирая бумаги, накопленные за долгие годы, она пересылала мне в Москву целые вороха своих статей о Тамаре Тумановой, опубликованных в различных журналах, кипы фотографий, запечатлевших ее в танце и в жизни.

А в своих воспоминаниях свидетельствует: «…Как беби-балерина она вызвала сенсацию в Париже, когда в восьмилетнем возрасте дебютировала в *Paris Opera*… Весь Париж сходил по ней с ума!»

Мое нежелание расставаться с обворожительной героиней

продиктовано еще и тем, что, как мог я убедиться не раз, она — столь загадочная, исполненная мистики и в своем облике, и в характере, и в судьбе, — оказалась талисманом, способным, даже после своего ухода из жизни, соединять разорванные нити, счастливо сводить концы с концами, делать их вновь началом начал.

Совсем недавно, пробегая взглядом страницы вышедшей в России книги известного художника Юрия Анненкова «Одевая кинозвезд», когда-то рисовавшего с натуры Ленина и Троцкого, а позже ушедшего в эмиграцию, — я натолкнулся на строки, весьма заинтересовавшие меня.

«… *У этих же моих друзей я часто встречал девочку двенадцати лет, маленькую робкую кавказку со смуглым цветом лица и огромными, черными, как ночь, глазами. Я даже вальсировал с ней (в этой семье очень любили детей и танцы). Сегодня это одна из блестящих классических танцовщиц мировой сцены — Тамара Туманова*».

Обрадованный, я поспешил заглянуть в именной указатель книги — вдруг там окажутся и другие знакомые имена? — и тотчас, под той же буквой Т, прочел: «Тёмкин (Tiomkin) Дмитрий Зиновьевич».

Ба, сколько лет, сколько зим!..

Сразу вспомнился заокеанный гость, известный композитор, мой деловой собеседник на «Мосфильме», с которым, впрочем, мы встречались и в более непринужденной обстановке.

Вспомнилось и другое: как я, готовя к публикации свою недавнюю повесть «Кавалеры меняют дам», терзался тем, что не могу дополнить его словесный портрет подлинным изображением — увы, искал, искал, перерыл библиотечные полки, музейные папки, но так ничего и не нашел.

А тут, в книге «Одевая кинозвезд», сразу же обнаружил карандашный портрет, выполненный самим Анненковым.

Здесь он запечатлен, вероятно, в конце двадцатых или начале тридцатых годов. Глубокие залысины компенсируются щегольскими бачками вполщеки. Слегка потупленные глаза человека, желающего видеть себя красавцем, но, вместе с тем, сознающего, что это далеко не так. Манишка, воротничок с заломленными концами, белый галстук-бабочка. Но, вместо фрака либо смокинга, почему-то домашняя куртка с пестрым шалевым воротником — может быть, специально для того, чтобы позировать художнику, смягчить образ?..

А тогда, на «Мосфильм», я помню, он явился — уже старенький, облезлый, будто траченый молью, — в пальто на старорежимной яркокрасной генеральской подкладке.

Его внешности я уделил достаточное место в одной из предыдущих глав этой книги.

Но там же случилась оговорка, которую я вполне мог бы исправить сейчас, по ходу обычной писательской работы над текстом — там убрал, а тут вставил, — но я не стану этого делать, поскольку сам процесс рождения книги, как представляется мне, тоже способен нести сюжетную функцию, запечатлевая путь — от незнания к знанию, от заблуждения к истине.

Там, в главе «Сестра», я записал торопливо: «…Причин и обстоятельств, заставивших его покинуть родные берега, я не выяснял. Но тут, вероятно, ситуация была типовая».

Отнюдь: она была совершенно исключительной.

Вернусь к фактам его биографии.

Он родился в украинском городе Кременчуге, что на Полтавщине. Некоторые источники называют годом его рождения 1899-й, другие же настаивают на том, что он был старше, родился в девяносто четвертом.

Учился музыке в Петербургской консерватории не у кого-нибудь, а у самого Александра Константиновича Глазунова, притом, как утверждают, был его любимым учеником. Впрочем, любимый ученик не был верен своему учителю: уехал в Берлин, где какое-то время учился у профессора Бузони, заслужившего у современников шутливое прозвище «чемпион по Баху»…

Октябрьская революция застала Тёмкина снова в Питере. Там было голодно и холодно, пришлось добывать хлеб насущный тапёром на сеансах немого синематографа. Он играл кекуоки и танго собственного сочинения, иногда вплетая в них фольклорные мотивы того залихватского времени: «Где эта улица, где этот дом?..» (гораздо позже эта песня зазвучит в фильме «Юность Максима» и сделается всенародным шлягером), «Чекист малахольный зароет мое тело…» (еще поздней эта одесская попевка войдет в его шутливую увертюру, которую до сих пор играют на нашем радио).

Но за этим последовали события поистине эпохальные и грандиозные, о которых, вероятно из скромности, мне никогда не рассказывал Дмитрий Зиновьевич Тёмкин, даже когда мы сиживали с ним за бутылкой водки…

Их было трое — художник Юрий Анненков, режиссер и драматург Николай Евреинов, пианист и композитор Дмитрий Тёмкин — три артиста, три веселых друга.

Все они, как мы сейчас убедимся, с пылом молодых лет восприняли романтический пафос революции.

Заручившись поддержкой большевистского вождя Григория

Зиновьева (того самого, что вместе с Лениным обживал знаменитый шалаш в Разливе, а позже стал председателем Петросовета и возглавил III-й Интернационал), они выдвинули небывалый по размаху и дерзости проект: устроить 1-го мая 1920 года на Дворцовой площади (тогда она носила имя товарища Урицкого) массовое действо, изображающее Штурм Зимнего.

Я рад бы изложить этот проект своими словами.

Но язык мой немеет в робости перед силой и красноречием подлинного документа.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Главнокомандующему
Петроградского военного округа

Товарищ…

В исполнение директивы Президиума Петросовета, Чрезвычайная Тройка, которой поручено организовать в Петрограде празднование 1-го Мая, в день открытия 2-го Конгресса III Интернационала, настоящим просит вас предоставить в распоряжение Начальника Главного штаба Тройки под его личную ответственность 1200 человек (приблизительно) разных родов войск Красной Армии (список прилагается) в полном походном обмундировании, вместе с краскомами и частями артиллерии, а также три аэроплана, два эскадренных миноносца, восемь броневиков и пушки Петропавловской крепости (для производства залпов). Актеры и реквизит будут нужны в день 1-го мая (с 5 час. утра до полуночи) и в дни репетиций, количество которых предполагается следующее: десять для людей и броневиков и максимум три — для кораблей, аэропланов и крепостных пушек.

Сектор снабжения, созданный Главным штабом Чрезвычайной Тройки, обязан поставить людям средства питания усиленной дневной нормы: хлеб — 1/8 фунта, махорка — 1/15 фунта, а также горячая вода по желанию; дополнительно в день 1 мая: 1/4 фунта пшена и 1/2 фунта овса.

Кроме того, прошу вас пронаблюдать за тем, чтобы указанный личный состав для этого мероприятия был один и тот же на всех репетициях, чтобы не возникло путаницы в ходе последних и чтобы зрелище не было

испорчено.

Да здравствует мировая революция!

С товарищеским приветом,

Пред. Чрезвычайной Тройки

Начальник Главного Штаба и

Ответственный за художественную часть.

Этот документ взят из книги Юрия Анненкова «Одевая кинозвезд», из главы с красноречивым названием «Статисты».

Вы уже догадались, что членами Чрезвычайной Тройки были именно наши друзья — Анненков, Евреинов, Тёмкин.

Пожалуй, верхом фантастики оказался не сам проект, а то, что он был *осуществлен* — притом дважды, 1 мая и 7 ноября 1920 года. Согласно опубликованным данным, первый раз это действо, не считая самой массовки, собрало 60 тысяч зрителей, а в октябрьскую годовщину — уже 150 тысяч ротозеев. Еще бы, где и когда увидишь такое!.. Броневики, идущие на штурм Зимнего дворца во главе полуторатысячной лавины красногвардейцев; рокочущие в небе аэропланы; эскадренные миноносцы, атакующие с Невы оплот Временного правительства; залп крейсера «Аврора», который и послужил точкой отсчета для всей этой художественной самодеятельности.

Неоспоримым свидетельством потешной баталии остались не только фотографии, но и зарисовки с натуры, даже живописные полотна.

Одно из них принадлежит кисти Бориса Кустодиева — его картина «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна на площади Урицкого». Правда, он предпочел запечатлеть на холсте не сам штурм Зимнего (вероятно, художника смутила откровенность бутафории и пиротехники), а массовое народное гуляние на площади вокруг Александрийского столпа, ликование толпы под красными знаменами, в цветах и лентах — уже после революционного штурма…

Таким образом, Юрий Анненков, Николай Евреинов и Дмитрий Тёмкин могли бы, говоря по совести, считаться предтечами, основоположниками всей тематики и всей эстетики *социалистического реализма*.

Скажем, в кино Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм, Сергей Юткевич воспроизводили на экране уже не столько реальные события Октября, сколько ту *легенду*, которую в двадцатом году разыграла Чрезвычайная Тройка.

И, казалось бы, этот творческий подвиг должен был навсегда обеспечить отцам-основателям почетное место на Олимпе советского искусства.

Но где там!.. Все они очутились в эмиграции.

А перед тем большевики успели посадить Дмитрия Тёмкина в Гатчинскую тюрьму, откуда любимого ученика вызволил опять-таки его учитель — автор «Раймонды» и «Славянской симфонии». Впрочем, и Глазунов отбыл вскоре в Париж.

Там же обосновался Николай Евреинов.

Сложнее складывалась судьба еще одного члена Чрезвычайной Тройки — самого Юрий Анненкова.

Ведь он оставался признанным художником того революционного времени, и его карандаш запечатлел для потомков — притом с натуры, во время долгих личных бесед, — не только Ленина и Троцкого, но и Максима Горького, и Сергея Есенина, и Айседору Дункан, — и эти художественные свидетельства остаются непревзойденными.

В своей книге он упоминает о том, что после смерти Владимира Ильича Ленина ему, в числе немногих особо доверенных лиц, разрешили взглянуть на извлеченный из черепа мозг вождя революции. Он записал: «…одно полушарие было здоровым и полновесным, с отчетливыми извилинами; другое, как бы подвешенное на тесемочке к первому, — сморщено, скомкано, смято и величиной — не более грецкого ореха».

Из творческой командировки в Париж он уже не вернулся.

Однажды он встретил там, в кафе на шумном бульваре, своего соратника по штурму Зимнего, Дмитрия Тёмкина, и стал расспрашивать его о житье-бытье.

В подтексте этих расспросов, конечно, был затаен вопрос самый въедливый и самый главный:

— Когда же опять в Россию?..

На что Дмитрий Тёмкин, потупясь, ответил бессмертной фразой:

— Я перерос Советов.

Наверное, именно тогда Юрий Анненков и набросал его карандашный портрет с потупленным взором.

Он вновь пожаловал сюда лишь в шестьдесят шестом.

Сначала был оглядчив, осторожен, а потом, войдя в мосфильмовский задорный ритм, почувствовал себя непринужденно, освоился вполне. И, невзирая на возраст, стал мотаться туда-сюда, из Беверли Хиллс в Москву, будто бы с дачи на работу.

Председатель Комитета по кинематографии СССР Алексей

Владимирович Романов дал обед по случаю успешно достигнутой договоренности о совместном производстве музыкального художественного фильма «Чайковский».

Обед состоялся в ресторане «Прага», на его открытой верхней веранде, обращенной к бульварам — было лето, был зной, в ресторанном чопорном зале был риск сомлеть от жары и духоты.

На обед были приглашены Дмитрий Зиновьевич Тёмкин (ведь, собственно, он и был виновником торжества), сценарист будущего фильма Юрий Нагибин с супругой, поэтессой Беллой Ахмадулиной, гендиректор «Мосфильма» Владимир Николаевич Сурин, главный редактор студии, то есть я, а также несколько молодых людей в черных костюмах, представлявших Госкино и другие государственные службы.

Нас рассадили так, что я оказался в приятном соседстве: по левую руку от меня была Белла Ахмадулина, а с другой стороны рядом с нею сидел Тёмкин, так что мы могли общаться между собою, как бы в своем тесном мирке, не выпадая из общего официального расклада.

Романов поднял рюмку, произнес непылкий тост за удачу совместной постановки, за здоровье ее инициатора — известного композитора и кинодеятеля господина Тёмкина.

Все похлопали в ладоши и выпили по первой.

Дмитрий Зиновьевич обратился к министру с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, вы не из *тех* Романовых?

— Не-ет, — добродушно откликнулся Алексей Владимирович. — Нет, конечно. Вот говорят, что Романовы по своим корням — немцы. А я русак, тульский, из Белёва…

Всех, конечно, позабавила непосредственность гостя, свойственная американцам. Потому что не стоило больших усилий понять, что будь Алексей Владимирович, хоть каплей крови, из *тех* Романовых, он не возглавлял бы теперь Госкино, а был бы… ну, в общем ясно, где бы он был.

Однако, после второй рюмки, сфера интересов Тёмкина приобрела другую направленность.

Наклонясь к уху соседки, он спросил негромко:

— Белла, скажите, пожалуйста, если мужчина обрезанный — это для женщины лучше или хуже?

Кусок хлеба, который я только что сунул в рот, встал поперек горла. Надо было деликатно откашляться, но путь для воздуха был перекрыт, и я замер, прикрыв рот салфеткой, выпучив глаза.

К счастью, положение облегчалось тем, что вопрос был задан не столь громогласно, чтобы озадачить всю честную компанию. Скорей всего, услышала только Белла, да еще я, поскольку сидел рядом с нею.

Однако Белла была, как всегда, великолепна.

— Знаю, но не скажу, — ответила она.

Дальнейший застольный разговор протекал без напрягов. Говорили о кино, о погоде, о том, что фирменные котлеты «Прага» очень вкусны, что надо бы налить еще по одной. А чья теперь очередь говорить тост?.. Вообще всё шло обычным порядком.

— Саша, — обратилась ко мне Белла Ахмадулина, — тебе не надоела эта тягомотина? Мухи дохнут… Может быть, нам потом перебраться в ЦДЛ? Который час?

Мы так и сделали. Правда, уже без министра и гендиректора «Мосфильма», без молодых людей в черных костюмах.

Нам удалось завладеть самым лучшим из столов Дубового зала — большим, человек на десять, под угловым витражом. Мы заказали селедку с луком и отварным картофелем, знаменитые на всю Москву тарталетки с паштетом и сыром, салат из крабов, похожий на букет цветов в стеклянной вазе, — ну, и, конечно, большую бутылку «Столичной», с морозца, со слезой.

В те далекие времена, о которых идет речь, мы все изрядно поддавали. Вполне возможно, что для нас тогда глоток водки был подобием *глотка свободы*, столь недостающий душе. И надо признать, что иной раз это ощущение свободы было даже более полным, чем сама свобода.

Мимо нашего стола уже в который раз пробегал Евгений Евтушенко с какой-то бумагой в руках. Он бегал через Дубовый зал, как заведенный, по одному и тому же маршруту: из парткома (хотя он и был беспартийным) в московский писательский секретариат. Вид у него был крайне озабоченный, лоб нахмурен, брови сомкнуты, глаза ни на кого не глядели.

— У Жени неприятности, — доверительно сообщила нам Белла. — Вчера, в гостинице «Украина», он ломился в номер к какой-то американке, его забрали в милицию, составили протокол… Теперь нужно отмазываться.

— Нужно… что? — переспросил Тёмкин.

Но в этот момент стремительный и мрачный Евтушенко опять пересекал Дубовый зал, и Белла окликнула его:

— Женя, иди к нам! Посиди минуту, отдышись… Саша, налей ему.

Поэт присел к торцу стола, поздоровался, опрокинул в рот поднесенную рюмку, зажевал тем, что попало под руку. Но оставался при этом попрежнему мрачен, сцепленные челюсти явственно белели на худощавом лице.

— Его нельзя обижать, — сказала Белла, ласково проведя пальцами по жестким волосам своего бывшего мужа. — Вы знаете,

ведь он — совсем ребенок! Иногда утром, проснувшись, я видела, как он у зеркала примеряет мои шляпки…

Юрий Нагибин, сидевший напротив меня, рядом с Тёмкиным, трясся от беззвучного хохота, плечи его прыгали, но при этом глаза были полны не веселья, а едва сдерживаемого бешенства.

Я поспешил увести взгляд, перебросив его на американского гостя, которому, наверное, были скучны и непонятны наши литературные и семейные дрязги.

Он оценил мое внимание и, наклонившись над столом, сказал:

— Во всем виноват Апухтин…

Опять он завел речь про соседа Петеньки Чайковского в дортуаре училища Правоведения, что так деликатно описано в книге Нины Берберовой.

Я наполнил рюмки и потянулся к нему, умоляя слёзно:

— Дмитрий Зиновьевич, дорогой, мы любим Чайковского не только за это!

— Ладно, — сказал он.

— Давайте лучше споём! — предложил я.

— Что… споём?

— Пятую.

Тёмкин благоговейно воздел очи к потемневшим от времени, сигарного оттенка, балкам высоченного потолка, к огромной люстре с мерцающими хрустальными бомбошками, к масонскому витражу в своде стен.

— А здесь можно? — спросил он, не пряча робости.

— Пятую — можно! — заверил я.

Дмитрий Зиновьевич поставил рюмку на стол, постучал вилкой по краю тарелки, требуя внимания и тишины, вскинул морщинистые стариковские руки.

— Ту-у, ту-ту-ту, та-та-та, там… — начал я глухо, имитируя засурдиненные фаготы.

— Ла-ла, ла-ла-ла, ла-лааа… — повела виолончельную партию Белла Ахмадулина.

Нагибин лишь посапывал, молча, не рискуя прилюдно обнаруживать отсутствие музыкального слуха.

Я сознавал торжественность момента. Обычно, по пьяни, я сам пел свои любимые симфонии — Чайковского, Скрябина, Шостаковича, — и сам же дирижировал.

А тут: когда еще мне доведется петь *Andante cantabile* под управлением известного американского дирижера, лауреата четырех Оскаров, продюсера «Большого вальса»?..

Я старался изо всех сил.

Но в какой-то момент Тёмкин покачал головой и

пожаловался на меня Нагибину:

— Как он синкопирует!.. Зачем он так синкопирует?

Юрий Маркович закивал, давая понять, что он тоже заметил эти неуместные джазовые синкопы в плавной оркестровой кантилене.

Хрен, конечно, он заметил, да и слова-то этого, поди, никогда не слыхал.

Разозлившись, я огрызнулся в паузе:

— Синкопы! Да я с детства ушиблен вашим Гершвином…

— *Моим*? — Тёмкин протестующе вскинулся. Но тотчас помягчел. — Пускай он будет моим…

Он умолчал (а я не знал) о том, что именно он, Дмитрий Тёмкин, впервые сыграл «Рапсодию в стиле блюз» тогда еще безвестного в Европе Джорджа Гершвина — и покорил Париж.

В 1925 году он уехал в Америку вместе со своей женой — танцовщицей и хореографом Альбертиной Раш.

Он явился в Голливуд не раньше и не позже, чем было нужно, а в самый раз: истекала эра немого кинематографа — и кто лучше него мог соответствовать требованиям зазвучавшего, заговорившего, запевшего экрана? Яркий талант, плюс отменная выучка, плюс — да простится мне это предположение! — опыт тапёра, уже привыкшего к контрастам монтажа, к стремительным ритмам погонь, к слащавым сценам любви, к надрывным стенаньям похорон… Он изначально соответствовал этим канонам — и потому сразу же был оценен и теми, кто заказывает музыку, и темпераментной публикой.

Он написал музыку к «Алисе в стране чудес», к легендарному фильму «Мистер Смит едет в Вашингтон», к лентам «Гигант», «Чемпион», «Ровно в полдень», «Большой вальс», «Познакомьтесь с Джоном Доу», «Пушки Навароны», «Высокий и могучий», «Жизнь чудесна», «Падение Римской империи», «Золото Маккены»…

И когда ему, уже в третий раз, вручали статуэтку Оскара в переполненном сверкающем зале, он решил, как это принято, изречь слова благодарности тем, кто помог ему достигнуть успеха.

Дими (как тут его называли) сказал:

— Дамы и господа!.. Я работаю в этом городе свыше двадцати пяти лет и смею сказать, что Лос-Анжелес придает мне дополнительный творческий стимул… Но сегодня, помимо города, я обязан поблагодарить еще и Рихарда Вагнера, Иоганна Брамса, Иоганна Штрауса, Рихарда Штрауса…

Он собирался еще назвать Бетховена, Римского-Корсакова и

других великих, чью музыку он обрабатывал для кино.

Но ему не дали договорить. Зал разразился истерическим хохотом, не смолкавшим десяток минут, зал лежал вповалку. Здесь, в Голливуде, вообще считали композиторов кино мастерами поживиться за чужой счет.

Знаменитый комик Боб Хоуп, ведший церемонию, бросил ему вслед:

— Я уверен, что вам больше не придется подниматься на эту сцену!..

Однако, спустя четыре года, он вновь получил Оскара — уже четвертого! — за музыку к фильму «Старик и море», по Хемингуэю, куда были щедро вплетены испанские мотивы и ритмы.

Всего он написал музыку к *ста сорока* голливудским фильмам.

Но, приехав спустя почти полвека, домой, в Россию, он никогда — и я лично свидетельствую это! — не хвастал своими успехами на чужбине, своими наградами, своими деньгами.

Несмотря на случайные обмолвки и стариковские оплошности, он был предельно осторожен, осмотрителен, собран, замкнут.

Потому что он отдавал себе отчет в том, с какой целью предпринял это дальнее путешествие — через океан, — зачем ввязался в этот рискованный проект, в совместную работу с ничего не смыслящими в бизнесе совками: он приехал в Россию, чтобы сделать свой *последний* фильм. Фильм о Чайковском.

И эту особенность его поведения следует непременно учесть, возвращаясь к тому доверительному разговору, который он затеял со мной, когда мы чуть ближе узнали друг друга.

Напомню начало этого разговора.

Он сказал:

— Я живу в Беверли Хиллс… Вы знаете, что такое Беверли Хиллс?

Я ответил, что знаю, что слыхал. Что это в окрестностях Голливуда, в Калифорнии.

— Да, это самое лучшее место в Голливуде! — воскликнул он. — Там живут многие русские, очень известные люди. Моя соседка — Тамара Туманова, балерина. Она снималась у Джинна Келли в фильме «Приглашение к танцу», там она играет и танцует вместе с ним… Вы видели этот фильм?

Я признался, что не видел. Мы тогда много чего не видели. Но я сказал, что у меня есть кадр из этого фильма, кадр с Тамарой Тумановой, который я вырезал из польского журнала.

— Значит, вы знаете *о ней*? — весьма оживился он.

— Кое-что знаю…

Еще напомню, что в тот же вечер дома я торопливо перерыл фотографии в мамином бювяре. И нашел.

Я знал эти снимки с младенческих лет. И с тех же младенческих лет хранил семейную тайну: кто есть кто. Знать эту тайну было опасно, и я не доверял ее никому из посторонних людей.

И вдруг — оторопев от неожиданности, в чрезвычайной взволнованности, в тоске по утраченному отцу, по корням, — зная уже, почем фунт лиха, — я вдруг доверился человеку, который взялся невесть откуда, а точней — *оттуда*, и, выждав время, как бы невзначай спросил меня: «Значит, вы знаете о ней, о Тамаре Тумановой?» — «Кое-что знаю…», — ответил я.

Итак, первая загадка.

Могло ли всё это быть чистой случайностью?

Предположим, что могло. Жизнь, вообще, загадочна. Жизнь, вообще, случайна.

Я отдал снимки из маминого бювара Дмитрию Зиновьевичу Тёмкину, который через два дня улетал в Штаты, и попросил передать их соседке по Беверли Хиллс, балерине Тамаре Тумановой. Может быть, она узнает на этих детских фотографиях себя, может быть, ее обрадует давний портрет матери… Может быть, ее тронет та очевидность, что кто-то в далекой России, где она родилась, долгие годы хранил эти семейные раритеты. Может быть, в связи с этим, у нее возникнут какие-нибудь вопросы. Вот тогда…

Тёмкин улетел в Америку. И, как обещал, вернулся вскоре.

Он вошел в мой кабинет на «Мосфильме», сияя лучезарной улыбкой. И уже по этой улыбке я понял, что он приехал с добрыми вестями.

Он передал мне большой желтый пакет, в который были вложены две фотографии.

На одном снимке, который я уже описал ранее, Тамара Туманова была Одеттой в «Лебедином озере»: белая пачка, лиф с лебяжьими белыми перьями, укрывающими грудь, перьевой же белый шлем, так сильно контрастирующий с иссиня-черными волосами, темными глазами в опушке длинных ресниц. Извив шеи, который принято называть лебединым, жест руки, повторяющий мах крыла…

Наискосок фотографии — надпись пером, по-русски: «*Александру Евсеевичу с моим приветом и лучеми пожеланиями. Тамара Туманова*».

На втором фотоснимке она была уже не в гриме и не в

сценическом одеянии, а просто в платье и романтической белой шали, накинутой на голову, ниспадающей округлыми складками к плечам. Взгляд темных глаз опущен долу…

Конечно, я был очень тронут и обрадован этим даром.

Меня даже не сильно озадачил холодок дарственной надписи, как бы заранее ставящий меня на место.

Но теперь, по прошествии десятилетий, когда уже открылись обстоятельства, приведшие к ошибке (моей ошибке!), когда сама ошибка, в конце концов, привела к счастливой находке, — я, всё же, никак не могу отмахнуться от вопросов, которые продолжают одолевать меня.

Итак, загадка вторая.

Почему она не сказала — хотя бы тому же Тёмкину, — что это не она.

Почему не захотела утешить меня другим радостным сообщением, через того же Тёмкина: что девочка в балетном трико — это, вполне очевидно, ее подруга по балетной школе в Париже, по сценическим дебютам, по жизни. Что ее тоже зовут Тамарой, о да, Тамара Рекемчук, Тамара Чинарова, а теперь Тамара Финч. Они сверстницы, и даже говорят, что они очень похожи друг на дружку, хотя я не уверена в этом… Где она теперь? Кажется, в Лондоне. Пишет статьи о балете… А вот эта густобровая дама — вовсе не моя мама, а ее мать, Анна Чинарова, когда-то обе наши мамы так заботливо опекали нас…

Почему она предпочла умолчать об этом? Ведь каким праздником могло бы стать для меня хотя бы слово!..

И опять, и опять, и еще раз я возвращаюсь к вопросам, на которые теперь уже никто не может дать вразумительного ответа.

Какую цель преследовал Дмитрий Зиновьевич Тёмкин, заведя со мною на «Мосфильме» разговор о Тамаре Тумановой?

Почему Тамара Туманова решила оставить меня в моем заблуждении?

Вот — третья загадка.

Снова вглядываюсь в снимок, где она — Одетта в «Лебедином озере».

Был ли в том лишь знак внимания к нашей с Тёмкиным кинематографической затее? Или нечто само собой разумеющееся: ну, конечно, Чайковский, а кто же еще? Ну, конечно, «Лебединое озеро», которое русским всегда кстати, на все случаи жизни…

В фильме «Чайковский», который вышел на экраны в 1970 году (его поставил режиссер Игорь Таланкин), нет балетных сцен. Есть симфонии, фортепьянные пьесы, оперы, романсы, а балетов

нет: ни «Лебединого озера», ни «Спящей красавицы», ни «Щелкунчика», будто бы он их и не писал…

Есть лишь один эпизод — сразу скажем, не слишком удавшийся, — в котором балетное искусство предстает на экране неким сновидением, плодом воспаленного воображения.

Он посвящен любви Петра Ильича Чайковского к итальянской оперной певице Дезире Д'Арто. Биографы композитора, в том числе Нина Берберова, считают, что это — единственная женщина, в которую он был влюблен.

И авторы фильма, конечно, не могли упустить такой возможности.

На экране это выглядит следующим образом.

Петр Ильич Чайковский, которого великолепно играет Иннокентий Смоктуновский, в концертном зале слушает певицу. Она поет, конечно же, романс «Средь шумного бала», посвященный автором именно ей. Дезире Д'Арто в фильме играет Майя Плисецкая (мы помним, как она впечатлила Тёмкина в «Анне Карениной», в роли Бетси). Ее пение озвучено голосом Галины Олейниченко…

Как вдруг романс сменяется плавным *Adagio* из «Лебединого озера».

И, подчинясь музыке, певица преображается.

Она уже в белой пачке, лебяжьи перья обрамляют ее голову. Она скользит на пуантах по сцене. Как неповторимы движения ее рук, изображающие волнообразные полетные махи лебединых крыльев! Сколь феноменальна ее шея: да разве может быть у человека, у женщины, такая неправдоподобно длинная, поистине лебединая шея! И как она движется — ведь плывет, плывет…

В затемненном кадре появляется Петр Ильич Чайковский. Он завороженно следит за лебедью, плывущей вдоль сцены. Он попрежнему влюблен в Дезире, в желанную, которая, оказывается, не только поет, но еще и танцует!..

(«Это ему кажется…», «Это ему снится…» — объясняют друг другу на ушко догадливые зрители в зале).

Он вдруг почувствовал себя Принцем. Вот сейчас он поднимется на сцену, приблизится к ней — и навсегда исчезнет то, что всю жизнь терзало его сердце, то, что было его роком, его трагедией…

Принц протягивает руку к нежной девушке, к лебедю.

И вот ее рука встречно протянута ему. Ее рука в его руке.

Резкий аккорд заставляет вздрогнуть и Принца, и нас вместе с ним.

Принц поднимает взгляд: перед ним не белая лебедь, а черный лебедь — его проклятье. Не Одетта, а Одиллия.

Олицетворение зла: вздыбленные черные перья на голове, черные крылья, гневные черные глаза, пронзающие насквозь…

Я опять беру в руки снимок, привезенный из Беверли Хиллс, тот, где Тамара Туманова — вся в белом, в лебяжьих перьях, где она — Одетта.

Теперь сомнений почти не остается: это был не столько подарок, сколько *предложение*. Это была *фотопроба*, может быть отобранная из ее более ранних спектаклей и фильмов.

Значит, Дмитрий Тёмкин хотел, чтобы Тамара Туманова сыграла в фильме «Чайковский» Дезире Д'Арто, а заодно и Одетту-Одиллию? И она хотела того же?

Что ж, вполне логично: ведь это совместная постановка, советско-американский проект. Как было бы славно, если б в этой ленте блеснул талант всемирно известной балерины, русской по рождению, но совершенно не известной на ее родине!..

Сдается, мы близки к разгадке.

Но что, в таком случае, означает другой фотоснимок, привезенный Тёмкиным из-за океана?

Тот, где она в белой шали, накинутой на голову, с печально опущенными долу глазами… Что означала эта меланхолическая фотография? Она такая в жизни? Или это роль? Но какая роль?

А что, если это заявка на роль баронессы фон Мекк, Надежды Филаретовны фон Мекк, благодетельницы, незримого ангела-хранителя Чайковского? Ведь по жизни и по сюжету они существовали порознь, между ними никогда не было непосредственного контакта. Эта драма полна смысла уже сама по себе.

Однако эту роль в кинофильме «Чайковский» проникновенно сыграла Антонина Шуранова.

Что же помешало Дмитрию Тёмкину и Тамаре Тумановой осуществить их вероятный замысел?

Что произошло в промежутке между проектом совместной постановки и его реальным производством?

И опять мне остается лишь поделиться догадкой.

Фильму помешал другой фильм. Несыгранную роль перечеркнула другая, сыгранная…

Аккурат в шестьдесят шестом году, в самый разгар хлопот Дмитрия Зиновьевича Тёмкина на «Мосфильме», на экраны мира вышла кинокартина Альфреда Хичкока «Разорванный занавес» (*Torn Curtain*), о которой в нашем Кинословаре 1970 года сказано коротко и внятно: *антисоветский фильм*.

Одну из ролей в этом фильме сыграла Тамара Туманова.

Бегло перескажу события этой ленты, посвященной весьма актуальной и зловещей теме того времени: охоте за секретами

ядерного оружия. Американский ученый Майкл Армстронг (его сыграл Пол Ньюмен) приезжает в Европу на конгресс физиков, откуда его вместе с ассистенткой по имени Сара-Луиза умыкают советские и гэдээровские шпионы, увозят в Восточный Берлин, а затем в Лейпциг, чтобы вытрясти из него всё, что знает… Но как бы не так! Удалой Армстронг сам раскалывает тутошнего старчика-ядерщика и, считав с доски хитроумные формулы, убегает вместе с Сарой-Луизой восвояси… «Хватайте их! Это — американские шпионы…» — кричит по-русски с палубы корабля, указывая на плывущие в волнах головы беглецов, некая фуриозная дама в черных патлах, то ли из «Штази», то ли из КГБ, у которой в титрах нету ни имени, ни фамилии, а лишь шпионская кличка — Балерина…

Неужто эти черные патлы, похожие на черные перья, режиссер позаимствовал у балетной роковой Одиллии?

Вы уже догадались, кто сыграл Балерину в этом фильме.

Вы уже смекнули, что этот фильм так и не появился на наших экранах.

Повальный шпионаж. Шпион на шпионе. Двойные, тройные, серийные шпионы… погони, убийства, газовые духовки, трупы, зарытые у порога… сплошной Хичкок!

Полагаю, что сами создатели этого фильма были вусмерть напуганы собственным творением.

Думаю, что и сама исполнительница роли Балерины догадывалась, что теперь ей на «Мосфильме» ничего не светит.

А тут еще — мое неосторожное письмо.

Я спросил сестру:

— Вы не были знакомы с Дмитрием Тёмкиным?

— Была. Однажды в Лондоне он приходил ко мне в гости вместе с Джерри Севастьяновым, нашим общим другом. Между прочим, Джерри — племянник Станиславского…

— А о чем вы разговаривали?

— Сейчас уже не помню.

В воспоминаниях сестры ее последняя встреча с отцом запечатлена в нескольких деталях, подчас случайных, но милых, а подчас — очень ёмких, не по-детски глубоких.

Она рассказывает, как отец, вновь появившись в Париже, тайком от матери повел ее в магазин «Галери Лафайет» и там одел во всё новое с головы до пят: купил пальто, платья, туфли, кожаную сумку, забавных кукол… новые туфли были тесны, жали девочке пальцы, но она решила терпеть, чтобы этой болью умилостивить святых… чтобы ценой этой жертвы сохранить отца.

Ночи напролет родители спорили. Иногда этот спор делался чересчур резким, мама плакала. Тогда девочка забиралась к ним в постель и чувствовала, как рука отца тянулась к плечу жены, как он притягивал к себе ее голову.

«… Я просто ложилась между ними и обретала комфорт, тепло, покой в близости к этим двум людям, которых любила больше жизни», — признается она.

Что было причиной ночных споров?

Отец попрежнему настаивал на том, чтобы они вместе с ним ехали в Советский Союз.

Анна же не хотела и слышать об этом.

Сколь ни удивительно, важным звеном раздора было обучение маленькой Тамары в балетной школе.

Глава аккерманского рода Христофор Чинаров всё еще гневался из-за отъезда в Париж дочери Анны, ее супруга, бравого офицера, в котором хотел видеть преемника семейного дела, но тот не оправдал надежд, а также чернявенькой любимой внучки по прозвищу Жук, — он никак не хотел и не мог примириться с подобным вероломством, с предательством интересов рода.

Единственным оправданием, которое родители могли привести в ответ, была балетная школа Тамары: ведь в Аккермане такой школы отродясь не было, а в Париже — целых три, если не больше… Где же еще учиться талантливому ребенку!

Но что бы сказал дед, узнав, что молодая семья отправилась из Парижа еще далее, в большевистскую Россию?

Тут бы он наверняка не стерпел обиды и, в сердцах, проклял бы всех — ни знать, ни слышать не желаю.

Между тем, отец доказывал, что нет на свете лучшего места для расцвета искусств — а в особенности классического балета, — нежели Советский Союз.

Он живописал, как в Большом театре, в Мариинке, в Харькове, Киеве, даже в Одессе воскрешаются традиции былых времен: как там ставят балеты на музыку Чайковского, Римского-Корсакова, создают новые представления, революционность которых очевидна уже из их названий — «Красный вихрь», «Красный мак», «Пламя Парижа»…

А поскольку для нового взлета искусств требовались юные таланты, повсюду — и в больших городах, и в малых, — открывались балетные школы, где опытные педагоги ставили эти таланты на ноги.

Причем в СССР, что крайне важно, всё это делалось совершенно бесплатно, за счет государства.

Какие блестящие перспективы открывались там для их дочери!

Но мать отвечала на это угрюмой непреклонностью.

Он уехал один.

«*Больше я никогда не видела своего отца*», — пишет Тамара.

Хранитель современного отдела Национальных Архивов Александр Ляба подвел меня и Марину Костикову к полке, на которой стояли двенадцать громоздких томов с уже потускневшим золотым тиснением корешков.

Это был доклад Министерства торговли и промышленности Франции по итогам Всемирной выставки 1937 года.

— Доклад был настолько трудоемким, — объяснял месье Ляба, — что его заключительные тома делались уже в сороковом году, то есть, когда уже шла война, то есть, *pardonnez moi, s'il vous plait*, когда в Париже уже были немцы… Вы понимаете, что это мешало работе исследователей — доступ к некоторым документам уже был затруднен… *Vous comprenez*?

Я кивал, делая вид, что секу с лета, даже до того, как Марина переведет мне его речь слово в слово.

Не скрою, мне очень нравилось, что в Национальных Архивах Франции столь внимательны к заезжим посетителям, столь любезны, что даже такое высокое начальство, как месье Ляба бросает все дела и лично сопровождает меня в хранилище.

Правда, советник Аристов — тот самый, что первым приветил мое появление в Париже, — намекнул, что посол Советского Союза, тоже лично, обращался по этому поводу в Министерство иностранных дел, а секретарь ЦК Французской коммунистической партии Гастон Плисонье звонил, кому надо, выражая особую заинтересованность в теме.

— *Allors*… — продолжал Александр Ляба, — обстоятельства, конечно, внесли свои коррективы в содержание доклада. Так, например, из текста, посвященного павильону Испании, были изъяты все упоминания о картине Пабло Пикассо «Герника», поскольку к этому времени власть в стране уже перешла к Франко…*Je vois, que madame comprend tous, mais je voudrais ce monsier comprende tous aussi*…

Я понял.

— Но десятый том правительственного доклада, в котором речь идет о павильоне Советского Союза, почти не пострадал, поскольку Гитлер в то время еще не напал на вашу страну… *vous comprenez*? Мы заранее сделали для вас ксерокопии наиболее интересных документов…

Как же, всё-таки, милы эти французы, как умеют потрафить гостям, явившимся прямо с улицы.

Через полчаса мы с Мариной уже сидели в научном зале,

корпя над текстами.

Павильон СССР… в главном зале — скульптура товарища Сталина… проект Дворца Советов в Чертолье, на берегу Москвы-реки… легковой автомобиль М-1… кинофильм «Чапаев»… концерт ансамбля песни и пляски Красной Армии… карта Советского Союза во всю стену, сложенная из драгоценных камней — изумруды, сапфиры, рубины, бирюза, хризолиты, топазы, аметисты, сердолики… вот где, наверное, сжимались сердечки парижанок и других любительниц географии!

Но более всего мое воображение потряс документ, написанный еще за несколько месяцев до открытия Всемирной выставки в Париже.

Это был служебный отчет эмиссара Шарля Помарэ генеральному комиссару выставки Эдмону Лаббе о поездке в Советский Союз, где он встречался с комиссаром советского павильона, известным государственным деятелем Иваном Ивановичем Межлауком.

> «…Что касается авиации, — *уведомлял свое начальство господин Помарэ,* — то СССР не преминет показать свою воздушную мощь, которой он так гордится. К началу выставки шесть больших самолетов типа „Максим Горький“ прибудут в Париж; на борту одного из них будет находиться господин Межлаук…»

Тут я почему-то вспомнил свой недавний героический перелет из заснеженной Москвы к зеленым платанам Парижа. И уже послезавтра — в обратный путь… Как быстро промелькнули две недели!

> «…В качестве аттракциона и, по мере возможности, вне павильона будет установлена вышка для прыжков с парашютом. Вы знаете, что парашютный спорт очень популярен в СССР, и что молодежь с удовольствием им занимается…»

Я представил себе эту парашютную вышку на Марсовом поле, рядом с Эйфелевой башней. А вдруг парижане, попривыкнув, стали бы умолять не увозить ее обратно, а оставить тут навсегда, как это чуть не случилось с «Рабочим и колхозницей»…

> «…Как только Советское правительство одобрит эти предложения г-на Межлаука, в Москве будет организовано нечто вроде генеральной репетиции, то есть будет построен и оборудован макет павильона в

натуральную величину. Таким образом, русские зрители увидят первыми то, что их правительство намерено показать в Париже».

Я читал эти не столь уж древние страницы истории и чувствовал, как остывает мой охотничий пыл, сменяясь привычной тоской, унынием, предвестьем неудачи.

Пришли на ум вежливые остережения Славы Костикова, мужа Марины: «У вас могут быть сложности и с фильмом, и с книгой. Тема — явно не ко времени. В воздухе витает нечто совсем иное…»

Вот ведь как всё замышлялось.

Шесть огромных, как дредноуты начала века, восьмимоторных самолетов «Максим Горький», гудящим строем подлетающих к Парижу…

А на деле — единственный подобный самолет-гигант рухнул под Москвой, разбился вместе с экипажем и пассажирами в день Первомая.

Так что комиссару павильона СССР Межлауку пришлось ехать в Париж, на открытие выставки, обычным поездом.

У меня была с собой еще одна редкая фотография.

На ней — Иван Иванович Межлаук, сухощавый, с вождистскими усиками, в черном плаще и черной шляпе, стоит у парапета набережной Сены; рядом с ним — скульптор Вера Игнатьевна Мухина, она в берете, в брючном костюме, что было тогда у женщин в новинку, с поблескивающим пенсне на переносице; архитектор Борис Иофан, автор проекта павильона СССР и того самого Дворца Советов, что собирались строить на Чертолье; и еще Петр Николаевич Львов, знаменитый конструктор, профессор, создатель первого в мире цельнометаллического самолета «Сталь-2», он в рабочем комбинезоне, будто так, прямо из цеха, и заявился в Париж…

Они не позируют, это — мгновенный снимок со стороны.

Но как вдохновенны их лица, обращенные в одну сторону, чуть вверх, туда, где на башне павильона сейчас устанавливают их общее творение — статую «Рабочий и колхозница»…

Вскоре после возвращения Ивана Межлаука домой, его расстреляли.

На улице было промозгло, ветрено — всё же, зима есть зима.

Мы с Мариной укрылись в крохотной кафушке у площади Вогезов, выпили по рюмке глинтвейна, стали размышлять: куда теперь податься?

В окне был остров Ситэ, похожий на корабль, где мачтами

служили острия Нотр-Дам.

Приняли решение: туда.

Я вспомнил, как впервые навострившись ехать в Париж — заранее, еще дома — часами просиживал над картами, затверживал наизусть путеводители и, конечно же, перечитывал Гюго, Пруста, Хемингуэя…

Раскрыв том «Собора Парижской богоматери», погрузился в чтение и вдруг обнаружил, что передо мною — совершенно незнакомый текст.

«… Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства, они посягнули на самый его остов, они обкарнали, искромсали, разрушили, убили в здании его форму и символ, его смысл и красоту. Не довольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что всё же не притязали ни время, ни революции.

Считая себя непогрешимыми в понимании „хорошего вкуса“, они бесстыдно разукрасили язвы памятника готической архитектуры своими жалкими недолговечными побрякушками…»

Что это? Какой-то другой роман? Его новое, расширенное и дополненное издание?

Как вдруг пришла догадка, от которой кровь бросилась в щеки — с детства знакомое чувство стыда.

Всё очень просто. Теперь я читал эту книгу, будто бы впервые в жизни, лишь потому, что прежде, когда был маленьким мальчиком, и позже, когда был студентом-раздолбаем, я, без тени сомнения, пропускал мимо глаз все эти россказни целыми страницами, а подчас и главами. Потому что они не вызывали у меня ничего иного, кроме зевоты во всю пасть…

Тогда в этой книге мне были интересны лишь Эсмеральда с ее козочкой, Квазимодо со своим горбом, и Феб, капитан королевских стрелков, на которого мне хотелось быть похожим даже больше, чем на пограничника Карацупу. Еще захватывал вольный быт Дворца чудес, этой республики воров и нищих, чем-то похожей на окружающую меня жизнь…

Но вот промчалось время — и я вдруг оказался не мальчиком-книгочеем, и не студентом Литературного института, сдающим зарубежку по шпаргалке, а радяньским письменником, собравшимся на старости лет в Париж.

И тут вдруг выяснилось, что мне вовсе не интересны Квазимодо с Эсмеральдой — господи, каких только Квазимод, каких только Эсмеральд ни повидал я в жизни! — что эти игровые эпизоды, которыми я упивался в юности — зачитанные до дыр, затрепанные на экранах, заигранные и даже затанцованные на сцене, — что мне они теперь, как говорят, *по барабану*.

Теперь я искал и, добравшись до того, что искал, погружался, будто в нирвану, в неторопливые, подробные, подчас занудные, а иногда вспыльчивые описания аббатства Сен-Жермен де Пре, Гревской площади, собора Нотр-Дам…

Теперь я понимаю, что господин Гюго провел немало дней и месяцев, а может быть и лет в Национальных Архивах Франции — как нынче я, — кашляя от пыли ветхих фолиантов, отирая слезящиеся глаза, прежде чем сесть писать свой знаменитый роман «Собор Парижской богоматери».

Задрав подбородок, я почтительно осматривал готические стрельчатые своды — безмерно далекие, пересекающиеся, как судьбы, — многоцветные розы витражей, обращенные во все стороны света, — вслушивался в органные раздумчивые вздохи…

Как вдруг запоздалая мысль ударила по мозгам.

А как же парк Монсо? А как же Рю Дарю? А как же собор Александра Невского, где я хотел поставить свечку в память об отце?..

Может быть — завтра? Но нет, завтрашний день уже расписан буквально по минутам. А послезавтра утром — аэропорт Руасси, ранний вылет в Москву.

Мой смятенный взгляд опустился с небес на землю, скользнул вдоль стен, обнаружил ларек, где продавались свечи, очередёшку за ними — всё, как у нас.

Марина, будто угадав ход моих мыслей, кивнула одобрительно.

— Но как же… — засомневался я. — Ведь это — католический собор. А отец был православным… Можно ли?

— Бог-то один, — напомнила Марина.

Холодная гора

Его ждала тюрьма.

Сразу же по возвращении в Харьков его посадили в Допр (дом предварительного заключения), в мрачное здание с зарешеченными окошками, что высилось на Холодной горе, у вокзала.

Впрочем, не совсем так. Сперва его держали в кутузке на Мироносицкой, близ Чека, откуда удобней и ближе таскать на допросы, а лишь потом перевели на Холодную гору.

Само это перемещение из одной тюрьмы в другую не предвещало добра, так как свидетельствовало о том, что сходу снять все вопросы не удалось, что вопросы чекистского начальства были достаточно серьезны и что отбиться от них не легко.

Позднее он напишет в служебной записке:

> «…Кроме того (сознаюсь), я был задет в самых лучших своих чувствах — это, не рисуясь, был первый случай в моей жизни, когда мне всерьез не поверили, тогда как я был прав».

Сам слог этого документа («я был задет», «я был прав», «в самых лучших своих чувствах») выдавал в нем не служаку, готового в трудной ситуации склонить перед начальством повинную голову — ведь тогда ее и меч не сечет! — умеющего бить себя кулаками в грудь, рвать на груди рубаху, пустить горючую слезу — и тем вымолить пощаду.

Нет, сам этот слог лишь выдавал в нем, как принято было тогда выражаться, *гнилого интеллигента*. И хуже того — *свободного художника*. А отнюдь не бойца невидимого фронта, вышколенного в жестоких передрягах и никогда не забывавшего о том, что главное в профессии шпиона — это умение чин-чином отрапортовать начальству и отчитаться за каждый грош.

Он вёл себя по-мальчишески.

А шили ему вот что.

Его спрашивали: почему вы даже не попытались проникнуть в Бессарабию, куда, собственно, вас и посылали? Он отвечал: «…*Я считал, что моя поездка в Бессарабию бесцельна — я не смог бы не только работать, но с места попал бы за решетку*». Его спросили: кто вам разрешил вербовать какого-то типа, который вполне мог оказаться агентом Сигуранцы? Он выдвигал резоны: «…*я склонил к работе для нас студента-бессарабца, моего приятеля по газете…*

который, будучи „чистым“, мог ехать в Бессарабию». Ему задавали вопрос, что называется, в лоб: кто вам разрешил ехать в Париж? А он, как ни в чем не бывало, объяснял им, непонятливым: «*…я еще раз и в последний пытался уговорить мою жену (Анну Христофоровну) ехать со мною в СССР*».

То есть, каждая изреченная фраза выдавала в нем человека, абсолютно не искушенного не только в методах разведывательной работы, но и попросту не умеющего взять в толк — куда он приехал и где ему предстоит жить, если такую возможность ему, конечно, оставят…

Вот тогда, обнаружив на допросах, что за фрукт перед ними, его и переправили с Мироносицкой на Холодную гору.

Тем временем, как и положено, по секретным каналам пошли запросы за кордон, в Румынию, в город Четатя Албэ, то есть в Аккерман, где под своими крышами сидели уже проверенные в работе люди, которым, в отличие от новичка, можно было доверять вполне.

Ответы пришли по тем же конспиративным каналам.

> «…Евсевий Рекемчук в бытность свою в Аккермане пользовался всеобщим и безграничным уважением, как журналист и кристально-честный и порядочный человек…»
>
> «…О связях его с Сигуранцей не может быть никакой речи…»
>
> «…После произведенного расследования беру смелость сказать, что если подозрения против РЕКЕМЧУКА у Вас имеются, то таковые могут быть решительно отброшены…»

Здесь следует заметить, что в душе самого страдальца, сидящего в темнице на Холодной горе, шла, между тем, глубокая внутренняя перестройка, на которую, как всем известно, и рассчитана российская тюремная система.

Он сам признавался в этом.

> «…Должен сказать, что отсидка в Допре вывернула наизнанку всю мою психологию, после чего я как-то совершенно четко стал понимать свои цели, стремления, чего не было до этого».

Больше того, именно в Допре, где у него было время поразмыслить обо всем и всё взвесить, он, мысленно, и разработал совершенно новый план, позволявший достичь этой цели.

Он предложил выйти в Аккерман не через Прагу, где на каждом шагу его подстерегали полицейские и агенты Сигуранцы, не через пограничные заставы и таможни, а окольно — морем из Одессы, по льду…

Из этого плана, в частности, следовало, что зима была уже не за горами, коль речь шла о замерзших одесских лиманах.

Начальству план понравился.

Его выпустили на волю.

Он отсидел в Допре на Холодной горе два месяца.

Нашелся ли в Харькове хоть один человек, который проникся бы сочувствием к судьбе несчастного затворника? Ведь у него в этом городе не было ни одного не то чтоб родного, но даже более или менее знакомого человека!

Был ли хоть кто-то, кто попросил пятиминутного свиданья с узником? Кто принес бы для него немудрящую, но столь необходимую каждому передачу с воли — буханку хлеба, шматок сала, жменю колотого сахару?

У меня есть основание считать, что один такой добрый и сострадательный человек в Харькове нашелся.

Им была прелестная пепельноволосая и сероглазая барышня, которая работала машинисткой в редакции газеты «Вечернее Радио» и знала нового сослуживца, недавно приехавшего из Парижа, по совместной работе. Та самая, что встречала улыбкой его появление в машинописном бюро: она всегда отличала культурных людей среди хамья, набившегося в журналистику невесть откуда. Девушка двадцати одного года, в доме которой близ Конной площади он, с некоторых пор человек холостой и бездомный, нашел приют.

Я допускаю даже, что эта досадная история с его служебной командировкой за границу, после которой он угодил за решетку — что эта история сыграла судьбинную роль в отношениях моего будущего отца с моей будущей матерью.

Известно уже, что Евсей Тимофеевич Рекемчук не остался безразличным к чарам Лидии Приходько: его письмо к ней, написанное в пять часов утра, говорит о пылком чувстве — перечитайте его, как перечитываю я.

Но в том же письме, в котором он предлагает ей руку и сердце, есть и некоторые знаки отчуждения: он обращается к ней по имени-отчеству, он чувствует ее холодность, догадывается, что молодая красавица, сверх меры избалованная вниманием поклонников, от которых нет отбоя — ведь и другие пишут ей письма, даже посвящают стихи, — что она еще не сделала своего выбора.

Здесь наверняка сказывалась и разница в возрасте — он почти на десять лет старше ее; и то, что он уже был женат, что у него где-то есть дочь; наконец, давала себя знать и житейская осторожность — слишком много всякого авантюрного люда выплеснула на поверхность, прибила к берегам бурлящая революционная эпоха…

И эта осмотрительность оказалась нелишней.

Именно он, сослуживец и квартирант, человек, казалось бы, наиболее достойный среди прочих, — именно он вдруг загремел в тюрягу на Холодной горе.

Но ее врожденная доброта, вскормленная в многодетной семье, склад души гимназистки в белом фартучке, девочки, певшей в церковном хоре, наконец — скорбный опыт пережитого времени, подсказывающий, что нужно всегда помогать человеку, попавшему в беду, ведь завтра ты можешь оказаться на его месте, — всё это, конечно, подвигнуло ее собрать на последние копейки передачу затворнику и отвезти ее на Холодную гору.

В ее душе, не чуждой актерства, которое пока оставалось невостребованным, — в ее душе уживались рядом два образа: девушки с бронепоезда, гоняющего по степи махновские банды; девушки, с воодушевлением читающей «Верку Вольную»; той легендарной девушки, что, как в песне, в походной шинели горящей Каховкой идет… и совершенно другой, благовоспитанной барышни, у которой родные сестры — такие же русоволосые красавицы, как она, — до последнего стояли в Крыму, рядом с мужьями и братьями, белыми офицерами, а после, вместе с Врангелем, уплыли на чужбины, к африканским берегам, — в ней одновременно, по крови и по духу, сосуществовали эти начала.

И можно догадаться, какие чувства взыграли в ней, когда узнала, что за тюремной решеткой на Холодной горе сидит русский офицер, подавшийся служить красным.

Наверняка и мать — Александра Ивановна, моя будущая бабушка, — укрепила ее в этом решении.

Она собрала узелок и поехала на Холодную гору.

Дальнейшее очевидно из простого сопоставления дат: Рекемчук вышел из тюрьмы 25 октября 1926 года, а месяц спустя, 23 ноября того же года, они расписались в ЗАГС’е, стали мужем и женой.

Вместе и уехали в Одессу, к новому месту работы мужа.

Скажу прямо, этот брак, даже с учетом сомнений, предшествовавших ему, и даже с учетом невзгод, которые затем последовали, — этот союз, безусловно, способствовал расцвету и

взлету их незаурядных личностей.

Моей маме, наверное, никогда бы и в голову не взбрело заняться актерской профессией, и не потому лишь, что в Харькове не было кинофабрики, а в Одессе она была. При всех благоприятных внешних данных, при склонности ее к поэтической декламации, она никогда бы не дерзнула попробовать свои силы в важнейшем из искусств, если бы к этому ее не подтолкнул супруг. Она пошла учиться в актерскую студию Григория Львовича Рошаля, вскоре начала сниматься…

Человек вдохновенный, авантюрный, смелый — способный не только увлекать других, но и увлекаться самому, — Рекемчук и сам не устоял перед соблазнами кино. Спустя некоторое время, попробовал свои силы в сценарном деле, благо, уже располагал сюжетами для создания, скажем, шпионских боевиков…

Но ведь в Одессу его послали не сочинять сценарии.

Предложенный им план установления связей с Аккерманом, с другими городами и территориями, находившимися тогда под властью Румынии, по льду замерзших днестровских лиманов — этот план пока давал сбои. Необычные оттепели той зимы не позволяли идти по льду — эти ходки могли провалиться в самом буквальном смысле слова.

В марте было решено отправить курьера в Аккерман на лодке. Курьер имел при себе письма, адресованные давним приятелям Рекемчука по газете «Вяца нова» — Виктору Костюрину и Михаилу Стыранкевичу, а также к уже знакомому нам Шмеркесу.

Курьер благополучно добрался до аккерманского берега, однако высадиться там не посмел. Ему показалось, что румынские пограничники засекли лодку. Даже сделали по ней несколько выстрелов… Пришлось возвращаться ни с чем.

В этой ситуации автору разработки не оставалось, повидимому, ничего иного, как осуществить ее самому.

Лимит неудач был для него исчерпан.

В течение того же марта он несколько раз пересекал на лодке Днестровский лиман.

Встречи с указанными людьми состоялись. Они пошли на вербовку. Согласилась работать на Советы.

Однако толку от них было чуть.

Вот как критично и здраво оценивал Рекемчук результаты этой операции в своей докладной записке:

> «…КОСТЮРИН и ШМЕРКЕС впоследствии через имевшихся у меня в Париже знакомых присылали нам информации, но, на мой взгляд, ни их положение в

обществе, ни их личные качества не давали им возможности сделать что-либо, что оправдывалось бы риском частых встреч с ними и расходов (хотя КОСТЮРИН от денег отказывался). Вот почему, я думаю, несмотря намой пять поездок — это предприятие большего значения не имело и существенной пользы не принесло, поэтому и было оставлено».

В шпионских делах всегда присутствует момент игры.

Вслед за чередой шестерок и семерок выпал козырной туз. Удалось выйти на крупную фигуру.

В августе 1927 года «Киреев» встретился в Кишиневе с одним из высоких чинов местной Сигуранцы. В бумагах, которые я читал, его фамилия неразборчива, поэтому назову его приближенно: Николау. Тот согласился на сотрудничество, однако поставил несколько условий, в которых чувствовалась хватка матерого профессионала. Он категорически отказался посылать письменную информацию — ведь попадись такая писулька своим, отмазаться будет невозможно. Равным образом, Николау категорически возражал против того, чтобы в дело был введен кто-то третий, связник. И здесь тоже можно было понять его осторожность.

Теперь «Кирееву» предстояло самому ежемесячно ходить в Кишинев за информацией. Это было предельно опасно: каждая такая ходка могла оказаться последней. Но он совершил их *четырнадцать*.

Зато теперь имелся доступ практически к любому документу тайной полиции.

Там, всё же, учуяли неладное.

Правда, самому Николау удалось остаться вне подозрений. Но, на всякий случай, Сигуранца перетасовала всю колоду. Николау перевели работать в другой город, в Констанцу, где он был почти недосягаем.

Знала ли молодая жена Рекемчука об этой стороне его деятельности?

Видимо, да.

Вспомним хотя бы эпизод, точно совпадающий по времени с его ходками в Кишинев, когда на одесском пляже он свел знакомство с неким типом, проявившим интерес к собаке Люське, к собакам вообще. Как и следовало ожидать, он оказался секретным агентом, тотчас настрочившим донесение в Чека. Знакомство не ограничилось совместным посещением выставки служебного собаководства, а продолжилось за семейным столом,

где с собачьей темы разговор переключился на лошадей, на проблемы коневодства, в частности — армейского ремонта, и жена «Журналиста», как он именовал, в своем доносе Рекемчука, вдруг оказалась особой, весьма сведущей в этой теме. «Расспрашивала обо всем исключительно она, — подчеркивал сексот, — „Журналист“ же был сдержан, говорил больше о ружьях и собаках…»

Не думаю, что моя будущая мать (именно тогда она носила меня во чреве) проявляла прыть в разговоре по наущению мужа. Нет, он не передоверял ей своих служебных обязанностей. Но, вместе с тем, этот эпизод говорит о том, что он не возражал против ее активности, пользовался ее прикрытием. Как говорят в народе, «муж и жена — одна сатана».

В более поздние годы, уже подумывая об этой книге, я иногда задавал матери вопросы, касающиеся работы моего отца в нелегальной разведке. Но она уклонялась от ответов. То ли была на всю жизнь напугана этой темой, то ли в тридцать седьмом ее крепко потрясли на допросах, как бывшую жену, и она закаялась открывать рот…

Тогда же, в самом начале восьмидесятых — измученный тоской по отцу, безвестностью, — я разыскал через Мосгорсправку адрес его последней, третьей по счету жены, Лидии Михайловны Бурштейн, которая после всего произошедшего жила в Сибири, в Красноярске, работал там режиссером на местном телевидении.

Я написал ей письмо. Она ответила.

В дальнейшей переписке я задал ей несколько важных вопросов, о которых еще будет речь.

Но она тоже была предельно сдержана: «…*Командировки были от „музея“, и мы никогда их не обсуждали*».

Понятно, что имелся в виду не Музей западного и восточного искусства, где в ту пору работал мой отец, а совсем иное ведомство, задания которого далеки от искусства.

Она знала, что я пишу, читала мои книги, видела фильмы, и потому старалась найти во мне хотя бы отдаленное подобие:

> «…Вы же единственный кусочек драгоценного камня, который оторвался от „главного“ и живет в Вас… Черты, которые воспитал в себе Е. Т., очень редкие: выдержка, самообладание, ум, который всё, всё хотел знать и всё знал. Он до смешного добр и изысканно вежлив, этого уже не бывает ни у кого из наших современников. Вы унаследовали ли его пытливость, настойчивость, доброту? Любите ли Человека? Либо придумываете его?»

Боюсь, что она не учитывала той огранки, которую «кусочек драгоценного камня» получил в Сыктывкаре и Ухте.

Еще в ее письме был совет обратиться к известным писателям, с которыми, оказывается, водил дружбу мой отец — к Ираклию Андроникову, Иосифу Пруту. Я был знаком с ними, но они почему-то не спешили делиться со мною своими думами о былом.

Наконец, в одном из писем Лидии Михайловны прорвалась жесткая нотка: «*…Спросите об этом у своей матери, она знала всё*». Слово «всё» было подчеркнуто.

Я набрался решимости и спросил.

Результат можно было предвидеть.

Лишь взяв в толк, что я затеял переписку с Бурштейнихой, как величала она разлучницу, мама встала из-за стола (мы пили чай у меня на Фрунзенской) и ушла, хлопнув дверью.

Мы, наконец, прозрели.

После всех передряг и неурядиц, мы окончательно, бесповоротно разочаровались в Советской власти. Да на кой ляд она сдалась, эта власть? Со всеми своими заморочками, визгливыми лозунгами, хлебными карточками, коммунальными квартирами, полными вранья газетёнками, сексотами на каждом шагу…

Надоело.

Мы решили дать дёру. Пересечь границу, а там — за бугром — честно признавшись во всех своих заблуждениях, попросить политического убежища.

Не верите? Поражены? Думаете — сочиняю?

Так вот вам архивный документ.

> «…у меня возникла мысль переправиться в Румынию для постоянной работы, разыграв перед румынами разочаровавшегося в „большевизме“ бессарабца. Моя мысль была поддержана т. Леплевским, и в феврале 1929 г. я отправился в К-поль, где явился к рум. консулу с повинной и просьбой принять во мне участие. Рум. консул ИОНЕСКУ вполне поверил искренности моего раскаяния (что видно из его отношения в рум. Мининдел — при моем деле в рум. сиг.) и обещал содействовать моему возвращению в Румынию…»

В этом тексте, написанном рукою моего отца, много сокращений, за которыми прячутся понятия весьма важные.

Так, не сразу поймешь, что город К-поль, куда отправился автор служебной записки, это — Константинополь, он же

Стамбул, вторая, неофициальная столица Турции. Другое сокращение — «рум. сиг.» — обозначает румынскую службу безопасности, охранку, из чего следует, что там на беглого офицера и журналиста уже было заведено специальное досье, и что советская разведка, через своих агентов (того же Николау?), имела доступ к этой канцелярии.

Но самым важным сокращением (а точней — умолчанием) в служебной записке было то, что в этой секретной операции предполагалось участие не только самого Рекемчука, но и членов его семьи: молодой жены Лидии Андреевны и полуторагодовалого сына Александра, домашнее прозвище — Тюрик, что само по себе должно было вызвать умиление турецких властей.

Это условие, конечно, было решающим: разве мог рассчитывать на доверие человек, который сбежал от Советской власти, оставив при этом в лапах большевиков жену и крохотного сына? Ведь могло даже возникнуть подозрение, что он, перебежчик, разочаровался вовсе даже не в чудовищной советской действительности, а просто разочаровался в своей семейной жизни и перемахнул кордон, спасаясь от бракоразводного процесса и алиментов…

С другой стороны, надо принять во внимание интересы той организации, что затеяла хитроумную операцию.

Ведь если бы таким путем удалось внедрить в лоно враждебной Румынии своего разведчика, то уж, в первую очередь, следовало обеспечить ему сносную жизнь в этом лоне. У него должны быть там не только средства к существованию, но и крепкая семья, готовая разделить все опасности и риски такой работы.

То есть, наше с мамой участие в этой операции было непременным.

Сдается мне, что незабываемое плавание на пароходе по Черному морю, которое стало самым ярким впечатлением моего раннего детства — еще раз напомню, что мне тогда не исполнилось и двух лет, — было частью этой шпионской эпопеи.

Я запомнил на всю жизнь — и уже рассказывал об этом, — чудные видения Севастополя, Ялты, Медведь-горы; дворец Ласточкино гнездо, стоящий на высокой скале; дохлого ската, похожего на блин с хвостом, который болтался в волнах у причала; бамбуковую удочку, которая росла прямо из земли, еще в листьях; и то, как мы приплыли в Батум, и там, в ботаническом саду, меня сфотографировали сидящим, поджав ноги, как турок, на каменном грибке.

Но я до сих пор молчал, как партизан, скрывал от всех, как

подобает бойцу невидимого фронта, что это плавание по Черному морю имело еще и сухопутное продолжение: пограничный контрольный пункт в Батуме, через который нас пропустили, не пикнув, потому что знали, что мы — *свои люди*; и турецкая застава в Трапезунде, которую мы тоже благополучно миновали, имея на руках надежные документы; и шумный Константинополь, он же Истанбул, где теперь перебывали все мешочники, все челноки России, но тогда…

В детстве мама часто спрашивала меня, как бы намекая на давнее приключение: «А ты помнишь?»…

Но я мало что помнил.

Может быть, в том проявилась врожденная способность к опасной и трудной профессии разведчика: забывать, вычеркивать из памяти то, что не подлежит огласке, что нельзя выбалтывать ни при каких обстоятельствах.

Однако — и это надо честно признать — тогда, в двадцать девятом году, столь хитро задуманная и тщательно спланированная операция сорвалась.

Нас не пустили в Румынию. Не оставили и в Турции. Велели ехать домой.

И я допускаю, что причина провала была во мне.

Нет, эти румыны и турки нисколько не усомнились в изложенной версии: что люди бегут из большевистского ада, не в силах больше терпеть издевательства, пропагандистский гнет, зажим частного предпринимательства, — что они ищут свободу, только свободу, ничего кроме свободы…

Конечно же, мой отец вполне убедил их в этом. Он, вообще, обладал редким даром убеждения: он мог убедить кого угодно и в чем угодно, не исключая себя самого… Ведь этот дар был неотъемлемой частью профессии разведчика.

Что же касается мамы, то не следует забывать, что она к тому времени уже была киноактрисой, снималась в фильмах Одесской киностудии. И ничего зазорного нет в том, что кинофильмы эти были еще немыми. В ролях трагических героинь, которые ей доверяли, вовсе и не нужно было произносить пылкие речи, а было достаточно поднести платочек к губам, поднять горе полные страдания глаза, уронить слезу… А это она умела.

Хуже обстояло со мной.

Мои актерские способности были на нуле. Это выяснилось еще на детских пробах, которые состоялись на той же Одесской киностудии. Сколько ни втолковывала мне Вера Павловна Строева, режиссер будущего фильма, что родная мать бросает меня на произвол судьбы, уходит навсегда — я не плакал. И даже тогда, когда по ее наущению помощник режиссера отвесил мне

изрядный шлепок по голой заднице, я снес это, стерпел, не проронил ни слезинки, не заревел благим матом, а продолжал сидеть на столе, уставясь в глазок кинокамеры. Пробы мои тогда не удались.

Не вышло и на сей раз.

Этот дядька, сигуранца хренов, наверное, всё ждал, когда же я пущу слезу по поводу притеснений в большевистской стране.

А я не мог выдавить ни слезинки.

Честно говоря, я не совсем понимал смысл этой игры, этой затеи. Я не знал, о чем, вообще, идет речь.

Я улыбался от уха до уха. Мне, в мои полтора года, и при социализме жилось неплохо.

А что там окажется в капитализме — это еще бабушка надвое сказала…

Мне не поверили.

Вообще, наверное, я не обладал необходимыми качествами для шпионской работы. Это касалось и моей масти: рыжие слишком заметны и всегда на подозрении.

Пришлось возвращаться восвояси.

Мир тесен.

Семьдесят пять лет спустя, Тамара поведала мне о том, как ее тетка Лидия, родная сестра матери, Анны Христофоровны, в конце двадцатых годов отправилась по делам в Константинополь, и там, совершенно случайно, увидела в толпе высокого темноволосого мужчину, который шагал по улице во главе счастливого семейства: блондинка с жемчужными глазами — вероятно, его жена, и мальчонка в рыжих кудрях, наверное — сын, которого папа и мама держали за руки с обеих сторон.

Лидия узнала мужчину, хотя и давненько его не видела: он исчез из Аккермана, уехал в Париж, а из Парижа еще куда-то.

Это был Евсевий Тимофеевич Рекемчук, бывший муж ее сестры Анны, отец Тамары.

В пору харьковского детства я несколько раз бывал вместе с мамой на Холодной горе.

Иногда по пути к вокзалу, когда мы ехали на дачу, в Мерефу.

Иногда же, направляясь в гости к моей первой школьной учительнице Марии Спиридоновне Воскобойниковой, которая жила там, на Холодной горе.

И всякий раз мама старалась привлечь мое внимание к мрачному зданию с зарешеченными окошками, которое нависало, как глыба, над окрестностью.

— Видишь? — говорила она. — Это Допр, тюрьма.

Я вежливо выслушивал ее объяснения и, в нетерпеньи, тащил дальше, к трамвайной остановке. Всё ясно. Тюрьма как тюрьма. Зачем она мне, эта тюрьма?

Мы шли дальше.

Но мама, удерживая мое плечо, то и дело останавливалась, оглядывалась на здание с зарешеченными окошками, и взгляд ее при этом был тосклив и памятлив, будто бы она хотела выкинуть напрочь из сердца это угрюмое здание, но не могла: слишком прочно угнездилось оно там.

Теперь, из нынешних дней, добавлю, что на это нельзя было оглядываться, лучше б обойтись. Но жизнь напоминала ей об этом снова и снова. Куда денешься от воспоминаний?

И она всё оглядывалась, подобно библейской жене Лота, перед тем как та превратилась в соляной столп.

Мираж

Однажды в кафе «Уэкер», над которым располагалась балетная студия, появился человек по фамилии Орлицкий.

Он появился в том самом кафе «Уэкер», где дни напролет, за чашкой остывшего кофе, просиживали безработные артисты, дожидаясь, что вот-вот на доске объявлений вывесят бумажку с предложением работы — в Париже или далеко от Парижа, — что вот-вот на пороге заведения появится хваткий, полный энергии человек, антрепренер, набирающий труппу.

Орлицкий и был таким человеком.

Ему требовались сразу десять девушек, десять балерин. Все мужские партии он исполнял сам.

Он предлагал восхитительное турне по средиземноморскому побережью — на том, на другом, на африканском берегу моря, — где под сенью пальм, под лучами ласкового солнца, в дуновениях прохладных ветров с гор Атласа нежились цветущие города Алжира и Марокко.

Он сулил им отзывчивую публику и хорошие деньги.

Притом Орлицкому требовались не просто балерины, а совсем юные балерины. Он, собственно, и наведался сюда, в кафе «Уэкер», зная, что над ним, этажом выше, располагалась балетная студия госпожи Преображенской — именно там, а не за столиками кафе, он отыщет счастливиц.

Ему требовались даже не десять балерин, а одиннадцать: еще нужна была совсем маленькая балерина, девочка лет эдак десяти, с которой он, Орлицкий, мог бы веселить публику в антрактах, покуда другие танцовщицы переодеваются. Шуточные, гротескные танцевальные номера, детская непосредственность, смех и аплодисменты…

> «Весть об антрепренере, набирающем труппу, облетела школу, как ураган, — *рассказывает в своих мемуарах Тамара.* — Хотя мы и были еще детьми, конкуренция между нами уже существовала.
>
> Когда наступил час просмотра, сердце мое колотилось отчаянно. Была ли вероятность того, что выберут именно меня? Но я подавила волнение, укротила эмоции и — просто танцевала, сознавая всю важность момента.
>
> И во время танца, и позже заметила, что он пристально смотрит на меня…»

Ей и впрямь повезло. И не только ей.

С учетом того, что дебютантке всего лишь десять с половиной лет, Орлицкий объявил, что готов взять с собою в гастрольную поездку и маму девочки: она будет заведовать походным гардеробом и, заодно, присматривать за девушками старшего возраста, чтобы они вели себя благонравно.

Так Анна приобщилась к высокому искусству балета.

Сама божественная Прео поставила гастрольные танцы Тамары: игривую русскую пляску (для этого танца ей сшили красный сарафан с пышными рукавами, белую блузу, скроили платок, концы которого завязывались у подбородка), танец заводной куклы из балета Делиба «Коппелия», где у этой куклы так потешно растопырены руки и ноги…

Ольга Осиповна отказалась от гонорара за свой труд хореографа, заметив при этом: «Вот когда вы вернетесь из поездки с карманами, полными денег…»

Описывая команду Орлицкого, Тамара выделяет фигуру некоего француза, ведавшего арендой театральных залов, гостиниц и средств передвижения: он всегда был в темном костюме с галстуком-бабочкой, в руке щегольская трость с серебряным набалдашником.

«Он явно подражал великому Дягилеву», — замечает она.

Пароход отплывал из Марселя.

Таким образом, отправным пунктом первой в ее жизни гастрольной поездки окажется тот самый порт, откуда уплыл когда-то на пароходе «Иония» к другим берегам ее отец.

Именно это путешествие остро напомнит ей о нем.

Недельное турне в Алжире, бывшем в ту пору французской колонией, прошло блестяще.

Тамара с восхищением описывает театр, ложи которого были обиты красным плюшем с позолотой, массивные бронзовые канделябры, широкий просцениум с отличным полом.

Подстать этой роскоши был и успех юных балерин из Парижа.

Однако путь артиста не сплошь усыпан розами.

В этом ей довелось убедиться, как только поезд увез путешественников из Алжира в другую африканскую страну — в Марокко.

И здесь наши пути разошлись.

Сестра отправилась из Алжира на запад, в Марокко, а я отправился оттуда же, из Алжира, на восток, в соседний Тунис.

Добавлю, что в Алжире у меня были свои заморочки. В тамошнем аэропорту подменили мой чемодан, и я, отперев его уже в гостинице, обнаружил вместо рубашек и галстуков, вместо

книг и подарков, с которыми наладился в долгий вояж, — кучу разноцветных бюстгальтеров.

Там же был странный разговор с давним знакомцем, послом СССР в Алжире Сергеем Сергеевичем Грузиновым — под сенью пальм мы с ним беседовали о родных березах, — и этот разговор заронил в мою душу тревогу и смуту…

Но об этом — о березах, о бюстгальтерах, — в другой раз.

Покуда же мой путь лежал в Тунис.

Еще добавлю, что мы опять разошлись с моей сестрой Тамарой не только в координатах места, но и в координатах времени.

Она приехала в Африку в 1931 году, десятилетней девочкой, а меня занесло туда же через сорок лет, в семьдесят втором, аккурат под светлый праздник 50-летия Советского Союза, мне было в эту пору уже сорок с гаком.

Тогда мы никак не могли пересечься друг с другом, потому что наша встреча еще не была запланирована в верхах.

Я поглядывал в окошко автомобиля, который катился по шуршащему, заметенному песком бетону, и по встречной полосе мчались вполне современные машины, «Рено» и «Шевроле».

Но обок шоссе, тоже в обе стороны, шествовали степенные верблюды, увешанные тюками поклажи. И это служило как бы напоминанием о том, что мы в пустыне, в Сахаре.

Древнеримские акведуки соседствовали с мозаичными куполами мечетей.

Смуглянки в алых бурнусах, с кувшинами на плече, шли мимо патлатых хипарей с рюкзаками, голосующих поднятием большого пальца за бескорыстие «автостопа».

У Кайруана нам встретилось целое кочевье, заполонившее всё окрест, едва ль не по самый горизонт.

Тысячи баранов, помекивая меж собою, топали по пескам, куда указано. Лопоухие ослы были навьючены мешками, из которых торчали безрогие головки недельных ягнят — им еще были не под силу такие переходы.

Вокруг стада, туда-сюда, носились собаки, погавкивая, присматривая, чтоб всё было в порядке. Пастухи на лошадях возвышались над этой волнистой зыбью пыльной бараньей шерсти.

Водитель микроавтобуса что-то сказал по-арабски нашему гиду, которого звали Али (из ихнего гэбэ), тот перевел его слова на дурной французский, а уж вослед за ними наш переводчик Влад Чесноков перетолмачил на русский:

— Это насчет баранов. Их гонят с пастбищ в Кайруан, там

будут резать. Скоро праздник — Ид аль-адха…

— Да, — подтвердил таджикский поэт Мумин Каноат. — Это наш Курбан-байрам, через неделю.

Ну, вот как славно, все праздники слились воедино: и Рождество, и Курбан-байрам, и еврейская Ханука, и Новый год, и пятьдесят лет Советского Союза, и мой, извините, день рождения.

Серый заяц в два прыжка — перед самыми колесами нашей машины — пересек бетонку и углубился в пустыню.

А я и не знал, что в пустыне бывают зайцы.

В голове роились обрывки вчерашней беседы в Институте арабской литературы, где пер Фонтен (Влад подчеркнул, что он не месье, а пер, то есть отец, лицо духовное, хотя и в штатском, несмуглый, француз) изложил нам свои взгляды на природу литературных жанров.

— Сам характер тунисца предрасположен к новелле, — говорил пер Фонтен. — Новелла коротка, мгновенна. Этот жанр был предпочтителен здесь еще при владычестве Рима… Вы ведь знаете, что Апулей родился в Тунисе. Его «Золотой осел» считается романом. Но в этой романной канве — одиннадцать новелл. Впоследствии их пересказывали порознь, как самостоятельные мифы — возьмите Амура и Психею, — из него качали сюжеты Боккаччо, Сервантес, Лафонтен, Филдинг, Смоллетт…

Я слушал отца Фонтена благоговейно.

— Всё дело в том, — продолжал он, — что в Тунисе нет рек. А, например, в Египте они есть. Через весь Египет течет великая река — Нил. И это определяет характер египтянина. Он как бы предрасположен к жанру романа — протяженному, полноводному… Между романом и новеллой всегда идет война, хотя они и состоят в родстве друг с другом.

Я не смел перечить отцу Фонтену, поскольку сроду не читал ни одного египетского романа.

Но, наверное, именно тогда — в Тунисе, в чинных стенах институтской библиотеки, а после здесь, в пустыне — я озадачился вопросом: как же мне быть, если меня всегда влекло к новелле, к жанру рассказа, короткой повести, — но та невероятно протяженная во времени и пространстве, густо разветвленная тема, которая, на склоне лет, захватила меня целиком и полностью — тема *рода* в сменяющихся его коленах, в его недолгих радостях и непреходящих тяготах, в метаньях по белу свету и в судьбинной привязанности к родному гнезду, к истоку — она звала меня в роман, в эпопею, как в пожизненную крепость, — в том и вопрос: как же мне совместить то и это?

В сумеречной дымке, средь песчаных барханов, замаячили

распатланные кроны пальм, и я обрадовался, полагая, что это — оазис, и мы там сделаем привал хотя бы на часок, чтобы размять ноги, дать отдых спине, замлевшей в многочасовой тряске, чтобы поесть жареного мяса, выпить кружку-другую здешнего пива «Селья».

Но пальмы почему-то не приблизились, а отдалились, сдвинулись в сторону и, помахав ветвями, исчезли.

Так это был мираж?

На вокзале в Касабланке наняли два конных экипажа. Погрузили багаж, сели сами.

Новая часть города порадовала высокими белыми зданиями, на манер небоскребов, каких в Париже той поры еще не было.

Белые дома… так это они дали городу его название Касабланка, что по-испански означает *белый дом*?

Тамара тоже родилась в городе, который назывался Аккерман, Четатя Албэ — *белая крепость, белый дом*, — не знаю, размышляла ли она об этом совпадении? Об этом она ничего не пишет.

А пишет о том, что чем дальше убегали лошади, тем быстрее таяли отрадные впечатления.

Старый город был убог и грязен, с узкими улочками, заваленными вонючим мусором. Вдоль этих улиц стояли облупленные дома с плоскими кровлями, давно не мытыми окнами.

Как это ни странно, но именно здесь возницы остановили свои экипажи. Сбросив на грязный тротуар багаж и корзины костюмерной, они запросили за рейс бешенные деньги. Пришлось платить.

Но адрес, действительно, совпадал с тем, что им было надобно.

Из обшарпанной кафушки, из-под вывески, утверждавшей, что заведение работает круглые сутки, день и ночь напролет, вышел марокканец, хозяин шантана.

Он потребовал, чтобы корзины убрали с тротуара, поскольку они загораживают вход в его кафе…

— Но это *Le Palais de la Danse*? — спросили озадаченные пассажиры.

— Да.

— А где же театр?

— Это и есть театр! — ответил он.

Пришлось объяснять, что они — артисты из Парижа, которых пригласили выступать на здешней сцене. Кстати, где эта сцена?

Хозяин повел их в глубь темного помещения. Там был

дощатый пятачок, платформа, чуть приподнятая над полом. Вокруг нее теснились грязные столики, по которым ползали полчища мух. Всё это освещалось одной тусклой лампой. Сцена не имела занавеса, отсутствовало и пианино. Кстати, двери за кулисы тоже не было, поскольку не было самих кулис. Вероятно, подразумевалось, что артисты балета будут подниматься на площадку, проходя мимо столиков питейного зала.

Вопросов было много, и все они были тотчас заданы хозяину.

Но смутить того было нелегко.

Он закричал в ответ, что ему не нужен такой балет, где по сцене ходят на цыпочках, где на девушках слишком много одежды, где балерины почему-то смотрят в потолок, на небо… Видал он эти балеты.

У него, сказал хозяин, есть железное правило: артисты должны делать то, чего требует публика, чего хотят посетители — в том числе присаживаться по первому же зову за их столики. Иначе они не дождутся от него ни сантима, ни франка!

Стоит ли удивляться тому, что юные балерины — как только до них дошел смысл этих требований, — разрыдались, припав к большой груди той единственной мамы, что была вместе с ними, Анны.

Ей пришлось успокаивать не только девушек, но и Орлицкого, антрепренера балетной труппы, который был возмущен и растерян: ему было обещано нечто совсем иное…

Орлицкий всё повышал тон своих речей, но и хозяин заведения отвечал ему тем же — орал изо всей мочи.

Дело пахло большим скандалом.

И вот тогда из-за единственного занятого столика под грязной стенкой кафе поднялись двое.

Они были военными. Фуражки с твердой тульей и прямыми козырьками, сзади которых на плечи свешивались белые полога, защищающие от солнца затылки: здесь, в Марокко, среди пустынь, это было не лишним. Их френчи песочного цвета были украшены погонами поперек плеча, на рукавах — нашивки, близкие французским знакам различия. Эти погоны и нашивки давали понять, что один из подошедших был в чинах, а у другого был чин поменьше. Однако у обоих на поясах висели кожаные кобуры, из которых торчали наружу рукояти пистолетов изрядного калибра.

Похоже, что эти двое уловили в разговоре, свидетелями которого они оказались, несколько фраз, произнесенных на русском языке.

Потому что один из подошедших — тот, что был постарше возрастом и чином, — щелкнул каблуками и, поднеся ладонь к

козырьку, представился тоже на чистейшем русском:

— Капитан Морозов. Иностранный легион. Мой денщик Алексей… Могу ли я быть чем-то полезным мадам, месье и этим прелестным мадмуазелям?

Орлицкий и Анна, несказанно обрадованные подоспевшей подмогой, заговорили разом, спеша объяснить случившееся.

Но он и так всё понял.

Он сказал, что находится здесь, в Касабланке, на отдыхе, пребывая в месячном служебном отпуске. Что он достаточно хорошо знает и этот город, и все его злачные уголки. И это дает ему право задать еще один вопрос: каким образом столь уважаемые люди, тем более его земляки, оказались в стенах этого самого отвратительного и самого порочного заведения во всей Касабланке? Молодым девушкам здесь, вообще, лучше бы не появляться… Понимают ли мадам и месье, что нужно срочно искать более приличное место, отель, где им можно остановиться без риска?

Теперь горластый хозяин заведения, молча, не раскрывая рта, слушал речи своего посетителя — впрочем, тот говорил сейчас на каком-то незнакомом, птичьем языке. Этого посетителя он знал и раньше, в другие дни, в другие ночи, — и потому лишь опасливо поглядывал на торчащую из его кобуры рукоять пистолета.

Вообще, судя по всему, в этом портовом городе с должным почтением относились к военным людям из Иностранного легиона.

Маленькая Тамара — несмотря на испуг, овладевший ею в самом начале этого колоритного эпизода, — старалась запомнить и отлично запомнила всё, вплоть до мельчайших деталей случившегося разговора.

Так, например, от ее внимания не ускользнула и следующая подробность:

> «…Он опять щелкнул каблуками, адресуясь моей маме, и я сразу увидела, что на него произвела большое впечатление ее пухленькая красота. В тот же вечер, под его приглядом, мы сменили отель».

Он разобрался во всем и всё уладил.

Сообразив, что разрыв контракта с *Le Palais de la Danse* больнее всего, как обычно, ударил бы по людям искусства — они остались бы без денег! — капитан Морозов взял на себя переговоры с владельцем кафушки.

Тот был перепуган вусмерть, но оставался человеком неуступчивым.

Договорились, что гастрольное турне, всё же, состоится. Согласовали репертуар: удалая русская пляска, итальянский танец с тамбуринами, испанское фламенко с кастаньетами… Никаких танцев голяком. И чтоб юных танцовщиц не тащили к столикам, об этом не могло быть и речи!

Он же, капитан Морозов, будет лично проверять счета, по которым хозяин расплачивается с артистами.

Уговор был подкреплен серьезными гарантиями.

Каждый вечер обшарпанный зал кафушки заполнялся сослуживцами капитана Морозова по Иностранному легиону. Они чинно сидели за столиками в своих френчах цвета песков пустыни, в твердых фуражках с золотыми позументами и белыми пологами до плеч, с тяжелыми кобурами на поясных ремнях.

Они жарче всех аплодировали народным танцам и бдительно следили за тем, чтоб никто из подвыпивших посетителей не лапал девочек.

Капитан Морозов был неистощим в знаках внимания.

Что ни день, он устраивал прогулки по Касабланке и ее живописным окрестностям.

К подъезду гостиницы подкатывали три конных экипажа. В первую коляску, как помнит Тамара, обычно усаживалась она, ее мама и капитан Морозов. В двух других ехали юные балерины под приглядом его денщика Алексея, который всегда помалкивал и не смел поднять глаз на своих спутниц.

Заметим попутно, что антрепренер Орлицкий не принимал участия в этих прогулках, поскольку был всецело занят поисками напарника, исчезнувшего импресарио с галстуком-бабочкой и тростью с серебряным набалдашником, так похожего на Дягилева. Был момент, когда показалось даже, что импресарио вообще сбежал, унеся с собою доверенные ему деньги. Но тут как раз пришла телеграмма из Марракеша, другого цветущего города у предгорий Высокого Атласа, в которой он сообщал патрону, что дела идут удачно, что всё готово к приему труппы, что условия тут будут столь же комфортны, как и в Касабланке…

Капитан Морозов лично угощал обедами своих подопечных, а, сверх того, его денщик Алексей приносил им в гостиницу корзины с апельсинами — всё так же молча, всё так же не подымая глаз.

Но, сколь ни был с виду строг капитан Морозов, как ни был молчалив его денщик, вскоре о них разведали всё.

Капитан Морозов воевал в рядах Белой армии. Он был храбрым, но очень добрым человеком: спас от смерти многих, в том числе деревенского парня Алексея, когда тот помирал с голоду, и позже, когда, сделавшись его денщиком, тот был ранен

в бою. Капитан не был женат, у него не было семьи, и потому Алексей сделался для него почти родным человеком. Они вместе покинули Крым, когда красные одолели Перекоп, ушли к чужим берегам с русской эскадрой. Вместе бедовали в Бизерте, тунисском порту, где стали на якорь черноморские корабли. Не найдя работы на берегу, капитан Морозов, как и многие другие русские офицеры, завербовался во французский Иностранный легион, воюющий в Марокко. Туда же, вслед за ним, отправился и верный денщик. Их полк стоял в пустыне, базировался в одном из фортов, отражал набеги мятежных племен берберов. Теперь обоим дали отпуск, и они отправились к морю, в Касабланку…

«…Я понимала, — рассказывает Тамара, — *что Капитан влюбился в маму, но, будучи джентльменом и следуя условностям, он выражал свою любовь в том, что устраивал прогулки для всех девочек, забота о которых была взвалена на мою маму».*

Она была чересчур наивна, что вполне извинительно в ее возрасте.

События развивались заведенным от века порядком.

Однажды молчаливый денщик Алексей, принесший, как обычно, в гостиницу корзину фруктов — от имени своего капитана, — вдруг разговорился, да еще как: никто не мог и ожидать от него такого потока красноречия!

Впрочем, пылкая его речь была предназначена одной лишь десятилетней девочке Тамаре.

Он поведал ей по секрету, что с капитаном Морозовым происходит нечто удивительное и непонятное. Что он опять достал из своего походного мешка русскую балалайку, к которой уже давно не прикасался, и теперь, в ночные часы, тренькает на ней, напевая русские народные песни, а также любовные романсы… Что он, капитан Морозов, совершенно убежден в том, что эта встреча в Касабланке — есть перст судьбы. Что он увидел в Анне ту самую русскую женщину — красивую, сердечную, отзывчивую, — о которой он мечтал всю жизнь.

Алексей спросил Тамару: как бы она отнеслась к тому, если бы мама вновь вышла замуж?

По-видимому, посланец любви был сам несколько смущен данным ему поручением, поскольку, как свидетельствует Тамара, он все время озирался, проверяя, не слышит ли эту речь еще кто-нибудь, помимо нее.

> «…Он сунул мне тяжелую корзину с фруктами и ушел. Почему он всё это сказал? Меня одолевали подозрения».

Но капитан Морозов вовсе не собирался прятаться за спину

своего денщика.

Он сам отважился на решительное объяснение. Притом сделал его в той форме, которая к лицу человеку военному.

Он предложил Анне выйти за него замуж — немедленно, прямо сейчас. Помимо прочего, это означало, что Анна вместе с Тамарой должна остаться здесь, в Марокко. Он не мог нарушить подписанный контракт либо дезертировать. Правила в Иностранном легионе были не то, чтобы строгими, но беспощадными: за дезертирство — смерть при поимке или расстрел у стены. Вот так.

Повидимому, Анна была огорошена. Может быть, не столько предложением руки и сердца, сколько обозначенными условиями: прямо сейчас, немедленно.

Изменить жизнь столь круто? Остаться с дочерью в Африке, где идет колониальная война, где стреляют, где расстреливают?..

При всем своем неравнодушии к военным, к воюющим людям — ведь и в ее прошлом была война, фронты, госпиталя, — ей, теперь уже тридцатилетней женщине, вовсе не улыбалась подобная перспектива.

Вот тут-то, очень вовремя, и вспомнилось, что она, помимо всего прочего, не свободна в своих решениях: ведь она состоит в браке, она еще числится замужней женщиной, хотя муж и исчез давно из ее поля зрения, из ее жизни.

Для заключения нового брака нужно было аннулировать прежний, оформить развод. А для этого нужен запас времени. Чиновники в Париже умеют так затянуть канитель, что уж и разводиться пропадет охота…

Кстати, а где они, ее документы, ее паспорт?

И тут вдруг выяснилось, что документы пропали. Что они вдруг исчезли самым таинственным образом.

Они потерялись или их украли? Где — в отеле? Кто? Зачем? И что теперь делать?..

Только этого ей и не хватало! Ведь без паспорта, без соответствующих виз они с дочерью не смогут не только продолжить поездку, посетить Марракеш, устроиться там в гостинице, — но и, вообще, не смогут сойти на берег в Марселе, вернуться во Францию!..

Это была сущая беда.

И в этой новой свалившейся на голову беде опять пришел на выручку капитан Морозов.

Вместе с Анной и Тамарой он отправился в префектуру. Он явился туда в военной форме легионера, с револьверной кобурой на поясе, и был в этом виде, как всегда, убедителен.

Он подтвердил там, что документы, черт их возьми, пропали,

что да, он сам их видел, в отеле — своими глазами! — а теперь их нет. Вы мне не верите?

Ему нельзя было не поверить.

Префектура согласилась выдать попавшей в беду соотечественнице новый паспорт.

Предложили заполнить анкету. В этой анкете был вопрос: «Ваша фамилия?» Чтобы не усложнять процедуру, чтобы избежать лишней волокиты, Анна вписала туда вместо фамилии *Rekemtchuk*, которую носила в замужестве, свою девичью фамилию *Tchinarova*.

Еще в анкете спрашивалось: «Вы замужем? Одиноки? Вдовствуете? Разведены?» Она поставил крест в графе «Разведена».

В своих воспоминаниях, опубликованных еще до того, как в старых бумагах покойной матери вдруг обнаружилось ходатайство о разводе, Тамара написала:

> «…Мама никогда не разводилась с отцом, но, быстро всё сообразив, вняв подсказке Морозова, она изменила свой статус одним росчерком пера. Она сделала это без колебаний, а впоследствии объяснила мне, что так было проще, нежели затевать официальный развод во Франции, в католической стране, где вообще не поощряются разводы, и где пришлось бы объяснять причины несовпадением с политическими взглядами мужа. Кроме того, это сэкономило деньги…»

И дальше, будто бы в одночасье повзрослев и прозрев:

> «…Она вышла из префектуры разведенной женщиной. А я всё более обретала уверенность в том, что ее красивый легионер был ответственен за эту махинацию. Он был умным, уверенным в себе человеком, вызывающим уважение и даже страх у официальных лиц. Подкупил ли он марокканца, чтобы тот выкрал мамины документы? Ведь ее отказ выйти за него замуж был обусловлен тем, что она несвободна. Мы не исключали такого варианта. Но без этого человека мы бы пропали».

Чем же завершилось сватовство капитана Морозова?

Тогда, в семидесятых, в Тунисе, я не задумывался об этом, поскольку даже представления не имел о страстях, разыгравшихся в Марокко.

Мне вполне хватало тех страстей, о которых я был наслышан

с детства.

Слоняясь по крикливым, пестрым базарам Туниса, часами просиживая — единственным зрителем — в пустынных каменных амфитеатрах времен римского владычества, любуясь зеленым прибоем с причалов Бизерты, — я ни на минуту не забывал о том, что именно сюда, на этот берег, ровно полвека назад были *выброшены* родные мне люди: сестры моей мамы — Анна и Ольга.

Они бежали из Крыма на кораблях Русской эскадры. Бежали от массовых расстрелов офицерского сословия, от чекистских застенков, от тюрем, от каторги, от лагерей, подобных тем, каких я навидался поздней в Большеземельской тундре и в которые едва не угодил сам — за отца, за тех же беглых теток…

Но и здесь, на африканском берегу, в Бизерте, их ждали подобия тех же концентрационных лагерей — разве что не под соснами, а под пальмами.

Не только береговые форты, но и сами корабли, на которых они приплыли сюда, сделались пленом, узилищем, плавучими тюремными бараками. Их стерегли часовые, которые сами же были заключенными. Они спали в трюмах вповалку, впритирку — морские офицеры, их жены, их дети, их денщики. Подыхали в карантинах от брюшного тифа, от бубонной чумы, от голода. А тех, кому разрешалось сойти на берег в поисках работы, куска хлеба — тех на берегу встречали злые глаза таких же отчаявшихся смуглолицых людей, безработных, нищих…

Я уже писал о том, что моим теткам в Тунисе повезло больше других.

Будучи опытными медицинскими сестрами, они нашли работу в городском госпитале. Красавица Анна привлекла к себе благосклонное внимание видного французского чиновника, который вскоре был назначен губернатором Мадагаскара. Она вышла за него замуж, сделалась *мадам Буляр*. Сестра Ольга, как всегда, была рядом с нею. С нею же был сын — Алеша Гавловский, мой двоюродный брат, которого я никогда в жизни не видел, как, впрочем, и самих теток.

Но ведь Гавловский — это фамилия первого мужа Аси, морского офицера. Куда же подевался он?..

Моя мама рассказывала, что он умер на корабле, в плаваньи. Говорила об этом неуверенно и неохотно: ведь жизнь уже научила ее не больно-то распространяться, даже дома, о заморской родне.

Но и после ее кончины, когда на недолгий срок у меня завязалась личная переписка со старшей из сестер, Ольгой Андреевной — увы, недолгая, — я, из деликатности, всё откладывал наиболее щепетильные вопросы.

А потом не стало ни Ольги, ни Анны, ни даже Алеши.

В 2003-м году, на книжной ярмарке в Доме художника, что у Крымского моста, я купил только что вышедший из печати «Бизертинский морской сборник» — избранные страницы летописей, которые в самом начале двадцатых вели русские моряки, волей судеб оказавшиеся на чужбине.

Воспоминания, документы, списки, рапорты…

Я не чаял найти в этой книге родные имена, поскольку уже знал из предисловий, что в ней зафиксированы лишь фамилии офицеров списочного состава, бывших на кораблях, что в списках нет женщин, кроме женщин — военных врачей, которые в те времена были крайне редки, а мои тетки были всего лишь сестрами милосердия.

Но читал внимательно, цепко, раз за разом, уповая на неожиданность, на удачу.

И мое усердие было вознаграждено.

В «Списке строевым чинам Русской эскадры, прибывшим в город Бизерту (к 25/111 1921 г.)» увидел перечень:

МИЧМАНЫ
…Васильев Сергей
Веденяпинский Владимир
Ворожейкин Сергей
Вырнов Василий
Гавловский Николай…

Тут не могло быть сомнений: это он, муж Аси, отец Алеши.

То есть, он прибыл в Бизерту вместе со всеми, на кораблях Русской эскадры, которая стала на якорь в этом тунисском порту в декабре 1920 года. И, спустя несколько месяцев, оставался в строю, вместе со всеми — как штык.

Значит, версия о том, что он умер во время плаванья, отпадала.

Но, может быть, это случилось позже, когда корабли уже стояли на приколе, а в их кубриках, в их трюмах пошли гулять смертельные поветрия, что почти неизбежно при таком скоплении людей в чудовищных антисанитарных условиях?

В той же книге нашел «Список умерших русских, прибывших в Бизерту на Русской эскадре и на госпитальном судне „Цесаревич Георгий“».

Десятки имен и фамилий… полковник, поручик, штабс-капитан, солдат, матрос, кадет… жена мичмана, новорожденный ребенок, мертворожденный ребенок… даты с примечаниями:

умер в пути, умер в госпитале, умер в лагере Айн-Драгам… диагнозы: брюшной тиф, чума бубонная, паралич, отравление газами в цистерне подводной лодки, самоубийство, несчастный случай во время шторма, самоубийство…

Но в этом скорбном списке, слава богу, не было мичмана Николая Гавловского.

Зато в другом списке я обнаружил похожую либо искаженную писарем фамилию с тем же именем: Гавлицкий Николай, поручик…

Что же это за список? Он назывался: «Список чинов флота, находящихся в пределах Королевства СХС (сербов, хорватов, словенцев)» и был составлен по сведениям, поступившим к 1 апреля 1921 года.

Список обширен — сотни фамилий, от адмиралов до подпоручиков.

Именно в это время генерал Врангель, обосновавшийся после ухода из Крыма в сербском городке Сремске Карловице, задался целью собрать всех офицеров и солдат, оказавшихся на чужбине, в единую армию, а вокруг армии сплотить политические силы белой эмиграции.

Он был упорен и настойчив в достижении этой цели, и гневался чрезвычайно, когда кто-то со стороны мешал его делу. Так, например, известно, что Врангель распорядился гнать прочь вербовщиков французского Иностранного легиона…

Значит ли это, что мичман Николай Гавловский ушел из Бизерты к Врангелю? Что он сам видоизменил свою фамилию, как это сделают потом, в тридцатых, добровольцы испанских Интербригад? Что он получил новый военный чин? Что он погиб или умер своею смертью уже где-то в Сербии? А если он, вообще, остался жив?..

Следует ли из этого, что моя тетка-красавица Анна вдруг оказалась в том же положении — ни вдовы, ни мужней жены, — что и Анна Чинарова? И вышла замуж снова, с ребенком на руках?..

Ни на один из этих вопросов я не могу ответить. Потому что не знаю, так ли. Потому что не хочу сочинять.

А вам кажется, что это — роман, где я волен делать со своими героями всё, что душе угодно?

Попутно, пробегая взглядом списки в «Бизертинском морском сборнике», я нашел там немало знакомых имен и фамилий, так или иначе связанных с моим повествованием.

Как мираж в пустыне, промелькнули мои давние друзья из Высшего монархического совета — капитан 1-го ранга

Константин Карлович Шуберт, капитан 2-го ранга Б. Апрелев — они тоже ушли из Бизерты в Сербию, к Врангелю.

Нашелся тут и капитан Морозов, мой несостоявшийся родственник, его звали Василием.

Знаю, что это очень распространенная русская фамилия и, в сочетании с таким же распространенным русским именем, она встречается очень часто.

Но интуиция подсказывает мне, что это — именно он.

В бизертинских списках оказалось лишь двое Морозовых, Василий и Евгений. И тот, который Евгений — не капитан, а подпоручик. Он, как и многие, отправился в Королевство сербов, хорватов и словенцев.

А капитан Василий Морозов, вместе со своим денщиком Алексеем, не устоял перед посулами вербовщиков французского Иностранного легиона, подался в Марокко воевать с берберами.

Именно там, пребывая на отдыхе в Касабланке, он и повстречался с маленькой балериной по имени Тамара, с ее пухленькой мамой, Анной.

Там и случилась любовь.

> «…Благодаря решительному Морозову, — *заключает Тамара очередную главу своих воспоминаний,* — мы смогли закончить сезон, получить деньги сполна, заручиться официальным документом, паспортом, подтверждающим — кто мы есть. Нам удалось покинуть Касабланку, обретя мудрость и опыт, сохранив целомудрие».

Дойна

Она еще раз выбежала на сцену, повинуясь рукоплесканиям зала, согнулась в поясном поклоне, повела рукой, коснувшись пола кружевным платочком, — и опять, на пуантах, засеменила к кулисам…

Теперь, вслед за русской пляской, ей предстояло танцевать сен-сансовского «Лебедя», а для этого требовалось сложное переодевание: вместо сарафана — белая пачка, вместо кокошника боярышни — убор из белых перьев, плотно прилегающий к черным волосам, за которые и получила в детстве прозвище Жук.

Переодеваться помогала мама. В минувшие годы, определив дочь в балетную студию, сопровождая ее в концертах и гастролях, она научилась делать это вполне профессионально: без суеты, без лишних слов, в строго заведенном порядке, легко, а главное — надежно.

Не говоря уже о том, что сценические костюмы дочери она шила своими руками.

Занятые этим делом, они обе чутко прислушивались к звукам, долетающим из-за стен.

Между балетными номерами (ведь танцевала она одна, это был ее сольный концерт!) на сцену выходил скрипач, известный всему городу под кличкой цыган Кока, и, не обременяя публику конферансом, вспарывал тишину звучным аккордом бессарабской дойны.

Его скрипка поначалу рыдала, будто бы стараясь поведать всё, что знала о людских бедах, о разореньях этой древней земли, о набегах, войнах, казнях, о засухах и наводнениях, о полном безлюдьи окрест…

Но на этих обезлюдевших пространствах вновь занималась жизнь. У подножий старинных крепостных башен опять поднимались дома, ослепляя белизною стен, яркостью черепичных крыш, пестротой оград и калиток… Наливались соком гроздья виноградников; гнулись до самой земли отягощенные плодами ветви яблонь; пастухи гнали стада к загонам; рыбаки гребли к берегу на лодках, полных трепещущего серебра; мощные стебли мальв — красных, желтых, лиловых — возносились к небу, будто огни праздничного фейерверка…

И тогда, вечерами, смычки цыганских скрипок ударяли по струнам, состязаясь с трелями многоствольных флейт-мускалов, с перезвоном цимбал, с громыханьем бубнов. И вот уже ноги сами начинают плести кренделя. Руки смыкаются с руками. Хоровод пускается в пляс…

Вот, собственно, и всё, о чем пела скрипка цыгана Коки.

Ему аккомпанировала на рояле мадам Яцевич, та же самая, что сопровождала сольные номера юной балерины.

Возникли, было, проблемы с названием кинотеатра, поскольку в Аккермане той поры было несколько залов, фильмы показывали даже в старинной турецкой крепости, давшей городу его имя — прямо под открытым звездным небом.

Как же назывался кинотеатр?

Но тут я уже знал, к кому обращаться с подобными вопросами: писатель Кирилл Ковальджи, старожил Аккермана, автор «Лиманских историй», тот самый, который, по моей просьбе, перевел с румынского бумаги бракоразводного дела, затеянного когда-то Анной против своего беспутного мужа Евсевия Рекемчука…

Я позвонил Кириллу: как мог называться тот кинотеатр?

Он ответил, не колеблясь: «Одеон».

Летом 1932 года тринадцатилетняя Тамара, вместе с матерью, приехала из Парижа в Аккерман.

Это было событием огромной важности не только для самой девочки, но и для всего рода, для всего дома Чинаровых.

Отчуждение возникло в этом доме почти сразу после замужества Анны.

Ее избранник — боевой офицер, которого она встретила в военном госпитале, где была сестрой милосердия — увы, не оправдал надежд Христофора Чинарова.

Он и слышать не хотел о делах тестя: о виноградниках и винокурнях, о банковских счетах, коммерческих сделках, о землях, выгодно сданных в аренду, и о землях, столь же выгодно прикупленных к тем, что уже были.

А ведь Христофор Чинаров, самый богатый человек в Аккермане, и без того был угнетен горем: гибелью на фронте старшего сына Павы, беспробудным пьянством младшего сына Евграфа. Разве можно доверить пьянице винокурни?..

Вот муж любимой дочери Анны, слава богу, был равнодушен к хмельному зелью. Но, в равной мере, он был равнодушен и к тому, что уже тогда называли модным заморским словцом — к бизнесу.

Вместо этого, он с головой ушел в журналистику, погряз в делах провинциальной газетенки, пытаясь на этом никчемном пространстве заниматься большой политикой — дерзко полемизировать с властями. И это уже было взято на заметку в Бухаресте. Вездесущая Сигуранца всё более хмуро присматривалась к газете и ее редактору…

Но еще задолго до того, как разразился скандал с публикацией в газете «Вяца нова» статьи о Татарбунарском восстании, Христофор Чинаров сделал недвусмысленный и всему городу понятный жест: он указал на дверь собственной дочери Анне и ее мужу, выставил их за порог вместе с внучкой Тамарой, в которой души не чаял. Он повелел им убираться из его дома с глаз подальше. Но не слишком далеко: в дом по соседству, на улице Беликовича, тоже, естественно, принадлежавший ему.

Надо заметить, что этот переезд был воспринят молодыми не как наказанье, а как благо. Им давно осточертел деспотичный нрав седобородого патриарха.

Всё утряслось.

Лишь лохматая собака Нанка, любимица Тамары, никак не хотела примириться с новой диспозицией. На прогулках она всё норовила ухватить свою маленькую хозяйку за подол платьица и, рыча, тащила ее не к дому, где они теперь обитали, а через дорогу, через улицу — к другому двору, где они счастливо жили прежде, к двухэтажному дому Христофора Чинарова, надменно возвышающемуся над одноэтажным городом…

А потом дела обернулись еще круче.

Рекемчук, которому было предъявлено обвинение в публикации подстрекательских статей и с которого взяли подписку о невыезде, — махнул через кордон, сперва в Италию, а там и дальше, в Париж.

Его молодая жена Анна, разгорячась, подала заявление о разводе. Но потом, передумав, отправилась следом за беглым супругом — туда же, в Париж, прихватив, конечно, с собою и шестилетнюю дочь Тамару.

Вот уж это было откровенным вызовом тому патриархальному укладу, которого истово придерживался старик Чинаров.

Это был удар по его родительскому сердцу, которого он стерпеть не мог.

Теперь уж все связи были разорваны напрочь.

И даже впоследствии, когда до Аккермана дошли слухи об окончательном разладе между Анной и мужем, и о том, что Рекемчук снюхался с большевиками и, по своей воле, по своему разумению, решил вернуться в советскую Россию; и даже тогда, когда побывавшая в Константинополе Лидия вдруг встретила там на улице бывшего мужа своей сестры с какой-то русокудрой красавицей и рыжеватым отпрыском, — даже тогда крутую семейную распрю нельзя было счесть исчерпанной.

Анна с дочерью продолжала жить в Париже.

И это отщепенство теперь оправдывалось лишь тем, что Тамара, видите ли, учится в балетной школе, что ее успехи несомненны, что девочке прочат большую сценическую карьеру, — и было бы, конечно, безумием прерывать ее учебу ради того лишь, чтоб вернуться к родному очагу, к дедушке и бабушке, в захолустный Аккерман, где сроду не видели настоящего балета, разве что на экране в кинотеатре «Одеон», где задастые тетки, дергаясь, как на ниточках, изображают из себя балерин…

Вот каким чрезвычайным событием был приезд в Аккерман летом тридцать второго года Анны и Тамары Чинаровых (к этому времени они обе уже избавились от фамилии мужа и отца).

Это был не просто творческий отчет перед земляками.

Это был знак семейного примирения и торжества устоев.

Знаменитый «Лебедь» Сен-Санса, одна из прелестных пьес его сюиты «Карнавал животных». Там еще есть «Слон», «Кенгуру», «Черепаха», «Куры и петухи»…

Просто «Лебедь», а вовсе не «Умирающий лебедь», приспособленный к той же музыке, которого много позже повезли по всем балетным сценам мира, чтобы выдавить слёзы у публики — у сердобольных старушек и чувствительных девочек — ах, смотрите, какая роскошная птица подыхает прямо на глазах у всего честного народа, как красивы ее предсмертные конвульсии, как вздрагивают крылья, как никнет шея — всё, каюк…

Может быть, хореограф «Умирающего лебедя» хотел в такой вот изысканной форме намекнуть на то, что классический балет загибается?

Но с какой же стати тринадцатилетней балерине изображать умирающую птицу?

Всё ведь только начинается!.Мир прекрасен! И вся жизнь — впереди-

Юный, ослепительно белый лебедь появился из-за кулис и медленно, плавно, почти не тревожа воображаемую гладь воды, поплыл к онемевшим от такого дива людям.

В первом ряду зрительного зала кинотеатра «Одеон» восседало, почти в полном составе, семейство Чинаровых: Христофор Чинаров, глава рода, самый известный и самый богатый человек в Аккермане; его супруга Феодосия — степенная и хозяйственная женщина украинских корней; Лидия, сестра Анны, вместе с мужем Николаем, тоже преуспевающим дельцом; Евграф, брат Анны, увы, не преуспевший в коммерции из-за склонности к пьянству, но тоже успевший обзавестись семейством; старые и молодые, дети и внуки, все Чинаровы в

сборе…

Они с восхищением и гордостью следили за танцем приехавшей из Парижа девочки по прозвищу Жук: вот мы какие! мы еще покажем себя, не сомневайтесь!

Справедливости ради надо заметить, что в первом ряду зрителей этого балетного представления, кроме Чинаровых, был и еще один весьма уважаемый человек: мэр города Аккермана, имя и фамилию которого почему-то запамятовали горожане.

Он тоже, вместе со всеми, от души рукоплескал юной танцовщице — и ее белоснежному лебедю, и русской боярышне, и плясунье из «Цыганских напевов» Сарасате, и ее Кукле из делибовского балета «Коппелия»…

Но для него, для высокочтимого мэра, был уготован еще один сюрприз.

Весь сбор от концерта — а зал «Одеона» был полон, — его устроители пожертвовали родному городу.

И героиня вечера Тамара Чинарова, и ее мама, и мадам Яцевич, сопровождавшая музыкой танцы, — весь свой гонорар, до последнего гроша, они передали в руки городскому голове для нужд и процветания Аккермана.

У меня нет сведений о том, как распорядился своими деньгами цыган Кока.

Успех концерта в кинотеатре «Одеон» подсказал Чинаровым мысль дать еще несколько балетных представлений.

Ведь был разгар лета, и все, кто мог себе это позволить, отправились отдыхать и развлекаться на ближние к Аккерману курорты — в Сергеевку, в Каролино-Бугаз.

Эти живописные места на берегу Черного моря, у целебных лиманов, в последние годы приобретали всё большую известность у публики. Так, например, самые роскошные красавицы Бухареста — а что за красавицы в Бухаресте! — теперь всем иным модным курортам предпочитали Каролино-Бугаз.

Вот где можно было блеснуть своим искусством юной танцовщице!..

Эта идея казалась тем более привлекательной, что муж Лидии — Николай, — владел в Сергеевке грязелечебницей, которая тоже процветала и давала изрядный доход.

Таким образом, приятное сочеталось с полезным.

Семейство Чинаровых отправилось в Сергеевку почти в том же полном составе, в каком восседало на концерте в зале кинотеатра «Одеон».

Стеречь дом, управлять обширным хозяйством в Аккермане остались Лидия и Евграф. Ведь кто-то должен был, даже в сезон всеобщей праздности, делать дело.

Восемь лет спустя, в сороковом году, тоже в самый разгар лета, когда Красная Армия освободила исконно молдавские земли от гнета румынских бояр, когда город Четатя Албэ вновь обрел свое старое название — Аккерман, и еще не поменял его на нынешнее — Белгород Днестровский, — сюда приехал жить вместе с семьей маленький мальчик Кирилл Ковальджи, будущий поэт и прозаик, автор романа «Лиманские истории».

Как можно догадаться из названия его книги, он тоже испытал впоследствии некоторую растерянность: какое же из полудюжины имен древнего городка предпочесть в книге? И он поступил мудро — придумал свое, Лиманск.

Когда же герой этого романа подрос, ему открылись двери городского Дворца пионеров.

Это и был дом Чинаровых.

— Понятно, — рассказывал мне Кирилл, — что для этой цели, под дворец пионеров, был выбран единственный в городе двухэтажный дом, ведь все остальные были одноэтажными…

Куда же подевались обитатели чинаровского дома, его владельцы?

Роман не дает на это прямого ответа, поскольку является не документальной хроникой, а художественным произведением.

В «Лиманских историях» изображен некий Авердян — самый богатый человек в городе, владевший пятьюдесятью гектарами виноградников, тремя домами, электростанцией и мельницей. Ему уже стукнуло пятьдесят. Его родные братья оказались вертопрахами и мотами. Они не сумели распорядиться толком доставшимся им по наследству богатством. Лишь один Авердян сумел не только сохранить, но и приумножить доставшееся ему богатство. У него была жена, а детей не было…

То есть, как мы замечаем, яркий персонаж из «Лиманских историй» не был точным слепком с Христофора Чинарова.

Вместе с тем, как подтвердил мне Кирилл Ковальджи, этот образ в его романе, конечно же, ассоциирован с реальным лицом. Тому доказательством и фамилия книжного героя — Авердян, — автор как бы намекает на армянские корни прототипа.

В «Лиманских историях» изложена версия внезапной его кончины.

> «…У него обострился жестокий геморрой, и врачи советовали как можно больше ходить. Не помогло. Бабки поили его настоем стальника, знахарки сжигали его кровавые исподники и развевали пепел на все четыре стороны… он поехал в Вену, к какой-то мировой

знаменитости по этой части. Знаменитость оплошала. Авердян умер на операционном столе, и тело не успели доставить в Лиманск: Бессарабия как раз отошла к Советскому Союзу. Жена Авердяна потеряла в несколько дней и мужа, и всё имущество. Она уехала в Бухарест, бросив недвижимость. А наличных капиталов у покойного почти не оказалось…»

Но это — об Авердяне.

Я же пишу о Христофоре Чинарове.

Мне известна другая версия его смерти, другая легенда.

В дом Чинарова ворвалась банда пьяных громил. К сожалению, среди них оказалось и несколько вооруженных солдат из только что вошедших в город армейских частей. Они ринулись в винный погреб.

Хозяин, взбешенный этим вторжением, попытался остановить непрошенных гостей, встал у них на пути, раскинув руки.

Его проткнули штыком прямо у винной бочки…

Бабушку Феодосию сослали в Сибирь, и там ее след потерялся, ведь через год началась большая война.

Лидию, свою тетку, Тамара разыскала через Красный Крест лишь в 1965 году и забрала в Лондон, под свое крылышко.

Благодаря Лидии, мы и знаем кое-что о событиях того лета тридцать второго года.

Лил дождь.

Меня нельзя заподозрить в том, что я это просто сочинил — для настроения, для фона, — будто бы в тот день и в ту ночь в Аккермане лили проливные дожди.

Я утверждаю это, опираясь на публикацию в американском журнале «Dance Chronicle» воспоминаний Тамары Финн «Мои годы в танце».

И хотя ее самой тогда не было в Аккермане (как помним, она уехала на гастроли в Сергеевку), Тамара тоже настаивает на этом, ссылаясь на свидетельство своей тетки Лидии, которая рассказала ей об этом в Лондоне, тридцать лет спустя: Лидия уверяла ее, что в тот день и в ту ночь на Аккерман обрушился ливень.

Мы должны принять этот дождь, как данность, как символический аккорд стихий, как необходимое природное сопровождение события, о котором пойдет речь.

Ведь не случайно Тамара назвала главу своих мемуаров, посвященную тем дням и тем ночам, с подчеркнутой значительностью: «Летняя драма».

И, пересказывая эту историю, я сам дивлюсь тому, какой поистине шекспировской страстью было напоено всё вокруг в тот день и час.

Итак, лил проливной дождь.

Струи дождя били снаружи в оконное стекло так сильно, что Лидия и ее брат Евграф, сидевшие за обеденным столом, не сразу различили посторонний скребущий звук, доносящийся от того же окна. Умолкли, полагая, что почудилось. Но звук повторился…

Увидели ладонь, прижатую к раме. Пальцы вновь заскребли по стеклу.

Они сидели, застыв, боясь шевельнуться, скованные страхом.

Рассказывая об этом племяннице спустя десятилетия, Лидия подчеркивала, что в тот день Евграф, обычно гуляющий под хмельком с утра до вечера, был трезв.

Окно чинаровского дома располагалось высоко над землей, до него было трудно дотянуться, но вскоре рядом с первой рукой появилась и другая: она тоже скребла по стеклу, стучала, подавала отчаянные знаки…

Взяв со стола парафиновую лампу, Егор вышел на улицу.

Под окном столовой он увидел человека в брезентовом рыбацком плаще с надвинутым на голову капюшоном, прильнувшего к стене, согбенного, промокшего насквозь.

Заслышав хлюпанье подошв, человек нашел в себе силы привстать, распрямиться…

Евграф поднес лампу к лицу незнакомца и чуть не выронил ее от неожиданности.

Он узнал его тотчас, хотя и не видел почти десять лет.

Это был Евсевий Рекемчук, бывший муж его сестры Анны. Исчезнувший, сгинувший бесследно, почти забытый всеми…

Расспрашивать о чем-либо под дождем вымокшего, обессилевшего человека было бы не по-божески. Оглядевшись по сторонам, Евграф повел его в дом.

Он сильно изменился с тех пор, как его здесь видели в последний раз. Исхудал, померк лицом, лоб оголился, волосы на темени поредели.

Прежде всего его накормили, напоили горячим вином, дали обсохнуть у огня печи.

Вопросов не задавали. Он сам рассказал то, что считал нужным.

Через Днестр переправился на рыбацком челне, хорошо заплатив рыбакам. Река патрулировалась катерами — и советскими, и румынскими. На берегу, под дождем, тоже таились засады. Пришлось покинуть лодку вдали от берега, на мелководье, плыть к зарослям камыша, продираться сквозь

очерет, болотные травы, топи…

Он сказал: в его распоряжении — двадцать часов. Договорился с рыбаками, что те заберут его следующей ночью — будут ждать там же, в камышах, у берега.

А где Анна, Тамара?..

На тот случай, если их не застанет, написал письма: достал из-за пазухи несколько промокших насквозь конвертов с расплывшимися чернилами, положил их ближе к огню, чтоб просохли.

Вот когда сгодилось, что Евграф был совершенно трезв.

Молча, он взнуздал лошадь, вскинулся в седло, дал с места ходкий галоп.

До Сергеевки отсюда было двадцать с лишним верст. По такой-то слякоти.

Вот то немногое, что Тамара видела в Сергеевке своими глазами.

> «…Я смутно помню, что однажды поздним вечером дядя Евграф прискакал верхом на дачу, к берегу моря. Он был очень возбужден, взмыленная лошадь едва перебирала копытами. Евграф спрыгнул с седла, подбежал к маме. Они разговаривали шепотом. Потом запрягли дедушкиных лошадей в легкую повозку. Всё это заняло лишь несколько минут, они уехали».

Оставленный в доме наедине с Лидией, Рекемчук нашел в ней впечатлительную слушательницу.

Лишь благодаря ее пересказу, сделанному через много лет в Лондоне, можно сложить по крохам очень важные детали того, что он говорил, о чем думал, что предвидел в тот день проливных дождей, летом тридцать второго.

В записи этой исповеди, сделанной Тамарой со слов Лидии, мое внимание привлекла фраза: «К тому времени он стал писателем и жил на Украине».

Можно предположить, что слово «писатель» использовано здесь в том расширительном значении, в каком оно обычно употребляется на Западе, где к этой профессии причисляется любой владеющий пером человек: и журналист, публикующий статьи в газетах (а он попрежнему печатал свои корреспонденции в «Известиях», как правило — под псевдонимом); и сценарист, увлекшийся новым массовом искусством (а он, как мы знаем, писал сценарии для Одесской кинофабрики, позже — и для Киевской студии).

В числе его близких знакомых и друзей были, насколько я знаю, и писатели: молодой Ираклий Андронников, кинодраматург Евгений Габрилович, знаменитый украинский поэт Мыкола Бажан.

Но рассказ, сохраненный памятью Лидии Чинаровой, значительно расширяет круг литературных интересов отца.

Он упомянул о том, что Сталин цазвал советских писателей «инженерами человеческих душ». Говорил о всё возрастающей роли литературы в просвещении народных масс, о широкой и благотворной кампании по борьбе с безграмотностью. Он полагал, что повышение культуры, рост сознания людей, информированность населения печатным словом, сами по себе, вырвут Россию из нынешней изоляции, приобщат ее граждан к ценностям цивилизованного мира…

Вместе с тем, по словам Лидии, он не приукрашивал положения дел в большевистской стране.

Говорил о подозрительности и суровости Сталина в его отношении к интеллигенции. О том, что свобода творчества ограничена. И о том, что художники, писатели пытаются бороться с жестокостью режима. Не всем удается выстоять в этой борьбе, иных постигает отчаяние…

Именно в этом контексте он рассказал Лидии о самоубийстве Владимира Маяковского, потрясшем страну два года назад.

Для меня это свидетельство исключительно важно, потому что в моей памяти имя Маяковского никак не было связано с речами отца — он никогда не говорил мне об этом поэте, полагая, наверное, что я слишком мал для его стихов, даже тех, что предназначались детям; добавлю при этом, что моя мама терпеть не могла Маяковского — значит, он был вынужден считаться и с этим; и, тем более, я не помню, чтобы в нашем доме — во всяком случае, при мне — говорилось о пуле, пущенной Маяковским себе в сердце. Меня оберегали от подобных разговоров, ведь я и без того был впечатлительным ребенком.

Но гораздо позже, когда отца не стало — когда и его нашла пуля, — поэзия Маяковского, его смерть стали для меня неким общим знаменателем той трагической судьбы, что досталась не только отцу, но уже подстерегала и мою мать, и меня самого.

Я еще вернусь к этой теме.

Когда Евграф примчал Анну в Аккерман, они — мой отец и его первая жена — бросились друг к другу в объятия, заливаясь слезами.

Они уже и не чаяли, что когда-нибудь встретятся вновь.

Лидия и Евграф на несколько часов оставили их в чинаровском доме наедине.

Рассказывая мне об этой встрече (устно, в дополнение к написанному), Тамара подчеркивала, что не знает, провели ли они эту единственную ночь вместе в постели.

Вероятно, она считала, что именно эта подробность могла бы более всего задеть мои сыновние чувства.

Между тем, меня озадачивает совсем иное.

Тамара утверждает, что в ту ночь решались вопросы будущего. Отец опять звал Анну вместе с дочерью ехать с ним в Советский Союз. Причем не тайком — не так, как он сам добирался сюда, на рыбацком челне, под дулами пограничных застав, — а вполне легально, испросив на то разрешение властей. По ее словам, опять были пущены в ход такие сильные аргументы, как расцвет в СССР классического балета и бесплатное обучение талантливых девочек и мальчиков в балетных школах.

Я же размышляю вот о чем.

Ведь если он звал свою первую жену и свою дочь ехать вместе с ним в Россию, хотел соединить заново оборванные много раньше семейные узы, — то следует ли из этого, что к той поре, к лету тридцать второго года, он уже решил расстаться с моей матерью и со мной?

Допускаю, что семейные проблемы уже тогда давали о себе знать.

Но именно в это время мы как раз переезжали из Одессы в Киев, то есть было вполне очевидное намерение вить гнездо на новом месте. Подобные шаги — развод, — разумней осуществлять, разъезжаясь в стороны, а не таща за собою, совместным багажом, битые черепки…

Да и сохранившиеся письма моей мамы к отцу, датированные годом раньше, еще никак не предвещают семейной драмы, «летней драмы» тридцать второго.

И еще один вопрос не дает мне покоя.

Каким образом, вообще, Рекемчук мог узнать о том, что тем летом Анна и Тамара приедут из Парижа в Аккерман, положив конец долгому конфликту с главой рода?

О том, что в кинотеатре «OzfeoH» с большим успехом пройдет сольный концерт маленькой балерины, его дочери?

Об этом сообщили аккерманские газеты? Но они вряд ли могли так быстро пересечь границу и найти своего читателя, скажем, в Одессе…

Или же информация об этих важных событиях пришла из Аккермана в одесское Чека по секретным, по конспиративным каналам, от наших «кротов», засевших в Сигуранце?.. А им что,

больше нечего было делать?

Остается предположить, что концерт в кинотеатре «Одеон» и очередная ходка «Киреева» через кордон, его отважное плавание через Днестр на рыбацкой лодке, — совпали во времени случайно.

Не зря ведь он, предвидя возможную разминку, запасся письмами к жене и дочери.

В

прочем, всё оказалось тщетным.

Свиданье не привело к согласию.

«Горячие речи не могли поколебать твердый отказ мамы жить в России, — повествует Тамара. — Запад был безопасен, люди были свободны работать и зарабатывать без чьего-либо руководства. Маме нужно было думать обо мне, о моем балете, и никакие доводы отца о том, что балетные школы в России были лучше, не могли убедить ее. Ведь помимо всего прочего, это означало бы, что она уже никогда не увидит снова свою семью, не сможет даже переписываться с нею, будучи отрезанной от всего мира…»

И еще несколько фраз из ее воспоминаний: прибегну к ним, поскольку вряд ли сумею написать лучше.

«…В ту ночь, спустя час после полуночи, Евграф проводил отца к берегу реки. Они обнялись. Как мало в тот момент отец знал, что судьба уготовила ему! Последнее, что он сказал, было: „По крайней мере, теперь я знаю, что сделал эту попытку…“ По лицу его катились слезы».

В

от был бы я хоть мало-мальски справным музыкантом,

а того лучше — композитором, я бы не прошел мимо этого сюжета.

Я написал бы оперу и назвал бы ее «Дойна».

Ведь в этой стародавней подлинной истории, как на заказ, сошлись все компоненты, из которых складываются подобного рода произведения искусства.

Здесь есть столкновение житейских страстей, сильных чувств и неумолимого рока. Противоборство любви и долга. Зависимость людских судеб от сурового диктата времени. Характеры мощной лепки. Доминанта предчувствий.

Всё это дополнено трагедийностью исторического фона: передышка между двумя кровопролитными войнами; схватка жестоких тиранических режимов; замкнутость границ, их преодоление, тщета усилий.

И природный пейзаж: городок у стен древней крепости; могучая река, берег моря, проливные дожди с громами и

молниями; всадник, скачущий среди стихий; тряская повозка, которая мчится в обратном направлении; рыбацкий челн, подобный переправе Харона…

Тут было бы где разгуляться и гулким литаврам, и звонким тарелкам, и трещёткам.

Вообще, едва я поддался фантазиям этого плана, как немудрящие эпизоды уже описанного действа стали приобретать именно те жанровые черты, которые отвека были свойственны классической опере.

Вставные балетные номера: здесь, в «Дойне», это были бы танцы маленькой балерины, приехавшей из Парижа в родное захолустье… плывущий лебедь, удалая народная пляска, танец куклы…

В антрактах между картинами было бы вполне уместно вывести к задернутому занавесу городского цыгана, который, согласно обычаю, ударил бы смычком по струнам…

Вы уже догадались, что я имею в виду цыгана Коку, того самого, что ублажал публику кинотеатра «Одеон» своим искусством в перерывах между балетными номерами.

Вот уж не знаю, какая потусторонняя сила подтолкнула меня в тот час, когда я писал эти строки, заглянуть в пухлый том музыкальной энциклопедии, давно, еще с советских времен, пылящийся на книжной полке… То ли я хотел найти там характеристику дойны, как жанра? То ли надумал справиться, есть ли там, вообще, что-либо о цыганской музыке? То ли просто решил пробежать глазами статью о молдавском искусстве?..

Мой беглый взгляд вдруг уперся в фамилию «Кока». Отлистав обратно десяток страниц, я обнаружил в энциклопедии короткую справку.

Кока Евгений Константинович, родился в селе Курешница, в Бессарабии, в 1893 году… молдавский советский композитор, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР… Сочинения: две симфонии, детская опера «Жар-птица», балет «Цветы маленькой Иды», «Румынская рапсодия», «Весенняя симфония» — фантазия для скрипки с оркестром, оратория «Котовский» — с солистами и чтецом, сюита «Дойна»… Умер в 1954 г. в Кишиневе.

А кто скажет по этому поводу «быть не может!», тот напрасно взялся за чтение «Легенд».

П

рощальное письмо отца Тамаре дали прочесть лишь по возвращении в Париж, и то — по прошествии времени.

В нем он просил ее когда-нибудь заглянуть в его статьи, которые оставил в чемодане там, где они жили, в их бедной лачуге в Клиши.

Он полагал своим отцовским долгом руководить ее чтением. И, вспоминает Тамара, первым из русских писателей, кого он посоветовал ей прочесть, был Горький.

Во французской литературе выделял Виктора Гюго, Анатоля Франса, из поэтов — Ламартина, Мюссе. Он считал Ламартина почти равным Пушкину и сожалел о том, что переводы из Пушкина на другие языки в большинстве своем ущербны.

Еще из русских писателей он высоко ценил Тургенева и Толстого, особо подчеркивая, что Лев Толстой лучше всех понимал Россию.

Это письмо привело ее к выводу: «Он не был одним из тех коммунистов, о которых можно было прочесть в западной прессе — жестоким, безжалостным и неистовым. Он был романтиком, идеалистом, патриотом и, прежде всего, любил Россию и ее народ».

Впоследствии, уже на склоне лет, возвращаясь мыслью к отцовскому письму — к его, по сути, завещанию, — Тамара подводит итог своим раздумьям: «…Красота и магия поэзии сделали меня романтичной. Я никогда не сознавала, сколь похожей стала на отца. Гораздо позже, прочтя роман Пастернака „Доктор Живаго“, убедилась, что его мотивации были очень схожи с отцовскими».

Письмо пропало.

Оно пропало вместе с чемоданом, в котором хранились статьи отца.

Дело в том, что вослед за летней поездкой в Аккерман, началась беспрерывная полоса гастролей. Сначала «беби-балет», а позже Русский балет переезжал из города в город, из страны в страну, с континента на континент, попутно меняя названия, вывески, хозяев.

Тамара танцевала в Европе, в Северной Африке, в Америке, в Австралии… Пик ее сценической карьеры пришелся на Австралию. Там же состоялось ее замужество. Там провела она годы, отведенные историей Второй мировой войне.

И когда появилась возможность вновь посетить Париж, она, первым делом, отправилась в Клиши и спросила: «Где мой чемодан?» Ее переспросили: «Какой чемодан?» Она объяснила — какой, с бумагами. На это ей сказали: «Наверное, он сгорел». Она удивилась: «Сгорел? Но я не вижу следов пожара…» Ей ответили: «Была война. В Париже тоже была война. Здесь повсюду была война… Какой, к черту, чемодан?»

Что же касается меня, то отец не оставил мне никакого завещания.

Наверное, потому, что я был слишком мал. Кроме того, тогда — в тридцать втором году — еще не было внятных признаков того, что наша семья распадется. И позже, когда это случилось, он вовсе не хотел отдавать меня матери. Он всерьез полагал, что я приехал к нему в Киев насовсем, не желал мириться с моим возвращением в Харьков…

Но, главное, он не собирался умирать. В сорок-то лет?.. У него не было иллюзий относительно того, что творилось тогда в России. Однако же он и не видел причин хоронить себя заживо.

Короче говоря, он не оставил мне завещания.

Но, странным образом — теперь я это понимаю, — всё то, что было в его прощальном письме к Тамаре, пронесенном за пазухой, на груди, через границы, промокшем насквозь, высохшем у огня, хранимом в чемодане, как святыня, и, всё равно, пропавшем, — всё это, верьте или не верьте, каким-то образом, каким-то чудом, по воздусям, по таинственным токам ноосферы, где обретают вечную жизнь души страдальцев и праведников, — передалось мне.

Я вырос, возмужал, а теперь и состарился — таким же, каким был он: идеалистом, романтиком, верным сыном своей родины, олухом царя небесного.

Как и он, я люблю Горького. И даже теперь, когда это сделалось немодным, смешным, не боюсь в том признаться. Больше того, в литинститутской аудитории не устаю твердить студентам: «Читайте Горького! Не верьте тем, кто его клянет, не верьте этим подлецам. Читайте „Жизнь Клима Самгина“ — нет ничего равного этой книге…»

Что до Маяковского, то я тоже ношу его в сердце.

Был такой случай в моей жизни.

В пятидесятом году, в Сыктывкаре, меня исключали из партии.

Именно за то, о чем сейчас идет речь: за отца, еще за белогвардейских теток…

О том, что меня исключат, было известно заранее: такая команда поступила откуда-то сверху.

Поэтому никто не лицемерил, не пытался меня утешить. Некоторые, правда, сочувствовали. Одни, подойдя, говорили вполголоса: «Да-а, брат, это плохо — остаться без хлебной карточки…» Имелся в виду партбилет. Другие были жестче: «Исключение из партии — это политический расстрел…» Третьи усмехались мрачно: «Ничего, радуйся тому, что сам сюда

приехал, на Север… Теперь перемена климата тебе не страшна».

Партийное собрание проходило наверху, на третьем этаже Дома печати, в кабинете главного редактора газеты «За новый Север».

Мне велели сидеть внизу, в отделе, у телефона, дожидаться, покуда вызовут.

Не стану описывать своего отчаяния в тот момент. Душу томили разные гиблые мысли. Как же я буду жить с семьей — с женой и годовалой дочкой, — без хлебной карточки? Зачем я сюда, вообще, приехал? И не рано ли кончать человека — пусть это всего лишь политический расстрел, — когда ему отроду всего лишь двадцать два?..

Чтобы отвлечь себя, раскрыл томик Маяковского, карманный, с которым никогда не расставался.

Ведь тогда я еще не помышлял о прозе, писал стихи.

Нашел свое любимое — поэму «Про это». Отыскал строки:

Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.

Закусил губу, чтоб не раскиснуть в самый неподходящий момент.

Тут как раз и позвонили.

Лики

Встреча Штирлица с женой

Ловлю себя на том, что читаю эти страницы (без даты, без подписи), исписанные от руки почему-то зелеными чернилами (конспирация?), уже не с тем чувством, с каким читал другие документы из архивной папки.

Тогда, поначалу, была угрюмость познания, горестное сочувствие, щемящая сердечная боль…

Так было вчера, позавчера, все дни, которые я провел в служебном кабинете строгого дома на Владимирской улице.

А сейчас — нет, совсем иные чувства. Почему?

Может быть потому, что эти страницы, эти строки зеленых чернил написаны вовсе не рукою отца, а кем-то другим: неведомым мне человеком, присвоившим себе право писать его жизнь — притом наперед — так, как ему это кажется целесообразным.

Этот человек описывает — тоже заранее, наперед — каждый шаг, который моему отцу еще предстоит сделать. Именно он определяет каждое слово, которое он скажет, и даже те слова, которые он услышит в ответ.

Это называется *легендой*. Ее сочиняют другие. А жить по этой легенде предстоит ему.

Но только ли это отвращает меня от зеленых чернил?

Помимо всего прочего, я замечаю, что сейчас моим чтением движет совсем иной интерес. Я захвачен авантюрной интригой. В сдержанном лаконизме слога я улавливаю напряженный пульс жанра: ведь тут не принято предаваться рефлексии, разводить турусы на колесах.

Я заглатываю строки архивного документа с тем плебейским упоением, которое сопутствует обычно чтению *шпионского романа*.

В самом деле.

> «…„Киреев“ уехал через Ригу по французскому паспорту на имя Гайяра в качестве иностранца, возвращающегося из СССР к себе на родину. По приезде в Ригу он садится на пароход, отъезжающий в Скандинавию или в Амстердам, в зависимости от обстоятельств. Свой постоянный паспорт швейцарского гражданина на имя Анри Дюрана „Киреев“ получил на руки. По приезде в Стокгольм или Амстердам „Киреев“ уничтожает французский паспорт и переходит на

швейцарский, по которому выезжает через Берлин в Вену. Из Берлина или одного из городов на пути к Берлину он дает телеграмму на имя Голованова Вячеслава — Москва, Никитский бульвар 12, кв. 5 — следующего содержания: „Выезжаю такого-то“, — следует дата его приезда в Берлин.

В Берлине он останавливается в отеле Am Zoo на Курфюрстендамм, где проживает неделю, в течение которой с ним можно встретиться в занимаемом им номере, где он будет ждать посещения от 12 до 14 часов ежедневно в течение недели…

Пароль для встречи с „Киреевым“ в Берлине и Вене один и тот же. Пароль: „Я представитель от фирмы Лонжин. Имею для вас поручение в Румынии“. Отзыв: „Да, я с Румынией хорошо знаком, предложение могу принять“.

…Если письмо с тайнописью, „Киреев“ подписывает его именем „Анри“, если без тайнописи — „Стась“.

Переписка идет через нас. В конце пцсьма мы должны ему в тайном тексте сообщать о благополучии семьи. Адрес его жены: Одесса, Гимназическая ул. 25, кв. 5 Рекемчук».

Мое внимание почему-то цепляется за строки этого документа: «…В Берлине он останавливается в отеле Am Zoo на Курфюрстендамм…»

Откуда мне знакомо это название? Курфюрстендамм — в Западном Берлине. Да, я бывал там еще в ту пору, когда город был разделен стеною на два мира. Но я никогда не жил там в гостиницах, не сиживал в ресторанах. Всё больше пасся на Фридрихштрассе, на Александерплац — в Восточном Берлине, где чувствовал себя почти как в родном совке… Откуда же?

Может быть, я просто переутомился, роясь в архивных бумагах уже который день подряд? Бывает — заскоки памяти…

И вдруг осенило. Да это же из фильма «Семнадцать мгновений весны»! Именно там, над рестораном, в котором вечерами гужевался Штирлиц, висела неоновая вывеска Am Zoo… вроде бы так.

Опять этот Штирлиц.

Вернувшись в Москву, я не стал дожидаться, покуда в ящике опять начнут крутить знаменитый сериал, а отправился в книжный магазин и купил там очередное издание романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны».

С автором я был знаком давно. Еще с той поры, когда работал заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия» (было такое: на что ни отважишься ради московской прописки, которую утратил, живя на Севере!). В этом журнале и был напечатан роман Юлиана Семенова «Пароль не нужен», проложивший тропку к «Мгновениям».

Он был тогда не слишком знаменит, не сильно богат, вел себя свойски и даже застенчиво. Улыбаясь, пересказывал мне светские новости, сглаживая шуткой их остроту, величая почему-то Никиту Сергеевича Хрущева «Соломоном Абрамычем». Шел как раз шестьдесят четвертый год, Соломону Абрамычу предрекали отставку, да так оно вскоре и случилось.

Год спустя, я распрощался с «Молодой гвардией», с ЦК ВЛКСМ и его румяным вождем Сергеем Павловым (скажу честно, что это было большим облегчением для нас обоих). Теперь работал на «Мосфильме», был несказанно увлечен новым делом.

Однажды позвонили из Комитета по кинематографии: нужно срочно найти литературную основу для совместного советско-монгольского фильма.

Естественно, что подумал, прежде всего, о Юлиане Семенове, о его романе «Пароль не нужен»: там были и Блюхер с Постышевым, и барон Унгерн с атаманом Семеновым, и чекист-разведчик Максим Максимович Исаев со своей молодой женой, прелестной поэтессой Сашенькой. Там было всё, что нужно: и Дальний Восток, и Монголия, и Китай, и даже Япония… Сам автор был *восточником* по образованию, по профессии, знал и даже преподавал язык пушту. Он был легок на подъем и сговорчив в делах.

Однако возникла закавыка: роман «Пароль не нужен» уже был продан Киностудии имени Горького и там начинались съемки фильма.

Я всё-таки пригласил Юлиана Семенова на «Мосфильм», и мы с ним быстро нашли выход: новый сценарий, новый сюжет, близкий по материалу к «Паролю». Тотчас определилось и название будущего фильма — «Исход». Автор отправился в Монголию, а я доложил Комитету по кинематографии, что боевое задание выполнено.

Так на страницах книг, на экранах кинозалов и на домашних экранах появился легендарный советский разведчик Максим Максимович Исаев, он же — Владимиров, он же — Штирлиц.

Ему еще предстояла опасная и трудная работа во многих горячих точках земного шара: в Харбине и Шанхае, в Париже и Кракове, в Испании и Португалии, в далекой Австралии и еще более далекой Южной Америке…

Но свою главную работу — в личине штандартенфюрера СС Макса фон Штирлица — он выполнил в гадючнике Третьего Рейха, в самом логове германского фашизма, в кабинетах и бункерах высшего гитлеровского руководства.

Он снискал непреходящую славу у миллионов зрителей фильма «Семнадцать мгновений весны».

Штирлиц стал поистине народным героем — как Чапаев, как Василий Теркин, как Гагарин.

Известно, что престарелый генсек Леонид Брежнев на полном серьезе предлагал присвоить товарищу Штирлицу (Исаеву) звание Героя Советского Союза. Еле втемяшили старцу, что такого реального человека нету, а есть лишь экранный и книжный герой-

Изрядная доля почестей и, конечно, денег перепала автору, Юлиану Семенову.

Создатель Штирлица преображался на глазах. Еще совсем недавно застенчивый и добрый малый, он быстро входил в роль человека всемогущего, из той плеяды деятелей искусства, о которых говорили: «Он туда двери ногой открывает!» — и, по обстоятельствам, добавлялось — куда.

Мои отношения с Юлианом Семеновым в тот период оставались добрыми, хотя он перессорился со многими из бывших друзей. Мы продолжали встречаться — то в Союзе писателей, то в Доме литераторов, то в редакции журнала «Новый мир», где-то еще, бывало, что и за рюмкой.

Однако теперь мне казалось, что в его улыбке, прячущейся в космах бороды и усов, в его карих глазах — всегда смеющихся и плутоватых, — сквозит насмешка иного рода: что он знает нечто, чего я покуда не знаю, а ведь это нечто имеет прямое отношение ко мне; что он предполагает во мне, как нынче говорят, лоха, который мог бы тоже кое-что добыть, кое-чего нарыть в архивных закромах секретных служб, но вот — стесняется товарищ, чистоплюйствует, боится ручки замарать; а может быть, боится и чего-то другого? ну, что ж, найдутся мастера с более цепкой хваткой…

Но меня взаправду совершенно не интересовал тогда — да и теперь не интересует, — прибыльный жанр шпионского романа. Я и сейчас, кому как ни покажется, пишу совсем иное.

Я ни о чем не спрашивал Юлиана Семенова. А он был не из тех, кто выкладывается без спроса.

Теперь-то я, может, и спросил бы.

Но его уже нет на свете.

Я так и не нашел в романе «Семнадцать мгновений весны» берлинского ресторанчика с вывеской «Am Zoo».

Штандартенфюрер СС Макс фон Штирлиц посещал многие злачные заведения Берлина, работавшие дни и ночи напролет даже в войну.

Он охотно сиживал в кабаке «Цигойнакеллер», то есть в «Цыганском подвале», где истинным арийцам появляться было срамно, за что эсэсовские начальство не раз делало ему втык; он был своим человеком и в ресторане «Мехико», который, наоборот, приспособили для своих утех люди из Гестапо; он не гнушался появляться и в ресторанчике «Грубый Готлиб», хозяин которого встречал своих клиентов отборными ругательствами, и в том был особый шик; он потягивал из рюмки свой любимый коньяк в подвальчике «Вайнштюбе»; поедал айсбайн, жирную свинину с капустой, в маленьком ресторане Пауля у развилки дорог, в тихом лесу…

Выписывая из книги эти адреса, я воздал должное аппетиту и вкусу автора.

Между прочим, я тоже люблю мужицкий айсбайн.

Но ресторанчика «Am Zoo» в романе не было.

Лишь в динамичном эпизоде, где контуженный солдат вермахта Гельмут вместе с радисткой Кэт и ее новорожденной дочкой пытаются уйти от гестаповской погони, мелькают его размышления: «Нам доехать до Зоо, и там мы сядем в поезд. Или пойдем с беженцами. Здесь легко затеряться…»

К тому же, я вдруг вспомнил, что в фильме «Семнадцать мгновений весны» над входом в ресторан, где любил посиживать Штирлиц, была вовсе не вывеска «Am Zoo», а «Elefant», да-да, «Элефант», то есть слон… ведь слон — украшение любого зоопарка… а в харьковском зоопарке однажды откопали останки мамонта…

Естественная цепочка ассоциаций.

Но именно этот ряд совпадений заставил меня позорче вглядеться в текст романа и в строки архивного документа, который был передо мною — карандашная запись в блокноте.

> «…Если письмо с тайнописью, „Киреев“ подписывает его именем „Анри“, если без тайнописи — „Стась“».

А Штирлиц подписывал свои донесения в Центр условным именем «*Юстас*»: «…Иного пути й настоящее время я не вижу. В случае одобрения прошу передать „добро“ по каналу Эрвина. Юстас»; «Алекс — Юстасу: …необходимо выяснить… кто из высших руководителей рейха ищет контактов с Западом…»; телеграмма — в руках у Сталина.

Случайность?

В романе «Семнадцать мгновений весны» автор неоднократно

акцентирует увлечение Штирлица рисунком и живописью: «Он долго пробовал писать, но потом понял, что ему всё время мешает понять суть предмета желание соблюсти абсолютную похожесть. „Для меня бык — это бык, а для Пикассо — предмет, необходимый для самовыражения…“» В годы разлуки с женою, Штирлиц пытается воскресить ее облик на холсте: «Он хотел сказать ей, как часто он пробовал писать ее лицо и в карандаше, и акварелью. Однажды он пробовал писать ее маслом, но после первого же дня холст изорвал…»

В следующих главах мы увидим Рекемчука у мольберта, с палитрой и кистью. Он пишет мой портрет. Он работает в киевском Музее западного и восточного искусства. Его тоже очень занимает проблема взаимоотношений классики и авангарда…

Совпадение?

Я ошалело листаю страницы книги, которую читал и раньше. Но лишь теперь, после поездки в Киев, после всего, что мне открылось в архивных документах, я будто бы прочитываю ее впервые, дивясь череде совпадений…

Может быть, я не первый читатель, не первый писатель, которому дали возможность ознакомиться с содержимым серо-зеленой папки? А?

Но тотчас я одергиваю себя. Роняю на стол перо. Отодвигаю рывком и книгу, и блокнот.

Роман о Штирлице, фильм о нем — будь у него хоть дюжина реальных прототипов — существуют постольку, поскольку этот разведчик участвовал в войне. Он был в Берлине, когда война началась, и был в Берлине, когда война шла к концу.

Рихарда Зорге убили, но он успел передать в Кремль донесение, где была названа роковая дата: двадцать первое июня сорок первого года. На день не сошлось.

А моего отца расстреляли в тридцать седьмом, за четыре года до этого.

Ехал троллейбусом, «пятнашкой», из Литературного института домой.

На Пречистенке вошла дама, уже в летах, села на скамеечку у двери — знать, близок путь.

Я не стал разглядывать ее с головы до ног, зная безмолвный стариковский уговор: не обращать внимания на некоторую нашу вольность в одежде, на тот разнобой, что, вроде бы, придает человеку вид спортивный, легкий, а на самом деле прикрывает нужду — не во что одеться, всё уже старенькое, как и мы сами, побывало и в химчистках, и в стирке. Сумка на плече, тоже будто спортивная, однако функции у нее хозяйственные: сложить

продукты, закупленные в магазине. Одним словом — кошелка.

Но это так — лишь беглый взгляд, чтоб не смутить человека непрошенным вниманием.

Мы уже привыкли не пялиться, не узнавать друг дружку, а уж если узнал — то не поднимать по этому поводу суеты и шума.

Поскольку среди пассажиров этих центровых троллейбусов очень часто оказывались лица, которые еще совсем недавно были известны всем: узнаваемые, почитаемые, обожаемые лица.

Актеры академических театров, звезды киноэкрана, дивы оперетты, всемирно известные балерины, музыканты, художники…

Да и писательская братия в этих дневных троллейбусах попадалась нередко. Тут причины невнимания либо демонстративного отчуждения были иные: застарелые обиды, склоки; зависть, пережившая успех; памятливая ненависть политического свойства.

Но сегодня, в этот час — слава богу, — никаких писателей, кроме меня, в «пятнашке» не было, а меня кто теперь знает, кто читает?..

Я глядел в окошко и, мысленно, строил обобщения.

Да, мы и раньше не брезговали трамваем, автобусом, охотно ездили на метро — даже те, у кого были собственные «Волги», «Жигули», — лень ковыряться в гараже, ругаться с постовыми гаишниками, торчать в пробках, хотя какие же это были пробки, так, недоразумения…

Мы охотно пользовались общественным транспортом, поскольку это ничуть не унижало нас. Нам даже нравилось — быть как все! В том не было тогда *классового признака*, знака бедности.

А теперь, ежась от сквозняка из двери, мы сидим себе у окошек и смотрим, как мчатся по Пречистенке — обгоняя друг друга, нагло подрезая троллейбус, — «Мерседесы» и «Лексусы», за рулями которых восседают недавние фарцовщики, воры, бандюки, вдруг заделавшиеся хозяевами жизни, хозяевами страны.

Мы прячем глаза друг от друга еще и потому, что знаем свою вину: это *мы* сделали их *хозяевами* жизни.

И нечего оправдываться, нечего лепетать, что мы хотели вовсе не этого, а лишь мечтали о глотке свободы, о свободе своего вдохновенного творчества.

Мы получили *свое*, а они *свое*.

Нечего кукситься.

Я даже любуюсь тем, как величаво и гордо восседают на истертых кожаных сиденьях троллейбуса недавние властители дум, недавние кумиры сердец. Как высоко и твердо держат они

подбородки. Как смелы их взгляды. Как иногда их губы трогает благодарная улыбка — это когда их узнают, когда им кланяются совершенно незнакомые люди.

— Дом ученых, — провозглашает голос радиодиктора. — Следующая остановка — Академия художеств…

Дама с сумкой, та самая, что села в троллейбус на Пречистенке, поднялась со своего места и двинулась к выходу.

Попутно, мельком, она взглянула на меня — может быть, учуяла, что я обозвал ее *кошелкой*, — и прошла мимо.

Я увидел ее лицо, ее глаза.

Это длилось всего лишь секунду. Не десять, не семнадцать мгновений, а одну секунду, одно мгновенье.

Где же я видел эти глаза, серо-голубые, прозрачные, такие беззащитные, но, вместе с тем, и поразительно твердые, не смаргивающие, не роняющие слез?

Где я видел это лицо, такое открытое и, вместе с тем, такое кроткое, в ореоле светлых подстриженных волос?

Может, окликнуть ее, спросить, как нынче принято: женщина, это что за остановка? — и опознать по голосу.

Но, помнится, в фильме, где я ее видел, она тоже была безмолвна, не произнесла ни слова, только смотрела, смотрела…

Да и опоздал я с вопросами: она уже сошла со ступенек на асфальт, зашагала довольно бодро, взметнув на плечо ремень своей кошелки.

Дверь содвинулась. Троллейбус тронулся.

— Следующая остановка — Зубовская площадь…

И тут я вспомнил.

Это была жена Штирлица. Как же фамилия актрисы, которая сыграла ее в одном-единственном и то немом эпизоде? Забыл… Она не очень известна в киношных кругах, редко появлялась на экранах, вероятно — всё отдала театру, сцене… Как же ее зовут? Ведь об этой ее роли судачили не меньше, чем о самом Тихонове, игравшем Штирлица…

Вспомнил: эту актрису звали Элеонорой Шашковой, именно так.

А что, если это не она?

Теперь перед моими глазами, уже сами собой, прокручивались кадры знаменитого эпизода.

В маленьком берлинском ресторане появляется жена Штирлица, которую зовут Сашенькой — лишь однажды мы увидим ее в фильме.

Ее сопровождает *наш человек*, изображающий *ихнего*.

Они садятся за столик. Поодаль от другого столика, за

которым чадит сигаретой безмерно усталый и чем-то подавленный завсегдатай — советский разведчик Юстас, он же Максим Исаев, известный тут как Макс фон Штирлиц.

Спутник жены, извинившись, отходит к стойке буфета, заказывает по чашке кофе, себе отдельно — рюмку коньяку. Озабоченно поглядывает на часы: времени для свидания — в обрез, лишь несколько минут.

Идет фонограмма: проникновенная и печальная музыка Микаэла Таривердиева.

Жена Штирлица, наконец, перехватывает взгляд мужа.

Он каменеет от неожиданности, но ни вскриком, ни жестом не выдает своего волнения. Шевельнешься — и засекут, и тогда всем капут…

Они смотрят в глаза друг другу.

Как давно, как долго они не были рядом. Как отчаянно истосковались, лишь во сне видя родные черты. Дни, месяцы, годы — не то, что без ласки, но и без участливого взгляда. А ведь есть еще и обычные, повседневные тяготы жизни, преодолевать которые лучше бы вместе, но и этого они лишены.

А каких трудов, какого риска стоило организовать хотя бы эту встречу!

Наш человек у буфетной стойки, ее спутник, смотрит на часы. Просит буфетчика нацедить еще рюмку, чтобы не выдать своего напряга.

Двое любящих людей, через весь зал, смотрят в глаза друг другу.

Сколько тоски, сколько душевной муки в этих взглядах!..

Наконец, спутник у буфетной стойки принимает решение: пора.

Возвращается к столику, берет даму под руку, ведет ее к двери.

И всё.

На протяжении эпизода герои не проронят ни слова. Лишь взгляды — глаза в глаза. И музыка Микаэла Таривердиева.

Как в том безмолвном, немом кино, где снималась когда-то моя молодая мама.

Только глаза.

И еще — музыка, которую играет на стареньком пианино тапер, поглядывая на экран.

Нет даже закадрового текста, хотя, вообще, в этом фильме голос за кадром звучит довольно часто и объясняет многое.

Да, конечно, это единственно правильное режиссерское решение. И я рукоплещу ему — тоже безмолвно, мысленно.

Сравнительно недавно, в июле 2004 года, газета «Московский комсомолец» опубликовала пространное интервью с режиссером фильма «Семнадцать мгновений весны», народной артисткой СССР Татьяной Михайловной Лиозновой.

Думаю, что читатели газеты были не меньше меня озадачены жесткостью ее тона. Особенно с учетом того, что Юлиана Семенова к этой поре уже не было в живых.

> «…Я его не видела вообще. Только когда он мне свой сценарий сунул — на том кончилось наше с ним сотрудничество. И когда я показывала первый раз материал группе, разрешила прийти даже некоторым из родных. Смотрели сырой материал. Даже встреча с женой шла без музыки. И сцены этой, кстати, вообще не было в сценарии. И Юлиан, которого не звали, случайно попал на просмотр.
>
> Через день в „Неделе“ появился его рассказ на разворот… Называется „Встреча с женой“. И жутким языком он описывает то, что видел на экране. Читаешь и начинаешь себя презирать: это у меня так было! И еще: она сказала то, а он сказал это. В моей же сцене они не разговаривают. Но ему-то надо было как-то доказать… Пусть лучше скажут: „А это Татьяна взяла и выбросила весь текст…“»

Я не читал в «Неделе» упомянутого рассказа Юлиана Семенова «Встреча с женой». Верю Лиозновой, что он был плох. Как плохо в литературе, в искусстве всё *вторичное*. Юлиан обладал этим сомнительным даром: писать временами из рук вон плохо. Тем паче, когда пытался возместить в говорильне, в размазне натужных диалогов трагическую глубину молчания.

Но так ли всё просто на самом деле?

Почему этой встречи Штирлица с женой изначально не было в романе «Семнадцать мгновений весны»?

Почему, ошеломленный успехом этого эпизода у зрителей — действительно, лучшего в сериале — он и в дальнейшем не пытался включить его в текст романа, хотя бы тот, худенький, что в спешке нацарапал для «Недели»?

Нет, он вовсе не случайно был так угрюм в своем упорстве.

Дело в том, что никакой реальной встречи Штирлица с женой в берлинском ресторане *быть не могло*.

А что могло быть?

Я совершенно уверен, что Татьяна Лиознова вовсе не выдумала, не высосала из пальца (пусть она извинит мне изысканность метафор) забойный эпизод своего фильма.

Догадываюсь даже, как он возник.

В одной из последних глав романа «Семнадцать мгновений весны» у Юлиана Семенова есть эпизод, датированный с намеренной точностью: 17 марта 1945 года, 22 часа, 57 минут.

Штирлиц встречается со связником из Центра в ночном баре, причем — и это важно! — действие происходит не в Германии, а в Швейцарии, на нейтральной будто бы земле.

> «Штирлиц спросил связника:
>
> — Как у вас со временем? Если есть десять минут, тогда я напишу маленькую записочку.
>
> — Десять минут у меня есть — я успею на парижский поезд. Только…
>
> — Я напишу по-французски, — улыбнулся Штирлиц, — левой рукой и без адреса. Адрес знают в Центре, там передадут.
>
> — С вами страшно говорить, — заметил связник, — вы ясновидящий…
>
> Связник заказал себе большой стакан апельсинового сока и закурил…»

Итак, связника из ленты Татьяны Лиозновой мы нашли, в том самом месте, где он появляется в ее фильме: у стойки бара, хотя и пьет он здесь вместо коньяка апельсиновый сок. Ждет, покуда Штирлиц напишет свою записку…

Теперь попробуем отыскать Сашеньку Гаврилину, жену Штирлица.

Тот размышляет мучительно.

> «…Ну как же сейчас написать Сашеньке, как осенью — он точно помнил тот день и час: 17 октября сорокового года — он пересекал Фридрихштрассе и вдруг увидел Сашеньку, и как у него заледенели руки, и как он пошел к ней, забыв на мгновение про то, что он не может этого делать, и как, услыхав ее голос и поняв, что это не Сашенька, тем не менее шел следом за этой женщиной, шел, пока она дважды не обернулась — удивленно, а после — рассержено.
>
> Ну как написать ей, что он тогда три раза просил Центр отозвать его и ему обещали это, но началась война…
>
> Как может он сейчас все видения, пронесшиеся перед глазами, уместить в слова?»

Это очень недурно написано. И мне сдается, что в этом тексте мы нашли не только Сашеньку, как видение, но и всю эмоциональную, всю жанровую основу знаменитого эпизода, который, как кажется теперь Лиозновой, придумала она.

Между прочим, наш герой так и не дописал своего письма жене.

> «— Знаете, — сказал Штирлиц, пряча листочки в карман, — вы правы, не стоит это тащить через три границы. Вы правы, простите, что я отнял у вас время».

И вы, дорогой читатель, простите меня за то, что я злоупотребил вашим терпением, за цитаты, которые вы и без того знаете наизусть, за пересказ экранных эпизодов, которые у вас и так перед глазами.

За всё это кино, за всю эту изящную словесность…

Потому что в реальной жизни — даже той, что уже отошла в область далеких воспоминаний, что пролежала под спудом десятилетий на архивных полках, — там всё это выражено куда откровенней, строже и, главное, лаконичней.

> Пом. нач. ИНО ГПУ
> тов. ГОРБУ
> Только лично
> гор. Москва
>
> …Завтра, 7.VII, «КИРЕЕВ» выезжает из Харькова в Москву. «КИРЕЕВ» вначале настаивал на поездке семьи закордон и болезненно реагировал на наш отказ. В дальнейшем же «КИРЕЕВ» согласился с нашими уговорами, что семья будет его связывать, осложнит его легализацию и может привести, в случае ареста жены, к провалу.
>
> В результате мы твердо договорились с ним, что он едет без семьи.
>
> Мы ни в коем случае не можем допустить выезд закордон жены «КИРЕЕВА», являющейся весьма невыдержанной, а также частично находящейся в курсе его прежней работы.
>
> Мы обещали «КИРЕЕВУ», что после полугодового периода работы мы предоставим ему возможность встречи с женой…

Эти события и эти письма относятся к тому периоду, когда Рекемчук (ведь именно он действует под псевдонимом «Киреев») ввязался в разведывательную операцию, которая, по-видимому, обрела не только иные координаты, но и другой *масштаб*.

Он работает уже под непосредственным руководством Центра. А Центр — это Москва.

Но его семья — жена, сын — покуда еще кукуют в прежних местах обитания: Харьков, Одесса, потом появляется Киев…

Мы помним, что в служебном документе без даты и без подписи, написанном зелеными чернилами, утверждается безоговорочно: «…Переписка с женой идет через нас. В конце письма мы должны ему в тайном тексте сообщать о благополучии семьи. Адрес его жены: Одесса, Гимназическая ул. 25 кв. 5 Рекемчук». Одно из таких писем сохранилось в серо-зеленой папке. Я привожу его без изъятий, дословно.

25 VIII-31 г.
4-е письмо
Мой родной дорогой Стасюр!

Начала писать тебе письмо 21-го да вот до сегодняшнего дня не могла разрешить одного вопроса, о котором тебе хотела написать, а сегодня прочла письмо да и порвала — начала с начала.

Вчера получила твое письмо от 16-го августа, должна тебе сказать, настроение у нас одинаковое. Лето проходит, дожди чуть ли не каждый день, скука, тоска жуткая. Ты знаешь, я всегда боялась осени и с ужасом думаю о предстоящей.

Стасюр родной, почему ты не получаешь моих писем, меня прямо удивляет. Правда, я послала только три, но и те ты мог получить. Пишу не часто, но это милый от того, что писать о чем хочется — не могу, а писать о погоде и не интересно и никому не надо. Меня страшно удручает твое состояние и вообще твое положение, или вернее наше. Ты знаешь, но в твоем отсутствии жизнь так пуста, бессодержательна и нудна. Зачем?

Годы идут, проходят, а в жизни ничего интересного. Жду, не дождусь октября, думаю, что он разрешит положение. Но дальше такое существование бессмысленно. Думаю, что и ты с этим теперь согласен. Не знаю, имеем ли мы право быть немного счастливы? А хочется. Но пока только тяжело.

Держу себя в руках, но жизнь так складывается, что они часто помимо воли опускаются.

Живем еще на даче, и это единственное наше утешение, хоть воздуха вдоволь и им пользоваться разрешается, хотя не совсем так, хотели и этого лишить, но логические доводы убедили, что я могу еще здесь оставаться до 10-го числа, пока уедет Ляля с детишками. Ляля поправилась очень, детишки посвежели. Живем конечно еще там.

Тюрик чувствует себя на даче прекрасно, поправился, посвежел. Даже и я прибавила в весе — до 3 п. 22 ф. Но всё это не то. Покоя нет. А он нужен.

Писать обещаю тебе часто. Пиши и ты. Пиши, когда предполагаешь с нами увидеться.

Тюрик тебя, конечно, помнит, и даже очень помнит, нет дня, чтобы он тебя не вспомнил. Вообще, мы хорошие, мы только и живем тобой. Помни это и помоги.

Целуем тебя и любим,

твои Ли и Тюр.

Как видим, краткое имя «Стась» использовалось не только в разведывательной работе.

Мама обиходно называла мужа Стасик, Стась. В приведенном письме это имя приобретает звательную форму — Стасюр. Может быть, по созвучию с тем домашним именем, которым называли меня: Тюрик, Тюр.

Себя же мама именует Ли. И это надо понимать, как интимное напоминание мужу о том, что так он любил обращаться к ней — и что она, любя, приняла это.

Упомянутые в письме «Ляля с детишками», как нетрудно догадаться, это харьковчане с Малиновской улицы — Лидия Павловна, жена Пушки, со старшим сыном Юрием (Куркой) и младшим Колей (Никуськой).

Они приехали отдохнуть у моря, на даче под Одессой, которая, как явствует из письма, была предоставлена от отцовской службы. С нее-то и пытались турнуть до срока разнежившееся многолюдное семейство…

Всё это прочитывается *в открытом тексте*.

А есть ли еще и закрытый, спрятанный? Да, конечно. И она лишь по наивности могла предполагать, что ее подтексты не будут разгаданы теми людьми, которым, по служебной обязанности, положено читать эти письма еще до того, как они

попадут к адресату.

«…писать о чем хочется — не могу, а писать о погоде и не интересно и никому не надо»; «…Меня страшно удручает твое состояние и вообще твое положение, или вернее наше»; «…дальше такое существование бессмысленно… Не знаю, имеем ли мы право быть немного счастливы? А хочется. Но пока только тяжело…»; «Живем еще на даче, и это единственное наше утешение, хоть воздуха вдоволь и им пользоваться разрешается…»

Особое раздражение цензоров должны были вызвать ее догадки о том, что, вероятно, не все письма доходят по адресу: «…почему ты не получаешь моих писем, меня прямо удивляет. Правда, я послала только три, но и те ты мог получить…» На всякий случай, она исхитряется нумеровать свои послания: «4-е письмо…»

Такое строптивое поведение, уже само по себе предполагало меру пресечения.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
НАЧ ИНО ГПУ УССР

ИНО ОГПУ препровождает последнее письмо к известному Вам «Кирееву» от его жены. Письмо нами не послано по назначению, т. к. содержание его не может не отразиться на работоспособности «Киреева». Просьба принять соответствующие меры к тому, чтобы письма к «Кирееву» не носили изложения «столь тяжких условий жизни его семьи» т. к. подобные письма мы вынуждены будем не пропускать.

Одновременно просим урегулировать вопрос в отношении соответствующей поддержки семье «Киреева».

Замнач ИНО ГПУ (Горб)

Помнач V отд (Кулинич)

Вот теперь наш человек в Берлине (или где он пребывал в эту пору?) мог работать совершенно спокойно.

Так была ли вообще встреча Штирлица с женой?

Ведь когда-то, раньше или позже, она должна была всё-таки состояться?

Да, была. Да, состоялась.

В 1990-м, в том самом году, когда я (еще не зная — что найду, а что потеряю) зарылся в архивные документы на Владимирской улице в Киеве, автор «Семнадцати мгновений весны» Юлиан Семенов издал в Москве книгу, завершающую цикл его романов, посвященных Максиму Максимовичу Исаеву, Юстасу, Максу фон Штирлицу.

Новый роман назывался «Отчаяние».

Насколько могу судить, он не снискал у читательской аудитории той популярности, что выпала первым книгам этой серии. И опять-таки, насколько я осведомлен, эта книга не нашла своего продюсера, своего режиссера, не пробилась на экран, хотя бы домашний.

А жаль.

Потому что в числе ее персонажей — Сталин и Берия, Маленков и Ворошилов, Жданов и Хрущев, Вознесенский и Кузнецов; и прежний нарком внутренних дел Ежов, который, оказывается, мнил себя преемником Гитлера; и новый министр того же ведомства Абакумов, тоже расстрелянный, но уже после войны; и Рюмин, состряпавший пресловутое «дело врачей», и сами эти «врачи-убийцы» — Виноградов, Шимелиович, Этингер…

Но, разумеется, наибольший интерес представляют знакомые и полюбившиеся нам герои семеновской эпопеи.

Встретятся ли они друг с другом? Каковы они к этой поре? Ведь время не минует и их…

На обложке романа «Отчаяние» мы видим столь узнаваемое лицо актера Тихонова, играющего Штирлица в «Семнадцати мгновеньях весны»: это лицо изборождено страдальческими морщинами, темные волосы тронуты сединой. Зато на лацкане его пиджака сияет золотая звезда Героя Советского Союза — сбылась брежневская мечта!..

Но до этого счастья еще нужно *дожить*.

Погрузимся в чтение.

> «…Назавтра на допрос не вызвали; днем вывели на прогулку, предупредив, что за переговоры с другими арестованными он будет посажен в карцер, — полное молчание, любой шепот фиксируется.
>
> И снова ударило по сердцу, когда он, вышагивая по замкнутому дворику, услышал бой часов кремлевской башни, совсем рядом, сотня метров, полтысячи — всё равно рядом.
>
> А ведь я у себя дома, подумал он. Я на Лубянке, где же еще?! Я там, откуда уехал к Блюхеру в Читу в

двадцать первом, я там, где последний раз был у Дзержинского…»

И там же, на Лубянке, произойдет его долгожданная встреча с женой, которую он не видел двадцать три года.

Его сопровождает связник… то бишь, следователь, которого зовут Сергеем Сергеевичем.

«…Исаев почувствовал, как ослабли ноги и остановилось сердце, когда в камере, куда его ввели, он увидел Сашеньку, сидевшую на табурете.

Это была не Сашенька, а седая женщина с морщинистым серым лицом и высохшими руками; только глаза были ее — огромные, серые, мудрые, скорбные, любящие…

— Садитесь на вторую табуретку, — сказал Сергей Сергеевич. — Друг к другу не подходить, если ослушаетесь, прервем свиданье. Я оставляю вас наедине, но глазок камеры открыт постоянно, за нарушение будет отвечать Гаврилина — три дня карцера.

И, по-солдатски развернувшись на каблуках, Сергей Сергеевич вышел из камеры…»

Она расскажет ему на этом свиданьи о судьбе их сына Александра:

«Наш Сашенька пропал без вести… Санечка пропал в Праге, в последний день войны…»

Расскажет о себе самой:

«Так вот, когда мне сказали, что вы погибли, а Санечка пропал без вести, я рухнула… Я запила, Максимушка… Я сделалась алкоголичкой… Да, да, настоящей алкоголичкой… И меня положили в клинику… И меня спас доктор Гелиович… А когда меня выписали, он переехал ко мне на Фрунзенскую… Он был прописан у своей тетушки, а забрали его у меня на квартире…»

Автор фиксирует состояние своего героя, слушающего исповедь жены.

«…Зачем я не умею плакать, горестно подумал Исаев, как счастливы те, кто может дать волю слезам; от инфаркта чаще всего умирают улыбчивые люди».

Но сам Юлиан Семенов умер не от инфаркта, а после инсульта, через два года после выхода в свет романа «Отчаяние».

Вижу перебор цитат в этой главе, но без них — никак нельзя. Может быть, в следующей главе я отмолю этот грех незамутненной беллетристичностью текста.

Прятки

Он был где-то за тридевять земель, а мы жили в Киеве.

Иногда мама вела меня обедать в «Континенталь», в тот зал с серебряным потолком и лилиями в воде фонтана, который был мне уже знаком.

Ведь пребывая по долгу службы за тридевять земель, мой отец оставался директором этой интуристовской гостиницы и, стало быть, нас с мамой, как членов семьи, вполне могли накормить чем-нибудь вкусненьким либо со скидкой, либо вовсе задаром.

Я допускаю также, что маме иногда надоедало сидение дома, в четырех стенах, готовка на кухонном примусе. Нужно учесть и то, что наш семейный кошелек бывал иногда пуст.

В этих стесненных обстоятельствах не было лучшего выхода, чем скромный обед в «Континентале».

Однако ресторан есть ресторан, тем более ближе к вечеру.

И кроме нас с мамой, в этом зале с серебряным потолком было полно разношерстой публики, которая гуляла на всю катушку.

Вероятно, тут были и иностранные туристы, те, которых возили по городу на «Линкольнах» цвета кофе с молоком. Были и гости из более близких краев — например, с благодатного Кавказа, — за их столами вино лилось рекой, а острый запах шашлыков и репчатого лука разносился по всему залу, щекоча ноздри, там звучали громкие голоса, иногда срывающиеся в гортанный запев. Наверняка были тут и просто киевские барыги, обмывавшие свои сделки.

Я, нахлебывая ложкой бульон, с интересом рассматривал эту пеструю публику.

Но нетрудно догадаться, что и мы с мамой иногда привлекали чье-то внимание, чьи-то посторонние взгляды.

Еще бы: сидит за столом в уголочке совсем еще молодая и очень красивая женщина, ну, прямо звезда киноэкрана, с жемчужными глазами, в светлых локонах *a la* Грета Гарбо, в платье с пелеринкой, как у Марлен Дитрих, — так не пойдешь ведь в «Континенталь» в затрапезе!

А рядом с нею мальчонка лет пяти, рыженький, в веснушках, просто прелесть. Тычет вилкой в тарелку, а сам то и дело задирает голову, разглядывает свое отраженье в серебряном зеркале потолка.

И едва нам принесли на третье вазочки с лимонным желе, как один из горластых мужиков — тех, что с шашлыками и

песнями, — направился к нашему столу, извинился, расшаркался, нагнулся, спросил о чем-то маму, заглядывая ей в глаза…

Она сказала ему: «Пошел вон!»

Он вернулся за свой столик, к своим, стал им рассказывать, как невежливо с ним обошлись, куда его послали, — и они стали обсуждать, что делать дальше.

Мама нахмурилась, выдернула ложку из моих пальцев, сказала: «Всё, теперь — ходу!»

Мы надели в гардеробе свои шубейки и выбежали на мороз.

Уже был ранний зимний вечер, всё вокруг было убрано только что выпавшим снегом, и в свете уличных фонарей, вокруг матовых шаров, вились, как бабочки у огня, рыхлые слипшиеся снежинки.

— Извозчик!.. — крикнула мама.

Из вереницы саней, замерших у тротуара, чуть запорошенных снегом поверх конских грив, поверх извозчичьих шапок, — вырвался передний возок, лихо подкатил к подъезду. Кучер, обернувшись, откинул косматую полсть, мы нырнули в сани, укрыли колени шкурой. Возница дернул поводья — и мы понеслись по Крещатику, белому, в глубоких колеях от санных полозьев.

— Куда ехать? — спросил кучер.

— Прямо, — приказала мама.

Он кивнул, поняв всё сразу.

Я же поначалу очень удивился тому, что наш возок несется совсем не в ту сторону, где мы жили, не к Пассажу, а наоборот, к Владимирской горке, с которой я часто съезжал на детских санках — долгий и ровный спуск, на котором санки разгонялись так, что захватывало дух, — а внизу меня ждала смеющаяся мама, сбежавшая туда загодя.

Но теперь мы были с нею рядом в летящих, как на крыльях, санях.

Оглянувшись, я увидел, что следом за нами по Крещатику мчится еще один санный возок. Наверное, тот, что был в очереди за нашим. И кучер тех саней поднялся во весь рост, натягивая вожжи, а за ним, тоже в полный рост, пошатываясь на скорости, размахивали руками большие черные мужики. Они выскочили на улицу даже без шуб и шапок, а так, налегке, как сидели за столом с шашлыками и песнями.

И тут я понял, что они гнались за нами. И только теперь догадался, почему мы мчимся не в ту сторону, где наш дом, а в противоположную: ведь мы жили в Пассаже, очень близко от гостиницы «Континенталь», и нас на этом коротком пути ничего не стоило догнать. А тут — еще поглядим…

— Направо! — крикнула мама вознице.

Сани занесло, но лошадка вытянула их из сугроба, потащила дальше.

На той улице, куда мы свернули, кроме санных полозьев, расчертивших белую заметь, еще тянулись тонкие нити трамвайных рельсов. И там, впереди, сквозь завесу снегопада, уже двигались прямо на нас, всё больше вылупляясь, яркие огни трамвая, над его дугою взметывались искры, надрывался звонок, вереща всё ближе…

— Еще раз направо! — крикнула мама.

Открывшаяся теперь улица была тиха и пустынна.

Мы перевели дыхание, развесив вокруг себя облачка морозного пара, легкие, как мыльные пузыри. Извозчик тоже обмяк, отвалился к спинке облучка. И лошадка затрусила по снегу беззаботной рысцой.

Как вдруг из переулка, нам наперерез, вынеслись другие сани, и в них, встав во весь рост, обнявшись, чтоб не упасть, покачивались те же знакомые черные фигуры в распахнутых пиджаках и развевающихся галстуках…

— Ложись! — только и успела сказать мне мама.

Я приник к сиденью, а она навалилась сверху, задернула над нашими спинами и головами косматую медвежью полсть, осыпанную крупицами снега.

Чужие сани промчались рядом, седоки орали на своего возницу.

Пронесло.

Но через несколько минут, снова выскочив откуда ни возьмись, эти чужие сани опять летели нам навстречу.

И мы опять укрывались медвежьей шкурой. И хохотали под ней, чувствуя, что опасность уже отдаляется, что остается игра.

Нам удалось оторваться. Мы ушли от погони.

А вот и Пассаж. Вокруг тихо. Сыплет снежок.

Это было так интересно!

Игра в прятки продолжилась, когда отец вернулся из-за бугра.

Он позвонил откуда-то, где нужно было отметиться прежде, чем явишься домой — сказал, что будет через час, — мама обрадовалась, захлопотала, заметалась между спальней и кухней.

Приоделась сама, причесала меня.

И тут ей в голову взбрело устроить мужу сюрприз, разыграть его.

Она взяла меня на руки и осторожно опустила в китайскую фарфоровую вазу с павлинами, которая стояла у нас в углу

гостиной. Ваза была очень большая, с широким, как колодец, горлом. Я уместился в ней целиком, и даже моя рыжая макушка не высовывалась наружу.

Я слышал, как тренькнул дверной звонок, как отец ввалился в прихожую — грузно, видно, руки его были отягощены большими чемоданами, кофрами. Я слышал, как они с мамой звонко расцеловались после долгой разлуки. Слышал его шаги в глубь квартиры…

— А где же наш Тюрик? — спросила мама, намекая отцу, что теперь нужно искать меня. — Куда он спрятался? Тюрик, где ты?..

Я затих, не дыша, боясь шевельнуться, боясь прыснуть ненароком во время этой веселой игры.

Но отец почему-то не бросился искать меня по разным углам, там и там, — он даже никак не отозвался на это приглашение к игре.

Я слышал, как его шаги удалились в сторону кабинета, а потом двери притворились и сквозь них были слышны лишь приглушенные голоса.

Они ссорились.

А я, скорчась, сидел в китайской вазе, ощущая, как по затекшим икрам начинают бегать мурашки.

Так, наверное, чувствует себя ребенок в материнской утробе, дожидаясь, пока настанет час ему родиться на свет.

Меня никто не искал. Я никому не был нужен.

Но вскоре мама вернулась из кабинета, подошла к вазе и, не без труда, вытащила меня оттуда.

Лицо ее было окаменелым и бледным.

Но она постаралась улыбнуться.

— Вот, посмотри, что папа привез тебе из-за границы! — сказала она, вручая мне игрушечный автомобиль «Линкольн», цвета кофе с молоком, в точности как те настоящие «Линкольны», которые возили по городу постояльцев гостиницы «Континенталь». У этого игрушечного «Линкольна» всё было, как у настоящего, даже маленькая борзая собака на капоте, будто бы несущаяся вскачь на шаг впереди самого автомобиля.

— Это заводная игрушка, — объясняла мне мама, — она сама ездит, нужно только завести ее ключиком… Где тут ключик?

Я взглянул на дверь кабинета: может быть, отец лучше знает, как заводить этот игрушечный «Линкольн»?

Дверь была плотно притворена. Наверное, он устал с дороги.

Но я быстро утешился. Этот маленький автомобильчик, который он мне привез из своей заграницы, был, действительно, чудом из чудес. Он сам ездил по комнате и, ткнувшись вдруг о ножку стула, сам отскакивал, разворачивался и несся в обратную

сторону.

Нужно было лишь почаще заводить его ключиком, взводя пружину до отказа, но я уже и сам научился это делать.

В выходной день он собрался на прогулку.

Снял с рогатой вешалки свою серую шляпу со щегольски примятой тульей, снял с крюка шишковатую трость с изогнутой, как бараний рог, рукоятью, потянулся к дверной цепочке.

— Далеко ли? — спросила мама.

— Пройдусь до Владимирской горки. Давно не был в Киеве, соскучился по любимым местам, — объяснил отец.

— Вот и хорошо, — обрадовалась она. — На Владимирскую горку? Тюрик пойдет гулять вместе с тобою. Сегодня такая чудесная погода — уже совсем весна… Сейчас я мигом соберу его.

Мы прошагали Крещатик, вошли в парк.

Я тоже любил это место.

Внизу, под крутизной, степенно катился Днепр. В эту пору он был таким полноводным, что не только захлестывал набережные, но и затопил все видимые земные пространства вплоть до горизонта — они напоминали о себе лишь островами, плавающими в речной воде, как листья кувшинок.

И берег, и острова были затянуты нежнозеленой дымкой, лишь предрекающей, какие дубравы, какие ивовые завеси, какие пущи, какие дебри заполнят тут вскоре всё вокруг и оттеснят воду в отведенные ей пределы.

Надо мною, на постаменте, стоял князь Владимир, прислонив к себе крест, который был выше его головы.

Он, князь Владимир, тоже смотрел в заднепровские дали, на острова, на материки, омытые половодьем, будто бы лишь сейчас принимающие крещенье во вселенской святой воде.

Я обежал постамент и вновь возвратился к отцу, который здесь был для меня — это понятно, — не менее важной фигурой окружающего мира, чем Креститель.

Отец, по обыкновению, сидел на рукояти своей трости, косо воткнутой в грунт.

Это было частью его натуры, его личности: вот так он умел обращаться с предметами, привычными его рукам. Вот так, в бесподобной шляхетской стойке, он орудовал рапирой. Вот так подходил с кистью к мольберту — я еще расскажу об этом.

Вот так он садился на рукоять своей шишковатой трости, будто бы даже удивляясь тому, что некоторые люди предпочитают стулья о четырех ногах.

Да, он очень давно не был дома и наверняка соскучился по Днепру, по этим далям.

И, вероятно, сейчас он размышлял о том, что же происходило здесь, покуда он скитался по дальним странам. Что было в Киеве, что было вообще в этой богоспасаемой стране. Что было, конкретно, в его доме, в его семье — за столь долгое его отсутствие.

Но, может быть, и вовсе наоборот.

Возможно, сейчас, глядя на Днепр, он думал как раз о тех краях, откуда только что приехал. И вспоминал с тоскою о том, какая беззаботная и благостная там жизнь, в отличие от здешних дикостей, какие обходительные там люди, какие ослепительные женщины…

Вороша бумаги в серо-зеленой архивной папке с грифом «Совершенно секретно», я несколько раз натыкался на имя Ирэны Дарлич, актрисы варшавской оперетты, снимавшейся также в кино. Ее имя стояло недвусмысленно рядом с именем моего отца… Но я никак не исключаю того, что это было связано с делами его службы.

Или же к этому времени он был уже привязан сердцем к другой женщине, киевлянке, которую тоже, как и мою маму, звали Лидией?

И я допускаю, что именно в этот выходной день он намеревался встретиться с нею после долгой разлуки, а тут, как на грех — будто бы разгадав его намерения, — мама навязала ему попутчиком в этой прогулке рыжеволосого сына Тюрика…

А я всё ждал, что он заговорит со мною, как бывало.

Что он опять — как в прошлые наши прогулки над Днепром, — расскажет мне о том, как толпы растерянных и смущенных собственной наготою людей шли сюда принимать крещение; как стояли они в речной воде, держа на руках, окуная в купель своих младенцев; и как плыли по волнам языческие свергнутые идолы; и как самого главного из этих идолов, Перуна, привязали к лошадиному хвосту, столкнули в Днепр, и стража провожала берегом путь Перуна до самых Порогов, чтобы никто не вздумал вытащить его из реки…

Однако сегодня он мне ничего не рассказывал.

И даже не смотрел на меня. Будто я ему не родной.

Почему он не захотел искать меня в китайской вазе с павлинами? Почему сам не позвал с собою на Владимирскую горку? Почему он так изменился, вернувшись на сей раз из-за границы?

Что я ему сделал?

Но вскоре он уже сам позвал нас с мамой сопровождать его в интересной поездке.

Мы отправились в Киево-Печерскую лавру, и не на чем-нибудь, а на «Линкольне» цвета кофе с молоком, с борзой собакой на капоте, скачущей на шаг впереди автомобиля, — на таком же точно, как мой игрушечный «Линкольн», который отец привез мне в подарок из-за бугра, — но этот был настоящий.

Мы ехали к лавре даже не в одном, а в двух «Линкольнах».

В другом были какие-то важные гости, старик с золотыми зубами и старуха с золотыми серьгами, сразу видно, что очень богатые, разговаривали не по-русски.

В лавре нас тоже встречал старик, седобородый и седовласый, но не священник, а директор музея, фамилия которого осталась в моей памяти — Депарма.

Когда-то была и фотография, где все мы были сняты на фоне церковных стен, на фоне золотых куполов — иностранные гости, бородатый Депарма, отец, мама и я.

Эта фотография долгие годы хранилась в мамином бюваре, и я часто разглядывал ее. Но потом она исчезла вместе со всеми другими снимками, на которых был изображен мой отец.

А тогда, в лавре, сфотографировавшись на память, мы углубились в Пещеры.

После яркого солнца снаружи, сумрак этих пещер был так плотен, что мы не видели ни зги — сплошная тьма, — и всем раздали восковые свечи, которые зажигались поочередно, одна от другой.

Свет от этих пламешек, колеблемых сквозным ветром, метался пятнами по сводам, выхватывая из тьмы то серые мазки давней побелки, то трещиноватый узор глины, то округлые лбы камня.

В моей руке тоже была свеча, и я ощущал себя причастным к таинству.

Во глубине пещеры, вдоль сводчатой стены, впритык к ней, стояли деревянные ящики, покрытые стеклом, а под стеклом были ветхие от времени холстины, из-под которых торчали иссохшие темнокоричневые длани с крючковатыми пальцами, а там, где голова, кустились, будто пакля, клоки взъерошенных волос, то ли усы, то ли бороды, то ли поросль поверх черепов, а внизу опять торчали из-под холстины иссохшие до самых костей конечности с узкими ступнями, гребешками пальцев…

Меня охватил страх, какого я не испытывал никогда раньше, даже тогда, когда, по приезде в Киев, увидел на Крещатике, у Пассажа, груды лохмотьев, а это лежали на тротуаре умершие от голода люди… Но лишь сейчас, а не тогда, я воочию увидел

смерть.

— Это что? Это — кто? — спросил я отца боязливым шепотом.

Он ответил:

— Святые мощи.

А седовласый Депарма, склонясь ко мне, объяснил:

— Это — Илья Муромец. Ты слыхал про Илью Муромца?

— Да, — кивнул я.

Я знал сказку про Илью Муромца. Видел картинку, где он на коне, вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем.

Но там, на картинке, все они были молодцами, могучими богатырями, с плечами в сажень, с румянцем во всю щеку, в кольчугах и доспехах.

А здесь, под стеклом, под истлевшей холстиной, лежали столь жалкие останки былой их мощи, что я даже не поверил, что огромный человечище, былинный богатырь, может иссохнуть, лежа в ящике, до такой вот кочерыжки…

Между тем, богатые иностранцы с золотыми зубами и серьгами, дивясь тому, что им здесь показывают, шаг за шагом продвигались в глубь пещеры, рассматривая другие ящики, другие останки, другие мощи.

Депарма объяснял им, кто да что, а отец переводил эти объяснения на ихний язык.

И тут моя мама, заметив, наверное, мое потрясение, шепнула мне на ухо, так, чтобы никто, кроме меня, не услышал:

— Я думаю, что все эти мощи — подделка…

Замечу, что она, еще девочкой певшая в церковном хоре, сделалась к этой поре заядлой атеисткой, какими были тогда все или почти все, не исключая меня. Мы были упорны и заносчивы в своем безбожии.

И страх, обуявший меня в пещере при виде святых мощей, вдруг сам собой улетучился. Я даже обрадовался, возликовал душою, приняв это простое объяснение: что нету никаких мощей, а есть лишь хитрая подделка.

Что смерти нету вообще, и ею лишь пугают тех, кто от безделья, среди бела дня, ходит со свечей по подземельям…

На дворе сияло солнце.

И тучи воронья носились каруселью вокруг крестов.

Нам еще предстояло ехать на «Линкольнах» в Пущу Водицу, показывать гостям другие достопримечательности Киева.

Развалясь на заднем диване машины, рядом с мамой, я был настолько благодушен, так упоен впечатлениями, что позабыл убрать ладошку из створа распахнутой дверцы.

А отец с силой захлопнул ее.

Наверное, я был какое-то время в обмороке, потому что, очнувшись, увидел, что наш «Линкольн» уже одинок, а другой пропал из виду, что мы мчимся не к Пуще Водице, а совсем в другую сторону.

Кисть руки, обрызганная кровью, синела и пухла прямо на глазах. Она уже не столько болела, сколько немела, будто бы вовсе отделяясь от меня.

Лицо мамы, сидевшей рядом, было каменным.

Отец сидел впереди, рядом с шофером, не оборачиваясь. Но я всё равно увидел, что он смертельно бледен.

Я потянулся к его плечу, выжал сквозь слёзы подобие улыбочки: да что вы, товарищи, так расстроились из-за сущего пустяка? А мне нисколечко даже и не больно, я ничего не чувствую… И никто ни в чем не виноват, кроме меня самого, дурака: надо было убрать ладошку, а я зазевался…

Но я не высказал вслух этих слов.

Потому что моя детская несмышленная душа вдруг почуяла, что пришла беда. Нет-нет, не от прибитых пальцев — они заживут, их вылечат.

А та кромешная беда, от которой уже нет и не будет спасу.

Злоба дня

Актовый зал киевского Института инженеров гражданской авиации был набит под завязку, ни одного свободного места.

Даже зная накал страстей, вызревших к лету девяностого — последнему лету в канун революционных перемен, — я не мог себе представить, что столько людей придет и приедет на Шулявку для того лишь, чтобы выслушать — вживую — рассказ о том, что они уже видели недавно на экранах своих телевизоров: молодчиков в черных рубахах, перепоясанных портупеями, лезущих на сцену в таком же людном зале; черно-желтые хоругви, вдруг, как по команде, взметнувшиеся над рядами; мрачную личность, орущую в мегафон: «Теперь мы будем хозяевами страны!..»

Да, я был там. Видел всё это своими глазами.

Я знал, чего от меня ждут.

Но мне казалось еще более важным, чтобы люди, собравшиеся в этом зале, осознали главное: ведь то был не первый подобный случай! Были и другие, но они не попали на экраны телевизоров, не просочились на газетные полосы.

Я хотел, чтобы они поняли: в стране есть силы, притом весьма влиятельные, которые готовы в момент политического напряга дать волю самой черной нечисти, накопившейся в подполье.

А может быть, именно они эту нечисть и вскармливали, и пестовали в подпольях, дожидаясь урочного часа.

Но тогда ничто еще не предвещало катаклизмов. Тишь да благодать. Смиренье чувств, парение умов. *Застой*, одним словом.

Мы договорились встретиться у часовенки, воздвигнутой в память героев Плевны у Ильинских ворот.

Тогда это место встреч считалось еще вполне приличным, лишь позже его облюбовали для своих тусовок столичные геи и, с присущим им остроумием, назвали «Гей, славяне!»

Вообще, этот московский перекресток в наибольшей, пожалуй, степени оказался затронутым волной обратных переименований: улице Куйбышева вернули название Ильинки, улица Разина опять стала Варваркой, улица Богдана Хмельницкого — Маросейкой, площадь Ногина окрестили Славянской площадью, проезд Серова — Лубянским проездом, Китайский проезд — Китайгородским…

И в том было предвестье дальнейших перемен.

Может быть, именно поэтому тот рядовой будний день — 20 апреля 1982 года — сподобился быть отмеченным удивительными событиями.

Но для нас это был обычный вторник — день творческих семинаров в Литературном институте, который мы решили посвятить очередной прогулке по Москве.

Итак, я поднимался по аллее сквера от стен Китай-города к памятнику героям Плевны.

Был обеденный час, и я обратил внимание на прогуливающихся старцев в длиннополых пальто, в черных шляпах и каракулевых, уже не по сезону, шапках пирожком.

Это были мамонты, номенклатурные бонзы из нависших над сквером зданий Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, вышедшие на несколько минут из своих кабинетов подышать свежим воздухом. Я невольно обратил внимание на совершенно одинаковое выражение их лиц: озадаченность, растерянность, иногда — хмурая решимость.

Вот навстречу мне топает крупный мамонт — Геннадий Федорович Сизов, председатель Центральной Ревизионной комиссии КПСС. Мы с ним мельком знакомы и раскланиваемся на ходу. Он тоже сумрачен.

А вон и мои ребята, собравшиеся стайкой у островерхой часовенки. Девушки уже в ярких по-весеннему пальтецах, а молодые люди в легких курточках, с непокрытыми головами, хвастают здоровьем, радуются припекающему солнцу.

Мне навстречу бежит Лена Бажина. Назвал бы ее златокудрой валькирией, но это слишком отдавало бы германской мифологией, а у нее, пермячки, действительно копна светлых кудрей, но глаза обладают такой светлой радужкой, что едва отличима от белков — живое напоминание о легендарной белоглазой чуди.

— Александр Евсеевич, — задыхаясь от бега и волнения, обращается она ко мне, — это правда, что Брежнев умер?..

Я останавливаюсь. Рот, растянутый в улыбке, остается открытым.

Мгновенно осеняет догадка: ах, вот оно что! вот почему эти цековские мамонты в шляпах и пирожках, шаркающие по аллеям, так хмуры, так растеряны, так озабочены…

Нет, не может быть. То есть, совсем даже наоборот!

Ведь если бы на самом деле что-то случилось, они бы сейчас не разгуливали по скверам, а висели бы на телефонах, на «вертушках», стояли бы на растопыренных ушах в вышестоящих кабинетах.

Нет и нет, по всем признакам — нет!

— Нет, — уверенно отвечаю я студентке. — Это неправда. Он болен, отсюда и слухи…

— А говорят…

Говорили всякое. И основания для подобных разговоров были.

Три недели назад я шел по Ленинскому проспекту, близ его пересечения с Ломоносовским, и обратил внимание на нервную суету милиции, которой раньше, прямо скажем, не наблюдалось при возвращении главы государства из его поездок, с Внуковского аэродрома.

Через короткие промежутки улицы стояли постовые с рациями. Регулировщики то перепускали пешеходов, то свистели, запрещая переход. На огромный скорости проносились черные «Волги», проверяя состояние трассы.

Вообще-то никаких вопросов не возникало: было ясно, что из Ташкента возвращается Брежнев, где он совершал свой любимый ритуал — вручал орден республике Узбекистан и, что гораздо важнее, произнес речь, призывающую к ослаблению длительного конфликта с Китаем.

Но тревога висела в воздухе…

Опять на большой скорости промчалась «Волга» с мерцающими красными и желтыми фарами. А за нею — два лимузина ЗИЛ-114, рядом, впритирку.

В ближней к тротуару машине я ничего особенного не заметил (и, кажется, она была пуста, лишь водитель), а во втором лимузине, который мчался вдоль разделительной полосы, сидели гориллы из охраны, мордами к окнам, загораживая собою то, что внутри машины.

В вечерней телепрограмме «Время» сообщили о возвращении генсека из Ташкента, перечислили встречающих, но не было ни телевизионных кадров, ни даже фотографий.

Зарубежные радиостанции сообщили, что Брежнев прямо с самолета доставлен в больницу…

Постепенно становились известными подробности.

В Ташкенте Брежнев захотел пообщаться с народом. В огромном цехе авиационного завода устроили митинг. Сколотили трибуну, на которую с трудом, опираясь на плечи свиты, взобрался генсек. В ту самую минуту, когда он, запинаясь, едва шевеля губами, начал читать по бумажке речь, в цехе громыхнуло со страшной силой: лопнула магистраль сжатого воздуха, выбух сменился пронзительным свистом, как от падающей авиабомбы… Люди в панике заметались по цеху.

Телохранитель повалил старца на пол и прикрыл его своим телом. Сверху чем-то еще придавило обоих…

Травма. Шок. Очередной инсульт. Больница. Слухи.

Он умрет полгода спустя, в ноябре.

Но уже сейчас все ощутили начало той эпохи, которую злые языки назовут *гонками на орудийных лафетах*, имея в виду церемониал похорон на Красной площади — Суслов, Брежнев, Андропов, Черненко, один за другим… кто следующий?

Это было началом новой российской смуты.

Однако сейчас, сегодня, когда, как пелось в игривой песенке, *и даже пень в апрельский день*… когда в поднебесьи сияло солнце, когда энергия весны и рабочего дня будоражила кровь, противилась ее застою в самом прямом смысле слова…

Короче говоря, мы отправились в свой поход.

И буквально на каждом шагу этого пути нам открывались знаки, с предельной красноречивостью выражавшие суть и смысл темы.

В подземном переходе Китай-города фрагмент когдатошней стены не был оштукатурен, из него торчали наружу камни, кладка цоколя снесенной Варварской башни.

После недавней реставрации пестрело красками, как расписной пряник, Зарядье: родовое гнездо бояр Романовых, Английское купеческое подворье, палаты Знаменского монастыря, церковь Зачатия Анны, посадские строения… Всё это теперь как бы вросло в землю, погрузилось в яму, едва высовывалось над нулевой отметкой улицы, по которой неслись вереницы автомобилей… Мы не поленились спуститься по каменной лестнице туда, вниз, чтобы увидеть гребенчатый силуэт Зарядья таким, каким он был века назад — сказочным градом, воспарившим над рекой Москвой.

Васильевским спуском мы шли к Кремлю.

И отсюда тем явственней бросалось в глаза смешение эпох, жестокое борение начал и концов, укоренившихся традиций и самонадеянных новаций.

Мрамор щусевского мавзолея, втершийся в неприступную кирпичную твердь кремлевской стены. Простецкий, эпохи «хрущоб», конструктивизм Дворца Съездов среди теремов и палат, среди роскоши классицизма и барокко.

И с особенной, кричащей резкостью всё это предстало нашим глазам, когда мы вышли к Волхонке.

Не скажешь, что мы здесь оказались впервые.

Студентов Литературного института водили на уроки физкультуры именно сюда, в плавательный бассейн «Москва». Преподаватели пользовались бесплатными абонементами. Правда, плавать в этой круглой чаше было неудобно — дорожки пересекались, скрещивались. К тому же здесь нестерпимо воняло

хлоркой. И я, например, отдавал предпочтение бассейну «Чайка», который был поблизости, на Остоженке. Но бывал и здесь…

Неизбывное чувство греха сопровождало человека в этой купели.

Ведь все отлично знали, что было раньше на месте плавательного бассейна «Москва».

Знали и о Дворце Советов, который начали было строить перед войной на месте взорванного храма: полукилометровая башня, столь явно смахивающая на Вавилонскую, увенчанная статуей Владимира Ильича Ленина… потом, когда немцы подошли к Москве, стальные балки цоколя порезали на «ежи», перегородившие улицы…

Да как же было не знать об этом, если станция метро, близ которой мы затеяли разговор, так и называлась — «Дворец Советов»!

— Не кажется ли вам, — сказал я, — что сооружение здесь бассейна имело лишь одно оправдание, лишь одну, никем не высказанную вслух, но подразумеваемую функцию: уберечь, оградить до времени это место от какой-либо другой, более значительной и потому еще более кощунственной застройки?..

Они вежливо помалкивали.

Тогда я вытащил из сумки кипу переснятых фотографий, на которых были изображены храм Христа Спасителя, осененный крестами, и Дворец Советов, увенчанный фигурой из нержавеющей стали.

Раздал эти снимки студентам. Поставил вопрос:

— Что будем делать, коллеги? Что будем строить на месте этой вонючей лужи?.. Восстанавливать взорванный храм? Или возводить заново Дворец Советов?

Я не торопил их с ответом. И вообще, прямо скажем, не ждал его.

Моей целью было иное — растормошить их умы, их образное восприятие окружающего мира. Подтолкнуть к осознанию *переломного исторического момента*, который, как я догадывался, они и без того сознавали.

Как сейчас вижу их лица.

Александр Филимонов, раскудрявый добрый молодец из Челябинска; уже знакомая нам пермячка Елена Бажина; москвич Александр Сегень, уралочка Галина Цветкова; печальная, задумавшаяся о Боге Галина Хлыбова из Набережных Челнов; татарин из Киргизии Махмуд Хамзин, якутка Анна Гоголева, кабардинец Мухамед Емкужев, балкарка Тамара Гузиева; грузинка Маринэ Цоцколаури, армянин из Нагорного Карабаха Вануш Шермазанян, армянин из Абхазии Седрак Симонян,

Михаил Казак из Молдавии…

Вот уж, поистине, как в гимне: Союз нерушимый республик свободных.

Так вот, их ответ на поставленный вопрос был единодушным: возводить заново Дворец Советов.

Была ли в том конформность мышления, вполне извинительная, если учесть строгость школьного воспитания? Или осторожность, обережность, уже растворенная в крови советских поколений — ведь расплачиваться приходилось именно кровью? Или же в том было, всего-навсего, желание потрафить *совковым* привязанностям руководителя семинара, о которых они знали либо предполагали, что знают?..

Всего понемножку.

Но они сказали: Дворец Советов.

Я ехал домой троллейбусом, размышляя о том, что — да, конечно, — Поставленный вопрос был адресован не столько студентам, сколько самому себе: так что будем строить, отец, на месте паскудной лужи?..

Продолжим советский проект, на который уже положена жизнь — миллионы жизней, — и который, сдается, трещит по швам?

Или же, сплюнув и растерев, вернемся туда, откуда ушли столь опрометчиво и безоглядно?

А есть ли еще какой-то третий путь?

Невольно ощутил себя хрестоматийным васнецовским витязем, который, верхом на коне, с опущенным долу копьем, считывает надпись на замшелом придорожном камне: налево пойдешь — головы не снесешь… направо — коня потеряешь… а что там еще за корявые буковки?

Вечером позвонила Галя Хлыбова.

Рассказала, что после экскурсии решила еще заехать в институт, в библиотеку, добралась на метро до «Пушкинской», вышла на площадь, а там, возле памятника Пушкину — фашисты, человек двести, на рукавах повязки со свастикой, вскидывают ладони вперед и вверх, орут «Хайль Гитлер!» Вокруг народ: любопытствует, ужасается, но думает, что снимают кино… Потом набежала милиция, стала хватать, тащить к автобусам…

— В котором часу это было? — спросил я.

— Около шести.

— Сегодня?

— Да, сегодня.

«Двадцатое апреля, — вспомнилось вдруг, — день рождения Адольфа Гитлера».

Включил телевизор — пляшут и поют. Включил радио — то же самое.

Не почудилось ли Гале Хлыбовой? С нею бывает: задумчивая девушка.

Но часом позже позвонила знакомая из «Нового мира», где я состоял членом редколлегии. А «Новый мир», как известно, на Страстном бульваре, в Малом Путинковском переулке, сразу же за кинотеатром «Россия», в двух шагах от Пушки.

Она поведала о том же: вылазка фашистов… человек полтораста, не меньше… выкрикивали: «Да здравствует Гитлер!», «Власть и порядок!», горланили фашистские песни… С ними затеяла драку группа пацифистов, антифашистов… Откуда взялись антифашисты? Оттуда же, откуда и фашисты… Милиция разогнала и тех, и этих… Да, своими глазами.

Утром я поехал в Литературный институт, где было назначено заседание совета творческой кафедры. Там уже обсуждали новость: фашистская демонстрация на Пушкинской площади. Видели многие студенты, видели и преподаватели… Тем дали покричать, а после стали запихивать в автобусы. Автобусы дожидались во дворах… А может быть, на них и привезли?

Заседание совета творческой кафедры вел ректор Литературного института, почтенный критик Владимир Федорович Пименов.

Ему, конечно, сразу же задали вопросы по поводу вчерашних событий. Что это такое? Как могло случиться? В стране, победившей фашизм…

Ректор лишь развел руками.

— Вызывают в Краснопресненский райком партии. Но я могу вас успокоить: *наших* там не было. Говорят, сынки высокого начальства, так называемая *золотая молодежь*…

Утешил.

Назавтра вечером он позвонил мне домой. Голос был бодрым, даже благостным.

— Саша, не надо расстраиваться… Всё прояснилось. Это, оказывается, футбольные фанаты. Болельщики — кто за «Спартак», кто за ЦСКА, — выясняли отношения между собою. Знаешь, я не очень просвещен в футболе, так что подробности мог и упустить…

— А при чем здесь Гитлер?

— Вот и выходит, что ни при чем. Так что отдыхай. Привет.

Футбольная версия пришлась как нельзя более кстати.

Когда через пару месяцев из «Нового мира» отправили на визу в Главлит (так именовалось цензурное ведомство) новую

поэму Евгения Евтушенко «Фуку», в ней были строки, обращенные к русскому пареньку:

Ресницы девичьи твои пушисты,
а ты — в фашисты?..

Но в опубликованном варианте поэмы это выглядело иначе:

Ресницы девичьи твои пушисты…
А ты командою не ошибся?

Говорят, что цензурного диктата здесь не было. Просто с поэтом побеседовали где надо.

В отечественной прессе об инциденте на Пушкинской площади тогда не появилось ни строки.

И даже зарубежные *голоса* спервоначалу будто бы в рот воды набрали: очевидно, сами не верили, что такое возможно! Но через несколько дней заговорили…

Забредший тогда же в редакцию «Нового мира» Юлиан Семенов, который слыл человеком, вхожим в высокие сферы и потому весьма сведущим, прокомментировал заварушку на Пушкинской площади несколькими фразами, которые я тогда же записал в дневник.

> «…Фашистского переворота в стране всё равно не избежать, поскольку слишком крупные силы задействованы в этом направлении. Это произойдет, хотя и явится переходной фазой исторического развития в России».

Сентенция не внушала оптимизма, но выглядела вполне резонной: ведь и там, в Германии, это явилось всего лишь переходной фазой.

С утра до вечера я корпел над архивными документами, содрогаясь внутренне, но понимая, что осмысливать прочтенное и страдать душою буду позже, потом.

А сейчас нужно крепче держать перо в занемевших пальцах, стараться, чтоб ни одна строка не проскользнула мимо внимания…

Но вечером я опять выходил на сцену актового зала на Шулявке.

И то, что прочитывал утром в расстрельной папке, жгло мое

сердце.

Мог ли я сдержать, оставить на потом всё, что узнавал днем? Нет, конечно. Собственно, это и было тогда пробой темы, *началом книги*.

Говорил об отце. О Киеве своего детства. О лихолетье тридцатых.

И опять возвращался к тому, что было злобой… о, какое ёмкое выражение! — что было *злобой дня*: к рассказу о диком шабаше, учиненном фашистами в писательском доме.

Я пришел за час до объявленного времени, а в вестибюле Центрального дома литераторов уже было людно.

Вечера «Апреля», ассоциации писателей в поддержку перестройки, собирали уйму народа. В Большой зал, где было шестьсот кресел, набивалось до тысячи человек: сидели на ступеньках, впритирку стояли в проходах, заполняли балкон, толпились в кулисах.

Вечер, посвященный памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, длился пять часов без перерыва, уже близилась полночь, был риск не попасть в метро, не дождаться троллейбуса (а среди этой изысканно интеллигентной публики мало кто разъезжал в собственных автомобилях, тем более зимой), но никто не уходил, настолько важным и острым был разговор о наследии Сахарова, о судьбе русской демократии.

Сахаровский вечер подстегнул интерес общественности к «Апрелю», и можно было предвидеть, что нынче соберется не меньшая аудитория, чем в прошлый раз.

Раздевшись, подошел к афише.

18 января 1990 года.
Вечер «Апреля».
В программе:
1. Презентация альманаха «Апрель».
2. Открытый микрофон.
Ведущие: Евгений Евтушенко, Вадим Соколов, Яков Костюковский, Александр Рекемчук

Несколько слов об этом самом «открытом микрофоне». Он родился вместе с «Апрелем» и зазвучал во весь голос на первом же его собрании. То есть, любой и каждый участник собрания имел право подойти к микрофону и сказать залу всё, что он считал нужным сказать: согласиться с предыдущим оратором, возразить ему, внести свое предложение, зачитать свой

собственный проект резолюции, заявить свой протест или даже послать всех к чертовой матери…

Для такого выступления не надо было заранее записываться в список ораторов, посылать записки в президиум, кричать с места — почему не дают слова? — иди и говори.

У пилонов фойе расположились столы, с которых достаточно бойко продавались книжки новорожденного альманаха «Апрель». В нем — стихотворение Евтушенко «Танки идут по Праге», ходившее раньше лишь в списках, рассказы Солженицына, Искандера, «Предвыборная платформа» Сахарова, речь взбунтовавшегося против партократии Ельцина, произнесенная недавно здесь же, в Большом зале ЦДЛ.

Я спустился по левой лестнице, ведущей в бильярдную, в подвальный буфет и в мужскую уборную.

(Да простятся мне эти подробности. Но я и сам в тот вечер еще не мог предполагать, что вскоре мне придется излагать эти обстоятельства и детали, прослеживать этот маршрут буквально шаг за шагом, минута за минутой.

> «Защитник Побезинский: Вы можете привести еще какого-нибудь свидетеля в подтверждение этих слов, что кто-то видел вас в этот момент в подвале?
>
> Свидетель Рекемчук: Я не могу привести сейчас ни одной фамилии, но я прошу вас учесть, что в этом же подвале у нас находятся курилка и туалет. Мы иногда посещаем эти места)».

На лестничной площадке, стесняя проход, стояла полудюжина молодых людей с накаченными торсами, «качки», как именовали их в народе. На них были черные мундиры с одинаковыми нашивками на груди: Георгий Победоносец на белом коне поражает копием дракона. Головы молодцов были коротко острижены, виски высоко подбриты.

Среди них выделялся человек возрастом постарше, с наметанным и цепким взглядом.

Походя, я уловил свою фамилию, произнесенную им вполголоса, и еще какой-то неразборчивый комментарий к ней.

На фоне белого кафеля туалетной комнаты так же резанули глаз черные рубашки, непривычные в писательском пёстром обиходе.

И в густом табачном дыму запьянцовского нижнего буфета, андеграунда — те же черные мундиры, те же черные рубашки…

Вернулся в вестибюль. Взгляд, теперь уже настороженный и внимательный, выхватил из толчеи еще несколько плотно сбитых групп молодчиков в черном, со святым Георгием и змием,

накаченных, коротко остриженных, впрочем, среди них были и фигуры тщедушного сложения, были и патлы до плеч, были и усы, и бороды — только с первого взгляда они показались мне все на одно лицо.

Чувство тревоги нарастало.

В «Апреле» придерживались достаточно широких взглядов, иначе нас нельзя было бы считать демократами, и на наших собраниях присутствовали не только писатели, но и многочисленные гости; художники, музыканты, актеры, ученые; политики, набирающие вес, священнослужители, армейские офицеры-вольнодумцы, студенты.

Но надо признаться, что несмотря на широту взглядов и записной демократизм, мы неприязненно относились к появлению на наших писательских собраниях людей посторонних, кликушествующих политических маргиналов и уличной шпаны.

Проходя мимо одной из групп — не той, что была на лестнице, а другой — я опять уловил слухом свою фамилию, названную старшим среди них, почувствовал на себе запоминающие взгляды.

Пришло ощущение, что я опять, в который раз, смотрю по телеку черно-белый сериал, где по коридорам Гестапо разгуливает, тоже в черном и белом, засланный советский товарищ.

Фойе, соединяющее оба здания Дома литераторов, старое и новое, тоже постепенно заполнялось знакомыми и незнакомыми людьми.

В его глубине я увидел вожаков «Апреля» — критика Вадима Соколова, кинодраматурга Якова Костюковского, очеркиста Игоря Дуэля.

На их лицах была тень озабоченности.

— Мне кажется, — сказал я, подойдя и пожимая руки, — что сегодняшний вечер не состоится.

— Мы уже позвонили в милицию, — отозвался Костюковский. — Они обещали прислать наряд, но пока не видно…

Прозвенел троекратный звонок, возвещавший, что пора начинать.

Мы направились к деревянной лестнице, которая вела в комнаты за сценой, а оттуда и на сцену.

Зал и тогда был набит битком.

Можно было уповать на то, что насторожившие нас незванные гости, сколько бы их там ни было, растворятся в

тысячной аудитории, что их не будет ни видно, ни слышно.

Но я увидел их тотчас: ряды зияли, будто черными дырами, теменью форменных мундиров. Они не слепились в сгусток где-нибудь слева или справа или посередине, а рассредоточились по всему залу в шахматном порядке — и на подступах к сцене, и на флангах, и в дальних ложах. Они, совершенно очевидно, держали под контролем весь зал и заранее знали, как это следует грамотно делать.

Яков Костюковский направился к микрофону.

— Дорогие друзья, — бодро начал он.

— Твои друзья в Израиле! — ответили ему из зала.

— В Израиле у меня тоже есть друзья, — мягко парировал сатирик.

— А Гангнус где?

— Мы пришли на Гангнуса!

— Давайте сюда Гангнуса…

Им нужен был Евтушенко. Я уже упоминал, что на афише вечера в числе ведущих значился Евгений Евтушенко. Но он запаздывал, может быть, задержали парламентские дебаты: год назад он стал народным депутатом. В его поэме «Мама и нейтронная бомба», написанной верлибром и опубликованной тоже в «Новом мире», была строка: «До войны я носил фамилию Гангнус…» В издательстве «Советский писатель» работал его брат Александр Гангнус, носивший фамилию отца-латыша. В том не было секрета. Но, повидимому, был достаточный повод для скандала.

Шум в зале нарастал.

Поднялась с места Наталья Иванова, литературный критик, работавшая в «Знамени». Она что-то говорила, обращаясь к залу, но слов не было слышно.

Ее попросили подняться на сцену, к микрофону.

— В зале находятся посторонние, — едва справляясь с волнением, заговорила она. — Они оскорбляют сидящих рядом людей, писателей. Я думаю, что нужно отменить вечер.

— Как фамилия? — снова выкрикнули из зала.

— Иванова.

— Какая Иванова? Татьяна?

— Нет, Наталья.

Очевидно, предварительный инструктаж, натаска опознавания писателей по именам, фамилиям и наружности давала сбои.

— Вечер нужно немедленно закрыть, — настаивала Наталья Иванова.

Соколов, Дуэль и Костюковский совещались вполголоса.

Потом к микрофону приблизился Игорь Дуэль.

Он сказал, что устроители не видят возможности продолжать вечер в такой обстановке. Всех просят покинуть зал — всех, без исключения. Потом у дверей будет выставлен контроль и в зал будут пропускать только по предъявлении членского билета Союза писателей или клубной карточки.

Это было воспринято в зале, как сигнал.

И совершенно ясно, что к такому обороту событий пришельцы были готовы изначально.

Над задними рядами кресел взметнулись черно-желтые хоругви с надписями «Долой сионизм!», «Жиды и масоны, убирайтесь в Израиль!», что-то еще в том же роде.

В руках человека, сидевшего в амфитеатре и дотоле ничем не выделявшегося, оказался мегафон, в который он выкрикивал:

— Вы, еврейские ублюдки, вон из зала! Это наша страна! Это наш дом! Убирайтесь, а мы здесь проведем свой митинг!..

Спустя несколько месяцев, я увижу этого человека на скамье подсудимых.

Он будет задавать мне вопросы, и я, как свидетель, должен буду отвечать на них.

Тогда же я присмотрюсь к нему: в годах, лет пятидесяти, малорослый, плотного сложения; обширная лысина окаймлена седыми волосами; и, как бы в контраст седине, косматые густочерные брови, из-под которых — сверлящий взгляд. Константин Владимирович Осташвили-Смирнов, один из главарей нацистского общества «Память».

Не пряча нездорового исступления, он орет в мегафон:

— Товарищи евреи, которые являются писателями, пройдите в Малый зал, мы вас всех перепишем! Ни милиция, ни КГБ, ни партия вам не помогут! Теперь *мы* будем хозяевами страны!

Дальнейшее напоминало калейдоскоп: всё движется одновременно, совпадая, дробясь, перемещаясь, отталкиваясь, разрушаясь. Но эти построения отнюдь не случайны, в них нет хаотичности: мизансцены разведены фронтально и в глубину, по диагоналям; вся эта суета тщательно отрепетирована, как в изощренных массовках Федерико Феллини или Алексея Германа; каждый персонаж наделен своей ролью, снабжен репликами, обеспечен реквизитом, понимает задачу и сверхзадачу; соответственно проработана и фонограмма, где монологи, полилоги, междометья, декламации, читки с листа и шумы складываются в насыщенный рёв.

Однако это не поддается синхронному воспроизведению на бумаге.

Обозначу детали.

Перепоясанный портупеей чернорубашечник в очках взбирается на сцену, захватывает микрофон (он, действительно, не выпускает из пятерни железную штангу), другой рукой достает из кармана припасенные листки и начинает считывать с них текст, нацеленный в одного из идеологов перестройки — секретаря ЦК КПСС Александра Николаевича Яковлева.

И тотчас же в задних рядах появляются еще два плаката: «А. Н. Яковлев — агент международного сионизма!», «А. Н. Яковлева — вон из Политбюро!»

Соображаю: с каких это пор нацистское общество «Память» взяло на себя заботу о чистоте рядов коммунистического Политбюро?.. Очень странный лозунг.

И еще: где, в каких мастерских, сшили для фашистов такие ладные хоругви, нашлепали такие четкие плакаты?.. Кто расставлял эти черные фигуры, словно бы на шахматном поле, с таким умыслом, чтобы они контролировали весь зал? Кто рассаживал? Где шли репетиции погрома?.. И самое загадочное: как, вообще, они проникли сюда? Возможно, подземным служебным ходом с улицы Воровского, из Союза писателей? Кто показал? Кто провел?..

Но покуда я размышляю над этими ошарашивающими вопросами, действо продолжается.

Какая-то тетка, откровенно базарной внешности, к тому же очень пьяная, подходит к рампе и зашвыривает на сцену цветастый пластиковый пакет.

Вадим Соколов, опираясь на палку (у него нет ноги), наклоняется, чтобы поднять гостинец, но несколько возгласов сразу останавливают его движение: мало ли что там, в этом пакете?

— Сегодня мы пришли сюда с плакатами, — кричит в мегафон Осташвили, — а завтра придем с автоматами!..

Вальяжный ректор Историко-архивного института, депутат парламента Юрий Афанасьев, обернувшись к залу, пытается урезонить беснующихся погромщиков в черных мундирах, но в ответ на его увещевания — разъяренные выкрики.

И еще один парламентарий, депутат Верховного Совета СССР Галина Старовойтова: она молчит, зная, что эту нечисть увещевать бесполезно; она стоит прямо, глядя в глаза негодяям, которые тычут кулаки ей в лицо… вот так же, наверное, прямо — спустя несколько лет, — она будет смотреть в прорези на черных масках своих убийц, ее изрешетят пулями из автомата «агран» в подъезде собственного дома-

Еще один чтец-декламатор, взгромоздившись в сапогах на кресло, с выражением читает по бумажке стихи, в которых иногда

звучит фамилия *Сталин*… кажется, что-то из раннего Евтушенко… с кем не бывало в ту пору? Даже Пастернак не безгрешен…

Оглядываюсь на кулисы и вижу только что появившегося Евгения Евтушенко: он смотрит на буйство в зале, лицо очень бледно, челюсти сжаты, пытается через силу улыбаться.

Пришельцы пока его не замечают, да и он сам не спешит себя обнаруживать.

— Вы, *отколовшиеся* от русских писателей жидо-масоны, убирайтесь из зала! — неистовствует Осташвили. — Вы не писатели! Писатели — Распутин, Астафьев, Белов…

Писатель Анатолий Курчаткин, возмущенный глумлениями, звучащими в стенах Дома литераторов, бросается к человеку с мегафоном, но накаченные охранники преграждают ему путь.

— Врежьте этому жиду по очкам, чтобы он ослеп! — командует фюрер.

Курчаткину наносят удары в лицо.

Еще две тетки, напоминающие базарных торговок, таскают за волосы плачущую пожилую женщину библейской внешности, крича: «Жидовка!.. Тварь!»

Семидесятилетний Елизар Мальцев пытается ее защитить.

Молодчики в черном перехватывают писателя и колотят его.

И еще одна женщина: она перемещается вдоль сцены, не отрываясь от портативной видеокамеры, обращенной в зал — снимает на пленку чудовищные эпизоды. Позже я узнаю, кто это: Стелла Иосифовна Алейникова-Волькенштейн, активистка «Московской трибуны». О ее возрасте можно судить уже по тому, что в тридцатые годы она в составе Интербригад воевала с фашистами в Испании. А сейчас у нее пытаются выхватить из рук видеокамеру, но она продолжает снимать.

Через несколько дней эти кадры появятся на экранах телевизоров, они обойдут и ужаснут весь мир.

…В проеме распахнутой двери мелькнули серые фуражки: кажется, прибыл наряд милиции, который обещали направить сюда еще час назад. Наконец-то пожаловали!..

Или так и было задумано: чтобы милиция пожаловала к шапочному разбору, когда действо уже *состоится*?

Из зала тянутся к выходу потрясенные участники вечера.

Вместе с ними, сворачивая на ходу плакаты, покидают зал черные мундиры.

На сцену поднимается Анатолий Курчаткин, его лицо расцарапано, в ссадинах. Подходит ко мне, протягивает подрагивающую от волнения ладонь, на которой разбитые очки.

— Ты слышал, что он кричал? — едва справляясь с

надломленным дыханием, говорит он. — «Врежьте этому жиду…»

Оба писателя, только что избитые в зале — Курчаткин и Мальцев — русские.

Газеты и еженедельники пестрели сенсационными сообщениями о погроме, устроенном молодчиками «Памяти» в Центральном доме литераторов.

Заголовки были тревожными: «Зачем вооружаются боевики?», «Дети Шарикова», «Знают, что творят!», «Погромщики в ЦДЛ». Одна из «патриотических» газет намекнула мрачно: «Провокация». Другая же подала это в духе иронического стеба, становящегося модой: «Драка в Центральном доме литераторов», «После драки в ЦДЛ: машут кулаками»…

23 января (напомню, что всё это происходило еще в рамках советской системы, в девяностом году) Анатолия Курчаткина и меня пригласили на Первый канал телевидения для участия в очередном выпуске программы «Взгляд».

В ту пору «Взгляд» имел неслыханную популярность. Его смотрели по системе «Орбита» десятки миллионов зрителей на пространстве от Сахалина до Балтики, от Норильска до Ферганы.

Вели передачу молодые журналисты Влад Листьев, Артем Боровик, Владимир Мукусев, Александр Политковский, Евгений Додолев.

Впервые телезрителям показали кадры, снятые Стеллой Алейниковой-Волькенштейн в тот вечер.

Потом был вопрос: *что это такое*?

У меня сохранилась аудиозапись передачи:

«*Курчаткин…Одна страшная вещь: мы имеем дело с той разновидностью национального сознания, которую можно назвать словом „черный национализм“.*

Рекемчук. Мы давно и, пожалуй, напрасно прибегаем к эвфемизмам, говоря об этом явлении. Мы явно избегаем произносить слово „фашизм“. Нам трудно говорить об этом. Мы — дети, люди страны, победившей фашизм. Говорить о „русском фашизме“, о фашизме в своем доме — стыдно, страшно. Вот почему мы предпочитаем говорить обиняками. Но нужно называть вещи своими именами: это движение политическое, фашистское. Чем скорее мы это поймем — тем скорее научимся с ним бороться».

Потом было множество телефонных звонков от тех, кто смотрел и слушал этот выпуск «Взгляда».

Одни высказывали поддержку. В их числе был Юрий Нагибин: «Ты сказал то, что надо было сказать давно».

Другие же, не представляясь, не ввязываясь в спор, просто

крыли меня трехэтажным матом.

По возвращении из Киева я буду вызван повесткой в суд, в качестве свидетеля по делу Осташвили-Смирнова: статья 174-я УК, часть вторая, разжигание национальной розни…

На подходах к Мосгорсуду, на Каланчевке, у трех вокзалов, писателей «Апреля» встречали всё те же накаченные молодцы в черном, лица которых еще не стерлись из памяти с минувшего января. Опять куражились, бранились, угрожали.

Фашистская газетенка «Русский клич» опубликовала фамилии, адреса, телефоны писателей, которые проходили свидетелями по делу. Звонки не умолкали, почтовые ящики не пустовали.

Зато самого Осташвили, когда милиционеры высаживали его из «воронка», встречали букетами цветов всё те же базарные тетёхи.

Щелкали затворы фотокамер. Виновник торжества улыбался.

Когда наступит мой черед давать показания, он первый задаст мне вопрос: «Так, скажите, свидетель, какой вы национальности?»

Каюсь, мне очень захочется переспросить: «А вы?»

Право же, в его облике, при всем желании, было трудно уловить черты, характерные для русских лиц.

Однако я воздержусь от этого встречного вопроса и лишь скажу о себе: «Русский».

Стенограмма процесса составит пухлый том.

Ему дадут минимальный срок: два года. К тому же подоспеет какая-то амнистия.

Но он так и не выйдет на волю. В апреле 1991 года, за несколько дней до освобождения, рано утром его обнаружат повесившимся прямо в бараке исправительно-трудовой колонии под Тверью.

Конечно же, версия самоубийства будет поставлена под сомнение. Газеты, как обычно падкие до сенсаций, наперебой станут излагать предположения, слухи. Одни будут утверждать, что его повесили те же жидо-масоны, уголовные авторитеты еврейской национальности, отбывавшие сроки в колонии. Другие, наоборот, выдвинут версию того, что Осташвили не прижился среди таких же, как он сам, националистов и был удавлен «за жидовский нос».

Лично я придерживаюсь третьей версии.

Повторю: Осташвили оставалось лишь несколько дней до выхода из колонии. И кто-то испугался, что, выйдя на свободу, он *заговорит*.

Что он расскажет, *кто* и *как* провел в писательский дом банду погромщиков; *где* изладили и *где* нашлепали для такого случая хоругви и плакаты; *кто* научил, *как* рассаживать бандюков в зале, *какие* стихи читать и какие песни петь; а главное — *кто* давал гарантии, что всё это останется безнаказанным, сойдет с рук.

Закончив выступление, я ушел за сцену отдышаться.

Оттуда слышал, как Александр Городницкий, встреченный овацией, вышел на авансцену.

Зазвенела гитара, пошла песня, которая мне очень нравилась.

Что снится ночью прокурору,
Что снится ночью прокурору,
Когда полуночную штору
Качает слабым ветерком?
Не выносить из дому сору,
Не выносить из дому сору,
Не выносить из дому сору
Ему советует горком…

Я заглянул в клетушку за сценой: там самозабвенно дулись в карты, в подкидного дурака, славные ребята из литературно-музыкального театра «Academia». Они уже сделали свою работу: все билеты проданы, зал полон, писатели из Москвы в ударе, киевская публика отзывчива.

Как раз в тот момент, когда я вернулся из-за кулис на сцену, зал подхватил вслед за Сашей Городницким:

Что снится ночью прокурору,
Что снится ночью прокурору,
Что снится ночью прокурору,
Когда впадет он в забытье?
Сны про избу да про корову,
Сны про избу да про корову,
Сны про избу да про корову, —
Про детство давнее свое.

На журнальном столике, у занавеса, лежали записки, прикочевавшие из зала, адресованные мне.

Развернул верхнюю.

Ув. Александр Евсеевым!

Есть два объекта в Киеве, где Вы можете поклониться бессмертной душе Вашего отца — возле Октябрьского дворца есть плита «Жертвам сталинских репрессий», установленная «Мемориалом», а также в Быковне (возле м. Пионерская), где мы установили на «формальном» памятнике наш, народный крест, который совсем недавно был освящен представителями трех церквей. Мы обязательно найдем могилу и Вашего отца и всех других убиенных так несправедливо.

С уважением — член Коорд. совета республиканского «Мемориала» Нат. Шиманская (2 ряд, место 5)

Вторая записка была без подписи.

Тов. Рекемчук

Каким Вы заделались демократом! А ведь некоторые помнят, как Вы по телеку долбали Солженицына… Не стыдно?

Я оставил эту записку себе на память.

Портрет инфанты

Еще издали, свернув с Крещатика направо, я увидел двухэтажный дом, который, как это бывает со старинными постройками, возвышался над окрестными, куда более высокими зданиями, — не то, чтоб унижая или подавляя их, но просто ставя их на место.

Это был знаменитый ханенковский особняк, более известный как Музей западного и восточного искусства. Еще его иногда называют — киевский Эрмитаж.

Я узнал эти рыцарские забрала и щиты на фасаде, лепнину карнизов, сводчатые окна, ступени крыльца на обе стороны, влево и вправо.

Узнал даже кудрявые липки вдоль тротуара, хотя с той поры, когда я бывал здесь, прежние деревья наверняка уж и срубили, и сожгли, и посадили наново.

С каждым шагом сердце сжималось всё больше в предчувствии еще одной встречи, что ждала меня в Киеве — с золотоволосой девочкой, подружкой моих ранних лет. И я знал, что она не потерялась в круговерти минувшего, что она есть, что она такая же, как была. Интересно, вспомнит ли она меня? Ведь уж я-то изменился до полной неузнаваемости…

Но чудес не бывает.

Жизнь как бы нарочно возводит препоны, оберегая нас от слишком сильных потрясений.

Взойдя на крыльцо, я увидел за стеклом парадной двери табличку: «Музей закрыт на ремонт».

И судя по тому, что фасад еще не был загорожен строительными лесами, а стены не были расколупаны, и вокруг не громоздились горы щебня, — этот ремонт лишь затевался.

Вздохнув сокрушенно, я поплелся обратно к гостинице.

Теперь было ясно, что всё, что мне должны были поведать музейные стены и полотна, украсившие эти стены, и образы на этих полотнах, — что всё это мне придется доставать из недр памяти. Из тех глубин сознания и подсознания, о которых утеряно даже представление, что они есть. И потому их внезапное появление ошеломляет, кажется невероятным.

Тут необходимо сделать уточнение.

В первой части рассказа о посещении Киева я, в основном, излагал события, которые произошли в ту пору, когда мать и отец еще были вместе — измаянные долгими разлуками, растущим отчуждением, — но вместе.

Теперь же мне предстоит поведать о более поздней, но не

менее драматичной поре: когда они уже развелись, и сначала у отца появилась новая жена, а затем и моя мама решила снова выйти замуж. И я, чего уж таить, был бы совершенно лишним на этой свадьбе (если ее, конечно, справляли) и, уж подавно, в утехах медового месяца.

И меня на этот срок спровадили в Киев, к папаше.

Новую жену отца тоже звали Лидией. Лидия Михайловна Бурштейн.

Это совпадение имен чрезвычайно злило мою маму, и она никогда, тем более заглазно, не называла разлучницу по имени, а исключительно — *Бурштейнихой*. Можно догадываться, какие обширные смыслы она вкладывала в это прозвище.

Но я, получив на некий срок приют в доме на Костёльной улице, где жили Бурштейны, не мог, конечно, себе позволить той же вольности в обращении. Я называл Лидию Михайловну по имени-отчеству. Иного она от меня и не требовала.

Из анкет, заполненных отцом и обнаруженных мною в его архивном деле, я узнал, что она была дочерью Михаила Юлиановича Бурштейна, служившего в ту пору заместителем директора Коммунального банка.

Сама же Лидия Михайловна работала администратором в Киевской филармонии. То есть, она была причастна к кругу людей искусства — художников, музыкантов, артистов, — и даже меня приобщила однажды к этому кругу своих знакомств, о чем я еще расскажу с удовольствием.

Что касается ее внешности, то мне трудно быть точным в описании — ведь тогда я еще не очень интересовался прелестями тридцатилетних женщин. Но помню, что у нее были темные волосы, гладко зачесанные к ушам и затылку, темные же глаза, яркие губы.

К своим тридцати годам она была бездетна и, насколько я знаю, таковой и осталась.

Заботой всей ее жизни была сестра Ирина — прикованная к постели девочка, инвалид с рождения. Быстрее всего я нашел общий язык, конечно, именно с нею, с Ириной. И даже иногда просил уложить меня в постель рядом с нею — ведь бегать она не могла, — чтобы ей не было скучно. Мне не отказывали в этой блажи, и сама Ирина, хотя и смущалась, но, кажется, была рада моему соседству.

Здесь, однако, я должен уточнить, что подружка моей киевской поры, любовь моих ранних лет — это не она, не Ирина.

Мою подружку звали Маргаритой.

Будет справедливым заметить, что сама Лидия Михайловна

старалась уделить мне, пасынку, максимум тепла и заботы.

Так, например, однажды она повела меня к знакомому портному, частнику, надомнику, и повелела ему сшить для меня костюмчик из черного бархата.

Портной поинтересовался: какого именно фасона хотел бы я заполучить штанишки и курточку?

Я описал ему примерно тот фасон, который высмотрел у своих недавних знакомцев, австрийских шуцбундовцев из закрытой столовки «Инснаба» на улице Карла Либкнехта в Харькове: штаны «никкербокер» с напуском ниже колена и курточка с блестящими пуговицами в два ряда.

Портной понимающе закивал. И в три дня сшил мне именно такой костюмчик, просто загляденье!

В нем-то меня и повезли в выходной день за Днепр, на Труханов остров, на дачу, где жил Михаил Юлианович Бурштейн. Меня, как нового члена семьи, решили представить ему и всей прочей еврейской родне.

Не скажу, чтобы там, на Трухановом острове, мне уделили слишком много внимания. Вероятно, я не пробудил у родни особого интереса. Ну, мальчик как мальчик.

Либо там и без меня хватало проблем.

В будние дни отец брал меня с собою на работу.

Теперь он был старшим научным сотрудником Музея западного и восточного искусства.

И эти дни, проведенные в музее, сыграли, мне думается, очень большую роль во всей моей дальнейшей жизни, развернув передо мною миры, о которых дотоле я не имел никакого представления.

Наверное, это и было задумано с самого начала создателями музея: чтобы за каждой распахнутой дверью перед посетителями открывался неведомый мир.

Для взрослого человека это не такая уж невидаль — он, поди, и раньше захаживал во всякие старинные палаты, дивился богатству предков, дышал священной пылью веков.

Мне же всё это открылось впервые.

Обмирая сердцем, входил я под своды Рыцарского зала, где на стенах висели скрещенные мечи, пупырчатые шиты, на которых красовались родовые гербы и непонятные девизы на латыни. А дальше душу подхватывала и уносила в выси стрельчатая готика Зеленого зала. Потом была Красная гостиная, где властвовали сюжеты Ренессанса, как бы примирявшие небо с землей. А рококошные завитушки Золотого зала и вовсе настраивали на игривый лад, который для моего детского

возраста отождествлялся именно с шалостью, а не с чем либо иным. И, наконец, Дельфийская столовая, где царил культ ненасытного брюха, бездонного кубка, — и тут я поневоле начинал глотать слюнки, подумывать о том, скоро ли обед…

Весь день, с утра до вечера, по этим залам двигались толпы людей, то настигая друг друга, и притормаживая нарочно, чтоб отдалиться, чтоб не мешать говорить и слушать, — то, наоборот, запаздывая, устремляясь вдогонку, торопя речь, — потому что на улице, у крыльца музея, галдели новые толпы.

Ими предводительствовали по очереди два экскурсовода, две седенькие старушки.

И я тоже весь день напролет, с утра до вечера, следовал хвостиком за этими людьми, гулко топочущими по паркетам, но замиравшими, когда им начинали объяснять, что да что, откуда и зачем, какой век, какой смысл, какой прок.

В моей детской памяти легко укладывались замысловатые имена и фамилии художников, названия городов и стран, арабские цифры и палочки латиницы…

Иногда я даже мечтал, негодник, о том, что вот вдруг седенькая старушка-экскурсовод брякнется в обморок, или же у нее вдруг схватит живот, и она убежит стремглав, — а все будут стоять в растерянности, не зная, что им делать и как им быть дальше, — и тогда я выйду из хвоста, встану перед ними и подхвачу рассказ с того же самого слова, на котором он прервался: «…Перед вами „Мужской портрет“ великого фламандского живописца Антониса ван Дейка… А теперь вы видите полотно Йордана „Амур и спящие нимфы“, датировка не известна… Пройдемте дальше». И когда какой-нибудь некультурный и развязный тип задаст непременный в каждой группе вопрос: «А сколько стоит эта картина?», я, подавляя усмешку, отвечу строго: «У нее нет цены. Она бесценна!»

В моей памяти навек запечатлелись сюжеты старинных полотен, развешанных по стенам в тусклом золоте таких же старинных рам.

До сих пор помню убитого зайца, подвешенного за ногу к сучку дерева, а рядом с ним, на том же суку, висела взъерошенная куропатка — трофеи удачливого охотника; а под ними, на столе, была плетеная корзина, наполненная доверху гроздьями винограда, зеленого и красного, терпкого даже на вид; румяные персики с шероховатой ворсистой кожей, перечеркнутые по округлости ложбиной, откровенно зовущей вкусить; а за бортом корзины валялись россыпью груши, сливы, орехи; и еще лежал острый ножик с костяной ручкой — режь да ешь…

Я уже знал со слов экскурсовода, что такая картина, на

которой изображено всё мертвое, застреленное, бездыханное, но будто живое, — что такая картина называется натюрмортом, то есть мертвой природой. Я пытался постичь различие: ну да, конечно, если заяц и куропатка убиты, то тут уж ничего не поделаешь, природа и впрямь мертва; но если — сорванный с ветки плод, или кисть винограда, срезанная с куста, или просто цветы — так разве они не живы? вон ведь, совсем живые, а внутри у них еще косточки, зернышки, несущие новые жизни… Почему же — мертвая природа?

Тогда же я постиг, притом впервые, что тема смерти, вообще, является одной из самых важных в искусстве. Что она питала вдохновение художников всех эпох и стран. Они старались постичь эту тайну, изобразить само действо, лишь выбирая для своих полотен разные сюжеты.

Тут, в музее, было немало подобных картин.

На одной из них разъяренные, неистовые и безжалостные амазонки рассекали мечом, побивали камнями, терзали распростертого на земле и уже бездыханного юношу, который, как объясняла старушка-экскурсовод, был музыкантом… «Смерть Орфея», так называлась картина.

Лютая казнь была изображена и на другом полотне — впрочем, нет, там было не полотно, а дерево, доска, — на старинной картине, которая называлась «Казнь святой Катерины». На ней прекрасная девушка преклоняла колени на краю только что вырытой для нее могилы. Сама убрала волосы со своей нежной белой шеи, чтобы палачу было удобней наносить удар. А палач стоял над нею, расставив ноги, занеся обоюдоострый меч, вот сейчас… Люди — военные и штатские, пешие и конные, мужчины и женщины, даже маленькие дети, стояли, как ни в чем не бывало, вокруг места свершения казни с лицами совершенно безразличными, разве что любопытными, никто даже и не всплакнул…

Зато все плакали, и скорбели, и молились на соседней картине, которая так и называлась: «Оплакивание Христа».

К тому времени я уже имел представление о том, кем был Иисус Христос, и как ему тоже выпала казнь, как его покарали за святость, за его проповедь, за его непохожесть на других. Его распяли на кресте, вбив гвозди прямо в тело… Но здесь я хоть знал, что свершилось чудо, что он воскрес, вознесся в небо, что он сам сделался всемогущим и милостивым Богом.

А как же быть остальным?

Весь во власти горьких размышлений, я забылся и даже не заметил, что остался совсем один в этом зале, где висели изображения лютых казней.

Вся группа экскурсантов, за которой я увязался, перешла в другой зал, отдалилась настолько, что уже не было слышно ни шагов, ни голосов.

А я всё стоял и смотрел на распятого Христа.

Но, вместе с тем, у меня было такое чувство, будто я здесь не совсем один.

Я ощущал на себе чей-то пристальный взгляд.

Это ощущение сделалось уже привычным в стенах музея, в залах, сплошь увешанных портретами, каждый из которых был зряч, смотрел испытующе и требовательно, часто — глаза в глаза…

Взгляд был ощутим настолько, что я поневоле оглянулся.

В проеме открытой двери — как в раме портрета, большого, во весь рост, — стоял отец.

Очень высокий в сравнении со мною, малышом, он смотрел сверху вниз. Но расстояние между нами было изрядным, и это выравнивало ось взгляда, снимало превосходство. Мы были с ним совершенно равны.

Добавлю, что в его взгляде не было умилённости, что свойственно взрослому, когда он глядит на ребенка.

Нет, его взгляд был столь же зорок, испытующ и требователен, как на портретах далеких предков, развешанных на стенах.

И еще у этого взгляда была та особенность, которую я подметил на многочисленных в этом музее автопортретах. Ведь художник пишет самого себя, то и дело поглядывая в зеркало. Взглянул — и перевел взгляд на полотно, набрасывая кистью мазки, втирая краску в грунт, углубляя тени, выпячивая свет… И опять — к зеркалу, уже в сомнениях, в тревогах: а каков же я на самом деле? Такой ли, каким хотел бы быть, каким хотел бы представить себя людям?..

Да-да: он смотрел на меня, как на свой *автопортрет*, точней — как на этюд к автопортрету, еще не в полный рост, еще в беглых чертах наброска, еще лишь пытаясь уловить сходство.

Я улыбнулся ему: что — нам пора обедать? Или — уже домой?

Угадав мои вопросы, он отогнул манжету, взглянул на часы, помотал головой — нет, мальчик, не пора, у нас с тобою еще уйма времени… Ходи, смотри!

И исчез, ушел из рамы, будто бы его и не было.

Я же отправился дальше.

Я знал, куда иду, минуя рыцарские щиты и шлемы, готические острия, изразцовые камины, увядшие гобелены, беломраморную наготу статуй.

Я каждое утро готовился к этой встрече, живя уверенностью в том, что она состоится, что я непременно увижу и нынче, как вчера, предмет своих воздыханий.

Это была девочка моих лет, которую звали Маргаритой.

Она была инфантой, принцессой, наследницей испанского престола, не мне чета.

Но этим обстоятельством можно было, в конце концов, и пренебречь.

Ведь она была лишь на холсте, заключенном в золотую раму, и это уже само по себе определяло условность границ.

У нее были ангельски-светлые и мягкие золотистые волосы, какие бывают лишь у невинных детей. Они ниспадали к узким плечикам, к рукам, застывшим как бы на взмахе, на взлете, как в танце — потому что она, даже при всем желании, не могла бы их опустить к бедрам: так невероятно пышна и широка была растопыренная на проволоке юбка ее парчового придворного платья, расшитого золотой тесьмой, украшенного жемчугами и алмазами.

Ее личико было бледно и чисто, с пухлым носиком, как у меня, светлыми бровками, глазками чуть-чуть навыкате, а губки ее были собраны в бантик, как бы для детского поцелуя, с растерянной улыбкой в уголках…

Повторю, я сознавал вполне, что она была не моего поля ягода.

Но в те минуты, когда я пытливо и влюбленно вглядывался в ее черты, мне иногда казалось, что она сама тоже тяготится своим не вполне свободным положением принцессы, нарядной игрушки при королевском дворе. Этим платьем на проволоке, в котором и шагу не ступить, не то, что побежать налегке. Этой пурпурной мантильей в волосах, которая мешает оглянуться. Этими нелепыми серьгами в ушах с такими же пурпурными бантами… Ах, мальчик, если б ты знал, как всё это надоело, хоть удавись!

И я верил ее искренности, хотя уже был наслышан о врожденном женском коварстве.

Моя преданность первой любви была безраздельной.

Однажды отец, уже приметивший, конечно, мою привязанность к творению Веласкеса, позвал меня в свой кабинет.

Там были люди, там было накурено, хотя он сам и не терпел табачного зелья.

На письменном столе стояли рядом два холста совершенно одинакового размера, и на них было одно и то же лицо: инфанта Маргарита во всей своей детской красе…

Меня ничуть не удивило это раздвоение личности.

В залах музея всегда было много художников-копиистов, которые, расставив колченогие мольберты, раскрыв ящики с мятыми тюбиками, держа на отлете палитры, заляпанные краской, вдохновенно повторяли сюжеты великих мастеров прошлого: кто «Спящих нимф», кто «Битого зайца», а кто посягал и на «Инфанту».

Причем это были не халтурщики, а тоже мастера своего дела, умевшие передать и сумрак потемневших от времени красок, и первоначальное их сияние, бьющее изнутри; и кракелюр, то есть трещинки слоя; и нервный бег кисти, ставящей в уголке подпись автора, не верящего даже, что он смог сотворить такое чудо…

Я часами, переминаясь с ноги на ногу, выстаивал за спинами этих копиистов, догадываясь, что и этот труд достоин уважения.

Они тоже привыкли ко мне, не гнали прочь.

И вот отец — уже ценя мой опыт, но больше уповая на детскую непосредственность и неподкупность, — зазвал меня в свой кабинет для беспристрастного суда.

Где подлинник, а где копия?

Где настоящая инфанта Маргарита, а где ее повторение? Ты можешь различить?

Я долго вглядывался в полотна, потом сказал: вот эта — настоящая.

Почему ты так решил?

Потому что у этой можно различить каждый волосок. А у этой…

Все, кто был в кабинете, расхохотались дружно.

Наверное, я угадал.

И в этот миг мою детскую душу захлестнула волна радости.

Вовсе не от того, что угадал, что отличил настоящую инфанту от поддельной.

А от того, что перенял взгляд отца — растроганный, благодарный. Такой, каким и должен быть взгляд отца, гордящегося своим сыном.

Я не забывал свою подружку и позже.

Уже в школьные годы, после третьего, что ли, класса, в летние каникулы я поехал в детский санаторий, в Крым. Не в Артек, конечно, но поблизости.

В этом санатории было полно испанских детей.

Их везли прямо из Испании, где шла гражданская война, тысячами, целыми пароходами. И сразу — в пионерский лагерь.

Мы различали их по испанским шапочкам — эдакий пирожок с кисточкой, болтающейся у самого носа. И по красным галстукам, которые они нипочем не желали снимать, даже когда

купались в море — голая шея, а на ней повязан красный галстук, — очень смуглые, чернявые, темноглазые, очень бойкие ребята.

Когда приходил очередной пароход, и они спускались по трапу — кто с чемоданом, кто с котомкой, а кто и просто так, налегке, еле выскочив из-под обстрелов, из-под бомб, — когда они под гром духового оркестра, под клики приветствий, спускались по трапу, салютуя сжатыми кулаками: *No pasaran! Они не пройдут!* — я всё выискивал глазами среди них ту белокурую и светлоглазую девочку, которую звали Маргаритой, с которой я подружился в Киевском музее западного и восточного искусства, — где же она? Может быть, я ее просто не узнаю? Вдруг ее остригли, срезав наголо льняные локоны, чтобы в них по дороге не завелись вши?

Нас, русских мальчиков и девочек, тоже стригли наголо, когда отправляли в лагерь, тут выдавали белые панамки… А может быть, она и не попала на пароход? Там и осталась — под бомбами, под обстрелом?..

Вообще, надо заметить, что среди испанских детей, прибывающих на пароходах в Крым, было очень мало девочек.

И мальчики — ихние мальчики, смуглые, чернявые, очень бойкие — лезли к нам на веранду, где мы завтракали, обедали и ужинали, — перелезали через барьер и без лишних экивоков начинали лапать, тискать, целовать наших девочек, восклицая: «О, Светлана!», «О, Наташа!» — ведь они еще не знали ни слова по-русски, вот только эти имена…

Наши девочки были в полной растерянности. Они не знали, что им делать — то ли визжать, то ли отбиваться, то ли звать на помощь воспитательниц? Ведь это были не какие-нибудь местные урки, хулиганы, перелезшие через забор. А это были испанские дети, которых мы встречали у пароходных трапов, тоже вздымая сжатые кулачки: *No pasaran! Они не пройдут!*

Наши девочки, когда их лапали и тискали, просто улыбались растерянно, хихикали, опускали глаза, ведь они были маленькие, они еще не знали, как положено себя вести в подобных случаях.

Замечу, что мы, мальчишки, тоже пребывали в затруднении, не знали, что предпринять. Мы сидели за общим столом, ковыряя вилками оладьи, и делали вид, что это нас не касается. Ну, не лезть же в драку с классовыми братьями, с товарищами по борьбе! Тем более, что наши девочки даже тогда, когда вокруг еще не было столько испанцев, нас вообще не замечали, не ставили ни в грош, мы были для них мелкотой, сопляками…

Между прочим, многие из этих испанских детей так навсегда и остались в России.

Еще я часто вспоминал об инфанте Маргарите, когда началась война.

Из Харькова наш эшелон уходил тоже под бомбами. «Юнкерсы» долбили нас всю ночь и весь следующий день, пока мы не отъехали верст на триста — дотуда они не доставали. В пути я узнал, что одна из девочек, учившихся вместе со мною в классе — ее тоже звали Маргаритой, — погибла при взрыве бомбы, угодившей в вагон состава, который следовал за нами… А нашу школу в поселке Тракторного завода снесло прямым попаданием авиабомбы.

Из Харькова мы эвакуировались в Сталинград. Оттуда, когда и к Волге через год прорвались немцы, за Урал, через пустыни, через степи, опять в леса, на Алтай, в Барнаул…

Уже после войны я узнал, что примерно та же судьба досталась подружке моих детских лет, белокурой девочке, инфанте Маргарите.

Когда немцы осадили Киев, бесценное полотно Веласкеса упрятали в деревянный ящик, насовали туда древесной стружки, забили гвоздями и, впопыхах, погрузили в вагон товарняка, стоявшего под парами… Состав ушел. И лишь тогда хватились, что в спешке груз не был оформлен как следует. Что ящик с картиной не был опломбирован. Что место назначения состава не известно. Что след простыл…

А тут и Киев запылал огнем, затрясся от взрывов. В город вошли дивизии вермахта.

На какое-то время об инфанте Маргарите вообще забыли.

Где она скиталась, подобно мне, подобно другим несчастным детям? Где нашла приют в своем сиротстве? Чем перебивалась в голодную пору?..

Она нашлась в конце войны. Я слышал, будто бы она вернулась в Киев, на свое прежнее место в Музее западного и восточного искусства.

Осенью 1987 года, впервые в жизни, я побывал в Мадриде.

Первым делом, конечно, поехал в музей Прадо.

Меня интересовала «Герника» Пикассо. И я, не заглядывая в залы давних веков, прямиком направился в «Кабинете дидактико», в соседнее зданьице, где когда-то располагались учебные классы.

Охрана при входе порылась в моей сумке, изучила взглядами физию, велела пройти сквозь магнитные воротца — как давеча в аэропорту, — но во мне ничего не оказалось. И вот я у цели…

Гигантский холст был упрятан в саркофаг из пуленепробиваемого стекла. У саркофага стояли гвардейцы в

лаковых черных треуголках, возложив ладони на вороненую сталь автоматов. Это не был почетный караул: здесь вполне серьезно относились к возможности террористического акта…

Угли гражданских войн не стынут долго, сберегая жар для нового пламени.

Тогда, в тридцать седьмом году, Пабло Пикассо получил заказ на живописное панно для павильона Испании на Всемирной выставке в Париже. У сражающейся республики не было денег на роскошества. Соорудили лишь легкий навес для картины во всю стену. Были оговорены размеры панно: восемь метров в ширину, три с половиной в высоту. Всё.

Он медлил, размышлял.

В Трокадеро, вдоль набережной Сены, у Иенского моста, уже встал павильон СССР с мухинской статуей «Рабочий и колхозница» на головном пилоне.

Напротив, лоб в лоб, Альберт Шпеер возвел павильон Третьего Рейха с имперским орлом, держащим в когтях свастику.

Ни у кого не оставалось сомнений в том, что означало это противостояние…

А маэстро пребывал в раздумьях.

В ночь на 26 апреля 1937 года германская воздушная эскадра «Кондор» нанесла удар по Гернике, старинному городку в Басконии, на севере Испании, в котором было всего лишь пять тысяч жителей. После нескольких часов массированной бомбардировки городка не стало.

До официального открытия Парижской выставки оставалась одна неделя.

Пабло Пикассо придвинул стремянку к стене павильона, вооружился углем…

…раненная лошадь, оскалившая зубы в предсмертном истошном ржаньи; распластанный навзничь мертвец, и некто, еще живой, но в безумии лезущий на стену; мать, несущая растерзанного ребенка; электрическая лампочка, раскачивающаяся под потолком; отсеченная рука, сжимающая меч; разъяренный бык, тупо топчущий трупы: голова античной богини, просунувшаяся в чердачное окошко черепичной крыши; запоздалый вскрик божества: «Что вы делаете, люди?..»

Едва справляясь с учащенным дыханием, смотрел я на полотно, простершееся в ширь и в высь, во всю стену «Кабинете дидактико».

Я много раз видел репродукции этого панно — в альбомах, книгах, на открытках, даже на почтовых марках, — и сейчас удивлялся своим наивным предположениям, что в подлиннике холст взорвется всем цветовым спектром: красное, синее,

желтое… Но этого не было и быть не могло: лишь черное, белое, серое… здесь даже льющаяся кровь была серой, а солнце излучало черный свет…

Простояв целый час перед «Герникой», я направился в главный корпус музея, всё же решив, что начинать нужно с начала.

Кроме того, я хотел стряхнуть наваждение, которое легло на душу при созерцании картины за пуленепробиваемым стеклом.

В самом деле, думал я, двигаясь по залам, где были Рафаэль и Мурильо, Тициан и Эль Греко, где был Иероним Босх, — неужели им совсем не нужна защита, неужели у них, за давностию времени, совсем не осталось врагов? Счастливцы.

Я примерял, как выглядели бы гвардейцы с автоматами, в треугольных шляпах, скажем, у картин Гойи, возле его расстрелов, трибуналов, возле его «Капричос», — они тут вполне бы подошли.

Но никакой охраны тут не было.

Подходи вплотную к холсту, смотри, нюхай, хоть дотронься пальцем — никто ничего не скажет.

Именно это чувство я испытал подле «Обнаженной Махи» того же Гойи, написанной столь пастозно, столь густо, что я едва превозмог искушение подергать блядищу за нос…

Но на пороге очередного зала я вдруг споткнулся и замер.

Прямо на меня смотрела *она*.

Я сразу узнал это чистое бледное личико с припухлым носом, как у меня, светлыми бровками, губами, собранными в бантик для безгрешного детского поцелуя. Эти голубые, чуть навыкате, глаза. Ангельски-светлые золотистые волосы, ниспадающие к узким плечикам. Руки, застывшие на взмахе, на взлете, как в танце, которые она, при всем желании, не могла бы опустить — так невероятно пышна и широка, вползалы, была юбка ее парчового платья, растопыренная на проволоке, расшитая золотой тесьмой, украшенная жемчугами и алмазами.

Да, это была она, инфанта Маргарита, моя принцесса.

Разумеется, это не было для меня такой уж полной неожиданностью.

Ведь я знал, что художник Веласкес, влюбленный в свою модель столь же трепетно, как я, написал целую галерею ее портретов, теперь украсивших музеи мира…

Но здесь, в Прадо, она уже не была сиротой.

На огромном полотне, которое называлось «Менины», эта девочка, инфанта Маргарита, была лишь одной из фигур хитроумной композиции.

Главными же лицами, согласно придворному этикету, тут были ее отец и мать, король и королева Испании.

И художник Веласкес писал, строго говоря, двойной портрет их величеств.

А она как бы при сем присутствовала.

Остальные же с почтением наблюдали за тем, как он пишет королевскую чету.

Но как можно изобразить на одном холсте и тех, кого пишут, и того, кто пишет, и тех, кто наблюдает акт вдохновенного творчества?

На то и мастер, чтобы найти решение, сделать невозможное возможным.

В глубине дворцовой залы висело зеркало, в котором отражались лики и стати короля с королевой. То есть, художник написал своей кистью зеркало, а в зеркале поместил тот будущий портрет августейшей четы, который покуда существовал лишь в его воображении и взгляде.

В комнате царил сумрак. Пожалуй, тут было темновато для сеанса портретной живописи.

Поэтому гофмаршал королевы Хосе Ньето направился к дальнему окну, отдернул плотную гардину, и дневной свет хлынул из окна внутрь покоев.

А живописец успел запечатлеть на холсте этот его поступок, поскольку благосклонность гофмаршала королевы тоже бывает полезна.

При этом великий художник Диего Родригес де Сильва Веласкес не преминул запечатлеть на этом полотне и самого себя, пишущего королевскую чету.

Он стоял у холста с палитрой в руке, с кистью в другой — очень красивый, в мушкетерском плаще с крестом, с вдохновенным лицом, обрамленным бородой и усами, волною темных волос, ниспадающих к плечам.

Это был, говорят, единственный автопортрет великого живописца.

Может быть, он предчувствовал, что жить ему на свете осталось недолго — всего лишь год, — и он хотел сам распорядиться тем, каким запечатлится в памяти потомков.

Но повторю: даже он, мастер, оставался в стороне, в сумраке, а в центре его полотна была девочка с голубыми глазами и ангельски-светлыми волосами, инфанта Маргарита.

Вокруг нее хлопотали придворные девушки, фрейлины, *менины*, давшие название всей картине. Ее старалась рассмешить карлица Барбола, грузная, с обрюзгшим лицом пожилой дауняшки, похлопывающая в ладоши.

И еще на переднем крае картины, у самой рамы, возлежала большая собака, напомнившая мне черно-желтую овчарку Люси, Люську, которая в моем раннем детстве катала меня на санках по снегу, вдруг выпавшему в Одессе, а после погибла под колесами автомобиля; след которой обнаружился в архивном доносе осведомителя; а сама она потом появилась на видимой стороне Луны… Очень похожая собака.

Я много чего слыхал и читал о картине Веласкеса «Менины», прежде чем увидел ее своими глазами.

Сведущие люди уверяли, что эта картина впервые в истории искусства показала королевский двор не в чинном параде торжественного церемониала, а в будничной обстановке, когда их величества выкроили часок, чтобы позировать придворному художнику, но занятие это настолько утомительно и тягостно, что пришлось позвать шутов и карлиц, придворных фрейлин, услужливого гофмаршала, чтобы развеять скуку.

Сведущие люди при этом намекали, что и сам-де великий художник здесь выглядит лишь одним из шутов.

И что даже инфанта Маргарита, принцесса, тут всего лишь игрушка, кукла, призванная забавлять своей детской непосредственностью их величеств, короля с королевой…

Обо всём этом я много раз читал и слышал.

Но сейчас, в этот миг, когда мне выпала удача впервые в жизни заступить порог музея Прадо и увидеть воочию картину Веласкеса «Менины», мне — скажу откровенно, — было в высшей степени начхать на эти суждения и намеки.

Я видел лишь одно.

Что иногда, хотя и очень редко, в жизни всё кончается счастливо.

Что эта испанская девочка с ангельски-светлыми волосами сумела пройти сквозь все невзгоды: потеряться в смертельной круговерти войны, пережить обстрелы, бомбежки, лихорадку эвакуаций, бесприютность, сиротство, голод, безразличие, отчужденность, — и опять найтись, будто заново родившись на свет.

Теперь она была у себя дома, у отца с матерью, в родных стенах, среди родных и близких людей.

Ласковая фрейлина Агостина протягивала ей стакан воды: мол, выпей, малютка, успокойся, теперь всё будет хорошо.

Грузная карлица Барбола хлопала в ладоши, пританцовывая, чтоб рассмешить ее.

А собака Люська, зевнув умиротворенно, легла к ее ногам.

Натюрморт со свастикой

На багровом сукне, укрывшем часть стола, лежит тяжелый меч: обоюдоострый, отливающий синью. На его железной глади вытравлена надпись четкими готическими буквами — вероятно, рыцарский девиз, — но я еще не умею читать такие буквы.

Правее — книга в старинном переплете полуистлевшей кожи с бронзовыми застежками. Что за книга? Не знаю. Библия? Нет: вряд ли художник пошел бы на такое кощунство, расположив божественную книгу рядом с мечом, да еще водрузив на нее череп с оскаленной пастью и пустыми, как яичная скорлупа, глазницами.

А на самом переднем плане лежит длинная сигара с бумажным колечком, опоясывающим утолщение: бумажка красная, на ней белый кружок, в кружке — свастика, черный косой паук.

Сигара зажжена, тлеет: от горячего пепла тянутся вверх сизые пряди дыма, колеблемые сквозным ветром.

Больше ничего.

Картина стоит на мольберте. Она еще не закончена, местами незакрашенный холст выпирает наружу, краски свежи, притягательно пахнут.

Особенность момента в том, что у меня сейчас есть редкая возможность познать взаимосвязь вполне реальных вещей — с искусством.

Потому что всё, изображенное на холсте, существует на самом деле и лежит рядом.

Готовясь писать натюрморт, отец приволок домой старинный тевтонский меч — наверное, выпросил на время из музейных кладовок, ведь он и сам работает в музее. Раздобыл где-то настоящий человеческий череп, белый и хрупкий, лязгающий подвижной челюстью. Одолжил в библиотеке древнюю книгу в шершавом кожаном переплете с застежками, с ветхим срезом страниц.

Купил в «Торгсине» кубинскую сигару (сам-то он не курил ни сигар, ни папирос) и собственноручно — тому я живой свидетель, — слепил это бумажное колечко, нарисовав на нем свастику в белом круге на красном поле.

Всё это расположил на столешнице, развесив в качестве фона багровую ткань и тщательно выверив изгибы складок.

И лишь после этих долгих приготовлений сел к мольберту, взял в руки палитру и кисти.

Теперь всё это существовало в двух качествах.

Настоящий меч, настоящий череп (меня, признаться, немного пугало, что этот череп принадлежал когда-то живому человеку; что эта голова когда-то думала, говорила, смотрела, чавкала; и лишь потом сделалась безмолвной бутафорией), настоящая книга, настоящая сигара, даже дым был настоящий: отец зажигал спичкой конец сигары, когда наступал черед писать ее.

И то же самое — один к одному, в той же фактуре, в том же цвете — появлялось на холсте, поражая меня, терпеливого зрителя, полнотою сходства, тождеством.

Вероятно, отец мог бы написать этот натюрморт и в какой-нибудь иной, более современной, более свободной манере — ведь он был достаточно просвещенным человеком. Он жил во Франции, изъездил всю Германию, отлично знал Балканы, Польшу, Прибалтику, а прежде всего — Россию. Он видел в подлинниках, а то и на станках, в работе, живопись Сезанна, Матисса, Лентулова, Фалька, Сарьяна. Он наверняка мог бы и сам овладеть приемами экспрессионизма, супрематизма, кубизма… Эка невидаль! Бурлюк — и тот из Харькова.

Но он держался приемов классического письма, работал в канонах реализма.

Да, в ту пору — в мои шесть лет, — меня очень занимали проблемы сходства, тождества реальных вещей, реальной жизни с тем, что запечатлено на холсте.

Может быть, я интуитивно — то есть, еще не разбираясь в понятиях, в их взаимосвязях, в их относительности, — искал сам *момент искусства*, высекающийся, как искра из кремня, в момент перехода одной реальности в другую.

Ведь искусство возникает не только в тот миг, когда кисть касается холста.

Наверняка оно уже присутствовало и тогда, когда художник расставлял, менял местами, без конца передвигал, так и эдак, предметы своей будущей картины.

Оно, искусство, уже было и в тот озаряющий миг, когда он вдруг — мысленно — представил себе всё это в совокупности, и понял, что вышел на *образ*, на *тему*, осознал, что это очень важно не только для него самого, но и для других людей.

Когда ему явился замысел написать натюрморт с мечом и черепом, и тотчас, само собой, пришло название натюрморта — «Фашизм».

Он писал этот натюрморт осенью 1934 года, когда я гостил у него в Киеве.

А в начале зимы того же года, когда я вернулся в Харьков — я очень хорошо это помню, — мама, не говоря ни слова, ничего не

объясняя, пришпилила булавками к коврику на стене у моей кровати вырезанный из газеты портрет академика Павлова.

Тогда я, конечно, подумал, что она дает мне понять — в преддверии школы, — что нужно хорошо учиться и, может быть, тогда я тоже стану академиком, известным ученым, буду мучить собак, прививая им условные рефлексы, и за то мне дадут Нобелевскую премию.

Но, спустя много лет, я узнал то, чего не мог знать тогда.

И теперь мне остается лишь гадать, каким образом об этом узнала моя мама?

Что именно тогда, в декабре 1934 года, академик Иван Петрович Павлов написал письмо советским вождям, в котором были такие дерзкие строки:

> «Вы напрасно верите в мировую революцию. Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было…»

Его самого не посмели тронуть. Лишь дали понять, что в столь почтенном возрасте извинительны любые чудачества: поместили портрет в газете. И тем самым постарались избежать скандала.

Однако письмо академика Павлова советским вождям, всё же, обрело известность.

Не оно ли подвигло моего отца написать натюрморт «Фашизм»? Вряд ли. Хотя бы потому, что письмо академика Павлова появилось в декабре, а он задумал свою композицию и сел к мольберту еще осенью.

Значит, крамольные мысли, возникшие в голове ученого, посетили не только его?

Дальнейшие события подтверждают это.

На первомайской демонстрации 1938 года в Харькове распространялась листовка, текст которой тоже приобрел широкую известность много позже.

> «Товарищи! Великое дело Октябрьской революции подло предано… Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь… Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот?! Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. В своей бешеной ненависти к настоящему социализму Сталин сравнялся с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин

превращает ее в легкую добычу озверелого немецкого фашизма… Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности…»

Листовка распространялась в Харькове, но она была подписана «Московский комитет Антифашистской рабочей партии».

С нею связывают имя другого известного ученого — Льва Ландау. Он был арестован как один из ее авторов.

Знал ли Рекемчук об этой листовке? Нет. К той поре — маю 1938 года, — его уже не было в живых.

Но тогда, осенью тридцать четвертого, когда он писал свой натюрморт со свастикой, — было ли в том лишь обличение германского фашизма со всеми его атрибутами? Или в той *аллегории* был и тогда уже заложен более широкий смысл?

Я не знаю, куда подевался впоследствии этот холст: ведь вскоре отца арестовали, и эта картина могла быть приобщена к числу вещественных доказательств его вины.

Он мог и заранее, собственноручно, уничтожить это творение, понимая, что ему не поздоровиться, если найдут, если *поймут*.

Но если даже натюрморт «Фашизм» каким-то чудом уцелел в тридцать седьмом году — если его спрятали, сунули в темный угол, закинули на антресоли, — то, всё равно, он не мог пережить сорок первого года, когда Красная Армия сдала Киев, и в город вошли немцы, и всё тут взрывалось, горело, и людей гнали на расстрел, кого на Подол, кого в Бабий Яр, а кого кончали на месте.

Он не мог уцелеть.

Тем важней, что я видел его своими глазами — даже в двух вариантах, в инсталляции и на холсте, — в канун тех трагических событий, оставшись единственным свидетелем его существования.

И я свидетельствую это своей книгой, исходя из того же принципа изображения в масштабе *один к одному*.

В ней нет придуманных героев: все они совершенно конкретны и носят свои имена, свои фамилии. В ней нет вымышленных событий: всюду, где только возможно, я стараюсь их удостоверить документально. Привязка к месту и датировка тоже не должны вызывать сомнений, я очень надеюсь, что погрешности минимальны.

Значит, вопрос лишь в том — высекается ли искра при соприкосновении масс реального материала, при переходе одной стихии в другую? Появляется ли при этом *искусство*? Ведь на большее художник и не вправе претендовать…

Прямо скажу, что это заботит меня в последнюю очередь.

Как вряд ли это заботило и моего отца, когда он писал свой завещательный холст, картину с мечом и сигарой, натюрморт со свастикой.

После гастролей в Австралии, — а там Русский балет блистал на подмостках театров Сиднея, Мельбурна, Аделаиды, Брисбена, побывал и в Новой Зеландии, — окрыленный успехом молодой коллектив отправился в турне по Европе.

Там спектакли Русского балета состоялись в Милане, Каннах, Стокгольме, Хельсинки, Риге. Всюду им сопутствовал успех. Горячими рукоплесканиями встречала публика появление на сцене одной из юных звезд балета — восемнадцатилетней Тамары Чинаровой. В хореографической версии «Князя Игоря», поставленной Михаилом Фокиным, у нее была темпераментная роль половецкой княжны. В мемуарах, опубликованных в 2004 году американским журналом «*Dance Chronicle*», она (теперь уже — Тамара Финн) рассказывает о событиях той поры.

«…В сентябре 1937 года мы начали гастроли в Берлине. В вечерних преставлениях эстрадного театра „*Scala*“ мы выступали вместе с фокусниками, пожирателями огня и дрессированными тюленями.

Во втором отделении шел наш неистовый „Князь Игорь“.

Каждый вечер я считала вызовы: девятнадцать, двадцать…

Но эйфория успеха омрачалась мыслями о грядущей военной лихорадке.

Весь Берлин был увешан германскими флагами со свастикой и итальянскими фашистскими флагами: как раз в это время Муссолини нанес визит Гитлеру. Возбуждение обывателей достигло градуса истерии. Радиопропаганда звучала угрожающе, агрессивно, пахло войной.

Дважды за ночь, как раз в часы драгоценного отдыха, раздавались громкие стуки в двери нашего пансиона. Звучала команда: немедленно отправляться в подвальное бомбоубежище. Никакие уговоры не действовали — солдаты выволакивали нас из комнат. Нам выдавали противогазы и заставляли сидеть в них вплоть до прихода нацистского коменданта, который объявлял, что подан сигнал отбоя воздушной тревоги…»

Перечитывая в переводе с английского эти строки, я вполне ощущал тот *эффект присутствия*, который, как утверждают искусствоведы, является мерилом жизненной правды.

Я представлял всё это столь же реально, зримо, осязаемо, как если бы сам коротал томительные ночные часы рядом со своей сестрой, скукожась на голой скамье, привалясь к холодной стене

подземелья.

Между тем, нас разделяли границы и многие сотни километров.

Но именно те же бессонные ночи тридцать седьмого я проводил в подвальном бомбоубежище на улице Дарвина в Харькове.

Вечерами из черной тарелки репродуктора вырывался заунывный вой сирены, который перемежался голосом диктора: «Граждане, воздушная тревога!.. Воздушная тревога!..»

Я уже знал, что нужно делать после такого предупреждения: накинуть на плечи одеяло, чтобы не простудиться в сыром подвале; прихватить пакетик с хлебом и бутылку воды, чтобы не страдать от голода и жажды, если тревога продлится до самого утра; а главное — не забыть портативный детский противогаз со стеклянными глазами и слоновьим хоботком, с ремешками на затылке, — на тот случай, если обычная воздушная тревога дополнится химической тревогой.

Газы!.. Фосген, хлорпикрин, иприт, льюизит…

Всё это я знал наизусть, потому что дома, на подоконнике, лежали навалом брошюры и листовки, посвященные правилам химической защиты. Их изучала моя мама, которая была общественным инструктором по противовоздушной обороне. Ее даже наградили значком «Отличник ПВХО». Всё, что ей поручалось в жизни, она делала на совесть — с увлечением и страстью.

Именно поэтому в часы воздушных тревог ее почти никогда не было рядом со мною. С противогазом на боку, она носилась по двору, следя за тем, чтобы в окнах домов не было и проблеска света; чтобы никто не шлялся по улицам без дела, как ни в чем не бывало; чтобы не лезли на крыши, откуда можно подавать сигналы наводки вражеским самолетам…

Скука, которая снедала меня в эти долгие часы сидения в бомбоубежище, была тем более тягостна, что я, как, впрочем, и другие, отлично понимал, что все эти тревоги — буза, дурь, игра, одним словом — ученье.

Тогда я не мог еще предположить, что очень скоро — всего лишь через четыре года, — всё это выпадет мне в жуткой натуре, в абсолютной реальности жизни и смерти, в грубой правде войны.

Что, как и все, я буду ночь за ночью проводить в подвальных убежищах Харькова, а потом в земляных щелях под Сталинградом, слыша в небе напористый гул «Юнкерсов» и «Дорнье», зажимая уши от бьющей в перепонки пальбы зениток, угадывая по светящимся столбам прожекторного света приближенье либо удаленье чужих самолетов, всем телом

вжимаясь в глиняную стену, когда с высоты, нарастая, падал разбойный свист бомбы…

Утром я выковыривал из земли еще, казалось, горячие скрюченные куски металла.

А однажды, в самый канун учебного года, побежал взглянуть на новую школу, в которой мне предстояло учиться, — а на ее месте была груда камней и свежий котлован, воронка от взрыва тысячекилограммовой бомбы.

Он стоял перед своей картиной всё в той же бойцовой стойке: в левой руке, подобно щиту, овальная палитра, а в правой — кисть, будто рапира, нацеленная на последний выпад…

Лишь на миг он отвлекся от холста и увидел мой приоткрытый рот, сияющие восторгом глаза. И это, конечно, польстило ему, как всегда льстит художнику внимание первого зрителя.

Поколебавшись чуть, он вдруг убрал со станка почти готовую картину — ведь всего лишь одного мазка недоставало! — и тотчас, протянув руку к стене, выхватил из ряда непочатый холст, тщательно загрунтованный белилами, чистый, как первый снег.

Пересадил меня в другое кресло, ближе к окну, так, чтобы свет, по-осеннему яркий и пестрый, падал сбоку.

Вместо кисти вооружился грифелем.

Теперь, сквозь ткань холста и пелену грунта, я мог видеть, как этот уголек обегает пространство, выстраивая в нем перспективу. Как он, легкими штрихами, очерчивает мои плечи. Как — одним округлым движением — сажает на эти плечи мою голову.

Первый раз в жизни — и, сдается, последний — моя невзрачная внешность вдохновила творца.

Не смея шевельнуться, я сидел с окаменелым подбородком, лишь поводя по сторонам глазами. И еще внимательно следя за руками художника, как бы улавливая про запас последовательности живописной техники.

И тут мне опять открылась, во всей своей наготе, загадочная условность искусства.

Я сидел в кресле, то есть позировал, будучи одет в тот самый черный бархатный костюмчик, что сшил на заказ старый портняжка, знакомый Лидии Михайловны, и который, надо признаться, уже пообтерся изрядно на локтях и коленках, ведь бархат — довольно хлипкий матерьяльчик.

Но сейчас, когда отец опять взял в руки свою палитру и целый ворох кистей, я с удивлением обнаружил, что он закрашивает мой костюмчик вовсе не черной краской, что

соответствовало бы натуре, а веселенькой яркозеленой, которая — я уже изучил этикетки мятых свинцовых тюбиков, — называется *изумрудной зеленью*.

Именно так он это *увидел*, а не так, как было на самом деле.

Однако у меня не было причин оспаривать это художественное решение.

Теперь он взялся за мою голову.

Выдавив из тюбика крученую какашку охры, добавил в нее чуточку *лимонного кадмия*, а затем еще каплю красной киновари — всё это смешал у края палитры, как раз у вдетого в прорезь большого пальца, зацепил смесь кистью, поднес к холсту…

Теперь уж я не озирался больше по сторонам, даже перестал моргать, понимая, что наступил самый ответственный момент творчества, когда художник пишет *лицо*, а там еще и самое главное на этой стадии — *глаза*, которые, как известно, зеркало души.

Как вдруг, потемнев, сцепив зубы, так, что обозначились на скулах желваки, он всердцах бросил кисть, отшвырнув палитру.

Наскоро отерев пальцы испятнанной тряпкой, бросил и ее.

Не говоря ни слова, ушел в другую комнату.

Что с ним?

Что его так удручило в самый вдохновенный момент работы? Может быть, что-то получилось не так, как он хотел? Или вовсе не получилось? Что стряслось?..

Я сполз с кресла, обошел мольберт, приблизился к холсту.

Он, казалось, еще трепетал от соприкосновений с кистью. Его бСльшая часть сквозила наружу, выставляя штрихи рисунка.

В сущности, закрашен был лишь бархатный костюмчик. Он сиял изумрудной зеленью, будто новый, на нем не было и следа потертостей — ни на локтях, ни на коленях.

Лишь сейчас я понял, почему он решил придать этой одежке не тот скучный цвет, который был на самом деле, а иной — ярко-зеленый, свежий. Глаз художника угадал, что эта зелень даст эффектное сочетание с таким же юным и озорным цветом мальчишеских волос…

И это предощущение оправдалось.

С робким тщеславием модели, давшей художнику заряд вдохновения, смотрел я на то, как буйно полыхает на холсте рыжий костер моих кудрей.

Первое, что я сделал, когда в 1957 году отец был посмертно реабилитирован, — написал письмо в Киевский музей западного и восточного искусства.

Мол, так и так: не сохранились ли в музейных архивах какие-

либо бумаги, связанные с его работой там? Может быть, остались его фотографии, хотя бы служебные, с документов? И еще: нет ли в запасниках музея полотен его кисти? Я отдаю себе отчет в том, что он — не Веласкес, не Гойя, но вдруг?..

Понимаете, написал я, не осталось никакого следа о человеке, о его жизни, даже могильного камня не осталось… Но ведь он — был!

Долгое время на это письмо не было ответа. И я уж почти смирился с тем, что ответа не будет.

Как вдруг получаю конверт со штемпелем киевской почты. А в нем — страничка машинописного текста.

Уважаемый Александр Евсеевич,

прошу прощения, что с большим опозданием пишу ответ. Отец Ваш, действительно, работал в музее до 1936 года, а потом перешел, если не ошибаюсь, в Киевскую киностудию. В музее до начала войны хранился один натюрморт Вашего отца. Но по возвращении в Киев (1945 г.) я узнал, что в фондах музея ничего не осталось — всё было разграблено фашистскими захватчиками. Я проверил архив, думал, может быть, в личном деле осталось фото, но и личные дела, оказывается, были сожжены.

Вот, к сожалению, всё, что мне известно.

Если встречу кого-либо из старых работников кинофабрики, что весьма мало вероятно (сейчас там. новые люди), я обязательно спрошу и напишу Вам.

С уважением

ОВЧИННИКОВ В.Ф.

19. VIII — 1959 г.

Но больше писем не было. И встретиться лично нам тоже не довелось.

Впоследствии, читая научные труды и листая обычные экскурсионные путеводители, я часто находил в них фамилию директора Киевского художественного музея Василия Федоровича Овчинникова. Многое узнал о подвиге во имя искусства — иначе это не назовешь! — совершенном в годы войны сотрудниками музея. Под огнем, в неразберихе и панике всеобщего бегства, они сумели запаковать в ящики и отправить в тыл — на Волгу, на

Урал, — более ста наиболее ценных творений живописи, античную и восточную терракоту, средневековую бронзу, эмали, серебро.

В одной из предыдущих глав я поведал об опасностях, которым подвергалась в те дни жемчужина музея — «Портрет инфанты Маргариты» кисти Веласкеса.

В сорок пятом все эти сокровища, в целости и сохранности, вернулись в ханенковский особняк близ Крещатика.

Вероятно, мое давнее письмо в киевский музей было не единственным запросом, на который пришлось отвечать его директору.

В архивной папке, которую я изучал в Киеве летом девяностого, мне попался служебный рапорт оперативного работника, в котором были такие строки:

> «…Овчинников, знающий Рекемчука по работе в художественном музее, сообщил, что в 1934 году он (Рекемчук) работал зав. отделом западного и восточного искусства, по профессии он был журналист… В 1936 году он уволился и поступил работать якобы на кинофабрику… впоследствии ему стало известно, что Рекемчук в 1937 году был арестован и осужден… Овчинников близко с Рекемчуком не общался, но помнит его как неплохого художника…»

Вот ради этих последних слов, очень лестных, когда они звучат из уст директора художественного музея, я и процитировал здесь докладную записку опера.

Волны

В иные дни, когда отец был занят на службе (вероятно, на той другой службе, которая была не в музее, а где-то еще), я оставался на попечении Лидии Михайловны, его новой жены.

Как уже было сказано, она работала в Киевской филармонии.

И если б она хоть раз взяла меня с собою в филармонию, мой рассказ мог бы чрезвычайно обогатиться. Ведь помимо музейных залов, живописных полотен, бронзовых статуй, я мог бы описать поющий хор, рулады арф и флейт в репетиционном зале, настройку органных труб, возвещающих конец света…

Но ничего подобного я не слышал.

Лидия Михайловна ни разу не водила меня в свою филармонию. Может быть, у нее как раз в это время был отпуск.

Зато в один прекрасный день она повела меня в гости к знакомому театральному художнику, в его студию у Владимирского спуска.

Студия располагалась в подвале, гулком, как пещера, с нависающим низким потолком. Там стояла тахта, к приходу гостей небрежно застланная клетчатым пледом. Рядом был шкафчик, дверцы которого распахнуты настежь, а на полках теснились бутылки, кувшины. На стенах висели глиняные тарелки, расписанные так и сяк.

Сам художник был кудряв и молод. Молод настолько, что попросил меня пренебречь отчеством и называть его запросто Володей.

Он повел меня в угол своей студии, где на рабочем столе расположилось нечто, сразу заворожившее мой взгляд.

Это был макет театральной сцены. Сама сценическая площадка, тёмнокрасный бархатный занавес, раздвигающийся в стороны по натянутой проволочке, оркестровая яма, кулисы, задник, — всё как настоящее.

Мало того. На сцене уже были смонтированы декорации спектакля, какой-то волшебной сказки, действие которой происходило у самого синего моря. Вполне возможно, что это была «Сказка о царе Салтане» или что-нибудь в этом роде.

За кромкою берега, застроенного по бокам теремами и хоромами, простиралось море.

Округлые барашки волн, темносиние снаружи, зеленые внутри, облитые сверху пеной. Буруны, ряд за рядом, уходили в даль, к горизонту, смыкаясь с небом, по которому неспешно плыли кучевые белые облака, похожие на сливочное мороженое.

Это была сказочная красота!

Я смотрел, не дыша, не в силах отвести глаза.

Но оказалось, что у этой сказки есть продолжение.

Володя показал мне крошечный рычажок сбоку, прикрытый складками занавеса, очень похожий на ручку, которой заводят игрушечные автомобили.

— Крутани-ка! — сказал он.

Я не смел прикоснуться.

Тогда он сам взял эту ручку двумя пальцами и начал вращать — медленно, торжественно.

Море ожило. Волны двинулись к берегу, гряда за грядой, вал за валом. Белая пена выметывалась из глубин, перекатывалась по гребню воды и как бы передавалась другой волне, той, что впереди, а сзади уже шли другие пенные барашки. Волны прибоя накатывали на берег, выплескивались и уходили обратно, в глубины, в бездны…

Я не верил своим глазам. Не верил, что такое действо можно разыграть вручную, двумя пальцами.

— Крути!.. — снова поощрил меня Володя и возложил мою ручонку на хитрый рычажок.

Едва справляясь с волнением, я начал крутить.

Море взыграло того пуще. Вал за валом, убыстряя бег, покатился к берегу. Хлябь неслась навстречу тверди, сокрушая скалистый берег, откатываясь вспять, вновь набирая силу. Мне казалось, что я даже слышу плеск соленой купели, шорох прибрежной гальки, встревоженной прибоем, гулкие удары волн…

— Ну, давай.

Володя потрепал меня по плечику и оставил одного перед лицом стихий.

Сам же отошел к тахте, прикрытой клетчатым пледом, на которой уже восседала Лидия Михайловна, присоединился к ней, заговорил о чем-то, мне не слышно.

Да и не было у меня к ним никакого интереса.

Я был весь без остатка поглощен доверенным мне занятием.

Мальчик, родившийся у моря, оторванный от него обстоятельствами жизни, — я ликовал всей душою, был возбужден, счастлив от того, что представилась возможность вновь соприкоснуться с родной стихией и даже на какой-то срок повелевать ею.

Дело в том, что я уже разглядел в щелочку, в деталях, устройство механизма, приводившего в движение морской простор.

Эта крохотная ручка, которую я держал двумя пальцами, вращала лишь одно колесико, надетое на барабан. Но у колесика

были зубцы, которые передавали вращение другому колесику, тоже снабженному зубцами, а то третьему, — и вся эта система шестеренок работала, как единый слаженный механизм, приводя в движение все ряды барабанчиков, на которые были надеты чехлы, расписанные в цвет моря, в оттенки морской волны, в пенные гребни.

Я уже догадывался, что такая же слаженная система барабанов и шестеренок, только покрупнее размером, будет сооружена и на настоящей театральной сцене, — и в назначенный миг, когда отзвучит увертюра, когда степенно раздвинется бархатный занавес, — зрители увидят бескрайнее море вплоть до горизонта, по которому, друг за дружкой, катятся пенные волны, ударяясь прибоем в берега… И в этот миг зал взорвется восторженной овацией.

— Тюрик, тебе еще не надоело? — окликнула меня из глубины пещеры Лидия Михайловна. — Может быть, ты отдохнешь?

Я оглянулся мельком.

Она сидела на чужой тахте рядом с художником Володей, держа в руке глиняную чашку, такую же, как расписные глиняные блюда, развешанные по стенам подвала.

— Нет-нет, я не устал, ну, нисколечко! — отозвался я, более всего опасаясь, что меня опять оторвут от моря, от родной стихии, и заставят слушать какие-нибудь скучные взрослые разговоры.

Мне тем более не хотелось отрываться от своего занятия, что я, рассмотрев механизм, приводящий в движение волны моря, вдруг своим несмышленным умом приблизился к пониманию загадки всего окружающего мира.

Как когда-то, в раннем детстве, в Харькове, на Малиновской, я проснулся от скрипа старинных дедовских часов, от их мерного боя — и вдруг понял, что время нельзя остановить, что жизнь конечна, что все умрут, и я тоже умру, и заплакал, сделав это открытие, — так и сейчас я воочию увидел и постиг, что весь окружающий мир — нет, не этот забавный макет, и даже не настоящая сцена театра, — а именно весь мир, вся вселенная, всё, что есть, и всё, чего нет, — что всё это действует примерно таким же способом, когда кто-то вращает гигантскую ручку, огромное колесо, снабженное зубцами, — и что зубцы передают усилие другим подобным же зубцам, а те третьим, — и океан приходит в движение, и хляби несутся навстречу тверди, и планеты вращаются вокруг солнца, а само солнце кружится среди еще более далеких светил, — что именно так устроен мир…

— Тюрик, — снова окликнула меня Лидия Михайловна, —

почему бы тебе не пойти погулять?.. Может быть, ты хочешь купить мороженого? Я дам тебе денег…

Вот это уже был другой разговор.

Дело в том, что помимо сыновней любви к морю, я вынес из южного города, в котором родился, из Одессы, особую привязанность к прохладному лакомству. На всю жизнь я запомнил восхитительный вкус земляничного мороженого, которое мы сами, по очереди, крутили столовой ложкой в жестяном жбане, сидя на крыльце дома на Гимназической улице — моя мама, ее младший брат Витя, мой дядя, курсант мореходки, его молодая жена Лиза и, разумеется, я — мне первому давали облизывать эту холодную до рези в зубах ложку…

И белые барашки волн, которые я только что гонял на игрушечном макете, тоже навевали мечты о сливочном мороженом.

Я не мог устоять перед таким соблазном.

— Вот тебе пятьдесят копеек, — говорила Лидия Михайловна, роясь в своей сумочке и доставая оттуда завалящие монетки. — Вот еще десять, еще двадцать… Далеко не ходи. Мороженщица стоит на углу, слева от арки, от подворотни. Ты не заблудишься?..

Я заскакал вверх по ступенькам, которые вели из пещеры на улицу.

Мороженщица и впрямь оказалась совсем близко, рядом с домом, где мы гостевали. У ее ног стоял тяжелый сундук, набитый льдом, из-под которого высовывались крышки жбанов.

В руках она держала две жестяные формочки, на донце которых следовало закладывать круглую вафлю, потом вмазывать туда, ложка за ложкой, тягучее холодное месиво, сверху же прихлопывать другой вафлей: чик, чик — и вот вам угощенье, кушайте на здоровье…

Одна формочка, с ручкой, та, что поменьше, была похожа на ручную гранату. Другая, та, что побольше, походила на противотанковую.

Я справился у мороженщицы — что почем? — пересчитал монетки на ладони и выбрал противотанковую.

Чик, чик — приятного аппетита.

Всяк поймет, что теперь я не спешил возвращаться со своим лакомством в пещеру, в студию, где меня дожидались Лидия Михайловна с художником Володей. Ведь было бы просто неприлично самому, прямо у них на глазах, обжираться взрослой порцией мороженого, не предлагая поделиться, лизнуть хоть разок — ведь я был воспитанный мальчик! Но, вместе с тем, признаюсь честно, у меня не было желания делиться своим

сокровищем с кем бы то ни было, я сознавал, что справлюсь с этим делом сам, без посторонних.

Я слизывал кончиком языка прохладную и волшебную сладость, наблюдая за тем, как она подтаивает то с одного бока, то с другого, превращаясь из зернистой плоти в тягучие потеки, как влажнеют хрустящие корочки вафель, которые следовало откусывать по крохам, чтобы они не размякли, чтоб мороженое, боже упаси, не выскользнуло из этих корочек и не плюхнулось наземь, обрызгав башмаки, — ну нет, такого исхода я не мог допустить, и потому, скосив глаза, бдительно следил за своей добычей, вертя ее в пальцах так и сяк, орудуя языком, причмокивая от удовольствия, ощущая, как холодеют ноздри от студеной близости мороженого.

При всех этих заботах, я успевал следить за тем, как живет среди бела дня раздольная улица.

Я стоял на краю тротуара, на гранитном брусе, будто бы на берегу, над зыбью булыжной мостовой, стекающей пузырчатыми волнами к Подолу.

Мимо меня, цокая копытами, рысили мохноногие лошади, битюги, волоча за собою громыхающие телеги, мешки с мукою, бочки с мазутом, стога свежего сена. Проносились велосипеды с отчаянными седоками — туда, в пропасть.

Реже, зато оглушая гудками всё окрест и развешивая в воздухе космы бензиновой гари, проезжали автомобили.

Заслышав приближающийся рев очередного мотора, я напряг внимание и был вознагражден за это.

По спуску мчался грузовик с открытым кузовом, и в те несколько мгновений, что он был у меня на виду, я успел увидеть столь многое, что это запечатлелось в моей памяти на всю жизнь.

В дощатом кузове грузовика, на полном ходу, отплясывали гопак два мужика в военной форме: у одного был задорный кирпатый нос, а у другого над верхней губой торчали в стороны метелки усов… то есть, эти приметы были мне настолько знакомы по праздничным портретам и по газетным страницам, что я никак не мог ошибиться: это были Ворошилов и Буденный, два командарма, сами собой, сами из себя… помню, что я, в те несколько мгновений, покуда грузовик мчался мимо меня, всё же попытался подтвердить свою счастливую догадку по знакам различия в петлицах их форменных гимнастерок: сколько там ромбов? или шпал? или простецких кубарей? — но это оказалось невозможным, потому что грузовик ехал слишком быстро, а они, эти мужики, плясали гопака в его кузове, вертясь как волчки, размахивая руками и вскидывая ноги до горы, ну, как тут разберешь?.. я успел лишь заметить, что один из них, выкидывая

коленца, между тем, откинув голову, пил водку прямо из горла бутылки и, отпив глоток, передал эту бутылку своему напарнику… нет, конечно, может быть в этой бутылке была вовсе и не водка, а лишь сельтерская вода, — тут я не могу настаивать, не спорю… но что касается наружности, примет — тут я никак не мог ошибиться, я слишком хорошо знал этот кирпатый нос и эти пышные усы, тут не могло быть ошибки!

Я был в совершенном восторге от того, что увидел, ликовал всей душою, сознавая, как мне повезло, как мне посчастило воочию увидеть то, что другие видели лишь на портретах.

Я уже представлял себе, как нынче вечером, за обедом — мы обедали вечером, — расскажу отцу про то, как видел Ворошилова с Буденным.

Я даже представил себе, как он усмехнется, слушая мои россказни, предполагая, что я всё это выдумал. Почему-то он считал меня выдумщиком, хотя, вместе с тем, мне казалось, что ему это нравится — что я выдумщик.

Но я же видел своими глазами!..

Впрочем, до вечера еще далеко.

А поведать ли мне об этом, о том, что я видел своими глазами — про Ворошилова, про Буденного, — рассказать ли об этом Лидии Михайловне и Володе, вот прямо сейчас, когда я вернусь с улицы в пещеру, в мастерскую?..

И тут меня будто обухом стукнуло по голове.

Я сразу же позабыл и о Ворошилове, и о Буденном, и о съеденном мороженом.

Я вдруг догадался, что меня подло обманули. Что меня только что — лишь полчаса назад — купили за копейки, за мороженое.

Что меня нарочно отвлекли от декораций театральной сказки, от синих волн, от куполов, от теремов на берегу моря. Спровадили из пещеры, с глаз долой.

А сами остались там, вдвоем, и, наконец-то избавясь от меня, сидят у макета и, хохоча, крутят заветный рычажок.

Время обнажило всю бездоказательность моих подозрений.

В архивной папке, в личном деле отца, я обнаружил документ, подписанный начальником Иностранного отдела ГПУ УССР Карелиным и его помощником Самойловым, где говорилось:

> «…Следует отметить, что раньше на „Кирееве“ сказывалось отрицательное влияние его бывшей жены, которая любила жить на широкую ногу, склоняя к этому

и „Киреева“.

Теперь (после развода) „Киреев“ вновь женился и попал в здоровую семейную обстановку, что окончательно выправляет указанные нами его отрицательные стороны».

Чтоб никто не усомнился в этом, строка *«…попал в здоровую семейную обстановку…»* подчеркнута синим карандашом, а сбоку, тем же синим, сделана приписка: *«Брак зарегистрирован 17.X. 1933 с Буриштейн Л. М.»*.

Отказ

С утра пораньше отправился в Кремль.

Именно там в этот зимний день — 3 декабря 1982 года — должен был состояться Объединенный пленум творческих союзов: писатели, композиторы, художники, кинематографисты, все тут.

Официальным поводом для такого почтенного собрания было 60-летие провозглашения СССР (десятью годами раньше столь же светлый праздник я, помнится, справлял в святых местах, в Ливане).

Однако все догадывались, что есть тут и другая важная подоплека.

Только что умер Брежнев, истекло застойное царствование «бровеносца». А перед тем в кремлевской стене замуровали останки сурового партийного идеолога Суслова. К власти пришел Андропов, человек с Лубянки… Что сулят эти новые времена?

Вот и решили устроить проверку: с кем вы, мастера культуры?

Мастера культуры топали к кремлевским воротам от ближайших станций метро: кто с «Охотного ряда», кто с «Библиотеки имени Ленина», а кто прямо из дому — посчастило жить неподалеку.

На ходу обменивались рукопожатиями, кивками.

Вот шествует знаменитый песенник Никита Богословский, автор хватающей за душу «Темной ночи», озорных одесских «Шаланд», он написал песни и к моему фильму «Берега»; а вот живописец Таир Салахов, с которым мы кочевали вместе по монгольским степям; а вот долговязый и надменный, как верблюд, Евгений Евтушенко, с которым мы то ли давние друзья, то ли давние недруги — утешаю себя тем, что это, по сути, одинаково.

Я поднимался к Троицким воротам от нарядной, как кремовый торт, Кутафьей башни — по мосту с зубчатой каменной оградой, перекинутому над голыми верхушками Александровского сада.

Еще издали увидел старушку, божий одуванчик, крохотную ростом, но грузную, поперек себя шире, которая, едва переставляя ноги, карабкалась по брусчатке к державным воротам.

Я не только увидел, но и узнал ее издали, со спины. Еще раз подивился тому единодушию, с каким люди, знававшие ее в младые годы, восхищались не только ее талантом, но и красотою, стройностью, грацией… ах, Верочка! ах, Вера Павловна! ах, Строева!

Я знал ее со своих младенческих лет, с незадавшихся детских проб на Одесской киностудии — она уже и тогда была режиссером. И позже, в пору моих невзгод, связанных с судьбой отца, когда я приехал с Севера и поведал ей, что в Воркуте встретил расконвоированного зэка Каплера, автора «Ленина в Октябре». И еще позже, когда работал на «Мосфильме», и она позвала меня смотреть отснятый материал фильма «Мы — русский народ»…

Я догнал ее. Не окликая, взял под локоток, притиснул к себе, чтобы помочь одолеть этот крутой подъем к арке ворот, к зубчатым стенам, к часовым, отбивающим чечетку на морозце.

Странно — или наоборот, ничего странного в том не было, — но она даже не стала приглядываться, кто это к ней вдруг прилип, явился на подмогу. Даже пренебрегла обычным «здрасьте». Как будто обо мне лишь и думала всю дорогу.

И сразу же, подняв свои фиалковые глаза, продолжила, как ни в чем не бывало, беседу, словно бы начатую только что.

— У вас случайно не сохранился киносценарий «Сигуранция», который мы писали вместе с вашим папой?

Я не стал объяснять ей, что не сохранилось *ничего*. Что остался лишь Георгиевский крест на оранжево-черной ленте, добытый отцом в бою. Что не осталось даже ни одной его фотографии, вот где бы взять, где найти?..

Еще я, походя, отметил, что она сказала не «Сигуранца», а «Сигуранция», как и он произносил это зловещее слово.

И еще я подумал, что у мамы, наверное, были основания для холодка в тоне, когда она рассказывала мне о том, как вечерами мой отец уединялся где-то с Верой Павловной Строевой, они, видите ли, вместе писали сценарий…

И еще я предположил, что уж если этот затерявшийся киносценарий был посвящен секретам служб, подобных Сигуранце, то уж наверняка у нее, у Веры Павловны, было достаточно оснований сказать мне однажды полушепотом: «Зорге был щенок в сравнении с вашим отцом!..»

Но тут она вдруг остановилась, не дойдя до часовых, опять подняла на меня фиалковые свои глаза, в которых я впервые увидел отчаянную боль. Нет, не боль душевных терзаний, которую все мы, лучше или хуже, научились прятать. А самую что ни на есть натуральную боль сердца, железной хваткой сжимающую сосуды, клапаны, мышцы. Ее рука, помимо воли, тянулась к груди, к области сердца. Она пыталась смягчить этот конфуз улыбкой, но и улыбка была отражением боли…

Я не мог ей ничем помочь. Разве что взвалить на плечо и внести в Кремль? Но это было уж и мне не по годам, не в силу.

Следовало перестоять на месте сердечный приступ, отдышаться, отдохнуть. Ведь у нас в запасе еще было минут двадцать до начала торжественного заседания.

И еще нужно было отвлечь ее от этой боли каким-нибудь сторонним разговором.

У меня как раз была в запасе подходящая тема.

— Вера Павловна, недавно я получил письмо от бывшей жены моего отца…

— От той, которая в Париже? — живо отозвалась она.

— Нет. Не от первой, а от третьей, последней. От той, которая в Красноярске. От Лидии Михайловны Бурштейн… После его ареста она уехала из Киева в Красноярск, и там пересидела войну и всё остальное, она живет там уже много лет, работает на местном телевидении…

— И что же она вам написала?

— В ее письме есть такие строчки: «…Непосредственным поводом к аресту Е.Т. была его поездка в начале 1937 года в Москву, где ему предлагалось задание, от которого он отказался. Будучи в Москве, он был в гостях у Григория Львовича и Веры Павловны, они пили чай, и он им кое-что рассказал…»

Этот текст врезался в мою память столь четко, что я пересказывал его почти дословно.

Более того: я помнил даже почерк этого письма — крупный, торопливый, сдерживаемый лишь слепотою глаз, дрожаньем руки и еще, вполне очевидно, изломанный болью, может быть такой же острой болью стиснутого сердца, как та, что сейчас остановила мою собеседницу на самом подходе к Большому Кремлевскому дворцу.

Мое предположение о нестерпимости боли, отраженной в строках письма из Красноярска, увы, оказалось обоснованным: вскоре мне сообщили, что Лидия Михайловна Бурштейн умерла, там же, в Сибири.

Но я не стал говорить об этом Вере Павловне, ведь сейчас это было б кощунственно — у нее самой сердце разрывалось на части.

И еще я не сказал ей о том, что несколько месяцев назад, когда из Красноярска пришло то самое письмо, и я был впечатлен им крайне — ведь это было намеком именно на то, что я хотел знать! — я, сразу же по получении этого письма, схватил справочник Союза кинематографистов, нашел в нем телефон Рошалей в доме на Большой Полянке, где мне тоже случалось бывать, — набрал номер…

Мне было позарез необходимо задать вопросы, пробужденные письмом из Красноярска.

Я ждал, что трубку возьмет Вера Павловна, поскольку мне

было известно — кстати, от нее же самой, — что Григорий Львович Рошаль недавно перенес воспаление легких, и это, как бывает в старости, дало осложнение на голову, он впал в маразм, и потому общение с ним людей посторонних было крайне нежелательно, что его по этой причине даже не подпускают к телефону.

Но, повидимому, Веры Павловны не было дома — может быть, она отлучилась в магазин, — и трубку снял сам Григорий Львович.

— Алло!..

Я сразу узнал этот басовитый, рокочущий ладами, интеллигентский, жуирский голос.

Оторопев от неожиданности, я, не скрою, слегка растерялся. Но ведь я не был совсем уж посторонним. Во всяком случае, я сообразил, что затевать разговор о письме из Красноярска вряд ли следует — ведь голова это голова. Мало ли что он мог намолоть!.. Но тогда о чем же?

— Григорий Львович, — сказал я, — это Рекемчук. Рекемчук младший.

— Очень рад вас слышать, — в самом деле обрадовался он.

— Вы знаете, — сказал я, — несколько дней назад, совсем случайно, я включил телевизор, а там идет ваш фильм «Зори Парижа», который я впервые видел еще в детстве, в Харькове, во Дворце пионеров, кажется, в тридцать шестом…

— В тридцать седьмом, — поправил он.

— И вот теперь, по прошествии стольких лет, — продолжал я, — этот фильм опять взволновал меня до глубины души! Такая экспрессия, такой огонь… Признаться, я даже не думал, что и теперь это может меня завести — Парижская Коммуна, экспроприация фабрик, вселение рабочих в дома буржуазии. Казалось бы…

— А стиль? — польщенно заурчал режиссер. — Вы обратили внимание на *стиль*? Движение камеры, монтаж? Игра актеров?..

— О, да, — подхватил я.

Мы наговорились всласть.

Всем бы такой маразм.

Но разговор о письме из Красноярска, конечно, был отложен до встречи с Верой Павловной.

И вот теперь я мог задать ей свои вопросы напрямую, без телефона, без риска, что нас слушает кто-то третий, затаившийся на проводе.

К тому же, по лицу Веры Павловны я определил, что передышка помогла, что боль отпустила.

— Вера Павловна, — вернулся я к теме, — вы не помните, о

чем тогда шла речь? Когда Рекемчук был у вас в гостях, вы пили чай…

Она покачала головой, и в ее фиалковых глазах, обращенных ко мне, была мольба о прощении.

— Не помню… ведь это было так давно.

— Он не говорил вам о каком-то важном задании, от которого он наотрез отказался? Не исключено, что именно это сыграло в его судьбе *роковую роль*…

Мы двигались очень медленно, малыми шажками, будто бы учась ходить.

А мимо нас — густея, торопясь к назначенному часу, вожделея занять места поближе к трибуне, к вождям, — всё валил народ.

Нас обгоняли, тоже рука об руку, Сергей Аполлинарьевич Герасимов и Тамара Федоровна Макарова. Он тронул пальцами бобровый с проседью картуз, а она улыбнулась ослепительно и кротко.

Я решил взбодрить память Веры Павловны экранным образом, тем паче, что только что сказанные слова о *роли* — в актерском, кинематографическом значении, — могли подтолкнуть ее мысль в нужном направлении.

— Вы видели фильм «Убийство Троцкого»? Кажется, итало-мексиканский, а фамилию режиссера я забыл… Там заглавную роль сыграл Ричард Бартон, право же, он очень похож на Льва Давыдовича. А Меркадера — того, который убил его, хватил ледорубом по голове, — его сыграл Ален Делон…

— Нет, к сожалению, я не видела этого фильма, — ответила Вера Павловна, и опять в ее глазах прочлось раскаянье.

Мы остановились у Царь-пушки с ее узорчатым лафетом, зияющим жерлом и горкой чугунных ядер.

— Но я вас поняла.

Я затаил дыхание, отдавая себе отчет в том, что сейчас услышу нечто безмерно важное.

— Нет, — произнесла она твердо. — Нет. Кроме того, если б что-то и было… он никогда не сказал бы об этом. Ни-ког-да!

Что ж, она лучше знала моего отца, нежели я, ведь я был тогда совсем еще маленьким.

Нет так нет.

В парадном подъезде мы предъявили часовым свои мандаты. Они были в полном порядке. Нам отдали честь.

Завидев в сторонке молодого человека в черном костюме, стоявшего будто бы вовсе без дела — его лицо показалось узнаваемым именно своей неприметностью, — я подошел к нему, заговорил вполголоса:

— Здесь одна дама… очень известный кинорежиссер, «Поколение победителей», «Мы — русский народ», всё такое. Она неважно себя чувствует. Ей будет трудно взбираться по лестнице… Нельзя ли для нее вызвать лифт?

— Сделаем, — буднично ответил молодой человек.

— Вообще, — сказал я, — у нее, по-моему, сердечный приступ. Может быть, показать ее врачу? А то вдруг ей станет плохо прямо в зале…

— Сделаем, — сказал молодой человек и направился к Вере Павловне.

Я же, послав ей издали воздушный поцелуй, ринулся к мраморной лестнице, уступами застланной красной ковровой дорожкой. Заскакал через ступеньки.

Едва поспел. Тотчас за моей спиной закрыли дверь, будто только меня и ждали.

Зал уже был на ногах. Все стояли, рукоплеща появившимся откуда-то сбоку сцены — будто бы ниоткуда — седовласым степенным вождям. Занимая свои места в президиуме, они тоже хлопали в ладоши.

Я же, втянув голову в плечи, согнув колени, сгорбясь, как все опоздавшие люди, но тоже рукоплеща на ходу, двигался по красной ковровой дорожке, зыркая налево и направо, выискивая для себя свободное местечко.

А тогда — десятью годами раньше, когда я был в святых местах, в Ливане, — когда мы ждали там, что вот-вот достроят магазин советской книги, который нам предстояло торжественно открыть, — представитель «Международной книги» в Бейруте Василий Васильевич Глуховский (месье Международная Книга, как величали его ливанцы), пригласил нас развлечься.

Убедившись, что мы не рвемся смотреть секс-шоу, и рассказав с усмешкой о недавних советских визитерах, которые тоже не захотели смотреть голых баб, но потребовали выдать им стоимость этого зрелища сухим пайком, то есть деньгами, Глуховский повел нас в фешенебельный кинотеатр «Пикадилли» на премьеру итало-мексиканского фильма «Убийство Троцкого».

Вначале на экране появился Никита Сергеевич Хрущев, колотящий ботинком по столу в зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, — мы удивились, потому что Хрущева давно уже не было, а был Брежнев, — но оказалось, что эти хроникальные кадры использованы для рекламы обувной фирмы «*Red shoe*».

Затем началось захватывающее действо, в котором за Троцким охотились все, кому ни лень, даже знаменитый художник Давид Сикейрос: чем-то он им, художникам, не угодил.

Они штурмовали в ночи его дом в мексиканском городке Койоакане, изрешетили пулями стены спальни, но он успел спрятаться под кроватью, остался цел…

Потом к нему в секретари нанялась миловидная девушка Сильвия Агелофф, а у нее в дружках был симпатичный и грамотный парень, испанец, которого звали Рамон Меркадер, она представила его шефу, и Троцкий проникся к нему доверием, — еще бы, ведь Рамона Меркадера играл Ален Делон с его нестерпимо честными голубыми глазами… Даже подозрительный Троцкий не мог предположить, что этот парень — тайный агент Кремля.

Признаться, мы смотрели этот фильм, слегка поеживаясь. Ведь мы еще не были привычны к подобным крамолам. Фигура Троцкого вообще не появлялась ни на советских экранах, ни на страницах книг. Будто бы его и не было вовсе, а были лишь троцкисты, да и тех вовремя извели вчистую… А тут — вот он, Троцкий, собственной персоной, во весь экран, во весь рост.

Глуховский косился на нас, сочувственно ухмыляясь, поглаживая по головке десятилетнего сынишку, которого взял с собою в кино.

И вот — настал момент.

Троцкий зарылся в бумаги на письменном столе, а темноволосый красавец Ален Делон (говорят, что он родом из цыган), элегантный и сосредоточенный, подошел сзади к креслу, в котором восседал Ричард Бартон со своей троцкистской козлиной бородкой, вынул из-под плаща, переброшенного через руку, альпинистский острый ледоруб — и всадил его прямо в темечко старца.

Тот извернулся отчаянно, вцепился зубами в кисть наемного убийцы, мешая нанести второй удар…

Однако, надо думать, авторам фильма подобный финал показался недосказанным. И они продлили его.

Ричард Бартон поднялся с кресла и вдруг заговорил — ведь его герой был златоустом мировой революции: он произнес одну из самых ярких своих речей, в которой изложил идеи Четвертого Интернационала, а заодно разоблачил заскорузлого державника и бывшего агента царской охранки Сталина…

Но кровь заливала его рот снаружи и изнутри, он покачнулся и рухнул на пол.

И тогда в оцепеневшем зрительном зале кинотеатра «Пикадилли» вдруг заплакал навзрыд русский мальчик.

Это был десятилетний сынишка Глуховского.

— Ну что? Чего ты? — забеспокоился папа.

— Дя-ядю жа-алко… — не унимался малыш, размазывая по

щекам слезы.

Наш опекун, месье Международная Книга, заметно скис.

Наверное, он клял себя за то, что так и не сговорил нас пойти смотреть на голых баб.

Странно, черт возьми, но приблизительно в то же самое время, когда Рамон Меркадер убил ледорубом Троцкого, а я был, примерно, в том же возрасте, что и сынишка Глуховского, — как раз тогда, летом сорокового, я гостил на даче у нашей доброй знакомой, у тети Лили, которая доживала век в деревенском доме под Харьковом, в Мерефе.

Тетя Лиля, а более полно — Елизавета Михайловна Скрыль, — в молодости, еще барышней, была приятельницей моего деда Андрея Кирилловича Приходько. Они вместе учились в старинном германском университете, в Гейдельберге, и задружились там, как земляки, как русские, а может быть и как-то еще.

И вот однажды тетя Лиля стала рассказывать мне о том, как вместе с моим будущим дедом совершила восхождение на Альпы — эти горы были вблизи тех мест, где они обитали.

Я слушал ее с таким же увлечением, с каким она вела свой рассказ.

— А знаешь, Саня, — говорила она, оживляясь всё более, — у меня сохранилась реликвия того похода: альпеншток, с которым тогда мы взбирались на Альпы… где-то в чулане валяется… хочешь, я подарю тебе этот альпеншток?

— Спасибо, тетя Лиля, спасибо! — обрадовался я. — Хочу, конечно…

Ни у кого из мальчишек нашего двора — это я знал точно, — отродясь не было альпенштока. Тем более такого, что на самом деле побывал в Альпах.

Но она была уже очень стара и, наверное, позабыла о своем обещании.

А там, вскоре, началась война. И тетя Лиля умерла от голода в своем деревенском доме, в Мерефе, под немцами.

Я так и не знаю, куда подевался альпеншток, с которым мой дед Андрей и девушка по имени Лиза Скрыль восходили на Альпы.

А мой собственный сын — тоже Андрей, в честь прадеда, — когда подрос, и я уже писал об этом, — однажды спросил меня:

— Папа, а как он выглядел — твой отец, мой дед? Вот я ношу его фамилию, но даже не знаю, каким он был. Прадеда на фотке видел, а деда нет… Ну, хоть примерно, на кого, скажем, из

киноактеров он был похож?

— На Алена Делона, — не колеблясь, ответил я.

Почему же я ответил именно так? Сработала подсознанка?

Ведь он вовсе и не был похож на Алена Делона.

Не больше, чем я.

Но и другие люди, знававшие моего отца, утверждали, что тогда — в декабре тридцать шестого или в январе тридцать седьмого, — действительно, был этот вызов в Москву, и было предложение выполнить секретное задание особой важности, на которое он ответил отказом.

Не хочу зацикливаться на одном-единственном предположении, тем более, что от него за версту несет киношкой.

Так что же это могло быть?

В материалах, к которым я имел доступ — в серо-зеленой папке расстрельного дела, — ответа на этот вопрос не нашлось. Да было бы странным, если б там и была разгадка: там больше загадок, нежели разгадок. Дела подобного рода остаются сугубой тайной до тех пор, покуда в них еще тлеет хотя бы искра политической актуальности. Либо пока к ним не иссякнет чей-то живой интерес.

И всё же?..

Перебрав варианты, я сделал вывод, что таких заданий могло быть *три*.

О первом уже говорилось в предыдущих главах этой книги.

Речь идет о похищении белогвардейских генералов Кутепова и Миллера. Одного из них, Кутепова, агенты советской разведки заманили в такси — буквально в центре Парижа, средь бела дня, — и увезли в Гавр, где погрузили на пароход, плывущий в Новороссийск. Однако до Новороссийска генерала не довезли, он умер от сердечного приступа уже в виду родных берегов…

Второго, Евгения Карловича Миллера, долго *пасли* в его собственном штабе, где установили подслушивающие устройства, а потом — чтобы слушать поближе, — доставили на Лубянку… Там и расстреляли.

Об этих дерзких операциях, не умолкая, шумела вся французская, вся европейская пресса.

И здесь тем более важно уточнить, что между похищением Кутепова и похищением Миллера был временной зазор в целых семь лет. Но газетный шум вокруг обеих сенсаций не умолкал так долго, что оба события уже воспринимались, как одно, как дубль.

О том свидетельствуют хотя бы строки из воспоминаний Тамары Финч: «*…Мама ужасно боялась анархистов. Два генерала были похищены в Париже. Конечно, отец не имел ничего общего с*

этим делом, но...»

Пикантность скандалу добавляло участие в кознях советской агентуры еще одного белого генерала, Николая Скоблина, а также его жены, певицы Надежды Плевицкой по прозвищу «курский соловей»: вся русская эмиграция рыдала на ее концертах, слушая песню «Замело тебя снегом, Россия…»

Разоблаченный генерал Скоблин бежал — вроде бы, в Испанию, — и там, повидимому, был ликвидирован агентами Чека. А Плевицкая оказалась во французской тюрьме, там и умерла, уже в немецкой оккупации… Впрочем, ее участие в делах секретных служб многими берется под сомнение.

Мы не забыли также об обыске в парижской квартире Марины Цветаевой, о ее допросах в префектуре полиции после таинственного бегства — опять-таки в Испанию, — ее мужа, Сергея Эфрона.

Вот здесь, я думаю, и сокрыт ответ на вопрос: почему Рекемчук отверг свое участие в операции с генералами, если это, действительно, предлагалось ему.

Он не хотел, чтобы волна скандальной шпионской сенсации накрыла с головой, смыла и унесла в небытие людей, которые оставались ему дороги — Тамару, Анну…

Во-вторых, это могла быть сама Испания.

В этой книге, независимо от моих намерений и желаний, мне придется — просто подчиняясь ходу событий, следуя по пятам невыдуманных героев, — вновь и вновь, мысленно, а иногда и реально возвращаться на Иберийский полуостров.

В ту пору, о которой идет речь, Испания безраздельно владела умами и сердцами миллионов людей.

Там шла Гражданская война.

Казалось — и все, словно бы сговорившись, делали вид, будто именно так им и кажется, — что в этой войне были две воюющие стороны: Республика и генерал Франко.

Но это была очень странная гражданская война, в которой, почти не таясь, участвовали и Германия, и Италия, и Советский Союз, а косвенно — еще и Франция, и Англия, и Соединенные Штаты, то есть все будущие участники Мировой войны.

В этой странной гражданской войне эскадры бомбовозов стирали с лица земли целые города вместе с их населением. Танковые колонны утюжили гусеницами оливковые плантации и апельсиновые рощи. Перед корридой на арены — и у тех, и у других, — выводили людей, плененных в бою, выловленных в подполье, — и расстреливали тут же, при всем честном народе. Честной народ горячо аплодировал. А уже потом начинался бой

быков.

У меня нет сомнений в том, на чьей стороне был бы в этой гражданской войне мой отец.

А он бы там очень сгодился: бывший офицер, изрешеченный пулями и картечью, травленный газами, гнивший в окопах, ходивший в рост в атаку, дравший глотку на солдатских митингах… Так что же?

В тот самый момент, когда я задал себе этот риторический вопрос, вдруг, как озарение, явилась догадка, которая могла бы, честно говоря, придти гораздо раньше, а не спустя пятнадцать лет после того, как у меня в руках оказался тот документ.

Теперь же я торопливо листал страницы блокнота, в который летом 1990 года, в Киеве, в строгом доме на Владимирской улице, переписывал бумаги из серо-зеленой папки.

Нет, не это… и не это, хотя тоже очень важно… не это… Вот!

> Автобиография Командира Запаса РККА
> Рекемчука Евсевия Тимофеевича
>
> …после смерти отца поступил в Аккерманскую учительскую семинарию, где учился до осени 1914 года, а с началом войны, с группой учеников в 40 человек, ушел добровольцем в армию…
>
> …был дважды ранен и произведен в штабс-капитаны… в 1917 году был избран командиром батальона. В полку состоял товарищем председателя революционного комитета…

Кому и для чего понадобилось это вдохновенное жизнеописание?

Запрос военкомата? Курсы переподготовки командиров запаса?

«…ушел добровольцем…»

Лишь теперь мой взгляд упирается в дату, обозначенную его рукой в самом конце листа: *18 V 1936 г.*

И тут, сквозь волокна бумаги, сквозь бег чернильных строк вдруг проступает — как тайнопись, как глубинный наплыв комбинированной съемки, — знакомый еще по школьному атласу контур Пиренейского полуострова.

Всё совпадает.

Именно в те дни мир был взбудоражен вестями из Испании: 10 мая 1936 года — формирование правительства Народного фронта; 17 июля — условный радиосигнал франкистов к началу

мятежа: «Над всей Испанией безоблачное небо»; 20 июля — жестокие бои на всех фронтах от Малаги до Бильбао…

Именно в те дни сотни и тысячи командиров Красной Армии, курсантов танковых и лётных училищ, ветеранов мировой и гражданской, — записывались в добровольцы, оформляли документы срочного выезда за кордон. Одним предстояло плавание по Черному, по Средиземному морям на пароходах, в трюмах которых был не только запас горючки и питьевой воды. Другие добирались до Испании поездами через всю Европу, и там, в Пиренеях, на границе, предъявляли паспорта с именами и фамилиями, которые сами выговаривали с трудом…

Вскоре эти имена станут легендарными: летчик-истребитель Павел Рычагов обретет славу как «Пабло Паланкар» («паланка» по-испански «рычаг»), будущий маршал артиллерии Николай Воронов станет «Вольтером», другой будущий маршал Родион Малиновский — «полковником Молино», летчик-комбриг Яков Смушкевич — «генералом Дугласом», командарм Григорий Кулик — «генералом Купером», летчик-комбриг Евгений Птухин — «генералом Хосе», комбриг-танкист Дмитрий Павлов — тоже, естественно, назовется «Пабло»…

Под какой боевой кличкой мог бы воевать в Испании бывший штаб-капитан царской армии, командир запаса РККА Евсевий Тимофеевич Рекемчук? «Капитан Эусебио»?

Но он не мог поехать в Испанию по своей воле, добровольцем.

Он не принадлежал себе.

Он мог отправиться в Испанию лишь по путевке секретных служб, по приказу Лубянки.

А это значило воевать не с генералом Франко, не с Гитлером, не с Муссолини. Это значило воевать со своими.

В недавно вышедшей книге по истории секретных операций, в главе с красноречивым названием «Испанская мясорубка» об этом говорится так:

> «…В НКВД правильно поняли, чего требует Кремль. В результате… началось планомерное уничтожение троцкистов за границей. Первый удар был нанесен по испанским троцкистам, их союзникам и всем другим инакомыслящим, попадавшим под ярлык троцкистов и объявленных „троцкистскими агентами фашизма“. Этому способствовало то обстоятельство, что в Испании с 1936 года шла гражданская война и сотрудники НКВД находились там вполне официально…»

Откровенность авторов книги впечатляет.

Да, Сталин использовал Испанию, как учебный полигон для истребления людей, которых он считал «троцкистами», в которых он узрел «заговорщиков». Ими могли быть безупречные красные командиры, профессиональные революционеры Коминтерна, убежденные антифашисты, именитые писатели и журналисты, наконец, сами чекисты, распознавшие природу сталинской диктатуры.

Вернемся к именам легендарных героев гражданской войны в Испании, приведенным только что: герои-летчики Павел Рычагов, Яков Смушкевич, Евгений Птухин, генералы Дмитрий Павлов, Григорий Кулик, Григорий Штерн, журналист Михаил Кольцов, изображенный Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол» под именем Каркова… Все они и многие другие были расстреляны по приказу Сталина тотчас по возвращении из Испании либо несколько лет спустя.

К той поре он сам был похож на разъяренного быка, кидающегося, опустив рога, на всё *красное*.

…Так был ли Рекемчук в Испании?

Или что-то заставило его обуздать тот романтический порыв души, который владел им в мае тридцать шестого?

Наконец — и это в третьих, — речь могла идти, действительно, о самом Троцком.

Именно тогда, в столь же четко обозначенный момент, в декабре 1936 года, произошло событие, всполошившее Лубянку и Кремль.

Лев Давыдович Троцкий, коротавший дни эмиграции в тихой и близкой к России, а потому вполне досягаемой Норвегии, вдруг, словно бы учуяв новую опасность, переметнулся на другой континент — в Америку, в Мексику. И там, в городке Койоакан, подобно Сталину, укрылся в собственном Кремле: в огороженной высокими стенами, неприступной с виду фазенде…

Он-таки задал головную боль своему лютому ненавистнику.

Историки той поры подчеркивают, что Сталин видел в Троцком более опасного противника, нежели сам Гитлер. Он считал, что с Гитлером можно договориться — и он договорился с ним, если иметь в виду чудовищный, безумный пакт, заключенный в 1939 году.

Что же касается Троцкого, то здесь любые договоренности заведомо исключались.

Здесь речь могла идти только о физическом устранении — любой ценой, любым способом.

Но осуществить это стало гораздо труднее — цель отдалилась…

Чекистский генерал Павел Судоплатов, рассказывая в своих мемуарах о том, как был вызван к Сталину, в Кремль, подчеркивает жесткость услышанных там наставлений.

> «— В троцкистском движении нет важных политических фигур, кроме самого Троцкого…» — говорил Сталин. Сурово предупреждал: «Устранение Троцкого в 1937 году поручалось Шпигельгласу, однако тот провалил это важное правительственное задание…»

И опять, и вновь:

> «Троцкий, или как вы его именуете в ваших делах, „Старик“, должен быть устранен в течение года…»

В тот момент еще не были определены ни способ устранения супостата, ни фигура исполнителя акции.

Рамон Меркадер мог пока отдыхать.

Альпинистский ледоруб тети Лили валялся в чулане.

Кремль вел беседы с людьми, которые были способны не столько осуществить сами эту акцию за океаном, сколько организовать ее.

И они расстарались. И, в конце концов, хотя не без огрехов, осуществили это мокрое дело, именуемое *важным правительственным заданием*. И сами понесли страшные кары за свое послушание: кому тюрьма, кому пуля.

Был ли вызов Рекемчука в Москву связан с этим заданием?

Об этом можно теперь лишь гадать.

Но главное, что следует иметь в виду и что предопределило его судьбу — а он, безусловно, отдавал себе отчет в том, чем это пахнет, — он отказался от предложения, от которого нельзя было отказаться.

Уместно вспомнить, что десятью годами раньше, в Париже, когда ему — так сказать, в порядке испытания — приказали поехать в Прагу и там застрелить лидера когдатошней Учредилки Виктора Чернова, — он не вдавался в обсуждение самого приказа. Правда, он так и не выполнил этого деликатного поручения. Но отказаться от него не посмел.

Теперь же, возмужав, пройдя тернистый путь, своими глазами увидев всё, что происходило вокруг, и оценив происходящее своим, а не заемным умом, он принял решение, которое, он знал, будет стоить ему жизни: это был *отказ*.

Шествие на казнь

За ним пришли 1 июля 1937 года.

В качестве понятого пригласили дворника Андрющенко.

Двадцать пять лет спустя, когда компетентным органам (вероятно, в связи с моим заявлением о реабилитации отца) понадобилось восстановить некоторые детали и подробности дела, выяснилось, что уже никого нет в живых либо нет в пределах досягаемости: ни тех, кто возбудил дело, ни того, кто подписал ордер на арест, ни тех, что явились арестовывать, ни, подавно, того, за кем пришли.

Время сберегло лишь дворника Андрющенко, с его бляхой, с его метлой, с его памятливым глазом. С его как бы извечной миссией русского дворника: оставаться свидетелем и летописцем событий, понятым истории.

С его слов и была составлена бумага, которую мне довелось читать.

О том, что жильца квартиры номер 51 в доме номер 5 по улице Челюскинцев (бывшая Костёльная) на месте не оказалось, неизвестно, куда подевался, может — убёг. Что он так и не знает, удалось ли всё же найти и арестовать того, на кого был ордер. Что опись имущества не производилась, потому что весь зажиток принадлежал хозяину квартиры Михаилу Юлиановичу Бурштейну, тестю, то есть отцу его жены, а у самого Рекемчука ничего не было — ни кола, ни двора.

Можно предположить, что в эти летние дни он обретался на Трухановом острове, на даче своего тестя, — что там его и взяли.

К этой поре он уже не работал ни в музее, ни на киностудии, а был, как скажет он сам, безработным — и это запишут в протокол задержания.

После личного обыска его препроводили в спецкорпус Киевской тюрьмы.

Именно там, в тюремной камере, у него еще был некий запас времени, чтобы понять, что с ним случилось, догадаться — ведь он был трезвомыслящий человек, — что ничего хорошего ждать уже нельзя. Тут он мог обдумать все свои прегрешения, вольные и невольные. И, вообще, взглянуть на прожитую жизнь как бы со стороны.

Собственно, такую попытку — подвести итог жизни, — он сделал годом раньше, в мае 1936 года, собственноручно написав ту *испанскую* «Автобиографию Командира Запаса РККА», которую я уже цитировал и в предыдущей главе и раньше.

Похоже, что еще тогда — в мае тридцать шестого, — он хотел завязать с этим делом.

Не с журналистикой, конечно, не с живописью, не с кино, даже не с профессией боевого офицера.

А с тем грязным делом, в которое вляпался по молодости лет, ради того, чтобы любой ценой вернуться в Россию.

Между тем, он, конечно, знал, что завязать с этим делом еще не удавалось никому и никогда. Что если уж ты однажды подписал этот жесткий контракт с судьбой, с секретной службой, то она тебя не выпустит из своих когтей до гробовой доски, сколь бы невинный и приятный род занятий ты для себя ни выбрал впредь.

Бывших чекистов не бывает.

Он отдавал себе отчет в том, что разведка — тем паче, нелегальная разведка — это навек. Слишком многое знает такой человек, чтобы позволить ему расслабиться хотя бы на старости лет.

Тем более, что он не был стар — сравнялось сорок. Как говорится, мужчина в расцвете сил, в самом соку. Тут бы только и строить планы дальнейшей жизни!

С чего же я взял, будто бы он хотел *завязать*?

А я просто вновь и вновь перечитывал его «Автобиографию Командира Запаса РККА…»

Именно там, с похвальной дотошностью, были изложены подробности его воинской службы: лейб-гвардии Измайловский полк, ранения, Одесская школа прапорщиков, опять ранения, производство в штабс-капитаны, участие в съездах армейских депутатов — в Пскове, в Двинске, — назначение командиром минометной команды 2-го Социалистического полка, в Бессарабии, то есть уже в Красной Армии.

В этой рукописной автобиографии не было ни слова о пикантном задании Советского консульства в Париже — поехать в Прагу и убить Чернова; нет ни звука о тридцати девяти нелегальных ходках через границу; нет и намека на таинственные дела в Румынии, Польше, Германии человека по фамилии Киреев, Ильин, Раковицкий, Миртов, Дюран, Гайяр, которые фигурируют в более ранней автобиографии тридцатого года, секретной, написанной для служебного пользования.

Мне могут возразить, что он и не мог — просто не имел права! — излагать подобные конспиративные данные в своей биографии, написанной, скажем, для райвоенкомата, где он состоял на учете, как командир запаса Красной Армии.

Да, это так, спору нет.

Но я прочитывал на этих страницах, в этих строках то, что

вело его мысль, его слог.

Во всяком случае, мне кажется, что я прочел это верно, как может быть дано лишь сыну, читающему руку отца, ведущему след его души.

Я убежден в том, что он излагал свою жизнь так, как ему хотелось бы ее видеть.

Блюдя требования секретности, он как бы очищал себя и свою жизнь от грязи, неизбежной для человека, подавшегося в тайные службы.

Писал — и уже сам верил, что именно так и было на самом деле…

Всё это было *правдой*. Но, вместе с тем, это было лишь *половиной правды*. То есть, это было тоже своего рода *легендой*.

Лелеял ли он в душе планы вернуться в ряды той русской армии, в которой служил в молодые годы, и пролил кровь, и заработал боевые ордена, — но которая теперь стала иначе называться: Рабоче-Крестьянская Красная Армия?

Хотел ли он именно этого?

Смею предположить, что да.

Ведь именно в эту пору возвращались в русскую армию ветераны царской службы — люди, нюхавшие порох не в расстрельных подвалах, а в честном бою.

Знакомые с подоплекой событий, с тем, что творилось в окружающем мире.

Они понимали неизбежность тотальной войны.

Но именно в этот момент и был нанесен сокрушительный удар по Красной Армии.

11 июня 1937 года Верховный Суд СССР рассмотрел в закрытом судебном заседании дело по обвинению в измене Родине группы крупнейших военачальников страны — маршала Тухачевского, командармов Якира, Уборевича, Корка, комкоров Примакова, Эйдемана, Фельдмана, Путны… Все они были расстреляны.

Позднее расстреляли и тех, кто входил в состав суда: маршала Блюхера, командармов Алксниса, Дыбенко… впрочем, последний застрелился сам, когда за ним пришли.

Волна арестов, судилищ, расстрелов прокатилась по всем военным округам. Жертвами кровавой зачистки стали, по меньшей мере, 40 тысяч командиров Красной Армии.

Сообщение о суде над Тухачевским появилось в газетах пятнадцатого июня 1937 года, то есть за две недели до ареста моего отца.

Нет сомнений в том, что он читал эти газеты — может быть

там же, в дачной тиши Труханова острова.

Он понял, что его ждет.

Полвека спустя, мне попала в руки книга Владимира Карпова «Генералиссимус», посвященная, как это явствует из ее названия, Сталину.

В одной из центральных глав этой книги, обозначенной как «Военный заговор», были следующие строки:

> «В 1990 году я написал книгу „Расстрелянные маршалы“, есть в ней очерк и о М. Н. Тухачевском. Очерк написан в „оправдательном“ стиле, в соответствии с опубликованными в те года газетными и журнальными статьями и реабилитационной эйфорией, которой поддался и я.
>
> В ходе работы над книгой „Генералиссимус“ я более глубоко разобрался в причинах репрессий, опираясь на новые архивные документы, рассекреченные в перестроечные годы. В связи с этим пусть не удивляет читателей иная оценка и иной подход к „делу Тухачевского“, не совпадающие с тем, что было написано мной прежде…»

Всё это заинтересовало меня тем более, что я очень давно и довольно близко знал автора книги.

Мы учились вместе с Володей Карповым в Литературном институте. Большинство студентов тех лет составляли фронтовики: Владимир Тендряков, Юлия Друнина, Эдуард Асадов, Юрий Бондарев, Евгений Винокуров, Григорий Бакланов, Ольга Кожухова, Андрей Турков, Григорий Поженян, — все увешанные боевыми орденами и медалями. Позже их имена зазвучали и в литературе.

Но даже на этом батальном фоне выделялась фигура Владимира Карпова. Он был Героем Советского Союза, причем заработал это звание не в штабном крысятнике, а на передовой. На его личном счету было 45 «языков», взятых в тылу врага.

Особый ореол личности Героя придавал еще и тот факт, что он воевал в штрафбате, а туда попал из сибирского лагеря, а в лагерь угодил перед самой войной за то, что не слишком лестно высказался в адрес товарища Сталина. И здесь очень важно отметить, что срок ему дали, как утверждают литературные справочники, «*за участие в заговоре против существующего строя*».

Позднее мы вместе работали в редакции журнала «Новый мир», встречались на писательских съездах и в дружеских

застольях. А еще позже Владимир Васильевич Карпов возглавил Союз писателей СССР.

Конечно же, сама незаурядность биографии писателя как бы становилась гарантией взвешенного подхода к жизни и смерти одного из его героев — легендарного маршала.

И поначалу мои ожидания оправдались: «опираясь на новые архивные документы, рассекреченные в перестроечные годы», как он сам выразился, Карпов преподнес читателям сенсационные разоблачения.

Разоблачения — кого именно? Мне показалось, что Сталина.

Так, например, автор существенно дополнил версию историков о том, что компрометирующие секретные материалы, уличавшие Тухачевского в попытке военного заговора, Сталину подкинули люди из окружения Гитлера через тогдашнего президента Чехословакии Бенеша.

Теперь же выяснилось, что Сталин *купил* эти материалы.

Карпов прямо ссылается на мемуары шефа германской политической разведки Вальтера Шелленберга, который свидетельствует: «…Сталин запрашивал, в какую сумму мы оцениваем собранный материал. Ни Гитлер, ни Гейдрих и не помышляли о том, что будет затронута финансовая сторона дела. Однако, не подав и виду, Гейдрих запросил три миллиона рублей золотом, которые эмиссар Сталина выплатил сразу после беглого просмотра документов.

Материал против Тухачевского был передан русским в середине мая 1937 года».

Как легко сторговались! Как дружно ударили по рукам!

Через неделю, 22 мая, Тухачевский был арестован. А его будущие «подельники» уже сидели за решеткой, дожидаясь, кого и когда объявят главарем заговора.

Споря с «реабилитационной эйфорией», Карпов почти с маниакальным упорством настаивает на существовании «заговора Тухачевского», «Заговора военных», «заговора против Сталина…»

Разве он уже забыл о том, что его самого арестовали и судили, законопатили в лагерь именно «*за участие в заговоре против существующего строя*»!

Или он уже пересмотрел свои собственные предположения о злостном навете? Бывает и такое на склоне лет…

Впрочем, один из документов, представленных в книге «Генералиссимус», позволяет несколько иначе взглянуть на события той поры, о которых идет речь.

Карпов приводит отрывок из книги родственницы Тухачевского Лидии Норд, вышедшей в Париже под названием «Маршал М. Н. Тухачевский».

«…Мне совершенно непонятно германофильство Сталина, — *говорил Михаил Николаевич.* — Сначала я думал, что у него только показной интерес к Германии, с целью показать „свою образованность“… Но теперь я вижу, что он скрытный, но фанатичный поклонник Гитлера. Я не шучу. Это такая ненависть, от которой только один шаг до любви… Стоит только Гитлеру сделать шаг к Сталину, и наш вождь бросится с раскрытыми объятиями к фашистскому вождю…»

Как известно, Гитлер такой шаг сделал в августе 1939 года.

И, как известно, Сталин бросился с раскрытыми объятиями к фашистскому вождю.

Затем наступила ночь 22 июня 1941-го…

И к этому часу лучшие военачальники страны, во главе с маршалом Тухачевским, были истреблены.

Спрашивается: кто же на самом деле взлелеял в стране «военно-фашистский заговор»?

Неужели мы и по сей день не смеем называть вещи своими именами?

Тогда поделом нам наши горькие разочарования.

День за днем шли допросы.

Теперь, через десятки лет, вороша кипы обветшалых бумаг в расстрельных папках, только диву даешься: ну, как же они, те, что затопили эту кровавую баню, и те, что поддерживали в ней адский жар, когда счет жертвам шел на тысячи и сотни тысяч, — как они успевали все это дотошно протоколировать, уснащать описями, росписями, датами, справками, вести почти бухгалтерский «приход-расход»?..

То ли они, действительно, верили, что смогут оправдаться в глазах потомков — мол, всё правильно, сами смотрите, такие дела, комар носу не подточит, — то ли им было в высшей степени наплевать на потомков и на то, кто что скажет, а было лишь старание угодить тогдашнему начальству: вы велели — мы сделали, как было велено, вот, все бумажки налицо, в полном порядке, какой с нас спрос?..

Но спрос, всё равно, был.

И был изначальный — сатанинский! — смысл во всей кровавой круговерти тридцать седьмого.

Потому что, в итоге, пуля в затылок была заранее предназначена всем, кто участвовал в этом действе, независимо от того, кому какая роль была отведена в экспозиции, в завязке… Свидетель давал показания против обвиняемого; потом, вслед за

обвиняемым, расстреливали свидетеля (ведь его показания уже были запечатлены в протоколе, зачем он дальше?); потом ставили к стенке того, кто, высунув от тщания язык, вел этот протокол слово в слово; потом — того, кто протокол читал; а следом того, кто выносил приговор, кто его приводил в исполнение… и, в самом конце цепочки, вели в расстрельный подвал крестного отца всей «ежовщины», самого наркома внутренних дел, Ежова, и он, заложив руки за спину, ступая крохотными ножками пигмея, распевал срывающимся голосом «Интернационал»!..

Здесь нет гротеска, нет никакой фантазии — именно так и было.

Достаточно проследить, день за днем, ход допросов по делу Рекемчука, чтобы убедиться в этом.

Вначале тянули признания из него самого.

Факты биографии, служебные коллизии, которые возникали уже и раньше, и тогда же, по горячим следам, проверялись самым тщательным образом, и тогда же отвергались, как несостоятельные, — теперь всплывали снова, приобретали двоякий либо однозначно-уличающий смысл, и даже от бесстрастной записи протокола веет полной безнадегой…

Я намеренно привожу те ситуации, которые читателю уже известны.

Допрос 16 июля 1937 года.

Воп. Кто Вам поручил вербовку Смеркиса?

Отв. Никто. Сделал я это по своей инициативе. Смеркиса я знал по Бессарабии с положительной стороны.

Воп. Следствие располагает данными, что Смеркис являлся агентом сигуранцы, о чем Вам было известно. Подтверждаете ли Вы это?

Отв. Нет, не подтверждаю, т. к. ничего о связи Смеркиса с сигуранцей я не знал и не знаю.

Воп. Куда вы выехали из Праги?

Отв. Из Праги я выехал в Париж.

Воп. Поездка в Париж была предусмотрена Вашим маршрутом?

Отв. Нет, т. к. из Праги я согласно полученному заданию должен был выехать в Румынию.

Воп. Значит, в Париж вы выехали самовольно?

Отв. Да, самовольно.

Воп. Зачем Вы ездили в Париж?..

При этом на столе у следователя, в закрытой папке, уже

лежат служебные объяснения десятилетней давности, где, в частности, упомянуты жена и дочь, проживающие именно в Париже…

Этот мотив, уличающий обвиняемого в его преступных связях с заграницей, с близкими людьми, проживающими за границей, как и, вообще, сам факт того, что обвиняемый бывал или даже жил за границей, приобретает к тридцать седьмому году характер уличения в преступной деятельности, в измене родине.

Иногда, к ликованию следствия или суда, к нему прибегают даже сами подследственные, сами подсудимые.

Вот короткий отрывок из *последнего слова* комкора Виталия Примакова в судебном присутствии Верховного Суда СССР 11 июня 1937 года, на так называемым «процессе маршалов»:

> «…Я составил себе суждение о социальном лице заговора, то есть из каких групп состоит наш заговор, руководство, центр заговора. Состав заговора из людей, у которых нет глубоких корней в нашей Советской стране, потому что у каждого из них есть своя вторая родина. У каждого из них персонально есть семья за границей. У Якира — родня в Бессарабии, у Путны и Уборевича — в Литве, Фельдман связан с Южной Америкой не меньше, чем с Одессой, Эйдеман связан с Прибалтикой не меньше, чем с нашей страной…»

А у Тухачевского, добавим теперь, прочтя книгу Владимира Карпова, оказывается, была родственница в Париже, с которой он иногда встречался.

Всех, кого назвал комкор Примаков, расстреляли на следующий день, 12 июня 1937 года.

Его самого тоже.

Допрашивали свидетелей.

Одним из свидетелей, которые проходили по делу Е. Т. Рекемчука, был Лев Николаевич Зиньковецкий, более известный в художественной литературе и кинематографе как Левка Задов.

Со слов моей матери я уже знал, что в конце двадцатых годов он работал в Иностранном отделе Одесского Чека.

Сдается, что ни для кого — ни для начальства, ни для окружающих, — не были тайной смачные факты его биографии: он служил в Красной Гвардии, потом переметнулся к батьке Нестору Махно, сделался его правой рукой, колоритной и устрашающей фигурой бандитского Гуляйполя. После разгрома махновщины, перебивался случайными заработками всё в той же

Бессарабии, сидел в тюрьме в Польше. В 1924 году вернулся в Советский Союз, где его связи с махновским охвостьем за кордоном оказались весьма кстати. Он даже был награжден Золотым оружием «за беспощадную борьбу с контрреволюцией»… Но в августе 1937 года арестовали и его.

Судя по протоколам допросов, которые мне довелось читать, Левка Задов был не слишком осведомлен в делах того направления, которым занимался мой отец, и потому, хорошо понимая, чего от него ждут, обзывал «Киреева» (он обходился именно этим псевдонимом) «румофицером», то есть румынским офицером, нажимал на то, что раньше тот служил в царской армии. Не брезговал грязной руганью и бытовой сплетней…

Его расстреляли в сентябре 1938 года.

Но были в этом ряду дознаний и совершенно другие ситуации, пройти мимо которых — значит взять грех на душу.

Особо здесь следует выделить трагические подробности допроса Владимира Максимовича Пискарева, фамилия которого тоже встречалась в предыдущих главах. Он был начальником Иностранного отдела Одесского НКВД — то есть, по службе мой отец был его подчиненным. Но, судя по всему, их связывала еще и крепкая дружба.

В ходе допроса Пискареву вменялось в вину то, что он «не реагировал» на какие-то «сигналы» о «Кирееве» (опять-таки, в протоколе фигурирует псевдоним Рекемчука), даже «замазывал» их.

Признает ли он это? — настаивал следователь.

> «…Нет, не признаю, — *твердо отвечал на это Пискарев.* — Все обстоятельства каждой ходки „Киреева“ проверялись мной лично. В бытность мою в Москве, когда был поставлен вопрос об аресте „Киреева“, я отнесся к этому отрицательно… Я отнесся отрицательно к аресту „Киреева“, потому что он подготовлялся к ходке за кордон, по делу, которое именно он мог выполнить».

За этим идет уточняющий вопрос следователя, заданный в несколько неуклюжей грамматической форме.

> «ВОПРОС. Почему отнесся отрицательно к аресту „Киреева“, что предлагалось Москвой?
>
> ОТВЕТ. Главным образом, потому, что „Киреев“ подготавливался к ходке за кордон…»

И тут Пискарев вдруг дополняет свой ответ фразой, которую

— учитывая обстоятельства этой беседы, — можно считать верхом мужества.

> «…Известную роль играли также имевшие раньше место хорошие личные взаимоотношения, так как „Киреев“ дважды спас мне жизнь».

Спас жизнь, притом — дважды…

Когда, при каких обстоятельствах?

Я вновь и вновь, торопливо, на нерве, перелистываю бумаги в серо-зеленой папке, пытаясь найти хотя бы ниточку, за которую можно ухватиться. Сейчас это едва ли не самое важное для меня: в вязкой трясине повального и сплошного предательства, подлости, трусости — вдруг обнаружить высокий душевный взлет, искру мужской самоотверженности, презрение к смерти ради утверждения человеческого достоинства, чести!..

Мои глаза вдруг натыкаются на дату: 11 октября 1937 года… допрос бывшего штабс-капитана царской армии Евсея Тимофеевича Рекемчука… на сей раз ему почему-то настойчиво задают вопросы, касающиеся не его самого, а Владимира Пискарева, из него тянут обвинительные показания, давят на психику, терзают, может быть даже — бьют…

Что?

Я еще раз вчитываюсь в дату этого допроса: 11 октября 1937 года…

И, с похолодевшим сердцем, отлистываю несколько страниц.

> СПРАВКА
> (к следственному делу УГБ НКВД УССР
> № 693 1937 г.)
>
> 8/X 1937 г. Осужден по первой категории (протокол № 1). Приговор приведен в исполнение 11/X 1937 г.
>
> *Нач. I отделения 8 отдела УГБ НКВД УССР*
>
> *лейтенант госбезопасности ГРОССМАН*

Фамилия расстрельщика названа.

Фамилия человека, которого расстреляли, отсутствует. Но я ее знаю.

11 октября 1937 года был расстрелян мой отец, Евсевий Тимофеевич Рекемчук. Потому и вложена эта *справка* в его дело.

То есть, его расстреляли в тот же самый день, когда был допрос. Вероятно, сразу же после этого допроса. Шествие под конвоем по узкому подвальному коридору, выстрел в затылок… или иначе?

Пискарев был расстрелян поздней, в декабре.

На сей раз они не смогли спасти жизнь друг другу.

Я завязываю тесемки серо-зеленой папки. Через десять минут — встреча с генералом. А вечером я уеду в Москву.

Поднимаюсь на второй этаж, вхожу в строгий кабинет — и, буквально, с порога встречаю его взгляд: внимательный, проникающий в душу, официально-сочувствующий…

Мне знаком этот взгляд, хотя он и принадлежал тогда другому человеку, не генералу, а лишь полковнику, уполномоченному Комитета государственной безопасности в северном городке Ухте, в республике Коми, где я тогда жил, где работал корреспондентом газеты «Красное знамя».

Помню, он раскрыл лежавшую на столе папку, вынул оттуда лист бумаги, протянул его мне: это было постановление Военной Коллегии Верховного Суда СССР о посмертной реабилитации моего отца.

Покуда я читал эту бумагу, полковник — как мне показалось, движением уже привычным, отрепетированным, — налил из графина воды в стакан и придвинул его мне.

Я был тогда еще молод, горяч.

Двинул стакан обратно, сказал дерзко: «Пейте сами».

Много воды — да и не только воды, — утекло с тех пор.

А сейчас я был уже стар: за шестьдесят. Менее вспыльчив, хотя иногда… Да, собственно, я не видел причин разыгрывать действа перед человеком, который отнесся ко мне с подчеркнутым вниманием, и у которого — это я понимал, — сейчас на душе было полно своих морок, своих тревог: и государственных, и личных.

Я был не вправе предъявлять ему счета лишь потому, что он сидит в том же кабинете, за тем же столом, за которым когда-то сиживал другой человек… Да и здесь ли он сидел?

Будто бы прочтя мои мысли, генерал изрек глухо:

— Успенский… понимаете, он залил кровью весь Киев, всю Украину!

Эта фраза показалась мне тоже достаточно отрепетированной.

Сейчас, на раскате *перестройки* и *гласности*, когда открылись дотоле недоступные архивы, когда разомкнулись рты и побежали бойкие перья, — в газетах, старых и новых, в только что

народившихся еженедельниках, в книгах, лежавших под спудом, а теперь продающихся на всех углах, — мне довелось читать немало статей о выдвиженце Ежова, украинском наркоме внутренних дел, палаче Успенском.

Особо смаковались подробности его ареста. Как он, переодевшись в штатское, срочно выехал, якобы, на встречу с агентом. А утром на столе в его кабинете (в этом кабинете? на этом столе?) нашли записку: «Ухожу из жизни. Труп ищите на берегу реки». Его одежду, действительно, обнаружили в кустах, но самого «утопленника» нашли довольно далеко от этих мест, в Сибири, на золотых приисках… Расстреляли.

С неменьшим смаком рассказывалось в газетах о близости Успенского к тогдашнему украинскому вождю Хрущеву, о том, как Успенский гостевал в хлебосольном доме Никиты, как они вместе, вдвоем, просматривали списки очередных жертв, как сам Никита не отказывал себе в удовольствии присутствовать на допросах на Владимирской улице… Именно в этом кабинете?

Я протянул генералу серо-зеленую папку, над которой горбатился всю минувшую неделю.

Он развязал тесемки, полистал бумаги, нашел, повидимому, ту, что была ему нужна, взял со стола большие канцелярские ножницы и аккуратно вырезал уголок старой анкеты: это было то, о чем я мечтал, то, о чем даже не смел мечтать — маленькая фотография моего отца…

— Спасибо, — вымолвил я, принимая бесценный дар.

Успел подумать, что, наверное, мои предположения о судьбе всех этих бумаг не столь уж беспочвенны. Что в вихре разгулявшихся стихий — и здесь, в Киеве, и там, в Москве, и вообще повсюду, — что дело пахнет керосином. Гореть им синим пламенем, этим бумагам, этим папкам…

Но это было еще не всё.

Генерал отпер сейф, достал из него книжицу — в ярко-красной когда-то, а теперь изрядно выцветшей, приобретшей оранжевый отсвет обложке, — и тоже протянул мне.

Я прочел: «*Союз Радяньских Соціялістичних Республік. Закордонный пашпорт…*» Державный герб в золотых колосьях и червонных лентах.

Унимая дрожь пальцев, приоткрыл обложку: «*Раковицкий Сергей Александрович… отправляется за пределы СССР в Эстонию по командировке Наркомторга с деловыми целями… 21-го Мая 1930 г…*»

Закордонный паспорт на чужое имя, паспорт нелегала, в который вклеена фотокарточка моего отца.

Он ли это?

На меня смотрел человек с наголо остриженной головой, высоким лбом, жестко поджатыми тонкими губами, испытующим взглядом, будто бы вопрошающим ответно: ты ли это?..

Это я, отец.

Взглянул на генерала.

Он, так же молча, кивнул: да, оставьте себе, это — подарок, всё, что могу…

Растроганный до глубины души, я всё же решился задать вопрос, который мучил меня все эти дни. Я отдавал себе отчет в том, что он, этот вопрос, вероятно, нелеп, бестактен. Что его нельзя задавать в этом кабинете, в столь официальной обстановке. Точней, задавать вроде бы и можно, но можно ли ждать ответа?..

Однако этот когда-то красный, а теперь оранжевый паспорт, с вписанной в него чужой фамилией, как бы придавал мне отваги, звал идти на риск: ведь тут всё, буквально всё держится на смертельном риске, который является обычным профессиональным делом.

— Скажите, генерал… могло ли так быть, что приговор был вынесен и, вроде бы, приведен в исполнение, задокументирован… но, на самом деле, человек остался жив… просто он, в оперативных целях, продолжал жить уже не под своим именем, а под чужим… где-то в другом месте, оборвав навсегда все прежние связи… то есть, что он продолжал жить и работать *по легенде*?

Генерал потупился. Было видно, что ему очень не хочется — а, может быть, и нельзя! — отвечать на такие вопросы. Но, опять-таки, с учетом обстоятельств времени и нешуточным разворотом событий, да еще и с учетом того, что он разговаривал сейчас не абы с кем, а, всё-таки, с писателем, — что это дает ему право ответить по существу, хотя и нельзя.

— Вы понимаете… — сказал он, попрежнему отводя взгляд. — Смертный приговор, если уж он вынесен, подлежал исполнению в двадцать четыре часа. И если это не было выполнено, к ответу привлекался тот, кто не выполнил свой долг — практически тот же расстрел…

Он развел руками, вздохнул коротко.

— Уж вы простите меня. Я понимаю, что не оставляю вам надежд… Но такова правда.

Повисла долгая пауза.

Я успел подумать, что, может быть, он — генерал, — уже не раз встречал в этом кабинете подобных мне наивных людей, которые ни за что не хотели верить в очевидное, и продолжали тешить себя беспочвенными упованиями на чудо — да, конечно, не может быть, но вдруг! — о, сколько подобных чудаков прошло,

наверное, через этот кабинет?..

Но, откровенно говоря, я не был столь наивен, как он обо мне подумал. Или, допустим, как подумал я о себе самом, нагрузив собеседника этим представлением. Не столь уж прост я был! И вовсе не случайно я задал ему тот вопрос, на который он не имел права отвечать.

У меня был в запасе свой козырь. Я обладал таким несокрушимым доводом, что высокомерные поучения генерала выглядели детским лепетом.

— Понимаете, генерал… — сказал я, глядя ему прямо в глаза. — Дело в том, что его потом *видели*.

— Что?

— Его *видели*.

Он недоверчиво вскинул брови:

— Видели?

— Да, видели.

— Когда?

— В том же тридцать седьмом.

— Где?

— В Испании. И позже, после войны, его тоже видели: в Румынии, в Австрии…

— А кто? Я имею в виду — *кто* его видел?

И тут я дал ему, генералу, понять, что он не единственный, кто располагает тайнами, которые нельзя доверять всем встречным — поперечным. Что есть и другие весьма достойные люди, тоже облеченные доверием, тоже побывавшие в лихих передрягах, прошедшие на своем веку и огонь, и воду, и медные трубы, все круги ада, — но потому и знающие всё и вся, о чем покуда нельзя сказать.

— Один человек, — деликатно ответил я, застегивая портфель и поднимаясь со стула для рукопожатия.

Мы встречались с ним крайне редко — примерно, раз в десять лет.

А эти десятилетия летели мимо нас так стремительно, что лишь свист в ушах…

Тем больше важных поводов для товарищеской беседы выпадало нам, когда мы встречались с ним вновь.

Обычно это происходило на Рождественском бульваре, в доме 5 дробь 7, что стоит на самой крутизне, на спуске к Трубной площади, близ стен Рождественского монастыря, но на другой, на нечетной стороне бульвара, где в крохотной комнатушке коммунальной квартиры жила моя мама Лидия Андреевна…

Он был когда-то ее мужем и, кроме того, был моим отчимом,

хотя юридически это усыновление так никогда и не было оформлено.

Речь идет о человеке, которого звали Гансом Нидерле.

Тот самый *товарищ Ганс*, которому посвящены сценарий фильма «Они не пройдут», и повесть, которая так и называется — «Товарищ Ганс», и мой более поздний роман «Нежный возраст».

Странно: встречаясь с ним в маминой келье на Рождественском бульваре, я никак не мог избавиться от ощущения цикличности, зеркальности, двойственности прожитой жизни, где все события как бы возвращались к своему началу, где всё воспроизводилось заново, даже обстановка былых лет, будто бы декорация заигранного спектакля.

В самом деле, я как сейчас помню его первое появление в доме у Рыбной площади, где мама сняла комнатенку — еще там, в Харькове, — и он явился туда в гости с далеко идущими целями, нацепив на шею буржуйский галстук-бабочку.

Мама и тогда усадила нас за накрытый стол, а сама убежала на кухню, где варился украинский борщ — его обалденный запах было слышно издалека.

Чтобы преодолеть неловкость, мы заговорили с ним о текущей политике: о фашистах, от которых австрийские шуцбундовцы драпали на лыжах через Альпы, а это было ночью, в сильный буран.

«Мы нитшего не видеть, — рассказывал мне, пацаненку, этот взрослый человек. — Абер… но они тоже нитшего не видеть, пуф-пуф, не попаль…» — вот так он тогда изъяснялся на русском языке.

С тех пор прошло сорок лет.

Он воевал в Испании. Потом была большая война — он делал танки на Алтае, в Сибири. Потом его послали в родную Вену выкачивать репарации в пользу Советского Союза. Он звал нас ехать вместе с ним, но я наотрез отказался, а мама не решилась оставлять меня одного. Там, в Австрии, его захомутала другая баба, тоже русская. Она заставила его развестись с женой, да еще настрочила письмецо куда следует: мол, так и так, первый муж у нее — враг народа, а родные сестры — белогвардейки… Маму исключили из партии, выгнали с работы. Меня тоже помытарили изрядно, однако пощадили.

То есть в родной Вене Гансу тоже не сильно посчастило. Он вернулся в отечество мирового пролетариата, стал работать на заводе сухой штукатурки. Постарел, обрюзг. Супруга держала его в крепкой узде. Но иногда он урывал часок, чтобы свидеться с мамой. Ведь они попрежнему любили друг друга. Я даже думаю, что Ганс был единственным мужчиной, которого по-настоящему

любила моя мать. Но уж так распорядилась судьба…

И вот мы опять сидим за столом в крохотной комнатушке коммунальной квартиры, как тогда, — но уже не в Харькове, а в Москве. И мама опять убегает на кухню, откуда доносится обморочный запах украинского борща.

Ганс откупоривает бутылку «Столичной».

Расспрашивает меня о жизни.

Конечно, мне хочется порадовать человека, преподавшего мне в раннем детстве революционные идеалы. И я стараюсь порадовать его тем, что у нас, в нашем общем отечестве мирового пролетариата, дела идут *о'кэй*!

С увлечением излагаю подробности: вот, получил трехкомнатную квартиру в Новых Черемушках, обменял ее на лучшую, ближе к центру; обзавелись югославским мебельным гарнитуром «Редженси» и финской кухней; купили телевизор «Рубин», цветной, с большим экраном, да, советский, но трубка японская; надо бы и холодильник поменять на больший, однако кухня маловата; а дети растут, пора уже подумывать о четырехкомнатной квартире… нет, извини, больше не буду, ведь я за рулем… впрочем, ладно, наливай…

Мама приносит борщ — дымящийся, красный, как баррикадное знамя.

Мы пьем за ее здоровье.

…да, «Волга», цвет белой ночи, по блату, конечно: один министр позвонил другому министру… что? Нет, в Австрии побывать пока не довелось, зато в Германии был уже четыре раза, да-да, на Востоке, там издали моих «Мальчиков», вполне прилично заплатили, а «Товарища Ганса» издавать не хотят, сволочи… но был и на Западе, вот, привез оттуда на радость детворе диски Элвиса Пресли и «битлов», сам слушаю с удовольствием, а ты еще не слышал?..

Он улыбается сочувственно, но сейчас, после третьей рюмки, по его небритой щеке сползает слеза.

— Гапуги! — говорит он.

Я не сразу понимаю, что он имеет в виду. Полжизни проживя в отечестве мирового пролетариата, он научился довольно чисто, почти без акцента, изъясняться по-русски. Особенно хорошо он стал говорить по-русски после Испании, где воевал в составе Интербригады.

— Гапуги… — повторяет он, рукавом отирая слезу.

Ах, вот оно что! Наконец-то я врубаюсь в смысл. Ну, конечно: он хотел сказать хапуги, но произнес начальный звук с привычным для него украинским гаканьем, и получилось очень смешно: «гапуги».

Кстати, плакать от водки он тоже научился там, в Испании.

Теперь уже я тянусь к бутылке. Черт с ней, с машиной, поеду домой на метро.

Мама несет жаркое.

— Понимаешь, — говорю я Гансу, — это не суть важно… Важно совсем другое.

Он вопросительно смотрит на меня своими лупоглазыми гляделками. У него от рождения глаза чуть навыкате, а уж когда выпьет…

— Меня гложет чувство стыда перед отцом, перед его памятью. Получается, что я отрекся от него…

— А разве ты от него отрекся? — сухо спрашивает мама. Она не любит моих пьяных исповедей.

— Да, было, — понуро винюсь я. — Когда за меня там взялись, в этом сраном Сыктывкаре, когда стали из меня вытряхивать душу — почему, мол, честно не написал об отце? скрыл от партии?

— Но ведь ты не знал. Мы не говорили тебе.

— Мы не говорили, — подтверждает Ганс.

— А получается, что я на самом деле врал! Спрятался за спину отчима, хотя, уж извини, по документам ты мне не отчим. Прикрылся чужой фамилией… Разве это — не отречение?

Теперь уже я достаю из кармана платок, громко сморкаюсь в него.

— Каково ему было идти на смерть, зная, что все от него отказались? Что даже родной сын — и тот отрекся от него!..

Мама встает со вздохом, тяжело двинув стул, так, что визгнули об пол ножки. Она не любит этих разговоров. Потому что тоже знает свою вину, хотя ни в чем не виновата.

Ганс заметно трезвеет. Так всегда бывает с ним, сколько бы ни выпил, когда он понимает, что теперь вся ответственность ложится на него. Что именно он обязан разрядить обстановку — больше некому.

Он косится на дверь — не подслушивают ли соседи? — наклоняется ко мне, говорит тихо:

— Санька, я видел его… Понимаешь? Я видел его в Испании, в Аликанте. В порту, когда разгружали наш пароход… А потом я видел его в Мадриде. Он тоже, наверное, видел меня, но не поздоровался. Я думаю, что это было нельзя — показывать, что мы знакомы…

Я молчу, выжидая.

— Но это был не последний раз, когда я его видел, — продолжает Ганс. — Я видел его и после войны: в Австрии, в Румынии. Но, понимаешь, там я уже не был так уверен, что это

он. Ведь прошло много лет, наверное, он изменился, я тоже изменился…

— А может быть, это был вовсе не он? — завожусь я. — Как ты, вообще, мог узнать его? Ведь ты никогда его не видел!

— Я — не видел?

Ганс хмурится.

Вот так же он хмурился много лет назад, когда я был еще маленьким мальчиком, а он уже был взрослым человеком. И порою, когда я проказничал или просто бывал невежлив, он, тоже молча, хмурил свои густые брови. Но не так, как хмурится отец, когда его сын проказничает, а так, как может хмуриться человек, понимающий, что он не отец, и даже не вполне отчим, но, вместе с тем, сознающий, что именно он должен вмешаться — больше некому.

— Я — не видел? Ты ошибаешься. Я видел его. Даже разговаривал с ним, как сейчас разговариваю с тобой: как мужчина с мужчиной…

Он поджимает свои тонкие губы, будто бы не решаясь произнести те слова, которые могут меня обидеть. Но он, всё же, выговаривает их:

— Я видел его… это *ты* не видел.

И здесь он прав.

Тогда, в тот последний раз, когда я мог видеть своего отца и — добавлю, — когда он мог в последний раз видеть меня, — мы так и не увидели друг друга.

Это произошло вскоре после того, как я вернулся в Харьков.

Помню, как в Киеве он провожал меня на вокзале, как сажал в поезд. И точно так же, как месяцем раньше моя мама, он сунул мне в ладошку рубль, чтобы я отдал его дядькам в купе, когда мы приедем в Харьков, — вроде бы, за то, что они присматривали за мною в пути. Но они всю дорогу пили водку, не обращая на меня никакого внимания. И я решил, что они не заслуживают благодарности.

В Харькове меня встречала мама.

Она расцеловала меня, всплакнула от радости.

Но я хорошо помню и тот первый вопрос, который она задала мне на вокзальном перроне:

— Папа передал какие-нибудь деньги?

Очень обрадованный этим вопросом, я закивал, раскрыл ладошку, в которой был потный рубль: я так и ехал с ним всю дорогу, даже во сне не разжимая кулачка, — вот.

— Что это? — спросила мама.

Я объяснил ей, что отец велел мне отдать этот рубль

мужикам в купе, а я зажал.

Она покачала головой, взяла с ладошки этот рубль и бросилась догонять моих попутчиков.

Я же, сколь ни был мал в ту пору, сообразил, что дела у наших молодоженов, видать, неважные, если первое, о чем спросили, были деньги.

Мама повезла меня на трамвае туда, где теперь они жили с Гансом — в гостиницу «Спартак», что на берегу речки Лопань, на Лопанской Стрелке, в самом центре Харькова, у Благбаза.

Это гостиница и ее обитатели, сами по себе, настолько интересны, что я не стану рассказывать об этом *между делом*.

Тем паче, что от самой гостиницы «Спартак» остались одни воспоминания — ровное место, — и большинство ее когдатошних постояльцев тоже переместилось в область далеких воспоминаний.

Так вот. В один прекрасный день — а это был выходной день, — мама взяла меня за руку и сказала с озабоченным видом: пойдем. Я уж подумал, что мы идем гулять на Университетскую горку или в городской парк, — и очень удивился тому, что Ганс не идет гулять вместе с нами, а хмуро бреется у зеркала. Что за блажь — бриться в выходной день?..

Однако тут же выяснилось, что путь наш недалек: меня отвели в соседний номер гостиницы — дверь через дверь, — где проживали свои люди, шуцбундовцы из Австрии, — и отдали им на попечение: чтоб сидел тихо и носа не высовывал.

Как потом я узнал, накануне из Киева позвонил мой отец, Евсевий Тимофеевич Рекемчук, предупредил маму, что завтра он будет в Харькове, приедет прямо в «Спартак». Что он намерен забрать меня с собою, увезти в Киев — насовсем, навсегда.

Что покуда я жил в Киеве, мы очень привязались друг к другу. Что мальчику пора в школу. Что нужно всерьез заняться его воспитанием, и он берет это на себя.

Что им, то есть харьковским молодоженам, надо полагать, вполне достаточно собственных радостей и забот. Что он не может позволить, чтобы его сын был кому-то обузой…

А если они не согласны с такой постановкой вопроса, то надо спросить у самого мальчика: хочешь ли ты в Киев?.. Ну, вот.

Во избежание столь прямого разговора, на всякий случай, мама и увела меня к соседям.

А сама, вместе с Гансом, приготовилась держать оборону.

Но обо всем этом я узнал гораздо позже.

А тогда мне не дозволили даже носа высунуть из-за двери. Не дали хоть одним глазком глянуть в щелочку.

Он уехал ни с чем.

Впоследствии я часто размышлял — и до сих пор, признаться, размышляю — о том, как сложилась бы моя жизнь, если б тогда отцу удалось договориться с мамой и Гансом, если бы он убедил их, что в Киеве мне будет лучше.

При этом меня занимают не частности — не о них речь. Ведь так и так меня бы всюду достала его несчастная доля. Нет, мною владеет некий обобщенный образ, который вбирает в себя не только судьбу отца и мою судьбу, но нечто большее и значимое, как вещий сон.

Вполне естественно, что этот образ мог быть составлен только из тех реалий, которые запечатлела память. Из тех встреч и бесед с отцом, которые были на самом деле.

Среди них всего более привлекает эпизод киевской ранней весны, когда отец, нахлобучив свою серую шляпу со щегольски примятой тульей и сняв с крюка шишковатую трость с изогнутой, как бараний рог, рукоятью, заявил, что отправляется гулять на Владимирскую горку, а мама — догадавшись, куда он навострил лыжи, — сказала: вот и хорошо, мальчик пойдет гулять вместе с тобой, сегодня такая чудесная погода, сейчас я соберу его…

Мы прошагали Крещатик, вошли в парк.

Внизу, под крутизной, степенно катился Днепр. Он был настолько полноводен, что захлестывал набережные, затоплял до самого горизонта все видимые земные пространства — они напоминали о себе лишь островами, плавающими в речной воде, как листья кувшинок.

Но, в отличие от той весны, когда это было на самом деле, теперь была осень, стоял октябрь: и берег, и острова полыхали огнем отходящей листвы, желтым пламенем дубов, багровым заревом кленов, и дым оголившихся ветвей вился серыми космами в этом огне…

Отец воткнул свою трость в землю, в ворох палых листьев и, по обыкновению, уселся на рукоять, заложив ногу за ногу, вперив отсутствующий взгляд в черту горизонта.

Над нами, на постаменте, стоял князь Владимир, прислонив к себе крест. Он тоже смотрел в заднепровские дали, на острова, на материки, подернутые огнем и дымом.

Я бегал вокруг памятника Крестителю, иногда отбегал подале, собирая с земли облетевшие листья необыкновенно яркой и причудливой расцветки. В моих руках уже был целый букет: пятипалые листья каштанов, такие большие и разлапистые, что желтизна лишь занималась с краев, оттесняя зелень к истоку, к черешку; красные листья кленов, рваные, как лоскутья знамени; крохотные листочки акации, обегающие нежным ожерельем

пустоту.

Мой букет был так красив и пышен, что руки уже не могли объять необъятное, и я побежал к отцу, чтобы и он полюбовался этим дивом, ведь он, как-никак, художник.

Но он лишь скользнул взглядом по несметному богатству в моих руках и опять увел свой печальный взгляд к окоёму.

Я постоял рядом, подождал, что он заговорит со мною, что расскажет, как бывало — как это стало обычаем, когда мы прогуливались с ним в этих местах, — чудесную повесть о том, как по велению князя Владимира толпы киевлян шли к Днепру принимать крещение, как они тут, внизу, стояли в речной воде, держа на руках младенцев, как к конскому хвосту привязали Перуна и столкнули в воду, и он поплыл, и никто не смел прикоснуться к идолищу…

Но отец молчал.

И тогда, вздохнув, я разжал руки, листья осыпались к моим ногам, а я дотянулся до книжной полки, что была рядом, аккурат за моим письменным столом, наугад, не глядя, нащупал нужный корешок, вытянул его из ряда, и книга привычно раскрылась на той самой странице, что была мне надобна.

> …Посемь же Володимиръ посла по всему граду, глаголя: «Аще не обрящеться кто заутра на рѣць, богатъ ли, ли убогъ, или нищъ, ли работникь, противень мнѣ да будетъ». Се слышавше людье, с радостью идяху, радующеся и глаголюще: «Аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре прияли». Наутрия же изиде Володимеръ с попы царицины и с корсунъскыми на Дънѣпръ, и снидеся бещисла людий. Влѣзоша в воду, и стаяху овы до шие, а друзии до персий, младии же по перси от берега, друзии же младенци держаще, свершении же бродяху, попове же стояще молитвы творяху. И бяше си видѣти радость на небеси и на земли, толико душъ спасаемыхъ…

Чтение мое было прервано странным звуком, возникшим за спиной.

Он был дробен, сыпуч, не слажен, а наоборот, как будто подчинен команде «идти не в ногу!», которую дают войску, переходящему мост, чтобы он не рухнул. Но это было не войско.

Ухо различало усталое шарканье истертых подошв, босых ног, хриплый разнобой дыханий.

Всё это надвигалось, усиливалось по мере приближения.

Лишь изредка глухоту понурого молчания нарушали резкие окрики. И когда раздавался окрик, его подхватывал визгливый лай овчарок…

Я оглянулся — не из любопытства, а из досады потревоженного покоя, — вгляделся сквозь пеструю завесь поникших ветвей, испятнанных желтой и бурой листвой, будто маскировочная сеть, — посмотрел в ту сторону, откуда, нарастая, приближался этот шаркающий гул.

По дороге, по спуску, которым мы только что поднимались в гору, теперь — обратным током, в противоположную сторону, к пыльным закоулкам Подола, валила несметная и разношерстая толпа людей, избегающих смотреть по сторонам, а тупо глядящих себе под ноги…

Лишь сейчас, заслышав этот странный шум и будто бы очнувшись, выйдя из своего отсутствия, отец обернулся тоже, вскинул брови — на лице его был вопрос, — затем поднялся рывком со своего неудобного шаткого сидения, с рукояти, выдернул трость из земли, перехватил ее на шишечках середины, рогом вперед, — и сделал несколько шагов в мою сторону.

Озадаченный и напуганный открывшимся зрелищем, столь необычным для этого часа — средь бела дня, а не в глухой ночи, — я даже не сразу заметил, что отец подошел и встал за моей спиной.

Теперь мы оба, вытянув шеи, вглядывались в шествие.

Не скрою, меня смущало прежде всего то, что я не мог — ни с первого взгляда, ни со второго, ни даже с третьего, — определить родовые или, говоря взрослым языком, классовые признаки этой толпы, что дало бы хоть проблеск понимания и назвалось бы каким-нибудь внятным словом, — но нет, как раз этого и не было, всё, как нарочно, было смазано невнятицей.

Шли бородатые лапотные крестьяне, очень похожие на тех своих дальних предков, которых крестили в Днепре. Они были явно озадачены той непривычной ролью, что им выпала, картинно почесывали затылки. И пусть простится мне это кощунство, но они, вживую бредущие по дороге, вдруг заставили меня вспомнить о тех безжизненных грудах лохмотьев, которые в голодный год, когда я впервые приехал в Киев, пошевеливал ветер на тротуарах Крещатика.

А вслед за ними, заложив руки за спины, в распоясанных гимнастерках, на воротниках которых еще оставались следы содранных кубарей и ромбов, простоволосые, без фуражек, — шли красные командиры, вскинув подбородки и вглядываясь в небеса безумными глазами.

Ближе к ним жались растерянные парни, вроде бы тоже

военного сословия, но лишенные напрочь бравой выправки, самого рядового чина, а может быть и жалкие пленяги, в волочащихся обмотках, а иные даже босиком.

Опять шли бородачи, но в черных сюртуках, в черных шляпах, из-под которых свисали кудрявые пейсы, а с ними рядом плелись женщины с бледными лицами, с прядями темных волос, убранных за уши. У некоторых из них были круто выпячены беременные животы, другие же вели с собою рядом глазастых детей.

И еще я обратил внимание на плотно сбитую стайку мальчиков в дешевых футболках и девочек со школьными косицами, в растерзанных блузках, сквозь прорехи которых — кричаще, — маячили кровоподтеки, следы хлестких плетей, синие тычки меж ребер. В отличие от других, покорных и потухших глаз, их глаза сверкали искрой бунта. Они даже пытались петь, но их хлестали наотмашь плетьми, прямо по губам…

Я обернулся: взгляд отца тоже был устремлен на этих юнцов и юниц, — и я успел подумать, что сейчас глаза его были, точь в точь, как на той фотографии, где он был в белой рубашке, с наголо остриженной головой.

Была некоторая странность и в том, как выглядела охрана этого скорбного шествия.

Она двигалась по обе стороны колонны, приноравливая шаг к ее изнуренному неспешному току. Притом с одной стороны, держа наперевес винтовки с примкнутыми к стволам трехгранными штыками, шли конвоиры в фуражках с васильковым верхом и бордовыми околышами, — а с другой стороны (вполне возможно, что они даже не видели друг друга) шли солдаты в серо-зеленых мундирах, в стальных тяжелых касках с ремешками на подбородках, со «шмайсерами» поперек груди.

Еще я обратил внимание на собак: их зубы были оскалены, с морд текла пена, глаза горели несытым огнем… да, это были овчарки, и я, по привычке, старался различить среди них Люську, ту собаку, что в детстве катала меня по снегу на санках — мало ль в какую работу ни впрягают собак, — но ее тут не было.

Колонна казалась бесконечной, но и ей пришел конец: замыкая шествие, плелись лошаденки, запряженные в телеги, поперек которых, ступнями вбок, лежали трупы тех, у кого не хватило сил добрести до рва…

Я опять поднял на отца вопрошающий взгляд.

Но он, вместо ответа, лишь склонился и поцеловал меня в голову, рыжую, как осенний убор.

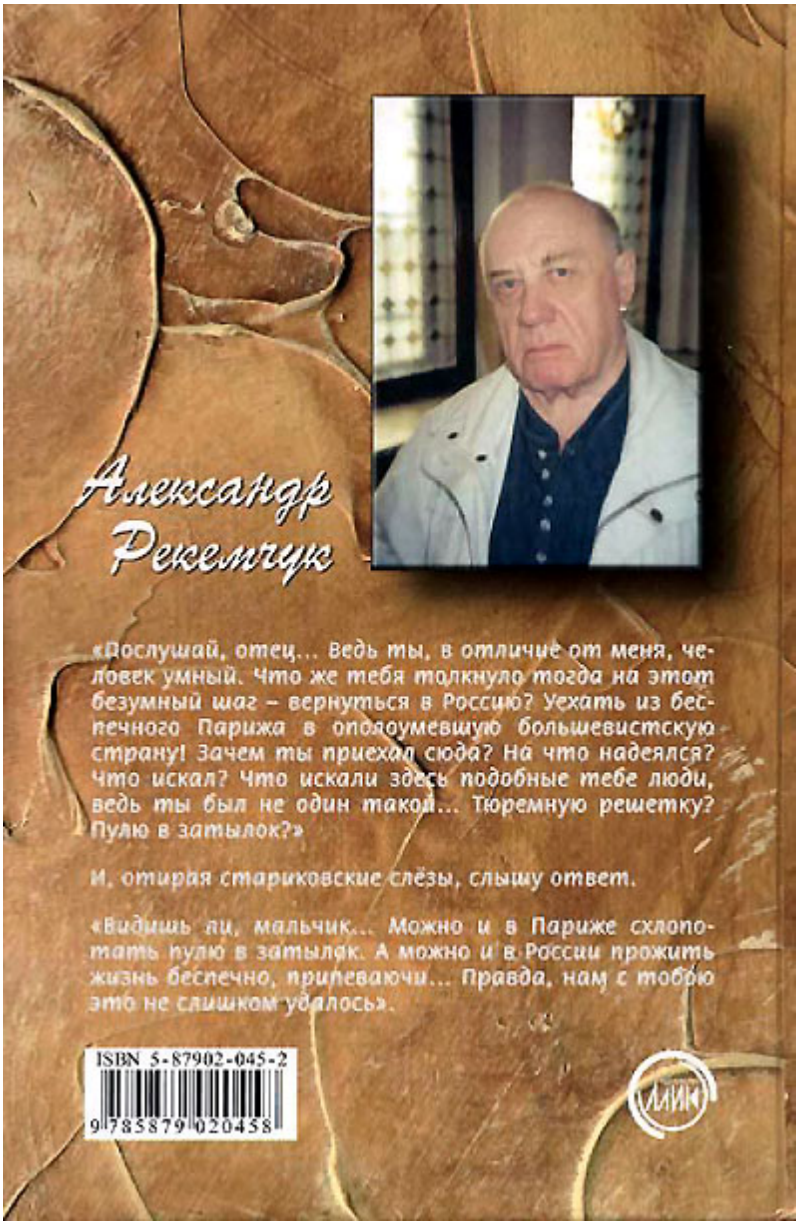
Я понял, что это — прощанье.

Не сказав ни слова, он зашагал — широко, не выбирая тропы,

по шуршащему ковру палой листвы, — туда, вниз, к Подолу, куда только что утекла колонна, откуда всё еще доносилось цоканье сапожных подковок и скраденный шелест босых ступней по булыгам мостовой.

Еще некоторое время я видел вскинутую голову отца на фоне понурых спин, согбенных затылков — мне мешали смотреть слёзы, наполнявшие глаза, — ведь я уже осознал, что остаюсь безотцовщиной, сиротой, — но шествие удалялось, и я перестал различать его, он смешался с толпой.

~


Александр Рекемчук
«Послушай, отец... Ведь ты, в отличие от меня, человек умный. Что же тебя толкнуло тогда на этот безумный шаг – вернуться в Россию? Уехать из беспечного Парижа в ополоумевшую большевистскую страну! Зачем ты приехал сюда? На что надеялся? Что искал? Что искали здесь подобные тебе люди, ведь ты был не один такой... Тюремную решетку? Пулю в затылок?»
И, отирая стариковские слёзы, слышу ответ.
«Видишь ли, мальчик... Можно и в Париже схлопотать пулю в затылок. А можно и в России прожить жизнь беспечно, припеваючи... Правда, нам с тобою это не слишком удалось».
ISBN 5-87902-045-2
9 785879 020458